

В защиту банальных истин

Наум Коржавин



Наум Коржавин

В защиту
банальных истин



КУЛЬТУРА ПОЛИТИКА ФИЛОСОФИЯ



**Московская школа
политических
исследований**



Нази Коржабни

Наум Коржавин

В защиту
банальных истин



Московская школа
политических исследований

Москва 2003

ББК 84-4
К 665

Культура политика философия

Серия основана в 2000 году Московской школой
политических исследований и издается под общей редакцией
Ю.П. Сенокосова

*Издание осуществляется при поддержке
Региональной общественной организации «Открытая Россия»*

Коржавин Н.

К 665 В защиту банальных истин. — М.: Московская школа
политических исследований, 2003. — 792 с.

ISBN 5-93895-040-6

Наум Коржавин родился в 1925 году в Киеве. Печататься начал в 1941 году. В 1945 году поступил в Литературный институт им. М. Горького, в 1947-м был арестован по обвинению в антисоветской деятельности. Отбывая ссылку в Караганде, окончил там Горный техникум. В 1954 году амнистирован, в 1956-м реабилитирован. В 1959 году окончил Литинститут. Автор известных поэтических книг, вышедших в нашей стране и за рубежом («Годы», 1963; «Времена», 1976; «Сплетения», 1981, «Время дано», 1992 и др.), пьес и многих статей о литературе (в «Новом мире», «Континенте», «Гранях» и др.). Член редколлегии журнала «Континент» с 1974 года. В 1973 году вынужден был эмигрировать. Живет в Бостоне.

ББК 84-4

ISBN 5-93895-040-6

© Коржавин Н., 2003
© Московская школа
политических исследований, 2003

I. ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Вкус — это чувство соответствия

Государственник, империалист, невыдержанный человек.

Ребенок-мудрец, или мудрец-ребенок.

Но самое главное: просто русский поэт. Хотя и живет в Америке.

Его любимое выражение: «Надо освободиться от забубонов». Сам избавлялся от них всю жизнь неустанно.

Например, был у него такой «забубон»: с детства любил революцию. Как единственную духовную субстанцию, которую знал.

Сталина не мог любить. Потому что чувствовал в нем ложь. (В 1944 году девятнадцатилетним напишет: «Когда насквозь неискренние люди/ Нам говорили речи о врагах».)

Впрочем, однажды не выдержал и решил Сталина полюбить. И так хотел, чтобы в его душе возникло простое человеческое чувство к Сталину, что собственные антисталинские стихи стали казаться ему сталинскими. Почти что любовными.

С чем никак потом не могли согласиться следователи на допросах.

Восемь месяцев провел на Лубянке. И три года в сибирской ссылке.

Он еще долго верил в революцию. До 1957 года.

Но после венгерских событий понял: коммунистической логикой можно оправдать все, что угодно.

И тогда почувствовал: если так близко видел Дьявола, то есть и Бог. Очень многие пошли за дьявольщиной самоутверждения. И мало кто вернулся. Дьявол легко не отпускает.

Наум Коржавин вернулся.

А потом была эмиграция. («Безнадега замучила. Невыносимо тошно, душно стало».)

Уехал доживать. Уехал умирать. А было ему всего сорок восемь лет.

И все-таки в его эмиграцию никто не верил. Говорили: «Ну какой Коржавин эмигрант? Он просто переместился в пространстве».

В Америке Наум Коржавин жил и живет Россией. Только ею.

России посвящены все его стихи и эссе.

Недавно Коржавин написал большое эссе «Генезис “стиля опережающей гениальности” или миф о великом Бродском». Впрочем, эта работа не только и не столько о Бродском. Скорее — о вкусе и стиле, о таланте и поклонниках, о личной ответственности. А также о «забубонах» от которых надо избавляться.

В этом томе собраны эссе Наума Коржавина о проблемах трудной истории XX века и о сущности того, что всегда было главным в жизни автора — поэзии.

Зоя Ерошок, обозреватель «Новой газеты»

В защиту банальных истин

О поэтической форме

В последнее время в печати появилось немало статей о поэзии. Но далеко не все из них, на мой взгляд, ставят коренные вопросы, от которых зависит развитие современной поэзии.

В этом отношении выгодно отличается статья Б. Рунина «Спор необходимо продолжить» («Новый мир», № 11, 1960). Статья А. Меньшутина и А. Синявского «За поэтическую активность», опубликованная в первом номере журнала (№1, 1961), тоже радует точностью многих оценок, в общем правильным и умным пониманием поэзии и ее задач. Но мне кажется, что авторы не полностью освободились от влияния ходячих и неверных концепций, против которых, собственно, и направлена их статья.

Например, такие черты в поэте, как «нескрываемый пафос самоутверждения, желание обратить на себя взгляды публики», они относят к его лирическому характеру. А так ли это? Скорее, эти черты заглушают характер, не давая ему пробиться наружу.

Далее в статье говорится: «Правда, Вознесенский нередко дерзит и задирается, а иногда — что несколько хуже — впадает в крикливость, кокетничает... но, в конце концов, это искупается его энергией, бодростью, экспрессией...».

Между тем, дерзость и задиристость, крикливость и кокетство не могут искупаться энергией и бодростью, потому что при этих условиях энергия и бодрость не могут быть подлинными; экспрессия же тем более ничего не искупает, она только усиливает качества стихотворения, в том числе и фальшивые.

Не надо думать, что эти обмолвки маловажны. Если они, может быть, являются обмолвками для авторов статьи, то для многих такой взгляд определяет понимание поэзии.

Кстати, должен оговориться. Моя статья не обзорная. Она посвящена главным образом выяснению смысла (но отнюдь не формулированию) некоторых важных понятий, употребляющихся при разговоре о поэзии. Что же касается цитируемых авторов, то я выбирал стихи только таких поэтов, чье творчество и чьи имена хорошо известны людям, читающим стихи, и пользуются среди них заслуженной популярностью. Статья ни в коем случае не претендует на то, чтобы выразить мое отношение ко всему их творчеству, так же, как и на то, чтобы дать картину всей советской поэзии или каких-либо ее участков.

Я глубоко убежден, что работе многих поэтов мешают ошибки именно общие, теоретические, изначальные, хотя нет людей, более боящихся всякой теории, чем поэты.

Мне кажется, что основное заблуждение, тормозящее развитие поэзии, состоит в следующем. Многие и многие, особенно молодые, поэты считают, что поэтическая форма — это определенный способ обработки материала (то есть чувств, мыслей, впечатлений). Отсюда: поэзия есть любой материал, подвергнутый этому определенному способу обработки. Что же такое «способ обработки»? А вот!

Нужно не рассказывать, а показывать. Не разжевывать все до конца, а кое-что оставлять читателю для самостоятельной работы, не договаривать, оставлять в подтексте.

Нужно все говорить не в лоб, а образно: поэзия, как и всякое искусство, — мышление образами... А что такое образы? Метафоры, сравнения и эпитеты.

Чем больше в твоих стихах эпитетов, метафор, сравнений и деталей, и чем они свежее — тем лучше стихи. С художественной стороны. Потому что все это элементы формы, а без формы нет искусства, нет художественности.

К этим требованиям некоторые добавляют еще одно — новаторство. Стихи должны удовлетворять и соответствовать мышлению человека атомного века (пятьдесят лет назад говорили — века железных дорог и электричества), которое так же не похоже на мышление человека XIX века, как ракета на телегу. Впрочем, самого мышления эти требования касаются мало, больше всего они касаются модернизации вышеперечисленных элементов формы: рифмы должны быть предельно не похожи на все бывшие в употреблении, ритмы (практически — размеры) тоже и так далее.

Правда, последнее мнение не всеобщее. Другие считают, что, наоборот, все эти новшества — изобретение гурманов, и что они отрывают поэта от простого человека, которому нужно что-нибудь для «души», привычное, традиционное.

Кто из людей, работающих или пытавшихся работать в поэзии, в свое время не получил этого перечня правил в качестве секрета художественности и не сталкивался с этими двумя противоположными мнениями на сей предмет?

Но так ли уж противоположны эти мнения? Те и другие сходятся в одном: чувства и мысли есть у всех людей. Весь вопрос в том, как облечь это содержание в художественную форму, как выразить его «поэтически».

Поэты (согласно такому взгляду) — это как раз те люди, у которых стихи бывают хорошими не только по содержанию (что общедоступно), но и с художественной стороны, то есть люди, владеющие формой.

Так и получается, что поэтическая форма оказывается просто комплексом приемов, особым способом обработки материала (любого материала), а сама поэзия — тем

же любимым материалом, подвергнутому этому особому способу обработки.

Но, кроме того, известно, что именно в форме проявляется характер, индивидуальность, эмоциональность и прочие действительно необходимые элементы искусства. Ну и что ж? Считается, что все эти качества автоматически присутствуют, раз есть этот комплекс приемов.

Рифмованное письмо или заметку в стенгазете никто не сочтет поэтическим произведением. Рифма — недостаточное условие для этого. Но если то же письмо с тем же, как принято говорить в кибернетике, количеством информации написать более вычурно, снабдить зрительными образами и деталями, да еще придумать какой-нибудь ход, игру, многозначительную концовку, подвергнув более сложной обработке, то такое произведение многими, очень многими будет считаться поэмой, балладой, лирическим стихотворением.

Устойчивости этих заблуждений сильно способствует и терминологическая путаница.

Форма, содержание, современность, образ, деталь — все это понятия, имеющие различные, зависящие от контекста значения. Но часто в какой-нибудь общеупотребительной формуле, соединяющей два-три таких понятия, они берутся из контекстов, не имеющих между собой ничего общего.

Нет, пожалуй, ни одного понятия, которое сильнее пострадало бы от такого способа мышления, чем простое и объемное понятие — форма. Но что это такое — форма?

1. О детали, целом и тайнах экспрессии

Перед нами стихотворение поэта Андрея Вознесенского «Свадьба».

Выходит замуж молодость
Не за кого — за что,
Себя ломает молодость
За модное манто.

За золотые горы
И в серебре виски.
Эх, да по фарфору
Ходят сапоги!

Где пьют, там и бьют —
Чашки, кружки об пол бьют,
Горшки — в черепки,
Молодым под каблуки.
Брызжут чашки на куски:
Чье-то счастье —
В черепки!

И ты в прозрачной юбочке,
Юна, бела,
Дрожишь, как будто рюмочка
На краешке стола.
Улыбочка, как трещинка,
Играет на губах,
И темные отметинки
Слезинок на щеках.

Где пьют, там и льют —
Слезы, слезы, слезы льют...

Есть в этом стихотворении форма или нет ее? Конкретно оно или расплывчато? Образно или риторично? Эмоционально или рассудочно? Отражает современное мышление или архаичное?

Думаю, что многие читатели страшно удивятся: как можно вообще задавать такие вопросы? Разве это не очевидно? Конечно, есть форма, и притом яркая. Конечно, стихотворение конкретно, образно и эмоционально. И уж конечно отражает современное мышление.

На первый взгляд эти читатели правы. С точки зрения правил, изложенных в начале статьи, здесь все в порядке: есть детали, образы, все не рассказывается, а показывается. Стихотворение написано изобретательно, и как будто эта изобретательность и богатство средств выражения соответствуют эмоциональной задаче, подчеркивают происходящую трагедию.

Но есть ли здесь сама трагедия? Вспомним первые шесть строчек:

Выходит замуж молодость
Не за кого — за что...
и т. д.

Что ж, сказано броско, резко. Но что остается от этих строк? Остается только следующее: замуж надо выходить не за что-то, а за кого-то. В данном случае происходит наоборот. Автору это не нравится. Автор осуждает. Итак, остается... сентенция.

— Поймите, так хорошо написанное стихотворение — и вдруг сентенция. Неправда... Смотрите: «себя ломает молодость» «за золотые горы и в серебре виски». Разве это не детали, не образы?

— Образы чего? Детали чего? Какого целого? — спрошу я и вряд ли получу вразумительный ответ на свой вопрос.

Не правда ли странно, что, так часто произнося слово «деталь», можно забыть, что деталь только тогда деталь, когда есть или подразумевается какое-нибудь целое. А целое, вероятно, это все-таки личность автора, его цельное восприятие, заинтересованность в том, что он говорит, ибо он в этот момент решает нечто важное не только для читателя, но и для себя самого.

И тогда детали — это такие подробности, на которых останавливается его обостренное (в данный момент и по данному поводу) зрение. Детали *переживания*, лежащего в основе стихотворения. Бывает, что деталь выражается через эпитет, метафору, сравнение. Почему-то в таких случаях деталь называют образом, и этим словом как бы подтверждают, что у автора есть образное мышление. Выходит, что формула «искусство — мышление образами» означает мышление метафорами и сравнениями. А между тем это разные вещи.

Значение деталей огромно. Точно зафиксированные в сознании автора и верным тоном переданные в стихо-

творении, они непосредственно сообщают читателю зрение и восприятие автора, ставят его на авторское место, придают достоверность переживанию.

Итак, деталями какого целого являются выражения «не за кого — за что» и т. д.? Что они добавляют к тону сформулированной нами сентенции?

Может быть, некоторую экспрессию, внешний блеск, но более ничего. Это, скорее, не детали восприятия или переживания, а полемические приемы.

Но кто же станет всерьез полемизировать с положением: не выходи замуж по расчету — загубишь молодость? Никто. Даже тот, кто так поступает. Здесь, видимо, должна быть важна не сама мысль, а то, из какого опыта она добыта. Но этого в стихотворении пока нет.

Об авторе пока известно только, что он противник браков по расчету и умеет об этом говорить красиво. Все остальное, как уже сказано выше, — экспрессия.

А экспрессия — совсем не чувство, хотя и часто принимается за таковое. Чувство отличается от нее тем, что оно содержательно и определено личностью автора. Разумеется, чувству может быть свойственна и экспрессия. Она усиливает то или другое чувство, но сама по себе оставить след в душе читателя не может. Она оглушает, действует на нервы, но не волнует. Это неподтвержденный темперамент, темперамент, не имеющий оснований.

У Бенедиктова экспрессии было больше, чем у Пушкина.

Но довольно об этом отрывке. Может, дальше откроется что-нибудь новое, и все станет на место? Посмотрим следующие восемь строк.

Эх, да по фарфору
Ходят сапоги!..
и т. д.

Трагедийно, резко, здорово! И все-таки абсолютно абстрактно. Какое счастье на куски и почему? Кто его зна-

ет, может быть, счастье в данном случае в том и состоит, чтобы получить манто? И какое отношение имеет к этому автор и должен иметь читатель? Но за грохотом каблуков ничего не понятно, да и не до того, чтобы понимать. Можно только восхищаться или удивляться.

Автор просто начал описывать обстановку и действие в деталях (но в деталях внешней обстановки), считая, что таким образом придает прозаическому описанию поэтический характер. Трагедия — здесь тоже деталь внешней обстановки, она происходит с кем-то, а не с автором или с его чувством. Она существует вне образа, вне автора, взята им только в назидание. А назидание — это внешняя задача, а не внутренняя суть произведения. Правда, модернизированный стих маскирует прозаический характер описания, создает опять-таки экспрессию, но он не в силах изменить его существо.

Кроме того, за громом каблуков и собственной техники автор не заметил, что описываемая им свадьба, хоть она и не «рассказывается», а показывается, вовсе не та, где молодость выходит «за модное манто», а по всей обстановке старинная, купеческая, во всяком случае стилизованная.

Кстати, о принципе «не рассказывать, а показывать». Этот принцип, который так важен в прозе, на мой взгляд, не имеет никакого отношения к поэзии. Есть стихи, где обо всем рассказывается, есть, где все показывается, есть, где не рассказывается, не показывается, а намекается... Есть стихи, представляющие собой изложение мысли или ряда мыслей. Суть не в этом. Суть в том, как воплотить данное чувство, данное отношение так, чтобы поэзия, открывшаяся автору в его чувстве, была выражена наиболее точно и полно.

Поэзия не показывается и не рассказывается. Она *выражается* — так, как того требует в каждом данном случае восприятие автора. Здесь его пока нет.

Личное восприятие поэта, его заинтересованность появляются в следующей строфе:

И ты в прозрачной юбочке,
Юна, бела,
Дрожишь, как будто рюмочка
На краешке стола.

Это действительно талантливая строфа, составляющая эмоциональный центр стихотворения.

Здесь действительно что-то почувствовано. За строчками начинает ощущаться взволнованный голос человека. Унижение человеческого достоинства, трагедия юного существа, проданного богатому старику, — тут есть от чего захолонуть сердцу. Но ведь в начале говорилось не о проданной, а о продавшейся девушке. Неужели это об одной и той же? Странно...

Но допустим, она действительно добровольно «выходит за манто». Как же это случилось? Может быть, у нее были причины, которые вызовут наше сочувствие и имели право вызвать участие автора? Трудно себе представить — не те времена, — но допустим.

Однако нам об этом пока ничего не известно и не станет известно до конца стихотворения. Мы знаем, что она юна и бела, что наряжена (скорее всего, злые люди ее так нарядили) в прозрачное платье — напоказ. Жалко ее...

Но, с другой стороны, зато и манто куплено, зато и квартира дадена, затем и пир горой. Сделка честная, полюбовная. Себя ломает молодость... знает за что...

А тогда откуда трагический тон и сочувствие? Что в этой рюмочке? Чай, и душа есть. Что она теряет теперь, и что мы в ней теряем? Неизвестно. Может быть, она представлялась автору другой, а оказалась такой? Тогда и стихи надо было писать об этом.

Может быть, в этой строфе замысел стихотворения, которое Вознесенский должен был написать вместо «Свадьбы», а он себя оглушил громом собственной техники? Может быть!.. «Вытащить» стихотворение из себя в том самом виде, в котором ты его почувствовал, — трудно. Нужно остро ощущать его форму, а это легко не дается.

Гораздо легче ходить вокруг да около по эффектной «своей» дороге.

Следующая строфа («Улыбочка, как трещинка, играет на губах...»), а также чувствительный конец ничего ни к стихотворению, ни к проблемам, которых оно касается, не добавляют. Теперь надо ответить на вопросы, поставленные в начале разбора этого стихотворения. Конкретно ли оно? Нет, расплывчато. Не чувствуется ни конкретный повод (а значит, проблема, образ), ни предмет, о котором пишется.

Образно ли оно? Нет, потому что отсутствует автор, его чувство, его заинтересованность.

Эмоционально ли оно? Нет, рассудочно, так как представляет собой попытку поэтизации сентенции.

И уж конечно его форма не проявляет современного мышления, так как не проявляет ничего реального.

И вообще когда говорят наперед о том, что именно свойственно современному мышлению и какие средства выражения должны ему соответствовать, то это звучит, по меньшей мере, странно.

В самом деле, откуда и кому может быть точно известно все, что свойственно современному мышлению? Разве открытие этого каждый раз заново не является основной задачей акта художественного творчества? И разве до того, как художник сделал это открытие, можно решить, как ему надо будет об этом говорить?

Яростно ратуя за свободу творческой личности, модернизм фактически не только крайне жестко ограничивает ее, но и вмешивается в святая святых художника, в поиски средств выражения, в творческий процесс.

Под угрозой обвинения в несамостоятельности находится каждый, кто ищет не так, как, по распространенному мнению, должен искать себя самостоятельный и самобытный поэт.

Но если наперед известно, что искать, как искать и даже что при этом найти, то в чем заключается роль художника?

2. Есть ли образы у Пушкина?

Я разобрал стихотворение Вознесенского, чтобы показать, что «свод правил», о котором говорилось в начале статьи, сам по себе абсолютно беспредметен и заводит поэта в схоластические дебри; он дает ему иллюзию творчества, отвлекая от настоящего творчества, и иллюзию полного владения формой при абсолютной формальной разболтанности.

Но откуда он взялся, этот «свод правил»? Это убеждение в необходимости эпитетов, зрительных деталей во что бы то ни стало и так далее? Неужели он был всегда? Посмотрим. Начнем с Пушкина.

Я вас любил: любовь еще, быть может,
В моей душе угасла не совсем;
Но пусть она вас больше не тревожит;
Я не хочу печалить вас ничем.
Я вас любил безмолвно, безнадежно,
То робостью, то ревностью томим;
Я вас любил так искренно, так нежно,
Как дай вам бог любимой быть другим.

Я люблю это стихотворение. Большинство читателей этой статьи, вероятно, тоже. Это одно из лучших стихотворений в русской — и наверное в мировой — поэзии.

Но странная вещь. В этом стихотворении нет ни одной зрительной детали, ни одного «образа», все говорится «в лоб»: я вас любил безмолвно, безнадежно; любовь еще не совсем угасла и т. д. и т. п.

Подтекст? Во всяком случае, подтекста в том смысле, как он обычно понимается, здесь тоже нет. Здесь ни о чем не умалчивается, ни на что не намекается. Все, что можно было сказать, высказано прямо, без всяких ухищрений.

— Да! Да! Конечно. Вы правы, — слышу я в ответ. — Но ведь когда это было написано! Теперь техника стихосложения выросла...

— Я пишу лучше Пушкина, — сказал мне однажды, загадочно улыбаясь, один молодой, бойкий и не очень умный поэт, занимавшийся формальными поисками (одному только богу известно, чего он искал).

— Не хвастай.

— А я не хвастаю... Конечно, Пушкин для своего времени был бóльшим поэтом, чем я для своего. Но ведь с тех пор поэзия ушла далеко вперед... А у меня стих современный. Вот и выходит, что я пишу лучше Пушкина.

Этот поэт рассуждает несколько простовато, но куда последовательнее, чем многие его единомышленники.

Но все-таки я думаю, что большинству читателей приведенное стихотворение Пушкина нравится без всяких скидок на время, непосредственно, как и должно нравиться произведение искусства.

Так в чем же дело? Почему приемы, считающиеся обязательными для нас, необязательны для Пушкина? И что же это за мышление образами в стихотворении, лишенном образов и деталей? Ведь формулу «искусство — мышление образами» придумали не модернисты. Она закон и для Пушкина. Но в самом ли деле это стихотворение лишено образов и деталей? В нем нет метафор, сравнений и эпитетов, по крайней мере, свежих (выражение «любовь угасла» в каком-то смысле тоже метафора, но ни нами, ни современниками Пушкина уже так не воспринималась), а вот образы... Или, вернее, образ — всего один! — есть... Какой образ? А образ самого поэта, образ любви, рожденный из глубины его существа. Все стихотворение является воплощением образа. Все его элементы, каждая строчка, каждая деталь, каждое слово, которое в этом контексте тоже является деталью, — все это средства выражения данного образа. Но что такое образ? «Берется кусок мрамора, и отсекается все лишнее» — так, по известному выражению, создается скульптура. В поэзии этим «куском мрамора» являются чувства, переживания, сама жизнь поэта.

А вот тот *образец* в душе и сознании, по которому из этого куска мрамора высекается скульптура, и есть, по-

моему, образ. В задачи этой статьи не входит точное формулирование смысла философских и эстетических категорий. Мне просто хочется выяснить, о чем же все-таки идет речь, когда произносится тот или иной термин. Но даже из того, что я пытался здесь сказать, ясно, что понятие «образ» означает совсем не то, что под ним обыкновенно (в разговорах о поэзии) понимается, не то, «что у обывателей называется “образами”» (А. Блок). Что это понятие относится к *общему замыслу*, а не к *частностям исполнения*. Для того чтобы воплотить такой образец в мраморе или в слове, его нужно иметь, нажать, выработать в себе. Это трудно. Но без этого нельзя. Ведь искусство и в самом деле есть мышление образами.

Но вернемся к стихотворению Пушкина. В нем нет ничего лишнего. Сообщается только то, что можно выразить в данный момент, в момент прощания. И в то же время сказано все, что надо. Любое излишество, усложнение, любая аффектация разрушили бы естественность образа, и все казалось бы претензией выглядеть благородно чувствующей личностью... Ведь даже испытывая на самом деле подобные чувства, легко плениться собственным благородством и «заболтаться». Но с Пушкиным этого не произошло. Ему не изменило чувство меры.

И вот мы уже не присутствуем при прощании, а сами прощаемся с любимой, единственной и прекрасной. А она прекрасна. Об этом свидетельствует и благоговение, с которым о ней говорится, и то, что ей не льстит, ее тревожит и печалит любовь, на которую она не может почему-то ответить. И испытываем чувство, которого, может быть, нам ни разу в жизни не удалось испытать, но потребность в котором есть у каждого человека:

Я вас любил безмолвно, безнадежно,
То робостью, то ревностью томим...

Но это еще не все. И даже не самое главное. Все на самом деле еще светлее и трагичнее:

Я вас любил так искренно, так нежно,
Как дай вам бог любимой быть другим.

Этой фразой круг замыкается. Сказано все. Но нелегко произнести такую фразу любящему человеку. И Пушкин произносит ее очень нелегко. В сущности, все стихотворение — путь к этой фразе. Поэт как бы не решается ее выговорить, дойти до такого самоотвержения в любви (ведь любовь — это жажда и своего счастья).

Но это самоотвержение все время чувствуется, бьется под каждой строкой стихотворения и только в конце вырывается на поверхность. Вот это постепенное выговаривание чувства и создает эмоциональную конструкцию стихотворения.

Конечно, есть в этих последних строках и горький привкус: предчувствие, что такой надежной и верной любви героине уже не встретить. Но этот привкус только придает достоверность главному: дай вам бог быть именно так любимой другим...

Стихотворение построено на деталях, хотя и не зрительных. Деталью является все, что сообщает автор о себе и своей любимой, все, что определяет характер чувства, то есть образ. Умение остановить внимание именно на тех подробностях, которые с наибольшей полнотой выражают поэтическое чувство, умение найти именно такой момент (то есть сюжет), где эти подробности наиболее естественно связаны между собой, то есть умение чувствовать образ и чутко ему подчиняться, воплощая его, — это и есть, на мой взгляд, формальное мастерство. И найти все это — значит, найти форму.

И сколько есть в этом стихотворении такого, чего нет в восьми строчках текста.

Многие современные поэты иногда слишком уповают на слово «подтекст», причем понимают его примитивно, как, допустим, намек на умолчанные обстоятельства, невысказанную мысль и так далее. Между тем подтекстом является все то, что связано с мыслью, конкретным чувст-

вом, породившим стихотворение, но присутствует в нем незримо, как бы не имея к нему прямого отношения. Без такого подтекста нет поэзии. Но кроме подтекста должен быть текст, максимально ясный и вполне законченный.

Но может быть, мы воспринимаем стихотворение Пушкина так непосредственно потому, что оно вневременное, не связанное со своей эпохой?

Что вы! Оно все рождено своим временем, героем своего времени. Здесь, конечно, не трактуются важные общественные проблемы, но оно связано со строем чувств людей, трактовавших эти проблемы. Человек, ищущий гармонии в обществе и в личной жизни, выражается в этих стихах. Эта потребность в гармонии, может быть, и привлекла многих товарищей Пушкина на Сенатскую площадь.

Нет! Это стихотворение целиком лежит в своем времени, но оно касается таких глубин человеческого духа, которые непреходящи. Оно написано языком, естественным для своего времени, для автора. И эта естественность речи дает нам возможность воспринимать его непосредственно и сегодня, не задумываясь над тем, каким языком это написано. Даже если бы в нем были устарелые формы и слова.

Я не спорю с тем, что если бы сегодня о таких чувствах попытаться написать стихотворение точно таким языком, то оно не получилось бы естественным, не отражало бы строй современного восприятия, не было бы достоверным. Но и наши стихи должны быть столь же естественны, как и пушкинские, и их средства выражения должны быть так же точно связаны с восприятием, хотя с восприятием нашим, а не с таким, какое было тогда.

Подражательное стихотворение плохо не потому, что знатоки поймут, кому подражает автор, а потому, что во всем будет обязательно присутствовать какая-то вторичность, неподлинность. И это будет очевидно даже в том случае, когда тот, кому подражает автор, неизвестен.

Важно, слышится ли голос человека в стихах или стихи заглушают этот голос. Те стихи, которые заглушают голос, слабы по форме, вовсе не имеют формы, даже если

их авторы владеют стихом виртуозно. И несамостоятельны, даже если ни на что не похожи.

3. «Водопадные каскады» и сухая схоластика

«Поэма Блока «Двенадцать» потрясает водопадным каскадом ритма, смятием, столкновением человека с веком и историей. После пушкинского «Медного всадника» это самая сильная поэма, где с такой силой зазвучало утверждение: человек историчен!», — пишет поэт Виктор Боков в статье «Не могу согласиться!» («Литературная газета» от 12 декабря за 1959 год).

Слишком поэтично, я бы сказал, пишет. Как это так — «потрясает водопадным каскадом ритма...»? И сразу же без перехода — «смятием, столкновением человека с веком и историей». Видимо, он хотел сказать, что смятение и столкновение человека с веком и историей воплотились в самих ритмах поэмы. Что ж, это правда. Во всех хороших поэмах всегда присутствует соотношение человека с веком, историей, и это соотношение воплощается в ритме, во всем организме поэмы.

Но прочтем дальше: «Гораздо меньше нравится мне блоковское «Возмездие» из-за недостаточной самостоятельности формы. Сам Блок долго держал эту поэму в столе и не публиковал...».

Сказано, по крайней мере, откровенно. Дело не в том, какая из поэм Блока нравится Бокову больше. Дело в причинах, из-за которых это происходит. Как известно, смятения и столкновения человека с веком и историей много и в поэме «Возмездие». Более того, она прямо трактует все эти вопросы. Значит, дело не в том, что там их нет. Дело просто в отсутствии в ней «водопадного каскада ритма», или, иными словами, богатства ритмических переходов, свойственного «Двенадцати».

Вероятно, именно этот «каскад», по мнению Бокова, и заставляет почувствовать, что человек историчен.

В. Боков искренне уверен, что истины, которые он исповедует, были так же ясны Блоку, как и ему самому. «Сам Блок долго держал эту поэму в столе и не публиковал...». Да, действительно, не опубликовывал. Между прочим, и не закончил, никак не мог закончить (за десять лет). Все это правда... Но причины этого лежат в противоречиях эпохи и личности поэта, а не в том, что Боков называет формой. Любой менее чуткий поэт с успехом ее закончил бы, но мы не имели бы того «Возмездия», которое у нас есть. Может быть, неоконченность еще более подчеркивает подлинность поэмы, драматизм ее главной темы и ее форму. Да! Да! Форму!

Форма все равно проявилась, поскольку она есть внутренняя, эмоциональная суть замысла, пусть не до конца воплощенного.

Но Боков говорит не об этом. Он говорит о стихе. А разве стих в «Возмездии» несамостоятелен?

Возьмем две строфы, как будто бы более, чем другие, подтверждающие тезис о несамостоятельности формы.

Дворяне — все родня друг другу,
И приучили их века
Глядеть в лицо другому кругу
Всегда немного свысока.
Но власть тихонько ускользала
Из их изящных белых рук,
И записались в либералы
Честнейшие из царских слуг...

Что несамостоятельного в приведенном отрывке? Размер такой же, как в «Евгении Онегине»? Но сам Боков странно доказывает, что размер и ритм — не одно и то же.

Так что же? Ритм? Интонация? Похоже на Пушкина? Традиционно?..

Да, Пушкин любил говорить раздумчиво-спокойно, любил, так сказать, «формулировать». Но он «формулировал» от самой радости узнавания. И это сказывалось во всем, в самом тоне, даже когда он грустит.

Разве такая ирония была у Пушкина? Пушкин был уверен в прочности связей с жизнью, несмотря на всю трагичность своей биографии. Он бывает ироничен, но эта ирония более легка, что ли. («Веселое имя: Пушкин», — говорил Блок впоследствии.) Все это проявляется и в пушкинском тоне, и в его языке.

А язык поэмы Блока?.. «В лицо другому кругу» или «но власть тихонько ускользала из их изящных белых рук» — ведь это почти язык политического памфлета.

Но «каскадов» ритма в этой поэме нет. Что правда, то правда.

Против любви не попрешь логикой. А Боков любит именно «каскады» как таковые. Правда, иногда эта любовь, как всякая любовь, стыдлива. Можно себя убедить, что это все только для того, чтобы выразить смятение века и истории... Но все эти слова не более чем одежды, прикрывающие схоластическую сущность таких представлений о поэзии. Трудно сказать, сколько душ загубила эта отнюдь не прекрасная дама — схоластика. И чем только привлекает она к себе живые души?

4. «Я» биографическое и «я» поэтическое

А между прочим, понятно чем. Простотой и ясностью. Кажется, что действительно появляются точные критерии в поэтическом творчестве, а если так, то творчество становится доступным и для тех, кому оно обыкновенно недоступно, но кто все-таки на него претендует.

Вместо расплывчатых и пугающих слов «поэзия», «творчество» и так далее появляется вполне определенная, а значит, достижимая, хотя и не очень разумная цель.

К сожалению, иногда это уже вопрос даже не литературный, а психологический. Вопрос восприятия. В результате того, что к стихам предъявляют определенные формальные требования (это называется — уметь разбираться в стихах), у многих утрачивается живое читатель-

ское ощущение стихов. Они перестают быть читателями и становятся «ценителями».

— Да, пожалуй, вы правы, эти стихи холодны и не очень искренни, но как сделаны! — заявляют они, проявляя претензию на тонкое понимание этих вопросов.

Таким образом, иногда поэзия, ее создание и восприятие превращаются в игру с определенными условиями. Одни демонстрируют свое «мастерство», другие страшно довольны, что умеют понимать, в чем тут дело. А зачем эта игра взрослому человеку?

Некоторым кажется, что они таким образом ведут интеллектуальную и духовную жизнь. А по-моему, нет ничего, что так отделяло бы от всякой духовности, чем такое понимание поэзии. Ведь то, что называется содержанием стихотворения (то есть его суть), почитается при этом вещью хотя и серьезной, и важной, но само собой разумеющейся и общедоступной, то есть не стоящей особого внимания.

А между тем поэзия от непоэзии отличается прежде всего *содержанием*.

Попробуем опять показать это на примере.

Вот стихотворение Константина Ваншенкина, много раз печатавшееся и напечатанное в его последнем сборнике (разумеется, я не хочу сказать, что оно определяет все творчество этого поэта, но ведь задачей этой статьи не является определение отношения к творчеству какого бы то ни было поэта в целом):

Ты добрая, конечно, а не злая,
И, только не подумавши сперва,
Меня обидеть вовсе не желая,
Ты говоришь обидные слова.

Но остается горестная метка, —
Так на тропинке узенькой в лесу
Товарищем оттянутая ветка,
Бывает, вдруг ударит по лицу.

Что ж! Стихотворение как стихотворение. Лирическое. Как и в стихотворении Пушкина, видно, что это за люди, и какие у них отношения. Хорошие люди. Дружно живут. Обижают друг друга только случайно, в порядке недоразумения. Но лирический герой настолько чувствительный, тонкий и деликатный человек, что даже от таких недоразумений у него в душе остается горестная метка. Желательно, чтобы героиня больше думала, перед тем, как говорить с любимым, дабы впредь зря в его душе меток не оставлять.

Вот будто бы все «содержание» этого стихотворения. Причем оно и написано так, чтобы читатель даже случайно не заподозрил, что здесь происходит что-нибудь серьезное. «Ты говоришь обидные слова» — но как? — «меня обидеть вовсе не желая», и только «не подумавши сперва». И вообще — «ты добрая, конечно, а не злая».

Что ж! У женщин, даже у любящих, бывает иногда плохое настроение, и они его срывают на любимых, которым, натурально, это неприятно... Но зачем в это посвящать читателя?

Дело, конечно, не в ситуации. Такая ситуация тоже может быть предметом поэзии, если в ней автор увидел что-нибудь выходящее за ее границы, если с частным фактом столкнулось общее отношение поэта к жизни, его идеалы. Она была бы правомерна, если бы в стихотворении речь шла о том, что почему-то из жизни героев исчезает любовь, прелесть которой раскрыта читателю и им ощущается, то есть, если бы на карте стояла судьба больших человеческих ценностей.

О подобных переживаниях поэт М. Львов в стихотворении, где далеко не все соответствует уровню его лучших строк, говорит так:

...Начинаем древний бой,
Древний бой непониманья,
Нелюбви и невниманья...

Это хорошие и точные, очень поэтические строки. В них тоже говорится о частной ситуации, но автор не по-

гружен в нее, а смотрит на происходящее с высоты своих представлений о должном.

В стихотворении же К. Ваншенкина, которое мы разбираем, этой ситуацией ограничен весь смысл переживания. Мы можем в лучшем случае посочувствовать лирическому герою, войти в его положение, наконец — и это самое большее — вспомнить, что и с нами такое бывало. Но и только.

А для поэзии этого мало. Образное мышление есть прежде всего мышление обобщенное. Причем дело не столько в том, что факт, о котором идет речь в стихотворении, должен представлять собой характерное явление. Дело прежде всего в том, что отношение к этому факту должно быть с позиций не частных, случайных, а общих, общественно значимых, высоких.

В данном стихотворении этого нет. Ничему существенному, никаким человеческим ценностям ничего не угрожает. Разве что покой временно нарушен.

Но остается горестная метка, —
Так на тропинке узенькой в лесу
Товарищем оттянутая ветка,
Бывает, вдруг ударит по лицу.

Это сравнение чрезвычайно точно. Действительно, от этого случайного удара веткой остается такой же след, как и от случайных, ничего не значащих слов, то есть никакого следа не остается.

Но «горестная метка», фронтовые ассоциации (лес, узенькая тропинка, само слово «товарищ», поставленное со значением и так далее) — все это как бы поэтизирует материал, придает ему таинственное значение, своеобразную экспрессию. Возможно, лирическому герою кажется, что тон глубокой философской грусти («раздумье» — есть такой хитрый термин в поэтическом обиходе: ни мысль, ни чувство — «раздумье») вполне соответствует значительности переживаний. (Как же! Все-таки покой нарушен.) Нам же это кажется вопиющим несоответствием.

Могут сказать, что фронтовое сравнение, на котором строится стихотворение, — неправомерно и что именно оно разрушает форму. Нам же нарушением формы в этом стихотворении кажется самое обращение к средствам поэзии для передачи его сути.

Да! Именно нарушением формы.

Ибо, когда автор хочет заставить читателя чувствовать там, где у читателя нет оснований что-нибудь чувствовать, где переживание имеет отношение только к автору, а не к жизни всех, стихотворение разрушается. Сразу или спустя какой-то срок.

А ведь здесь речь идет о талантливом поэте, и дело, следовательно, отнюдь не в том, что автор не может или не умеет писать иначе, не способен к обобщенному восприятию, к высокой духовности в лирике.

И если автор все же позволяет себе наряду с другими писать стихи, подобные только что рассмотренным, то причина этого лежит в том, что и он находится в плену тех — на мой взгляд, ложных, но довольно широко распространенных — представлений о поэзии, против которых направлена эта статья.

Путать «я» биографическое и «я» поэтическое весьма лестно. Но Пушкин не путал. Он считал, что пишут и поэтами бывают не всегда, а только тогда, когда требует «к священной жертве Аполлон».

Он говорил о поэте:

Молчит его святая лира,
Душа вкушает хладный сон.
И меж детей ничтожных мира,
Быть может, всех ничтожней он.

Но лишь божественный глагол
До слуха чуткого коснется,
Душа поэта встрепенется,
Как пробудившийся орел.

Как видите, даже жизнь Пушкина не всегда поднималась до такого уровня, когда его слуха «касался божествен-

ный глагол», то есть когда ему вдруг в окружающем открывалось (эмоционально, а не умственно, разум работал раньше, а не в момент творчества) нечто такое важное, высокое, существующее вне его, но внезапно ставшее его достоянием, из-за чего можно было и надо было писать стихи.

Как видите, даже его душа могла встрепенуться, как пробудившийся орел, то есть прийти в творческое состояние, в творческое волнение (которым и поныне заражают нас его стихи) не всегда. Быть в таком состоянии, быть «пробудившимся орлом» и значит для поэта быть в форме.

Владеть формой — значит уметь осознать это состояние и зафиксировать его так, чтобы чувствовался вызвавший его «божественный глагол», то есть поэзия.

Вообще поэтическая форма больше похожа не на форму одежды, которую человек может выбрать по своему произволу, а на ту, в которой он себя ощущает, когда говорит: «Я в форме».

Мы часто повторяем, что поэты должны быть индивидуальны, не похожи друг на друга. Это правда. Но еще чаще мы забываем о другом: поэты бывают разные, разные вещи заставляют их быть в форме, различное содержание их волнует, но при всем различии есть у них одно общее — это высокое отношение к жизни, к себе, к народу, к обществу, к природе, это особая мера вещей, та мера, в которой происходит утверждение человека в его человеческой сущности.

И если мы говорим, что история есть процесс очеловечивания человека, то в искусстве, в частности, в поэзии, и воплощается этот дух истории.

Не может быть мещанской поэзии, потому что мещанство — это приспособление к звериности, замаскированная звериность. Мещанство и поэзия — слова, взаимно исключают друг друга, хотя мещанские стихи бывают, и, к сожалению, довольно часто.

Когда жизнь не соответствует этому высокому отношению, поэты трагичны, когда соответствует — светлы и радостны, но, так или иначе, в стихах должно быть запечатлено это отношение.

Это отношение, эта мера тоже меняется в процессе истории, но вечна ее сущность: она — мера прекрасного.

Причем не надо думать, что высокое отношение к жизни, о котором я говорил выше, это отношение субъективное. Нет, это отношение как представление о прекрасном, о должном вырабатывается классом, народом, человечеством в течение всей истории. Оно существует, это отношение, хотя не каждый честный человек всегда способен жить на этом уровне. Поэты — люди, которые острее чувствуют это в объективном мире.

Таким образом, поэт не просто сообщает читателю о том, что он считает поэтическим, а ведет его к этому теми же путями, которыми идет сам. Посредством деталей он передает нам свое восприятие жизни и, следовательно, свою индивидуальность. А в его индивидуальность включается все — историческая эпоха, страна, в которой он живет и многое другое. Все это проявляется в том, как автор воспринимает описываемое, и это обязательно должно присутствовать в стихотворении. Без этого оно недостоверно, а следовательно, его нет.

К. Маркс в статье о прусской цензуре писал о том, что истина всеобща и что здесь он не волен. Он него зависит только форма постижения этой истины. Мне думается, что это относится и к поэзии. Она, как и истина, существует объективно, в жизни. Поэты только постигают ее. Запечатленный процесс ее постижения и есть форма.

Как мы видели на примере пушкинского стихотворения, для того чтобы сообщить произведению эмоциональность, поэтические детали далеко не всегда должны быть зрительными и физически ощутимыми. Иначе говоря, не обязательно, чтобы они обращались только к «памяти» физических чувств человека, к его чувственному опыту.

Поэзия обращается не к отдельным чувствам, не к арифметической сумме, а к тому, что получается в результате взаимодействия опыта не только всех чувств, но и опыта разума, его представлений, надежд, обольщений, побед и поражений, — к тому, что является сущностью личности и в просторечии именуется «душой».

Поэзия — не отсутствие ума, она разумна по своему существу. И в то же время она эмоциональна. В этом противоречии нет ничего удивительного и странного. Мышление тоже процесс эмоциональный. Поэзия — проявление человеческого духа, а его нельзя представить себе без осмысления событий, времени — без разума.

— А вот Пушкин считал, что поэзия должна быть глуповата! — слышу я чей-то ехидный и радостный возглас.

Да, есть у него похожее высказывание. Вот оно: «Твои стихи к Мнимой Красавице (ах, извини: Счастливнице) слишком умны. — А поэзия, прости господи, должна быть глуповата...». Оно взято из частного письма, написанного Вяземскому в мае 1826 года, употреблено в шутку (это видно из общего характера письма) и не претендует на то, чтобы быть законом. Меньше всего эта фраза может считаться принципом творчества самого Пушкина. Просто в такой форме он говорил, что стихотворение Вяземского «К мнимой красавице» слишком рассудочно, задано, тенденциозно — и потому недостоверно. Письмо было частным, переписывающиеся хорошо знали друг друга и знали, о чем идет речь.

Да и вообще, как может прийти в голову, что простое присутствие мысли в произведении могло показаться чрезмерным автору «Евгения Онегина», «19 октября», «Наполеона»? Человек, написавший «Да здравствуют музы, да здравствует разум!» очень огорчился бы, если бы узнал, что его слова могут быть употреблены для войны с разумом... Во всяком случае, он бы более осторожно писал свои частные письма.

Стихи могут быть о любви, о каком-нибудь мимолетном впечатлении, а образ человека, испытывающего чувство любви, должен быть образом человека значительного, прекрасного, до которого хотелось бы возвыситься. А для этого он должен стоять на уровне передовых представлений своего времени, быть в курсе его достижений, надежд, разочарований — всего, что создает эмоциональный облик человека и определяет характер самых интим-

ных и «вечных» чувств. Это и есть эмоциональное отношение к миру, без которого невозможно искусство.

5. Откуда это пошло?

И все-таки у взглядов на поэзию, которые мне кажутся нелепыми, против которых и написана эта статья, есть своя история, и не всегда они были такими беспочвенными, как сейчас.

Наши классики, уделяя очень много внимания форме, «вопросами формы» в чистом виде почти не занимались. Не занимались они в связи с этим и «проблемами новаторства», хотя каждый следующий поэт был новым не только по сути, но и по форме.

Но тут нет ничего удивительного. Тютчев и по существу мало похож на Пушкина, а Некрасов — на Тютчева. Им оставалось только точно почувствовать и выразить свое существо. Что они и делали.

Нельзя сказать, что они не употребляли тропов.

«Безумных лет угасшее веселье мне тяжело, как смутное похмелье» — это, конечно, сравнение. Но попробуйте даже в пересказе обойтись без него. И сразу станет ясно, что оно употреблено не для красоты, а ввиду полной невозможности сказать иначе. Непонятно будет, о чем идет речь. Это просто формулировка душевного состояния.

Но совершенно иначе стали понимать средства выражения поэты-декаденты. Для них средства выражения начали приобретать самостоятельную ценность.

Большое значение придавали они личности поэта. Но это слово «личность» они стали понимать чрезвычайно узко. Они забывали, что само понятие «личность» — понятие общественное. Что только по отношению к обществу можно осознать себя личностью. Что далеко не всякого человека можно назвать личностью, так же, как не каждое душевное движение настоящей личности представляет общественный интерес.

Для декадентов поэт — представитель потустороннего мира, более высокого, чем реальный, и поэтому даже самое низменное проявление его души представляет интерес, и можно о нем говорить красиво и таинственно.

Разумеется, все было не так просто, как я сейчас пишу. У всего были свои причины. И отделенность от мира, сугубое внимание к собственной личности не всех поэтов радовало возможностью почувствовать себя над людьми; для иных это было страданием, бедой. Поэзия жила, конечно, и в это время. Ибо поэтические натуры оказывались сильнее обстоятельств и на практике опровергали собственные же заблуждения.

Но эта эстетика, в которой главным было создание особого, не имеющего ничего общего с реальным, мира, создание языка, понятного лишь посвященным, тогда утвердилась. Отсюда требование преувеличенной экспрессии, представлявшейся некоей таинственной и волшебной силой, обязательно непрямым высказываний и так далее.

Я считаю, что пристальное внимание к частностям, к средствам выражения, к зрительности, к непрямому показу идет оттуда — от субъективной поэзии начала века и от декадентского творчества.

Очевидно, из этого же периода истории нашей литературы уцелела фраза «в художественном отношении». Как будто художественность — это только сторона художественного произведения! Художественность вообще мыслилась тогда как сепаратный мир, у которого свой язык, свой жаргон. И оттуда уже мог родиться вульгарный взгляд на поэзию, как на особым образом оформленный материал.

Я думаю, что люди, первыми объявившие так называемый «традиционный стих» устаревшим, говорили искренне. Он их действительно сковывал, так как был создан для выражения объективной сути, объективной меры прекрасного. Эти люди с этим объективным прекрасным не имели и не хотели иметь ничего общего. (Сегодняшние наши ниспровергатели традиционного стиха занимаются этим, как мне кажется, из чистого эпи-

гонства, без всяких внутренних оснований и причин.) Они считали прекрасным любое проявление своей личности, поэзией — любое свое желание, а «традиционный» стих не соответствовал этому.

Вот из-за чего такие поэты начали ломать форму, ломать стих, заражая своей мнимой революционностью даже талантливых людей. Произвол расцвел пышным цветом. Стало невозможно отличить, кто на самом деле иначе не может, а кто попросту иначе не умеет.

Впрочем, мне кажется, что тут в основе лежит какое-то притворство перед собой: сами себя уговорили в важности своих персон.

Я знаю, что некоторым радикально мыслящим литераторам могу показаться ретроградом. Мне же ретроградной кажется их радикальность. То, что они говорят, уже было, и даже довольно давно было, и оказалось — увы! — недолговечным. Сегодня такие взгляды уже начинают казаться инерцией и эпигонством.

А каноны — что ж! — каноны можно и нарушать. Но очень осторожно: надо иметь в виду, что они отнюдь не «форма» того или другого поэта, а нечто более общее и длительно действующее. И если их разрушать, то только обоснованно. Впрочем, в таких случаях это, вероятно, очевидно и не вызывает сомнений. Превращать же это нарушение канонов в канон бессмысленно.

Стихи предельно ясные есть идеал поэзии. Идеал не всегда возможный, ибо поэзия даже настоящим поэтам не всегда дается легко и непосредственно. Более того, бывают целые эпохи, когда значение субъективных моментов очень велико, и поэзии в целом свойственна сложность. Но настоящие сложные стихи, по-моему, это те, из которых не удалось сделать простые при всем желании: это такие стихи, когда поэту приходилось *пробиваться* к поэзии сквозь толщу антипоэтических наслоений, связанных с характером его эпохи. Следы этого неизбежно остаются на стихах.

Но поэт даже в антипоэтическом, безобразном, негармоническом мире — «агент» прекрасного, гармонии.

Он может воспринимать мир как дисгармоничный, но это все-таки столкновение дисгармонии с гармонией, а не с дисгармонией же. О безобразии он судит с точки зрения прекрасного.

Многие писатели Запада говорят по этому поводу: что же делать, если жизнь нас делает дисгармоничными? Тут можно ответить одно: сопротивляться разрушению личности. Сопротивляться до конца, а не пытаться находить точные формы воплощения для этого разрушения.

Когда человек не в силах сопротивляться, он может быть правдивым, его разрушенная форма может точно выражать отсутствие гармонии в нем самом, но эта правдивость и точность будут только доказывать то, что поэтом он быть не может.

Поэзия на Западе теряет читателей как раз из-за своей крайней субъективности и в форме, и в сути, и даже в целях.

Разумеется, форму нарушают не только те, кто «ломает» или модернизирует стих. Люди, которые пишут в чрезвычайно традиционном духе, считая себя прирожденными врагами всякого декадентства, не знают, как они иногда к нему близки.

В их стихах, повествующих о детстве и живописующих родную деревню или завод, или университет и школу, или Северный полюс, стихах, по которым можно догадаться, откуда родом их автор — с Алтая или из Рязани (что ему вменяется в заслугу), но трудно догадаться, чем живет Россия сегодня, — в их стихах тоже нет постижения поэзии, даже цели такой нет. У них, как уже сказано выше, тоже *оформляется* внешняя задача, хотя и иными средствами, чем у Вознесенского. У них это тоже не обусловлено поэтической необходимостью.

У Маяковского было много стихов, посвященных важным вопросам политической жизни страны. Но все они объединены его личностью, личной необходимостью участия в борьбе.

Пролетарии
приходят к коммунизму
низом —
низом шахт,
серпов
и вил, —
я ж
с небес поэзии
бросаюсь в коммунизм,
потому что
нет мне
без него любви.

Эти строки — ключ к пониманию поэтической судьбы Маяковского*.

Без такой личной необходимости при любом знакомстве с материалом произведение искусства будет внешним. Для того чтобы увидеть в труде поэзию, увидеть так, чтобы ее воплотить, — мало знать этот труд и уметь сочинять стихи. Ведь шахтеры тоже понимают важность своего труда — им даже командировки брать куда не надо для его изучения, и все-таки большинство из них не поэты, а шахтеры. Даже если они очень культурные инженеры и рабочие.

Почему? Потому что они не умеют писать стихов, не владеют комплексом необходимых приемов?

Тогда зря. Этому можно научиться. Но это не деятельность для серьезного человека. Поэзия — это ведь все-таки совсем другое.

1961–1962

*Пассаж про Маяковского уже тогда не соответствовал моему отношению к этому поэту. Но во-первых, это про него правда, а, во-вторых, хорошо и легально иллюстрирует мою тогдашнюю и сегодняшнюю мысль о необходимости обобщенного, личностного восприятия в поэзии. Поэтому и теперь, летом 2002 года, я этот пассаж не выбрасываю.

Опыт внутренней биографии*

Необходимость написать эти несколько слов, которые я хочу предпослать предпринятой мной попытке собрать и привести в порядок все свои — хранящиеся в памяти и на бумаге, опубликованные и до сих пор не опубликованные — стихи и поэмы, вызвана теми же причинами, что и сама эта попытка.

Мне сорок три года, пишу я лет с тринадцати-пятнадцати. Несмотря на детерминированность биографией и историей, несмотря на то, что в моей жизни, даже в творчестве, прямые взаимоотношения со временем, с его духом, надеждами, преступлениями занимали слишком много места, были едва ли не основной чертой моей духовной биографии, несмотря на то, что отрицать это у ме-

* Работа написана в 1968 году. Это моя первая работа на подобные темы. С тех пор я несколько изменился, стал жестче к системе и мягче к людям, ее представляющим. Ввиду полной невозможности жить дальше прежней жизнью и при этом сохранять смысл и достоинство — я эмигрировал. Хотя работа и подвергалась переделкам (два раза в Москве и один — в Европе), обе они происходили при перепечатке, были попутными, касались в основном стиля, последовательности изложения, изъятия повторов и уточнения мыслей. Здесь сокращено изложение еврейского и ближневосточных вопросов, о них я говорю в работах, написанных позднее. Не печатал я до сих пор этой работы по понятным причинам.

ня нет ни права, ни желания — я почти всегда, во всяком случае, очень давно считаю критерием поэзии то, что называю (и не я один так называю) — *пушкинским началом*. Под этим я подразумеваю свободное и обобщенное гармоническое мироощущение, когда поэтическая суть жизни — пусть печальной, пусть далее трагической — открывается без всякого внешнего напряжения, свободно и легко, в самом простом и обыденном, во всем. Разумеется, такая поэзия выражает и время, но это происходит чаще всего как-то попутно, далеко не всегда становясь темой и никогда — главной творческой задачей, сутью внутреннего замысла. Время здесь — это среда, это жизнь, которой живет данный человек, обстановка, с которой сталкивается его поэтическое отношение к жизни, его поэтический — если можно так выразиться — запрос к жизни. И еще время — частное проявление вечности, основа, на которой этот запрос формируется и крепнет.

И если есть этот запрос, любая тема становится значительной и значащей, становится темой жизни, смысла и красоты. У Пушкина это получалось сплошь да рядом.

Но само понимание необходимости пушкинского начала притом, что оно необходимо, ничего для творчества не дает. Ибо это не технический прием, а характер восприятия. Притом такой характер восприятия, выработать который современному человеку почти нигде. В мире концентрации капитала, всевластной техники, массовой культуры, массовых средств искажения истины необходимо затратить напряженные усилия, чтобы не утратить собственного восприятия вообще, чтобы понять, что тебя действительно волнует, а до чего и дела нет. В этих обстоятельствах приобретают большое значение всякие перипетии борьбы за себя, все открытия на пути к себе. Без них собственное «я» будет выглядеть в стихах недостоверно. Но в этом внимании к перипетиям таится страшная опасность — легко за ними забыть о главном, забыть, что главное не они, а сама борьба, сам ее смысл, то есть то, что к этой борьбе толкает. И тогда любой злободневный

вопрос — например, вопрос о свободе печати — начинает казаться коренным вопросом бытия и мироздания. Когда мысль находится в железных тисках чужой глупости, каждый шаг на пути к освобождению потрясает, как великое открытие. Сознанием, что свобода слова не барская блажь, как тебя учили, а, наоборот, великое благо, необходимое всем, могут быть проникнуты (могут исходить из этого сознания) даже вполне впечатляющие стихи. В острый момент они могут показаться гениальными. Но представьте себе, что процесс пошел дальше, благотворность этой свободы признана всеми и даже узаконена, тогда на первый план выйдут вопросы более неразрешимые, «детские», действительно коренные вопросы бытия, острота которых была только временно скрыта за остротой более временных, но в тот момент более насущных для нас вопросов (таких, как свобода печати). Что тогда произойдет с такими стихами? Выяснится, что большинство из них потеряет все свое обаяние, а уцелеют только те из них, в которых эта тема о свободе печати не исчерпывала всего их содержания, а была только поводом для проявления чего-то более важного и существенного. Окажется, что, хотя политический факт никак не может быть сутью художественного произведения, он вполне может стать его темой, ибо коренные закономерности и связи бытия проявляются в нем, как во всяком другом факте жизни.

Впрочем, некоторые думают, что коренные вопросы бытия здесь ни при чем, поскольку искусство — это прежде всего непосредственное самовыражение личности: достаточно только улавливать и выражать собственные эмоции, и это само по себе таинственным образом приобретет космический смысл — независимо от характера этих эмоций. Несмотря на широкую распространенность, эти представления не выдерживают никакой критики. Прежде всего, в таком контексте утрачивает всякий смысл слово «личность». Ибо личность — это не просто любая человеческая особь, а существо, так или иначе осознавшее себя по отношению к миру, к людям и человеческим

ценностям. Личность — понятие общественное. Уловить и воплотить собственные эмоции — это тоже значит осознать, почувствовать их на фоне жизни и мира и по отношению к ним. Я здесь часто, говоря о поэзии, употребляю слова, как будто не имеющие к ней отношения: «вопросы», «проблемы», «закономерности» и тому подобное. Но, употребляя их, я вовсе не думаю, что поэзия должна заниматься трактовкой, исследованием вопросов или закономерностей, пусть даже самых серьезных и значительных. Речь идет о глубине и границах мира, в котором поэт живет и чувствует, о характере и культуре представлений, сказывающихся и отражающихся на его восприятии, о том, что ему доступно до того момента, когда происходит акт творчества, но что так или иначе воплощается в этом акте, потому что это, как раз, имеет самое непосредственное отношение к его личности.

Личность без всех этих связей и культуры — нонсенс. Люди, которые заняты только своими эмоциями и находят в этом прелесть, существуют, но это бедные люди. За их эмоциями ничего не открывается — ни им самим, ни читателям. Эти эмоции замкнуты сами на себя, это эмоции бесчувственного человека, защищающего свое право на равнодушие к миру, к людям, к творческому напряжению и желающего, чтобы это равнодушие выглядело — для самого себя в первую очередь — осмысленно, значительно и красиво. Их самовыражение всегда саморисовка и самовоспевание, даже когда воспевается собственное ничтожество. Но это никогда не может стать откровением: как и политика, отделенность и отчужденность могут быть только темой художественного произведения, но не могут составлять его сути. Модернистская поэзия — а ведь именно о ней сейчас идет речь — это вообще поэзия без катарсиса и откровения.

Должен сказать, что любителем модернистской поэзии я не был никогда. Но это совсем не означает, что меня совсем не коснулась ее психология. Подчеркиваю: психология, а не поэтика. (Поэтике модернизма — вопреки

всеобщему убеждению я считаю, что она в нем не самое главное — я был чужд всю жизнь.) Психологическое влияние модернизма проявлялось у меня, например, в неуместной романтизации собственной личности (как же — поэт!) и отсюда в повышенном внимании к деталям внутреннего развития, личных отношений и общественной биографии. Особенно к последнему — о том, какое значение имела в моей жизни моя общественная биография, я уже писал. Все это вместе — включая обстоятельства места, времени и происхождения — безусловно, способствовало нарушению в моем восприятии чувства меры и соразмерности, а также соотношения вечного и сиюминутного. Конечно, это не могло не отразиться на моих стихах, больше или меньше деформируя их поэтическую сущность. Как-никак поэзия — наиболее прямое и непосредственное выражение состояния души и духа — «скоропись духа», как говорил Пастернак, — и на ее произведениях деформации духа и следы наслоений, сквозь которые ей приходится пробиваться к катарсису, обыкновенно проявляются наиболее отчетливо.

Эти несколько слов я пишу не для оправдания, не потому, что всегда находились люди, объявлявшие мои стихи чисто гражданскими и рассудочными, — рассудочные натуры всегда враги рассудочности и большие поклонники иррационального (впрочем, понимаемого ими тоже вполне рационалистически), и их не переубедишь. Я не вижу причин, позволяющих или позволяющих моему интеллигентному сверстнику игнорировать то, над чем ломал голову я, и мне не в чем здесь оправдываться.

Да, поэзии без гармонии нет. Да, поэтическая деятельность без стремления к гармонии есть деятельность фиктивная, а подробности бытия иногда не выражают гармонии, а только затрудняют путь к ней. Но, тем не менее, все попытки выдавать на-гора образцы спокойной гармонии — в духе дворянской поэзии XIX века — в наше время рассудочны и искусственны. Или просто основаны на духовной кастрированности, на равнодушии. Как и

стремление обходиться не имеющими выхода в мир эмоциями, оно покоится на завышенном и не обогащающем представлении о ценности — даже не своей личности, а, собственно, своего организма. Разумеется, и с гармонией не все просто. Ощущение отсутствия гармонии, тоска по ней — в искусстве тоже гармония. Тем более, порыв к гармонии сквозь все наслоения, какие бы следы эти наслоения ни оставляли на теле стихотворения. И я думаю, что в самых диких моих заблуждениях такого ощущения гармонии, такой потребности в ней — я не терял. Я надеюсь, что именно она лежит в основе моего творчества. Как бы ни исказили его эпоха и обстоятельства.

Эти несколько слов я пишу именно для того, чтобы об этих обстоятельствах поговорить.

I

Я до сих пор имею нескромность считать, что то, чем я до сих пор был занят в жизни, имеет некоторое отношение к русской поэзии — к той русской поэзии, в которой живут Пушкин и Блок, Тютчев и Ахматова. Конечно, я далеко не всегда уверен в этом. Ведь это очень много, если это действительно так, каким бы скромным ни оказалось здесь мое место. Но претендовать на это самое высокое для меня звание я начал отнюдь не сразу. Я стал писать лет в 11–12, но мечтал стать не поэтом, а профессиональным революционером, рыцарем мировой революции, который ездит по разным странам и занят подготовкой ее прихода. А стихи я писал — то ли считая их вспомогательным средством, то ли в порядке сублимации.

Но и когда лет в 14–15 поэзия приобрела для меня самостоятельную ценность, и я уже мечтал стать поэтом, мне хотелось быть поэтом не русским, а каким-то советским, — так сказать интернациональным. Что это значит, я и теперь не знаю. Как часто мы в юности — и не только в юности, хмелеем от слов, даже не пытаясь проникнуть в их физический смысл. Нам кажется, что мы что-то дума-

ем и чувствуем, а мы только «вдохновляемся» — кровь играет. Сегодняшние западные «левые» — последний и наиболее крайний тому пример. Думаю, что их отрезвление будет еще страшнее и горше, чем наше.

Такому отношению к поэзии способствовала та революция в ней, которую произвел Маяковский — значение и его самого, и этой революции мы тогда сильно преувеличивали. Впрочем, нам вообще нравилась революция, в чем бы она ни происходила. Но, тем не менее, чем дальше, тем больше мне начинали нравиться произведения русской классики. Правда, в это время настороженное отношение к классикам кончалось, но я еще долго был верен «старым знаменам» и уступал неохотно, даже воспринимал этот возврат классики как один из симптомов побеждающей контрреволюции. Но все-таки то одно, то другое стихотворение я вдруг объявлял исключением. Так, сначала мне открылся, как водится, Лермонтов, а потом и Пушкин. Впрочем, и в том, и в другом я открывал «революционный дух» в подлинном, а не официальном смысле слова. Только много позже я понял, что это называется катарсисом и что, может быть, самая страшная беда бывает тогда, когда люди начинают добиваться катарсиса не от искусства, а от общественной жизни. Впрочем, некоторые передовые мыслители Запада, говорят, пришли теперь к выводу, что как раз в искусстве он и необязателен. Возможно, скоро они придут к выводу, что для самолета необязательна способность летать — рассудочное мышление может дойти и не до того.

Тем менее удивительно, что логическая путаница не бросалась в глаза нам в тех обстоятельствах. Тогда многое не бросалось в глаза. И многим казалось, что все продолжается, когда все резко менялось.

Официально мы считались государством интернационализма, базой мировой революции, родиной мирового пролетариата. Между тем, медленно, но верно в идеологии совершался поворот в сторону «патриотизма». Еще недавно это было ругательным словом, символом мещан-

ства и белогвардейщины, но теперь быть патриотом стало вполне благонамеренным и даже обязательным. Впрочем, поначалу речь шла о каком-то межеумочном «советском» патриотизме, эклектично сочетавшем в себе — наряду с прославлением счастливой жизни всех советских народов, — традиции революции с традициями царей и полководцев. Но мало-помалу стало всплывать на поверхность и слово «Россия» — до этого без определения «красная» или «советская» его произносили в положительном смысле только отрицательные герои многочисленных романов, пьес и кинофильмов о гражданской войне.

Мое тогдашнее восприятие теперь странно для меня самого. Уже давно слово «Россия» — одно из самых дорогих для меня слов. И — видит Бог! — я давно уже не стремлюсь к мировой революции. Профессиональный революционаризм в духе Че Гевары (а ведь именно о нем я мечтал в детстве) мне теперь глубоко противен как самый крайний, дорогостоящий (для других) и безапелляционный вид эгоизма, наиболее простой и дешевый способ (и это только кажется) удовлетворения гордыни и духовного вакуума, достижения без особых затрат со своей стороны (только за счет чужих жизней и судеб) царства Божия. Но это я понимаю только теперь, тогда же мою романтическую душу смущал такой поворот событий.

Многие попытаются — теперь это становится модным — объяснить такое мое уmonoстроение моим еврейским происхождением, чуждостью России. Последнего я опровергать не буду. Чужд или не чужд я России — решит читатель. Но кем бы я ни являлся сам, я в этом своем отношении к патриотизму не отличался от своих романтически настроенных сверстников всех происхождений, живших во всех областях страны. Кроме того, следует отметить, что советский патриотизм отнюдь не отменял интернационализма, он только сужал его действие, распространяя его исключительно на народы СССР, в списке которых евреи тогда по-прежнему занимали почетное место. Да и введение этого патриотизма, и реабилитация этого

слова были вызваны, прежде всего, впечатлением, которое произвел на Сталина успех Гитлера, то есть тактическим соображением о необходимости использовать (не отдавать врагу) и этот мощный фактор, а не подлинным национальным чувством. Именно поэтому такой патриотизм сразу приобрел выхолощенный, официозный характер. Только во время войны он слился с подлинным национальным чувством, и только после войны — с им же разбуженным и спровоцированным шовинизмом, который всегда возникает, когда другие ценности становятся недоступны, когда у государства других резервов нет. В том же, что я так хватался за идеи мировой революции — кроме общей романтической настроенности — сказалось и естественное стремление к цельности и осмысленности. Дело в том — конечно, осознал я это не тогда, а много позже, — что другой цельной идеологии, кроме идеологии мировой революции, советский строй не выработал и не смог бы выработать за все годы своего существования. Только ради этого была взята власть в 1917 году, только этим оправдывались условия, в которых мы жили, только в этом заключался смысл жизни любого из нас, ибо другой идеологии мы не знали. Честными и нечестными, духовными и недуховными, верными и неверными мы могли быть только в рамках этой идеологии и по отношению к этим рамкам. Альтернативой этой идеологии была бессмыслица. Бессознательно таким уродливым способом мы защищали свое право на духовность.

В этой связи невозможно не коснуться моего впечатления от процессов 1935–1939 годов и от всего того, что на Западе называют чистками. Они и связанная с ними пропаганда были основой, на которой покоилось сознательное и непрерывное вдавливание бессмыслицы в сознание людей. Внезапно оказывалось, что Станислав Косиор, которого еще вчера собирались убить Зиновьев и Каменев, сам собирался убить Сталина и Кагановича, а троцкисты, занимавшие во время гражданской войны высшие военные и государственные посты, уже тогда

ставили своей основной целью гибель республики. Или что Бухарин был вдохновителем и участником подготовки покушения на В.И. Ленина. Мне лично мешало в это поверить художественное чувство правдоподобия, вкус, но многие верили, потому что уж слишком страшно было в это не верить, живя в нашей стране: человеку трудно вынести груз такой страшной раздвоенности — даже если он уцелеет при этом. Но чем могут оправдаться западные коммунисты и те левые интеллигенты, которые травили Оруэлла и Кравченко и обзывали их клеветниками? Ведь не могут же они оправдываться отсутствием информации, она была, они только не хотели ее слушать. Достаточно было просто читать советские газеты того времени, их невозможно истолковать как-то иначе. Как, например, и выступления советского представителя Федоренко на заседаниях Совета безопасности в 1967 году; если так его начальство разговаривает (его устами) с людьми, от него не зависящими, то как оно должно разговаривать с теми, кто от него зависит всецело — и экономически, и просто физически. Сегодняшнее наивное увлечение Китаем — преступление такого же порядка. Говорят, что все это — люди честные. Может быть. Но это не интеллектуальная честность, не честность мысли, неспособной придти к необоснованным выводам и неспособной уйти от тех выводов, которые вытекают из фактов. Немалую роль здесь играет и бедность воображения. Мне рассказывали, как один итальянский трактирщик, член компартии, начал сетовать на то, что в России слишком круто поступили со Сталиным. На все рассказы о художествах последнего у него был готов ответ: «Борьба требует жертв». Но когда спросили, согласен ли он, чтобы такой жертвой оказались он или его жена, он возмутился: «Нельзя так ставить вопрос!». И никак он не хотел взять в толк, что вопрос так и стоит. Он жертвовал процентами, а не людьми, а это легче. А когда люди соглашаются жертвовать процентами, превратить эти проценты в живых людей совсем нетрудно.

Впрочем, только ли в воображении дело? Господин Моравиа, например, воображением, наверно, наделен — оно для него профессионально обязательно. Но никакое воображение не помешало ему выразить свое восхищение непосредственностью китайских хунвейбинов — в момент, когда они какого-нибудь китайского Моравиа водили по улицам, колотя по нахлобученному на его голову ведру. Ну, как тут не умилиться, не сравнить их энтузиазм с энтузиазмом святого Себастьяна и участников крестового похода детей, который, кстати говоря, закончился жульнической продажей ловкими людьми большей части этих детей в рабство к мусульманам. Но современный западный интеллигент стремится обеспечить себе хоть какое-то подобие веры, способной наполнить его сытую жизнь. И ему не до таких подробностей. Только он зря старается. Если он не научится находить духовные основы в самой обыденной жизни, в том, как люди ежедневно отстаивают свою жизнь, а иногда и дух, то никакие допинги, никакая вера в историческую осмысленность чужих страданий его не спасут. Конечно, скука — тяжелая вещь. Что ж, человеку, которому скучно, можно посоветовать сесть на плот и переплыть океан. Но он этого не сделает. Это делают только те, кому это интересно, для кого это жизнь, а не допинг.

Но вернемся к процессам тридцатых годов. Как уже сказано, я в них не верил. Главным образом потому, что люди, от которых я о них узнавал, не внушали мне доверия. Уж слишком чувствовалась в них эта способность повторять что угодно, не задавая себе никаких вопросов. Это располагало, скорее, к сочувствию жертвам этих процессов, чем к их осуждению. Но, тем не менее, от нормального отношения к вещам и ценностям я был тогда еще очень далек. Меня оскорбляло не то, что это вообще подлость и незаконие, а то, что это направлено против революционеров и революции; вольнодумство мое объяснялось тогда, скорее всего, просто романтическим неприятием святотатства. Помню, как я был потрясен, узнав, что привилегии дошли до того, что существуют прави-

тельственные ложи, и что все к этому относятся, как к обыденному факту. Я и теперь думаю, что это не смешно. Идеология, в преданности которой я был воспитан, начисто отрицала такие вещи, а до другой я тогда не дорос. Как до сих пор не доросло до нее советское государство. Так оно и живет — идеологическое государство без идеологии.

Впрочем, преданность мировой революции не всех и не всегда приводила к оппозиционности. И меня тоже не всегда. Помогала диалектика. Иногда я верил, что все остается по-прежнему, а все эти «извивы» — чистая тактика для лучшего достижения все той же цели. А ведь мы все были воспитаны на колоссальном уважении к тактике. Мне кажется, что главная черта идеологии и психологии большевизма — признание примата тактики над сутью. Это сильно облегчило победу Сталина над большевизмом. Но к этому глубокому тянуло многих — все-таки страшно ощущать, что ты — один, что все не правы, а ты один прав. Поневоле хочется думать, что правы — все другие, и стремиться хоть как-то постигнуть основы их правоты, недоступной для тебя и для всех, кого ты любишь.

Способствовало этой победе и то, что личные симпатии и антипатии не принято было принимать во внимание, а единственно существенной оценкой, с которой прилично было считаться, была оценка пользы для общего дела. Не то чтобы люди так себя вели, но такое отношение считалось идеальным. Даже до воцарения Сталина и до большевиков вообще. Это тоже действовало. Но как бы я ни склонялся к этому, совсем слиться с этим я не мог — слишком глубоко надо было бы уйти для этого в бездуховность.

Среди современных сталинистов существует странное убеждение, что именно в те времена в отличие от нынешних — люди верили. Но они имеют в виду нечто совсем другое. В ту эклектику, которая тогда подавалась как идеология, верить было невозможно. Была любовь к своей стране, гордость за ее успехи, действительные и мнимые, были перспективы роста (можно было стать летчиком или стахановцем, чем резко изменить свой статус), но

веры не было, не было даже сознания — а именно на это и упирают сталинисты, — что «без веры жить нельзя». Верой, вероятно, они сегодня называют равнодушное пере- доверие, основанное на низкой культуре мысли и вытекающей из этого способности не задавать ни себе, ни другим ненужных вопросов. В каком-то смысле многим это помогло сохранить относительную чистоту. Некоторое подобие веры было только у тех, кто упрямо и истерически старался видеть в сегодняшних днях продолжение «славных традиций» в «сложных условиях». Но эта вера не только не торжествовала, но даже и не воспитывалась. И это не удивительно. Дело в том, что в идеологии даже в идеологическом воспитании молодежи, которому, казалось бы, придавалось такое большое значение, господствовал бессмысленный и беспринципный прагматизм. Людей воспитывали так, как будто они рождены для того, чтобы помочь или облегчить партии и правительству проведение ближайших мероприятий, а даже не для борьбы за коммунизм вообще. То есть не только действия людей, а само их мировоззрение, сама духовная структура централизованно формировались согласно требованиям минуты. Как будто люди — мотыльки и живут всего один день. Во время действия германо-советских договоров вся система воспитания исходила из того, что Англия и Франция хуже гитлеровской Германии. На это настраивались не действия людей, а их мысли. Но если Англию и Францию ругали дифференцированно, понося не народы, а только правящие «круги, классы или клики» этих стран, то в отношении Польши такой дифференциации не делалось. То есть никто не отрицал, что в Польше есть и рабочий класс, и прогрессивные круги, но об этом просто не упоминалось. Поносилось само имя поляка. Но ту веру, о которой тоскуют сталинисты, это не поколебало.

Нет, и меня несколько не оскорбило, что мы всадили нож в спину Польши и помогли Гитлеру. Наоборот, мы для меня как бы вернулись к чистоте своих идей и выполнили завет Ленина (какими методами — неважно) — рас-

ширили отечество трудящихся всего мира — Советский Союз, и я даже был рад этому. И только антипольская кампания в печати портила мне праздник, не укладывалась в моем сознании. Помню, как я обрадовался, прочитав в многотиражке Киевского Дворца пионеров стихотворение Асеева, где были такие строки:

Не верь, трудовой польский народ,
Кто сказкой начнет забавить,
Что только затем мы шагнули вперед,
Чтоб горя тебе прибавить.
Мы переходим черту границ
Не с тем, чтобы нас боялись,
Не с тем, чтоб пред нами падали ниц,
А чтоб во весь рост распрямлялись!

Но радовался я зря. Просто Асеев так же, как и я, очень хотел, чтобы это выглядело так. Больше ничего подобного я не читал нигде. Трудовой польский народ имел все основания не верить мне и Асееву, а верить тем, кто его «забавил» такими «сказками». Идеологическое государство собственной идеологией не интересовалось. Интересовался ею я — на собственный страх и риск.

Так я и жил до самой войны — то принимая порядок вещей как продолжение традиций, то отрицая его, как их отрицание, но всегда оставаясь верным этим традициям. Эта верность отражалась на всем, даже на любовной лирике. Женщина — товарищ в борьбе, непостижимым образом переходящая в идеал женщины вообще, — вот образ любимой из моей тогдашней лирики. Но при всей верности своим идеям я хорошо понимал, что вне реального состояния в стихах нет ничего, а это значит, что в стихах я никогда не лгал. Это доверие к себе помогло мне выжить, преодолеть наслоения и времени, и провинциализма, и собственной романтики. Поэзия — это ведь, скорее, откровение, чем экстаз.

Впрочем, по-настоящему это я понял значительно позже.

II

Если отвлечься от всех переживаний, связанных с бомбежками, тяготами эвакуации, голодом, неприятностью, если отвлечься от того страшного, с чем война испокон веков связана и от чего отвлекаться нельзя, — можно сказать, что она имела для меня величайшее положительное значение (Пастернак сказал, что она принесла освобождение от лжи, но у него другая биография) — она открыла для меня Россию. И, прежде всего, подлинный, живой русский язык. До этого я слышал только язык города, язык полуинтеллигенции, интеллигенции и мещанства, да еще в киевском оформлении. С языком народа, говорящего на том языке, на котором говорю я, я столкнулся впервые.

С тех пор Россия стала значить для меня не меньше, чем мировая революция, а со временем и вовсе затмила эту романтику. Причем имел для меня значение не только язык, но и то, что говорилось на этом языке, хотя говорилось, понятно, всякое. Россия перетряхнула меня всего. Я влюбился в русский характер, в русское отношение к жизни, очень долго вообще не умея воспринимать это критически. Меня захватила духовная стихия России, неотрывность духовности от быта. Разумеется, мне не раз потом и тут же сразу пришлось столкнуться и с подлостью, и с низостью, и с подлинным зверством — я давно отошел от романтизации образа России, как отошел от романтизации чего бы то ни было. Но и теперь, после многих разочарований, я все-таки думаю, что в чем-то главном, подспудном, иногда напрочь заглушаемом и подавляемом, образ, который открылся мне тогда — верен. Впрочем, и до этого, несмотря на весь мой интернационализм, слова «Россия», «Великороссия» были окутаны для меня романтической дымкой обаяния; все-таки я был воспитан на русской культуре. Это подготовило и облегчило встречу, превратило ее в некое возвращение на родную почву. С тех пор, что бы ни происходило — я твердо знаю, что это

мое и что вне этого для меня нет жизни. Хоть я и не стал русским националистом, как не был до этого националистом еврейским или украинским. Думаю, что никакие антисемиты уже не смогут оторвать мою душу от России и ее судьбы. Но ни кадить ей, ни льстить я не собираюсь. Я ее люблю.

Должен сказать, что, как это ни странно, впервые с проблемой антисемитизма я столкнулся не на Украине, а в России. Именно с проблемой, а не с самим антисемитизмом, с ним я сталкивался и раньше, но я его воспринимал просто как проявление отсталых настроений и проблемы в нем не видел. В школе, в литкружках, везде, где проходила моя жизнь, я с ним не сталкивался. К тому же, он жестоко преследовался. Я жил в Киеве, городе мещанском и многонациональном. Поскольку большой процент его населения составляли евреи, они составляли большой процент и в его мещанстве. Поэтому образ мещанина в детстве был для меня связан с образом мещанина-еврея. Меня это мало заботило — что совершенно естественно — но все-таки кое-какие неприятные воспоминания у меня с этим связаны.

Помню, как в дневном санатории на Черепановой горе (где теперь Центральный стадион) два еврейских мальчика нагло доказывали украинскому, что евреи намного выше по всем показателям, чем украинцы или русские. Помню, как неумело отбивался этот украинский мальчик — он был не очень бойкий. До сих пор я это помню и до сих пор мне за это стыдно.

Или вот второй эпизод. Мне уже лет тринадцать-четырнадцать. Я живу на даче в Святошино с дядей и тетей. Рядом живет с мужем и детьми моя двоюродная сестра. В гости к ней приехал еще один родственник, более близкий ей, чем нам. Приехал с сыном, довольно тогда необузданным и вредным мальчиком. Вдруг с криком прибегает какая-то женщина. Оказывается, сын нашего гостя обидел ее маленького сына и вообще обижает маленьких. «Уберите вашего бандита! — кричит она. — Или вообще не

приезжайте сюда больше». Наш гость как будто только этого и ждал. «Это вы бросьте! — взревел он. — Это до революции евреям нельзя было приезжать в Святошино!». И пошел, и пошел... Я не знал, куда деваться. Ведь обвинение в антисемитизме тогда было очень опасно, а антисемитизм к этому эпизоду никакого отношения не имел. До сих пор к еврейскому национализму я отношусь хуже, чем ко всякому другому. Не потому, что он действительно хуже, а потому, что он как бы предполагает мое соучастие или сочувствие.

Но я рассказываю эти два случая вовсе не для того, чтобы подтвердить или проиллюстрировать распространенное в некоторых кругах убеждение, что в антисемитизме виноваты сами евреи, и они одни. Людей, позволяющих себе быть антисемитами, нельзя оправдать ничем, как ничем (ни погромами, ни чертой оседлости) нельзя оправдать этих двух мальчиков и моего дальнего родственника. Если то и другое можно простить, то только как прощают грех: видеть в человеке только категорию, к которой он отнесен или относится, но не видеть его самого — безусловно, грех.

Вот мое правило: *«Если ты хочешь сказать что-нибудь плохое или хорошее о человеке словами: «еврей», «русский», «немец» и так далее, остановись на минуту и вспомни, что к большинству людей, к которым относится это слово, то, что ты хочешь сказать сейчас этим словом, отношения не имеет»*. Этим я отнюдь не хочу зачеркнуть национальные черты и национальное своеобразие. Просто я хочу сказать, что они совершенно инертны по отношению к добру и злу. Все мы видели, к чему приводила немецкая организованность и любовь к порядку — а ведь это качества, которые не стоит недооценивать никому, особенно нам. Но и русская широта и бесшабашность приводили иногда к тем же результатам. Иными словами, два человека с одинаковыми национальными чертами характера могут быть абсолютными антиподами в нравственном отношении.

Против слепого отношения к людям как к представителям категории можно сказать многое. Каждый, кто так относится к другим, порождает в других такое же отношение к себе и к своим близким. Когда партийцы притесняли детей всяких «бывших» как классово чуждый элемент, они подготавливали отношение к собственным детям как к детям «врагов народа». Кроме того, проекция собственных грехов куда-то вовне, на других людей, притупляет бдительность народа по отношению к самому себе и к своим слабостям.

Впрочем, все эти мысли пришли потом. И они — ответ не на тот патриархальный, бытовой, фантастический по своей логике антисемитизм, с которым я столкнулся во время войны. Но и тот, с которым я столкнулся, отнюдь не был добрым или справедливым — таких антисемитизмов не бывает. Правда, люди вообще не слишком добры и справедливы друг к другу. Но все-таки...

Вспоминается станция Шакша за Уфой. Осенний вечер 1941 года. Я только что приехал сюда на пригородном поезде с двумя попутчиками. Мы отстали от эшелона с эвакуированными — там у меня отец и мать — и теперь догоняем его. Мы в дежурке маленького бревенчатого вокзала. Только что узнали, что наш эшелон проследовал через эту станцию без остановки и что догнать его можно только на скором, который прибудет через несколько часов. На вопрос, помогут ли нам сесть в него, мы получили вполне спокойный отрицательный ответ. Мне еще нет шестнадцати, я впервые один в целом мире, да еще на глухой заброшенной станции ночью. Впрочем, глухой и заброшенной она могла мне тогда только показаться. Представить, что мог чувствовать по этому поводу такой неопытный неоперившийся юнец, — нетрудно.

Может быть, мой первый самостоятельный поступок в жизни — это поездка на ступеньках этого поезда, когда глубокой ночью он наконец пришел, а в вагон меня не пустили, а первое самостоятельное ответственное решение — это на следующей станции Иглино броситься на-

зад к этому поезду, после того как дежурный, снявший меня с него по требованию кондуктора (теперь я понимаю, что он сделал это намеренно), отвернулся. И опять вцепиться в холодные поручни вагона. Помню, что больше всего я боялся, что пальцы не выдержат холода уральской октябрьской ночи (Урал — это ведь так далеко от теплого Киева), замерзнут и разожмутся. Однако обошлось — я догадался обхватить поручни локтями.

Но в тот момент, стоя перед дежурным в этой маленькой тускло освещенной комнате, я и предположить не мог, что через несколько часов окажусь способным на «такое». Думаю, что моя растерянность и беспомощность видны были всякому.

«А у твоего папочки, небось, тысконок сто припрятано», — вдруг из глубины своего отчаяния я услышал ровный старческий голос. Это отозвался на мою беду прикорнувший в углу старичок в железнодорожной форме, паровозный машинист, как оказалось потом. Я и не заметил его сначала. Я никогда не забуду ни этой станции, ни этого голоса, спокойного и недоброжелательного, убежденного в своей недоброжелательности.

Я еще не знал, что такое предубежденность, я считал, что он просто глупо ошибся, и начал ему пространно объяснять, что семья наша и дома не была чересчур состоятельной, что денег всегда не хватало, а теперь они и вовсе на исходе, что из вещей мы захватили только то, что смогли унести на себе, а в нашей семье нет атлетов... Но старика все эти мои объяснения трогали очень мало. «Да что ты мне говоришь! — не унимался он, — все знают, что у «ваших» денег куры не клюют!». Я взглянул на дежурного, по моим тогдашним понятиям он был человеком интеллигентным, — но в его глазах увидел только любопытство и скрытую улыбку. Ему было интересно, как будет вести себя человек этой странной породы, о которой все вокруг теперь так много толкуют.

Может быть, я переоцениваю значение только что описанной сцены. Но в ней я впервые столкнулся с такой

враждебностью, с таким открытым несочувствием к себе и к своему несчастью.

Я давно уже знаю, что такое несочувствие проявлялось у нас не только по отношению к евреям, что, скорее всего, эти люди до того, как встретились со мной, видели столько страшного и бесчеловечного, что на этом фоне мое приключение с эшелонном — не более, чем пустяк. Да и сейчас через их станцию шли эшелон за эшелонном, в сторону фронта и на восток. И, вероятно, не я первый догонял здесь свой эшелон. Кроме того, они могли заметить, что в эшелонном, идущих на восток, евреев много, а в солдатских они в глаза не бросались, даже когда они там были. Из этого факта делались надлежащие выводы. Хотя выводы эти поверхностны. От немцев уходили почти все евреи, а на фронт не могли и не должны были ехать все. Например, дети, старики, женщины, девушки. Очень бросались в глаза совершенно чуждые местному населению бородатые польские евреи. Впрочем, и те не очень жаловали местное население. Они стремились как можно быстрее проехать эту страшную и дикую страну, в победу которой напрочь не верили: «Такая культурная страна, как Польша, и то не устояла, а где уж этим»; и не желали к ней иметь какое-либо отношение.

«Куда вы едете?» — спросил мой отец у одного из таких евреев, когда он с сыном случайно оказался с нами за одним столом в одной из «столовок» Челябинска. «В Индию», — ответил тот и не удостоил нас дальнейшим разговором. Эта надменность была одновременно и еврейской, и польской. У каждого есть свои причины не понимать другого. Но лучше преодолевать эти препятствия, чем их культивировать.

Впрочем, со «ста тысячами» я встречался потом не раз. Этот рассказ ходил буквально повсюду. Один еврей пришел на базар и скупил у кого-то все мясо (или мед, или масло), его задержали и тут-то у него нашли эти сто тысяч (иногда миллион, иногда чемодан денег). Это происходило в Челябинске, в Аше, в Уфе, в Ташкенте и вооб-

ще везде, где были эвакуированные, и не хватало продуктов, где цены на продукты непрерывно росли. Ведь эвакуированные последнее отдавали за продукты, а все их последнее было при них. Впрочем, могли быть и похожие случаи. Например, в нашем цехе работал человек, подобравший пачку сторублевых возле минского госбанка, когда туда попал немецкий снаряд, и эти пачки разлетелись вокруг банка. Правда, подбирали их не только евреи. Но он не скупал на базаре «все продукты».

Были среди евреев и подпольные дельцы-миллионеры, но вряд ли они расхаживали по базарам с чемоданами денег. А самое главное — это то, что мой «папочка» не имел ни к тем, ни к другим никакого отношения, и меня зря обидели.

Впрочем, я никогда не вспоминал этих двух людей — машиниста и дежурного — с враждебностью. Всегда — с болью. Вот что такое власть предрассудка! Ведь в этих местах и особой враждебности к евреям неоткуда было взяться, здесь почти и евреев не было до войны.

Впрочем, слово «жид» бытовало.

«Ах ты, жиденок! — ласково журил расшалившегося внука дед, хозяин квартиры, в которой мы жили первое время на Симском заводе (теперь — город Сим). — погоди, придет жид, в мешке тебя унесет».

Тут уж и моя мать — на что чувствительна была к таким словам: всех, с кем ссорилась, считала черносотенцами — понимала, что в этом «жид» антисемитизма ни на грош. В цеху, где я работал, и где рабочие были не местные, а эвакуированные, московские, это слово звучало не столь безобидно. Бытовало убеждение, что евреи в основном не работают, а торгуют газировкой. В настоящее же время они увертываются от войны. Вон сколько их на заводе! На заводе евреев действительно было много, но в основном или те, кто работал на нем до войны, или женщины и не военнoобязанные, которым надо было где-то работать. Кроме того, сами рабочие тоже на фронт не очень спешили, а весьма дорожили броней, которую и давала их специаль-

ность, и нисколько этого не скрывали. Но при всей несправедливости общего отношения я почти не видел, чтобы к конкретному живому человеку относились плохо только за то, что он еврей. Например, почти никто не относился плохо ко мне, хоть я как раз был воплощением тех качеств, которые приписывались евреям: работал плохо (хоть и старался) и явно не годился в солдаты. Конечно, речь здесь идет об общей массе — выродки встречались.

Впрочем, дело было не только в выродках. Однажды, возвращаясь из столовой в цех, я столкнулся с начальником заводской лаборатории Борзовым, с которым до этого находился в отношениях вполне доброжелательных. Знаком я с ним был по заводской многотиражке, где я сотрудничал, и куда иногда заходил и он. Сейчас он находился в том среднем состоянии, которое на Руси дипломатично называется «быть выпимши». Я с ним приветливо поздоровался, но он вдруг нахмурился, как-то очень зло посмотрел на мои ноги, обутые в лапти,дохнул перегаром и заговорил неожиданно трезво и жестко: «Прибедняешься?.. Лапти надел, а у самого, небось, модельные туфли в сундуке?.. Выгадать что-нибудь хочешь?».

Мои лапти действительно производили впечатление: я был первым из эвакуированных, кто стал ходить в лаптях. Остальные, приехавшие организованно, с вещами, стали в них нуждаться немного позже. Произойди эта встреча месяца через два, такого разговора бы не было. Но что это меняет?

Не знаю, действительно ли он подозревал несметные богатства в моих сундуках, но его недоброжелательство ощущалось вполне реально. Оно было совершенно искренним и вряд ли объяснялось одним лишь его состоянием. Я в этом почти уверен, хотя не разделяю местечковой убежденности, что, если человек, до этого к тебе хорошо относившийся, поругавшись с тобой, обозвал тебя «жидом», то это значит, что он тебя ненавидел всегда, но только умел это скрывать. Впрочем, я и теперь не думаю, что в этом была сущность Борзова. Просто меня порази-

ло, что так со мной разговаривает интеллигентный человек — я тогда всех людей с высшим образованием считал интеллигентами.

Только потом я понял, что это не так. Не так вообще, и особенно у нас, где в результате культурной революции появилось уродливое явление, называемое советской интеллигенцией. Советская интеллигенция — это не интеллигенция в полном смысле слова, и мало общего у нее с интеллигенцией русской, которая и в эти годы много раз возрождалась. Отличается она тем, что ее высшее образование — это скорее профессиональная подготовка, а не образование. Оно лишено основ и не определяет культурного уровня, даже если оно гуманитарное. История советской власти неотделима от борьбы этой интеллигенции за власть, за место под солнцем, это интеллигенция выдвигенцев, основная неотрывная функция которых — задвигать. Психология ее проявилась раньше, чем она возникла. Еще в 1921 году автор предисловия к «Смене вех» в числе недостатков сборника, который он приветствовал, как доказательство разложения в стане противника, не преминул отметить и то, что его авторы ничего не говорят о том, «как они собираются сотрудничать с новой интеллигенцией». Это в двадцать первом-то году! Кого он мог иметь в виду? Вероятно, недоучившихся студентов? Ведь новой интеллигенции-то еще не было! Но уже была озабоченность кадровым вопросом, то есть вопросом о распределении мест у кормушки. Уже тогда их ум и сердце волновала проблема уравнивания тех, кто знает и может, с теми, кто не знает и не может, чего можно добиться только при помощи власти. На этом замешена советская власть, сегодня это ей самой мешает, но изменить здесь что-либо она не в силах. Это значило бы изменить собственную природу.

А ведь человек, писавший это предисловие, наверняка был интеллигентом, только претендовавшим на роль, которой ему без власти никогда бы не добиться. В таких претендентах недостатка не было.

Сначала это были почти интеллигенты, недоучившиеся студенты, потом рабфаковцы и студенты советизированных вузов, учившиеся по упрощенным программам и сдающие упрощенные экзамены. Советская власть широко распахивала перед ними двери, плохо представляя, что должно происходить за этими дверями. Сотни тысяч получали дипломы, какая-то часть — основы профессии, только тысячи приходили к культуре. Вся история советской власти связана с защитой этой как бы понарошку созданной интеллигенцией своего места под солнцем, своего права не соответствовать занимаемой должности. У этой прослойки есть даже свой выразитель — Кочетов, впервые в истории культуры оценивший мир и человеческую жизнь с точки зрения бездарного человека, возведший бездарность в ранг социальной категории, идейного движения, в эстетический идеал. Безусловно, не стоит отождествлять с этой прослойкой весь наличный состав так называемого «нового класса в СССР». В него входят и люди талантливые, такие, как Келдыш, но зависимость вторых от первых очевидна для всякого, кто хоть немного вращался в интеллектуальных кругах нашей страны. Именно эта интеллигенция делала все для того, чтобы погубить «Новый мир» Твардовского. Он мешал ей отнюдь не политически, а тем, что создавал эталон культурного уровня, который был ей недоступен. Роковой вехой, погубившей нашу страну, обыкновенно считают коллективизацию. И действительно, после нее трудно восстановить нормальные отношения не только в сельском хозяйстве, но и во всей хозяйственной деятельности общества. Однако не менее страшные последствия имеет и культурная революция, создавшая вышеназванную прослойку. Ей некуда деваться — она может нормально жить только в ненормальных условиях и будет оберегать их до конца. Как свою жизнь.

Однако я несколько вышел за границы темы. Просто я хотел сказать, что несмотря на высшее образование, уровень культуры начальника лаборатории мог вполне

соответствовать этому разговору. Я вполне представляю человека, достигшего ощутимых успехов в изучении элементарных частиц, но верующего в то, что евреи пьют кровь христианских младенцев. Хамство, проявившееся в этом разговоре, органически присуще советской интеллигенции. Более того, сегодня она навязывает его всему миру — через своих представителей в ООН. Достаточно опять-таки вспомнить речи Федоренко после Шестидневной войны. Может быть, он и знает чужие языки, свой он знает явно недостаточно.

Впрочем, антисемитизму сильно способствовал и материализм, поставленный на место религии, то есть логика, из него вытекающая.

Некоторое время в нашей многотиражке работала машинисткой молодая женщина, жена фронтовика и будущая мать его ребенка. Жила она, естественно, очень тяжело — на дворе стояло лето 1942 года. Ко мне она относилась довольно хорошо, но к евреям вообще — с невероятной ненавистью. В основном она их ненавидела за то, что во время эвакуации ими были набиты все поезда. Трудно было в поезд сесть. Особенно ее возмущало то, что едут и старики: им умирать пора, а они едут, места занимают. Конечно, многое из того, что она говорила, можно отнести на счет ее состояния. Но только не самое страшное здесь — не логику. А не станет ли эта логика господствующей, не станет ли она проявляться не только по отношению к евреям или старикам, а вообще — в обращении людей друг с другом? Ведь эта тенденция — решать, кто имеет право на место под солнцем, а кто нет — уже появилась, а места на земле, говорят, и впрямь скоро будет не хватать... И приходят в голову мысли, что ведь когда-то так и было: побежденных просто съедали, а когда начались относительно либеральные времена, обращали в рабство — таким образом тогда руководствовались своими «жизненными и экономическими интересами». Не от этой ли безысходности берет свое начало святость всех патриотизмов на земле? Страшно оттого, что светлая мечта челове-

чества может на самом деле исполниться: бессмысленные войны исчезнут. Начнутся опять осмысленные — за то, чтобы съесть, а не быть съеденным. Когда про это думаешь, хочется «вернуть Творцу билет»...

Разговор об антисемитизме был бы неполон, если бы я не коснулся своей краткосрочной и бесславной службы в армии. Формально я туда был призван, но фактически пошел добровольно. Вот как это произошло. Мне очень хотелось попасть в военную газету — ибо я считал, что это единственное, на что я годен на войне. Понимая, что это непросто, я очень рассчитывал на помощь Эренбурга, с которым познакомился в Киеве перед самой войной (он потом этой встречи не помнил). Но для того, чтобы обратиться к Эренбургу, надо было попасть в Москву. С этой целью я подал заявление в один из московских институтов и получил вызов, с которым явился в райвоенкомат сниматься с учета. В военкомате меня предупредили, что если я уволюсь с завода, меня мобилизуют. Я сказал: «Давайте повестку». Мне ее и дали. Начальник цеха намекал, что смог бы меня и задержать. Но это означало уклониться от войны — я хорошо понимал, что никакой ценности ни для цеха, ни для завода не представляю. И согласиться на это — не мог. Все это правда. Более того, этой правдой я не горжусь. Ибо моя самоотверженность принесла людям одни хлопоты, ничего хорошего из нее не вышло. К армии я был все-таки не годен, и через два месяца это выяснилось: в комиссии я был признан годным только к нестроевой службе в тылу. После чего был демобилизован и послан на станцию «Самоцветы», где две недели проработал черноработчим, а потом и вовсе был отпущен домой.

Два месяца службы в армии — едва ли не самый тяжелый период моей жизни. Ни по каким параметрам я к ней не подходил — особенно, по физическим. Был нерасторопен, неловок, физически слаб. А вокруг были крепкие крестьянские парни, которым все это давалось легко, и которые не могли поверить, что я не притворяюсь. Тем более, рассказов об уклоняющихся евреях было полно. У

этих ребят было еще одно смягчающее обстоятельство. Со мной вместе служил парень, утверждавший в доказательство того, что я «придуриваюсь», — что знал меня по «гражданке», и что я там был известный франт и ухажер (идеал, которого я не достиг и поныне).

Остальных ребят — несмотря на то, что всем антисемитским басням они верили, а меня считали их наглядным доказательством, несмотря на то, что это меня оскорбляло и даже угнетало, — я не считал и не считаю не только подлецами, но и антисемитами. Антисемит — это не просто человек с предрассудками, но человек, находящийся в этих предрассудках духовную опору, вырастающий из-за них в собственных глазах. Именно потому так много антисемитов среди закомплексованной «советской интеллигенции», как правило, не соответствующей занимаемому положению. Антисемитом там был только один человек, по его словам, закончивший когда-то пединститут и военное училище, но потерявший документы. Здесь он был старшим сержантом и помкомвзвода. Я всегда чувствовал его враждебность, да он и не скрывал ее. Но никаких придинок по службе ни он, ни кто-либо другой там себе не позволял. За все эти два месяца я получил только один наряд вне очереди — и тот за какую-то провинность. Я был плохим солдатом, но всегда старался, а взыскания тогда накладывались только за нарушения дисциплины.

Безусловно, этот человек был пропитан предрассудками. Но антисемитизм «советской интеллигенции» на них только опирается. Это видно на опыте Польши.

Взрыв польского антисемитизма только отчасти связан с традиционным польским антисемитизмом, хотя именно на это больше всего упирают еврейские круги Запада, и именно от этого больше всего отрешиваются Мочары и Гомулки. Между тем, он держится на том, что посты в номенклатурном государстве являются единственным капиталом и единственной мерой ценностей люмпен-бюрократического мышления, а этот капитал можно делить достаточно произвольно. Этой мерой изме-

ряется все — даже положение поэта и художника. У государства, владеющего всем, есть соблазн командовать и здесь — я имею в виду не идейно-контрольное командование, а само допущение к работе. «Кто он такой, чтобы писать о товарище Сталине!» — заявил какой-то полковник, начальник военной газеты, увидев опус одного еврея-литератора. Разумеется, это крайность, теперь пока невозможная, но это тайна тайн люмпен-бюрократической психологии: она, выражаясь языком Маркса, «стремится абстрагироваться от таланта».

Все это в нашей стране было усилено многими другими факторами. Неверной национальной политикой Ленина, когда к евреям стали относиться как «к ранее угнетенной нации», и старались это компенсировать за прошлые века тем, что, в силу многих причин евреев оказалось много в руководстве (а руководство всегда непопулярно), конечно, гитлеровской агитацией, а также вошедшей в кровь привычкой мыслить целыми категориями и многим другим.

Я прошу прощения у читателя за то, что так много внимания уделяю здесь еврейскому вопросу и антисемитизму; до сих пор в моей жизни и творчестве меня занимали другие «русские», тоже достаточно проклятые, вопросы. Но сейчас, после арабо-израильской войны и отношения к ней советской печати, после всех фокусов Гомулки, я не могу о нем не думать, а значит и не говорить. Я заявляю прямо, что оставаясь тем, кем был всегда, я, тем не менее, считаю себя заинтересованным в существовании государства Израиль — хотя бы потому, что могу добровольно туда — *не* ехать. Как, допустим, Кюхельбекер не уезжал в Германию — потому что добровольно считал себя русским. Добровольно, а не потому, что ему некуда было деваться. Не говоря уже о том, что советское отношение к Израилю возмущает меня и просто как всякого честного человека. Не вижу никакого противоречия между своим отношением к Израилю и своими чувствами русского патриота. Кстати говоря, антисемитизм является

одной из самых угрожающих последствиями опасностей для России. Прежде всего он традиционно отвлекает внимание части народа и его — прошенных или непрошенных — руководителей от собственной реальности, от самосознания и связанного с этим высвобождения энергии и роста ответственности. Кроме того, человек, который может себе позволить преследовать человека за то, что он еврей, способен преследовать и других людей на столь же «серьезных» основаниях. Я хочу сказать, что антисемитизм воспитывает деятелей, опасных для страны и народа в целом. Разве может быть неопасным для страны негодяй, который несправедливо ведет вступительный экзамен в институт, решая судьбу стоящего перед ним еще очень молодого человека? Разве качества, которые он в себе выработает, чтобы довести это грязное дело до конца, не будут проявляться и в других случаях? Поверить в это трудно.

Аналогии с процентной нормой здесь нет никакой. Тогда всю немалую грязь этого мероприятия брало на себя государство. Экзаменаторы же вынуждены были устраивать для евреев отдельный конкурс на отведенное им число мест. Сами они от этого не становились ни жуликами, ни палачами.

К вредным последствиям следует еще добавить и то, что любое будирование национального вопроса в нашей стране вообще опасно, ибо страна эта многонациональная, а такие действия усиливают все национализмы сразу. А национализмов в нашей стране много, и все они — разные.

Я враг национализма. Любого. Это совсем не значит, что я нигилист в национальном вопросе. Национальная культура всегда представляет собой человеческий (и общечеловеческий) уровень, достигнутый данной нацией, это национальное выражение общечеловеческого духа. Отрицать национальную культуру — значит отрицать культуру как таковую: никакой другой культуры у данной страны и у данной нации — нет. И никакой другой связи с мировым духом. Не отрицаю я и национальную идею, но

это вовсе не значит — что нация, превращенная в идею, это некая всеобщая идея, выработанная данной нацией на своем историческом опыте. Например, французская национальная идея породила множество великих людей и событий в других нациях тоже. Верю, что и русская (не человек сам по себе и не муравей в муравейнике, а человек в человечестве) тоже кое-что внесла в духовную сокровищницу человечества. Не каждая нация вырабатывает значительную идею, но это никого не унижает. Ибо сокровищница эта общая, а достоинство и заслуга человека — вещь сугубо персональная. Величие национальной идеи покрыть ничтожество отдельного человека — не может.

Национализм же всегда отчуждение, он антикультурен по самому своему существу. Но в странах социалистических и развивающихся он принимает откровенно люмпен-бюрократический характер. Например, в Китае. Это религия тех, кто бюрократическим путем хочет достигнуть психологического равенства с теми, кому он пока не равен. Оно и возвышенно, оно и приятно: с одной стороны, ты бескорыстный патриот, с другой — без особых хлопот можешь вдруг оказаться местным Бисмарком или местным Шекспиром.

Чрезвычайно интересно развитие подобных национализмов в нашей стране — я говорю не о «буржуазных» национализмах (Прибалтика, Западная Украина и Белоруссия), фикциях других национализмов, а именно о советских. Таких, когда их сторонников все советское устраивает, но просто есть жгучая потребность перераспределить портфели: мантии адвокатов и судей, профессорские кафедры и славу поэтов. Это бессмысленный и разрушительный национализм.

Парадоксально, но такие национализмы были усиленно раздуваемы самой центральной властью. Она-то их и раздула до сегодняшнего состояния. Прежде всего, своей кадровой политикой на окраинах, где малочисленная интеллигенция была очень скоро подменена малограмотными марионетками коренной национальности, которым

и функционировать было необязательно: достаточно было сохранять важный вид, вкушать блага власти и материального уровня. Работал, как правило, «русский заместитель». Так было не только в административной жизни, но, в каком-то смысле, в науке, искусстве и литературе. Но жизнь не стоит на месте. Фальшивые почести, которые вполне устраивали полуграмотного отца, совсем не устраивают его подучившихся, а иногда и просто образованных детей. Они начинают хотеть подлинной, а не игрушечной самостоятельности, повышения своей роли. В обстановке духовного вакуума это иногда можно принять и за высокие чувства, тем более, что роль очень заманчива, а об ответственности они не имеют представления: ведь народ — это только аргумент в споре, обоснование права на такую же советскую жизнь, но без «зависимости от Москвы». При этом все счета к советской власти предъявляются России. Даже восточными украинцами, роль которых в становлении и поддержании этой власти преувеличить невозможно. Характерной страстью этих людей является гордость древностью своей культуры: как для людей полукультуры, это для них главный аргумент, словно как раз в этом все их права. Даже в русской культуре, достоинство которой как будто никому доказывать не надо, есть подобные явления: попытка историка Зимина доказать, что «Слово о полку Игореве» — произведение не XIII, а XVIII века, вызвала целую бурю возмущения, как будто он посягнул на честь России. Между тем, это может быть только правильно или неправильно, а русская культура существует сегодня независимо от этого факта.

Конечно, все это — мысли более позднего времени. В то время, о котором сейчас идет речь, они мне еще в голову не приходили. Просто русский народ, его душа, широта, быт, даже недостатки — покорили меня. И хотя, как я говорил, что-то в этом моем представлении было романтическим, но это «что-то» — отнюдь не все. В чем-то оно было и ощущением реальности. И это реальное чрезвычайно расширило мои представления о жизни и о ее ценностях. Все

это отнюдь не отвращало меня от «мировой революции» — наоборот, я был уверен, что люблю этот народ именно за те его качества, благодаря которым совсем неслучайно его страна оказалась базой этой революции. Впрочем, жизнь — в том числе к тому времени и официальная — вовсе не была проникнута этой идеологией, да и я сам уже не очень в ней нуждался в повседневной жизни, я переживал свое открытие России. Что все качества, которые мне так нравились — простота, размашистость, широта — могут превращаться в свою противоположность, в жестокое равнодушие к ближнему — я понял намного позже.

Между тем, годы войны были и годами реального обнажения сталинизма как социальной системы. Может быть, на фронте это было не так заметно, все стирала общая судьба, но в тылу все было обнажено до крайности. Все — это попытка создать сословное государство на новой основе.

Столовая директорская, столовая ИТР, столовая тысячников (то есть рабочих, выполняющих нормы на 1000 процентов*) — все это как-то оправдывалось целесообразностью, но оскорбляло. Ведь это происходило на фоне общего голода, когда любой лишний кусочек хлеба в сознании превращался в целую буханку. Излишне говорить, какое впечатление на этом фоне производил банкет, данный дирекцией в честь посетившего завод начальника главка. Поражает спокойная уверенность тех, кто так делал, что так надо и можно. Как будто не лилось море крови якобы для того, чтобы этого никогда не было. Это была в некотором смысле реставрация, но вряд ли кто-нибудь из тех, кто стремился к ней, такой реставрации бы обрадовался. Конечно, кроме тех, кто вынужден был этим

*1000 процентов получалась или от введения приспособления, или от системы оплаты: квалифицированная работа оплачивалась большим количеством времени, чем на уходило (работа вообще оплачивалась количеством времени и расценкой за разряд, но это ничего не отражало).

оправдывать свое сотрудничество с режимом. Истолковывать режим в свою пользу правые умели так же ловко, как и левые — хотя этот режим не имел отношения ни к тем, ни к другим. Основания у них были.

В этой связи вспоминается речь генерала Петрова — не того, который защищал Севастополь, а другого — на комсомольском собрании. В этой речи генерал очень хвалил старую армию, но не за боевые традиции и другие достоинства, а за дисциплину, которая мыслилась им как подобострастие и чинопочитание. «Вы думаете, что ефрейтор сам себе сапоги чистил? — патетически восклицал он. — Нет! Сапоги он себе не чистил. Ефрейтор в армии был большой человек! (Генерал когда-то служил ефрейтором). И еще, — возмущался он, — говорят, что в старой армии солдата били. Разве хорошего солдата когда-нибудь били? Никогда! Били только нерадивого». Дальше генерал переходил на современность. «И теперь бывает на фронте — его, подлеца, расстрелять мало за то, что он сделал, а ты его, ничего, палочкой!.. Помогает». Речь генерала была встречена аплодисментами комсомольцев. Еще бы: «Генерал, а такой простой». Да и в самом деле, он не был лишен обаяния и был по-своему талантливый человек. Кроме того, палочка действительно лучше расстрела, и вообще, я не собираюсь учить генерала, как себя вести на фронте, да еще в сложных условиях. Но эта «палочка» в применении к просто нерадивому солдату в тылу и «сапоги ефрейтора» выглядят несколько иначе. Иногда мне кажется, что если понять этого генерала и эти аплодисменты, станет — выражаясь языком Радищева — ясным «многое, доселе гадательное в русской истории». Но понять — это все-таки далеко не всегда означает только — осудить.

Большое впечатление производили на меня и разговоры рабочих в цеху. Поначалу они просто ставили в тупик. Прежде всего, никакого железного класса-гегемона в инструментальном цехе я не обнаружил. Революция волновала воображение только некоего Пашки Богомолова, мужчины лет под сорок, опустившегося, заросшего, жив-

шего тут же под станком и не искавшего себе другой квартиры, всегда полупьяного. «Мне бы сейчас законы революции, — говорил он по всякому поводу, — я б ему (им) показал...». Он рассуждал почти так же, как Шолохов на каком-то съезде — не то писателей, не то партии... Остальных революция волновала мало, волновали их только несправедливости, с которыми они сталкивались. Договаривались иногда до того, что лучше бы немцы пришли, тогда бы хоть счета можно было свести кое с кем (по большей части с кем-то случайным). Некоторые клялись, что при таких условиях больше работать не будут ни за что. Однако — работали. Несмотря на голод, холод, озлобленность. И очень радовались, когда началось наше наступление — регулярно в перерыв отправляли меня в редакцию, где по радио принимались сводки Совинформбюро, — узнать, какой город взяли. Даже МГБ очень мало внимания обращало на все эти разговоры. Впрочем, они, вероятно, имели на этот счет соответствующие инструкции — смотреть на все это сквозь пальцы. Кому-то ведь надо было работать.

Общение с этими людьми было для меня чрезвычайно полезным, обогащающим. Я навсегда отучился от всякого самомнения и всякой надменности по отношению к «простым» людям. Это произошло не от взглядов, а от ощущения реальности. Сплошь да рядом этот простой человек оказывался во многих отношениях тоньше, умнее, талантливее и благороднее, чем я: он понимал и действовал там, где я только ошеломленно смотрел на все, как баран на новые ворота. То, что бывает и наоборот, ничего для меня не меняет. Ибо, какая область важнее — знает только Бог. Таким образом, война дала мне ощущение не только реальности, почвы, Родины, но и собственной личности. Ибо я и сейчас убежден, что без такого отношения самосознание почти невозможно. Даже то, что в армии я не мог соответствовать не только требованиям начальства и устава, но и собственным требованиям, и что это как бы перечеркивало меня в собственных глазах, но

не могло зачеркнуть до конца, — как-то способствовало этому. Кстати, именно в это время я стал осознанно ценить и интеллигентность, благородство, чистоту помыслов, простую порядочность. Впрочем, и это не колебало моего мировоззрения: революция, как известно, связана с интеллигенцией неразрывно. Я сам еще не знал, что это во мне работала другая тема — тема России. Все это — смятение, патриотизм, мировую революцию, неудачу с военной службой и с попыткой стать рабочим — все это вместе я привез с собой в Москву, когда впервые в жизни сошел на перрон Казанского вокзала.

Конечно, я волновался. Здесь мне снова — в Киеве меня многие «признавали», но это в детстве, — предстояло доказать себе и другим, на что я способен и что могу. За вокзалом меня ждал незнакомый, но родной город, город литературных и всяких иных легенд, интересные люди, серьезные разговоры и — что греха таить — захватывающая душу настоящая борьба за правду.

Я подошел к периоду, едва ли не самому трудному и серьезному в моей биографии. В Москве я прожил четыре года (1944–1947), а в самом конце сорок седьмого, а именно 20 декабря, в День чекиста, я был арестован. В столице началась по-настоящему моя духовная и интеллектуальная жизнь. В этот период я встретил многих из тех, с кем дружил всю жизнь, исповедовал разные — иногда прямо противоположные — взгляды, совершил большинство тех поступков и передумал большинство тех мыслей, которых стыжусь до сих пор. Но все-таки я был одним из очень немногих представителей моего поколения, находившихся с этим страшным временем в личных отношениях. Это конечно, не могло не отразиться и на моих стихах, что и привело меня на Лубянку в январе 1945 года. Впрочем, тогда со мной ничего страшного не случилось. Я потому и употребляю слово «привело», потому что меня не арестовали и даже не вызвали. Вышло так, как будто я сам напросился. Вот как это произошло.

Почти с первых дней своего появления в Москве я начал усиленно посещать литературные объединения и читать на них стихи. Производили они тогда впечатление взрыва, ибо резко отличались от всего, что было вокруг. Собственно, дело было даже не в политических позициях, а скорее в пафосе правды и смысла, в пафосе судьбы поколения, окончание детства которого совпало с годами чисток. Позиции мои были разные, иногда я даже эти чистки оправдывал или прощал, но говорил о них вслух, с трибуны, а это было неслыханно. Почему я это делал — не знаю, самому страшно вспомнить, однако это было. Вряд ли я не понимал, чем это должно кончиться, но меня несло. Результаты не замедлили сказаться. Месяца через два-три после начала этой деятельности вокруг меня начала образовываться пустота. Люди, которые еще вчера интересовались мной, были со мной приветливы, вдруг начинали избегать меня, комкать разговоры, отменять встречи. Несмотря на всю свою неопытность, я не мог не чувствовать, что происходит. Можно сказать, что я уже примирился со своей судьбой. Но вдруг на одно из занятий объединения при издательстве «Молодая гвардия» явился Крученых с молодым человеком и попросил, чтобы каждый из присутствующих прочел по стихотворению. Началось чтение. Когда первые два-три человека уже отчитали, Крученых неожиданно спросил: «А кто здесь Мандель?». Я польщенно отозвался. «Прочти про декабристов!» — приказал он. Когда вечер закончился, ко мне подошел его спутник, познакомился, дал свой телефон и попросил заходить. Я пообещал и тут же забыл об этом. Однако через некоторое время пришлось вспомнить.

Дело в том, что тучи надо мной продолжали сгущаться, я это чувствовал и нервничал, хотя как будто ничего не происходило. В один из таких дней я опять встретил Крученых. На этот раз действительно случайно — на улице. На дежурный вопрос: «Как живешь?» — я прямо ответил: «Плохо». И пояснил: «Скоро посадят». Дело в

том, что я уважал Крученых как бунтаря и футуриста и поэтому доверял ему. Крученых мой ответ не удивил. Он не стал меня разубеждать, только посоветовал позвонить X (то есть тому молодому человеку, с которым он был в издательстве). «Может быть, он тебе поможет», — сказал он. Я так и сделал — позвонил и пришел. X, выслушав меня, сказал, что помочь мне может только Сталин, если убедится, что я человек действительно талантливый. Так что мне надо переписать все свои лучшие стихи — независимо от направленности, а он, X, уж найдет способ их передать по назначению. Не думаю, чтобы я очень поверил в это, но терять мне было нечего — я согласился.

Впрочем, такое мое поведение диктовалось не одним только страхом, хотя и его хватало. Дело было и в радостном чувстве победы, которое объединяло меня с другими и, казалось, многое объясняло, и в смутном ощущении, что ценность революционных позиций, с точки зрения которых я сужу современность, весьма относительна, и во многом другом. Во мне уже медленно, но верно начался поворот к сталинизму. Обстоятельства, о которых я рассказываю сейчас, только ускорили его.

Через несколько дней после первого разговора я отдал X тетрадь со стихами. При следующем разговоре он куда-то позвонил по телефону, а потом передал трубку мне. «Скажи, что ты запутался», — прошептал он мне. Нечто подобное я и пролепетал. Мне была назначена встреча. Оказалось, что на Лубянке. Впрочем, нечто подобное я и подозревал.

Ничего особенно плохого из этой встречи для меня не вышло. Наоборот, люди, которые со мной разговаривали, помогли мне получить документы (свои документы я потерял и жил в военной Москве 11 месяцев без всяких документов), «посоветовали» Литфонду выдать мне костюм и обещали, что на этот раз меня примут в Литературный институт, куда я до этого не был принят по политическим причинам его либеральным директором Гаврилой

Романовичем Федосеевым*. Я же обещал, что больше ничем подобным заниматься не буду, и обещал искренне. Меня действительно начинали интересовать другие вещи.

Почему они ко мне тогда так отнеслись, сказать не могу. За стеной этого дома, куда меня вызывали, в камерах сидели люди, имевшие за собой гораздо меньшие грехи, чем я. И не только сидели, а получали большие сроки. А обо мне — «заботились». Но это было именно так. Может, у МГБ была графа: «воспитательная работа», и они провели меня по этой графе — не знаю. А может быть, действительно X похлопотал.

Поразительно то, что если последнее верно, то и сел я через два года в тюрьму тоже по причине его хлопот. Сын генерал-полковника Телегина, Константин Телегин, которого несмотря на хлопоты влиятельного отца тогдашний директор института ни за что не хотел принимать в институт, возненавидел за это почему-то не Гладкова, а меня. В институт он был принят, но в отсутствие Гладкова и на заочное отделение, и это его оскорбляло. «Меня не принимают, а Мандель — антисоветчик, но его приняли!» — жаловался он. И пользуясь связями — теперь я знаю это достоверно — привел машину в действие. А ведь в его показаниях обо мне, на вопрос, был ли он со мной знаком, дан ответ: «Мы были очень хорошо знакомы. Иногда даже здоровались». Что отнюдь не помешало ему сказать, что я ему известен как хитрый и скрытный враг, а конкретных фактов этому своему утверждению он привести не может только потому, что, как хитрый враг, я очень хорошо умел скрывать свою враждебность.

Но это было через два года. А пока я цвел в труде «со всеми сообща и заодно с правопорядком». Ощущал я себя своим и потому вполне безнаказанным. Но не тут-то бы-

*Принят я действительно был, но лично Федором Гладковым по его собственному решению и благодаря письму Паустовского. Ему советовали меня не принимать, но он заявил: «Раз талантлив — примем». МГБ только не препятствовало этому.

ло. Примерно через год меня вызвали снова и дали «накачку» за то, что я читал где-то свое стихотворение о немецком мальчишке, который со спазмами в горле следит за составом, увозящим станки в СССР. Я очень удивился, так как вовсе не считал репарации незаконными, а писал просто о трагедии человечества, у меня был, так сказать, «диалектический взгляд на вещи», острые проблемы. Но им этот мой диалектический взгляд, как выяснилось, нужен был, как рыбе зонтик. Думаю, что они перед кем-то за меня поручились, а теперь боялись. Но должен сказать, что никаких попыток превратить меня в стукача они не предпринимали.

Тем не менее, наша любовь была отнюдь не вечной. Через два года вокруг меня опять начала образовываться пустота. На этот раз я, как говорится, был ни сном, ни духом ни в чем не виноват и не мог поверить, что это так. Чтобы проверить, верны ли мои подозрения, я опять позвонил человеку, которому когда-то сказал, что запутался, но он от разговора уклонился, намекнув, что, дескать, думать надо было раньше. Я подумал, что это — конец, но в то же время это до меня не дошло. Ведь я на самом деле был тогда сталинистом. Где мне было знать, что никакие сталинисты Сталину не нужны, что ему необходимы роботы и люди, согласные изображать из себя таковых. И я воспринял как величайшую неожиданность и несправедливость, когда, разбуженный ночью в общежитии, в подвале Дома Герцена, я увидел над собой «лазоревого подполковника», а в его руках — ордер на арест.

III

Как бы ни развивались мои отношения с правящей идеологией, был ли я ее адептом или противником, мои представления и взгляды — несмотря на то, что мыслил я самостоятельно, — покоились на весьма ложном основании. Содержание моей жизни в эти годы составляли не

поиски истины (они происходили, так сказать, подспудно, нецеленаправленно, почти неосознанно), а стремление эти ложные взгляды во что бы то ни стало соотнести с реальной жизнью, слова с делами и другими словами. Может быть, на фоне жизни, где не только не хотели, а боялись задумываться — это выглядело чем-то иным, тем не менее, у меня нет никаких оснований предполагать, что я был в чем-либо лучше или выше других (если исключить некоторых писателей и поэтов). Это я говорю не из ложной скромности, а из верности истине.

Эта честная потребность веры, потребность в цельности — качества, в общем, похвальные, — в силу характера времени часто приводили меня к тому, к чему не пришел бы самый откровенный конформист и жулик — к восторженному приятию зла. Торжество зла они принимали как данность, с которой приходится считаться, я — как откровение. «Plus royalist que roil».

Именно это не помешало мне в 1945–1946 годах вполне добровольно раза два общаться с эмгэбешниками и вести с ними интеллектуальные беседы. Сознаюсь, что мне было не противно, а интересно: я их считал своими единомышленниками. Впрочем, если говорить честно, эти люди, равно как большинство следователей, через два года ведших мое следственное дело, и не производили впечатления монстров и палачей. Настоящие монстры появились в кабинете следователя только однажды с тем, чтобы я назвал всех своих знакомых. Вопрос был глупый — я был знаком с половиной Москвы, — но мне запомнилась невзрачность одного из них и порочно-красивое лицо другого. Первый был просто подленький дурачок, я его однажды видел в ЦДЛ на вечере Литинститута, когда ребята меня подозвали к столику, за которым сидел мало-знакомый мне Телегин и один из моих товарищей по институту — потом его испуганные показания фигурировали в моем деле как показания свидетеля. Второй был жестокий циник. По некоторым описаниям, он похож на Рюмина, но я в этом не убежден. Чувствовалось, что мои

следователи к этим визитерам относятся с молчаливым неодобрением. Впрочем, это не мешало им самим добиваться ложных показаний у других заключенных. Тем не менее, они не были монстрами. Они были обыкновенными советскими людьми — такими же жертвами демагогии и террора, как все другие, хотя этот террор выпало осуществлять именно им. Когда я сказал бонвиванистому капитану МГБ, принимавшему участие в моем аресте, что как же так, я ведь не антисоветчик, он глубокомысленно заявил: «Но ведь репрессии необходимы». Видимо, им на политзанятиях так говорили. В том и ужас, что самые страшные дела на Руси делались руками самых обыкновенных, а иногда и просто хороших — то есть совсем не расположенных ко злу — людей. И так же, как и я, мои следователи и те, с кем я «общался» в 1945–1946 годах, — придумывали себе философию, вполне оправдывающую их неблагоприятную деятельность. И были, вероятно, отчасти благодарны мне за то, что я это делал с большим блеском, чем они. Но я это делал не для них, а для себя: в оправдании их деятельности нуждались все, у кого не хватало мужества и мудрости ее осудить.

Ни во время моего «общения», ни во время «следствия» я ни на кого из знакомых никаких «порочащих» показаний не дал. Не могу сказать, что это потребовало от меня героизма — от меня этого не очень добивались. И говорю я об этом сейчас для того, чтобы сообщить не об этом нормальном факте, а о том, что, как это ни глупо, это стоило мне мук, но отнюдь не физических, а только моральных. Далеко не все мои знакомые придерживались моих новых взглядов и — несмотря на то, что знали о моих хождениях в МГБ (тем более, я о них говорил всем и всякому, даже фактически написал в стихах), — мне доверяли по-прежнему и спорили со мной. Согласно моему революционному моральному кодексу — в то время уже достаточно архаичному — я обязан был, если не прямо донести на них, то уж во всяком случае, честно ответить на поставленный вопрос. Формы классовой борьбы, адекват-

ность которых данному историческому моменту была гениально угадана великим Сталиным, требовали насильственной монолитности. Всякая сентиментальность тут автоматически исключалась — с моего согласия, конечно. Но дать такие показания я, тем не менее, не мог. Я считал, что веду себя неправильно, позорно, я брал грех на душу — но выполнить это условие моего морального кодекса был не в состоянии. Спасло меня и то, что в какой-то момент я почувствовал, что все они винтики машины, — очень в данный момент нужной, но все-таки машины. И несмотря на всю мою развращенность диалектикой — ядовитая это штука, позволяющая ко всем вокруг относиться «диалектически» и «творчески», то есть равнодушно, — все во мне воспротивилось этому. Не знаю, как бы я жил, если в какую-то минуту мои воззрения победили мою природу... Меня Бог спас.

Будучи страстным сталинистом, должен честно сознаться, что самого Сталина я не любил никогда. Ни его самого, ни обстановки, которую он создал в стране. В силу причин, которых я касался выше, в силу того, что мировой революции способствовал именно Сталин (присоединяя к «ней» страну за страной), я считал это отсутствие любви к нему своим крупным недостатком, просто недостаточностью. Я заставлял себя любить его, и нет ничего удивительного, что эта рассудочная любовь оказалась без взаимности. Сталин любил, чтобы его любили в установленных формах, а никак не самостоятельно.

Вообще тогда в моей душе господствовали две стихии — Революция и Россия. Революция была связана с некоторой устремленностью, с активностью, Россия — с чем-то, умеряющим страсти, — с соразмерностью, с почвой, с земным воплощением духовности. Эти стихии, скорее, боролись во мне, чем мирно сосуществовали, но все же они странно взаимодействовали в моей душе. Казалось, что Сталин открыл Россию раньше меня (потом я понял, что открыл не Россию, а способ эксплуатации ее недостатков): в то время как я эстетически наслаждался

собственной революционностью, другие грубо, единственно возможным способом делали то, что надо. «Потому что они мужчины, — думал я про себя, — а не отщепенцы и слюнтяи». А каждому мальчику страшно быть не мужчиной. Странное было представление о мужестве в те страшные годы.

В среде интеллигентской молодежи оно представляло собой некое сочетание духа просперити и страха. Впрочем, одно от другого неотделимо.

Я тоже считал себя сильным и любил свою силу. Одна только сила, согласно моему тогдашнему убеждению, в «наших трудных условиях» давала возможность (и право!) *сознательно и творчески* участвовать в жизни, а не превратиться в навоз истории, который хотя и исторически (и трагически тоже — так я тоже думал, я любил трагедию) необходим, но становиться которым мне не хотелось, и я по праву сильного «имел право» не становиться. Эта апология силы и жестокости вовсе не насаждалась официально (те, кто творил жестокости, вовсе не стремились сводить концы с концами, они просто их отрицали), но она сама вытекала из общей обстановки, из желания жить осмысленной жизнью. В моем представлении возникал некий орден посвященных, некое новое дворянство, которое пронесит сквозь жизнь, но не проявляет открыто, все те же идеалы революции, и надо только завоевать честь принадлежать к этому ордену. В каком-то смысле это было странным отражением того, что тогда возникало и в жизни. Я уже говорил о попытке Сталина создать сословное государство, а значит, и свое дворянство. Но только в каком-то смысле. Ибо в жизни честь принадлежать к этому ордену сплошь да рядом завоевывали люди, отнюдь не «революционные» и вообще недостойные какого-либо дворянства, но это, конечно, меня не останавливало. Я был марксистом и хорошо знал, чем отличается частное от всеобщего.

Это мужество (в основном это было мужество по отношению к чужим несчастьям) в сочетании с диалекти-

кой могло преодолеть все противоречия на земле. Как я уже говорил, я не мог верить, что Бухарин шпион, убивший Ленина. Но я верил, что сейчас (ох уж это вечное «сейчас»!) говорить так надо из тактических соображений, ибо такие люди, как он, объективно (опять много крови оправдавшее и много лжи утвердившее словечко) вредны, потому что революция пошла другими путями, которые не могут стать для них приемлемыми. То есть опять потому, что у них не хватило пресловутой силы. Силы! Силы! Силы! Получалось, что (во имя торжества мировой революции в России) необходимо, чтобы человек, не желающий быть вышеупомянутым навозом, должен становиться вариантом «белокурой бестии». Правда, этому я придавал романтическую — в духе Гумилева — окраску: нужно быть сильным, чтобы оберегать женственность и прочие духовные богатства жизни, «охраняя железом до времени рай, недоступный безумным рабам», — но суть от этого не менялась. Конечно, смешно, что этот романтический культ сливался с образом руководящего работника, насаждавшегося как идеал по официальной воле — героя всех тогдашних книг и фильмов (из которых не все казались мне тогда плохими). Но что поделаешь! В закрытом обществе создается своя искусственная шкала человеческих и эстетических ценностей, своя печка, от которой танцуют. И очень тяжело дается человеку такого общества реальная шкала, реальная иерархия ценностей. Я — первый тому пример. И все-таки думаю, что, несмотря на всю свою абсурдность, все вышеприведенные мысли и настроения были определенной вехой моего развития, шагом на пути возврата к реальной шкале, реальной иерархии ценностей. Даже эта дешевая «религия мужества» в каком-то смысле пошла мне на пользу. «Белокурой бестией» я все равно не стал, но навсегда отучился от эстетизации слабости — от романтизации неудачной любви, несчастья, жалкости, поверженной справедливости, от того гнета местечковости, который все еще довлел надо мной. Я и теперь считаю, что это хорошо.

Человек, защищающий справедливость и другие человеческие ценности, не может себе позволить быть жалким. Несчастливым называется не тот, у кого случается несчастье, а тот, кто чувствует себя несчастным, у кого самосознание несчастного человека. Это, конечно, не значит, что можно не сочувствовать чужой беде, человеку в несчастье. Да и вообще все имеет пределы. Как бы ни выглядел человек в руках палача, что бы тот ни заставил его сказать или сделать — жалок не человек, а палач. И забывать об этом грешно: это слишком выгодно палачам. Мысль эта принадлежит не мне, она содержится в одной работе, почти не ходившей в самиздате. Но я ее полностью разделяю.

Но здесь речь идет о мужестве как о внутренней устойчивости, о самостоятельности, а не как о «завоевательности» «сильного мужчины». Этот почти так же жалок, как и палач. Кстати говоря, идеология маленького человека, согласившегося считать себя маленьким (а кого-то большим), — обратная сторона идеологии сильного мужчины. Маленький человек — это «сильный мужчина», запросивший пардону. С настоящей скромностью это не имеет ничего общего. Ведь это отсутствие претензий не на внешнюю роль, а на внутреннюю ответственность за жизнь.

Чрезвычайно комическое впечатление производил такой «сильный мужчина» в нашей стране. Для того чтобы быть сильным, иметь сильные позиции в жизни, необходимо было пресмыкаться и... бояться даже собственного чиха. И, конечно, угодливо лгать. Не признавать ложь нужной, как я, а лгать ежедневно и ежечасно, жить во лжи, окончательно потерять себя. Я этого не умел. Я был два года сталинистом, но сталинистом с большевистской идеологией и психологией, что и определило ряд моих неудач — прежде всего, арест: сталинизм не терпел раздвоенности. Но и моя жизнь не обошлась без падений. Эти падения серьезно усугублены тем, что всему, во что я падал, всему, перед чем мне приходилось в связи с тогдашними формами жизни отступать, я придавал высокий ду-

ховный смысл. А ведь все от стремления к духу и истине. Странно проявлялось в те годы стремление к истине — заводило все дальше в ложь.

Большая вина за прегрешения, подобные моим, лежит на романтической литературе 20-х годов, которой я очень долго увлекался. Она создана в основном не большевиками, а «попутчиками», со страху — чтобы принять то, что принять нельзя, — и создавших революционную романтику и диалектическое отношение к жестокости. Эта литература выглядела почти взрослой, почти серьезной, почти интеллигентной, почти убежденной. Она писала, вернее, изображала правду. Только без ее существенного элемента — без правды естественных критериев. Она как бы легализовала уход от них. Потом она стала вспоминаться, как эпоха «штурм унд дранга» и яркого творчества, но просто ее лакейство перед грубой силой было гораздо тоньше, тлетворнее и соблазнительнее, чем прямолинейное лакейство поправших ее тридцатых. Но посприятие критериев, позволившее этой последней воцариться, произвела именно она. Ответственность лежит на ней, а не на том, что было потом.

Играла свою роль и более примитивная литература — всякие книжонки о сознательных и дружных пионерах, непрерывно занятых сознательной помощью взрослым в их созидательном труде и борьбе с врагами. Ах, какие это были дети, как переполнена была сознательностью и идейностью их жизнь — не то, что у ребят из нашего двора. Везет же людям. Я вырос в ощущении, что такие дворы, переполненные такими ребятами, есть везде, где меня нет. Такой уж я невезучий. Вероятно, соответствовать такому идеальному двору и искать его я пытался еще довольно долго и после детства. Так что не надо думать, что такая литература совсем не действенна. Восприимчивость — хорошее человеческое качество, но оборотную сторону, как видите, имеет и она.

Но какие бы насилия я над собой ни производил, все же, как я думаю, одно положительное качество у меня

было: я писал и говорил правду, я всегда интересовался тем, что для меня правда и почему это правда... От чтения моих стихов даже того времени, не возникает ощущения благодущия и успокоенности их автора. А ведь именно этим отличались стихи многих моих сверстников — причем совсем не обязательно все они были и оказались бездарными рифмоплетами. Они писали честные стихи о войне, со множеством реалистических деталей, с ощущением ее трагедии. Иногда эти стихи были даже очень яркими. Не имели они только одного — отпечатка личности, имеющей к жизни определенные претензии, то есть не имели определенного представления жизни, определенного, простите за банальность, эстетического идеала. И поэтому, когда было сказано: «хватит о войне», многие из них задергались, как рыбы на берегу. Пошли образные стихи о каменщиках и металлургах и бликах солнца или мощных ламп, играющих — для художественности — на орудиях их труда (это отличало таких авторов от стихотворцев типа Софронова, который обходился без этих признаков художественности). Почему-то считалось, что от самих этих признаков появится глубина содержания. Короче говоря, было что угодно, но только не обобщение, не дух, не откровение. Не было ничего этого и в большинстве стихов о любви, которая вне любящей личности и вообще-то превращается в пустой символ. Не последнюю роль в таких стихах, в их обеднении сыграл и культ мужественности, о котором я уже говорил. На практике он выродился в культ бесчувственности. В трех соснах этой показательной мужественности не раз запутывалось и мое чувство, и моя лирика. Иногда я прорывался сквозь это. Тогда что-то получалось.

Именно тогда я впервые столкнулся с эстетическим принципом, пришедшим к нам из предреволюционных лет и многих утешившим в двадцатые и тридцатые годы: «Важно не что, а как». В момент своего возникновения этот принцип тоже не был чересчур содержательным, в двадцатые годы он стимулировал предательский (по от-

ношению к духу) натурализм, а в тридцатые абсолютно раздавленному писателю внушал, что у него все-таки есть какая-то своя область, где он не раб, а жрец (такой области не было). Думаю, что сильно помогали этой иллюзии не только Маяковский со своим «Как делать стихи», но и остальные — иногда большие поэты «серебряного века», допускавшие наряду с глубокими и столь же неаккуратные высказывания, по сути, отрицавшие их же собственное творчество. Правда, они все эти вещи понимали сложнее, и у них было главное, как бы вынесенное за скобки, но все-таки пошлое, прямолинейное, претенциозное слово «новатор» относится к их словарю.

Странную роль в моей жизни сыграл марксизм. Мыслить я научился (если научился) — с его помощью. И в этом нет ничего удивительного. Ложная или неложная это система, но это система мысли. Причем, система, связанная своими истоками со всей историей и культурой мысли, вполне — при отсутствии других коммуникаций — могущая служить своеобразным мостом к остальной культуре. Даже проблема личности и ее взаимоотношений с обществом мне стала известна и понятна через марксизм. Вряд ли я теперь марксист. В марксизме меня не устраивает претензия на абсолютное понимание жизни и ее ценностей, вообще претензия на абсолютное знание, а также то — это сказал Сент-Экзюпери, — что он рассматривает человека только как производителя и потребителя. Впрочем, если верно, что никакая теория сама по себе не наделяет человека личной мудростью, не спасает его от непонимания жизни и ее смысла (и даже просто смысла произносимых им самим слов), верно и то, что любая теория, если она честно пытается что-то объяснить, даже если ее потом отбросят как неудобную, может открыть дорогу к мысли человеку, который этого желает. Уже тем, что она его в этот мир вводит. Меня марксизм научил прямо противоположному подходу к человеку, чем тот, который справедливо увидел в нем Сент-Экзюпери. Мне он открыл дорогу к тому, что, по мнению многих, — нельзя ска-

зять, чтобы бесосновательному, — он прежде всего отрицает: к Духу.

Через марксизм же я прикоснулся впервые к философии истории и — правда, это факт моей биографии — к России, ее истории и смыслу ее истории.

Но пока это более точное понимание ценностей, в том, числе ценности собственной личности не толкало меня и многих других глубже в оппозицию. Наоборот, именно это заставляло нас мириться с ужасами сталинизма как с объективно-исторической необходимостью. Ибо никто не сомневался в том, что личность, идущая против воли истории, терпит крушение — прежде всего, как личность. Это положение никем вокруг меня под сомнение не ставилось. И вот получалось, что грубый, низколобый, низменный человек непостижимым образом становился носителем этой необходимости, от которой зависели не только наши судьбы, но и ценность нашего внутреннего содержания. Ибо протест против выражаемой им «необходимости» столь же мистически превращал нас в наших же глазах в мелкотравчатых и провинциальных носителей мещанства, в тот же самый навоз истории. Марксизм весьма располагает к ницшеанской психологии.

Конечно, он озабочен только массами, их решающей ролью в истории. Массы — господин, все остальное только им служит. Но если вдуматься, этой решающей роли не позавидуешь. И нет более страшного наказания для большевика, чем вернуться обратно в массы, в народ. И это естественно: обидно быть бессмысленным, бессловесным, хоть и главным актером истории, неотличимой каплей мирового океана, глиной в руках лиц, «понимающих законы истории». Другое дело быть — ну пусть не руководителем, пусть выразителем этих масс, их исторической роли. А для этого роль надо выражать правильно. Так что — с исторической необходимостью лучше не ссориться, а то сам себя в навоз произведешь и навозом признаешь.

Но в то же время — несмотря на такой фатализм — разговоры об исторической необходимости были для нас

единственной отдушиной, через которую мы позволяли проникать в наше сознание реальности, ибо она была как раз *тем*, чем *во имя* исторической необходимости следует пренебречь. Вот и говорили (а я писал), *чем именно* следует пренебречь. Эта забота об истории и ее необходимостях была не более, чем духовным извращением. История сама о себе позаботится, если что-либо будет ей необходимо. Мы же должны заботиться только о добре и красоте. И, конечно, о правде.

Но эти искания и искажения отнюдь не были всеобщими. Большинства народа они вовсе не касались. Почти совсем свободна от них была — хотя по другим причинам — и люмпен-бюрократия, о которой шла уже речь выше. Я употребил уже этот термин, касаясь вопроса о так называемой «советской интеллигенции», которую, строго говоря, правильнее называть «люмпен-интеллигенцией». Провести четкую границу между «люмпен-интеллигенцией» и «люмпен-бюрократией» невозможно, ибо первая питает и поддерживает вторую. В сущности, правители, не умеющие управлять (но компенсирующие это той или иной формой террора), не так уж сильно отличаются от учителей, не умеющих учить и не знающих своего предмета (но опирающихся на идеологическую фразеологию и интриги, то есть на ту же власть, на тот же террор). С каждым годом их становится все больше. Единственное нормальное положение для них — это когда положение ненормально. Одна карагандинская дама, жена работника КАРЛАГа, любящая мать, в очереди говорила другой такой же (когда объявили о прекращении дела врачей и о злоупотреблениях органов бывшего МГБ): «Хоть бы лагеря еще два года продержались — детей на ноги поставить».

Думаю, что этот «класс» давно перестал быть явлением только советской жизни (или стран социалистического лагеря). Например, к нему определенно относится английский *рабочий* композитор Алан Буш, который сегодня, в дни оккупации Чехословакии, вы-

ступает даже против своего, весьма осторожного руководства, которое все-таки осудило эту оккупацию. Он ее безоговорочно поддерживает. «Я бывал во всех восточноевропейских странах и знаю, — говорит он, — что интеллигенция любой из них, кроме Болгарии (видимо, в Болгарии с ним не откровенничали), проникнута контрреволюционными настроениями». Обратите внимание на логику: человек обнаружил «настроения», не потрудился поинтересоваться, откуда они берутся, насколько они основательны с точки зрения жизни в этих странах, а действует по принципу: «Обнаружил — дави!». Знакомый принцип?

Откуда такой коммунистический раж у человека, живущего в Англии? А оттуда, что композитором он может быть только с помощью государства. Эта помощь в социалистических странах ему — как «хорошему человеку» — была обеспечена, а при Дубчеках он вполне мог бы ее лишиться (зачем чехам, в том числе чешским рабочим, какие-то особые рабочие композиторы?). Пришлось бы остаться один на один с музыкой, как в Англии. Ему этого, поверьте, не хочется.

Я не утверждаю, что в этой своей логике он откровенен, люди его породы «о себе обычно не думают, а только о других и об общем деле», но на самом деле они думают только о себе, но только скрывают это и от себя — честность мысли и откровенность самосознания не их добродетель.

Лично я предпочитаю откровенных жуликов. Они гораздо менее опасны, чем люмпен-бюрократы. Более того, когда среди люмпен-бюрократов встречаются жулики, то это среди них самые светлые личности. И, конечно, самые гуманные — взятки берут. Это гораздо лучше, чем отличающее люмпен-бюрократа — это особенно проявилось в дни танкового похода против чешской печати — чисто параноидальное убеждение, что выгодное или приятное ему лично — обязательно остро необходимо всему человечеству.

Впрочем, все эти термины и рассуждения пришли мне в голову гораздо позже, для этого нужны были жизненный опыт и зрелость размышлений. А тогда, в девятнадцать лет, мне казалось, что отсутствие у таких людей всяких сомнений, как и их спокойствие и невозмутимость, объясняются тем, что они знают нечто важное, основное, исконно-посконное, что мне абсолютно недоступно.

Я не пишу сейчас обвинительного заключения по их делу. Среди них есть люди хорошие и плохие, добрые и злые, умные и глупые, хотя нивелировка, которой они подвергаются, стирает эти различия, делает их несущественными. Но люди есть люди.

Безусловно, они все вместе — явление сугубо отрицательное, может быть, смертельно опасное для своей страны, своих детей и всех людей на земле. Я не снимаю с них ответственности — каждый человек ответствен за свое поведение. Я только хочу сказать, что в их общественном поведении повинны не они одни. Это не хрестоматийные злодеи, а обыкновенные люди. Они не виноваты, что революция открыла им слишком прямой доступ к власти и к культуре. Не виноваты они также в том, что неизбежные при таком быстром овладении культурой грубость и примитивизм представлений усугублялись для них еще тем, что и эти представления, и саму культуру они получили из рук Сталина, в сталинистском варианте, то есть, что грамоту они получили вместе с людоедством, что для них эти понятия связаны. Сталина выдвинули и привели к победе не они.

Противоречий своего мировоззрения и мироощущения они не замечали. Они были искренне преданы революции, открывшей им все дороги, и так же искренне стремились к собственному преуспеянию и благосостоянию, а также к власти. Последняя была для них единственным путем к этим благам. И благосостояние, и положение, и власть они воспринимали как единственную плату своей бескорыстной преданности и необходимости. Преданности не чему-нибудь, а именно коммунизму, ко-

торый был основой их официального мировоззрения, но который был от их мироощущения гораздо дальше, чем христианство от мироощущения самого отпетого мытаря. В то время господствующей психологией в стране была психология ограбленного крестьянина, которому наглядно показали на его собственном опыте, что ни законов, ни совести нет, но который любой ценой хочет приспособиться к этим новым, сумасшедшим, но совершенно непреклонным обстоятельствам. Для такого человека все громкие слова — только правила игры, только хитрое средство, применяемое хитрыми людьми для достижения единственно понятной ему и разумной для него цели — благосостояния. Впрочем, конечно, не все достигали этого благосостояния именно таким путем. Большинство просто начинало промышлять всеми дозволенными и недозволенными способами, овладевали тем или иным мастерством, поступали в завхозы и так далее. Но я сейчас говорю не о них, а о тех, кто бросался, так сказать, в интеллектуальную сторону. И опять-таки из этого числа я исключаю людей, сделавших это по призванию — их тоже было много, но это другая тема: они разделяли участь всей остальной интеллигенции. Люмпен-бюрократами они становились только случайно. Но ведь были еще и люди, из числа которых во все времена и во всех странах (а они есть и должны быть во всех странах и во все времена, без них нельзя) рекрутируются чиновники и канцеляристы. Что оставалось им делать в середине двадцатых годов, как не изображать из себя (для себя тоже) фанатичных коммунистов? Иного проявления для свойственного им стремления к верноподданничеству и порядку тогда и быть не могло. А дальнейшие метаморфозы могли им быть даже приятны — разумеется, по близорукости. Они тоже растворились в люмпен-бюрократии и их дух присутствует в ней совсем не инертно.

Вряд ли нужно доказывать, что никакого отношения к идеологии и психологии революции («Церкви и тюрьмы сравниваем с землей», «Пожар мировой револю-

ции», «Новые человеческие отношения») — все эти люди не имели и не могли иметь. Они только приспособлялись к этому. Но, сами того не понимая, стгорая от желания приспособить к новым веяниям душу и тело, они все-таки — чаще всего бессознательно (я уже говорил, что откровенность сознания им не свойственна) — только тем и занимались, что приспособляли их к себе. И это им удавалось, хотя ничем похожим на дьявольскую хитрость они не отличались. Просто уж слишком фантастичны и нереальны были требования, к которым они приспособлялись, просто для того их и брали на службу, чтобы они это делали, просто те, к кому они приспособлялись, — старые большевики, — в свою очередь (поскольку революция не делается в белых перчатках, а тактика — основной закон) приспособлялись к ним. Все ведь люди, все человеки — нужна стала и дачка (за заслуги, и возраст подошел), и хорошее бесперебойное снабжение среди голода (чтобы бытовые заботы не отвлекали от революционных), и многие другие привилегии — в основном мелкие и некричащие, на первых порах, и даже странно подчеркивающие их принадлежность к революционному клану. Но эти привилегии с самого начала были изменой фантастическому Делу и подтачивали это Дело, пока, в конце концов, после полного торжества Сталина, от всего бывшего Дела не осталась одна оболочка названий, из которых был вынут всякий смысл. Тогда они сами стали главной сутью этого дела. Так идеологическое государство окончательно потеряло свою идеологию.

Сегодня, когда довольно модным стало справедливое разочарование в революции, находятся люди, — в основном «национально мыслящие» — которые утверждают, что сталинизм был здоровой реакцией на безответственную фантастику, возвращением к реальности и национальным истокам, к пусть отвратительной, но привычной и «родной» национальной бюрократии. Оставляя в стороне вопрос о моральности такого отношения к вещам, к гибели миллионов крестьян и просто невинных людей (не од-

них же старых большевиков мучил и убивал Сталин), я утверждаю, что это не больше, чем самоутешение. Сталинизм действительно был связан с реакцией на революцию, но он не воплощал эту реакцию, а только использовал ее. Так же, как он использовал и боязнь этой реакции. Сталинизм — это воплощенная власть, власть для власти (это гораздо опаснее, чем пресловутое «искусство для искусства»), это идеологическое государство, лишившееся идеологии. Это значило не только то, что ему нечего было сказать другим, ему нечего сказать и самому себе. В самом деле — какую бы политику ни вели цари, они всегда могли сказать, что исходят из блага Российской империи, Ленин — что он исходит из интересов мировой революции, базой которой он, по его представлениям, руководил. Сталин же завел в России такое государство, которое и самому себе не могло сознаться, чем оно является. Оно уже знало, что оно — не база мировой революции — как это ни нравилось романтической молодежи, нельзя же было слишком долго внушать такому большому народу, что его жизнь положена на алтарь проблематичного счастья других народов (которые к тому же отнюдь, во всяком случае, тогда не торопились последовать его примеру). Кроме того, и самим нельзя было из-за этого портить отношения с другими странами и ухудшать свое и без того нетвердое положение. Но просто так — взять и объявить себя империей — тоже было невозможно. Слишком много разных народов населяло тогда нашу страну, и отпадало основание их связи с Россией. Потом, всякая реставрация была бы на первых порах связана с реставрацией собственности и инициативы, а значит с ограничением собственной власти. А к этому партия (то есть ее руководство) всегда относилась крайне болезненно по иррациональным, как я думаю, причинам. Просто никаких других ценностей, кроме безраздельной власти над всеми проявлениями жизни, — она не понимала. Кроме того, это значило бы остаться не только без идеологии, но и без всякого идеологического прикрытия, то есть стать самим собой, вернуться к реальности и

правде, а на такое сталинизм не был способен по определению. Вместо этого и выработался тот партийный язык, язык духовной прострации, на котором пишут и говорят советские деятели, язык, который спокойно и легко сопрягает несопрягаемое. Этот язык — система сигналов люмпен-бюрократии, при помощи которой она вполне квалифицированно обменивается информацией в своей среде. Это язык организации лиц, не соответствующих занимаемой должности и не желающих при этом от нее отказаться. Он очень приспособлен к тому, чтобы благодаря ему ни разу не проступила бессмысленность и противоестественность положения говорящих или любая другая реальность. Единственное, что этих людей выводило из такой прострации, был культ личности Сталина, религиозная вера в то, что уж ему-то все концы и начала известны доподлинно. Он один принимает на себя всю ответственность за их поведение. Выражение «культ личности» — не эвфемизм только тогда, когда речь идет именно об этих людях. Именно этот язык, «зюветпартайшпрахе» — их единственное духовное достояние, заставляет их так активничать в подавлении культуры. Без этого языка они не могут. Не только потому, что не сильно грамотны, а еще и потому, что нормальный язык неизбежно рано или поздно проявил бы правду их положения.

Итак, в основном я пишу о тех, кому революция — без должных оснований — открыла дорогу в культуру. О тех, кто знает только один способ обращения с культурой — руководство ею. О тех, кому трудно было ее освоить (а осваивали они ее положительно, но как «род занятий», а не как «дух»), но кому помогли стереотипные фразы, на страже которых эти люди стояли. Например, о дипломатах, изучивших иностранные языки, но плохо и недифференцированно говорящих по-русски. Именно из этого типа людей образовался тип сегодняшнего сталиниста — сермяжного человека с разорванным сознанием. Тип генерала, поставленного Сталиным в невыносимые условия 41-го года, но яростно аплодирующего сегодня

всякому упоминанию его имени. Не думаю, что этот генерал был трусом на фронте. Но я понял, чем отчасти объясняется непропорциональная разница потерь. Видимо, именно этот непрофессионализм влечет его к Сталину, ибо только в обстановке, созданной Сталиным, он и мог стать генералом. Конечно, это не относится ко всем. И не все они обожествляют Сталина.

Причин победы сталинизма много. Прежде всего, те пять хозяйственных укладов (психологических было много больше), о которых писал в начале революции Ленин. Были в России люди, которым тесны были рамки современной цивилизации, и люди, верившие, что мор может обернуться птицей и улететь. Теперь это все перемешалось. У каждой прослойки — даже не принимавшей революции — было свое о ней представление. Все это сталкивалось, искажалось, взаимоуничтожалось, и поэтому неудивительно, что за революцию можно было выдать все, что угодно — даже сталинизм. И нет ничего удивительного, что многие из них не замечали никакого противоречия не только между национализмом и интернационализмом, но даже между прогрессом, представителями которого себя ощущали, и нищетой деревенских родственников, на труде которых держался весь их прогресс. Дворянское чувство вины перед народом не было им свойственно и в малой степени. Они-то и были в своих глазах народом и те, кому приходилось туго, страдали, по их мнению, только от своей же собственной несознательности, пьянства и плохой работы. Правда, они и сами бывали всегда не прочь выпить, но ведь они-то были сознательны! Гордясь наглядностью своего роста, иногда абсолютно непропорционального внутреннему и профессиональному, и одновременно тем, что происходят из народа (что давало им вполне одобряемые ими преимущества перед многими, например, перед евреями, но не только перед ними), они в то же время слегка и третировали его за некультурность и за неумение выдвинуться. Иногда свое стремление выдвинуться они отождествляли со стремлением к культуре (поначалу

для многих это было, наверно, даже правдой, другое дело — потом). Не их вина, что в их глазах представление о культуре навсегда связалось с развращающей эклектикой сталинизма, что казенный «воляпюк» официальной бумаги или статьи был для них таким же приобщением к богатству человеческой культуры, как для московских боярышень расхожая танцевальная музыка петровских ассамблей.

Я никого не собираюсь обелять. Каждый отвечает за то, что доступно его пониманию. А многие из них — особенно в последние годы — отлично понимали, что они делали, даже если усиленно себя уговаривали, что так надо. И никому из них не простится вторжение в Чехословакию под флагом абсолютно чуждого советской идеологии интернационализма. Панический страх перед свободой слова, проявляющей, как минимум, реальную степень умения каждого разговаривать с людьми, — не может служить смягчающим обстоятельством. Люмпен-бюрократическая прострация опасна для существования жизни на земле. Сейчас это взрослые люди, и прощения им нет.

Но тогда, когда и мне, и им было по двадцать, когда они осваивали культуру как ремесло и дело, когда помехи при вообще трудном процессе приобщения человека к культуре централизованно усиливались, когда казалось (и не только им казалось), что отсутствие личности — личное достоинство, приобщение к тайнам, классовое чутье или народная мудрость — тогда они были виноваты гораздо меньше. У кого, собственно говоря, они могли научиться подлинной интеллигентности? У нас — у детей врачей, бухгалтеров и учителей, которые и сами жили в каком-то выдуманном мире, и сами — что греха таить — были интеллигенты липовые? Наши родители обладали многими достоинствами, облегчающими наш старт: у них были пережитки порядочности (городской, в городских условиях более стойкой, чем крестьянская), некоторая привычка к начаткам абстрактного мышления, все же дававшим их детям представление о том, что такое мышление (а также и другие культурные ценности) — существу-

ет. Но как уже видел читатель, мы тоже были весьма далеки от свободной строгости мысли, от честности, а, значит, и убедительности ее. (Имеется в виду не намеренная ложь, а отсутствие желания делать выводы, которые вытекают из фактов.) Для многих из нас энтузиазм или был оборотной стороной страха, или им надежно подкреплялся. Впрочем, и при декретированной свободе мысли свободной мысли бывает не очень много. Например, слепое следование модернистской традиции, тенденции к вечно-насильственному обновлению искусства, при котором необходимо и нормально быть только гением (ибо или ты произвел революцию, или ты бездарь), — тоже не имеет ничего общего ни со свободной мыслью, ни со свободным творчеством. Но все-таки здесь еще есть свободный выбор. А какая самостоятельность могла быть у нас, когда заданной оказывалась сама мысль, сам ответ, к которому насильно подгонялись вопросы? Какая могла при этом ощущаться за нами прочность, даже если мы верили в то, что это естественно? Люди, не задававшие себе вопросов, казались и были тогда прочнее и разумнее. Хотя у каждого из них, как я теперь понимаю, тоже было о чем рассказать и о чем позабыть. Правда, это «что-то» лежало не в области культуры или культурной логики, но лежало достаточно глубоко. Они тоже кое-чем пренебрегли при помощи диалектики и прогресса. И если они стоят сейчас на своем, то только потому, что жизнь прожита, а ничего другого они не умеют.

Нет, учиться у нас им тогда, видит Бог, было нечему. Убедительностью тогда казалась убежденность, защищенность от сомнений, а в этом они нам давали сто очков вперед.

Так у кого же им было этому учиться? У родителей? Но ведь от родителей они как раз и уходили в город, от их, так сказать, отсталости и некультурности, от нетипичности их невыносимых жизненных условий, от их прямо противоположных официальным (в их представлении — сознательным, культурным) представлений о жизни. Где им

было тогда понять, что такие «уходы» губят в них культуру предков, что — несмотря на его темноту и неграмотность — у деревенского человека была своя культура отношения к жизни, к людям, к труду, к своим и чужим обязанностям и вообще культура представлений о должном и не должном. Она складывалась веками, эта культура, кругозор ее был ограничен, недостаточен, но это все-таки была культура, накопленное духовное богатство, цельное представление о мире. И это все-таки было выше, чем отсутствие всякой культуры, всякого предания.

Конечно, трудно представления деревенской жизни приложить к жизни городской, интеллигентской. Крестьянин (или рабочий), исходящий в своей повседневной жизни из материальных стимулов, заслуживает почти во всех случаях всяческого уважения как серьезный и ответственный человек. Но этого никак нельзя сказать о поэте или социологе. Для них это бы было (и часто бывает) всякой потерей ответственности. Такое психологическое состояние Маркс в 1844 году назвал «грубым или казарменным коммунизмом». Это, по Марксу, такое состояние, такое мироощущение, которое распространяет представления частной собственности на все в жизни и ненавидит все — например, как говорилось выше, талант, — чем на началах частной собственности не может владеть каждый. Эти представления не только не выше, а много ниже представлений частной собственности. Таким образом, это не крестьянское, а люмпенское сознание, и имеет прямое отношение к люмпен-бюрократии, которую после вторжения в Чехословакию так и тянет назвать люмпен-империализмом.

Надо ли специально доказывать, что само крестьянское сознание при соприкосновении с культурой совсем не обязательно превращается в люмпенскую психологию. Очень многие люди вышли из деревни к самой подлинной культуре. Ярким примером этого может служить Твардовский. И не только он — Тендряков, Можаяев, Солоухин, Абрамов и многие другие. Это если говорить о писателях. Но ведь не только в писатели шли эти люди. Для писателя в

таких случаях его деревенское происхождение становится даже преимуществом. Сколько ни учишься, а все-таки в деревне нагляднее, чем в городе, видно, откуда и как растет жизнь. Сужу по себе: я — правда, не добровольно, — больше двух лет прожил в деревне. Это имело очень большое значение для формирования моей личности.

Но само по себе деревенское происхождение (впрочем, как само по себе дворянское и любое другое) автоматически никаких преимуществ никому не дает. Наоборот, пробиться деревенскому человеку труднее, а отступить — легче.

Схематически это выглядит так: лучший ученик сельской школы, звучнее, чем другие, читавший стихи, лучше всех писавший сочинения, ученик, которому все прочили великолепное будущее, — по прибытии в университет с горечью открывает, что весь его блеск здесь совсем не блеск, что по сравнению со многими другими он пока, как говорится, — не тянет. Это большой удар. Весь вопрос — хватит ли у него характера, мужества и честности осознать свое положение и постараться изменить его по существу, а не только внешне. То есть, начнет ли он догонять тех, от кого в каких-то смыслах пока отстает, чтобы потом, может быть, даже перегнать их в этом, или у него ни мужества, ни терпения не хватит, а просто захочется всех перегнать сразу любой ценой. Тогда начинается движение по партийной линии или с помощью партийной активности, и как результат этого — комплекс неполноценности, злоба, зависть и ненависть... Ненависть... Нечто подобное — еще задолго до революции — произошло с Нечаевым, когда из села Иванова, где он был из первых культгуртрегеров, он прибыл в Катковский лицей в Москве (может быть, оформилось чуть позже). Всем известно, к чему это привело. В наше время это тоже ни к чему хорошему не приводит. Впрочем, это касается далеко не только тех (и не их всех поголовно), кто происходит из деревни. Дело в том, что быть не шибко умным (или притворяться таким) — выгодно.

Я прошу прощения у читателя за то, что уделил здесь так много внимания проблеме люмпен-интеллигенции и люмпен-бюрократии. В те времена я и не предполагал, что буду пользоваться такими категориями. Но, как и все вокруг, я сталкивался с людьми, которые к ним относятся. А поскольку они были людьми, они — то есть их представления — оказывали влияние и на меня, их сущность находила тот или иной отзвук и во мне. В какой-то степени я тоже люмпен-интеллигент — только, надеюсь, поборовший в себе ростки этого состояния. В конце концов, я тоже происхожу не из князей Волконских или Трубецких и тоже переходил из уклада в уклад, что-то везде усваивая, от чего-то везде отталкиваясь. Следы всего этого читатель, вероятно, может найти в моих стихах — это тоже относится к тому, что снижает уровень обобщенности и художественности многих из них.

Но чем бы это ни оправдывалось, это та мертвая вода эпохи, с которой мне приходилось всю жизнь бороться, чтобы жить. Это то, что всегда противостояло и противостоит поэзии. В каждой эпохе есть своя мертвая вода. Я думаю, что процент античеловеческого в человечестве пока почти не менялся, менялись только формы его проявления. Он был таким же и в дворянском обществе, и в буржуазном, и в нашем (не знаю, как его назвать). Но менялись арифметические величины, менялась арифметическая разность между количеством людей, могущих вообще сознательно участвовать в жизни общества, и количеством подлинно духовных людей из их числа. В дворянском обществе эта разность была немалой, в буржуазном — большой, в нашем — громадной. Тем выше роль культуры, тем необходимее обязанность ее защищать.

Всю жизнь я пытался отстаивать себя от этой нивелирующей тенденции, даже когда признавал ее оправданность и необходимость. Это вечная и естественная обязанность поэта. Не моя вина, что мое мышление приобретало форму революционную и большевистскую, как в средние века подобные вещи приобретали формы религи-

озные, а в современном Китае — формы борьбы за более точное следование линии Мао. Я не виноват, но это мое внутрибольшевистское мышление мешало мне понимать более вечное и важное — сущность духа и бытия, то, без чего искусство превращается в нечто, самому себе противоположное. Именно поэтому я вынужден был уделить здесь такое внимание обстоятельствам, из-за которых это происходило, и сквозь которые я пробивался к поэзии.

Но все-таки и до сих пор мне больше всего хочется писать, и писать стихи одновременно серьезные, легкие и глубокие, ибо, в конце концов, только это — подлинное искусство и подлинная духовная ценность. Но я не верю, что подобной гармонии можно достичь ложью, одним только сознанием, что она нужна. Более того, я верю, что она лежит в основе и самых негармоничных, даже самых тяжелых и затрудненных моих стихов. Верю, что только гармония там и есть, а все остальное — накладки времен. Накладки, игнорировать которые в творчестве — значит лгать, накладки, следы которых на стихотворении — достоверность его истинности.

Остается терпеть и, если удастся — работать. Правда, ощущение, что в данный момент грубая сила давит дух цивилизованного народа, и что к этой грубой силе отношусь я сам и все, кого я люблю, лишает это мое стремление работать значительной доли смысла. Тем более необходимо привести в порядок свои дела. Что я и делаю.

А если все обойдется и будет жизнь, я когда-нибудь напишу эту записку лучше, а главное — полнее. Будьте счастливы.

*Москва
август-сентябрь 1968 года*

«Добро не может быть старо»

29 сентября 1976 года в Москве произошло событие, имеющее, как я убежден, большое значение для нашей литературы — в издательстве «Советский писатель» был подписан к печати сборник стихов Олега Чухонцева «Из трех тетрадей».

Можно сказать: *наконец*, был подписан, ибо у этой книги долгая и странная история. Следы ее есть даже в аннотации издательства, где говорится, что поэт впервые опубликовался в 1958 году. Это значит, что первая книга вышла только через восемнадцать лет после первой публикации. Иными словами, человек, родившийся в день первой публикации Чухонцева, мог за это время и сам несколько раз опубликоваться. Кроме того, из нее же видно (сказано, что Чухонцев родился в 1938 году), что в день выхода первой книги поэту было столько же лет, сколько Пушкину в день смерти.

Все это было бы вовсе не странно, если бы Чухонцева вообще не печатали, если бы его имя было запрещено. Но ничего такого не было. Печатался он почти все время — только в периодике, а не фундаментально. Тем не менее, был рано замечен и хвалим критикой, получил признание у читателя (знаю людей, переписывавших его стихи из журналов), стал членом Союза писателей и вообще известным поэтом. Тем не менее, книга его каждый раз «зарезалась».

Правда, был связан с его именем и один случайный скандал — в связи с опубликованием в «Юности» стихов о князе Андрее Курбском. Дело было не в самих стихах («неправильных» стихов редактор «Юности» Борис Полевой никогда бы не пропустил), а в том, что номер с ними вышел как раз после какого-то нашумевшего бегства из страны (не то А. Кузнецова, не то А. Белинкова — теперь не помню), в связи с чем такие строки, как, например, «Чем же, как не изменой, воздать за тиранство», получили слишком злободневное звучание. Разумеется (хотя формально стихи критиковались не за это и не в связи с этим, а за некую «научную несостоятельность»), это осложняло положение поэта. Однако через некоторое время все вернулось на круги своя. Поэта печатали, хвалили, а книгу неизменно «зарезали» — в разных издательствах.

Если решать вопрос в общем виде, то, конечно, в судьбе этой книги виновата власть. Положение, при котором поэт может общаться с читателем только через систему госиздательств, — это ее заслуга. И то, что на ответственных постах в этих издательствах сидят люди, для которых все талантливое и самостоятельное — подозрительное, тоже сделала она: все ответственные знают, что своей подозрительностью выражают отношение еще более ответственных, потому и стараются. Но стараются самостоятельно. Не думаю, чтобы недостаточность объема этой книги (не вместившей даже некоторые уже опубликованные в советской периодике стихи), ее мизерный для России (если речь идет о человеке, которого читают) тираж в 20 000 экземпляров были прямо «спущены» в издательство из Кремля. Нет, сами местные товарищи постарались. Знали, что речь идет не о сыне (как, допустим, Р. Рождественский), а о пасынке, из чего и исходили. Правда, это дало побочный (хотя и вполне предвиденный) результат — книга в первый же день стала библиографической редкостью и вызвала то, что начальство называет «нездоровым ажиотажем», — то есть стал действовать эффект полузапретного плода. Но таков уж характер «научного предви-

дения» советского руководства — стихи Чухонцева здесь ни при чем: они в таком допинге не нуждались. И не провоцировали его.

То, что случилось с этой книгой, — особенно вначале, когда Чухонцев был незащищенным начинающим, — не что иное, как проявление существующей и в советских условиях (правда, существующей в изуродованных формах) борьбы вкусов, обычной литературной борьбы. Хотелось бы несколько отвлечься от ее форм и коснуться ее сущности. Но для этого надо хоть немного поговорить о самом Чухонцеве.

С его творчеством я познакомился довольно давно, в конце пятидесятых, когда работал внештатно в «Литературной газете» и бывал там чуть ли не каждый день. Однажды в кабинет, где я сидел, постучался некто, мне не знакомый до этого, извинился и попросил прочесть «хотя бы одно» стихотворение «одного мальчика». Я согласился скорей из вежливости, чем из других соображений. В стихи мальчиков в тот период я верил мало, считая, что им в той обстановке не на чем формироваться*. Первое из прочитанных мной стихотворений показалось мне неплохим, но моего недоверия не поколебало. Оно было недостаточно отчетливо и определенно, чтобы свидетельствовать о появлении нового имени. Таким же было и второе. Таким же как будто обещало быть и третье. Тем более что тема его была банальна: «Человек родился». «Что действительно он появился на свет, / Выдал загс за печатью ему документ», — помню я до сих пор одно из первых его двустиший. Все остальные были такими же — как будто хорошими, что-то обещавшими, но — несамодостаточно-

*Это ощущение оказалось преждевременным. Его опровергло появление Чухонцева и Кушнера. Но — с моей точки зрения — оно, к сожалению, оправдало себя позже. Только теперь, кажется, начинает нащупываться (реально, а не программно) система ценностей, на которую смог бы опереться молодой поэт (чтобы чем-нибудь заняться, а не погрязнуть в различных видах самоутверждения).

ми. Рассказывалось о том, что этот «родившийся» получил собственный экипаж, в котором выезжает — вместе с другими такими же — на бульвар, «где листва опускается на тротуар» и где все они спят в своих колясках. Все это было трогательно, но не более того. И вдруг вслед за этим и по этому поводу: «А вокруг в переулочке — шелест... шаги... / Подрастают друзья... Подрастают враги...».

И пусть стихотворение, содержащее эти строки, было несовершенным, пусть Чухонцев даже и прав, не включив его в свой сборник (хотя оно тогда же было напечатано в «Литературной газете» и, вероятно, это и есть та первая публикация, о которой упоминает аннотация), пусть известность ему принесли другие, написанные позже стихи — я до сих пор горжусь тем, что, прочитав эти строки, тут же отбросил в сторону все свои построения и уверенно сказал то, что от меня слышат редко: «Это — поэт». Друзья очень удивлялись: «Конечно, мальчик не без способностей, но так, сразу, по двум строкам: “поэт”... На тебя это непохоже...». На меня это, действительно, было непохоже — в основном, я все ругал. Но и строки эти тоже были непохожи на то, что я ругал. Они не могли появиться просто так — за ними стояла личность, отчетливый опыт ее взаимоотношений с миром, позиция, выработанная этим взаимоотношением, точка, с которой смотрит поэт. Разумеется, не только это. Ибо не всякая позиция, не всякий выход из внутренней сумятицы — выход в поэзию. Точка, с которой поэт рассматривает жизнь, расположена достаточно высоко — иначе было бы невозможно, как здесь, обнять взглядом всю жизнь как единый образ (с которым соотносится конкретное переживание автора и только в нем, на его фоне, по отношению к нему — запечатлевается). В сущности, это и есть то образное мышление, без которого действительно невозможно искусство, но за что в светских разговорах — для чувства причастности к тайнам — принимается нечто совсем другое: некие технические приемы, значение которых механически мистифицируется. Разумеется, высота этой точки должна

быть подлинной, то есть быть вызванной не стремлением соответствовать некой — пусть правильной — норме, а действительно существовать как чувство и характер восприятия.

В сущности, *выраженность* — это раскрытие тех причин, благодаря которым переживаемое автором имеет значение не только для него. Меня могут обвинить в том, что я говорю о такой примитивной вещи, как *содержание*, в то время как среди литературной и считающей себя таковой эмиграции утвердилось мнение, что говорить прилично только о «форме» или еще лучше — о революциях в ней. Но содержание — если под ним понимать не внешний «смысл» или зарифмованные мысли, а органически проявившееся содержание личности (в этом случае и прямое присутствие мыслей не мешает — они прямо вытекают из стихотворения) — вещь совсем не примитивная. «Форма» и есть форма его проявления, оно присутствует и выражается в переживании, в восприятии. И если оно есть, о нем и заботиться не надо. Можно смело писать любое легкомысленное стихотворение — пушкинское «Подъезжая под Ижоры», например. И если это содержание подлинно, нажито, органично, то и стихотворение будет содержательным. Неподлинность, то есть любое постороннее соображение, любое желание казаться (обмануть можно себя, но не стихи), все равно проявится в стихотворении и подорвет его подлинность, особенно ту подлинность высоты, о которой только что говорилось. Поэтому я могу и сейчас сказать то, что сказал уже давно: «Поэзия от непоэзии отличается, прежде всего, содержанием». Двустипшие Чухонцева, о котором я говорил, как раз и поразило меня наличием, выношенностью и выраженностью такого содержания — внутренней законченностью.

Последнее утверждение может вызвать недоумение: ведь я сам говорил обо всех остальных строках этого стихотворения, как о недостаточных. Но я говорю сейчас не о законченности стихотворения, а только о законченности и отчетливости замысла. Стихотворение, о котором идет

речь, не было законченным произведением. Законченным было только одно двустишие, по которому я почувствовал в Чухонцеве поэта. И, кстати, именно по отношению к этому двустишию проявилась недостаточность всех остальных. А так — что ж... Эти остальные выглядели вполне поэтично и литературно. Сейчас по обе стороны железного занавеса поэзия буквально тонет, не видна за колоссальным количеством стихов, в которых есть только такие неопределенные строки. Но поскольку строк, подобных чухонцевским строкам о подрастающих друзьях и врагах, в большинстве из них нет (как нет и определенности замысла), их недостаточности не на чем проявиться, и они выглядят почти безупречно. Это совсем не безобидно. Когда этой спрессованной выраженности нет, и чувствоование не отливается в чувство, а растекается по древу, читатель, при всем уважении к чувствующему автору, не чувствует ничего. Хотя часто, стесняясь того, что не понимает искусства (которое проявилось перед ним с такой таинственной, а потому наглядной поэтичностью), начинает уговаривать себя, что он восхищен или что произведение вообще-то замечательное, но он лично сегодня не в настроении (вариант: «мне лично это не близко»). Между тем, до того как мы почувствовали произведение, до того как оно стало близким, мы просто не можем знать, что оно замечательно. Все это притворство не столь безобидно, как кажется, ибо создает норму, которая закрывает от людей поэзию. Один видный диссидент, искренний, неспособный на такие игры с собой человек, так мне и сказал однажды: «Знаешь, я стихов больше не читаю. Не могу — их слишком много. Инфляция в поэзии».

Инфляции в поэзии, конечно, нет и никогда не будет. Но есть инфляция определенного рода стихов, с которыми этот человек сталкивался: и на воле, и в лагере. Нет, это не стихи на гражданские темы — таких тем тонкие, в том числе и диссидентские, стихотворцы стесняются как грубой прозы и дурной наследственности. Впрочем, дело не в теме — при любой теме эти стихи подчинены не чув-

ству, а неопределенному чувствованию и авторскому любованию собственной поэтичностью. Читая такие стихи, поначалу теряешься: все как будто искренне (а по-человечески, вероятно, и впрямь искренне), а ты, в лучшем случае, можешь только посочувствовать, а чувствовать — не получается. И я твердо убежден, что почти любой человек, который прочтет стихи Чухонцева, во всяком случае — лучшие из них, поймет, что разговор об инфляции поэзии беспредметен. Не может быть инфляции отчетливых достижений чувств, да и случаются они в стихах не так уж часто...

Впрочем, литературные представления, о которых я здесь пишу, свойственны отнюдь не только оппозиционным ценителям. На этой не очень тонкой утонченности вполне учились писать и почти все «официозные»* литераторы. Официозный литератор тоже учился «мастерству» (большим поклонником этого термина был и такой друг советской и всякой литературы, как Иосиф Сталин, — удобный был для него термин, превращавший писателя в обычного «специалиста своего дела»), тоже знает, что искусство — мышление образами и что одной политики для искусства мало. Такие литераторы точно так же оглядываются на расхожие представления «серебряного века», в частности — о «форме» и «содержании».

*С этим термином надо обращаться осторожно. Неуместно не только забывать о многих честных людях, имеющих официальный статус советского писателя, но и не помнить, что и некоторые совсем не безупречные люди (например, Наровчатов) иногда прорывались к поэзии и имеют значительные (хотя и немногочисленные) достижения. Наровчатова никак нельзя превращать, как это делается в некоторых статьях, в эталон бездарности. В том и трагедия, что он блистательно талантлив. Так же неосновательно, например, и объявлять М. Дудина (какой он там ни есть Герой соцтруда) эталоном темноты. Предсудительное их поведение остается при них, и о нем можно и нужно говорить как угодно неласково, но за этим поведением, за никому не нужными стихами надо все-таки уметь разглядеть и стихи блистательные — тоже не поддающиеся инфляции. Таких стихов у них немного, но ведь и не меньше, чем у многих, ныне освободившихся.

Короче говоря, первый раз книгу Чухонцева зарезали потому, что рецензенту издательства она показалась «эпигонской».

Поразительное дело! Столько выходит во всем мире (в том числе, и в «Советском писателе») стихов, похожих на стихи собратьев, и никого это не беспокоит. Наоборот, все отыскивают непохожие места. А тут — заело. Думаю, что стихи Чухонцева показались эпигонскими только потому, что были похожи не на стихи собратьев, а на поэзию как таковую. То есть волновали, хоть и не злоупотребляли образностью. Конечно, и рецензент знал, что поэзия не всегда нуждается в принятых аксессуарах поэтичности, но знал он также, что без этого обходились только крупные поэты, которым было что сказать. А тут — мальчишка (двадцать лет назад Чухонцев, безусловно, был мальчишкой), мальчишка, пользующийся такой свободой, — никем, кроме эпигона, по мнению рецензента, быть не мог.

Однако по этой книге явно видно, что мог и был. Впрочем, сегодня уже мало кто сомневается в этом. И попробуй сомневаться, прочитав, допустим, такие стихи:

Этот город деревянный на реке,
Словно палец безымянный на руке.
Пусть в поречье каждый взгорок мне знаком,
Как пять пальцев... А колечко на одном.

Эко чудо — пахнет лесом тротуар.
Пахнет тесом палисадник и амбар.
На болотах, где не выстоит гранит,
Деревянное отечество стоит.

И представишь: так же сложится судьба,
Как из бревен деревянная изба;
Год по году — не пером, так топором —
Вот вам стены, вот и ставни, вот и дом.

Стой-постой, да слушай вьюгу из окон,
Да поленья, знай, подбрасывай в огонь;
Ну, а окна запотеют от тепла —
Слава Богу! Лишь бы крыша не текла!

Вот стихотворение. При чтении его не возникает потребности сочинять нечто среднее между идейной биографией и психопатологическим очерком об авторе (что стало хорошим тоном в эмигрантской периодике — сразу превращает исследуемого в классика, а исследующего — в тонкого мыслителя и знатока). Они сами содержат все, в них начало и конец, самодостаточность. Разумеется, они родились из внутренней жизни автора, но отпочковались от нее и теперь живут собственной жизнью. Читая их, меньше всего думаешь о переживаниях и взглядах автора — переживаешь сам. Конечно, стихотворение было бы мертво, если бы не передавало состояния его автора в данный момент. Но этот момент ощущается в стихотворении не слишком конкретно, без психологической подоплеки. Впрочем, эта подоплека нам здесь и не нужна, ибо мы имеем дело не с психологией, а с выходом из нее — с откровением. Нас может еще интересовать духовная предыстория этого момента, но и она о себе открыто не заявляет. Только чувствуется. По отбору деталей, по интонации, с которой о них говорится, можно понять, что все это не просто так возникло, а в процессе ответа на вопросы, которые ставила перед автором жизнь и с которыми сталкивалась присутствующая ему как поэту острая потребность в гармонии бытия. Здесь опять-таки проявилось восприятие жизни как единого образа.

Но прежде всего — это стихотворение о маленьком деревянном городке и о любви к нему. Этому чувству подчинено все в стихотворении, а остальное проявляется как бы попутно, остальное — только «содержание чувства».

Начинается это стихотворение со странного сравнения «города деревянного на реке» с «пальцем безымянным на руке». Но мы почему-то воспринимаем это сравнение как вполне естественное. Вполне возможно, нас заражает уверенность интонации. Этой уверенности способствует то, что строки крепко связаны двойной рифмовкой. Рифмуются не только окончания строк, но и

их середины. Причем нехитрая внутренняя рифма «деревянный-безымянный» связывает не только слова, но и смыслы. Остается ощущение, что речь идет о чем-то скромном, незаметном, дорогом и очень ценном. Концы строк рифмуются более изысканно, что придает всему двустишию и тому, о чем оно говорит, некоторое изящество. Все это существует не само по себе, а только несет в себе нечто, что, как мы чувствуем, должно раскрыться, разрядиться потом. Это определенным образом настраивает читателя. Это настроение усиливается вторым двустишием, где город, расположенный на одном из взгорков, знакомых автору, как пять пальцев, сравнивается с колечком на одном из них, то есть опять-таки с чем-то уютным, неотрывным и светящимся. Это ощущение праздничности, уюта и незаметности не проходит, естественно, и когда мы начинаем читать второе четверостишие. Только там это уже взгляд не извне, а изнутри: «Эко чудо! Пахнет лесом тротуар, / Пахнут тесом палисадник и амбар», но, в общем-то, это опять-таки усиление общего радостного впечатления от этого города. Но не может ведь быть, чтобы только для этого писалось это стихотворение. Все его детали явно что-то обещают, во что-то хотят отлиться. И — отливаются: «На болотах, где не выстоит гранит, / Деревянное отечество стоит». Конечно, замечание это самое простое, но для того, чтобы так почувствовать и написать, надо было многое пережить и передумать. Надо было хоть раз увидеть, как не выстаивает гранит, или хотя бы испугаться, что он может не выстоять, чтобы так обрадоваться неизбежности деревянного отечества, так поверить в эту неизбежность.

За этим стихотворением многое: и радость от осознания (а то и обретения) почвы, и приобщение к неотъемлемой от смысла поэзии изначальной и простой сущности бытия, и смирение перед его трагизмом. Трагизма этого в стихотворении, собственно говоря, почти нет, только на один миг он показывается на свет в виде посвиста вьюги из окон, но все стихотворение — некое подобие защиты

от него: от дисгармонии и хаоса. Какое-то убежище — может быть, сказочное.

Впрочем, с дисгармонией поэты обращаются не всегда так, как в этом стихотворении. Иногда они идут на нее в «лобовые атаки». Олег Чухонцев никогда не боялся, что прямой разговор уведет его от поэзии. Когда поэт выражает собственную сущность, а не занимается решением «общественных вопросов», такая опасность ему не грозит. Тогда гармония «поселяется» в той тревоге, которая заставляет его «идти в атаку», но все равно живет в его стихах. Как, например, в этих:

Я не помнил ни бед, ни обид,
жил как жил — и во зло, и во благо.
Почему же так душу знобит,
как скулит в непогоду дворняга?

Почему на окраине дней,
самых ясных и самых свободных,
так знобит меня отблеск огней
и гуденье винтов паровых?

Верно, в пору стоячей воды
равновесия нет и в помине,
и предчувствие близкой беды
открывается в русской равнине.

И присутствие снега и льда
ощущается в зябком дыханье,
и такая вокруг пустота,
что хоть криком кричи в мирозданье...

...Мы срослись. Как река к берегам
примерзает гусянкой кожей,
так земля примерзает к ногам,
а душа — к пустырям бездорожий.

Видит Бог, наше дело труба.
Так уймись и не требуй огласки.
Пусть как есть торжествует судьба
на исходе недоброй развязки.

И, пытая вечернюю тьму,
я по долгим гудкам парохода,
по сиротскому эху пойму,
что нам стоит тоска и свобода.

Так что иногда можно говорить то, что хочешь, совершенно прямо, и все равно это будет поэзией. (Хотя такая же искренняя декларация своей любви к родине может ею и не оказаться.) Любовь эта в стихах Чухонцева остается такой же серьезной, когда взгляд поэта с лица всей России переходит на лицо ее единичного представителя — старухи, с которой автор иногда любит «говорить неспешным разговором» «о житье-бытье»:

День-деньской она все шьет да порет,
моет пол да садит огород
и за мукой-мученской не помнит,
сколько лет спокойной жизни ждет.

Да и то ей, бабе деревенской,
что ей помнить, темной да босой?
Николай-угодник, не побрезгуй,
одеди дешевой колбасой.

Почти, можно сказать, народничество, почти шестидесятиничество — однако же существует, однако же факт личной жизни, а не абстрактной «любви к народу». Впрочем, от шестидесятиничества это стихотворение отличается еще тем, что, хотя некоторая естественная дистанция между автором и героиней сохраняется, все-таки героиня для автора — не представитель «меньшого брата» («меньшой брат» — вообще абстракция, нарушение живого вкуса), а тоже личность, пусть и не очень счастливая личность. Первый так в поэзии заговорил о народе и с народом А.Т. Твардовский, которого в эмиграции совершенно зря недооценивают как поэта. Кстати, и о шестидесятиничестве — не могу удержаться, чтобы не отметить, что основной вред от шестидесятиничества для развития нашей

культуры был вовсе не в прямом влиянии его прагматического отношения к искусству. Это довольно быстро закончилось и почти не оставило следов (ЛЕФовский нигилизм происходил не от шестидесятников, а наоборот, от крайнего эстетизма). Основной вред шестидесятничество принесло тем, что вызвало снобистскую реакцию на себя, которая длится до сих пор, помогая многим людям оправдывать свое равнодушие к Богу и ближним и считать себя при этом тонкими эстетам, а иногда и христианами. Но это, как говорится, только к слову.

К сожалению, невозможно процитировать целую книгу. Впрочем, мне хотелось бы отметить одно стихотворение, которое в книгу почему-то не вошло, хотя и было когда-то опубликовано в журнале «Радио и телевидение». Это стихотворение о старческом доме «Чуфут-Кале» (Крым). К сожалению, оно слишком велико для цитирования, и поэтому первую половину я вынужден опустить. Вот вторая:

Затем ли оглашали степь набеги,
Алланы, караимы, печенеги,
Раскат повозок, цоканье подков,
Чтоб слышать ныне в каменной долине
Лишь скрип протезов, да напасть полыни,
Да ветряную сыпь известняков.

Нет, легче согнуть в нетях монастырских,
Где нет ни дальних помыслов, ни близких,
Где только Бог в кругу Своих щедрот,
Чем в доме, где казенная свобода,
Где, кроме доживанья, нет исхода,
Где неизвестно, чей пришел черед.

И мы туда же?.. Как остановиться
У бездны, из которой дым клубится?
Не знаю. Что заигрывать с судьбой?
Коль выйдет срок расплачиваться кровью,
Не приведи Господь под эту кровлю,
Под этот кров с дымящею трубой.

Почему это стихотворение выброшено из книги, понять трудно. Невозможно поверить, чтобы автор не захотел его печатать сам. Так что же — тема? Конечно, это стихотворение о жизни и смерти — лет двадцать назад писать об этом так нельзя было. Но теперь эта тема вполне легализована, и даже в этом сборнике есть замечательное стихотворение о крематории («Гибрид пекарни с колокольней»). Значит, дело не в теме? Или решили дозировать — на эту тему хватит? Или побоялись, что это примут за критику советской системы обеспечения старости?.. Кто поймет наше начальство... Но это, на мой взгляд, замечательное стихотворение, строгое и полнозвучное, в котором жажда жизни и сознание ее трагической и даже грубой ограниченности слились воедино, в котором напряженность примирения с неизбежным перекрывается острой жаждой жизни, яркости и даже каким-то сдержанным и таким естественным протестом против нее. Все это не могло бы существовать без формы, ибо без формы не услышишь голоса, а только голос, живой голос, переданный точными словами и интонациями, превращает все «банальные истины», которым посвящено стихотворение, в открытие, в современную тему.

Быть современным — это вовсе не цель или задача искусства, но, не будучи современным, оно становится никаким, теряет выход к вечности.

Между тем, ощущение вечности никогда не покидает Чухонцева, о чем бы он ни писал. Эту связь с вечностью в наши времена на всех широтах надо отстаивать всеми способами — в том числе, и прямо. Особенно остро это проявляется, естественно, в тех стихах, которые посвящены искусству и творчеству. Лучшее из них — «Баллада о реставраторе». Главное в нем — тоже не психологическая подоплека, а духовные основания, на которых стоит искусство, выход к откровению. Вот как оно кончается:

Зло крыто охроу. История в крови.
Но ангел падший домогается любви.

И снег все пристальней, но как бы ни мело,
Утишим зло — у нас такое ремесло.

Проверим заново — ты кисть, а я — перо.
Что нам в укор? Добро не может быть старо.

И кто-то в будущем таким же декабрем,
Быть может, вспомнит нас — с печалью и добром.

Е. Евтушенко, как явствует из его снисходительной, но доброжелательной в общем статьи в «Литгазете» об этом сборнике, считает слова «Утишим зло» слишком примирительными по отношению ко злу — видимо, он жаждет борьбы. Вполне похвально, но к этим стихам эта проблематика отношения не имеет. Да и вообще — «у нас такое ремесло», и ничего тут, на мой взгляд, не поделаешь.

Впрочем, главное в отрывке не это восклицание, а совсем другое, хотя и не противоречащее этому: «Добро не может быть старо». Именно эта уверенность слышится почти в каждой строке Чухонцева. Именно она придает каждой строке свободу и освобождает ее от необходимости самоутверждаться, доказывать себе и другим, что она значительна. Мне кажется, что в этих словах — главная потребность времени, условие его освобождения от всяких паутин, в которых запуталось его сознание. В них то, что умудренная страшным опытом Россия должна нести миру. Такие «простые» слова под силу далеко не всякому.

Хорошо, что вышла эта книга, хорошо, что у нас есть такой поэт и что он еще сравнительно молод.

Гармония и утопия

То, что когда-то поэту казалось пророчеством и откровением — чем-то противопоставленным среднеинтеллигентской пошлости, сегодня стало подножным кормом этой пошлости. Оказалось, что эстетическое презрение к здравому смыслу — вовсе не такая безусловная духовная добродетель, как принято было думать в недавние времена. Это связано с самыми глубинными соблазнами в культурном развитии нашего века. В каком-то смысле я уже писал о них и тоже в связи с Блоком («Игра с дьяволом», «Грани», № 95). Но не в связи с темой «утопии»...

Это не удивительно. В принципе слово «утопия» не очень применимо к поэзии. Хотя бы потому, что в основе всякой поэзии лежит нечто, напоминающее утопию, — высокое («поэтическое») отношение, даже требование к жизни, ее идеальный («поэтический») образ. Все это, в той или иной мере, свойственно всякому человеку, но просто поэты ощущают это острее и отчетливее. Этим образом, соответствием или несоответствием ему всего происходящего, как бы испытывается жизнь и все реакции на нее. А. Блок называл это «испытанием сердец гармонией». Все это правда, и все это было всегда — во всяком случае, во всем живом, дошедшем до нас.

Гармония — отнюдь не утопия. Она — напоминание человеку о полноте, которой он лишен и потребность в ко-

торой и делает его личностью. Утопией это становится только тогда, когда превращается в «конечную цель», в реальную программу. Это и произошло с Блоком в начале революции, хотя и выразилось больше в статьях, дневниках и письмах, чем в поэзии. Поэзией он только расплатился за это: в течение двух лет — от патетических «Скифов» до покаянного «Пушкинскому дому» — он не написал ни одного стихотворения, в котором можно было бы видеть результат серьезного творчества.

Но в каком-то смысле впадение Блока в утопию было естественным следствием развития эстетических представлений «серебряного века» и вообще той эпохи (во Франции она так и называлась — «Belle époque»), когда могло показаться что все вопросы бытия решены — так сказать, переложены на плечи абсолютно механически обеспеченного прогресса — и творческой личности остается только или потребительски пробавляться смакованием тонкостей бытия, находя в этом основания и для самоутверждения, и для смысла жизни; или — по тем же причинам — бунтовать против такой абсолютной упорядоченности. Стремление к «революции от скуки» родилось намного раньше, чем превратилось в лозунг. И раньше, чем это было отнесено к «политике».

Нечто подобное происходило прежде всего в «эстетике». В самом начале XX века попытались это высокое отношение («требование») к жизни, ее идеальный образ перенести из подтекста, где он всегда находился (без чего произведение вообще не может быть ни поэтическим, ни художественным) в текст, и предельно обнажить поэтичность, чуть ли не вынеся ее в сюжет. И в то же время перенести в подтекст — это почему-то воспринималось, как высшая степень утонченности — как раз «прозаическую» сторону произведения. После такого перенесения поэзии в текст — попытка воплотить гармонию в жизнь выглядит следствием совершенно естественным.

Разумеется, когда речь идет о таких сложных и высоких людях, как Александр Блок, их поведение не может

быть объяснено одними этими факторами, но Блок жил в атмосфере, создаваемой ими, и они тоже влияли на формирование его отношения к событиям. И стремление воплотить гармонию в жизнь, отрицание всех достижений жизни — ввиду невозможности превратить жизнь в гармонию — свойственно ему было в 1918 году в высшей степени. Вот что он говорит об этом и о месте поэта в революции в своей поразившей многих статье «Интеллигенция и революция»: «Не дело художника — смотреть за тем, как исполняется задуманное (историей, роком, “духом музыки” — псевдонимов много — *Н.К.*) пещься о том, исполнится оно или нет. У художника — все бытовое, житейское, быстро сменяющееся — найдет свое выражение потом, когда перегорит в жизни. Те из нас, кто уцелеет, кого “не изомнет с налету вихорь шумный”, окажутся властителями неисчислимых духовных сокровищ. Овладеть ими, вероятно, сможет только новый гений, пушкинский Арион; он, “выброшенный волною на берег”, будет петь “прежние гимны” и “ризу влажную свою” сушить “на солнце, под скалою”. Дело художника, обязанность художника — видеть то, что задумано, слушать ту музыку, которой гремит “разорванный ветром воздух”».

При первом взгляде на этот отрывок, он может показаться даже бесспорным — особенно если вспомнить, что весь он как бы развитие процитированных Блоком знаменитых тютчевских строк: «Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые...». Правда, если взглядеться, можно несколько удивиться тому, с какой готовностью поэт соглашается пережить (и чтобы другие пережили) все эти бури и ураганы. Даже оторопь берет. Как от строк, когда-то обращенных к России: «Какому хочешь чародею отдай разбойную красу. Пускай заманит и обманет...». Но когда Блок писал эти стихи, он все же не понимал, что это значит на деле. А теперь? И все это только ведь для того, чтобы когда-нибудь кто-нибудь оказался «властителем неисчислимых духовных сокровищ»! Это странная и странно сформулированная цель: духов-

ные ценности измеряются не числом, да и непонятно, кто и зачем может стремиться стать их «властителем»? С духовными ценностями люди — и прежде всего люди высокого духа — обычно находятся в других отношениях. По-видимому, эти слова внушены Блоку не тем, что Пушкин называл вдохновением («расположение души к живому приятию впечатлений, а следственно, и к изображению оных»), что всегда — так сказать, по определению — связано с точным словоупотреблением, а тем, что он же называл восторгом и вдохновению противопоставлял. Восторг в XX веке многим помог приспособиться к тому, к чему приспособиться без него было бы невозможно. Ни в коем случае не отношу эти слова к самому Блоку. Он сам ни к чему не приспособивался и дорого потом заплатил за свой восторг. Тем не менее, многим другим он этим открыл или облегчил дорогу к приспособлению. Но речь сейчас не об этом. Я просто хочу сказать, что кое-что в приведенном отрывке может удивить — при всей его внешней бесспорности.

Однако поскольку пока читателя, поэтов и всех вообще призывают только видеть и слышать, пока этим удивлением и ограничимся. Ибо видеть и слышать — первейшая обязанность художника — спорить вроде не с чем. Но не надо забывать, что, по Блоку, видеть и слышать надо не все вообще, а прежде всего и только «то, что задумано». «Что же задумано? Переделать все. Устроить так, чтобы все стало новым; чтобы лживая, грязная, скучная, безобразная наша жизнь стала справедливой, чистой, веселой и прекрасной жизнью».

Итак, надо *переделать все* и привести жизнь к катарсису. В принципе, это под силу только Богу — кстати, иных властителей духовных сокровищ не бывает. Это было бы Его катарсисом (если бы Он в катарсисах нуждался). Но речь не о Боге — Блок употребляет это слово во множественном числе. Видимо, речь о художниках. Но не до уточнений: экспрессия восторга властно нарастает. Требования растут:

«Когда такие замыслы, искони таящиеся в человеческой душе, в душе народной, разрывают сковывавшие их путы и бросаются бурным потоком, доламывая плотины, обсыпая лишние куски берегов, — это называется революцией. Меньшее, более умеренное, более низменное — называется мятежом, бунтом, переворотом. Но это называется революцией. Она сродни природе».

Конечно, можно было бы тут спросить — пусть несколько «по-мещански»: «Ну и что? Не все ли равно, как этот ужас называется?». Но воздержимся. Только опять удивимся. Конечно, существовали в России круги, для которых само слово «революция» было окружено ореолом святости и чистоты, и само по себе воспринималось как доказательство. Все, что революция, — хорошо, все, что не революция, — плохо. Но Блок ведь к таким кругам не принадлежал. Более того, считал такое умонастроение пошлостью. Еще недавно Блок относился к будущему со страхом: «О, если б знали, дети, вы / Холод и мрак грядущих дней...», — а теперь, когда это будущее пришло, он расценивает «поток предчувствий, прошумевший над иными из нас между двух революций (1905 и 1917 — *Н. К.*)», — совершенно иначе. Сейчас ему кажется, что «поток, ушедший в землю, протекавший бесшумно в глубине и тьме» и теперь вырвавшийся на волю, и был смыслом этих предчувствий, что он долгожданен и желателен: «вот он опять шумит, и в шуме его — новая музыка».

Слово «новая» тоже существенно здесь. Но оно вообще относится к духу времени, входя составной частью в идеал радикальных течений как революционной, так и эстетической интеллигенции (что сближает их и обнажает общую духовную природу). Слово же «музыка» — одна из излюбленных мет именно блоковских рассуждений. Она очень уместна, когда имеется в виду проникновение в «дух музыки», то есть художественное постижение общего облика той или иной эпохи, живое и цельное ощущение истории. Но когда она превращается в нечто произвольное, но изысканное, главное назначение чего быть недо-

ступным непосвященным, тем более, когда она связывается с утопией и степень посвященности начинает определять право человека на существование и элементарное уважение, — тогда это слово «музыка» начинает явно папахивать серой. И все становится с ног на голову, это подчас не сразу заметно: «Мы любили эти диссонансы, эти ревы, эти звоны, эти неожиданные переходы... в оркестре. Но, если мы их действительно любили, а не только щекотали свои нервы в модном театральном зале обеда, — мы должны слушать и любить те же звуки теперь, когда они вылетают из мирового оркестра; и, слушая, понимать, что это — о том же, все о том же». Выглядит эта цитата вполне невинно. И впрямь эти разоблачения были бы вполне уместны, если бы представляли собой призыв быть впредь осторожнее с такого рода любовями и диссонансами. Но содержат они другое — призыв идти до конца и продолжать любить мечту, исполнение которой теперь ужасает. А тех, кто не согласен или не может внять призыву, он просто отлучает — от духа, культуры и так далее — вообще как бы ставит вне закона: «Музыка ведь не игрушка; а та бестия, которая полагала, что музыка — игрушка, — и веди себя теперь, как бестия: дрожи, пресмыкайся, береги свое добро!». Надо сказать, что такое отлучение «властью поэта, такое низведение всех отлученных до статуса «твари дрожащей», да еще дрожащей над «своим добром», — не было тогда безобидным. Потом такие мысли многим облегчили капитуляцию, помогли представить ее в собственных глазах даже высоким парением духа, но и тогда они должны были пусть не убедить, но смутить многих. Станным образом это смыкается с пропагандным чувством интеллигенции, созданным подстрекательской агитацией большевиков. Обвинение русской интеллигенции в грязной и низменной корыстности было обвинением в том, чего она более всего чуралась. А тогда «добром», над которым приходилось «дрожать», могли оказаться и постельное белье, и привычное жилье, и даже последний кусок хлеба для ребенка. И человек, особенно молодой, дей-

ствительно мог заподозрить себя в том что низменная корысть мешает ему видеть в происходящем великое (а русский интеллигент всегда был ориентирован на то, чтобы не пропустить великое — особенно в революции). Эстетическое презрение невольно дополняло «продовольственную диктатуру» Ленина, которая голодом должна была сломить саботаж интеллигенции.

И дело было ведь совсем не в том, что Блок чего-либо не понимал или не видел. Видел — и прекрасно. Но в том-то и дело, что «видеть» и «слышать» на его тогдашнем языке означало, прежде всего, игнорировать все, что непосредственно видишь и слышишь, ибо «революция, как грозовой вихрь, как снежный буран, всегда несет новое и неожиданное; она жестоко обманывает многих; она легко калечит в своем водовороте достойного; она часто выносит на сушу невредимыми недостойных; но — это ее частности, это не меняет ни общего направления потока, ни того грозного и оглушительного гула, который издает поток. Гул этот все равно всегда — о великом».

Итак — всегда о великом: что бы ни происходило (то есть, что бы ни видел наяву), это не меняет общего направления потока. Да если бы и меняло — неважно. Читатель об этом предупрежден: «Горе тем, кто думает найти в революции исполнение только своих мечтаний, как бы высоки и благородны они ни были». Так что пусть хоть с души воротит, слушай гул и считай его музыкой. И не перечь. В «Оптимистической трагедии» Всеволода Вишневского комиссарша (ее прообразом была Лариса Рейснер) в ответ на упоминание одним из офицеров о своей семье, расстрелянной недавно матросиками, «с милой непосредственностью», иронически одергивает его чем-то вроде: «Ну и что? Никак простить не можете?». Дескать, что за мелочность и мешанство думать о таких пустяках, когда свершается небывалое. И что за люди, не видящие ничего дальше своего носа! Тварь, дрожащая над своим пусть не «добром», так конурой или гнездышком. А думать надо было о другом: «Размах русской революции, желающей

охватить весь мир (меньшего истинная революция желать не может, исполнится это желание или нет — гадать не нам), таков: она лелеет надежду поднять мировой циклон, который донесет в заметенные снегом страны — теплый ветер и нежный запах апельсиновых рощ; увлажнит спаленные солнцем степи юга — прохладным северным дождем. «Мир и братство народов» — вот знак, под которым проходит русская революция. Вот о чем ревет ее поток. Вот музыка, которую имеющий уши должен слышать».

Итак — не важно, что будет, не важно, сбудется ли, важно что циклон по замыслу должен нести в заметенные снегом страны запах апельсиновых рощ — иными словами, «мир и братство между народами». Это и надлежит видеть и слышать. Впрочем, такая любовь к вихрям и циклонам была обусловлена у Блока, как и у некоторых других представителей «мировой интеллигенции», не только модернистской традицией, но и реакцией на мировую войну, которая, собственно, и привела к русской революции. «Что такое война? Болота, болота, болота; поросшие травой, или занесенные снегом; на западе — унылый немецкий прожектор шарит из ночи в ночь; в солнечный день появляется немецкий фоккер; он упрямо летит одной и той же дорожкой; точно в самом небе можно протоптать и загадить дорожку; вокруг него разбегаются дымки; белые, серые, красноватые (это мы его обстреливаем, почти никогда не попадая; та же, как и немцы — нас); фоккер стесняется, колеблется, но старается держаться своей поганой дорожки; иной раз методически сбросит бомбу; значит, место, куда он целит, истыкано на карте десятками рук немецких штабных; бомба упадет иногда — на кладбище, иногда — на стадо скота, иногда — на стадо людей; а чаще, конечно, в болото; это — тысячи народных рублей в болоте. Люди глазуют на все это, изнывая от скуки, пропадая от безделья; сюда успели перетащить всю гнусность довоенных квартир: измены, картеж, пьянство, ссоры, сплетни. Европа сошла с ума: цвет человечества, цвет интеллигенции сидит годами в болоте, сидит с убеждением (не

символ ли это?) на узенькой тысячеверстной полоске, которая называется «фронт». Люди — крошечные, земля — громадная. Это вздор, что мировая война так заметна: довольно маленького клочка земли, опушки леса, одной полянки, чтобы уложить сотни трупов людских и лошадиных. Только их можно свалить в небольшую яму, которую скоро затянет трава или запорошит снег! Вот одна из осязаемых причин того, что «великая европейская война» так убога. Трудно сказать, что тошнотворнее: то кровопролитие или то безделье, та скука, та пошлятина; имя обоим — «великая война», «отечественная война», «война за освобождение угнетенных народностей» или как еще? Нет, под этим знаком — никого не освободишь. Вот, под иглом грязи и мерзости запустения, под бременем сумасшедшей скуки и бессмысленного безделья, люди как-то рассеялись, замолчали и ушли в себя: точно сидели под колпаками, из которых постепенно выкачивался воздух. Вот когда действительно хамело человечество, и в частности — российские патриоты».

Прошу прощения за столь длинную цитату. Но она очень важна. Здесь впервые, может быть, так ясно и выразительно сформулирован тот кризис культуры, крайним выражением которого была первая мировая война, и Блок — не единственный представитель культуры, который «нашел» противоядие этому кризису культуры и духа в коммунизме. Очень многие западные интеллигенты (конечно, независимо от Блока) пошли потом этим путем. И очень мало кто вернулся назад (как сделал Блок) — дьявол легко не отпускает. Этот кризис культуры, породивший войну и усиленный ею, поэт переживал остро и искренне. Правда, и он сам когда-то отдал ему некоторую дань: в начале войны и ему самому «казалось минуту», что война не только не обернется торжеством хамства, но, наоборот, даже «очистит воздух». Я упоминаю об этом признании Блока вовсе не для того, чтобы поставить ему в вину эту минуту, а потому, что он упускал из виду, что такая готовность очищать воздух катаклизмами, получившая

потом иное приложение, — тоже часть этого кризиса. Сильно влияло на его отношение к событиям и острое ощущение того, что часто называют «дворянским грехом» (сам он этого выражения не употреблял).

Опять-таки проблема была существенная, укоренившаяся в русской истории, — и имела она отношение не только к социальной, но и к культурной жизни. Ни для кого не секрет, что начало современной русской культуры положено дворянством и даже в период крепостного права, то есть в какой-то степени она создавалась за счет труда крепостных, остававшихся, тем не менее, в массе своей вне культурного процесса, отличавшихся от своих господ не только знаниями, но и бытом (пресловутые «два народа», о которых говорили славянофилы). Проблема трагическая, но постепенно разрешавшаяся за счет постепенного проникновения образования в толщу народа и все расширяющегося встречного движения к нему (гимназии открывались уже и казачьими станичными обществами), но, конечно, проблема «двух народов» все еще продолжала быть острой. Блока она волновала в высшей степени, притом очень лично: «Несчастный Федот изгадил, опоганил мои духовные ценности, о которых я *демонически же* плачу по ночам. Но кто сильнее? Я ли, плачущий и пострадавший, или Федот*, если бы даже он вступил во владение тем, чем не умеет пользоваться (да ведь не вступил, никому не досталось, потому что все, вероятно, грабили, а грабить там — в Шахматове — мало что было ценного). Для Федота — двугривенный и керенка то, что для меня — источник не оцениваемого никак вдохновения, восторга, слез. Так, значит, я — сильнее и до сих пор, и эту силу я приобрел тем, что у кого-то (у предков) были досуг, деньги и независимость, рождались гордые и независимые (хотя в другом и вырожденные) дети, дети воспитывались, их научили (учила кровь, помогала учить изолиро-

* Скоро оказалось, что Федот умер (прим. А. Блока.).

ванность от добывания хлеба в поте лица) тому, как создавать бесценное из ничего, «превращать в бриллианты крапиву», потом — писать книги и... жить этими книгами в ту пору, когда не научившиеся их писать умирают с голоду».

В этих словах искренняя боль, да, пожалуй, и правда. И, собственно, здесь разговаривать было бы нечего. То, что А. Блок не ненавидит, а старается понять и оправдать «несчастливого Федота» и, допустим, хочет защитить его от слепой и раздраженной ненависти «образованных слоев» (это только в эмиграции родилась легенда о полной непричастности русского народа к революции — Блоку очень часто приходилось слышать слова о русском народе в иной тональности), — вызывает только сочувствие. Но этим строкам, к сожалению, предшествуют другие: «Всякая культура — научная ли, художественная ли — демонична. И именно чем научнее, чем художественнее, тем демоничнее, — кается он. — Но демонизм есть сила. А сила — это победить слабость, обидеть слабого». Под вопросом уже сама культура. Она нечто опасное и демоническое даже в самых высоких своих проявлениях. Она уже не благо, добытое неправедным путем, а может быть, даже и не благо вовсе — просто некое образование, в самом существе которого заключена неправедность, — нечто такое, о чем и жалеть грех, когда оно гибнет под напором хамства. Но в чем же ее демоничность? Ведь речь идет не о снобистской псевдокультуре, а о подлинной научности и художественности — ведь именно об этом говорится, что, чем этого больше, тем хуже. В чем же дело? А вот в чем: «Да, когда я носил в себе великое пламя любви, созданной из тех же простых элементов, но получившей новое содержание, новый смысл от того, что носителями этой любви были Любовь Дмитриевна и я — «люди необыкновенные»; когда я носил в себе эту любовь, о которой и после моей смерти прочтут в моих книгах, — я любил прогарцевать по убогой деревне на красивой лошади; я любил спросить дорогу, которую знал и без того, у бедного мужика, чтобы «пофорсить», или у смазливой бабенки, чтобы

нам блеснуть друг другу мимолетно белыми зубами, чтобы екнуло в груди так себе, ни от чего, кроме как от молодости, от сырого тумана, от ее смуглого взгляда, от моей стянутой талии, — и это ничуть не нарушало той великой любви (так ли? А если дальнейшие падения и червоточины — отсюда? — *Н. К.*), а, напротив, — раздувало юность, лишь юность, а с юностью вместе раздувался тот «иной» великий пламень...».

Культура ко всему этому имеет только косвенное отношение — она относится только к чувствам «необыкновенных людей», присутствует в них, дает им «новое содержание». Остальное — даже если считать это грехом, к чему я совсем не склонен, — относится больше к социальным отношениям, к социальному неравенству, к той же проблеме «двух народов», но только не к культуре. Юноша, легкомысленно гарцевавший перед бедными мужиками и смазливými бабенками, мог и не быть дворянином, и уж, конечно, мог не иметь никакого отношения к культуре. И пересматривать в этой связи можно было что угодно, только не отношение к культуре. И реакция крестьян, которую он чувствовал и помнил, относилась не к культуре и могла быть только ошибочно перенесена на нее по темноте: «Все это знала беднота. Знала она это лучше еще, чем я, сознательный. Знала, что барин — молодой, конь статный, улыбка приятная, что у него невеста хороша и что оба — господа. А господам, — приятные они или нет, — постой, погоди, ужотка покажем. И показали. И показывают».

Что показали — верно (в первую очередь, самим себе, но об этом Блок мог еще и не знать); что поэт не отказывается от своего народа и в момент, когда бушуют страсти, что чувствует во всем происходящем вину и свою, и всех, кого он любит, кто ему близок, — достойно. Но то, что при этом он готов благословить и погром культуры, в которой, в конечном счете (ведь это общее достояние), нуждаются и сами громящие, — мягко говоря, не мудро. А восторг покаяния набирает силу, окончательно побеж-

дает восприятие: «И если даже руками грязнее моих (и того не ведаю и о том, Господи, не сужу) выкидывают из станка книжки даже несколько “заслуженного” перед революцией писателя, как А. Блок, то не смею судить. Не эти руки выкидывают, да, может быть, не эти только, а те далекие, неизвестные миллионы бедных рук; и глядят на это миллионы тех же не знающих, в чем дело, но голодных, исстрадавшихся глаз, которые видели, как гарцевал статный и кормленный барин. И еще кое-что видели другие разные глаза — но такие же. И посмеиваются глаза — как же, мол, гарцевал барин, гулял барин, а теперь барин — за нас? Ой, за нас ли барин? Демон — барин. Барин — выкрутится. И барином останется. А мы — “хоть час, да наш”. Так-то вот».

Восторг покаяния оборачивается защитой произвола. Защита произвола народного постепенно переходит в защиту произвола бюрократического, начатков бюрократического управления культуры, с которым он столкнулся. Это крайние формы отталкивания от «буржуиства». А к «буржуиству» Блок относится с отвращением. Хоть толкует это слово чрезвычайно широко: «Буржуем называется всякий, кто накопил какие бы то ни было ценности, хотя бы духовные. Накопление духовных ценностей предполагает предшествующее ему накопление материальных». Так иногда для Блока обстояло дело с ценностями. Кстати, многое здесь и фактически неверно. Далеко не всегда (если речь о людях, а не об обществе в целом) накоплению духовных ценностей предшествовало накопление материальных — были люди, приобщавшиеся к этим ценностям на медные гроши. Но дело даже не в этом. Если какой-то человек действительно «накопил» духовные ценности (а не косметическую мишуру), то его досуг — с общественной точки зрения — вполне оправдан, окупился. Такой человек своим существованием (не говоря уже о деятельности) действует на окружающее и как-то изменяет его. Для того, чтобы люди тянулись к культуре, нужно, чтобы было к чему тянуться, чтобы кто-то ее

создал и хранил. А то, что она создана на счет народа (пу-скай даже без его ведома), никак не должно располагать к ее уничтожению — наоборот, к тому, чтобы открыть к ней дорогу всем, кому она была несправедливо преграждена. Мало кто сегодня одобрит методы, которыми Петр строил Петербург, но ведь вряд ли кто-нибудь считал бы возможным разрушить построенный такими методами замечательный город. Ибо разрушить его — значило бы отнять его у народа и вовсе обесмыслить страдания погребенных под его роскошными ансамблями.

А ведь государство подбиралось тогда уже не только (да и не столько) к горлу культуры, но и к горлу самого крестьянства. До коллективизации и раскулачивания было еще сравнительно далеко, но продразверстка и продотряды уже вводились, а «мешочники» расстреливались в порядке соблюдения уже упомянутой «продовольственной диктатуры» Ленина, чтобы не снабжали продовольствием Москву и Питер, чтобы население получало средства для выживания только из рук правительства и, как собака, привыкало к хозяину. Ничего не скажешь — материалисты.

Но страдающего народа Блок еще не видел — а страдания интеллигенции он считал долгом игнорировать. Он даже нагнетал иногда в себе ненависть к ней. Вот запись от 19 июня 1917 года — за несколько месяцев до Октября, за две недели до первой попытки большевистского переворота: «Ненависть к интеллигенции и прочему, одиночество. Никто не понимает, что никогда не было такого образцового порядка и что этот порядок величаво и спокойно оберегается ВСЕМ революционным народом. Какое право имеем мы (мозг страны) нашим дрянным, буржуазным недоверием оскорблять умный, спокойный и много знающий революционный народ? Нервы расстроены. Нет, я не удивлюсь еще раз, если нас переберут во имя ПОРЯДКА».

Вот, оказывается, как обстояло дело в семнадцатом году — действовал народ во имя ПОРЯДКА, а интеллигенция этому мешала. Конечно, Блок был поэт, а не поли-

тик, и он не был обязан верно оценивать политическую ситуацию. Но ведь оценивал. И еще клеймил всех, кто с его оценкой не соглашался. Впрочем, если говорить лично о Блоке, то это была ошибка не политическая, а именно *поэтическая* — хотя речь пока не идет о стихах. Ибо все его оценки носят эстетический характер: интеллигенции не хватало того застилающего глаза восторга, который Блок принимал за вдохновение. Эстетически оценивать политические явления Блок продолжал и после большевистской победы. Вот запись от 7 января 1918 года: «Для художника идея народного представительства, как всякое «отвлечение», может быть интересна только по внезапному капризу, а по существу — ненавистна». Непонятно, почему (при таком отношении к искусству) какая-либо идея, касающаяся общественного устройства, вообще может быть интересна художнику, тем более, его волновать. А тут какая-то из этих форм даже ненавистна. Вроде не дело художника выбирать системы правления. С чего же такая вспышка темперамента? В чем дело?

А именно в том, что художник и в этом случае распространяет свое творческое отношение на саму жизнь. Поэтому и формы правления он начинает оценивать эстетически — в данном случае, капризно и брезгливо. Да и действительно: что в этих парламентах эстетического? Бюрократия, говорильня, политиканство, вообще пошлая мечта интеллигенции, не имеющая ничего общего с полнотой бытия. Сезама она явно не отворяет. Но существенные — хотя и приземленные — стороны жизни, в том числе, и жизни поэтов, от способа правления зависели. И каприз, вполне иногда уместный в художественном творчестве (ибо через него может выразиться откровение), здесь неуместен. Ибо там художник рискует только удачей собственного произведения, а здесь — гораздо большим. При всем несовершенстве представительных учреждений, при них всем (в том числе, и поэтам) жить было бы существенно лучше и легче, чем при Политбюро ЦК РКП(б), Совнаркомом, ЧК и ежедневном насилии —

при всем, чему Блок был свидетелем, и что, по его мнению, в благородных ушах должно было заглушаться пресловутой «музыкой революции».

Всех, кто не поднимался до такой высоты, Блок безоговорочно относил к «буржуйам», а к этому классу людей (для него биологическому) он относился еще более непримиримо, чем «пролетарские» трибуналы. Вот запись от 26 февраля 1918 года: «Я живу в квартире, а за тонкой перегородкой находится другая квартира, где живет буржуа с семейством (называть его по имени, занятию и пр. — лишнее). Он обстрижен ежиком, расторопен, пробыв всю жизнь важным чиновником, под глазами — мешки, под брюшком тоже, от него пахнет чистым мужским бельем, его дочь играет на рояли, его голос — тэноришка — раздается за стеной, на лестнице во дворе у отхожего места, где он распоряжается и пр. Везде он. Господи Боже! Дай мне силу освободиться от ненависти к нему, которая мешает мне жить в квартире, душит злобой, перебивает мысли. Он такое же плотоядное двуногое, как я. Он лично мне еще не делал зла. Но я задыхаюсь от ненависти, которая доходит до какого-то патологического истерического омерзения, мешает жить. Отойди от меня, сатана, отойди от меня, буржуа, только так чтобы не соприкоснуться, не видеть, не слышать; лучше я или еще хуже его, не знаю, но гнусно мне, рвотно мне, отойди, сатана». Этой записи предшествует другая, сделанная за полтора месяца до этой, 3 января того же года, где уже упоминается та же злополучная барышня: «В голосе этой барышни за стеной — какая тупость, какая скука: домового ли хоронят, ведьму ль замуж выдают. Когда она наконец ожеребится? Ходит же туда какой-то корнет. Ожеребится эта — другая падаль поселится за переборкой, и так же будет выть, в ожидании уланского жеребца».

Обе эти записи страшные, бесчеловечные. «Отыди, сатана!» — говорится ведь не по поводу душевной ненависти, а по поводу ее объекта, о котором, в сущности, Блок ничего не знает. Так же, как ничего не знает он по поводу

«барышни», терзающей рояль. Вряд ли ее игра оскорбляла музыкальный слух поэта, ибо, как известно, никаким особым музыкальным слухом в музыке (в отличие от поэзии или — допустим иносказательно — в истории) Блок не отличался. Эта барышня, вероятно, действительно, досаждала ему своей игрой, мешала ему работать — так что неудивительно, что раздражала его. Но уж слишком на высокую эстетически-принципиальную высоту поднято здесь это раздражение. И почему такая ненависть? Даже если она действительно духовно не очень богата, если действительно, томясь за роялем, думает о замужестве — что ж тут страшного и низкого? Ведь и душа Татьяны Лариной (не говоря уже об Ольгиной) «ждала кого-нибудь» — не исходил же Пушкин из-за этого презрением и ненавистью к ним. Отношение Ленина к «насекомым», его весьма ответственное презрение к политическому обывателю (тоже, в общем, опирающееся на романтическую традицию) здесь дополняется и оправдывается эстетически. Этим людям, оказавшимся под мечом истории, отказано во всем человеческом. Таких и перестрелять не жалко. И уж, конечно, не стоит вступать из-за них в безвыходный конфликт с «очистительной грозой революции».

Не утверждаю, что Блок симпатизировал таким людям раньше, но сейчас накал ненависти к ним безусловно усиливался стремлением как можно больше соответствовать упомянутой «музыке», которая, кроме всего прочего, должна была заглушить в его душе все неприятные впечатления от происходящего.

Кстати, стремление «заглушить» вовсе не означало у Блока стремление что-либо замолчать или приукрасить. Такое просто не могло прийти ему в голову. Да и зачем это ему было бы нужно? Наоборот, то, что он видел и слышал (в самом банальном смысле этих слов), следовало поднять со дна, выпятить, показать всему миру и самому себе и только тогда заглушить тем, что, по его мнению, надлежало слышать (на этот раз — метафизически), заглушить, прежде всего, в самом себе. В том же тогда нуждались и

большевики — им нужны были не приукрашивание и замалчивание того, что было у всех на виду (скрывать это научились быстро, но еще не тогда), а только поддержка и оправдание. Блок никогда не прислуживал большевикам и даже не служил им, он только сотрудничал с ними на равных, исходя из своих собственных соображений и представлений. В заглушении шумов реальности прежде всего нуждался он сам.

Этот метод, метод заглушения внутренних противоречий «музыкой» — не нов для поэта. В уже упоминавшейся статье о нем («Игра с дьяволом») я пытался понять это на материале стихотворения «К музе» («Есть в напевах твоих сокровенных...»). Но заглушалось в нем иное и — соответственно — по-иному и иным. В стихотворении «К музе» — противоборствуют на равных, два достаточно абстрактных начала: одно в семантике, другое в звучании — и так и не примиряются до конца. Между тем, теперь идет речь о вещах, гораздо более конкретных, непосредственно затрагивающих основы бытия многих, самых разных людей и всего общества. С этим нельзя не считаться. В поэзии все это относится прежде всего к «Двенадцати».

К «Скифам» это относится в меньшей мере. В этой поэме как бы есть центр, вокруг которого все вертится. Этот центр — постыдная мировая война, из которой пока вышла только одна Россия. От ее имени поэт и зовет весь цивилизованный мир «на общий братский пир» — правда, в противном случае угрожая перестать «держаться» «меж двух враждебных рас — Монголов и Европы», то есть дать азиатскому нашествию погубить Европу и ее культуру, «внятную» и дорогую и «нам» самим. Если даже отвлечься от геополитических концепций, то и здесь проявляется та же готовность обречь на гибель то, что самому дорого, — для искупления трагической вины, видимо. Все это не свидетельствует о цельности мироощущения. Но у этой поэмы — хотя она, как я думаю, во многом уступает «Двенадцати», — несмотря на все заключенные в ней

филиппики, есть то, что я бы назвал цельностью авторского монолога, что, с моей точки зрения, необходимо каждому поэтическому произведению. Просто по условиям его восприятия. При любой сложности оно всегда песня, вырвавшаяся из глубин души и опыта, цельный организм, где авторский замысел чувствуется с первой строки и в любой строчке, почему оно и внутренне поется — переживается как факт собственной жизни, а не сопереживается как прозаическое повествование. Вероятно, здесь это удалось Блоку, потому что «Скифы» в большой степени плод непосредственной и прямой* (хоть, может быть, и чуть форсированной) реакции на происходящее (выход России из постыдной войны, разрушающей и компрометирующей культуру), а не реакции, обусловленной необходимостью услышать нечто *сквозь* происходящее.

В «Двенадцати» же этой цельности авторского монолога нет и в помине — даже в замысле. И, наоборот, авторское стремление восхититься тем, что его ужасало, присутствует наиболее отчетливо. Это очень странная поэма — в ней автор старается как бы вообще стушеваться, отойти в сторону — предоставить голос происходящему. «Это эпос, — могут мне сказать. — Тут ничего такого и не требуется». «Но это и не проза, — могу ответить я. — А нелирической поэзии не бывает».

Кстати говоря, наиболее эпическая из поэм Блока, «Возмездие», поэма «с сюжетом и характерами», которую он писал много лет, но по разным внутренним причинам так и не закончил (я думаю, что поэма захлебнулась из-за неточного выбора героя, который «тянул» поэму от общего «музыкального» замысла, отвлекая ее от эпоса на подробности, не соответствующие заданному размаху и интонации), — все равно живет присутствием автора, его естественного голоса, сконцентрирована в

* Речь идет не о том, следует ли обязательно писать «прямо», то есть в лоб, речь вообще не о проблемах исполнения, а только о непосредственности реакций.

нем. «Двенадцать» до такого уровня *авторского* обобщения не поднимается никогда. Не путать с обобщенностью картины — обобщенную картину происходящего автор создает, но разве дело поэзии рисовать картины? Обобщенным должно быть отношение автора, эту картину рисующего, — именно этим мы и проникаемся, читая даже самые «сюжетные» куски «Евгения Онегина», — приобретаешь к рассказывающему голосу и идентифицируешь себя с ним. Ибо, о чем бы ни говорилось в поэме, как бы ни была она «эпична», смысл даже не рассказа, а самого процесса рассказывания, смысл, осязаемый в каждой строчке, — в другом, в общем поэтическом отношении к жизни. В том и трудность поэмы как жанра, что сюжет в ней движется стихом, а не стих сюжетом.

Безусловно, Блок это понимал ничуть не хуже меня. И не собираюсь я поражать читателя парадоксальными утверждениями, что «Двенадцать» — это проза в стихах, что стих в этой поэме движется сюжетом. Нет, это не так. Но все же нечто от прозы в строении этого произведения есть. Ибо по-настоящему авторский замысел раскрывается (или должен раскрываться) — только общей картиной, что больше характерно для прозы. Поэтически же каждый кусок работает сам на себя. Стихия, бунтующая почти в каждом из них, достаточно ужасающа — так автор ее и воспринимает. Надежда его в том, что все вместе они будут говорить другое и перекричат каким-то образом этот ужас, подтвердят его «общую поэзию» вопреки частностям восприятия. Даже то, что революция приняла на вооружение, превратив в лозунги: «Революционный держите шаг. / Неугомонный не дремлет враг» или «Мы на горе всем буржуям / Мировой пожар раздуем», — в поэме вовсе лишено какой бы то ни было боевой бравадности. В контексте это скорей ужасает, чем вдохновляет. Это вопли испуга, отчаяния, темной ненависти. Ведь «раздуем»-то мы не просто «мировой пожар», а «мировой пожар в крови» (нуждаемся и в таком уточнении), да еще просим — то ли ерничая, то ли всерьез: «Господи, благослови!». Стремясь

перекричать этот ужас, забывая его темпераментом. Блок игнорирует порой и смысл слов. «Черная злоба... Святая злоба...», — говорит он о том, чем обуреваемы воспеваемые им красногвардейцы, — вступая в спор с семантикой. Ведь «черная» здесь не эпитет, определяющий специфическое или специфически воспринятое качество данной злобы. «Черная» — это оценка, означающая, кроме всего прочего, что никакого намека на святость в ней не проглядывается. Нельзя оценить злобу одновременно как черную и святую. А ларчик открывается просто: черной автор ее видит, а насчет святости — надеется, что она потом такой окажется. Это одно из немногих мест в поэме, где автор показывается на поверхности. Происходит это с ним еще и в конце, когда он смотрит на красногвардейцев, идущих «вдаль державным шагом», и где апофеозом, квинтэссенцией смысла происходящего должна завершиться поэма, конгломерат поэтически написанных эпизодов должен сойтись в одну волю, один образ. И оказывается, что этими двенадцатью несчастными и несущими несчастье людьми предводительствует... Христос. Почему? Впрочем, понятно, почему. Он им навязан нагнетанием восторга и экспрессии. Он должен возникать из вьюги, частью которой видятся красногвардейцы, и давать ей смысл. Но — не дает. Блок и сам чувствовал здесь некое несоответствие, но объяснял его несколько странно. Вот две записи начала 1918 года: «18 февраля <...> Что Христос идет перед ними — несомненно. Дело не в том, «достойны ли они его», а страшно то, что опять Он с ними, и другого пока нет; а надо Другого — ?». Оказывается, во всем этом страшно только то, что «опять Христос». Блоку надо было, чтобы вместо него был Другой — с большой буквы. В следующей записи, от 20 февраля, эта тоска по Другому выражена еще отчетливее: «Религия — грязь (попы и пр.). Страшная мысль этих дней: не в том дело, что красногвардейцы “не достойны” Иисуса, который идет с ними сейчас; а в том, что именно Он идет с ними, а надо, чтобы шел Другой».

Итак, этот блоковский Христос — не просто предтеча тех «Христов с автоматами», которые появлялись и, может, еще теперь появляются на левых партизанских плакатах в Латинской Америке, а вообще — паллиатив. Ибо нужен не Он, а кто-то Другой по отношению к Нему, и тоже с большой буквы. Ну, как тут не вспомнить и «вдруг» загорающийся над музой «тот неяркий, пурпурово-серый» круг (сияние, которое изображалось вокруг дьявольских ликов) — из уже упоминавшегося стихотворения «К Музе».

Вряд ли это поэма. Ее больше тянет исполнять. Она мало приспособлена для интимного чтения самому себе, к которому обычно располагает произведение поэзии. Мы слишком заняты тем, что происходит с героями, и не слишком — тем, что в нас самих происходит по их поводу. По-моему, это недостаток. Но, видимо, иначе и быть не могло — не могли тогдашние переживания так быстро отлиться в законченную поэтическую форму. Поэмой это произведение, по-моему, не было. Но уникальным художественным откликом на грандиозные события, сквозь который, как ни у кого, ясно просвечивают сами события — оно безусловно стало.

Но замечание о «Другом» — тоже не случайно. И пурпурово-серый круг — тоже. Только тут уже возникает нечто такое, что имеет мало отношения и к дворянскому греху, и к долгу перед народом, и к попраной справедливости. Оказывается, что превращение гармонии в цель практических действий означает не только желание побыстрее осчастливить «малых сих» (ведь момент их счастья может быть как угодно отдаленным и все время отдаляться), но и на этой почве (не только на этой такое случается, но не о том речь) стремление уже сейчас ощущать небывалую концентрированность и полноту собственного бытия, прорыв из повседневности в то, что может показаться поэзией. Я говорю «показаться» потому, что для меня ценность поэзии не в любом экстатическом состоянии (это только «количество» чувства, а оно вопреки законам

диалектики отнюдь не всегда переходит в «качество»), а только в таком, которое связано с Откровением, с «качеством» чувства.

Такое стремление к концентратам и приводит к панэстетизму, что означает вовсе не снобистское эстетство (вот чему Блок всегда был чужд!), а стремление внедрять гармонию в повседневную жизнь при естественном презрении ко всем, кто такими концентратами не питается. Это означает обращение с живой жизнью как с материалом для собственного творчества. Вероятно, в этом гораздо больше демонизма, чем в невинном гарцевании на коне и любом накоплении ценностей — как материальных, так и духовных.

А выглядит все романтично и красиво: «Зачем жить тому народу или человеку, который втайне разуверился во всем?». Весьма поэтическое высказывание. Правда, вспомнив, когда и где это сказано, стоит прозаически вспомнить, что поэты и провидцы даны вовсе не для того, чтобы решать, кто достоин жизни, а кто нет, — ведь в те времена эти вопросы понимались буквально и решались быстро. А вот что означало тогда по Блоку быть разуверившимся: «...Думает, что жить «не особенно плохо, но и не очень хорошо», ибо «все идет своим путем»: путем... эволюционным; люди же так вообще плохи и несовершенны, что дай им только бог прокряхтеть свой век кое-как, сколачиваясь в общества и государства, ограждаясь друг от друга стенками прав и обязанностей, условных законов, условных отношений...».

Конечно, нам легко судить. Мы прожили больше шестидесяти лет после смерти Блока, испытали последствия такого бескомпромиссного максимализма. Мы слишком хорошо знаем, что несовершенство жизни — отнюдь не основание для ее отрицания. Но, кроме того, мы вспомнили, что только в этой несовершенной жизни, пожалуй, и имеет смысл заниматься искусством — напоминать людям о гармонии и хотя бы через возвышающую тоску по ней давать им возможность к ней приобщиться. Это ведь

тоже оказывает влияние на жизнь — если не на ее развитие, то на течение, и хоть как-то облагораживает людей. В то время как попытки утвердить гармонию силой превращают их в чудовищ. Мы сегодня это знаем. Блок в начале революции об этом забывал. «Жить стоит только так, чтобы предъявлять безмерные требования к жизни: все или ничего; ждать нежданного; верить не в «то, чего нет на свете», а в то, что должно быть на свете; пусть сейчас этого нет и долго не будет. Но жизнь отдаст нам это, ибо она — прекрасна».

К сожалению, относятся эти слова не только к поэзии, что было бы уместно. Но, впрочем, и так все правда: жизнь — Божий подарок, и потому при всех несовершенствах она прекрасна. А в чем же дело? А вот в чем: именно потому, что она подарок, она ничего никому не должна и никогда ничего никому не отдаст — кроме того немалого, что уже дает. Блок страстно выдает вексель, который никогда не будет оплачен. Восторг — недостаточная гарантия для этого. Даже если он очень хочет быть не восторгом, а вдохновением. «Смертельная усталость сменяется животной бодростью. После крепкого сна приходят свежие, умытые сном мысли...». Что ж, как будто вполне нормальное отношение к жизни — конечно, применительно к любому нормально трагическому времени. Но ведь на дворе 1918 год, время, трагизм которого отнюдь не нормален. Впрочем, оказывается, эти утренние мысли при всей своей умытости обладают одним странным качеством, в связи с которым делается вдруг один весьма существенный, хотя и импрессионистически высказываемый вывод: «...Среди бела дня они могут показаться дурачками, эти мысли. Лжет белый день». Так вот в чем высшая мудрость панэстетизма: «Лжет белый день»! Это квинтэссенция тогдашнего блоковского отношения к революции. И многих — через годы и десятилетия после нее. Такое умонастроение способствует тому, чтобы мириться с тем, что ужасает, или чтобы злобу, воспринятую как «черная», одновременно считать и святой. И чтобы отлучать от ду-

ха и света всех, кто верит своим глазам. Какие тут могут быть глаза, если белый день лжет?

Как уже говорилось, эстафета такого отношения к жизни была подхвачена — и особенно, по иронии судьбы, — после мученической смерти Блока. Подхвачена, хотя сам он, в конце концов, как бы очнувшись, жестоко разочаровался в этом и поверил тому, что увидел при свете дня.

Процесс этот был сложный. Следы отрезвления есть уже в письме к Маяковскому, написанном (во всяком случае, занесенном в записную книжку) 30 декабря 1918 года: «Не так, товарищ! Не меньше, чем вы, ненавижу Зимний дворец и музеи. Но разрушение так же старо, как строительство, и так же традиционно, как оно. Разрушая постылое, мы так же скучаем и зеваем, как тогда, когда смотрели на его постройку. Зуб истории гораздо ядовитее, чем вы думаете, проклятия времени не избыть. Ваш крик — все еще только крик боли, а не радости. Разрушая, мы все те же еще рабы старого мира: нарушение традиций — та же традиция. Над нами — большее проклятье: мы не можем не спать, мы не можем не есть. Одни будут строить, другие разрушать, ибо «всему свое время под солнцем», но все будут рабами, пока не явится третье, равно не похожее на строительство и на разрушение».

Это несколько странное отрезвление. Зачем прибегать к ненавидящим Зимний дворец, а тем более музеи? Разве строительство состоит в «глядении» на него? Разве разрушение было бы оправдано, если бы стало делом менее скучным (да ведь и бывает оно нескучным), и разве беда в том, что оно *традиционно*? Но во всяком случае — пусть и на языке условных кружковых ценностей того времени — здесь уже отчетливо выражено недоверие к очистительной силе катаклизмов. Впрочем, то бессмысленное опустошение, к которому они вели, Блок со свойственной ему зоркостью (которая не покидала его ни при каком восторге, хоть часто ничему не препятствовала) заметил довольно рано. Правда, объяснение этому — потом это назвали «разрухой» — он дает (запись от 11 июня 1919 года)

почти марксистское: «Никто ничего не хочет делать. Прежде миллионы из-под палки работали на тысячи. Вот вся разгадка. Но почему миллионам хотеть работать? И откуда им понимать коммунизм иначе, чем — как грабеж и картеж?». Выражение «работали из-под палки», строго говоря, даже не марксистское — оно еще «левой». Можно было бы еще сказать, что если дело в том, что люди просто не умеют иначе работать (это, по-моему, не так), то и это говорит о том, что «грандиозные планы» следовало бы составлять осторожнее. Но ясно одно: предполагаемого рая пока не получилось и очищением воздуха тоже не пахнет. Самое время задуматься о том, что, вероятно, и «буржуи» свой хлеб ели не зря. Впрочем, насчет «буржуев» Блок еще держится — пусть несколько комично, но хранит «чистоту риз». Вот запись, сделанная только за месяц до только что процитированной: «12 мая. <...> С 10 вечера до 1 часу ночи ломал дурака в воротах. Разговоры и милые люди. Дурацкое положение и с буржуями сблизит». Впрочем, тут уже не прежнее жесткое отчуждение от «буржуев» (милые люди и тому подобное), а странное стремление вопреки всему сохранить ускользающую духовную ценность. Хоть только с десяти вечера до часа ночи, но все еще «лжет (вернее, должен лгать) белый день!». Но, видимо, верить в это не очень ему удастся, а иначе бы незадолго до этого не прорвалась бы в записные книжки фраза «СКУКА существования не имеет предела». А она прорвалась. И она только отчасти передает то отвращение ко всему, которое постепенно овладевало Блоком — по мере разочарования в революции. После всех упоений и филиппик — СКУКА.

Только перед самой смертью, в уже упоминавшемся стихотворении «Пушкинскому дому» и в знаменитой, «пушкинской» речи «О назначении поэта» он возвращается к традиционным культурным и человеческим ценностям, которые все теперь для него связаны с именем Пушкина. Пушкин — нечто вроде пароля, которым люди будут аукаться, перекликаться в наступающей мгле. А ведь еще

недавно в восторге борьбы с интеллигентской пошлостью договаривался до того, что Пушкин у нас не прижился, ибо слишком «француз», а нам ближе германская традиция... Впрочем, речь эта достаточно известна, чтобы о ней тут говорить подробно. Тем более, что она лежит за границами нашей темы — ведь речь у нас не обо всем жизненном и творческом пути великого русского поэта, а только о его впадении в утопию.

Что делать! Этот поэт жил сначала в очень сложное, потом в очень страшное время, и хотя, в конце концов, он всегда возвращался к истинности и подлинности, многие соблазны времени его не миновали. Вероятно, иначе и быть не могло. Важно, что он их преодолевал. Преодолевал и опустошающее воздействие утопии, но он слишком много отдал ей, и сил у него потом хватило только на то, чтобы осознать и сформулировать это. Сил, чтобы все начать сначала, уже не хватило. Но он предостерег от этого других, хотя его предупреждения не были достаточно быстро усвоены современниками — особенно теми, кто шел за ним. Впрочем, это не его вина — слишком много было желающих соблазниться таким образом, то есть тем, что соблазнило его. Блок не причина их соблазна, а только поддержка их в этом.

То, что для него было трагедией, то, за что он заплатил жизнью, для многих «соблазнившихся» стало удобным выходом. Поэма «Двенадцать» при всей своей подлинности действительно начала собой советскую литературу, особенно литературу двадцатых годов, когда при всей межеумочности она все-таки была еще литературой. Метод воспевания ужасного на том основании, что за ним обязательно когда-нибудь откроется прекрасный смысл, был ею вполне усвоен. Вполне была усвоена — и не только литературой — и традиция подавления в себе нормальных человеческих реакций на том основании, что они не существенны («лжет белый день!»), а также боязнь сблизиться с теми, в чьи паруса не дуют ветры истории (этого нет в стихах Блока, но есть в его высказываниях), и мно-

гое другое. Когда все качается, поэт начинает играть роль маяка или звезды — хочет он этого или не хочет, — причем не только своим творчеством, но и жизнью, в том числе и высказываниями. Ведь часто людям во мраке не на что больше ориентироваться. И страшно, когда в такие годы третируется — как мещанство и бескрылость — здравый смысл. Страшно — в широком плане, но в личном, — это очень даже может быть удобно. Хотя воспользовался этими удобствами отнюдь не сам Блок.

Было бы упрощением считать, что в поведении сегодняшней «левой» западной интеллигенции на Западе проявляется влияние Блока. Но никто с такой силой, как Блок, — особенно, в своих высказываниях — не выразил сущности этого явления. Он прожил в этом состоянии всего несколько лет (зато каких!), но прошел путь этого интеллигента — в отличие от многих других — до конца. Поэтому путь его особенно поучителен. Это придает нашей теме дополнительную актуальность. Так что с еще большим основанием, чем в «Игре с дьяволом», я могу сегодня сказать: «В опыте больших поэтов поучительно все».

Меня могут упрекнуть в том, что происходившее с поэтом я анализирую слишком логически. Да ведь — за исключением «Двенадцати» и отчасти «Скифов» — я и говорю не о его стихах. Да и вообще рассматриваю-то я тот период, когда он большей частью стихов писать не мог. Я и пытаюсь здесь объяснить себе и другим, почему и как это происходило. Ибо убежден, что причины этого касаются проблем и ценностей, гораздо более важных, чем творчество даже такого громадного (с моей точки зрения — едва ли не самого крупного в XX веке) поэта, как Александр Блок, а может быть, и тем поэзии вообще. Ибо речь идет о жизни на земле: снявши голову, по волосам не плачут.

Александр Куприн и антисемитизм

«Антисемитизм Александра Куприна?» — так на обложке тридцать шестого номера журнала «22» анонсирована публикация «сенсационного» по определению редакции частного письма (вернее, его черновика, и неизвестно, был ли чистовик) упомянутого писателя своему другу, редактору журнала «Мир Божий» Ф. Батюшкову, а также развернувшаяся вокруг этого письма дискуссия. В ее рамках выступает публикатор письма Виктория Левитина (согласно аннотации — московский театровед, выехала в 1982 году) и Михаил Хейфиц. Г-жа Левитина Куприна в антисемитизме обвиняет, а г-н Хейфиц его от этого обвинения защищает.

Наперед скажу, что согласен больше я с М. Хейфицем. Письмо действительно написано в состоянии крайнего раздражения, и судить по нему о личности и мировоззрении Куприна не стоит. Да и вообще — Хейфиц и в этом прав — о личности писателя судить надо по его произведениям, а не по письмам. Кроме того, я вообще считаю, что чужие письма читать не следует (а с «научной целью» следует осторожно), потому что написаны они обыкновенно людям, хорошо знающим и понимающим пишущего, и посторонние могут понять их неправильно. Мне уже приходилось писать о том, как таким образом пошло гулять по свету убеждение, будто великий Пуш-

кин, один из самых умных людей в русской и мировой истории, всерьез считал, что «поэзия должна быть глуповата» (поскольку такая фраза действительно есть в одном из его частных писем). Сколько людей эта фраза обнадеежила! А ведь зря.

Не спору, в письме Куприна есть вещи очень неприятные и просто неприличные. Например, гордясь способностью России почувствовать боль любого, даже самого отдаленного народа, он вдруг объявляет: «Но я хочу, чтобы евреи были изъяты из ее материнских забот». Это вообще нехорошо — подвергать остракизму целый народ. Но особенно нехорошо, когда это изъятие относится к народу, и без того попираемому законами твоей страны. Легкомысленное и раздраженное замечание о пухе, летящем из перин некой Ривки Литман, — тоже не относится к достойным высказываниям. Но все творчество Куприна показывает, что этого «изъятия» не было, он отнюдь не считал этот «пух» чем-то легковесным и малозначительным. Даже в этом раздраженном (по поводу, который я считаю существенным) письме он прямо заявляет об этом, противореча всем сторонам. Кроме того, нельзя забывать, что Куприн не совершил за свою жизнь *ни одного* антисемитского поступка — ни в России, где в интеллигентской среде до революции существовал жесткий запрет на антисемитизм, ни в эмиграции, где этот запрет существенно ослаб. Письмо это не может перевесить всего творчества и всей жизни Куприна — и до, и после его написания.

Другое дело — его отношение к участи евреев в русской культуре. Оно его, вероятно, действительно раздражало. Тут он действительно был бы не прочь «не пускать их в храм». Сегодня, когда многие евреи ощущают себя русскими, любят Россию и проникнуты ее культурой, такое отношение выглядело бы и выглядит дискриминацией по расовым мотивам. Тогда же такое чувство причастности было далеко не всегда и даже считалось обязательным. В применении к людям, которые и сами осознавали свою отдельность и даже на ней настаивали, это выгляде-

ло несколько иначе. Выглядело в некоторых случаях — хотя не все это осознавали — как защита культуры от вторичности. Конечно, Куприн от раздражения хватил через край. Вряд ли, например, и тогда стоило столь презрительно упоминать имя Свирского — писатель этот для русской литературы, конечно, не первостепенный, но вполне добротный, отнюдь не вторичный. Россию он и любил, и знал. И уж совсем в этой связи не стоило упоминать Шолом-Алейхема и Шолом Аша — они вообще не имели никакого отношения к русской культуре.

Но в принципе такое отношение Куприна к участи евреев в русской культуре было искаженной реакцией на реальное явление, связанное отнюдь не только с евреями. В те времена во всем мире в культуру буквально ринулись массы неопитов, часто плохо еще понимавших, зачем и куда они ринулись. Приобретая культурные профессии и приспособляясь к культуре, они инстинктивно пытались приспособить культуру к себе, к своему уровню. В России существенная часть таких «интеллигентов в первом поколении» составляли евреи и среди них люди, первыми в роду заговорившие по-русски. Естественно, часто эти неопиты хватались, прежде всего, за самое простое, но внушительное или яркое. Например, за то, что Куприн в этом письме презрительно называет «социал-демократической брошюратинной». Куприна от нее воротило, а такие люди (отнюдь не одни евреи) воспринимали ее, как и то, что за ней открывалось, как высшее проявление духа, культуры и тонкости. Осуждать их за это глупо — таково было их историческое положение, но и Куприна нельзя осуждать за то, что это его раздражало. И нельзя забывать, что волю такому раздражению он дал только в частном письме.

Однако начал я писать эту статью не для того, чтобы защищать Куприна. Отчасти я и сам с ним не согласен, отчасти это хорошо сделал М. Хейфиц. Но статья г-жи Левиной называется «А газон не вырос...», и из этого ясно, что Куприн здесь только повод для развенчания всего «Газона», то есть всей русской культуры, всей русской интел-

лигенции. Странно, что русская интеллигенция рассматривается с точки зрения ее соответствия «прогрессивности», но поскольку для г-жи Левитиной это слово и сегодня сохраняет свое первоначальное обаяние, то есть связано со всем «вообще хорошим и порядочным», то отвечать приходится. Тем более, что и в прямом смысле ее отлучение от «прогрессивности», к сожалению, несправедливо.

Вообще-то я уже привык к тому, что лица, только что покинувшие СССР, особенно, если они «национальной ориентации», — поначалу считают своим долгом смачно плюнуть в сторону оставленной родины. Хотя вроде бы зачем? Почувствовал себя чужим — отвернись и забудь. Так ведь спокойнее. Но нет, надо все дотла «разоблачить», надо не только плюнуть, а еще и подчеркнуть, что плюешь в сторону не строя, а именно страны. Легче от этого, видно, бывает. Часто с этим связано и желание как можно быстрее взлететь на высоту современной свободной мысли, которая, по слухам, вся относится к России пренебрежительно и не делает различия между нею и СССР. Иногда играет роль и подспудное убеждение, что такие прискорбные вещи, как антисемитизм, свойственны только дикой России, а в здешнем благоустройстве воздухов просто немыслимы — ведь здесь газоны подстригались столетиями. Все эти факторы, как говорится, «работают», но главное, как мне кажется, не в них, а в той атмосфере, в которой выехавшие жили перед выездом. В связи с этим вспоминается мне такой разговор, который вели еще в Москве два моих приятеля, вознамерившиеся «рвать когти». Они дружно чехвостили Россию. Когда же я разбил все их доводы (что, признаться, было нетрудно, поскольку они не были рассчитаны на несогласных), один из них взмолился: «Что ты делаешь? Люди специально себя настраивают, чтобы легче было оторваться, а ты мешаешь!». Мне кажется, что печать этой настроенности и привезла в Израиль г-жа Левитина. И что письмо это для нее не огорчение, а подарок — подтверждение правильности выбранной позиции.

Разумеется, и эта жажда оторваться — вещь непростая. Для многих она явилась счастливым выходом из той душевной и безвыходной обстановки, в которой к семидесятым годам оказалась вся российская интеллигенция. Да, я утверждаю, что корни сионизма большинства выехавших интеллектуалов — не сугубо-еврейские, а общерусские. Просто евреям в тот момент больше везло — возникла видимая и достижимая при всей фантастичности цель — уехать. Даже сегодня, когда эмиграция практически властью прекращена, требовать собственного отъезда все-таки не то, что требовать изменения ситуации в стране. Да и вообще — иди знай, как и на что ее менять, а тут просто — требуем отъезда в Эльдorado и не вмешиваемся во внутренние дела. И вроде смысл у жизни появился. Тем более, что и некоторые другие, ища по тем же причинам того же смысла, ударились в крайний национализм. Да и что греха таить — ведь сионизм некоторых по своей оснастке не более, чем перелицованное славянофильство, только, к сожалению, часто близкое по духу не Хомякову, а Палиевскому (ведь истоки-то у нас общие). Все эти крайности подогревают друг друга. Так и получилось, что для многих условием сохранения духовной жизни стало поносить Россию, а отрывание превратилось в «символ веры». «Веры», настолько иногда горячее, что искусствоведа В. Левитину она просто заставляет забыть о сущности искусства. В работе, посвященной Я. Юшкевичу, она просто требует, чтобы писатели, происходящие из национальных меньшинств, при изображении представителей этих меньшинств соблюдали сугубую осторожность, ибо враждебно настроенная аудитория обязательно истолкует любую отрицательную черту такого персонажа как черту всей нации. Если даже отвлечься от того, что театральная аудитория России вовсе не относилась враждебно к евреям, то выглядит это странно. Даже в советской прессе времена, когда любой отрицательный пожарник воспринимался критикой (правда, не зрителями — зрители тогда театров не посещали) как клевета на все сословие пожар-

ников, отошли в прошлое. Если художник не может быть свободным в изображении того, что ему изображать нужно, то, значит, нет условий для его творчества. Значит, он не органичен. И прав Куприн (впрочем, его правота должна бы г-жу Левитину вполне устраивать) — евреи не могут работать в русской культуре.

Между тем, это не так. Трагедия Юшкевича — так, как ее передает сама же г-жа Левитина, — вовсе не в том, что он изменил евреям, а в том, что он изменил искусству. Возможно, он и в самом деле изображал отрицательных евреев-капиталистов с целью опорочить капитализм и потому, что эту разновидность капиталистов знал лучше. И та часть публики, которая воспринимала его пьесы как обличение евреев, была не права. Но ведь та же публика героев Шолом-Алейхема, например, — а ведь он переводился на русский язык, — так не воспринимала, хотя далеко не все его герои лучезарны. Дело в том, что с точки зрения искусства писать пьесы с целью опорочить капиталистов столь же недопустимо, как и с целью опорочить евреев. Часть публики, о которой идет речь, приняла одну плоскую тенденцию за другую, но тенденциозность — стремление опорочить группу людей — ощутила верно, произведения были написаны именно в этой плоскости, чуждой искусству.

Но проблемы искусства при обсуждении художника искусствоведа Левитину интересуют мало. А это, как ни крути, при таких разговорах — недостаток, даже если преследуешь побочные цели. Ибо без эстетического анализа понять, что говорит и что несет художник, просто невозможно. Публичное обсуждение его частного письма этого никак заменить не может — оно не может сказать больше, чем творчество.

Правда, по мнению Левитиной, Куприн — особый случай в русской литературе: «Ростовщик в «Скупом рыцаре» — это истинное отношение Пушкина (к евреям — *Н.К.*). Моисей в «Испанцах» — это истинное в тот момент отношение Лермонтова. А вот у Куприна прямо-таки на-

оборот». Получается, что Куприн занимался творчеством для сокрытия чувств. Это нелепо.

Но тут неожиданно возникает другая тема, вернее, продолжается старая, не связанная с Куприным. Мимоходом нам, как само собой разумеющееся, внушается, что великая русская литература с самого начала была проникнута антисемитизмом, но только — в отличие от Куприна — этого не скрывала. А мы и не заметили...

Впрочем, у такого взгляда уже есть некая традиция. Но до сих пор враждебность всей русской литературы евреям доказывалась только на примере гоголевского «Тараса Бульбы». Я и сам так думал (не о русской литературе, а об этой повести), хотя очень люблю Гоголя, — думал, пока недавно не перечитал. Оказалось, что все не так. Погром там действительно описан так, как говорит Жаботинский (с него-то и пошла традиция), но это не единственное зверство в этой повести. И по поводу каждого из этих зверств неизменно повторяется, что, к сожалению, это было в нравах того жестокого времени. То есть автор изображал погром отнюдь не потому, что это доброе дело, и отнюдь не одобряя его. Просто он не судил и не поправлял историю. Не судил даже то, что с позиций другого времени — не одобрял.

Но о Пушкине и Лермонтове в этой связи, похоже, не говорили. Их в этом смысле вводит в «научный оборот» только В. Левитина. Чувство истории ей здесь изменяет абсолютно. Могу ее уверить, что никакого отношения к евреям, ни плохого, ни хорошего, у обоих классиков просто не было. Можно их за это осуждать, но еврейского вопроса они просто не заметили (как не догадывались о нем в то время и русские евреи). Образы же эти романтически условны и соответствуют европейской (отнюдь не русской) традиции, то есть как раз традиции стран, где газоны подстригали успешно и регулярно.

И вообще реальные евреи тогда мало попадали в поле зрения русских классиков даже в быту. С Пушкиным — насколько мне известно — это произошло всего

два раза: в Кишиневе, где на похоронах местного епископа среди глазающего народа он заметил отдельную живописную группу, и еще много позже в Москве, в доме Нащокина, где какой-то выкrest очень потешно представлял в лицах «жидовскую школу». К первым Пушкин отнесся с любопытством, к последнему (хотя и очень смеялся) — брезгливо. Не из-за происхождения, а потому что потешал таким образом. Только и всего. Особого следа эти встречи в его сознании не оставили. И трудно представить, что могло быть иначе, чтобы он вдруг взял да задумался о положении евреев в Российской империи — это при крепостной зависимости существенной части коренного населения.

Впрочем, использует для своей концепции г-жа Левитина и имя Л.Н. Толстого. Оказывается, последний сам говорил, что еврейский вопрос для него стоит на 83-м месте. По-видимому, по мнению г-жи Левитиной, этот вопрос должен был стоять на первом месте. А с какой стати? Трудно сказать, точно ли определил Толстой место, на котором стоит для него еврейский вопрос. Оно и появилось, вероятно, при отражении чьей-то попытки заставить перенести его на первое место, но каждый, кто хоть немного знает о Льве Толстом, может вполне себе представить, что было много вопросов для него более важных, и от которых, по его мнению, зависела судьба всех, в том числе и евреев. Возможно, он и не прав, но, тем не менее, мне трудно понять, что именно не устраивает в Толстом В. Левитину. То, что он защищает не евреев как таковых, а «только» попранныю в отношении них справедливость? А почему и в каком смысле он должен был поступать иначе? Ведь он, собственно, и к самим русским относился так же — наверно, больше понимал, больше любил (все же Лев Толстой, а не Шолом-Алейхем), но относился так же... Да и вообще — так ли уж это содержательно — подвергать всю русскую культуру испытанию на юдофильство? Ведь и великий Достоевский, которому столько еврейских интеллектуалов поклоняется, не выдержит, окажется портящим «га-

зон» сорняком. Можно спорить, был ли он антисемитом (все же необходимость дать евреям «права» он признавал), но уж юдофилом точно не был. Но с чего г-жа Левитина взяла, что люди обязаны быть юдофилами? Обязаны они быть порядочными, то есть уважать не только свои права, но и чужие, обязаны быть справедливыми, то есть не требовать от других того, чего не требуют от себя — и все. Это все, что русская интеллигенция *обязана* была делать. И то, что она делала. И от чего не отрекается Курприн, даже в этом своем раздраженном письме.

Подтверждений тому, что русская интеллигенция относилась к антисемитизму с отвращением — тьма. Отголоски этого дошли и до нашего времени и приобретают иногда причудливые формы. В подтверждение приведу один разговор, случайным свидетелем которого я оказался. Его вели между собой два малоизвестных литератора еврейского происхождения, с которыми мы вместе выходили из издательства. Обсуждали они «вечный» вопрос о том, кто из литературных начальников человек относительно порядочный, а кто нет. Вопрос этот был вечный, репутации давно известны и устойчивы, и я почти не вслушивался в то, что они говорили. Но вдруг встрепенулся. Поначалу показалось, что ослышался, но нет, на самом деле — к числу порядочных людей мои спутники беспретпетно относили директора издательства «Советский писатель» Н. Лесючевского и редактора «Октября» В. Кочетова. Это определение было странным и по отношению к фанатику и певцу номенклатурных добродетелей Кочетову. Его так никто не определял, но можно допустить, что существует неизвестная мне шкала ценностей, позволяющая это сделать. Но ведь о Лесючевском было хорошо известно, что он стукач, способствовавший аресту, а то и гибели нескольких писателей. Как же он попал в порядочные? Может быть, все это неправда? Но нет, по-видимому, правда, но моих спутников она не интересовала. В их глазах оба эти деятеля были порядочны только потому, что не были антисемитами — брали на работу и евреев. Вот

так. Очень, я бы сказал, интеллектуально. Но меня сейчас интересуют не они сами и не их благодарность обоим монстрам (в конце концов, это их личное дело), а то, каким словом они эту благодарность выразили. Могли ведь просто сказать, что оба эти деятеля — не антисемиты, и были бы правы. А они «порядочные». Конечно, слово употреблено всуе, но почему именно оно? А потому, что это дошедшая до них (понаслышке, правда) традиция русской интеллигенции — считать антисемитизм проявлением непорядочности. И настолько представление о ней памятно и живо, что оба эти интеллектуала просто из виду упустили, что у порядочности есть и другие ипостаси. Игнорировать наличие этой традиции, как это делает г-жа Левитина, неблагодарно и неблагоприятно.

Впрочем, я уже сталкивался с такой тенденцией. На какой-то из эмигрантских вечеринок подошел ко мне вдруг один, говорят, крупный математик и стал требовать адрес В. Максимова — хотел выразить возмущение. Чем? А тем, что тот сказал где-то, что русская интеллигенция всегда защищала евреев. Мой собеседник искренне не знал, что это банальная истина, ибо гуманитарное образование получил на московских кухнях в период подготовки к отъезду. Другие «отрывались» (я уже привел пример, каким образом), а он принял то, что они говорили из стремления облегчить себе этот процесс, за чистую монету. У г-жи Левитиной такого смягчающего обстоятельства быть не может.

Впрочем, встречался я и с более просвещенной защитой этого взгляда. Другой математик (говорят, еще более видный и явно человек более образованный), вступаясь за своего коллегу, сказал мне, что, да, конечно, русская интеллигенция евреев защищала, но... Но все не так просто. Вот, например, американская интеллигенция негров защищает и еще как, но своими их не считает. Вот так и русская интеллигенция...

Думаю, что все это неверно и в отношении американской интеллигенции (опыт мой невелик, но в тех не-

многих компаниях, где я иногда бывал, негры ощущались своими (и положительно знаю, что это неверно и в отношении интеллигенции русской, — вероятно, и сама Левитина могла бы кое-что вспомнить на этот счет, вряд ли за десять лет все это исчезло). Дело в том, что люди вообще обязаны не быть юдо- или негрофобами, но юдо- или негрофилами они быть не обязаны. Я бы, например, не хотел, чтобы где-либо принимали меня (или то, что я пишу) из юдофильства и даже гуманности (разве что из милосердия в случае несчастья, в чем, как и в порядочности и справедливости, обязаны все перед всеми). А так — только из нужды во мне (или в том, что я пишу).

И меня вполне устраивает, что отвращение русской интеллигенции к антисемитизму было «всего только» отвращением к несправедливости. А справедлива ли сама г-жа Левитина? Например, к тому же Чирикову в его пресловутом «инциденте» с Шолом Ашем? В результате чего этот писатель, который по словам самой Левитиной, никогда — ни тогда, ни позже, ни даже «в годы реакции», как она выражается, не был антисемитом, — был им объявлен. И ее это не беспокоит. По ее мнению «инцидент» свидетельствует только об одном — в годы реакции и этот человек «качнулся». Надо полагать — в моральных ценностях. Меня такое отношение к делу *поражает*.

Ведь что он, в сущности, сказал? Что его рассказы посвящены глубинам русской жизни, которую критиковавшие его петербургские евреи плохо знают, и что по этой причине он предпочел бы иметь других критиков. Только и всего. А разве это неправда? Ведь дело тут не в происхождении, а в опыте: никто не может смело судить о том, чего не знает. В чем же он «качнулся»? А, может быть, качнулся не он, а те, кто упорно и мстительно, защищая свои амбиции, создавал хорошему человеку (выражаясь языком В. Левитиной — «одному из немногих друзей еврейского народа») позорящую тогда репутацию антисемита. Не очень это было хорошо. Не очень хорошо использовать отвращение интеллигентной публики к анти-

семитизму в качестве дубинки для поддержания чьих бы то ни было амбиций. Отвращение к несправедливости по отношению к кому-то не обеспечивает его правотой во всех его поползновениях. Здесь же правоты не было и в помине. Использование для защиты амбиций жупела «антисемитизма» некрасиво и само по себе, и потому что этот антисемитизм провоцирует (компрометируя отвращение к нему). Мне могут возразить, что тот, кто, поддавшись на провокацию, стал антисемитом, уважения не заслуживает. Возможно. Но и тот, кто его так провоцирует — тоже.

Кстати, это умение отличать вещи неприятные для твоей амбиции от того, что плохо вообще, тоже входит в комплекс, который можно назвать культурой личности, то есть подлинным приобщением к культуре. Патриархальная культура общежития исчезает, но отнюдь не всегда заменяется иной при приобретении «культурной специальности» и перемене быта. Человек теряет этическую ориентацию. Это одна из самых тревожных проблем нашего века, и хочется верить, что не симптом ее угасания, а только опасная болезнь. И имеет это отношение, конечно, не только к тогдашней России или к русским евреям — это мировое явление.

Но к части тех евреев, которые тогда входили в русскую культуру, это, безусловно, относится. Просто в отношении них это слегка затушеввалось «национальным вопросом», постыдным законодательством в отношении евреев, погромами и тому подобным. И реакцией на это явление. Явление это имело место, проявляясь иногда в самых неожиданных формах.

Одно из еврейских имен, произносимых с презрением Куприным, — имя балетного критика и, так сказать, «вообще интеллектуала» Акима Волынского. Не знаю, каким он был балетным критиком, не знаю вообще, что это за специальность, но знаю, что в «Сумасшедшем корабле» Ольги Форш он описан как существо вдохновенное, готовое с упоением проповедовать изысканные духовные ценности (или естественные в изысканном преломлении) ко-

му угодно. В принципе и при чтении романа мне этот огонь казался несколько бенгальским, но тогда у меня не было причин над этим задумываться. Появились они много позже, когда я читал мемуары Д.Д. Шостаковича.

Там был такой эпизод. Будучи студентом и отчаянно нуждаясь, начинающий композитор устроился на работу — играть на фортепиано во время киносеансов в кинотеатре, принадлежавшем Акиму Волынскому. Когда пришел «час расплаты», изысканный балетоман вдруг стал неуловим. Но Д.Д. все-таки настиг его где-то. Однако служитель муз не растерялся. Вместо того, чтобы извиниться и тут же отдать заработанное, он предпочел стать в позу и патетически спросить: «Молодой человек, любите ли вы искусство?». Молодому человеку после таких слов полагалось устыдиться собственной меркантильности и ретироваться. На то и рассчитана была патетика. Но балетоману не повезло. Данный молодой человек уже тогда лучше мэтра знал, что такое «искусство». Он не дрогнул, и адепту бескорыстного служения музам пришлось раскошелиться.

Нет, не о скупости я говорю. Скупость — качество хоть и не похвальное, но вечное, встречающееся во всех цивилизациях и среди всех народов. Здесь важно другое. Человек усвоил, что искусство — материя высокая, но ни разу не задумывался, что такое высота. А то бы, как минимум, иначе оформил свое нежелание расстаться с деньгами. Могу заверить г-жу Левитину, что Шостакович, рассказывая об этом эпизоде, уж точно никуда не «качнулся» — он просто не обратил внимания на «этническое» происхождение изысканного балетомана. Разумеется, в такой парадоксальной форме недостаточность освоения культуры проявляется не часто, но иные его формы тоже могут раздражать тонкое восприятие. Разумеется, такие люди встречались среди русских, но в этом случае противодействие им или неодобрение их не грозило навлечь на себя подозрение в антисемитизме.

Кстати, насчет изыска. Он вовсе сам по себе не означает приобщения к духовным высотам и душевной тонко-

сти. При соответствующей ориентации (а «серебряный век» ее давал) овладеть этой вершиной духа не труднее, чем при другой ориентации «социал-демократической брошюратинной». Ведь это тоже «передовое мировоззрение», от которого стыдно отставать. В области культуры это часто наиболее простой и короткий путь «из грязи в князи» (или удержаться в «князьях» без долгих оснований, но это уже о другом). Изыск вполне позволяет миновать при этом то, что Достоевский называл «выделкой» личности. Хочу снова подчеркнуть, культурной болезнью, о которой шла речь, были заражены отнюдь не одни евреи — она, например, один из истоков нацизма. Она, как уже говорилось, один из истоков многих бед XX века.

Но г-же Левитиной не до таких тонкостей. Ей нужно только одного — чтобы получилось, что в России «газон не вырос». При этом содержание аллегории варьируется. То этот газон символизирует собой только высшую степень юдофильства, и тогда она рассуждает о «чрезвычайной шаткости русской интеллигенции в еврейском вопросе». То она уже этим не довольствуется, а просто объявляет, что весь «ее (русской интеллигенции — *Н.К.*) гуманизм был “бумажным”, необеспеченным “золотом” — выстраданными убеждениями». Правда, говорит она это «только» о художественной интеллигенции, но каждый, кто имеет хотя бы поверхностное представление о роли хотя бы литературы и театра в общественной жизни России, не может не считать, что это относится ко всей интеллигенции. Да и гуманизм, не выстраданный, например, русской литературой (а ведь о ней речь) сам по себе производит впечатление... Опровергнуть это я считаю излишним или бесполезным — что одно и то же. Если сам образ русской литературы оказался тут бессилён, то где уж мне...

Но о «газонах» мне хочется поговорить. Странное сравнительное «газоведение» получается у г-жи Левитиной. Очень странное. Даже беглый взгляд на то, что происходило в мире со времен пресловутого инцидента «Шолом Аш—Чириков» до наших дней, должен бы сде-

лать любого осторожнее при сравнении различных газонов. Какие такие совершенные газоны, хотя бы триста лет ежедневно подстригавшиеся она может нам противопоставить? Хотя бы в смысле безупречности юдофильства — раз об этом речь. Я уже не говорю о Германии (а ведь тоже страна неплохая, не хуже других), но возьмем хотя бы Англию, страну без преувеличения одну из самых лучших. Она взяла когда-то мандат на Палестину с обязательством создать там еврейский национальный очаг. Как она его выполняла? А ведь сопротивление ее самоуправству ее искренне возмущало. А как во время войны ее бомбардировщики старательно обходили лагерные крематории — один раз только разбомбили по ошибке один из них, остановили на несколько недель машину уничтожения и спасли большое количество людей. Но ошибка больше не повторялась. А ведь это выпускники лучших ее университетов так решали. На фоне лучших в мире газонов. Нет, я отнюдь не утверждаю, что эти люди действовали из антисемитизма. Скорее всего, из государственно-патриотических соображений — чем больше нацистами будет уничтожено евреев, тем меньше их после войны хлынет в Палестину и тем легче будет положение Империи в этом регионе. В своих университетах — вот уже где газоны ухожены во всех смыслах — их обучили тому, что при принятии решений «эмоции» следует игнорировать. Вот они и смотрели на всех остальных людей, как на пешки и средства в игре, которую вели (и которую именно поэтому, если говорить об интересах Империи, проиграли; обмануться можно и в самых низменных расчетах). Впрочем, могло быть и другое соображение — боязнь бомбежками крематориев как бы подтвердить тезис нацистской пропаганды о том, что война ведется союзниками исключительно для спасения евреев и ими спровоцирована. С собственными «эмоциями» можно было, даже следовало не считаться, но массовые следовало учитывать как фактор. Кстати, и в массовых эмоциях дело было не столько в антисемитизме, сколько вообще в пронизавшем западный

мир благородном нежелании жертвовать хоть чем-то ради какой бы то ни было солидарности «за други своя» — то есть во имя собственной цивилизованности. Вспомним хотя бы толпы, встречавшие Чемберлена при возвращении из Мюнхена. Не в каждое сердце стучался пепел Клааса. И ухоженность газонов этому ничуть не мешала. Девиз «человека из подполья»: «Лучше миру погибнуть, а я буду чай пить» (в современной транскрипции: «Умри ты сегодня, а я завтра») был вовсе не так чужд сердцам многих «свободных» людей, и не только в Англии — хотя никогда не формулировался с такой обнаженностью (вероятно, тоже слишком «эмоционально»). Это было даже в те времена, а что говорить о нынешних!

Сегодня такое поведение опасно не только для «других», но и для самих себя — для собственной свободы, достоинства и просто жизни. И уже не опосредованно, как раньше, а вполне прямо. И тем не менее. Внимательному взгляду это видно было и из России, но тем, кто «отрывался», естественно, было не до того, чтобы всматриваться. Но, приехав сюда, следовало все-таки сначала оглядеться, а уж потом бухать во все колокола по поводу сравнительного качества газонов.

Подчеркиваю: дело тут не в самолюбивом «А они кто такие?», а в том, что, воспринимая все болезни века как исключительно российские, теряешь саму возможность что-либо понимать в нашей трагической эпохе. А это и плоско, и опасно. Кстати, в таком отношении к делу нет ни грани национального возрождения. Ибо столь абсолютная вера в ухоженность и превосходство зарубежных газонов — давняя традиция русской интеллигенции. Оплевать культуру, в которой вырос, гораздо легче, чем всерьез «оторваться» от нее.

А зачем вырываться? Никакой сионизм этого не требует, как не требует он дурного отношения к России. Даже такой последовательный националист, как Менахем Бегин, не стыдился говорить, что он полюбил Россию. А ведь он только и был в ней, что в лагере. Почему же нам

самим с такой яростью отталкиваться от нее? Ведь человек, который жил и воспитывался в русской культуре, а потом отказавшийся от нее, меняет ее не на новое качество, а на пустоту. Правда, таких людей мало. Полагаю, что и сама г-жа Левитина не такая. Была бы столь чуждой, не отталкивалась бы столь яростно. И столь нелепо.

Вот она возмущается Куприным за то, что он говорит о принципиальной чуждости любого еврея русской культуре и неорганичности его участия в ней. Безусловно, эти обобщения, даже если они основаны на опыте, слишком смелы и несправедливы. И даже оскорбительны. Например, для меня. Но при чем тут г-жа Левитина? Ведь она сама говорит: «Да, у каждого еврея всегда в душе «Сион», да, еврею русская литература не может быть близка, как русскому». А если «да», то зачем возмущаться Куприным за то, что он говорит то же самое? Или она полагает, что у него есть святая обязанность принципиально не замечать всего этого? Но ни у кого нет обязанности не замечать того, что видит. И тогда нет ничего удивительного, что его это раздражает. Культура, особенно литература, не терпит ландскнехтов. А тот, кто сам настаивает на своей двоюродности — не более чем ландскнехт. Культура не терпит двоюродности как неподлинности, как вторичности. И естественно, что это раздражает.

Да и нехорошо расписываться за всех. Я, например, ощущаю и считаю Россию своей родиной, и мне неприятно, когда за меня расписываются в моей принципиальной чуждости ей. Не меньше, чем когда меня пытаются отлучить от нее антисемиты на том же основании. Ко всем, кто так делает, я отношусь как к людям, посягающим на мою жизнь.

Но есть еще один аспект, еще более важный. Представляете, как воспринимаются подобные нападки на русскую культуру, такое объявление своей чуждости ей — там, дома, в России. Нет, не антисемитами — тех они только радуют, ибо неожиданно подтверждают то, что они всегда говорили. И даже не теми не очень стойкими людьми,

которые, оскорбившись, признают правоту антисемитов (а это будет, такие статьи — мощные стимуляторы того, что я называю «круговоротом зла в природе»), я о людях, с которыми мы дружили, которые нас от подобных обвинений защищали, — им ведь просто податься некуда в их и без того нелегкой жизни. Осторожнее надо бы «отрываться». Как говорится: «Не плюй в колодец...».

Впрочем, это еще один аспект. Ведь и вправду не стоит плевать. Другие пьют и будут пить из него — ведь это русская культура. Это — во-первых. А во-вторых, это сухое, риторическое отчуждение может исчерпать себя и для самой г-жи Левитиной. И когда начнет мучить жажда, колодец ведь и впрямь может «пригодиться — воды напиться». Впрочем, забота об этом последнем — дело хозяйское.

Сквозь соблазны безвременья

Невозможно говорить о судьбе и поэзии Александра Сопровского, как и о судьбах и поэзии его сверстников, нынешних тридцатилетних, не затронув широкий спектр воздействий тоталитаризма на искусство. Это не так просто. Ибо тоталитаризм воздействует на искусство не только прямо, что очевидно, но и косвенно, что уже не так очевидно.

Косвенные последствия — это соблазны, порожденные давлением власти и закрытостью общества. Соблазны эти опять-таки далеко не всегда направлены к оправданию сервилизма и конформизма (таких соблазнов тоже сколько угодно, но речь сейчас не об этом), накладывают они свой отпечаток иногда и на тех, кто, так или иначе, противопоставляет себя существующему давлению. Но и во втором случае это связано с упрощенным решением ложной, почти неразрешимой духовной ситуации, с построением упрощенной системы ценностных координат для ориентировки. Хотя выглядят эти построения чаще очень сложно и изысканно — в том и соблазн. Это далеко не всегда вина, иногда — только беда, ибо время почти не оставляет другой возможности, жизнь и все ее ценности «не даются», расплываются под руками, воспринимаются как выхолощенная абстракция. И не удивительно, что хочется схватиться за что угодно — лишь бы увидеть в своей жизни и в своем

творчестве хоть какую-нибудь ценность и смысл. Легко, например, исходя из того, что искусство связано с вечностью, забыть, что эта вечность может быть увидена только в современности, и начать многозначительно выдавать эту «вечность» километрами, игнорируя эту необходимость *увидеть*, игнорируя, в сущности, сам акт творчества. Можно, наоборот, исходя из того, что искусство невозможно без непосредственности, ограничиваться культивированием сиюминутных ощущений самих по себе (а не только в тех случаях, когда через них выражается нечто менее случайное, нечто большее, чем скрыто в сюжете, — откровение поэзии). А раз так, то можно заниматься чем угодно — даже упоенным (а потому и не трагическим) самооплевыванием, смакованием низости и безысходности жизни: противно, но зато, правда, и самовыражение своей неповторимой личности налицо...

Сущность ошибки проста. Усвоили, что личность ценна и неповторима сама по себе, что ее самовыражение есть основа творческого процесса, но упустили, что сам факт рождения и наличия физиологических отправления еще не возводит каждое человеческое существо в ранг личности, тем более личности творческой, поэтической. Соблазны эти действуют не только непосредственно на авторов, но и опосредованно на часть читателей — тоже стремящихся причаститься к высокому без особых усилий, так сказать, получить Царствие Небесное за сходную цену. В том-то и вред соблазна, что он дает иллюзию духовной победы, когда ее нет, и заслоняет подлинные, но труднодоступные вершины, к которым следует стремиться, что он, по существу, лишает человека подлинных духовных достижений и переживаний всего, что может дать ему искусство. Вкус — вовсе не такая случайная и безобидная вещь, как многим кажется, это выражение сущности человека, его представления о жизни и ее ценностях. Или подмена всего этого. Ложный вкус — ложная жизненная ориентация. Разумеется, во все времена встречаются люди, предпочитающие хождение на котурнах и возвышающиеся от этого даже в собственных глазах. Ибо

их задача — не преодолеть ограниченность времени или бытия вообще, а придать многозначительность и респектабельность своей собственной, прежде всего, душевной ограниченности. Но в поколении, к которому принадлежит Александр Сопровский, этим соблазняются и люди, способные на большее. Просто потому, что время, когда они формировались, почти не оставляло им иных выходов.

Теперь я говорю «почти», а еще недавно вполне обошелся без этого уточнения — ибо в возможности молодых поколений (конечно, в исторические, а не в природные) вообще не верил, считал, что им не на чем формироваться. И думал так я уже довольно давно. Даже столь обрадовавшее меня появление в поэзии Олега Чухонцева и Александра Кушнера уже было для меня неожиданностью. Но это не поколебало моей печальной уверенности — просто оказалось, что смена поколений произошла чуть позже, чем я поначалу предполагал. То, что мне потом приходилось читать (безразлично, в «Днях поэзии» или эмигрантских изданиях), только подтверждало в моих глазах мою правоту. Так называемая «вторая культура» воспринималась и воспринимается мной как «вторичная», подражательная — пусть часто ее авторы подражают не техническим приемам, а побудительным импульсам, представлению о искусстве и художнике: подражание ведь плохо не тем, что угадывается оригинал, а отсутствием подлинности. Короче — ничего другого, кроме этой «второй культуры», я от молодого поколения и не ждал. И ошибся. Знакомство мое с творчеством Александра Сопровского и некоторых его сверстников (Бахыта Кенжеева, Вероники Долиной* и др.) и заставило меня ввести в свои рассуждения это «почти». Русская культура оказалась даже еще более живуча, чем я предполагал.

*Вероника Долина — автор и исполнитель лирических песен. Она, по-видимому, почти не публикуется, но много выступает и как будто несколько не запрещена. Этим я опять хочу напомнить, что суть не в запрещенности.

А преодолеть этим молодым людям пришлось многое — всю толщу безвременья. Подумать только, в 1968 году, когда наши танки вторглись в Чехословакию, когда для старших поколений практически было все кончено, Саше Сопровскому только минуло шестнадцать. Для него и его сверстников все только начиналось. Здесь трудно и не совсем уместно говорить о том, что именно наполняло в разные периоды жизнь старших. Пришлось бы начинать с оцепенения сталинщины, а потом подробно рассказывать, как постепенно легализованная вера в «подлинный» и «идейный» коммунизм столь же постепенно уступала в наших сердцах место осознанию иных, неотрывных ценностей, как постепенно становилось ясно, что преступной была не только сталинщина, хотя с ее уникальностью в этом смысле спорить не приходится, но и сама большевистская революция, романтика которой нам — иногда осознанно, иногда нет — противопоставлялась в течение многих лет господству сталинской бессмыслицы и была единственным духовным достоянием нескольких поколений. Более того, оказывалось, что ее воплощение — «подлинные коммунисты» — ответственны не только за свои собственные невероятные nepотpeбcтвa, но и за воцарение Сталина, навязанного народу именно ими — как в процессе внутрипартийной борьбы, так и в страхе потерять единство своей заговорщицкой террористической партии. То, что это единство потом повернулось против них же самих, подменив и уничтожив их, — ничего не меняет. Это было только просчетом в преступных расчетах, причем таким просчетом, за который расплатились (да и расплачиваются до сих пор) не они одни. Все эти откровения сопровождались надеждами, что Россия постепенно становится «нормально-плохим» государством, озабоченным собственным существованием. В связи с этим на первый план выходили вечные проблемы бытия, духовного наполнения и оправдания жизни человека и общества. Судьба страны, даже судьба и история революции не переставали из-за этого интересоваться и волновать нас, не те-

ряли для нас своего значения, но воспринимались и рассматривались в ином освещении — с точки зрения интересов самой жизни, ее богатства и ценности, а не с точки зрения соответствия интересам мифической конечной цели. Я и теперь считаю такое отношение единственно верным и плодотворным для литературы и для культуры вообще. Но все это сопровождалось и оправдывалось надеждами на нормализацию жизни, на ее нормальную трагичность.

Собственно, в таком отношении не было ничего особо оригинального, это было подтверждением банальных, не нами открытых истин. Но истин, поставленных под сомнение, а то и как бы вовсе отброшенных не только властью, но и изнасилованным общественным сознанием. Содержанием нашей жизни были не столько сами эти мысли, сколько путь к ним, пафос их восстановления из развалин, по-новому открытое и потому обостренное чувство их необходимости и притягательности. В сущности — это вечное содержание, вечный сюжет искусства — открытие этих вечных банальных истин, выход к ним каждый раз из других исторических обстоятельств, мешающих их постижению. Наше время отличается только тем, что на пути к их постижению возникают помехи, не только создаваемые самой стихией жизни, но и централизованно насаждаемые властью. И если был в нашей жизни период, когда казалось, что эти дополнительные помехи скоро начнут исчезать, то 21 августа 1968 года он кончился, и все связанные с ним расчеты оказались построенными на песке. И как не посочувствовать тем, кто только начинал тогда жить, мыслить и чувствовать...

Тем, у кого были надежды, а потом исчезли, было все же легче. Крушение надежд еще отнюдь не означало, что всё открывшееся им в связи с этими надеждами, — то есть значение неотрывных ценностей и иллюзорность «конечной цели» — потеряло смысл. Более того, для тех, кому он открылся, он мог оставаться мощнейшим творческим импульсом и в эпоху безвременья — успехи «дере-

венской прозы» говорят об этом достаточно ясно, а это не единственное, что продолжало жить в подцензурной литературе.

Речь ведь не о возможности печататься, а о возможности писать. Это не всегда совпадает. В сталинские времена возможности печататься почти не было, но, как известно, большие поэты и прозаики: Ахматова, Мандельштам, Пастернак, Булгаков, Платонов — продолжали писать, а кроме того начинали всерьез писать и более молодые авторы — хотя далеко не все их имена и произведения дошли до нас. Времена были страшные, но ощущение важности жизни и важности творчества не проходило. И какими-то незримыми нитями оба эти ощущения были связаны между собой — при любых политических взглядах, любой стадии развития общественного самосознания после Сталина, любом отношении к происходящему. После 21 августа 1968 года (а этой датой только завершился процесс дискредитации надежд на нормальную жизнь) серьезное отношение к жизни — особенно для молодого поколения — стало выглядеть анахронизмом.

Молодые люди уже все знали. Знали, что коммунизм — фикция, что ценности незыблемы, что возможности жизни ограничены. Последнее даже породило целое направление в поэзии, радостно и гордо проникнутое духом смирения. Смирение — высокое и мудрое отношение к бытию, и я ничего против него не имею. Более того, я сам стоял у истоков современного увлечения им и несколько об этом не жалею. Но, как справедливо отметила в сатирическом стихотворении, опубликованном в «Литгазете», Новелла Матвеева, в поэзии тема смирения интересна только тогда, когда автору есть что в себе смирять и когда то, что он смиряет в себе, достаточно значительно. Тогда стихи, исполненные смирения, напряжены и драматичны, волнующи. Но авторы, высмеянные Новеллой Матвеевой — а таких много не только в «конформистской» (то есть опубликованной в СССР) литературе, — этот этап пропустили, прямо начали с умудренности. Ко-

нечно, они верно понимали, что без ценностей нет искусства, а смирение — ценность. Но одного сознания, что ценности для искусства необходимы, — мало. Производство искусства только тогда живо, эти ценности только тогда в нем *существуют* (то есть воспринимаются остро и непосредственно), когда они в процессе творчества (в том он и состоит) добыты из жизни, отвоены у энтропии, у хаоса, у небытия. Как ни крути, а творчество — даже по форме самое шутливое — требует от художника серьезного отношения к жизни, своей и общей, заинтересованности в ней. А это в свою очередь требует хотя бы минимальной веры в свою способность хоть как-то повлиять на ее ход, веры в оправданность своего интереса к ней. Я был уверен, что жизнь не дает ни малейшего основания для такого самоощущения.

Тоталитарная власть — это ведь не просто власть — это порядок вещей, имитация жизни. К тому времени, когда новое поколение подросло, порядок вещей был полностью дискредитирован. Это понимала вся мыслящая часть общества, и ощущали вообще все. Между тем, этот порядок вещей продолжал господствовать, требовать верности и поклонения, возводил это в естественную обязанность, требовал ежедневно хотя бы делать вид, что для тебя это так, — короче, хватал за горло, как мертвый живого. Что оставалось делать? Доказывать, что советская власть никуда не годится? Но, кроме того, что это было опасно, это еще означало ломиться в открытую дверь: все это было уже к тому времени передумано, пережито и даже высказано, и вправду превратилось в банальность. Но существовать и держать за горло от этого не перестало.

А жить-то ведь чем-то надо. Как тут не ухватиться за те соблазны, как не начать во имя «обобщения» просто игнорировать непреодолимую ситуацию, не начать кокетничать цинизмом, не заняться бессмысленным самовыражением? Я был убежден, что других выходов для этого поколения (я не говорю о политическом диссидентстве) — просто нет. Оказалось — есть.

II

Александр Сопровский обратил на себя мое внимание еще первыми своими стихами, напечатанными в общей с его друзьями подборке «Континента». Правда, внимание неуверенное — стихи могли быть и случайной удачей. Но его статья «Конец прекрасной эпохи» («Континент», № 32), а затем уже и большой цикл стихов («Континент», № 33) ясно показывали, что удачи эти не случайны, что за всеми удачами и неудачами стоит напряженная и богатая внутренняя жизнь, внутренняя работа, очень серьезная и ответственная, — настоящая. И что поэтому его отношение к поэзии лишено каких бы то ни было следов гениальничанья, еще недавно столь распространенного в «молодой» литературе. Статья эта — яркое тому свидетельство. Она не оставляет сомнения в том, что Сопровскому свойственно не только стихийное проявление вкуса (что отнюдь не малость), но и осмысленное понимание его сути. Он этим как бы тоже вырывается из безвременья, противостоит расплывчатости, необязательности и неопределенности его «стиля». Но все же следы кружковости, кружковая логика и амбиции, нет-нет, а дают себя почувствовать в этой статье.

Я хочу, чтобы он быстрее от этого освободился, но не сужу его за это. Долгое существование в кружках не может не иметь последствий, но в наши дни это существование в кружках — не вина, а беда. В эти кружки (дружеские, творческие, но никак не политические, как хотелось бы жаждающим деятельности следопытам из КГБ) молодых людей (и отнюдь не худших) загоняло время. Собственно, такие кружки творческой молодежи возникают всегда, ибо на первых порах творческая молодежь часто нуждается в тесном общении. Отличие современных кружков от обычных только в какой-то их безысходной долговечности — из них не было выхода в литературу. И не только потому, что у каждого из этих молодых людей, вероятно, есть стихи, выходящие за грань допущенного

(такие произведения часто есть и у тех, кто в фаворе у властей), а и просто из-за коррупции. «Маститые», сидящие в редсоветах издательств и редколлегиях журналов, руководствуясь нехитрым принципом: «ты меня, а я тебя», печатают только друг друга, благо в СССР заработок писателя зависит от факта издания и от его тиража, а никак не от того, насколько его книгу покупают и читают отдельные граждане. Ясно, что молодые писатели в эту «систему» трудно вписываются и что она тоже порождает у них невеселые мысли и, в свою очередь, тоже выталкивает их куда-то в сторону — опять-таки в «свой круг». Разумеется, я говорю о писателях, то есть о людях, мечтающих что-то сделать в литературе, а не просто желающих печататься любой ценой и видящих в этом свое назначение. Но чем бы ни объяснялась эта кружковость, как бы она ни была оправдана, воздействие ее на развитие культуры не может быть только положительным. Она создает кружковую логику, постепенно и кружковую систему ценностей. Самодовольство «кружковых гениев» тоже связано с ней. Вне обмена с жизнью, почему же не быть гением? Тем более что ты такой хороший и чистый: отвернулся от всякого «официоза» и работаешь лифтером. К тому же и силами не надо ни с кем меряться — в лифте-то. Отворачиваясь от «официоза», молодые люди часто отворачиваются вообще от старших, ибо те «не свои», а значит, и от их опыта — иногда ценного, в целом или в части, — от их судьбы: надежд, заблуждений и поражений, от истории... Эта повышенная прокурорская требовательность к другим приводит к снижению требовательности в «своем кругу»: все равно лучше «официоза»...

Печать таких представлений и привычек лежит и на статье Сопровского, хотя в принципе она, главным образом, против них и направлена. Поэтому она и производит на меня странное впечатление: соглашаясь с ней в целом, я не согласен ни с одним ее определением, ни с одной констатацией. Даже то главное, против чего выступает автор, я не назвал бы, как он, ни иронией, ни паниронией. В иро-

нии всегда есть и некое «положительное начало», она похожа на обманувшуюся любовь и ничего не имеет общего с тем разлитым морем самоупоенного нигилизма, против которого выступает автор и которому по природе дарования, судя по стихам, был чужд всегда. Хоть, может быть, не всегда это так ясно сознавал. Теперь, видимо, накипело. И как бы он ни определял и констатировал, предмет его атаки ощущается весьма ясно, и этой атаке нельзя не сочувствовать. Вообще, в этой статье он во многом идет против «своих». Например, против рассудочной аполитичности, иначе говоря, против игнорирования того, как живет и дышится. Нет, он отнюдь не становится от этого «политиком». Как не были «политиками» Ахматова, Мандельштам и Пастернак, в поэзии которых Александр Сопровский тоже, и вполне справедливо, находит элементы гражданственности. Но отнюдь не той, что мыслит себя важней поэзии. Некрасовские слова «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан» — неточны и опрометчивы, поскольку обращены к поэту. А так — безусловно, не все люди обязаны быть поэтами, а гражданами — хотя бы теоретически — все. Но если ты не поэт, то и не надо говорить о тебе в связи с поэзией — только и всего. Но слова эти обращены именно к поэту. Однако А. Сопровский говорит о другой гражданственности — о той, без которой в наше время не смогли обойтись даже Мандельштам и Ахматова, о той гражданственности, без которой невозможно быть никаким, даже самым «лирическим» поэтом. Он не произносит скомпрометированного — особенно в его кругу — слова «гражданственность», но говорит именно о ней. И это очень симптоматично и даже радостно. И то, что он чувствует, плохо укладывается в язык неизжитых им еще, по-видимому, кружковых представлений. Это бунт против кружковой логики, но на ее языке. А иначе — не было бы, как я думаю, никакой необходимости строить эту статью на полемике с М. М. Бахтиным. Вовсе не на Бахтина опирается то, что автору не нравится в «нонконформистской» литературе, даже если кто

и прячется за его формулами. И вовсе не так уж анахронично понятие «просто писатель», защищаемое Бахтиным, вовсе не следует отдавать его в полновластное владение имитаторам. Каждый хороший и живой писатель — прежде всего «просто писатель». Конечно, сегодня отношение «просто писателя» и к жизни, и к творчеству несколько иное, чем во времена Толстого. И Сопровский прав, когда пишет: «Можно было бы — с чисто культурной точки зрения — счесть эти обстоятельства (речь идет о тотальном давлении — *Н. К.*) внешними, но степень этих невзгод такова, — и в этом суть дела, — что они не только пронизывают собой во всех направлениях современный быт, но — в этом заключается принципиальная особенность — посягают на самое душу. И не только твою, а и твоих близких, друзей, единомышленников. Поэтому «отвлечься» от этих обстоятельств означало бы отвлечься от собственной совести». Это абсолютно верно. Но откуда следует, что «просто писатель» должен от всего этого отвлекаться — особенно в таких обстоятельствах? Ведь «отвлечься» в данных обстоятельствах — значило отвлечься не только от совести (кстати, к совести апеллировали и прагматисты шестидесятих годов прошлого века, отрицая, в сущности, искусство), но и вообще от собственного восприятия, от собственной реальности, от себя самого, от всего, без чего просто не будет упомянутого «просто писательства». Ведь спокон веку для того, чтобы быть «просто писателем», надо было быть причастным к чему-то высокому и всеобщему, к красоте, к гармонии, к мировому духу — как хочешь, так и называй. Отсюда и все его внутренние коллизии — коллизии этой причастности в реальной жизни. Творчество — это, конечно, самоутверждение, но самоутверждение не особи, а личности*, человеческого

*Это точное противопоставление терминов «личность» и «особь» взято мной из статьи А. Назарова «Национальное возрождение — насущная необходимость» («Вестник Р.Х.Д.», № 135), точной далеко не во всем.

духа. По-видимому, А. Сопровский и сам понимает это: «Это (то, о чем говорится в предыдущей цитате, — Н. К.) не может не сказаться на внутренних особенностях творчества. Оно с неизбежностью окрашивается в тона бушующих вокруг невзгод. Можно и нужно силою духа отталкиваться от этих условий, но ведь и сама сила духа — она проявляется в этих условиях, по контрасту с ними, вопреки им». Все правильно, но ведь это и есть задача «просто писателя» — оставаться самим собой среди всего этого, помнить и проносить свое вопреки всему этому, воспринимая, противостоя, не растворяясь. То, чего требует А. Сопровский, — это и есть «просто литература», но «просто литература» очень непростой эпохи.

Мне очень симпатичны поиски и направленность Сопровского, его стремление противостоять обстоятельствам самой поэзией, понимание, что иных путей у нее нет. Но, приписав все, что он не любит, «просто писательству», он заходит в своей полемике слишком далеко, куда вряд ли хочет зайти: «С интимностью, немислимой для “просто писателя”, обращается к своей нищенке-подруге Мандельштам:

Мы с тобой на кухне посидим,
Сладко пахнет белый керосин...

Эти стихи невозможно почувствовать с точки зрения “просто литературы”, нельзя понять как “текст”. Разве в тексте не резанет поначалу дурацкая рифма “посидим-керосин”, а под конец не раздражит инфантильной сентиментальностью пожелание “...уехать на вокзал, где бы нас никто не отыскал”?» Не знаю, что подразумевает А. Сопровский под ученым словом «текст». Рассматривают стихотворения (или что угодно) как тексты только различные лингвистические школы. Насколько мне известно, тексты ими не «чувствуются», не «воспринимаются», а только «изучаются». И изучаться в качестве «текста» может что угодно без различия смысла и качества. И

независимо от принадлежности к «просто литературе» или какой-либо иной. Понадобится ли им для изучения это стихотворение Мандельштама — это их дело. Мы же можем говорить только о стихотворении, об одном из самых лучших и живых стихотворений в русской поэзии. Вполне возможно, что вне стихотворения рифма «посидим-керосин» может показаться дурацкой, а желание затеряться на вокзале — инфантильным. Просто потому, что стихотворение — организм, все элементы которого органически дополняют и освещают друг друга. Но в полемике с «просто писательством» Сопровский забывает об этом. И оказывается, что вообще, если воспринять это стихотворение как произведение «просто литературы», то — «замкнутая на себя в тексте интонация этих стихов умрет; она строится в расчете на активное сопереживание слушателя, на «узнавание» общей атмосферы — жутко-тревожной атмосферы, охватившей всю страну и сплотившей подспудно лучшую часть ее народа».

Я думаю, что А. Сопровский ошибается. Ведь если интонация какого-либо стихотворения прямо или подспудно рассчитана на «узнавание» особых обстоятельств, которые ее породили, то, следовательно, вне этих обстоятельств она не может ни восприниматься, ни вообще существовать. Практически это означает, что чувство, лежащее в основе этого стихотворения, — не воплощено, то есть задача художника не выполнена. Если стихотворение перестало существовать спустя срок, значит, оно было недоброкачественным с самого начала, а держалось на допингах, таких, как «узнавание» и «сопереживание» (под сопереживанием здесь, по-видимому, понимается сходный опыт, ибо в обычном смысле оно не условие, а результат понимания произведения). Думаю, что подлинное произведение, наоборот, воскрешая высокую духовную коллизию, в значительной степени воскрешает и коллизию душевную, а через нее и обстоятельства, с которыми она органически связана. Но несогласие с теоретическими взглядами автора в данном случае не уменьшает сим-

патии к тому, чем он озабочен. В том, чем он озабочен, Сопровский — прав. Игнорировать современность нелепо, ибо вечность без нее — фикция, а всякая попытка пробиться через современность к вечности — даже если по историческим или личным обстоятельствам это не вполне удастся — работа. Что-то она, наверно, дает и современникам (в стремлении к вершине есть уже хотя бы напоминание об ее существовании, то есть что-то от поэзии, хоть и не настоящая ее победа), но, кроме того, это путь, по которому более удачно потом пройдут другие. В сущности, А. Сопровский защищает подлинность против профанации. Хоть, делая это, старается не отрываться от кружковых представлений. Жаль.

Эти представления и комплексы проявились в статье и в том разоблачительном пафосе, с которым он говорит о военном и послевоенном поколениях русской поэзии, в навязчивом стремлении доказать, что они ни в коем случае не дали «бронзового века», как многие полагают. Эта проблема меня не интересует: людей, претендующих на это, я среди своих сверстников не встречал, самому мне тоже не до того — я ведь и от «серебряного века» не в восторге, на что мне еще и бронзовый. Но думаю, что путь, пройденный моим поколением, требует иного отношения. И уж никак не следует его помещать в узкое пространство между «громким» Евтушенко и «тихим» Куняевым. Ибо именно это поколение проделало обратный путь от прострации сталинщины через восстанавливаемую с трудом большевистскую идейность к нормальным ценностям, к той внутренней свободе, с высоты которой и судит его сегодня столь размахисто А. Сопровский. Я не спорю, сохранять эту свободу в сегодняшних условиях совсем не просто и часто неудобно, но прежде, чем ее сохранять, надо было ее обрести. Ибо она — особенно в наших условиях — не нечто само собой разумеющееся. И вовсе перед нами не стоял простой выбор между добром и злом, как сейчас, и мы вовсе не выбирали сознательно зло или сервилизм. И даже желание самим стать официозом, о котором столь разоблачительно упоминает

автор статьи, — часто вовсе не было сервизмом, а только одним из наивных заблуждений на пути если не к истине, то хотя бы к освобождению. И над концом «прекрасной эпохи» не стоит так уж иронизировать. Действительно, был период, когда казалось, что жизнь нормализуется, и выходят на авансцену обыкновенные, «вечные» проблемы бытия — по ошибке приоткрылось окошко в вечность, и она вдруг стала осязаемой, реальной. Потом оказалось, что было не до вечности, что душные, хоть и сиюминутные ветры современности быстро захлопнули окошко, мутными тучами заслонили вечность. Но все же то, что мы увидели, осталось с нами и как-то перешло к новым поколениям, которым, к слову сказать, именно из-за этого почти неуместного знания не всегда уютно на этой земле. Но тут уж ничего не поделаешь. Разумеется, я опять-таки говорю не о сервизистах — среди нас их тоже было пруд пруди, — не о тех, для кого литература была только способом богатой и светской жизни (в СССР писатели и впрямь нечто вроде сословия), а о тех, кто хотел что-то в ней сделать. Разумеется, ни одно поколение не может решить все вопросы, которые встанут перед следующим, но все же кое-что из сделанного нами новым поколением усвоено, хотя и воспринимается им как нечто само собой разумеющееся. Между тем, отвоевать эти простые истины у дьявола было ох как непросто. И самое нелепое — это обвинять какое-либо поколение в том, что оно не начало с того, к чему оно пришло в конце и с чего следующее начало. Конечно, не всегда хватало самостоятельности, конечно, путались в трех соснах, но, как мы видим, и свобода мысли не освобождает от этого. Люди, готовые легко свой родной конформизм обменять на чужой, западный, воспринимая кризисные явления как достижения духа, — явное тому доказательство. А их немало. Тем и ценна статья Сопровского, что выступает против «своего», «нонконформистского» конформизма — за возврат к живому восприятию современности, к живому «требованию от бытия смысла и красоты» — короче, к живому творчеству.

III

Впрочем, знакомство с его стихами убеждает в том, что сам он от этого живого творчества не уходил никогда — во всяком случае, очень давно, во все периоды, доступные нашему наблюдению. Но это отнюдь не значит, что весь его путь состоит из удач. И дело совсем не в том, что ничей путь в литературе и в жизни не бывает отмечен одними удачами — речь идет о неудачах не случайных, а обусловленных ситуацией. И не о частностях исполнения.

Хотя и тогда бывает, что в хорошем и точном стихотворении вдруг встречается абсолютно не соответствующее его уровню неточное, размашисто-»поэтичное» слово. А такое встречается. Вот, например, первое четверостишие одного хорошего стихотворения:

Погода. Память. Боль.
Душа, отстойник боли,
С похмелья поутру брезглива и строга.
Теперь не до зимы. Знать не по доброй воле
Застали нас врасплох ноябрьские снега.

О чьей «доброй воле» идет речь — о «нашей» (то есть автора и его друзей) или снегов? По «нашей» застать нас же врасплох физически невозможно, а насчет воли снегов тоже все выглядит странно. По точному смыслу снега застали нас врасплох не добровольно — вроде хотели предупредить о себе, да не смогли. Я не иронизирую над «волей снегов» — в лирических стихах она вполне возможна. Но в четверостишии и намек нет на внутреннюю драму снегов. Это «нам» не до зимы, а не им.

Конечно, можно как-то догадаться, что речь идет здесь вообще не о чьей-либо добровольности, а просто о некоей воле, недоброй по отношению к «нам». Но поскольку смысл устойчивого словосочетания «по доброй воле» здесь почему-то игнорируется, сила «удара» ослабляется, точное движение стихотворения разбивается, оно рас-

плывается, по-пустому озадачивает. А ведь так легко было поправить. Для примера хотя бы так — заменив утверждение вопросом: «По чьей недоброй воле / Застали нас врасплох ноябрьские снега?» (конечно, я здесь не даю советов, а просто пытаюсь точнее определить характер неточности). Впрочем, неточное словоупотребление не соответствует характеру дарования и творчества А. Сопровского. Неточности у него потому так и выбиваются из строя, что этот строй существует. Но они вполне соответствуют духу безвременья, тому расплывчатому и необязательному самоощущению и самосознанию, которые с этим безвременьем связаны. Такая «поэтика» встречается, конечно, и в другие времена, но только в эпохи безвременья она начинает занимать господствующее положение. Такие огрехи говорят не столько о поэте Сопровском (о нем речь впереди), сколько об обстановке, в которой он живет. Неужто не нашлось никого, кто счел бы нужным сделать это бесспорное замечание? Ведь этот огрех так легко устраним. И ведь касается это замечание не основ творчества, а только того, что А.Т. Твардовский называл «малыми секретами мастерства».

Но все это больше относится к условиям жизни Сопровского, чем к его творчеству. Его неудачи, о которых шла речь раньше (и о которых стоит говорить только для того, чтобы лучше понять его путь к удачам, вернее — к победам), связаны отнюдь не с «малыми секретами» — с ними, несмотря на некоторую недисциплинированность, у молодого поколения как раз все в порядке, — а с более серьезными причинами.

И дело тут не в огрехах, а во внутренней незавершенности. Не в том, что возникающая интонация пропадает, а в том, что она провисает из-за того, что ей нет надлежащего эмоционального обеспечения. И не потому вообще, что автору недостает таланта или личности, что в стихах «нет чувства», а потому что эти чувства не обретают крылатости (символисты говорили: «полетности») по, как говорят марксисты, «объективным условиям». В том

и состоит заслуга А. Сопровского (как и некоторых его ровесников), что он эти условия преодолевает. Но это очень трудно — погрузиться в духоту современности и все-таки выплыть к вечному небу. Гораздо проще (и «поэтичней») парить под этим небом, ни во что не погружаясь — незаметно и красиво минуя самый процесс творчества. Или, наоборот, — вовсе не вырываться из этой духоты, а гнить в ней, тыча всем в нос соответствующие ароматы как доказательство собственной смелости и правдивости. Конечно, и эти дороги не ведут в СССР к внешнему успеху (особенно вторая), но к некоторому обманному самоудовлетворению. По слухам (в общем, ложным) на передовом и свободном Западе такое искусство в чести. И то, что такие, как А. Сопровский, выбрали другой путь, меня очень радует. Конечно, не поэты выбирают пути, а пути — поэтов. Но поэты в иные эпохи могут и не распознать своих путей, поверить не себе, а глушению (впрочем, может, это говорит о том, что они изначально не настоящие — кто знает?). Но с Сопровским этого не произошло. Имитацией творчества он никогда не занимался.

Конечно, и правильно выбранная (или выбравшая) дорога не спасает от неудач. Но неудачи такого рода, в отличие от других, не бессмысленны. Они все равно — проделанная работа, накопленный опыт «эстетического освоения действительности». По этому пути, так или иначе, все равно пройдут другие, и им твой опыт, как он ни индивидуален, пригодится. Такое творчество — штурм высоты, которую взять необходимо, но не удалось, а удалось только закрепиться на склоне. Это порыв в правильном направлении, но недостаточный для преодоления плотного сопротивления ситуации («материала?»). Порыв этот поэтический, но недостаточно реализованный. Для тех, кто рядом, он может выглядеть и реализованным, удовлетворять потребность в поэзии — но это пока длится «узнавание сопережитого» (выразимся так). Взять высоту нужно (искусство требует побед полных и окончательных), но закрепившийся на склонах высоты все же тоже что-то ес-

ли не сделал, то делал. Как, например, Сопровский в приво-
димом стихотворении:

Жизнь обрела привычные черты,
Что было нужно — за день перебрала.
Застольный шум, а посредине — ты:
Слегка царишь, но выглядишь устало.

Следующие четыре строки мы временно пропустим,
течения это не нарушит. Дальше:

О, Господи, как фантастичен быт!
Искривлены смеющиеся лица.
Кто с кем тут рядом и зачем сидит,
На что озлоблен и чего боится?

Хозяюшка, отсюда не взлетишь.
Оскалит рот смеющаяся вечность.
Погасишь свет и ясно различишь
За окнами таящуюся нечисть.

И вправду мир покажется тюрьмой,
Дыханье — счастьем, и прогулка — волей.
Что с нами происходит, Боже мой,
На этом самом жутком из застолий.

Март. Ночь. Москва. Гостеприимный дом.
Отменный спирт расходуется по кругу.
Хозяйка, слушай, а за что мы пьем,
Зачем мы здесь и — кто мы все друг другу?..

На время оборву цитату. Нравятся ли мне эти строки? Пожалуй, — несмотря на все, сказанное выше, — да. Они несут напряжение, выразительны, чувствуется, чем автор взволнован, и это волнение для нас оправдано. Ощущение усталости и пустоты, усталости от пустоты, незаконности и неоправданности такого существования — вещь, может быть, и неоригинальная после Блока, но ведь любовь и смерть — вещи тоже не слишком оригинальные,

однако трогают. Это пустота сегодняшней грозной повседневности: то, что внутри гостеприимного дома вполне дополняется и определяется тем, что таится за окном. Мрак за окном лишает смысла и противопоставленный ему «круг друзей». Дружить почти не для чего, нечем скреплять дружбу — смысл общения потерян. Все это чувствуется, этому сочувствуешь (только вот излишне называть это застолье «жутким», и без этого слова ясно, что там не хорошо). Возможно, во всем этом есть и некая толика поэзии, в самом неприятии такого положения, в том, что стоит за ним, но этого еще недостаточно, чтобы отлиться в форму, начать существовать отдельно от ситуации. Какая-то точка обзора нужна для этого, расположенная чуть выше ситуации, эмоциональный выход на иной уровень. Какое-то движение в этом направлении нарастает, но не разряжается. Поэтому мы больше сочувствуем (тому, что происходит с другими и что узнаем, поскольку осведомлены), чем сами чувствуем, чем это нам самим нужно — особенно, если мы вне этой ситуации. Впрочем, стихотворение еще не кончено, может, цепь еще замкнется, и разрядка впереди?

Пусть хоть выпьет каждый за свое
Под общий звон фужеров или рюмок.
Я пью за волчье сладкое житье,
За свет звезды над участью угрюмой.

Хозяюшка! За звучным шагом — шаг.
Земля — за нас. Она спружинит мягко.
И каждый дом — по крайности очаг.
И смертный мир — не больше, чем времянка.

Вроде интонация развивается естественно, вроде фразы соответствуют нужной тональности, но слова вдруг становятся приблизительными, чересчур общепозитичными. Почему вдруг понадобилось при таком разобобщении, чтобы «хоть каждый выпил за свое»? Только для того, чтобы потом сказать, что «я пью за волчье сладкое житье», и

«свет звезды над участью угрюмой»? То есть за то же одиночество и разобщенность? Так ведь это уже есть — чего за это пить? И почему это вообще опозэтизировано — только потому, что «за... шагом шаг» мы движемся к смерти, что «смертный мир — не больше чем времянка»? Потому, что не стоит беспокоиться? Но ведь все стихотворение очень беспокоится, и вряд ли бы Сопровский хотел концом отменить это волнение. И претензии мои вовсе не к пессимизму, не к «содержанию». Трагическое отчаянье тоже может быть сутью стихотворения, более того — ощущение этой трагедии есть в предыдущих строках, но вся беда в том, что в этих последних она разряжается чисто риторически без всякой органической связи с предыдущим; у автора здесь не хватает сил пробить стены той ситуации, в которую он погружен, не за что схватиться. И он «пробиивает» ее искусственной приподнятостью тона.

Непреодоленность ситуации особенно четко видна, если вернуться к началу стихотворения, к тому второму четверостишию, которое мы пропустили:

Накрытый стол немало обещал.
Но разговор не ладился, как будто
Какой-то сговор вас отягощал,
Исподтишка встречава поминутно.

Это четверостишие и впрямь лишнее, оно только замедляет развитие стихотворения излишней детализацией. Я охотно верю, что действительно в этой обстановке было вроде нечто отягощавшего душу сговора и что от этого разговор не клеился. Но что эта деталь обстановки, вернее, деталь восприятия этой обстановки, деталь переживания — добавляет ко всему сказанному? Зачем мне погружаться в ее глубокомыслие? Ведь не ясно мне все равно, что это за сговор, и не очень нужно это знать в данном случае. Но автор настолько погружен в ситуацию, что эта деталь выглядит для него очень многозначительной. Автор ведь не манерный — на самом деле выглядит. И все

потому, что переживание не окончательно превратилось в замысел. Стихотворению это не нужно, но самому автору, по-видимому, нужно, он об это бьется, как об стенку. И пробивается. Правда, в других стихах:

Земли осенней черные пласты
Еще не разворочены дождями.
Но знаю я и, верно, знаешь ты,
Каким ветрам орудовать над нами,
Еще пылят сентябрьские пути,
Еще звенит колодцами деревня.
Будь проклят день и час, когда...
Прости,

Благослови, возлюбленное время.
Другого нет. И если разрешат,
Я все скажу, что ночь наворковала,
Пока в дремоте граждане лежат
На папертях Московского вокзала.
Пока еще не холодно. Пока
К себе берет нас камень постепенно.
Будь проклят!..

Не поднимется рука.
Родное время, будь благословенно.
Свистками черни воздух потрясен
Смешна любовь, и ненависти — мало.
Но кто бы знал, что людям тех времен
Благословенья лишь и не хватало...

Это стихотворение интересно, прежде всего, тем, что в нем автор открыто сталкивается лоб в лоб — с тем, на что наталкивается его судьба и творчество, — сталкивается, вступает в единоборство и побеждает, то есть создает произведение искусства. Говоря о победе, я не хочу сказать, что это стихотворение относится к лучшим у поэта, что оно совершенно безупречно или полностью выражено. Совсем нет, к сожалению, точные строки в нем чередуются со «среднепоэтическими», приблизительными. К ним я отношу даже последние две строчки. Но, не будучи совершенным и вполне выраженным, оно, в отличие от пре-

дыдущего, все же «вполне замысленное», то есть такое, где чувства и переживания автора отлились в нечто существующее уже без непосредственной связи с ним, в некий сгусток воли, в волевое целое, в единый образ, в живой организм, где каждый элемент должен точно соответствовать своему месту и роли.

Но — опять-таки, именно поэтому — и неточность многих строк ощущается острее. Чувствуется, что они заменяют единственно необходимые, которые читатель смутно предчувствует, ибо они заданы всем ходом стихотворения. Чувствуется не только тогда, когда стихотворение отходит от самого себя, когда строки не о том, но и когда они о том. Дело в том, что «благословенья» в этом стихотворении не «не хватало», а «не хватает». Неожиданный уход от «состояния» к отстраненной философичности здесь неоправдан, ибо нет в нем «людей тех времен», а есть «мы», если и не вовсе «я». Это отнюдь не кому-то, а герою-автору не хватает уверенности в том, что все координаты, необходимые для нормального существования, — прочны, «благословенны». Я отнюдь не враг философичности или обобщающих фраз, вовсе не считаю, что они — всегда проза, но с ними — впрочем, как и со всякими другими — следует обращаться осторожно. Здесь ход стихотворения требует иной — по тону и духу — разрядки. А так получается нечто вроде *пересказа* того, что должно было здесь быть *сказано*. Сама эта заданность, само то, что мы ее ощущаем, говорит об определенности и некоторой все же выраженности замысла — пусть и в недостаточно точном исполнении (кстати, только в таких случаях и серьезны разговоры о частностях исполнения). Здесь, по всей вероятности, нужен был другой ход (обычно говорят: «прием», но, по-моему, это неточное слово, предполагающее свободу выбора, зависящую от ловкости рук, а не угадывание единственно точного течения), но речь сейчас у нас вообще не о частностях исполнения. Я просто счел своим долгом отметить, что они не всегда соответствуют сути, но говорить мне сейчас хочется о сути,

которая в данном случае так или иначе все равно выражена — несмотря на эти частности.

А сущность этого драматического стихотворения — в драме смирения. Да, именно того смирения, о котором уже шла речь, и которое еще недавно подминало под себя стихи многих — молодых и старых, маститых и не маститых, конформистских и нонконформистских поэтов. И никому особой радости не приносило. Однако это стихотворение А. Сопровского отличается от большинства подобных произведений, прежде всего, драматизмом. Смирение дается его герою нелегко, а может быть, и совсем не дается, может быть, это только жажда смирения — кто знает? Но все, что происходит в стихотворении — подлинно. Тяга к смирению, понижывающая его, основана не на том, что это вообще — мудрость или что у Пушкина это когда-то хорошо получалось, а на жизненном опыте, на вынесенном из него ощущении, что иначе сегодня очень легко забыть, что жизнь, какая бы она ни была, все равно великая удача, и задохнуться от ярости, лишит смысла собственное существование и творчество. Время тяжелое, страшное, отвратительное, но для современника — единственное. В стихотворении оба эти начала — ощущение тяжести и ощущение единственности (а значит, и смирение) — живут одновременно и составляют одно целое. Это жажда высокого. А в поэзии жажда высокого (а такое смирение — безусловно, высокое отношение к жизни) равносильна его достижению — конечно, если это подлинная потребность, а не котурны. Кстати, поэтическая форма и есть фиксация такого достижения, его воплощение. И когда я не верил в возможности новых поколений, я как раз в это и не верил — в то, что ощущение легшей на них тяжести и прелести жизни им удастся свести в одно, ощутить себя в вечности, подняться до формы. Однако, как мы видим даже на примере этого стихотворения, отнюдь не лучшего в творчестве А. Сопровского — это им иногда удается.

Я не сразу коснулся лучших стихов этого поэта (из-за которых я собственно и стал писать эту статью) и гово-

рил даже об его неудачах не из стремления к объективности (пишу не монографию), а только потому, что по этим не лучшим стихам яснее видно, как трудно и через что именно продирается сегодня молодой поэт к поэзии.

Но он продирается. И иногда то, через что он продирается (что я считал непроходимым для лучей поэзии лесом), вдруг само оказывается предметом высокой поэзии:

Воздух нечист, и расстроено время.
На рубежах ледяного апреля
Рвется судьбы перетертая нить.
Вот уж четырежды похолодало,
Только и этого холода мало,
Чтобы горячку души остудить.

Нет ни покоя, ни воли, ни света.
Я проживаю в беспамятстве где-то.
Веку не ровня, держусь на весу.
Пасмурны днесь очертания мира...
Только объедки с умолкшего пира,
Да тишина в обнаженном лесу.

.....
Так горевать не пристало поэту.
Но за весну беспощадную эту
Капли дождя, словно капли свинца,
Плотно сгущенный бессолнечный воздух,
Горечь ночей, ледяных и беззвездных —
Пей до конца... Допивай до конца...

В сущности, это стихотворение очень по духу традиционное для русской поэзии. Осенние раздумья о жизни, осеннее мудрое примирение с ней. Поразительно только то, что эти осенние раздумья связаны здесь не с осенью, а с весной. И от этого острее и ощутимее какая-то общая тяжесть и вроде бы безысходность ситуации — в природе и в душе. Если сам воздух нечист и расстроено само время, то не удивительно, что нить судьбы рвется и на рубежах апреля — особенно, если апрель ледяной, а нить — перетерта. Все разорвано и спутано. Однако говорится об этом

таким тоном, таким медленным размером, как будто это просто бытовые подробности, как будто в этом ничего необычного. Просто условия жизни. А необычно все. Просто мы привыкли и живем. Все тяжело, но «так горевать не пристало поэту». Это уже не одергиванье самого себя, как в предыдущем стихотворении, это просто обретенное душевое знание. И это знание незримо и спокойно присутствует во всем стихотворении — с самого начала. «Так» тосковать «не пристало», и «так» стихотворение не тоскует. Оно тоскует иначе. И дышит. Может быть, не легко, но ровно и уверенно дышит. Оно живет (в тех условиях, где, как я полагал, никакое подлинное стихотворение жить не может). Конечно, «пасмурны днесь очертания мира». Конечно, от пира прошлых веков (или лет?) остались одни объедки, и все еще может случиться — и с автором, и с его страной, — но жизнь уже состоялась, душа полностью обрела и отстояла себя, осознала мир и себя в нем, от этого — сквозь всю эту свинцовую тяжесть — радость существования в этом мире. Радость хотя бы от самой возможности сознавать и не принимать эту обстановку. В таком неприятии ситуации и проявляется то приятие жизни, то «требование от бытия смысла и красоты», без которого занятие искусством превращается в пустой ритуал, лишенный сущности и смысла. Конечно, «капли дождя, словно капли свинца» — совсем не то, что пушкинское «печаль моя светла», но все-таки это уже не просто знание, что свет необходим, а обнаружение его в неприглядной действительности и в самом себе, нечто такое, что и за что следует «пить до конца, допивать до конца...» «Порой опять гармонией упьюсь...», — как говорил Пушкин. Вот и упивается гармонией соответственно «поре» А. Сопровский — просто пора нынче совсем другая.

Похолодание прошьет роскошный май
И зелень по чертам фасадов.
Душа прояснится... Как хочешь, понимай
Игру сердечных перепадов.

А время спряталось... Исчезло без следа,
Как мокрой осенью безлистой.
И сердце падает... Как будто есть куда,
Как бы в колодец — чистый-чистый.

Уж тут и впрямь «ничего нет» — ни протеста, ни отстаивания себя, ни даже попытки осмотреться и разобраться, — только едва уловимое настроение, только, так сказать, существование в поэзии. Но ведь настроения не достаточно для такого существования, в чем же дело? Правда, передано это настроение точно и тонко. Но ведь и это еще не все. Да и всегда можно спросить: из чего это видно? И на этот вопрос тоже, как всегда, трудно будет ответить.

Можно, конечно, указать на ту симметричность в строении обоих четверостиший, которая мастерски выдержана в стихотворении: первые две строки — констатация, первая половина третьей — реакция на эту констатацию, а дальше после цезуры — возвращение к реальности на новом «витке спирали». Но само по себе это говорит только о том, что обычно называется «мастерством». Любое строение четверостишия, любое употребление цезуры — вещь при старании общедоступная. Надо еще, чтобы все это было уместно. А определение уместности того или иного хода зависит от определения сути и внутренней задачи произведения, то есть от того «секрета прелести», о котором Пастернак по другому, правда, случаю сказал, что он «разгадке жизни равносильен». В конечном счете, прелесть стихотворения раскрывается только самим стихотворением, и дублировать этот процесс невозможно и незачем... Для суждения о стихотворении остается только одно — восприятие. Кульгура и опыт только влияют на восприятие, но не заменяют его. Восприятие — дело ненадежное, — оно зависит не только от индивидуума, но и от его состояния, и, тем не менее, это единственная база для наших суждений. Даже о качестве средств выражения мы не можем ничего сказать, игнорируя восприятие, даже о

том, действительно ли средства именно выражения, а не, допустим, украшения или литературного ритуала.

Так что, говоря об этом стихотворении, буду продолжать основываться на собственном восприятии. На мой взгляд и вкус, это стихотворение вполне заслуживает, чтобы его воспринимали. Оно вознаграждает за то, что втягивает в себя. В этом, собственно, и задача произведения искусства — втягивать в себя и вознаграждать за это. Вознаграждать тоже. Ибо даже втягивать можно иногда научиться — например, имитацией напряженности стиха, имитацией экспрессии. Втянешься — а никакой радости. Впрочем, чем-чем, а имитацией у Сопровского и не пахнет — нет ее ни в его удачах, ни в неудачах.

Однако простое стихотворение, о котором идет речь, написано на самом деле довольно сложно. Хотя поначалу оно выглядит простой реакцией на несколько неожиданное, даже обескураживающее, но в принципе обыкновенное событие в природе: цветущий май вдруг оказался прошит похолоданием (не морозом, губящим всякое цветение, не холодом даже, а похолоданием). Но от этого душа вроде бы не омрачилась, а наоборот, прояснилась (с ударением на втором слоге, на «ясно»). Вроде бы неожиданно — по привычной логике она вроде должна бы была смутиться, растеряться. Но почему-то такой переход не воспринимается как странный и нелогичный. И ведь не только потому, что «здоровью моему полезен русский холод», хотя то, что стоит за этими пушкинскими строчками, живет и действует на душу и поныне. Нет, не потому. Той радостной легкости, которая слышится в этой строке, у Сопровского нет и в помине. Но из-за чего-то же мы воспринимаем такой переход как совершенно естественный. Это что-то выражается во всем, что определяет характер нашего чтения (выбор слов, фонетика, размер), самим дыханием стиха и его течением. Но прямо это стихотворение вовсе не пытается ничего объяснить. Так и говорит о «игре» своих «сердечных» перепадов: «Как хочешь, понимай...». Впрочем, понимания этого не требуется для пони-

мания стихотворения. Можно его понять и полюбить, даже не задумавшись, почему этот странный переход не кажется странным. Все равно ясно, что раз «душа прояснилась», следовательно, среди «роскошного мая» она не была особенно ясной, и отсюда — все последующее.

Между тем, объяснение тому, что мы принимаем этот переход как естественный, оказывается самым простым. Происходит (при начальных попытках анализа, а не при восприятии) путаница времен. Поскольку второе, завершающее, более сильное четверостишие написано в настоящем времени, будущее время, в котором написано первое четверостишие, как бы исчезает. И кажется (во всяком случае, мне казалось), что событие, о котором говорит стихотворение, и реакция на него относятся к моменту, когда пишется это стихотворение.

Между тем, для автора (то есть для стихотворения) — это время будущее, воображаемое. Настоящее же время этого стихотворения (когда мы читаем его, мы погружаемся именно в него) другое. Это время, располагающее к мечте о таком будущем. Это то смутное состояние, которое располагает к тому, чтобы мечтать о том, чтобы душа прояснилась. Состояние стихотворения — это смута души и жажда просвета. Поэтому выражение «Душа прояснится» не может быть неожиданным, оно главное. Остальное — только мечтательные условия осуществления этого главного. Тому состоянию, в котором находится автор, более гармонирует осень, чем весна (как и в ранее цитированном). В ней, мокрой и безлистой, в которой даже время «прячется», «исчезает без следа» (а чего хорошего можно от него дожидаться?), в которой естественность умирания неразрывна с естественностью надежды, — в ней гораздо больше общего с состоянием автора, с реальностью его жизни, чем в «роскошном мае». В ней можно снова обрести реальную связь с окружающим, даже слиться с ним — даже если это чревато смертью: «И сердце падает... как бы в колодец чистый-чистый». Но это стремление не к смерти, а к чистоте и истинности — даже если это связано со смертью, которая тоже

здесь вовсе не воспринимается как несуществование. Но фраза о падающем сердце не была бы столь действенной, если б в ее середину не врезалось отрезвляющее замечание «как будто есть куда». Некуда, но хочется. Нет, это не согласие на смерть, это только жажда чистоты и боль от сознания ее недостижимости, невоплотимости. Это щемящее ощущение и есть победа поэзии — выход к вечности. То, что должно было заслонять поэзию от глаз — бесприютность, ненадежность окружающей и собственной жизни, непроглядность общего положения, — таким образом, было само превращено в поэзию. Каким-то образом автор нашел среди трясины, где находился, точку опоры и обзора, давшую ему чувство простора и перспективы, без чего никакого дыхания в поэзии быть не может. Что тут помогло в этом — религиозное сознание, поддержка друзей, просто сила естественного желания жить и утвердиться или все это вместе, — сказать трудно. Но факт остается фактом: Александр Сопровский и часть его сверстников не пожелали быть списанными со счетов истории и нашли в себе для этого силы. Жизнь, как уже говорилось, богаче предвзятых представлений о ней. Победа их не была легкой и не привела к легкому (под «легким» я разумею нормально-тяжелую судьбу поэта). Специфическую тяжесть их времени невозможно сбросить, она всегда давит нас. Но вот что странно: стихи эти вовсе не погибают под этой непосильной ношей, а несут ее на себе — пусть даже не очень легко, но все же вполне плавно. И никак это не мешает высокой приподнятости тона лучших из них.

На Крещение выдан нам был февраль
Баснословный — ветренный, ледяной,
И мело с утра, затмевая даль
Непроглядной сумеречной пеленой.

А встряхнуться вдруг, да накрыть на стол!
А не сыщешь повода — что за труд?
Нынче дворник Виктор так чисто мел,
Как уже не часто у нас метут.

Так давай не будем судить о том,
Чего сами толком не разберем,
А нальем и выпьем за этот дом
Оттого, что нам неприютно в нем.

Киркегор неправ. У него поэт
Гонит бесов силою бесовской —
И других забот у поэта нет,
Как послушно следовать за судьбой.

Да хотя расклад такой и знаком,
Но поэту стоит раскрыть окно —
И стакана звон, и судьбы закон,
И метели мгла для него — одно.

И когда, обиженный, как Иов,
Он заводит шарманку своих речей, —
Это горше меди колоколов,
Обвинительных актов погорячей.

И в метели зримо: сколь век ни лих,
Как ни тщится бесов поднять на щит, —
Вот, Господь рассеет советы их,
По земле без счета их расточит.

А кому — ни зги в ледяной пыли,
Кому речи горькие — чересчур...
Так давайте выпьем за соль земли,
За высоколобый ее прищур.

И стоит в ушах неприютный шум —
Даже в ласковом, так сказать, плену...
Я прибавлю: выпьем за женский ум,
За его открытость и глубину.

И, дневных забот обрывая нить,
Покачнешься, двинешься, поплывешь!
А за круг друзей мы не станем пить,
Потому что круг наш и так хорош.

В сновиденье лапы раскинет ель.
Воцарится месяц над головой.
И со скрипом — по снегу — сквозь метель —
Понесутся сани на волчий вой.

Это стихотворение уже однажды было напечатано в эмиграции («Континент», № 33), но я счел своим долгом привести его текст полностью. Уж слишком полно выражает оно все, к чему пришел А. Сопровский: его боль и его победу. Победу, конечно, только в духовно-эстетическом смысле — ситуация которая встает за стихотворением, далека от победной. Это скорей, выражаясь словами Пастернака, «пир Платона во время чумы». (Конечно, слово «Платон» надо понимать иносказательно — впрочем, как и у Пастернака, среди героев его стихотворения тоже вроде особых Платонов не было.)

Интересно, что это та же ситуация, что и в процитированном раньше стихотворении А. Сопровского о пире. Но как непохожи эти стихотворения. Изменилась не ситуация — атмосфера на втором пиру столь же тяжела, как на первом. А вот атмосфера самого стихотворения изменилась — стала легче. Изменилось восприятие. Теперь эта ситуация не заслоняет автору мир, не побуждает его углубляться в странное выяснение отношений с другими участниками этого невеселого пира, а позволяет ему увидеть саму эту ситуацию на фоне мира и судьбы, как и надлежит поэту. Для этого надо почувствовать себя наравне с этими неуловимыми субстанциями, вырасти, возмужать. Второе стихотворение, особенно в сравнении с первым, «схожим», показывает, что такое возмужание произошло. Благодаря чему самоощущение этого стихотворения и дотягивает до уровня трагического — трагического противостояния. И связано в нем это самоощущение с образом метели.

Метель метет все время, вокруг всего стихотворения. Вокруг дома, где происходит пир и где героям неприятно. Но в отличие от предыдущего стихотворения, здесь ясно, что «неприятно» им вовсе не потому, что им что-то

не нравится в самом доме или в хозяевах его (к тому и другому стихотворение относится вполне дружелюбно). Неприютно же им в доме потому, что неприютно везде, что им вообще «бесприютно»: «И стоит в ушах бесприютный шум / Даже в ласковом, так сказать, плену...». Бесприютность эта как-то тоже связана с образом метели, и мысль эта приобретает какой-то космический характер. Но она нисколько не аллегорична. Это самая настоящая метель. Просто, как во всяком подлинном произведении, она живет здесь не сама по себе, а в восприятии автора, навевая ему все, что как-то связано с его состоянием, со всем, чем он озабочен, что знает, что вынес, потерял, сберег, на что надеется. Так что не удивительно, что из этой метели возникают традиционные для нее с пушкинских времен бесы, вернее, мысль о них; разумеется, во вполне современной интерпретации: «...Сколь век ни лих, как ни тщится бесов поднять на щит». Но в метели этой не только безвидность и мгла, есть еще и нечто мобилизующее — бодрящий, что ли, холод. В ней и надежда — сквозь нее видится, как в конце концов поступит Господь с этими бесами. И вообще весь приподнятый тон стихотворения тоже непостижимым образом связан с ее присутствием. И все главное для творчества А. Сопровского — культ дружества, причастности, женственности, духовности, — все это становится живым и достоверным именно через эту метель, в связи с ней. Это реальное переживание, а не система взглядов.

Это совсем не значит, что все реалии я воспринимаю так же, как и автор. Например, — точно знаю, что плохо метут улицы не только «у нас»: в городе Брайтон (часть Бостона), штат Массачусетс, где я теперь живу, снег с тротуаров вообще почти никогда не убирается. Тем не менее, не только стихи в целом, но и строки о дворнике Викторе мне очень нравятся. Видно, дело не в «узнавании» все же, а в общем контексте. Так же меня никак не раздражают строки о Кьеркегоре, хотя согласен я не с автором, а с Кьеркегором. Я действительно уверен, что у поэта нет

других, во всяком случае, более важных забот, «чем послушно следовать за судьбой». Кстати, я отчасти за то и уважаю А. Сопровского, что он, судя по всему, всю жизнь именно этим и занимался. И стоило ему это очень дорого (послушание-то это ведь не начальству, а судьбе!). Вопрос, что называть судьбой поэта. Но это уже опять спор о «просто писательстве». Здесь он неуместен. Внутренняя сущность этих строк, то, что автор утверждает поэтически, радость освобожденного духа, — шире, богаче и важнее его умственных взглядов. Этим и «звенит» это четверостишие. Да и все стихотворение. А в принципе, и все творчество А. Сопровского.

Разумеется, невозможно в одной статье коснуться всех стихов А. Сопровского. Даже всех хороших его стихов. Даже всех сторон его творчества. Надеюсь, что о нем еще будут писать немало, может, и я когда-нибудь напишу.

Но для меня сейчас важно вовсе не подробно осветить его творчество, а просто дать почувствовать, что вопреки всему такое творчество существует и что оно — поэзия, что, как говорится, — жив курилка! Для меня это первая ласточка, первый ставший мне известным поэт нового поколения, который вызвал к себе мое серьезное отношение. И через которого мне приоткрылась дорога к другим, не всегда строго нонконформистским, но всегда не особенно благополучной судьбы молодым поэтам. О которых тоже следует писать. Но размышления о них уже выходят за границы моей сегодняшней темы.

Анна Ахматова и «серебряный век»

Работа эта, как ясно из заглавия, в значительной мере посвящена творчеству великого русского поэта — Анны Андреевны Ахматовой. Но из него же ясно, что она связана и с эпохой, сформировавшей поэта, — с так называемым «серебряным веком» русской художественной культуры*. Следовательно, это еще и попытка разобраться в самой этой эпохе, в наследстве, которое она оставила. А также и размышление о проблемах поэзии, о ее связи с духом времени и о ее сущности вообще.

Как и статья, напечатанная в свое время в «Новом мире», она тоже написана в защиту «банальных истин». Те, кому кажется, что это простое занятие, ошибаются. Выступать против «прогресса», против его «открытий» сегодня не менее обременительно, чем во времена Джордано Бруно — в его защиту.

Боюсь, что вся моя жизнь ушла именно на такого рода противооткрытия. Ничего не поделаешь, мне пришлось жить в такое время, когда это было важно.

*Строго говоря, термин «серебряный век» относится только к поэзии, поскольку был «золотой век», но здесь этот термин применяется несколько иначе.

Некоторых, вероятно, удивит и само мое отношение к «серебряному веку». Начать с того, что я вообще не поклонник этой эпохи — яркой, но несколько блудной, особенно на ее периферии. Ведь лицо эпохи — не только ее достижения, а и то, как они воспринимаются и усваиваются, то есть и ее периферия. Можно, конечно, сказать, что периферия всегда все опошляет. Фраза эта льстит самолюбию тех, кто ее произносит, и поэтому до сих пор часто употребляется, хотя верна она только отчасти и вряд ли здесь применима. Периферия здесь ничего не выдумывала и ничего не опошляла. Она всецело опиралась в своих суждениях на то, что громче всего звучало в устных и письменных выступлениях главных действующих лиц этой эпохи. То, что в их выступлениях звучали и другие мотивы, показывающие, что они знают и нечто другое, более «простое» и, возможно, главное, важно, наверно, для определения подлинной сущности этих художников, но проходило мимо сознания периферии. Ибо все это было лишь корректированием пафоса, а пафос был в том, что они говорили громко*. И это заглушало, а для многих и теперь заглушает все остальное. Заглушало то, что кажется банальным, а на самом деле необходимо, да и трудно осознаваемо. Боязнь *банальности* — один из главных соблазнов и грехов «серебряного века» и его наследия.

То, что я сейчас пишу, отнюдь не филиппика. Среди деятелей этого «века» было много чистейших людей. Но

* То же можно сказать и об исследователях-формалистах. Люди высокой культуры, таланта и образованности, они, безусловно, как свидетели и их высказывания, смысл и значение этих банальных истин понимали не хуже меня. Но весь пафос их деятельности был в другом — в том, на фоне чего эти высказывания выглядят у них частными оговорками, как показывает опыт, малодейственными. Преобладал же в их деятельности дух времени, требовавший непрерывных открытий и переворотов. А то главное и вечное, о чем они между делом себе и другим напоминали, открытий явно не обещало. Этого нельзя открыть, к этому можно только приобщиться.

проповедовали они часто худое: допустимость грязи, подлости, даже убийства (если только, как оговорился Блок, оно освящено великой ненавистью). Не о сложности человеческих ситуаций тут речь, а только о безграничном праве неповторимых личностей на самовыражение и самоутверждение. А уж это само вело к необходимости такой личностью быть, во всяком случае претендовать на силу чувства, при которой «все дозволено». В поэзии эти претензии проявлялись невероятной «поэтичностью» (разными видами внешней экспрессии) и утонченностью (форсированной тонкостью). Это значило стимулировать и форсировать в себе все эти качества и восприятия. И естественно «выгрываться» в разыгрываемые роли, а потом и писать от их имени, веря, что от своего. Как ни странно, это воспринималось как стремление к крайней (противоестественной, но противоречие это почему-то не замечалось) непосредственности. Были люди, которые самоубийством кончали, если выяснялось, что не выдерживают экзамена на исключительность.

В сущности, это «нищезанство» — печать времени, лежащая не только на «талантах и поклонниках» искусства, а на всех, претендовавших на какую бы то ни было активность, в том числе, и на революционерах. При всем различии этих радикализмов — эстетического и революционного — у них есть и общее: самоутверждение в творчестве, нахождение в нем смысла жизни. Только в первом случае, когда речь идет о творчестве художественном, это проявляется открыто, почти декларируется, а во втором, когда о творчестве историческом, — принимает обличье заботы о человечестве. Так что не удивительно, что две эти линии творчества временами пересекаются — в одинаковом противостоянии «фальшивой мещанской морали», например. Но сейчас по условиям задачи нас интересует радикализм художественный, эстетический. И притом не в крайних футуристических, а в «спокойных», то есть в сущностных его проявлениях.

Подчеркиваю, что мое отрицание «серебряного века» не означает огульного отрицания всего написанного

или всех, писавших в то время. Оно касается только атмосферы, влияние которой испытали и настоящие таланты. Влияние это было и для них неблагоприятно, но, к счастью, не тотально и не фатально: сильные индивидуальности не могут уходить от себя слишком далеко. Но в этой атмосфере ведь жили не только они. А была она такова, что отсутствие в ней редкостного художественного дара воспринималось как отсутствие права на достоинство (если не на жизнь). И все пыжились. Тот, кто еще не «творил», говорил, что «ищет себя, но пока не нашел», — такой статус тоже признавался достойным человека.

Всему этому способствовали и некоторые общие обстоятельства. К тому времени часть публики начала терять интерес к политике — тот «политический мистицизм», о котором писали «Вехи» и который до этого был основой духовной жизни почти всей русской интеллигенции; идея светлого будущего мало-помалу обнаруживала свою скудость. А раз так — захотелось счастливого настоящего, да такого, которое было бы способно наполнить жизнь не меньше, чем отмененное грядущее царство справедливости. Престижность героизма и жертвенности кое-где сменилась престижностью изысканного вкуса, культом красоты и изящества, богатства страстей и душевной сложности. И все это начиналось с чувства прекрасного, специфика которого открывалась наиболее наглядно через изобразительные искусства. И когда внимание публики было обращено на то, что в искусстве вообще есть специфика, и публика, ужаснувшись собственной «серости», ударилась в «изучение» и освящение секретов и тонкостей «мастерства», это было прежде всего «мастерство» искусства изобразительного. Из провинциальной библиотеки, зрительного или концертного зала, то есть из мест для «непосвященных», приобщение к живописи выводило человека прямо туда, где происходило главное, высокое и передовое дело времени, отстать от которого всегда боялся русский интеллигент (оказывается, это вовсе не революция, как думали раньше!), — в святая святых про-

фессиональной посвященности, в мастерскую художника, где творилось искусство и обитали небожители. Только теперь уже ими не были герои-террористы, с чьими «методами борьбы» можно было и не соглашаться, но чьей жертвенностью полагалось восхищаться, а жрецы вечно обновляющегося искусства, завлекательно свободные от Добра и Зла.

Существует легенда о том, как художник Сомов писал знаменитую «Женщину в синем» (картина находится в ленинградском Русском музее). Женщина, с которой он эту картину писал, будто бы была страшно в него влюблена, а он ее мучал. Но не просто так, от дурного характера, а сознательно, целенаправленно, во имя искусства — чтобы каждый раз добиваться соответствующего трагическому замыслу выражения и цвета лица. Но любящая женщина об этом вампирстве не догадывалась и все приняла всерьез, ее бросало то в жар, то в холод. Да и что она могла сделать? Ведь в духе времени она знала, что ее возлюбленный — сложный человек изменчивых настроений, что он сам для себя загадка и таким должен и имеет право быть. В конце концов, картина была написана, стала шедевром, а женщина заболела чахоткой и умерла.

Я все-таки надеюсь, что это только легенда. Но сам факт, что такая легенда, без особого отвращения представляющая художнику право быть вурдалаком, тогда возникла и существовала, достаточно показателен для этой эпохи. Поразительно, что вся эта суетность связана именно с живописью, то есть с самым несуетным из искусств, требующим, кроме всего прочего, много профессиональной, отчасти и чисто ремесленной учебы, много незаметного труда и с которым будней связано еще больше, а праздников еще меньше, чем со всяким другим. Судя по части «нонконформистов» и вообще представителей «второй культуры», иное представление о якобы необходимых для творчества правах художника кое-кого соблазняет еще и сегодня, после всего, что мы пережили. Но для нас сейчас важно, как это все отразилось на истории поэзии.

За ближайшие века в культурном обиходе накопилось множество великих людей и их биографий. Накапливаясь, биографии эти не только все больше волновали воображение, но и возбуждали честолюбие — короче, приобретали особый интерес. Все были благодарны секретарю Гёте Эккерману за его ежедневные записи. При Толстом таких Эккерманов было уже несколько. В силу сложной ситуации, которая возникала вокруг Толстого, это было вполне объяснимо и вовсе не суетно. Потом такие окружения появились у многих «величин», иногда мнимых, временных. Так что нет ничего удивительного, что и в подсознании авторов возникло «естественное» желание идти навстречу будущим биографам (Ахматова потом высмеяла это: «А ты письма мои береги, чтобы нас рассудили потомки»). Или, что точнее, смотреть не только на творимое, а и на самих себя как бы из будущего.

Такая ретроспективность, направленная главным образом не на творение, а на творящего, естественно, ничего, кроме иронии, вызывать не может. Но с ретроспективностью все не так просто. Когда она направлена на творение, она необходима художнику как органический элемент самооценки. Ведь то, что волнует поэта в данный момент, должно быть раскрыто так, чтобы это было эмоционально понятно и после его смерти. Долговечность — не суетная забота тщеславия или даже честолюбия, она критерий добротности произведения. То, что разрушается спустя срок, не приносило настоящей эстетической радости с самого начала, даже если встречалось шумными аплодисментами многолюдных залов и раскупалось без остатка. Оно затрагивало, заставляло звучать те струны души, которые способны откликаться *только* на злобу дня или на его «ауру». Этот отклик подменял другой, куда более ценный, который вызывается произведением настоящего искусства и задевает иные струны, дает иное наслаждение. Даже если он тоже как-

то связан со злобой дня: не игнорировать ее надо, а не замыкаться в ней.

Под недолговечностью я понимаю не просто позднейшее забвение, не всякую ситуацию, когда знаменитого в свое время автора потом вдруг перестают читать. Иногда такие вещи объясняются случайными историческими обстоятельствами, то есть просто бывают временной несправедливостью. Недолговечными в этом смысле я считаю те когда-то волновавшие читателя произведения, которые, будучи прочитаны потом, не рожают эмоционального отклика, становятся эмоционально непонятными. Так что некоторая контролирующая способность к интуитивному «ретроспективному взгляду» из будущего сама по себе отнюдь не грех для художника, а требование вкуса и составная его таланта.

В той или иной форме это понимают все. Но говорить об этом надо потому, что в XX веке неоднократно предпринимались разнообразные попытки техническим или психологически-актерским способом *сконструировать* и обеспечить бессмертие — себе или своей школе. Эти творцы (в кавычках и без них — бывали всякие), подсознательно усваивая, изобретая и используя методы и приемы рекламы, а также позднейшей тотальной пропаганды (вот уж где термин «прием» вполне уместен, не то что в литературе), стали преподносить публике искусственные критерии как нечто очевидное, всем давно известное и обязательное. Установилось нечто вроде контроля над восприятием. Результат был ошеломляющим. Сконфуженный читатель терялся и сам старался настроиться на нужную волну. Тем более, что это было объявлено его обязанностью — дорастать до высокого уровня тех, кто достаточно уверенно объявлял сам себя творцом. В наше время на Западе, как когда-то у нас (да и сегодня тоже, только «неофициально»), все это давно утвердилось, вошло в быт, и то, что было когда-то «вызовом», стало нормой респектабельности, светским приличием. И «давит авторитетом» — готовит псевдописателей и псевдочитате-

лей, изучателей, то есть людей, видящих в литературе исключительно объект изучения.

Естественный же читатель при этом давно уже смят. Продолжая даже иногда поддакивать авторитетам, не переставая «признавать» и даже восхищаться, читатель этот, тем не менее, помаленьку приобретает комплекс культурной неполноценности и самоликвидируется: перестает читать. Во всяком случае — стихи. Вероятно, поначалу это наступление на читателя было связано с общей атмосферой «серебряного века», с общей легализацией самоутверждения и тщеславия, с невиданным доселе стремлением подменить вечность одной современностью: объявить современное состояние духа, мелькание моментов абсолютом. Но потом это, став преданием, развивалось уже само по себе. То, что призвано было быть средством коммуникации, постепенно превращается в свою противоположность, отчуждает человека не только от других людей, но и от самого себя. Таким образом, проблема подлинности — подлинности восприятия и подлинности эстетического наслаждения — оказывается частью общей проблемы выживания культуры.

Так что попытки проникновения в секрет долговечности — занятие сейчас отнюдь не пустое. Причина, побуждающая меня к этому, — желание освободить читательское восприятие от всех навязанных ему не столько даже самим «серебряным веком», сколько его легковыми последышами наслоений, фобий и маний. Творчество Анны Ахматовой наиболее удобно для этого разговора тем, что у нее наряду со стихами, в высшей степени удовлетворяющими критерию долговечности, есть и всю жизнь были стихи, этому критерию не соответствующие.

В порядке защиты от демагогии хочу уточнить то, что и так должно быть ясно из этой статьи. Во-первых — защищая читателя от посягательств, я под словом «читатель» понимаю не профана, который случайно взял в руки книгу и возмутился, ничего в ней не поняв, а человека, испытывающего личную, человеческую (даже если он

профессионал) потребность в серьезном чтении (читатель — очень высокое звание в моих глазах). И, это во-вторых, освободить я его хочу не от сложности (что делать! — мы еще будем об этом говорить — бывают исторические ситуации, когда невозможно выйти к простоте и законченности), а от косметической усложненности, от навязывающего ему себя самоутверждения, представляющего перед ним в качестве нормы душевного и духовного богатства. Короче — я не защищаю примитив, как может показаться, а защищаюсь от него.

3

Анна Ахматова не раз говорила, что еще в десятом году, когда она месяц жила в Париже, поэзии там уже не было: «...Парижская живопись съела французскую поэзию». В России, правда, тогда ничего подобного как будто не происходило. Слишком сильны были жившие тогда поэты. Но влияние этой соблазнительной тенденции испытывали на себе и они.

Живопись — повела. Логика живописи механически переносилась на литературу, в основном, на поэзию. Хотя сходны эти виды искусства, как и все другие, только в результате: от того и другого должен исходить дух поэзии. Все остальное у них иное. Прежде всего — материал. Краски и холст — это вещества и предметы, всецело принадлежащие тому, кто их приобрел, только он при желании может заставить их заговорить. Слово же, с которым имеет дело поэт, никогда ему полностью не принадлежит. Определенное значение было связано со словом до рождения автора и будет независимо от него связано с ним всегда.

То же и звук. До того, как его поставил в стройный ряд композитор, он факт природы, а не культуры, он не имеет смысла. Слово же может лишиться смысла только искусственно — от неверного употребления. Так что можно и должно выявлять и использовать скрытые воз-

возможности слова, его «потаенные» смысловые и эмоциональные оттенки, но нельзя относиться к нему, как к инертному материалу. А поскольку оно само — осмысление, само — явление культуры, то и связано оно с Духом прямее и теснее, чем различные тела, вещества, предметы или их свойства, в том числе и свойство при взаимодействии производить звук. Всякое настоящее искусство — от Бога, всякое есть победа Духа над материей. Но поэзия воплощает эту духовность наиболее прямо, она «скоропись духа» (выражение Пастернака). Другими словами, поэзия как искусство есть наиболее прямое выражение *поэзии как сущности*. Именно той сущности, без которой все другие искусства теряют всякую ценность (мысль С.Я. Маршака). И следовать логике направлений, иногда плодотворных для живописи, ей противопоказано. И характер мастерства, и атмосфера мастерских ей, по существу, чужды: мастерских поэтам не надо, а мастерство их в силу изложенного никак не может быть совершенствуемо отдельно от сути. Но, как показало время, никто даже из хороших поэтов не избежал воздействия отравленной атмосферы той эпохи, и ни для кого это не прошло совершенно безнаказанно. Даже для Ахматовой. «Даже» — хотя бы потому, что она никогда специально не занималась тем, что бездумно называется вопросами формы. Она при всем техническом совершенстве не придавала мистического значения техническим приемам. Сама эта проблематика родилась из недоразумения, которое я тоже объясняю атмосферой «серебряного века». Ведь этот «век» в истории поэзии был отчасти и ответом на потерю критериев, позволяющих отличить произведение поэзии от рифмованного заявления о предполагаемом (но, может быть, мнимом — ведь не воплощено!) благородстве собственных чувств и намерений, то есть на распад того, что делает искусство искусством, поэзию поэзией, — на распад художественной формы. Ответ на наивные прекраснотушные упражнения, заполнявшие страницы журналов в конце XIX века,

на излияния Надсона и ему подобных «певцов поруганного идеала» действительно назрел. Но полученный ответ отчасти оказался таким лечением, что хуже самой болезни. Наиболее значительные представители «века», в мироощущении которых резкое отталкивание от этой наивной «болезни» занимало тоже непропорционально большое место, все же никогда не чувствовали себя уютно в обстановке, создаваемой «лечением». В этом смысле чрезвычайно интересна последняя статья Александра Блока «Без божества, без вдохновенья», написанная им в апреле 1921 года, за четыре месяца до смерти. Конечно, это статья времен речи «О назначении поэта» и стихотворения «Пушкинскому Дому», то есть периода его культурного отрезвления и грустного возвращения к нормальным, «традиционным» ценностям. Но такие зрелые и четкие мысли не вызревают в один день. Блок вроде бы и не отказывается от «серебряного века», он даже защищает символистов от акмеистов, да статья прямо и направлена против последних. Не думаю, чтобы нападки его на акмеистов были справедливы. Акмеисты у него оказываются чуть ли не единственными носителями всего того, что теперь называют прегрешением «серебряного века», а символисты — людьми традиционной культуры. Между тем, в творчестве носителями традиционной культуры были, скорее, акмеисты. Правда, в высказываниях, так сказать, в педагогике они действительно предстают воплощением демонстративного техницизма. Они, конечно, не отрицали того главного, духовного, без чего техника теряет смысл, но это опять-таки полагалось само собой разумеющимся. А оно, к сожалению, само собой вне их круга вовсе не разумелось, и в различных своих студиях они своими лекциями дали мощный толчок развитию снобистского графоманства в литературе. Важно не «что», а «как» — так их и понимали. Тогда, в начале двадцатых, для многих их учеников это было еще и наиболее простой, доступной и безопасной формой якобы духовной независимости. И помогло приспособ-

лению — даже в 30-е годы эти люди, халтурив от страха, могли, тем не менее, чувствовать себя творцами, ибо ставили перед собой и решали «чисто литературные задачи»: стремились подбирать эпитеты «посвежее» к мудрости Сталина и к счастью рядовых тружеников. Но это уже только следствие их педагогики — сами акмеисты (разве что кроме «примкнувшего» С. Городецкого) были весьма далеки от приспособленчества. Но для нас сейчас важна не справедливость обвинения Блока по адресу акмеистов, а, так сказать, положительное содержание этих нападок, содержание тех представлений о литературе и культуре, в защиту которых Блок считал нужным выступить — независимо от того, действительно ли их нарушителями были именно и только акмеисты. По существу, мысли Блока в этой статье шли вразрез не только с «педагогикой» акмеистов, а и с общепринятыми в тогдашней литературной среде представлениями вообще. Например, его тревожит, что читатель (в том числе, и интеллигентный, то есть считающий и имеющий право считать себя таковым) начал отходить от современной русской литературы. Между тем читателя было принято презирать. До сих пор еще бытует схема, по которой во всех неудачах художника всегда виноват только читатель, не до конца преодолевший свое «мещанство». Блок, конечно, это знал. «Мне возразят, что мнение большой публики, так же как слава, — “дым”», — предсказывает он. И парирует неожиданным: «Но дыму без огня не бывает...». Другими словами, не всегда читатель отходит от литературы по своей вине, иногда это происходит и в ответ на то, что литература отходит от него. Блок считает, что причин этому много, но называет только одну из них: «Эта причина — разветвление потока русской литературы на мелкие рукава, *всерастущая специализация* (курсив мой — Н. К.), в частности — разлучение поэзии и прозы...». Под прозой здесь понимается не только жанр, а и связанный с ним некий «нормальный» интерес к «прозе жизни», к другим людям. Разрыв с прозаичес-

ким жанром означает для Блока, видимо, и разрыв со всем этим, с почвой, даже со здравым смыслом.

Никакой специализации интереса к культуре Блок не признает. Это идет дальше отношений поэзии и прозы: «Так же, как неразлучимы в России живопись, музыка, проза, поэзия, неотлучимы от них и друг от друга — философия, религия, общественность, даже — политика. Вместе они и образуют единый мощный поток, который несет на себе драгоценную ношу национальной культуры».

Правда, Блок в соответствии со своими тогдашними настроениями относит эту требуемую им цельность к культуре только русской: «Россия — молодая страна, и культура ее — синтетическая культура». И еще жестче: «Это — признаки силы и юности; обратное — признаки усталости и одряхления». Я тут не возражаю против сравнительной оценки возрастов Запада и России — это, скорее всего, правда. Но думаю, что «французская травка с уксусом в виде отдельного блюда может понравиться лишь гурманам» не только у нас, как полагал Блок, и не потому, что «мы привыкли к крошке, ботвинье и блинам», а потому что это вообще приправа, а не пища. То есть я настаиваю на том, что требования, предъявляемые Блоком к русскому искусству и русской культуре, обязательны для культуры и искусства вообще. Ведь не только в России, «когда начинают говорить об «искусстве для искусства», а потом скоро — о литературных родах и видах, о «чисто литературных» задачах, об особенном месте, которое занимает поэзия и так далее, — это, может быть, иногда любопытно (тогда это еще было внове — *Н. К.*), но уже не питательно и не жизненно».

Итак, по мнению едва ли не самого возвышенного и поэтического поэта в мире, поэзия должна быть питательна и жизненна. В этой связи полезно задуматься над тем, чего мы уже слегка касались выше, а именно: как понималось (и до сих пор иногда понимается) самое простое на вид, но и самое важное для постижения природы искусства понятие — *форма*.

Все согласны, что это понятие важнейшее. Но от больших забот о нем оно потеряло всякие очертания, стало означать сразу и нечто мистически-тайнственное, и совершенно рукотворное: сумму технических приемов. Я отнюдь не против исполнения, не против «мастерства», «образов» и так далее. Те есть не против всего того, что А.Т. Твардовский (впрочем, никак не покушаясь на необходимость овладения всем этим) называл малыми секретами мастерства. Но как бы мы ни овладели этими «секретами», это никак само по себе не будет владением формой. Ибо формой вообще раз и навсегда овладеть нельзя. Ею (в том и состоит творческий процесс) *каждый раз* овладевают заново. Ибо формой произведения является само *произведение*, воплотившее художественный замысел (который нам и дается только в форме, в образе). Правда, тут есть еще одна интересная проблема — соотношение самовыражения и замысла. Безусловно, сам замысел — концентрированное самовыражение. С этим все согласятся. Но забывают, что, родившись, он обретает автономность и господство. Автор становится его рабом и занят только его воплощением, чутким следованием уже не своей, а только его воле, его законам. Этим отличается творчество от просто самовыражения, возможного и в частном письме.

Это, как говорится, с «чисто профессиональной» стороны. Но есть и другая. Дело в том, что формы в принципе без соотнесения переживаемого автором с миром не существует. А для этого надо иметь в душе какой-то хотя бы смутный «образ» *мира* и жизни в целом, а также должного, то есть «идеала». Впрочем, это очевидно: не только поэтом, но и «просто» личностью можно стать только по отношению к миру, к жизни и абсолютно невозможно при равнодушии ко всему этому.

Между тем, и со «злободневностью» в искусстве все не так просто. Ибо бывают времена (боюсь, что именно

такие выпали на нашу долю), когда без таких реакций не обойтись, ибо независимо от того, занимается ли личность ею, эта злободневность слишком непосредственно занимается личностью, регламентируя все ее проявления. Это печальные и, возможно, не очень плодотворные для искусства времена. Но игнорировать собственную судьбу, когда мы вынуждены или ежечасно оказывать этому внутреннее сопротивление, или духовно перестать существовать, значит притворяться. А это еще менее плодотворно. У Ахматовой просто не было иного выхода, чем стать отчасти гражданским поэтом. Конечно, поэзия существует не для решения злободневных задач (чем Ахматова и не занималась), но сама злободневность может быть воспринята художником как проявление «вечной драмы человечества». Правда, злободневность по своей природе всегда стремится эту драму заслонить и подменить. Но на то ты и художник, чтобы этому не поддаваться. Мы сейчас и говорим о личности художника, и прежде всего — об объеме в горизонтах его внутреннего мира. Но пора переходить к Ахматовой.

5

Образ этой необыкновенной женщины, человека высокой духовной и интеллектуальной культуры, сумевшей через невероятные испытания пронести царственное достоинство и верность себе, живет в сознании многих. Но многих может удивить, что все это — самостоятельность и глубину восприятия, широту умственных горизонтов — я в ней нахожу с самого начала.

Сегодня все больше появляется людей, признающих Ахматову поэтом народным, философским и даже гражданским. Но это взгляд сегодняшний, да и основан он больше на ее позднем творчестве. Тогда же, в десятиные годы и много позже никто или почти никто не сомневался в том, что она первый и единственный представитель

женской, а то и просто дамской интимной лирики. И то, что стихи ее были точны и изящны, этому как бы только соответствовало: стихи изящной женщины и должны быть изящны. Ею восхищались, несомненность ее таланта никем не оспаривалась, да и новизна явления была очевидна. К тому же, вероятно, по старой памяти импонировало столь явное доказательство женского равенства: женщина заговорила полным голосом о своем интимном, что раньше как бы разрешалось только мужчинам. Импонировало это прежде всего, конечно, курсисткам. И тут нет ничего удивительного: при всей своей — во всяком случае, позднейшей — чуждости уже упоминавшемуся «политическому мистицизму» русской интеллигенции, цитаделью которого обычно и бывали Женские курсы, Анна Андреевна и сама была, а в чем-то и навсегда осталась, курсисткой. В поэзии тоже. При всей «женственности» ее стихов в отсутствии потребности в некоем равенстве их не обвинишь. Просто она отличалась от большинства поборников равноправия, ибо равенство женщины понималось ею не как претензия на тождество, а как духовная самоценность женщины в ее именно женской сущности. И она вовсе не стремилась, как некоторые дамы на современном Западе, создать для женщин особую «национальную» культуру (не замечая, что это стремление запереть самих себя в гетто — как раз и есть отрицание равенства), а претендовала «только» на свое — женское, а не обезличенное — участие в общей культуре, на свой — женский — выход к общим ценностям. И все-таки Ахматовой в общественном сознании отводился второй план. Но за ней устремились толпы женщин, поверивших вдруг в значительность и значимость нюансов своего душевного состояния. Как видно из «Эпиграммы» 1958 года:

Могла ли Биче, словно Дант, творить,
Или Лаура жар любви восславить?
Я научила женщин говорить...
Но, Боже, как их замолчать заставить! —

она отнюдь не гордилась тем, что оказалась их предтечей и учителем. И неудивительно: каждого творческого человека раздражает профанация того, что ему дорого или им создано. По-видимому, научились они не тому, чему бы стоило или что было главным в Ахматовой. Но этому как раз и нельзя было научиться. Ибо для этого мало быть тонкой, интеллигентной женщиной, умеющей улавливать и передавать современным стихом нюансы своего душевного состояния и любовных перипетий, а надо быть поэтом. Надо уметь улавливать в этих переживаниях и перипетиях нечто такое, что важно и прекрасно независимо от них, от чего человек, пройдя путем этого переживания, становится богаче, утверждается в своей человеческой сущности, короче — поэзию. И тут уже то, что стихи написаны женщиной, — только новая краска, новый сюжет, новое условие достоверности поэтического переживания и откровения, но не более того. Так что стихи Ахматовой — даже психологические — интересны не раскрытием женской психологии (в прозе для этого больше возможностей — впрочем, как и для раскрытия мужской), а тем, что она в себе содержала, — поэзией. Но это стало понято — во всяком случае, если говорить о широкой публике и даже о поклонницах Ахматовой, — к сожалению, далеко не сразу.

Не знаю, сразу ли поняли масштабы ее дарования поэты, но необычность и подлинность его оценили все. И все же ее творчество многих сбивало с толку. Например, в своей уже упоминавшейся статье А. Блок, нападая на акмеистов и Ахматову из их числа решительно выделяя («Настоящим исключением среди них была одна Анна Ахматова»), тут же характеризует ее манеру не только как женскую и самоуглубленную, что очевидно, но еще и как усталую и болезненную, с чем согласиться сегодня просто невозможно. По-моему, наоборот, она одна из самых здоровых поэтов своего времени. Правда, она действительно болела туберкулезом и в связи с этим много думала о смерти, но ведь болезненная реакция на реальную бо-

лезнь происходит от жажды жить, от душевного здоровья. Да ведь и не медицинское состояние Ахматовой имел в виду Блок. Но при всем несогласии должен признаться, что утверждение Блока об усталости и болезненности манеры Ахматовой, даже если оно полемически заострено против поэтики акмеизма, основано все же на живом впечатлении. Так же, как и знаменитые его слова (сейчас не помню, где я их читал и кому они были сказаны, и цитирую по памяти, ручаясь только за точность смысла): поэт должен писать так, как будто на него смотрит Бог, а она пишет так, как будто на нее смотрит мужчина.

6

Вероятно, такие стихи она писала в минуты слабости, когда — в жажде непрерывного творчества — отдавала дань и сочинительству. Поразительно, что наряду с гениальными и просто хорошими стихами (о них позже) у нее встречаются и такие:

Я сошла с ума, о мальчик странный,
В среду, в три часа!
Уколола палец безымянный
Мне звенящая оса.

Я ее нечаянно прижала,
И, казалось, умерла она,
Но конец отравленного жала
Был острее веретена.

О тебе ли я заплачу, странном,
Улыбнется ль мне твое лицо?
Посмотри! На пальце безымянном
Так красиво гладкое кольцо.

Все есть: и любовь, и трагедия, и даже ахматовская точность (в среду, в три часа), и вроде движение стиха тоже ахматовское, — а, в общем, никакой Ахматовой тут нет.

И дело не в том, что мы до конца не знаем, что такое оса в этом стихотворении. Беда в том, что в нем начисто отсутствует содержание чувства. Мальчик, конечно, странный (такие ценились — во всяком случае, в литературе), но чем он странен и почему эта странность должна вызвать наше сочувствие и интерес, остается для нас тайной. Кольцо, которое появляется в конце стихотворения, указывает на то, что героиня замужем, но ничего не раскрывает. Конечно, сюжетно не так уж это и мало, хотя было бы вполне достаточно, если бы читателя прежде заставили дорожить чувством, которое разбивается об это кольцо. Но вместо чувства есть только термин, якобы его обозначающий. То, что в данном случае этот термин — «любовь», ничего не меняет. Несколько иначе выглядит сочинительство в следующем стихотворении:

Мальчик сказал мне: «Как это больно!»
И мальчика очень жаль...
Еще так недавно он был довольным
И только слышал про печаль.

А теперь он знает все не хуже
Мудрых и старых вас.
Потускнели и, кажется, стали уже
Зрачки ослепительных глаз.

Я знаю: он с болью своей не сладит,
С горькой болью первой любви.
Как беспомощно, жадно и жарко гладит
Холодные руки мои.

Это стихотворение тоже сочинено. Но не в том смысле, что предыдущее. Чувство, стоящее за ним, не сочинено, сочинен ореол вокруг него, трагическая значительность, оно без всяких оснований раздуто до масштабов рокового и утонченно-сложного. И соответствующего амплуа — модного тогда амплуа роковой и сложной женщины, против воли приносящей несчастье. Правда, судя

по стихотворению, несчастья пока еще никакого не произошло. Но есть надежда, что оно зреет. Во всяком случае, так об этом говорится, таким тоном. Между тем, в сюжете нет ничего рокового и необычного. Хороший мальчик влюбился (а может, даже его нарочно в себя влюбили, интереса ради, — тональность позволяет и это предположить) в женщину, которая старше и опытнее, чем он, но его не любит. Отчего он, естественно, страдает. Вот и все. Впрочем, беда здесь совсем не в теме. О безответной любви написано — в том числе и самой Ахматовой — много хороших и даже гениальных стихов. Но как об этом говорится здесь! «А теперь он знает *все* не хуже мудрых и старых вас». Больше всего меня умиляет это «все». Неужто все нажитое за жизнь этими «мудрыми и старыми» сводилось к тому, что любовь может приносить и страдания? Впрочем, тогда было модно сводить все свои интересы к «миру страстей», ограничиваться им, углубляться в него. Но чувства мальчика для этого ампула, сочиненного и разыгрываемого в духе всех сложностей и красот «серебряного века», — только фон, повод, а «раскрывается» нелюбовь. Из-за стремления поднять ее на большую высоту получается чуть ли не наслаждение этой нелюбовью, упоение ею, к чему автор вряд ли стремился. И что в принципе противоречит вкусу, ибо читателю, к слову сказать, нет особой радости идентифицировать себя с подобным чувством. А ведь это — Ахматова, человек, которому вкуса не занимать. Далеко может увести от себя ампула, даже если оно «в духе времени». В духе времени, а не поэта Ахматовой. Капитуляции, как известно, всегда бывают в духе времени. Надо ли оговариваться, что не этими капитуляциями определяется творчество Ахматовой, и что эти капитуляции у нее были всегда частные и касались только «сочинительства»? Сочинительство же, конечно, начисто исключало не только откровенность, но и откровение, катарсис. Стихи эти иногда и «затягивали» в себя, но никуда не вели. Но не всегда такие стихи основывались на сочинительстве, Например, вот стихи явно не сочиненные:

Хочешь знать, как все это было? —
Три в столовой пробило,
И, прощаясь, держась за перила,
Она словно с трудом говорила:
«Это все... Ах нет, я забыла,
Я люблю вас, я вас любила
Еще тогда!»
— «Да».

Мне лично эти стихи не кажутся выдуманными. Они даже по-своему выразительны и точны, хорошо написаны. Но именно «по-своему» — минуя суть самого чувства. А ведь речь тут только о чувстве. Стихотворение как бы представляет сцену разрыва или неудачного признания в любви из какого-то романа. Это его сюжет. Но сюжет здесь в центре всего. Через него мы должны ощутить чувство. Остальное — звучание, ритм, экспрессия — все работает на сюжет, выявляя и обыгрывая чисто сюжетные обстоятельства и действуя через них. Стих передает и ритмически подчеркивает сбивчивую речь женщины в полуобморочном состоянии. Но, к сожалению, из сюжета (ведь это лирика, а не проза) мы опять получаем представление только о количестве чувства, о его действии (бессвязная речь, обморок и тому подобное), а никак не о его сути и качестве, то есть о личностном содержании. Поэтому нам опять не к чему приобщаться, не с чем идентифицироваться. В конце стихотворения мы узнаем, что чувство это у женщины давнее, и что он это знает, но тем не менее... Собственно, это то, к чему ведет все стихотворение: «Я люблю вас, я вас любила еще тогда». И в конце максимально укороченная строчка — основной удар: «Да!». Этот удар должен был бы нас сразить. Но не сражает. Потому что опять речь только о количестве чувства. Правда, сделана здесь одна попытка вырваться из заколдованного круга. Она в слове «тогда». По-видимому, слово это должно нести не только обозначение давности, но и какую-то цепь качественных ассоциаций: что-то такое «тогда» было — вокруг, во мне, в жизни, в моем дове-

рии к ней, в том, какой я тогда сама была... Но этого нет. Эти неработающие интимные намеки на то, о чем якобы может и даже должен знать или догадываться читатель, тоже связаны с отношением «серебряного века» к творчеству и личности художника. Парадоксально, что хоть Ахматова никогда не была полностью во власти этого культа, но никогда не была и полностью свободна от него. Рецидивы его не раз возникали у нее даже в старости, совсем в другую эпоху. Вот стихотворение 1961 года, то есть написанное после всех событий, размышлений и переживаний признанным великим поэтом:

Угощу под заветнейшим кленом
Я беседой тебя не простой —
Тишиною с серебряным звоном
И колодезной чистой водой.
И не надо страдальческим стоном
Отвечать... Я согласна. Постой, —
В этом сумраке темно-зеленом
Был предчувствий таинственный зной.

Уж эти стихи явно не сочиненные. И намного более убедительна их интонация, чем в предыдущих. И чувствуется — даже в модуляциях голоса, — что речь о серьезном. Но не более. Мы вроде что-то чувствуем, но сами не знаем, что именно. Такое ощущение, что мы при чтении пропустили какую-то мелочь, и только поэтому нам трудно понять, к чему относятся и что значат «предчувствия», к которым в этом стихотворении все сводится. Но мы ничего не пропустили. Просто и это стихотворение словно рассчитано на то, что мы знаем и должны знать все стоящие за ним обстоятельства жизни автора или какого-то романа, к которому это относится. Но мы их не знаем и потому не понимаем, о чем речь. Не понимаем не только логически, но и эмоционально. Стихотворение вовлекает в себя, ведет читателя, но из-за этих недоговоренностей оставляет его потом растерянным среди дороги. Словно заманивает пиршеством и только мажет по губам. Но тут возни-

кает еще одна проблема, спорная и непростая, — о музыке стиха, о границах ее возможностей, о той роли, которую она может или не может играть в поэзии, безусловно, тому «заманиванию», о котором мы сейчас говорили, помогает музыка стиха. Она придает некоторую иллюзию выразительности и завершенности. Но от неудовлетворенности нас не защищает. Некоторых эти мои рассуждения удивят.

Чем в стихах больше музыки, тем, по их мнению, лучше, ибо стихи должны звучать, должны быть музыкально убедительны. Но тут легко забыть, что для воплощения поэтического замысла этого недостаточно; стихи обязательно где-то должны еще и прорезаться смыслом. Этот смысл (необязательно мысль, но — смысл волнения) должен где-то подходить к своей кульминации или выходить на поверхность. Ей-богу, стихотворение от этого не станет поверхностным. И никак это не умаляет возможностей читательского сотворчества, о котором многие так пекутся. Соблазны, которым Ахматова уступила в этих стихах, действуют и поныне. Дело в том, что она «научила женщин» (и мужчин тоже) «говорить» именно такими стихами. А не теми, которые я люблю и о которых дальше пойдет речь.

7

Как ясно из заглавия работы, я отделяю Ахматову как поэта от породившего ее «серебряного века» и даже противопоставляю ее ему. Но только в том смысле, что она преодолевала его в себе и сохраняла свою независимость от него. Как уже говорилось, я не собираюсь отрицать ее многообразную связь с ним. Ахматова и сама всегда ощущала себя во многом человеком десятых годов, мысленно и творчески, если не корнями, то человеческими связями тяготела к этой эпохе и всегда возвращалась к ней (особенно яркий пример, при всей неапологетичности этого произведения по отношению к тем годам, — «По-

эма без героя»). Вовлеченность Ахматовой в атмосферу «серебряного века» в те годы очевидна хотя бы потому, что 10-е годы в жизни столетия совпали с 20-ми ее собственной долгой жизни — от двадцати одного до тридцати одного. Кстати, и лично для Ахматовой этот «век», вероятно, кончился с революцией, а отчасти даже и с началом первой мировой войны, когда, говоря ее словами, приблизился вплотную «не календарный — настоящий Двадцатый Век». С этим можно и не согласиться — в духовной и культурной жизни век, по-моему, начался раньше, еще в последние десятилетия XIX века, но понять, что она хочет сказать, можно вполне.

Эпоха, которая совпала с молодостью Ахматовой и «серебряным веком», была эпохой кризисной во всех странах европейской культуры. И везде — это ясно прочитывается, например, в «Докторе Фаустусе» Томаса Манна — были явления, подобные нашему «серебряному веку». Впрочем, на кризис это вовсе не походило. Скорее, на расцвет. Казалось, цивилизация торжествует окончательную победу. Все несовершенства бытия одними воспринимались как частные недоделки величественного здания, а другими — как проявление чьей-то злой воли. Как же — такой расцвет, а еще есть бедные и голодные! И нет еще полной свободы! Как можно с этим мириться! Отсюда и стремление (потом, как известно, кое-где, к сожалению, воплотившееся) вообще покончить с обществом, где эта злая воля свободна. Но другие, более чуткие, если *не* понимали, то чувствовали, что голодных и в рамках этого общества в их странах скоро не будет (ведь голод, в общем, исчезал на глазах), а свободы, во всяком случае личной, и так становится все больше, да уже и сейчас почти достаточно. Единственное, что еще оставалось неосвоенным и неприрученным (и потому представлявшим интерес), был «мир страстей». И совсем не в ракурсе открытий Достоевского, то есть не в смысле стремления осознать эту унижающую тайную власть подпочвы и самоутверждения не только над мгновенными решениями и поступ-

ками людей, но даже и над самыми их высокими побуждениями — и по возможности от нее освободиться. Наоборот, культивировалась как признак душевного богатства не защита от страстей, а незащитность перед ними. Это отчасти объясняет и тот культ личности художника и художественности, о котором шла уже здесь речь неоднократно.

На этом культе стоит еще немного задержаться. Речь идет о той повышенной серьезности, чтобы не сказать поклонении, с которым в это время в определенных кругах относились к любому, кто пишет, рисует, играет на сцене или музицирует (и они сами к себе так относились). Но ведь это вообще свойственно романтической традиции — в чем же разница? Конечно, отнести этот «век» к романтизму можно, но окажется, что это «романтизм» особый, ибо он почти начисто лишен романтики в общепринятом смысле этого слова — хоть героической, хоть байронической, хоть идиллической. Культ художника в былой романтической традиции определялся его причастием к некому общему идеалу или хотя бы к чему-то, за идеал принимаемому. В сущности, это был культ самого идеала, несомого художником. И только в связи с этим — культ его, как сказали бы сегодня, профессионально-творческих возможностей. В эпоху же «серебряного века» происходило обратное — высокие качества личности, ее причастность к идеалу практически выводились из ее способности к профессиональным занятиям, зачастую чуть ли не техническим. Это давало и «право» на «исключительные страсти», и всеобщее уважение к ним как к проявлениям обязательно ярких признаков оригинальной и богатой личности, ставших чем-то вроде необходимого сырья для обработки — чтобы эта «техника» не совсем вхолостую крутилась. Побочный продукт всего этого — литературный быт, «круг посвященных», особый вид светскости (в подлинном виде вымиравшей). Так и получилось, что любая подробность существования человека, «овладевшего формой» или даже просто мастерством, бы-

ла окружена мистическим ореолом служения: то ли Богу, то ли некой утонченной духовности, то ли прямо демону — существу, в представлении многих имевшему самое непосредственное отношение к «миру сложных страстей», а следовательно, к искусству, по этой причине тоже ходившему в духовных чинах и уж во всяком случае легко избавлявшему от самого позорного — от мещанства и банальности. Поэзия — всегда требование от жизни невозможного. Но только невозможной гармонии, а не вечного упоения, например, или вечной нирваны. Теперь поэтичным начинает казаться «штурм невозможностей» — экзистенциальных, конечно. К этому «штурму» располагало представление об избыточности возможностей цивилизации. Здесь, хоть это и не относится к теме, я должен оговориться. Я вовсе не склонен, как может показаться, следовать обновившейся моде относиться с пренебрежением к достижениям цивилизации. То, что есть страны, где никто не голодает, где людям доступны достойная их одежда и сносное жилье, то, что в этих странах действуют (или, во всяком случае, считается необходимым, чтобы действовали) регулирующие жизнь и взаимоотношения людей законы, меня только радует. И если цивилизация погибнет от нашей неумеренности в пользовании ее благами, от нашей безответственности по отношению друг к другу и к той силе, которую лучшие из нас с ее помощью для нас добыли, то в этой катастрофе (а это будет катастрофа, и она возможна, даже не обязательно ядерная) будем виноваты мы, а не она. Гибельна не цивилизация, гибельна мысль или ощущение, что условия, ею созданные, освобождают нас от тревоги за жизнь, от духовных забот и оставляют только одну заботу — о дальнейшем развитии потребительской изоциренности. То, что говорилось здесь об искусстве «серебряного века», можно сформулировать и так: с одной стороны, оно — проявление этой тенденции, а с другой — реакция на нее.

Презрение к «прозе жизни» становилось существенным требованием, несоответствие которому обрекало

и саму жизнь на санкции, хотя бы поэтические. Разумеется, не у всех это заходило так далеко, как зашло у Блока (кстати, как мы видели, далеко не всегда презиравшего эту «прозу»), который поначалу внутренне поддерживал буквально все жестокости революции — лишь бы покарать и очистить этот негармонический, антипоэтический мир. Большинство отделялось поэтизацией ощущений, собственной страстности, а иногда и мистифицированной животности — принявшим иные формы, но все тем же (как у Надсона и у всех, кого принято было презирать) конфликтом чувствительной души с не понимающей или не удовлетворяющей ее пошлой действительностью. Зато, как говорится, форма была модернизирована, причем сразу всеми, как в промышленности, где нельзя отставать. В культуре наступала эпоха массового индивидуализма. Следы его мы видели отчасти и в творчестве Ахматовой.

Впрочем, она сама в себе это ощущала, и отнюдь не с радостью. Д.Е. Максимов в интересном мемуарном очерке «Об Анне Ахматовой, какой помню», комментируя «Песенку слепого» из несостоявшейся пьесы 40-х годов «Пролог»:

Не бери сама себя за руку..
Не веди сама себя за реку..
На себя пальцем не показывай..
Про себя сказку не рассказывай..
Идешь, идешь — и споткнешься, —

задается следующим вопросом: «Не звучит ли в содержании этой незатейливой песенки, спетой каким-то мудрым слепцом (может быть, странником, «простым человеком»), не звучит ли в ней предостережение об опасности, заключающейся в той индивидуалистической стихии «сказки» (курсив мой — *Н. К.*) о своем «я», которую автор в себе и своем творчестве несомненно ощущал?».

Я с ним вполне согласен: звучит.

От этого не свободны и многие другие, иного качества стихи Ахматовой, даже такие блистательные, как знаменитая и вызвавшая множество подражаний «Песня последней встречи». Но все же такие стихи сильно отличаются по качеству и значению от тех, о которых мы говорили до этого. «Сказочка о своем “я”» дает о себе знать и в них, но они все же не поглощены ею. Попробуем прочесть это стихотворение, следуя за его течением. Итак, первые шесть строк:

Так беспомощно грудь холодела,
Но шаги мои были легки.
Я на правую руку надела
Перчатку с левой руки.

Показалось, что много ступеней,
А я знала — их только три!

Совершенно замечательное начало, особенно первые две строки, отличающиеся чисто ахматовской точностью в передаче психологического состояния. Сюжет (а в этом стихотворении есть сюжет) здесь довольно прост: последнее запретное свидание, завершение какого-то тайного обреченного романа. Детали передают не только напряженность, но и характер волнения: грудь беспомощно холодеет, а шаги легки — навстречу любви. И от нетерпения (а может, и от страха) кажется, что много ступенек, хотя наперед известно, что их только три. В волнении же (настолько оно велико) произошла и знаменитая путаница с перчатками: именно эти строки о перчатках и произвели наиболее глубокое впечатление на многих дам, желающих ощущать свои чувства значительными. Появились, по свидетельству И. Одоевцевой, даже подражания типа: «Я на правую ногу надела галошу с левой ноги».

Вроде бы и здесь все эти детали, кроме тех, которые заключены в первых двух строках (конечно, если рассматривать все это как прозу, только как детали сюжета), говорят больше *о количестве* чувства, чем о его качестве или *характере*. Но есть еще тон, звучание, музыка этих строк, и они тоже имеют прямое отношение не только к впечатлению, но и к содержанию чувства. При всей тревожности создается ощущение какой-то лености, следовательно, высоты чувства, этой тревожностью только подчеркнутой, легкости не от легкомыслия, а от необременяющей высоты, что свойственно подлинной любви. Свет этой тревоги из первых двух строк как-то проникает и в строки про перчатки. И поэтому они звучат не только не смешно и не суетно, как должно было бы быть по сюжету (подумаешь, барышня перчатки перепутала, спеша к кавалеру!), но серьезно и значительно. Все это можно отнести и к строкам про ступеньки. Чувство высокой тревожности нарастает, но мы еще не знаем, с чем оно связано. Это должны разъяснить следующие шесть строк:

Между кленов шепот осенний
Попросил: «Со мною умри!
Я обманут моей унылой,
Переменчивой, злой судьбой».
Я ответила: «Милый, милый!
И я тоже умру с тобой...»

Не знаю как для кого, но для меня именно здесь, где по месту в стихотворении чувство, до этого только смутно ощущавшееся, должно выходить на поверхность, в сюжет, в содержание, стихотворение застопоривается и буксует. Опять качество заменяется количеством — в этих строках всецело. Я много раз (особенно в юности) слышал, как разные люди бормотали начальные строки этого стихотворения, но не помню, чтобы кто-либо для себя бормотал эти. Их как бы признавали, не вспоминая. В

сущности, мы ничего из них больше не узнаем про это чувство, диалог, из которого мы как будто должны что-то понять, так и остается неопределенно-условным, театральным. Уж слишком «в духе времени» этот многозначительный, почти загробный голос (здесь все равно — слышащийся в ветре или слышимый сквозь ветер), жалующийся на свою переменчивую и злую (то есть не жалкую все же, а только сложно-красивую) судьбу. Голос из сказки о самом себе. Как и голос самой героини, готовой умереть вместе. Занятого у предшествующих строк волнения не хватает на то, чтобы преодолеть невыразительность финальных. Процесс художественного творчества, кроме всего прочего, еще и процесс осознания чувств, а здесь его нет. Одна декламация. Но стихотворение на этом не кончается. Последние строки опять конкретны и по качеству приближаются к первым шести:

Это песня последней встречи.
Я взглянула на темный дом.
Только в спальне горели свечи
Равнодушно-желтым огнем.

Строчки эти, объединяясь с началом и вместе с ним ассимилируя середину, достойно завершают и, в общем, «вывозят» стихотворение. Ощущение обреченной любви, а вместе с этим ограниченности земных возможностей прекрасного все же достаточно пронзительно. Ограниченность возможностей бытия здесь не внушаемая внешняя идея. Она в самом ощущении греховности этой нереализованной возможности счастья. Равнодушно-желтый огонь свечей, как обычно, горящий в спальне уже заснувшего (тоже как обычно) дома, — напоминание о продолжающемся жестком порядке вещей, из которого героиня наспех и крадучись на минуту ускользнула, для того чтобы проститься со своей обреченной любовью. Стихотворение вовсе не бунтует против этого порядка, оно, по-видимому, признает его власть (чем оно, как и

его автор, скажу, забегая вперед, в общем, и противостояло — пусть и аполитичной, но экзистенциально все равно ниспровергательной — атмосфере «серебряного века»). Кстати говоря, если бы стихотворение этого порядка вещей и «мещанских норм» не признавало, не было бы его внутренней коллизии и оснований для его появления. А может, уменьшилось бы обаяние всего творчества Ахматовой, обаяние напряженного драматического смирения, свойственного вершинам русской поэзии со времен Пушкина.

По характеру это стихотворение представляет собой то ли поэтическую новеллу, то ли опять-таки сцену из некоего романа, который как бы предполагается известным читателю и на этот раз действительно что-то отдаленно напоминает. Может быть, Тургенева. Только дается эта сцена здесь в восприятии не автора, а одной из героинь — допустим, Наташи Ласунской из «Рудина» или Аси из одноименной повести.

В отличие от многих других стихов Ахматовой — о некоторых из них мы еще будем говорить — это стихотворение, безусловно, не образец законченной и чистой формы. Но нас сейчас интересует другое. Нас интересует то волнение чувства и, главное, то дуновение поэзии, которое мы все-таки в немалой степени ощущаем за его сюжетом и ритмом. Это как бы отсвет иного, *совсем не тургеневского* романа. Роман этот прошел через всю жизнь Ахматовой и приобретал разное историческое содержание, он был естествен и неизбежен для нее и для тех эпох, на фоне которых развивалось его «действие» и ее творчество, он стимулировал культурную устойчивость.

Конечно, лучшими стихами Ахматовой были и остаются те, которые вырывались из границ даже такого романа, используя и его только как площадку для взлета. Но и многие из тех стихов, которые настолько тесно связаны с этим романом, что трудно существуют вне его (но все же существуют), тоже представляют серьезную эстетическую ценность.

В сущности, такой (а в каком-то смысле именно этот) «роман» — «в общем виде» — лежит в основе творчества каждого настоящего поэта: для подлинного взлета нужна площадка. Без нее можно обойтись только при спортивных полетах — допустим, в глайдерном спорте, когда летят невысоко, недалеко и, главное, без груза. Роман этот — вечный роман поэзии (то есть гармонии) и бытия. В разные времена этот роман проявляется по-разному, ибо по-разному выглядит бытие, а значит, и невозможность полного воплощения в нем гармонии, в чем и состоит «коллизия» этого вечного романа. Беда «серебряного века» была не в том, что с ним был связан этот роман, а в том, что «век» его подменял другим, менее значимым, но выглядевшим более эффектно и «современно», романом, границы мира которого почти целиком определяются представлениями времени и даже круга общения. Впрочем, об «иерархии романов» в творчестве Ахматовой мы еще будем говорить.

Правда, невозможность, которая лежала в основе ее романа, имела наибольшее жизненное основание: Ахматова была одновременно и женщиной, и поэтом, а не просто сложной поэтической личностью. Но в духе времени был роман именно такой личности, и порой он брал свое и в ее творчестве. Оснований для него тоже было достаточно. Ведь и в самом деле фигурой она была незаурядной, отличавшейся даже в кругу, где незаурядность считалась нормой. Все-таки не на каждом шагу встречались женщины, столь образованные, яркие, умные и самобытные, да еще и писавшие невиданные доселе женские стихи, то есть стихи не вообще о «жажде идеала» или о том, что «он так и не понял всю красоту моей души», а действительно выражавшие, причем грациозно и легко, женскую сущность. И через нее (но это уже не все понимали) — поэзию. Как же тут не поддаться «духу века» и не начать сочинять сказку о таком (!) «своем “я”», не начать писать как бы из глубины важного для всех и как бы должного всем быть известным

романа, где каждая деталь подчеркивает значительность героя. И где это ощущение общей важности происходящего, приобщение к этому ощущению, чуть ли не суть якобы эстетического наслаждения. «Якобы», ибо происходит легкая и поначалу малозаметная подмена: вместо наслаждения значительностью чувств читатель через ауру стихотворения приобщается к чувству авторской значительности и наслаждается этим.

Во всяком случае, нисколько не удивительно, что в этой атмосфере самых разных претензий к возможностям бытия, претензий на невозможное — «претензия» талантливой и обаятельной женщины быть настоящим поэтом должна была тогда восприниматься как одно из многих явлений того же ряда. А ее роман должен был выглядеть частным случаем общего романа поэтической личности, противостоящей пошлому морю усредненности. Следы этого иногда видны даже в очень хороших стихах, в принципе вырвавшихся из-под власти этого поветрия (ведь настоящий ее роман был другим, и было нечто, что было выше всяких романов). Такие стихи — как бы на переходе, совмещают разные тенденции, разные романы. Яркий пример — стихотворение, написанное в январе 1914 года:

В последний раз мы встретились тогда
На набережной, где всегда встречались.
Была в Неве высокая вода,
И наводнения в городе боялись.

Он говорил о лете и о том,
Что быть поэтом женщине — нелепость,
Как я запомнила высокий царский дом
И Петропавловскую крепость! —

Затем что воздух был совсем не наш,
А как подарок Божий — так чудесен.

В этом стихотворении двенадцать строк. Привел я пока что только десять — о двух последних буду говорить

позже. Строки эти никаким романом не отдают, ни на какие посторонние обстоятельства, которые читателю надлежит знать заранее, не намекают и ни в каком романе не нуждаются. Тут все настоящее: и характер отношений, и чувство. Между героями есть какая-то близость. И то, что их сближает, почему-то важно и для нас, радует нас — в том и поэзия... Эта радость разлита в воздухе — в воздухе Петербурга и самого стихотворения. И конечно, сделано это точно, с мастерством — иначе бы не ощущалось. Этому ощущению способствует все, что замечает глаз, самый фон этой встречи — высокая вода в Неве, грозившая наводнением, которого в городе боялись, но теперь уже, видимо, не боятся. А может, и раньше боялись зря: ничего не было. Во всяком случае, в момент воспоминания об этой встрече (а именно он воплощен в стихотворении) ничто им больше не грозит. Все вокруг вспоминается только как красивое и праздничное, даже этот страх, который встретившимися, наверное, и не разделялся. Хотя бы потому, что их занимало, во всяком случае, нас сейчас занимает, нечто другое. Мы еще не знаем, что именно, но уже заражаемся ощущением тревожной праздничности, праздничной важности этой встречи, чистоты, растворенной в воздухе. И даже не важно, любовная ли это встреча или просто в ней было только что-то от любви, не получившее развития. Важно, что чувство, движущее стихотворение, при всей его неопределенности — прекрасно. Во втором четверостишии это впечатление только усиливается. Конечно, герой, когда «говорил о лете и о том, что быть по-этом женщине — нелепость», говорил вещи, не совсем приятные для ее слуха, но ведь и не совсем неприятные. Он, по-видимому, не только признает, что она — поэт (кстати, «нелепость» ни вообще, ни в этом контексте не означает «невозможность»), но и волнует его так остро эта «нелепость», может быть, еще и потому, что он имеет на нее иные виды. Хотя то, что возбуждает в нем эти «виды», возможно, имеет отношение к тому, что она — поэт. Тут мимоходом задета очень серьезная тема. Ибо хоть вы-

сказывание это с точки зрения многих и ретроградное, но, как мы потом увидим и как еще в 1914 году понимал Н. Недоброво (о его статье, которую Ахматова до конца жизни считала лучшей работой о себе, чуть ниже), не во все бессмысленное. Конечно, я не собираюсь всерьез обсуждать вопрос, может ли женщина быть поэтом. Тем более в статье, посвященной Ахматовой — одному из самых крупных современных поэтов. Однако проблема тут есть. Желания отказаться от своей «нелепости» героиня не испытывает — только боль. Но эта боль — боль от столкновения ограниченности бытия и безграничности прекрасного — светла и не тяжела. «Высокий царский дом и Петропавловская крепость» появляются здесь не потому, что героиня переводила на них глаза, скрывая смущение и недовольство (хотя, может, и это было), а потому что все это по-особому вырисовывалось в воздухе, который был «как подарок Божий — так чудесен». Но в конце стихотворения как бы выдыхается, и «серебряный век» подсказывает простейший выход в духе своей мифологии. И поэтому последние две строки возвращают нас к уже знакомому нам «роману творческой личности»:

И в этот час была мне отдана
Последняя из всех безумных песен.

Строки эти провисают, как неживые. После двух предыдущих сильных и внутренне наполненных строк здесь, как мне кажется, и музыка стиха как-то сбивается, и интонация пропадает. Мы ведь и так — по тому, что сказано до этого, — понимаем, что он вполне способен посвящать ей стихи. А уж сводить к этому все стихотворение и вовсе не было оснований. Ибо до этих строк оно было наполнено движением другого чувства. Ценность и прелесть этого часа (в стихотворении, то есть для нас) не определяется тем, что ей написано стихотворение, пусть оно не просто «безумное» (комплимент того времени, означающий неукротимость и богатство природы), а даже гени-

альное. Ибо читатель идет путем стихотворения Ахматовой, находится как бы внутри его, и любые другие стихи, упоминаемые в нем, для него не более чем деталь сюжета.

Соблазн обойтись таким приблизительным решением и подкрепить чьими-то неизвестными стихами поэтичность наполняющего стихотворение воздуха — чудесного, как Божий подарок, — мог подействовать на человека такого четкого вкуса, как Ахматова, только в такой атмосфере, в которой уже сам факт занятия искусством воспринимается как доказательство высоты и глубины чувств, а именно такой была атмосфера «серебряного века». Между тем, подлинный замысел стихотворения к этой атмосфере отношения не имеет.

Странным образом связана с ней только тема «женщина-поэт», которая все же не вовсе исчезает из этого стихотворения (она в основе всех его невозможностей), хотя в значительной мере и растворяется в более широких поэтических обобщениях.

Тем менее исчезает эта проблема из ее судьбы. В этой коллизии — вся ее жизнь. Что, конечно, как-то отражается на ее поэзии, хотя прямо темой стихов становится редко. Коллизия эта безусловно трагическая. Тут я неожиданно влез в «женский вопрос», когда-то волновавший русскую интеллигенцию, а теперь — западных феминисток.

Но меня сейчас интересует не справедливое распределение профессий между мужчинами и женщинами, а поэзия. И тут все начинает выглядеть еще сложнее. Прежде всего поэзия не профессия, а призвание. С этим согласятся все. Но ведь многие согласятся и с тем, что женственность тоже не профессия, а призвание. Только вот призвания эти плохо совмещаются друг с другом. В женственности есть много поэзии, но поэзия требует совсем не так много женственности. Для того чтобы быть поэтом, то есть все время *пребывать* в этом состоянии (а иначе ничего не получается), женщине приходится частично (и в существенной части) жертвовать своей женственностью. Великие «банальности» бытия: дети, семья, вообще личная жизнь, — для

нормальной женщины и в нормальных обстоятельствах всегда имеют больше значения, чем общее отношение к жизни. «Больше значения» вовсе не означает неспособность женщины тонко понимать и чувствовать высокие материи. Тонких ценителей поэзии — это еще Пушкин заметил — среди них всегда было много. И это никак не противоречит, скорее, соответствует, их женской сущности. И умение самовыражаться в стихах им дано не в меньшей степени, чем мужчинам. Но все время оставаться главным образом поэтом (а для того, чтобы жить и расти, надо быть в это погруженным непрерывно) и при этом непрерывно оставаться женщиной (а это тоже нельзя делать наполовину) все-таки, увы, затруднительно. И дело даже не в будничной тяжести, а в душевной озабоченности.

Поэзия ведь вообще занятие не совсем естественное — и для мужчин тоже. Многие поэты (преимущественно того же «серебряного века» — например, Блок) жаловались на то, что приходится живые чувства заключать в клетки фраз и слов, теряя возможность непосредственно воспринимать жизнь и радоваться ей. Вероятно, в этих жалобах есть и преувеличение. Но что в душе поэта все время должна происходить внутренняя работа, связанная с эмоциональной ориентацией в окружающем мире, для меня бесспорно. А если принимать во внимание эпоху, когда поэт почти «официально» должен был доказывать себе и другим свое небожителство, то есть непрерывное экстраординарное чувствование, — короче, все время занимать всех романом своей неповторимой творческой личности, тем более. Безусловно, это противоречит нашему представлению о женственности, о том, что она вносит в мир.

10

Однако факт остается фактом — Ахматова была и женщиной, и поэтом. Полагаю, что и появление ее, и приятие было связано с общими процессами, происходящи-

ми в жизни. И как бы в ее окружении при этом ни отрицали бездушное чудовище прогресса, все это, как мы уже говорили, было отчасти связано, а иногда и в духе времени даже сознательно связывалось, именно с ним — с прогрессом не только культуры, но даже и положения женщины в обществе.

Н.В. Недоброво был первым, кто по двум успешным к тому времени выйти сборникам — «Вечер» (1912) и «Четки» (1914) — и нескольким журнальным публикациям после них по достоинству определил масштаб явления, понял, что перед ним серьезный большой поэт, а не просто молодая способная женщина, «погруженная в узкий мирок своих личных переживаний». Жданов был не первый и не единственный, кто обвинял Ахматову в узости «мирка», — многие вполне порядочные люди, любившие ее стихи, тем не менее думали так же и только прощали ей и себе эту слабость.

Но при всей тонкости это все-таки статья того времени, обращенная к тогдашнему ценителю, не свободная от понятий того времени. Хотел этого автор или нет, он отчасти рассматривал явление Ахматовой и в плане прогресса, и развития женской эмансипации. Рассуждал он так. Поскольку вся лирика до сих пор была «мужской», то мужчины создали в лирике традиционное представление (теперь сказали бы: «миф») о вечно женственном. Трудности Ахматовой как создателя женской лирики практически заключаются в том, что специфически женское представление о вечно мужественном пока выработано не было, и ей предстояло открывать его самой, на ощупь. Повидимому, в дальнейшем по этой логике такое представление — в значительной степени благодаря усилиям Ахматовой — должно было быть выработано, и женщины в лирике получили бы равные с мужчинами возможности.

С этим согласиться трудно. Не могу я согласиться и с тем, что лирика, которая существовала до Ахматовой, была только регионально-мужской, она была «просто лирикой», касающейся всех. И читающие женщины не чувствовали ее

чужой. Также «просто лирикой», нужной всем (это доказывает и Н.В. Недоброво в своей статье), была и лирика Ахматовой. В ее стихах есть женское чувство, никак не противоречащее мужскому представлению о нем и мужской потребности в нем, есть, может быть, даже игра этим самым вечно женственным. Но стихи этого рода только исходный рубеж для выхода к иным горизонтам, или, как сказано выше, «площадка для взлета». Особенно если речь идет о ее шедеврах. Например, таком, как это знаменитое стихотворение из триптиха «Смятение» (1913):

Не любишь, не хочешь смотреть?
О, как ты красив, проклятый!
И я не могу взлететь,
А с детства была крылатой.
Мне очи застит туман,
Сливаются вещи и лица.
И только красный тюльпан,
Тюльпан у тебя в петлице.

Это стихотворение никак нельзя назвать новеллой или сценой из какого-либо романа, о котором мы должны знать или догадываться заранее. Все, что говорит стихотворение, и все необходимое для его понимания оно содержит в самом себе, в своих восьми коротких строчках, в своем лирическом взрыве. В этом стихотворении герой вроде бы тоже неясен, в сущности, он и не герой, он объект чувства, повод, а героем стихотворения оказывается сам взрыв чувства. Сюжет, объект, да все внешнее содержание вообще — если его выделить — мало что говорят: любимый красив, но не любит и не хочет смотреть. И еще известно, что у него «тюльпан в петлице». Но сюжет здесь определяет содержание меньше, чем где бы то ни было. Да автор и вообще не занят сюжетом, прояснением сюжетных обстоятельств. Нет и игры на сложности и таинственности этих обстоятельств (как отчасти в «Песне последней встречи»). О них специально ничего не говорится. «Не любишь, не хочешь смотреть» — это не сообщение о том, что кто-то ко-

го-то не любит, а сразу реакция на это. То же и следующая строка. Она вовсе не для того, чтобы сообщить нам о красоте возлюбленного. В ней смятенность, сраженность этой подавляющей красотой. И «красный тюльпан в петлице» из последней строки появляется там не столько как деталь внешности (хотя это деталь внешности, и отчасти даже характеризующая) и даже не как сообщение о том, что женщина так любит, что уже ничего, кроме этого тюльпана, не видит (хоть и это правда), а опять-таки прежде всего как реакция: женщина *поражена* тем, что уже ничего не в состоянии видеть, кроме этого красного тюльпана, потому и говорит о нем. Кстати, это и есть самая высокая степень мастерства — проявляется только реакция на чувство, а все ясно. Только смятение, только чувство.

Но тут возникает один детский, «шестидесятнический» вопрос: а так ли уж нам важно это чувство, чтобы имело смысл приобщаться к нему? Подумаешь, барышня влюбилась в красавчика и страдает от его невнимания! Ведь такое переживание по ценности может быть сродни и юным переживаниям госпожи Лариной, будущей матери пушкинской Татьяны, которая, когда «был еще жених ее супруг... поневоле... вздыхала о другом, который сердцем и умом ей нравился гораздо боле» и о ком дальше без обиняков говорится:

Сей Грандисон был славный франт,
Игрок и гвардии сержант.

Нет, я совсем не против того, чтобы читать истории таких барышень, но все же — если речь о художественных произведениях, — мне интереснее читать о *них*, а не *их самих*. Ибо при всей симпатии к госпоже Лариной мне было бы трудно эмоционально отождествить себя с ней. А читатель поэзии, как мы не раз говорили, всегда в процессе чтения отождествляет себя с автором, как бы читает от его имени, становится им на время чтения. И поэтому отождествление должно как-то «окупаться» для читателя, обо-

гащать его — зряшное же отождествление может только раздражить, как всякое действие, не оправдавшее ожиданий. На госпожу Ларину мы глядим с удовольствием и сочувствием, но глазами Пушкина, а не ее собственными.

Итак, тот же «шестидесятнический» вопрос в другой форме: «окупается» ли для читателя, имеет ли для него смысл отождествление с этим смятием молодой барышни или дамы?

Содержание чувства, что не надо доказывать, зависит от содержания личности, от всего, чем она живет вообще, а не только в тот момент, который вылился в стихотворение и в котором это «все» так или иначе присутствует. А сформирована эта личность не только природой, но и эпохой, обществом, всем, чем живут люди в ее время. И все это так или иначе проявится в стихотворении. «Что?» и «как?» неотделимы друг от друга, и оба исходят из «кто?».

Уже первая строка: «Не любишь, не хочешь смотреть?» — поражает какой-то требовательной, возмущенной интонацией. Это не традиционная женская жалоба на безответную любовь, а по меньшей мере изумление: как может *такое* происходить *со мной*, которая столько за собой чувствует? Энергия стиха такова, что читатель — хочет он этого или нет — воспринимает это удивление как естественное и правомочное. Само обаяние стиха как бы санкционирует это авансом. Иначе бы это звучало пустой претензией. Но кредиты в поэзии недолгосрочны.

Вторая строка: «О, как ты красив, проклятый!» — вносит в эту возмущенную уверенность нотку беспомощности, растерянности, здесь-то впервые и выходит наружу смятение. Оно именно в этом столкновении горделиво-удивленной интонации первой строки и вырвавшегося против воли беспомощного и восхищенного стона второй. Кредит доверия еще не компенсирован, но что-то в его погашение мы уже начинаем получать. Но что именно? Это должно разъясниться, разрешиться чем-то, что объяснит и этот тон, и причину смятения. И разрешиться тут же, иначе стихотворение обанкротится, и строчки эти обвис-

нут, как паруса без ветра. И это действительно тут же разъясняется. Следующими же строчками: «И я не могу взлететь, а с детства была крылатой».

Так вот оно что — крылатость! Все напряжение предыдущих строк получает обоснование и оправдание. Ведь крылатость — это как раз то, ответ чего мы ощутили в предшествовавших строках и что придавало достоверность их уверенности и обаянию. Но стихи эти отнюдь не заявление о собственной крылатости, каких много было тогда и бывает поныне. Крылатость тут появляется попутно, как бы против воли. Крылья начинают ощущаться, о них вспоминают и говорят только потому, что они вдруг отказывают. Все это стихотворение, в сущности, о том, как отказывают крылья под напором внезапно налетевшей страсти. Обыкновенной женской. Без чего не было бы ни обаяния этого стихотворения, ни самой «крылатости». Этой страстью очерчен незримый круг, замкнутый красным тюльпаном в петлице. Из его поля не то что не вырваться, а и не хочется — им унижающе подавлено само желание вырваться. Высокое индивидуальное начало на лету подсекается общей женской способностью к побежденности: уступает своей природе, своей «земности». Он не хочет смотреть, а ей все равно глаз не отвести. Какие уж тут взлетания!

Так в чем же все-таки обаяние этого стихотворения. Неужели только в том, что, как говорили в старину, небесное начало побеждается в нем земным, или дух плотью? Но ведь этого быть не может, это противоречит не только сути искусства, но и самому смыслу слова «обаяние».

Нет, обаяние стихотворения именно в том, что этой победой и не пахнет. Победа эта существует только в сюжете. На самом деле стихотворение, если можно так выразиться, борется с сюжетом как с предопределенностью бытия. Главное, что существует и действует в нем, это именно неукротимость этих крыльев или, если хотите, ощущение потерянной крылатости. В поэзии такое ощущение и есть присутствие. Да и сама сила страсти ощущается здесь именно в связи с ее парализующим действием

на эти крылья, обессиленные, но ни на секунду не забываемые, ощутимые. В этой ощутимости напряженность, острота и высота стихотворения, того ценного чувства, которым оно живет. Надо ли напоминать, что в поэзии всегда присутствует неразрешимая коллизия между духом и плотью, где дух никогда не отрывается от плоти, но и не поглощается ею. И именно потому, что это более чем женское стихотворение пронизано общей для человеческого духа коллизией, оно совершенно естественно читается и мужчинами. И, вероятно, через это общее они вдобавок проникаются и ощущением высокой женской души, где это откровение родилось. Но главное — само откровение.

Стихотворение это, как уже сказано, совершенно женское, лирическое, вроде бы вообще далекое от общественных проблем. Между тем, кроме всего прочего, оно еще и ответ на проблемы и споры времени. Хотя бы на споры о «женском вопросе».

Мы уже раньше говорили о том, что для самоутверждения женщины как личности Ахматова сделала больше, чем многие из тех, кто этим специально занимался. Завершенность и совершенство ее стихов превращали самоутверждение в самоутвержденность. Думаю, что многие в стихотворении эту самоутвержденность, не сознавая, чувствовали и благодарно на нее откликались. Таких стихов у Ахматовой много, они-то и есть Ахматова, и большинство из них относится к «чистой», даже интимной лирике. Ну чем не интимная лирика, например, такие, тоже знаменитые, стихи:

Настоящую нежность не спутаешь
Ни с чем, и она тиха.
Ты напрасно бережно кутаешь
Мне плечи и грудь в меха.

И напрасно слова покорные
Говоришь о первой любви.
Как я знаю эти упорные,
Несытые взгляды твои!

В этих стихах нет и не нужно обстановки, деталей времени и места, налицо опять только реакция, взрыв чувства. Только обобщенность, только эмоциональная и содержательная суть. Это тоже стихотворение высокой и чистой формы. Это стихи на любовную тему, но, конечно, не о любви. Но это и не попытка раздуть отсутствие любви до уровня глубокого лирического чувства, как в приводившихся выше стихах о мальчике, узнавшем печаль неразделенной любви, а естественный и благородный ответ вечной женственности на посягательства вечной низменности, выучившей все высокие слова. В этом ответе — высокое представление, высокий образ любви, приобщение к миру вечных ценностей. Но родилось оно, конечно, из опыта своего времени, своей жизни. Это можно и выявить при желании (даже если взять одну только внешнюю ситуацию, попробуйте представить такую свободу обращения с мужчиной и с такой темой на фоне пушкинского времени), но вряд ли здесь есть такая необходимость.

11

Хоть блистательный мирок «серебряного века» затуманивал голову иногда и Ахматовой, но она в глубине души всегда чувствовала меру вещей и знала, с чем имеет дело. И вот как виделось ей то, что ее окружало, и она в этом:

Все мы бражники здесь, блудницы,
Как невесело вместе нам!
На стенах цветы и птицы
Томятся по облакам.

Ты куришь черную трубку,
Так странен дымок над ней.
Я надела узкую юбку,
Чтоб казаться еще стройней.

Навсегда забыты окошки:
Что там — изморозь или гроза?
На глаза осторожной кошки
Похожи твои глаза.

О, как сердце мое тоскует!
Не смертного ль часа жду?
А та, что сейчас танцует,
Непременно будет в аду.

Эти, так сказать, новогодние стихи (они написаны 1 января 1913 года) не очень нуждаются в комментариях. Все, на что они реагируют, нарочито и замысловато. От странного дымка из трубки до узости юбки, позволяющей и без того стройной женщине зачем-то «казаться еще стройней». Во всем этом какая-то нервная потребность в чрезмерности, в экстрактах чувства. Это естественно, если «невесело вместе нам», если обычное восприятие от этой погони за остротой притуплено. «Невесело» ведь «нам» именно от этой нарочитости и чрезмерности. «А та, что сейчас танцует, непременно будет в аду» — так заканчивается стихотворение. Но чувствуется, что и та, что не танцует, а только надела свою узкую юбку, подозревает, что и сама — хоть не столь «непременно» — может оказаться там же. Какой-то шабаш ведьм, совместное погружение в грех. Не зря ведь она о себе: «сердце мое тоскует», словно «смертного... часа жду». Ведь весело нам или нет, «все мы (а не только «та, что танцует» — *Н. К.*) бражники здесь, блудницы», а это, по внутреннему убеждению стихотворения, карается. Такое сочетание естественного взгляда с неестественностью реальности и собственного поведения встречается в русской поэзии, кажется, еще только у Блока. Возможно, в этом сказалась и никогда не покидавшая Ахматову — ни на высотах просвещенности, ни в каких бы то ни было «падениях» — религиозность. Но я думаю, что имел значение и ее естественный вкус, естественное чувство большого поэта. Ведь вкус в поэзии — это тотальное чувство соответствия: не только выражения

выражаемому, но и выражаемого — сущности поэзии и месту того, что выражается, в мире. Поэтому в этом шабаше, сама включаясь в это «мы», она сохраняет удивительную трезвость взгляда. «На глаза осторожной кошки похожи твои глаза» (вспомним: «Как я знаю эти упорные, насытые взгляды твои!» из предыдущего стихотворения). Конечно же, все это тоже похоже на сцену из романа. Но если это даже так, то это уже роман жизни в трезвом восприятии художника и судьи, а не просто «глубокие внутренние переживания» творческой личности. А скорее всего, это не описание сцены, а мгновенная реакция на нее, опять-таки взрыв чувства, то есть нечто, поднимающееся над таким романом, хотя и рожденное из него, как это было и в двух процитированных восьмистрочных стихотворениях. Во всех этих стихах перед нами законченный, мудрый, самостоятельный поэт, не зависящий ни от каких «атмосфер времени», от его «романов». А это ведь стихи раннего периода. Независимость от атмосферы времени давалась ей не всегда и не просто. Вот как она отдыхала от этой атмосферы, когда удавалось оторваться:

Я научилась просто, мудро жить.
Смотреть на небо и молиться Богу
И долго перед вечером бродить,
Чтоб утомить ненужную тревогу.

Когда шуршат в овраге лопухи,
И никнет гроздь рябины желто-красной,
Слагаю я веселые стихи
О жизни тленной, тленной и прекрасной.

.....
Лишь изредка прорезывает тишь
Крик аиста, слетевшего на крышу.
И если в дверь мою ты постучишь,
Мне кажется, я даже не услышу.

Безусловно эти стихи тоже из «романа о себе», но только из романа подлинного и существенного. Стихо-

творение посвящено отдыху от привычной суетности и приходу к мудрости простоты и покоя. Правда, здесь все происходит в рамках романа человека «серебряного века». Приближение автора к земле и естественной жизни, а также его открытие, что жизнь одновременно тленна и прекрасна, предстают перед нами отчасти как бы в ходе выражения чисто профессиональной радости, предстают — и автор чувствует необходимость, находит время и место специально отметить это — в возможности «слагать» об этом «веселые стихи». Это, конечно, гармонирует с подлинной сущностью Ахматовой как человека и поэта, но такая «профессиональная озабоченность» все-таки мешает читателю идентифицировать себя с автором, все-таки снижает уровень обобщения.

А для того чтобы личное чувство (оставаясь личным, в том и трудность!) стало обобщенным, оно должно быть очищено от всего уж слишком личного, касающегося только автора. Разумеется, внешних признаков того, что касается всех, а что — только одного автора, не существует. Но очевидно, что сама по себе проблема писания или неписания им стихов — его личное дело. Она может иметь значение при интересе к его биографии, но не при чтении его стихов.

В XIX веке стихов о проблеме писания или неписания стихов почти не было. Были стихи не о профессиональных страданиях, а о самих поэтах как о носителях не столько некоей судьбы, сколько некоей сущности. Даже в знаменитой пушкинской «Осени», которая прямо заканчивается тем, что «пальцы просят к перу, перо к бумаге», речь идет не столько о писании стихов, сколько о состоянии, которое стоит за этим, — об осени, дарующей поэту и творческий подъем. Интриговать же читателя профессиональными муками творчества поэты стали только в XX веке, когда это было возведено в ранг светской ценности.

Но в этом стихотворении нет ничего «светского» — интригующего или обольщающего. Подобно пушкинско-

му, оно пронизано состоянием природы. Только у Пушкина упоминание о стихах — просто крайнее выражение упоения осенью, с которой для него связана и радость творчества, а у Ахматовой здесь имеет самодовлеющее значение. Возможностью писать она опять оперирует, как доводом. Она ушла от неверной жизни и суеты, и теперь ей хорошо пишется. Сделано это очень тактично, приглушенно, это только включение темы пишущего человека, а не сведение к ней всего стихотворения.

Конечно, при прочих равных лучше, если в произведении вообще нет следов какого бы то ни было «романа» и нужды в нем, если те конкретные исторические ситуации, в схватке с которыми оно создавалось, отошли на тридцатый план, то есть если стихотворение настолько вылупилось, определилось, другими словами — *родилось*, что совсем не нуждается в какой-либо связи с пуповиной (а всякий «роман» и связанная с ним чрезмерная интимность тона и есть такая пуповина).

Странная черта развития Ахматовой, требующая специального рассмотрения: противоположные и, казалось бы, исключаящие одна другую тенденции ее творчества в процессе развития не изживали друг друга, а развивались одновременно и параллельно. Лучшие ее стихи, отличавшиеся с самого начала внутренней и внешней законченностью, с годами становились все глубже, серьезнее, шире и мудрее, но не лучшие при этом отнюдь не исчезали окончательно, хотя с ростом личности и внутреннего опыта их автора тоже изменялись — становились изощреннее и по-своему даже глубже.словно в ней с самого начала и до конца одновременно жили и развивались два разных художника: один — всецело ограниченный эстетикой и психологией «серебряного века», и другой — абсолютно свободный от всего этого и даже всему этому противостоящий. Так что не удивительно, что у нее еще и в 1961 году встречались такие стихи, как «Угощу под заветнейшим кленом...», хотя они и были рядом с такими, как «Слушая пение».

Женский голос, как ветер, несется,
Черным кажется, влажным, ночным,
И чего на лету ни коснется –
Все становится сразу иным.
Заливает алмазным сияньем,
Где-то что-то на миг серебрит
И загадочным одеяньем
Небывалых шелков шелестит.
И такая могучая сила
Зачарованный голос влечет,
Будто там впереди не могила,
А таинственной лестницы взлет.

Здесь ничто специально не утаено, а между тем уловлено неуловимое, выходящее далеко за границы восхищения пением. Хотя непосредственное впечатление от этого пения и от «женского голоса» тоже здесь присутствует и передано вполне мастерски. Правда, к этому стихотворению есть еще и примечание, в котором после обозначения даты и места его написания: «19 декабря 1961 (Никола Зимний) Больница им. Ленина» — в скобках приписано пояснение: «Вишневская пела “Бразильскую баховиану” или “бахиану”». Но определенность стихотворения от этого не зависит, оно было бы вполне живо и без всяких пояснений. Оно нашло свою форму и существует самостоятельно — даже для тех, кто никогда не слышал Вишневскую и не знает, что Ахматова лежала в больнице. Потому что, остро ощущая сиюминутное (мне даже кажется — впрочем, я в этом профан, — что само ощущение голоса певицы передано точно, что он узнаваем), стихотворение это прозревает в нем и остро чувствует вечное: прелесть и трагичность бытия, неотрывное присутствие в нем духовности. Это воплощенное торжество Духа.

12

Я несколько раз здесь употреблял слово «роман» и давал понять, что не всегда имею в виду одно и то же. На-

мекал даже, что речь тут идет об иерархии романов. Надеюсь, что заинтересованный читатель, даже если не соглашался со мной, понимал, что я имею в виду. Тем не менее, следует прояснить эту терминологию, ибо речь идет о некой, пусть вспомогательной и условной, классификации. Итак, если грубо «подбить итоги», поэтическое наследие Ахматовой разделится на четыре части:

роман ролевой — когда героем отражающегося в лирическом стихотворении «романа о себе» оказывается не подлинная личность автора, а роль, взятая им на себя;

роман подлинный, но без катарсиса — когда героем такого же романа оказывается подлинная личность автора, и в основе — действительная его жизнь, в какой-то мере даже действительная коллизия его взаимоотношений со средой и временем, но одним самовыражением все и ограничивается. Нет — даже через трагически неудовлетворенную жажду этого — выхода к катарсису, к небу, к поэзии;

роман подлинный с катарсисом — когда в основе романа, стоящего за стихотворением, тоже лежит действительная коллизия взаимоотношений личности со средой и временем, но роман не ограничивается самовыражением — при любой тяжести его коллизии все в нем окрашено ощущением вечности и стремлением к катарсису;

и наконец откровение — когда творческий замысел, порожденный этой коллизией, кристаллизуется в законченную форму и начинает самостоятельно существовать во времени и пространстве. Откровение (Пушкин называл его *вдохновением* и противопоставлял самоупоенному *восторгу*) — это максимальное приближение к подлинной, а, следовательно, и вечной мере вещей. Замысел, полностью отмеченный откровением, не нуждается в подпорке со стороны даже самого *подлинного*, породившего его «романа» и поднимается не только над обстоятельствами биографии автора, но даже и над самой его личностью вообще.

Таких стихов — о некоторых из них мы здесь говорили — у Ахматовой на редкость много. Для поэта XX века особенно. И были они отнюдь не только на общие темы

и не только в последний, «умудренный возрастом и пережитым» период ее творчества. Такие стихи — и, в первую очередь, как раз «сугубо лирические», как в просторечии принято называть почему-то только стихи о любви, — появлялись у нее с самого начала ее творчества.

Конечно, моя «итоговая классификация», как уже сказано, условна и понадобилась мне только для более четкого изложения дорогой мне шкалы ценностей.

Из всех ахматовских стихов я абсолютно не принимаю только те, которые относятся к первым двум группам. Полагаю, что насчет первой (как, впрочем, и четвертой, только с другим знаком) группы все ясно. Со второй группой стихов могут возникнуть трудности. Многие не догадываются, что самовыражение — не всё в искусстве. В неумении отличать подобные стихи — главный соблазн и самообман современной культуры. От этой болезни нет иной защиты, кроме вкуса. О вкусе, в принципе и защитившем Ахматову, мы и пытались сейчас говорить, нащупать, что это значит.

Главная загвоздка — со стихами третьей группы, в которых самовыражение стремится стать откровением. Они безусловно относятся к поэзии: в поэзии стремиться (если стремление воплощено) уже означает в какой-то степени обладать. Просто возможность восприятия таких стихов тесно связана с необходимостью иметь представление об атмосфере, их породившей: пуповина — не перерезана.

Но в эпохи, когда на человека наваливается слишком много «современности», появление таких стихов неизбежно и даже желательно. Что делать, если время навязывает трудный и безысходный роман с собой. К сожалению, в XX веке почти ни один поэт не смог обойтись без такого «романа».

Это значит, что поэт как романтический герой собственных стихов — явление не только распространенное, но, наверное, и естественное для нового времени. Роман выстаивания, роман отстаивания — это ведь тоже роман,

отстаивание и выстаивание обрекают человека на страдания и жертвы, на то, чтобы он на самом деле был героем — иногда отнюдь не только в литературном смысле. Так было и с Ахматовой.

Об Ахматовой в связи со всеми этими вопросами необходимо говорить и потому, что, несмотря на погруженность в «романность» своего века, по природе она поэт скорее пушкинского плана, чем «романного» или романтического. Ведь даже приводившееся чуть выше стихотворение о пении Вишневской никак не романтическое. В нем автор никак не романтизируемый герой, а только духовная личность перед лицом жизни и смерти.

И уж никак не романтичен написанный за три года до этого гениальный, как я думаю, «Приморский сонет»:

Здесь всё меня переживет,
Всё, даже ветхие скворешни
И этот воздух, воздух вешний,
Ночной свершивший перелет.

И голос вечности зовет
С неодолимостью нездешней,
И над цветущею черешней
Сиянье легкий месяц льет.

И кажется такой нетрудной,
Белея в чаще изумрудной,
Дорога не скажу куда...

Там средь стволов еще светлее,
И все похоже на аллею
У царкосельского пруда.

За чувством, породившим стихотворение, стоит многое: опыт размышлений, заблуждений и открытий незаурядного человека, — но в стихотворении об этом ничего не говорится. Только чувствуется. Остается в подтексте, но подтексте без кавычек, ибо тут и речи нет об искус-

ственном умолчании. О том, о чем говорится, говорится всё. А о себе как раз почти ничего. Разве что — «здесь всё *меня* переживет...». Но интонационное ударение здесь стоит на другом слове — на «*всё*». И чтобы не было сомнений — «всё, даже ветхие скворешни». Вот вроде бы до чего дошло: *меня* переживет — ветхая скворешня. Но в стихотворении нет и тени обиды или возмущения тем, что это так. Есть только любовь ко всему, что «меня переживет», и щемящая боль от необходимости с этим расстаться. Все подготавливает высокое и трагическое смирение завершающих шести строк, содержащих тайную надежду увидеть в будущей жизни улучшенное продолжение всего того, что здесь «меня переживет». Конечно, смирение последних строк окрашено естественным и привычным религиозным чувством. Но Ахматова — поэт, а не проповедник. И это напряженное драматическое смирение, конечно же, ближе Ахматовой, чем все соблазны «серебряного века». Одно слово «кажется» чего стоит. Стихотворение знает, что дорога «не скажу куда» только *кажется* нетрудной. От этого оно такое щемящее, но и острота смирения — тоже от этого.

Стихотворение представляет собой законченную форму. Реализм, можно сказать, да и только. Ахматова действительно и реально, а не в восторженном воображении или выгрывании в роль, поднимается сама и поднимает нас фактически над историей — на один уровень с жизнью и смертью, с вечностью. Но тот, кто думает, что можно подниматься над временем и историей, к вечности, с самого начала ощущая себя вне всего этого, соблазняется иллюзией. Летать можно куда угодно, но взлетать можно только в то время и над тем местом, где находишься. Ахматовой же пришлось взлетать над «серебряным веком» в России и как раз перед катастрофой.

В этой связи мне хотелось бы напоследок привести еще одно ее стихотворение, написанное осенью 1913 года. В нем как будто нет предчувствий — только боль и тревога, да чувство вины:

Ты знаешь, я томлюсь в неволе,
О смерти Господа моля.
Но все мне памятна до боли
Тверская скудная земля.

Журавль у ветхого колодца,
Над ним, как кипень, облака,
В полях скрипучие воротца
И запах хлеба, и тоска.

И те неяркие просторы,
Где даже голос ветра слаб,
И осуждающие взоры
Спокойных, загорелых баб.

К какой бы группе ни отнести эти стихи, они хороши и значительны. Можно это стихотворение отнести и к одному из романов, ибо буквального смысла первых двух строк я никогда не понимал. О какой неволе идет речь и зачем из-за томления в ней надо молить Господа о смерти — для меня и теперь тайна. Возможно, речь идет о потере своей дороги, то есть своей *воли*, — о чем-то, по-видимому, связанном с темой стихотворения «Все мы бражники здесь, блудницы...». Вероятно, так оно и есть. Ибо то, что следует дальше, выглядит как ответ именно на эту ситуацию, по существу — ответ «серебряному веку».

Стихи эти очень важны для понимания всего творчества Ахматовой. Это как бы возвращение в Россию — только не из чужой земли, а из «серебряного века», что, может быть, было еще дальше. Это стихотворение не только всплеск любви к забываемой как будто за сложными заботами и тревогами, но на самом деле всегда неотрывной от сердца и от судьбы родной земле. В этом и возвращение к себе самой, к своей сути.

Вот к чему пришла, какой была Ахматова накануне первой мировой, разразившейся всего через несколько месяцев после этого стихотворения. В ней с самого начала жили и заявляли о себе те качества, творческие и чело-

веческие, которые всю жизнь заставляли ее отталкиваться от «серебряного века» и которые в трагические времена дали ей возможность стать в полном смысле этого слова народным поэтом, тем, кто потом мог о себе с полным правом и без всякого преувеличения произнести слова, столько раз уже цитировавшиеся: «И если зажмут мой измученный рот, / которым кричит стомиллионный народ» или: «Я была тогда с моим народом / там, где мой народ, к несчастью, был».

1989

Игра с дьяволом

По поводу стихотворения Александра Блока «К Музе»

Содержание этой работы много шире, чем можно заключить по ее подзаголовку. Но она действительно вызвана этим стихотворением, вернее, двумя моими прочтениями его, между которыми — два десятилетия. Несмотря на то, что все это время я помнил это стихотворение наизусть, второе прочтение в значительной степени подорвало впечатление от первого. Не расширило или углубило, что было бы естественно, а именно подорвало. Вот мне и захотелось разобраться в том, почему так получилось — и с автором, и со мной. Поскольку это связано с гораздо более широким кругом проблем, чем может показаться, начну издалика.

Период русской поэзии, лучшим представителем которого был Александр Блок, иногда — и, как мне кажется, с полным правом — называют «серебряным веком». Это необычайно богатый период. С ним связано творчество многих больших поэтов, начавших писать как до революции (Анненский, Ахматова, Цветаева, Маяковский, Гумилев, Есенин, Ходасевич, Мандельштам, Пастернак и другие), так и после нее (Заболоцкий, Мартынов, даже Смеляков — когда бывал самим собой). Из крупных поэтов несколько особняком от этой плеяды стоит как будто один Твардовский, но, скорее, нам просто пока не удалось выявить его внутренние связи с ней. Трудно себе представить, чтобы это было не так.

И все-таки я согласен с теми, кто называет этот век «серебряным». В отличие от «золотого», пушкинского*. Чем же поэты «серебряного» века — такие разные, — отличались от поэтов века «золотого», которые, как известно, тоже не все на одно лицо?

Речь явно идет не о масштабах дарования. Далеко не все поэты «золотого» века были дарованиями крупного масштаба. Скорее всего, таких поэтов (если, конечно, исключить Пушкина и Лермонтова) в «серебряном» веке даже было больше. Речь идет о другом, но, тем не менее, весьма существенном, — о характере духовности. Вряд ли нужно говорить о значении духовности для поэзии, названной Пастернаком без обиняков — «скорописью духа». Достаточно будет привести здесь мнение русского физиолога А.А. Ухтомского о ее значении для жизни вообще: «...Жизнь есть требование от бытия смысла и красоты; только там, где это требование продолжается, продолжается жизнь, и где это требование прекращается, прекращается жизнь»**. Вдумайтесь в эти слова — «жизнь есть требование от бытия смысла и красоты». Не из этого ли требования (а это и есть требование духовности) исходит вся мировая поэзия, не это ли ее основное содержание во все века?

*Впрочем, строгого значения у этих терминов нет. Поэтому, спешу оговориться. Под «золотым» веком я понимаю поэзию двадцатых-тридцатых годов XIX века, хотя осознаю, что этот период так или иначе продолжался и позже (например, в творчестве Тютчева, А. Толстого, Фета и других). Под «серебряным» же веком я понимаю поэзию десятих-двадцатых годов XX века, хотя опять-таки осознаю, что начался этот период раньше, а закончился намного позже указанного времени. И что необязательно все творившие в это время к нему относятся. Может возникнуть вопрос, куда девать других больших поэтов, например, Некрасова, не относящихся ни к одному из этих периодов? Но, как увидит читатель, разрешение этих вопросов для понимания этой отнюдь не историко-литературной работы необязательно. Автор не будет огорчен, если к словам «золотой» и «серебряный» отнесутся просто как к рабочим терминам.

** Ухтомский А. А. Письма.— «Новый мир», 1973, № 1, с. 259. 104.

Это содержание, эта духовность одинаково свойственны творчеству поэтов как «золотого», так и «серебряного» веков русской поэзии. Говоря о том, что они отличаются друг от друга характером духовности, я отнюдь не ставил под сомнение наличие у кого-либо из них духовности как таковой: и те, и другие, безусловно, были подлинными поэтами, а бездуховной поэзии, как следует из вышесказанного, быть не может. Но что здесь подразумевается под «характером духовности»? Односложно ответить на этот вопрос трудно. Характер духовности поэта не имеет, например, почти никакого отношения к системе его общественных, политических, религиозных взглядов. Это нечто более изначальное, существенное и в то же время простое.

Поэтов «золотого» века отличала, как я думаю, более непосредственная, сама собой разумеющаяся и не вызывавшая у них никаких сомнений уверенность как в ценности, реальности и высоте духовного начала вообще, так и в своей безусловной причастности к этому началу. Им не надо было ни бороться за эту причастность, ни отстаивать ее, ни защищать. При этом они часто ощущали себя людьми весьма грешными, имели тому массу доказательств, но грешить продолжали и как-то очень легко сами себе прощали. Это бледнело перед главным: сознанием своей способности всей душой откликаться на высокое и слышать — как только они раздаются — «божественные глаголы» (Пушкин). Они могли иметь самые различные суждения о том, чем именно является это высокое и как следует к нему относиться, могли сомневаться в чем угодно, но только не в своей причастности и не в том, что они знают, к чему причастны. Доказывать же другим и — что самое жалкое — себе самим, что они вообще имеют отношение к высокому (а это так или иначе вынуждены были почти ежедневно делать поэты «серебряного» века), у них не было ни желания, ни причин. В те наивные времена это никому и в голову не приходило. Можно, правда, сказать, что в какой-то степени кое-что из сказанного выше мож-

но отнести и к Лермонтову. Вряд ли. Речь может идти только о его «байронических», то есть связанных с его юношеским самоутверждением, стихах. Но спокойную, несмотря ни на что, уверенность в ценности духовного начала и в своей связи с ним сохраняют и они.

Но время шло. Жизнь все больше и больше дифференцировалась. Появилось сравнительно много грамотных людей, так и не сумевших приобщиться к существу культуры, но за собой этого не замечавших.

Появились и стали быстро распространяться расхожие мнения о поэзии, о культуре, о чем угодно. Появилось и стремление как-то отделиться, осознать себя отделенным от всего этого. Для поэтов такое стремление и объяснимо, и естественно — это отстаивание себя перед тем, что впоследствии было названо «массовой культурой». Этот элемент отстаивания себя характерен для всей поэзии «серебряного» века, и в нем нет ничего плохого. Это естественно, и иначе быть не могло. Отпечаток некоторой нервозности, лежащий одинаково и на самых строгих, и на самых раскованных стихах поэтов этого периода, придает им свое особое, неповторимое очарование. Это — отличие «серебряного» века, а не его недостаток. Это, повторяю, один из самых плодотворных периодов русской поэзии.

Но в такой необходимости себя отстаивать таятся и многие опасности, и даже самым лучшим поэтам не всегда удавалось их избежать. Недостатки эти были, как часто случается, продолжением достоинств. Ведь опасна не только пошлость, опасна и боязнь пошлости — гипертрофированная ненависть к ней, превращение этой ненависти в профессию или призвание. Опасна и вызываемой ею брезгливостью по отношению к обыкновенной жизни, и отгораживанием от нее, и отворачиванием, и тем, что это ведет к потере интереса и взаимопонимания с другими людьми, к равнодушному презрению к их заботам, а поскольку ты сам человек, и многие из этих забот не чужды и тебе самому, то и ко лжи. А также — тут уже ничего другого не остается — к бессмысленному самообожествле-

нию, то есть опять-таки (хотя и в другой форме, и другими путями) к той же потере вкуса, к пошлости.

Из моих слов никак не следует, что с пошлостью надо мириться. Ни в коем случае! Ее можно и нужно даже ненавидеть. Но и ненавдя, нельзя забывать, что она — еще и обделенность, и слишком ожесточенная ненависть, и фанатичная война с ней никому еще лавров не приносила; такая война отвлекает нас от наших дел и привлекает к себе слишком много нашего внимания, а это уже само по себе — ее победа. Воюя с пошлостью и тем самым возвышаясь над зараженной ею обыденной жизнью (такому настроению во времена Блока немало способствовала получавшая все большее распространение и кажущаяся откровением мода на нищезанство), человек слишком легко вырастает в собственных глазах, часто за счет неоправданного принижения других, и далеко не всегда за счет своих лучших качеств. Наоборот, часто за счет худших, но, так сказать, прельстительных для априори недоступных никакой пошлости недюжинных натур. Требование смысла и красоты, о котором говорилось выше, начинает сублимироваться, незаметно удовлетворяться суррогатами; а духовные ценности приобретают не свойственную им подвижность, становятся скользкими и капризными. Впрочем, при желании и при потере общего ощущения жизни само это мелькание можно принять за некую изысканную красоту, недоступную непосвященным. Но это не более чем нонсенс и соблазн.

Нет ничего удивительного, что в иные времена этому соблазну (Томас Манн, когда-то тоже отдавший немалую дань этому соблазну, потом назвал его «варварством эстетизма») подвержены и чуткие к жизни, впечатлительные натуры поэтов, иногда даже тем более подвержены, чем они более впечатлительны и чутки. В этот соблазн, являющийся оборотной стороной их восприимчивости, их заводит сила инерции — ведь все, как я уже говорил, начинается с того, от чего действительно нужно себя отстаивать, допустим, от той же «массовой культуры». Хотя,

впрочем, достаточно было бы просто не поддаваться этой «культуре», вполне достаточно. Не избег такого соблазна и Александр Блок, которого Горький совершенно справедливо назвал однажды «человеком бесстрашной искренности».

Это обычные «шутки дьявола»: человек искренне вступает за высоту своего духа, а потом выясняется, что он защищает самое низменное в себе. С индивидуализмом, который все начала и концы бытия и своего смысла видит только в индивидуальности, а потому отрывает личность от всего, что ее питает, и по отношению к чему она только и может проявиться и осознать себя, это случается сплошь да рядом. Индивидуализм — это в конечном счете смерть индивидуальности. Так же, как эстетизм — враг эстетического.

Разумеется, к Блоку эти слова относятся далеко не в полной мере. Он был на самом деле высоким и большим поэтом — доказательства этого положения не входят в задачу моей статьи, да и вряд ли вообще нужны. И его подлинная индивидуальность была в нем гораздо сильнее его романтического, в значительной степени кружкового, то есть свойственного кружку, в котором он вращался, представления о ней, сильнее его индивидуализма. Но в этой работе нас интересует только дань, которую и он отдал этому проклятому поветрию, отдал, несмотря на все прекрасные качества своей души и интеллекта, — как, впрочем, в разной степени это сделали и другие большие поэты двадцатого века. Например, Пастернак, Цветаева и даже — в меньшей степени — Ахматова. А дань эта была немалая. Порой из-за этого Блок — при всей данной ему от природы и культуры душевной и духовной зоркости — терял всякую нравственную ориентировку, позволял себе абстрагироваться от добра и зла и вообще допускал нечто подобное мысли, что добро — вещь слишком пресная для поэзии и жизни. «Убийство, не освященное сильной страстью, — есть пошлость», — выразился он однажды. К сожалению, это высказывание интересно не осуждением

убийства, а странной потребностью ограничить, обусловить это осуждение. Как будто кто-то может определить силу страсти, достаточную для того, чтобы оправдать убийство, и вообще будто бы существуют этические или даже эстетические оправдания своевольного превращения живого, чувствующего и мыслящего существа в бесформенную мертвую грудку костей и кровавого мяса. Не говоря уже о том, что превращение страсти в критерий — вещь не слишком мудрая.

Надо отдать справедливость Блоку: он подозревал всегда, что здесь не все чисто. Часто вырывался из этого круга, создавал первоклассные произведения, но окончательно и сознательно он освободился от этого только предсмертным стихотворением «Пушкинскому дому» и предсмертной — тоже пушкинской — речью «О назначении поэта». До этого времени борьба шла с переменным успехом: то побеждало чутье и любовь художника, то романтическая брезгливость, ницшеанская или вагнерианская стихия — разновидность того восторга, который отнюдь не всегда связан с подлинным вдохновением. Соотношение восторга и вдохновения — весьма важная и для этой статьи и для поэзии в целом — проблема. Придется нам заняться ею подробней.

У нас ее первым заметил, как водится, Пушкин. Вот знаменитая цитата из его черного наброска «Возражения на статьи Кюхельбекера в «Мнемозине»: *«Вдохновение есть расположение духа к живейшему принятию впечатлений, следственно, к быстрейшему соображению понятий, что и способствует объяснению оных. Вдохновение нужно в поэзии, как и в геометрии»*. На этом обычно цитата обрывается, ибо в основном ее приводят только для того, чтобы доказать, что поэзия еще и труда требует. Эта истина бесспорна, но я думаю, что приведенная цитата содержит истины и более сложные. Например, что художественное произведение не придумывается, а рождается, и поэтому главная задача — понять и почувствовать, что именно родилось. Вдохнове-

ние, по Пушкину, — синоним или вид откровения. Видимо, так оно и есть. Но это не все. Отрывок на этом не кончается. От конца его отделяет еще одна фраза. Вот она: «Критик смешивает вдохновение с восторгом». Теперь ясно, для чего упоминается геометрия! Чтобы еще острее отмежеваться от восторга. Но что такое восторг? Это становится ясным из другого, непосредственно следующего за приведенным, отрывка: «Нет, решительно нет: восторг исключает *спокойствие*, необходимое условие *прекрасного*. Восторг не предполагает силы ума, располагающей частей (вероятно, «части» — *Н. К.*) в их отношении к целому. Восторг непродолжителен, непостоянен, следовательно, не может произвести истинно великое совершенство (без которого нет лирической поэзии)». И дальше, уже в конце наброска: «Восторг есть напряженное состояние единого воображения. Вдохновение может быть и без восторга, а восторг без вдохновения не существует». (Речь идет о «существовании» восторга в искусстве, о его воплощении. — *Н. К.*)

Мы касаемся здесь столь подробно этого вопроса только потому, что даже Александр Блок, будучи одним из самых вдохновенных поэтов нашего века, отдал, тем не менее, немалую дань и восторгу, который часто тоже «смешивал» с вдохновением. То, что этот восторг чаще всего бывал упоением не столько радостью, сколько печалью, ничего не меняет. Восторг в данном случае — любое упоение без настоящего сознания чувств, без основанного на живейшем принятии впечатлений «быстрейшего соображения понятий, что способствует объяснению оных». Впрочем, существует убеждение, что никакого такого принятия впечатлений, а, тем более, соображения и объяснения понятий и не надо, ибо поэзия есть какая-то абстрактная сила магнетизма, свойственная особым личностям, наделенным этой безличной способностью и умеющим при ее помощи внушать когда угодно кому угодно и что угодно. Прямее всех высказал это убеждение когда-то А. Межиров:

На сорокаградусном морозе
С крыш спокойно падает вода...
Если написать об этом в прозе,
Люди не поверят никогда.

Трогают эти строки искренней верой в то, что если об этом же написать в стихах, то люди тут же поверят. И действительно, иногда верят, даже восхищаются. Правда, это почти никогда не продолжается слишком долго: в конце концов, человек все-таки выходит из-под завораживающей власти экспрессии. И тогда он вдруг понимает, что, даже находясь под ее властью, он не столько верил в такие вещи, сколько, не сопротивляясь испуганному требованию доверия, звучащему в таких стихах, доверял автору в целом, не особенно вдаваясь в подробности и в простоте души полагая, что тот лучше знает, ибо ему открыты некие тайны, перед которыми просвещенному человеку следует падать ниц (спецификой этих тайн, к слову сказать, является то, что они так и остаются тайнами, что никто и не стремится их раскрыть).

В сущности, читатель просто заражается влюбленностью автора в самого себя, в свою необыкновенность, в посвященность, магнетическую силу (а не это ли является подлинным содержанием почти всякой экспрессии?), и если вдуматься, она — влюбленность эта — так и остается его единственным переживанием, единственным наслаждением, которое он получает от чтения подобных стихов. Это странное наслаждение. Оно не только не дает читателю возможности глубже почувствовать самого себя, открыть в себе душевные богатства, о которых тот раньше, возможно, и не догадывался (а ведь именно в этом задача искусства), а, наоборот, уводит его от реального самоощущения, намекает на то, что прекрасное — это нечто лежащее вне его и не имеющее отношения к его жизни, нечто такое, чем можно любоваться, но со стороны, чему можно только поклоняться, не разбирая, что это такое. Если же здесь иногда и происходит приобщение, то это не больше,

чем приобщение к чужой, необоснованной и опять-таки не имеющей отношения к твоей жизни и деятельности абстрактной гордыне. Читатель просто начинает чувствовать и себя приобщенным к клану посвященных неизвестно во что. Но это бывает редко. В основном читателя таких стихов увлекает гордыня не своя, а автора, себя же он просто чувствует удостоенным и польщенным.

Я не хотел бы быть воспринят как сторонник некоей демократии в поэзии и вполне верю в посвященность и даже избранность больших поэтов. Но они избраны только тогда и до тех пор, пока умеют чувствовать свет жизни и ее духовную сущность. В способности чувствовать это острее, чем другие, и пробуждать это чувство в других и состоит их избранность и посвященность. Можно преклоняться, конечно, и перед поэтами, но только не в момент чтения их стихов, к восприятию стихов это не относится. Ибо читатель занят не автором, а самим собой — тем, что происходит в нем самом. Тем обогащающим переживанием, на которое он сам оказался способен, теми живыми его связями с миром, которые открылись ему в этом переживании. Стихи же, о которых мы только что говорили, несмотря на то, что они читателя вроде тоже волнуют (хотя вернее было бы сказать — впечатляют), на самом деле не удовлетворяют, а даже заглушают его духовные потребности и эстетическое чувство. Это, говоря старинным языком, камень, положенный в протянутую руку. Конечно, и этот восторг (то есть, напоминая, напряженное состояние единого воображения) человек иногда может принять за хлеб, но только пока по-настоящему не проголодается.

Разумеется, таким дешевым шаманством Блок не занимался никогда. Болезни его, как мы уже говорили, были глубже и обусловленнее, они были реакцией на болезни времени. Но из песни слов не выкинешь. Защищая свою индивидуальность от пошлостей утилитаризма, он далеко не всегда умел защитить ее от пошлостей противоположных. Хотя всю жизнь — это выходит за рамки этой работы, но хорошо прослеживается по его стихам, днев-

никам, письмам и даже статьям, — мучительно ощущал это именно как болезнь, как плен, как духоту, из которой всегда пытался вырваться. К этому побуждало его и чутье художника, которое всегда нуждается в правде действительных и неопровержимых ценностей, какими бы простыми они иногда ни казались.

Именно поэтому прорывался он к своим гениальным произведениям, именно благодаря этой тяге преодолевал он все комплексы, вызванные пресловутой боязнью пошлости. Он никогда не уступал этой боязни всего себя, но никогда не мог и полностью освободиться от нее — в его душе всегда шла борьба этих двух противоположных стихий, и шла с переменным успехом.

Одним из самых своеобразных проявлений этой борьбы явилось стихотворение «К Музе», написанное 29 декабря 1912 года. Оно открывает собой цикл «Страшный мир», цикл, полный горьких прозрений и тревог, особенно четко выразившихся в знаменитом «Голосе из хора», завершающем стихотворении этого цикла. Горечь стихотворения, завершающего цикл, присутствует и в стихотворении, его открывающем, она только там — в отличие от многих других стихов этого замечательного цикла — как-то странно преломляется, не фокусируется, не кристаллизуется. И уж никак не оправдывает внутренние недостатки этого стихотворения, которому, собственно говоря, и посвящена эта работа. В данном случае эта горечь, как увидит читатель, связана не столько с отчаянием за судьбу ценностей, сколько с попыткой обойтись без них. Это уже не пессимизм, а скорее оптимизм. Правда, оптимизм какой-то (во всяком случае, в отношении добра и зла) потусторонний. Это — опять-таки выражаясь старинным языком — впадение в соблазн, восторженная капитуляция перед ним.

Мы с детства знаем это стихотворение и с детства читаем его взахлеб, увлекаемые его «музыкальным напором» (любимое выражение Блока), и поэтому не слишком вдаваясь в частности содержания. Отдельные слова и

строки, воспринимаемые как-то в общем потоке, но вне смыслового контекста (мы не замечаем, что он от нас ускользает — за него работает «напор»), тоже не противоречат общему впечатлению. Для нас ясно: это стихи о романтической судьбе поэта, о вдохновенной трагичности этой судьбы и страсти, причем страсти, судя по впечатлению от стихотворения, весьма высокой. О судьбе поэзии. Высокая душа поэта поднимается над житейской прозой, торжествует над ней. Так воспринимал эти стихи я, да и все, кто при мне их читал. Теперь я их так не воспринимаю. Дело не только в том, что я сам изменился и такое торжество давно не кажется мне столь безусловно поэтичным, как казалось тогда. Дело в том, что я вообще усомнился в том, так ли я понял это стихотворение. Теперь мне кажется, что не совсем так, а иногда — что совсем не так. Что речь здесь вообще ни о чем высоком не идет...

Дело, конечно, не в том, что Блок решил кого-либо обмануть. Тем более — сознательно. И если мы все же иногда обманываемся, то это происходит прежде всего потому, что он предварительно обманул сам, потому что мы верим его искренности. Может быть, это кому-нибудь покажется странным и даже диким, но, забегая вперед, скажу: это очень талантливое, искреннее и в то же время на редкость не откровенное произведение. Противоречия логике в этой формулировке — нет. Автор, безусловно, говорит о себе правду, может быть, даже в сю известную ему о себе правду, но в то же время изо всех сил убеждает себя и других, что эта правда имеет оправдание и не так уж страшна, как выглядит. Он словно заговаривает сам себя модуляциями голоса, чтобы только не вскрылся для него до конца страшный смысл его же собственных слов, чтобы только не догадаться, что за ними стоит и из них следует. И это его искреннее нежелание срабатывает: читатель, сперва даже и не догадываясь о причинах, заражается им, пропускает смысл текста мимо глаз и ушей. Я сам, помня это стихотворение с детства, только недавно понял, что воспринимал его романтику не совсем точно.

И вообще почему-то в его семантику, в его буквальное содержание мне захотелось вникнуть только недавно. При ближайшем рассмотрении оказалось, что такое содержание в нем есть, что оно довольно конкретно, но что почти везде оно противоречит тому восторгу, с которым я привык читать это стихотворение. Оказалось, что оно говорит одно, а поет — другое, прямо противоположное тому, что говорит. Причем здесь это не художественная игра, не прием, а, на самом деле, текст и мелодия вдохновлены различными, часто враждебными стихиями и импульсами. Впрочем, давайте прочтем его вместе:

Есть в напевах твоих сокровенных
Роковая о гибели весть.
Есть проклятье заветов священных,
Поругание счастья есть.

Я всегда читал эти строки с упоением, с восторгом. Слово «гибель» воспринимал сугубо романтично: поэт — трагический герой, и в сокровенных напевах его Музы вполне могла бы содержаться и весть о его гибели. Я об этом не думал, но это как бы само собой разумелось. «Проклятье заветов священных» меня тоже не очень тревожило, ибо для меня (я считал, что и для автора) они были чем-то вполне достойным дурного отношения, проявлением некой косности, чем-то таким, над чем вообще не стоит думать. Что же касается «счастья», то это понятие мной вообще не мыслилось без подходящего эпитета «мещанское». Так что, как видите, и его поругание вряд ли могло нарушить — оно скорее подтверждало целостность моего романтического восприятия. Еще меньше могли подорвать ее следующие строки:

И такая влекущая сила,
Что готов я твердить за молвой,
Будто ангелов ты низводила,
Соблазняя своей красотой...

Здесь идет явное нарастание экспрессии, подчеркивающей сверхъестественную силу этой Музы. И я вполне предавался этой экспрессии. Как вы понимаете, судьба соблазненных ангелов меня тогда ни взволновать, ни настроить не могла. Это только подчеркивало земную мощь и романтичность образа поэзии. То и другое я считал ее большими достоинствами. Да и не слишком останавливалось на этом мое внимание, упоенное гордыней причастности к творческому горению. Понадобились целые десятилетия, чтобы я вдруг понял, что в стихотворении нет ничего такого, что позволяло бы так истолковывать эти строки, что речь в них идет о проклятии заветов, действительно священных, во всяком случае — для автора, и о поругании счастья всякого, а не только какого-то наиболее скучного его вида или проявления. Оказалось, что речь идет не о каких-то мещанских сусальных ангелах, а об ангельском начале, с которым — нравится нам это или нет — традиционно связано представление о чистоте и добре; что творческая сила — та, прелестью которой я упивался в этом стихотворении, — не только инертна здесь по отношению к этому началу, а даже вполне сознательно противопоставляется ему, как чему-то бедному или тусклому. Особенно ясно это становится после знакомства со следующим четверостишием, где эта тема достигает некоторой отчетливости:

И когда ты смеешься над верой,
Над тобой загорается вдруг
Тот неяркий, пурпурово-серый
И когда-то мной виденный круг.

«Смеешься над верой»!.. Нетрудно догадаться, что сам факт насмешки этой Музы над верой несколько эту Музу в моих глазах не компрометировал. За этим словом для меня вставало только нечто косное и темное, то есть такое, над чем и следовало смеяться любой уважающей себя Музе. Такая насмешка воспринималась мной как по-

рыв свободного духа за тесные границы дозволенного. Это тоже никак не противоречило той инерции романтического восприятия, которая была задана первым четверостишием. Шли годы. Постепенно, к слову сказать, я начал понимать, что смеяться над любой верой — плохо. Это помогло мне потом вдруг увидеть, что в стихотворении нет ничего, что придавало бы слову «вера» такой антирелигиозный характер и что, кроме того, в этих строках нет ничего такого, что позволяло бы утверждать, будто вера, над которой смеется Муза, обязательно какая-то особо темная или косная (как заметил математик И.М. Нагорный, строки «роковая о гибели весть» есть антитеза евангельской строки «благая весть о спасении»). В конце концов, становится ясно, что речь идет не о какой-то определенной вере, а о вере вообще, вере человека в свое светлое начало. И мы понимаем, что это — стихи не того человека, который ни во что не верил или разуверился во всем, а того, который кощунственно (и зная, что это кощунство) — преступил черту, которая ему вполне зрима и значение которой — ведомо. Преступил, словно не видя для себя иного способа самоутверждения (а для чего же еще переступают через эту черту?), иной дороги к Музе или иной Музы. Это, собственно говоря, всегда означало — призвать на помощь дьявольское начало, демонизм. Не зря ведь над головой его Музы иногда, как раз тогда, когда она смеется над верой, вдруг вспыхивает «тот неяркий, пурпурово-серый» и уже когда-то им «виденный круг» — нимб, который в средние века рисовали над изображением дьявола, как посегодняя над изображением святых — круг золотой. Муза его приобщила (или он сам теперь приобщает ее) к сатанинскому началу. Блок разделяет здесь судьбу Адриана Леверкюна, героя романа Томаса Манна «Доктор Фаустус», заключившего традиционный договор с дьяволом, то есть отдавшего ему душу в обмен на гениальность. Думаю, что такой договор выгоден только дьяволу, ибо фактически он берет все, а не дает взамен ничего. Какая уж тут гениальность, если нет души! Ведь

без души нельзя ни любить, ни понимать, ни воспринимать мир; ведь только по отношению к миру (об этом уже здесь говорилось) мы можем определить и ощутить собственную индивидуальность. И гениальность, если она этой индивидуальности свойственна. Уже не говоря о том, что общение с миром обогащает сознание, что тоже не мелочь.

Предвижу обвинение, что говорю о высоких материях чересчур логично и прозаично. Может быть. Но всей своей жизнью я научен тому, что это проза такая, без которой нет поэзии. По сравнению с тем, куда люди вступают, пытаясь перешагнуть через критерий такой «прозы», любая, даже чисто бухгалтерская проза — высокая поэзия.

Но это я тоже понял сравнительно недавно... Так и получилось, что, испытывая романтическое упоение при чтении этого стихотворения, понимая и принимая за основу почти такое же, как у Блока, не совсем (у меня только внешне — не совсем) добропорядочное представление о поэте, я все-таки наполнял этот романтический образ несколько другим содержанием, отличным от того, которым наполняет его Блок, и уж, во всяком случае, отличным от того, которое содержится в тексте. Мелодия уводила меня от буквальности смысла.

Впрочем, я вполне допускаю, что так же уводила она Блока, то есть, что он понимал образ поэзии и поэта в том же смысле, как я и все читавшие при мне это стихотворение, и что именно это понимание и отношение (не всегда сознательное, но всегда истинное) воплощено в мелодии этого стихотворения — в том, что оно поет. Но то, от чего эта мелодия уводила, тоже прочно жило в Блоке. Возможно, он был к этому привязан, возможно, только считал необходимым быть привязанным. А поскольку оно жило, постольку (особенно принимая во внимание его неодолимую искренность) должно было тоже выразиться в этом стихотворении. И выразилось — словами, тем, что оно говорит. Но только мелодия оказалась как бы сильнее текста, она его то ли заглушает, то ли ассимилирует. И все-таки нет-нет, да и облагораживает его смысл, контрабандой, одним

смыслом маскируя другой, протаскивает в наше сознание апологию зла и гордыни — особенно в наши младые лета.

Впрочем, иногда мне казалось, что читать это стихотворение надо иначе, по тексту, оттеняя не упоение, а — я убежден, что в полном соответствии смысловому его значению, — ужас. И что, может быть, в первой строке: «Есть в напевах твоих сокровенных...» — смысловое ударение должно стоять на первом слове. Я убежден, что тогда бы все стихотворение читалось иначе. И оно действительно читалось бы иначе. Но вся беда в том, что для того, чтобы оно читалось иначе, нужно специально стараться. А выражает суть все-таки чтение естественное, а не волевое. Перейдем к следующим четырем строчкам:

Зла, добра ли? — Ты вся — не отсюда.
Мудрено про тебя говорят:
Для иных ты — и Муза, и чудо.
Для меня — ты — мученье и ад.

Помню, я всегда любил эти строки. Смысл первой из них, правда, от меня ускользал, но общее впечатление опять-таки не противоречило общему романтическому настроению. И если эта строка действительно содержит утверждение, что искусство находится по ту сторону добра и зла (а это вполне гармонирует, допустим, с «проклятием заветов священных»), то все же говорится это слишком бегло, чтобы остановить на себе наше внимание, да еще и при такой силе экспрессии.

А в целом в этой строфе — прошу простить меня за грубость пересказа — я почувствовал утверждение подлинного искусства, подлинной духовности, всегда связанных с «мучением и адом», и противопоставление этих начал бездумному порханью эпигонов и имитаторов, которым все «достижения» даются без мук. Впрочем, эту строфу я воспринимаю и теперь так же, как тогда. Все это здесь есть. Только, вероятно, с другими — не моими — ценностями находится это «все» в сцеплении.

В следующих строках волны экспрессии несколько утихомириваются. Появляется раздумчивость. Я отнюдь не враг этого качества в поэзии, но должен сознаться, что эти строки мне вспоминались намного реже, чем предыдущие. Они, наверное, и в самом деле менее яркие. Но, с другой стороны, они имеют, может быть, даже более прямое отношение к замыслу стихотворения, во всяком случае, к реальному состоянию Блока:

Я не знаю, зачем на рассвете,
В час, когда уже не было сил,
Не погиб я, но лик твой заметил
И твоих утешений просил?

Здесь впервые мотив покаяния действительно выделяется из подтекста (из мелодии, из «музыкального напора») и звучит почти явственно в тексте. Видимо, это такая Муза, что лучше погибнуть, чем просить у нее утешения. И автор хорошо понимает это. Просто была в его жизни минута слабости — «час, когда уже не было сил», и он не выдержал. Очень жаль, что об этом часе сказано столь приблизительно и импрессионистично — ведь в этом, вероятно, все дело. Раскрыть это значило бы раскрыть тему, ее личные и личностные истоки. Если бы мы почувствовали, что именно привело его к этому моменту и от чего именно утешений он искал у этой Музы, стихотворение зазвучало бы совсем иначе. Оно стало бы ясным и четким выражением трагедии, приведшей его к аполгии такой Музы. А может быть, тогда стихотворение вообще не воспринималось бы как аполгия. Когда чувствуются истоки, многое выглядит иначе.

Вряд ли аполгией нескромности выглядят, например, эти строки из блоковского же стихотворения «Ты твердишь, что я холоден, замкнут и сух...»:

Не стучись же напрасно у плотных дверей,
Тщетным стоном себя не томи:
Ты не встретишь участия у бедных зверей,
Называвшихся прежде людьми.

Ты — железною маской лицо закрывай,
Поклоняясь священным гробам,
Охраняя железом до времени рай,
Недоступный безумным рабам.

Здесь есть и горечь, и отчуждение, и боль, и надежда — нет здесь только упоения собственной необыкновенностью. Причастность здесь — прежде всего, боль и тревога, озабоченность судьбой ценностей, к которым автор причастен, которыми дорожит и которые хочет — железом! — защищать от безумных рабов, как рай, пока еще им недоступный. И прав он или не прав в оценке тех, кого он так называет, мотивы и истоки этого настроения и этой озабоченности ясны и значительны.

К сожалению, о стихотворении «К Музе» этого сказать нельзя, ибо мотивы и истоки здесь просвечивают не так ясно. И от этого само отношение к вещам — тоже. Дьявольская стихия в этих стихах никого непосредственно отвлечь не может — у нее гордая осанка, она на самом деле здесь лик, а не образина. И хотя в следующей строке мотив покаяния как бы крепнет (еще бы — «Я хотел, чтобы мы были врагами»), но ясней от этого ничего не становится. Неясно, почему это желание не сбылось. Вот все четверостишие:

Я хотел, чтоб мы были врагами,
Так за что ж подарила мне ты
Луг с цветами и твердь со звездами —
Всё проклятье своей красоты?

Почему «луг с цветами и твердь со звездами» являются соблазнами именно этой — порочной — Музы? Мы привыкли считать их достоянием Музы совсем иной. Возможно, в момент, «когда уже не было сил», автору показалось, что только такая — порочная — Муза может возратить ему ощущение простых радостей — луга и звезд. Может быть. Но, как мы уже видели, об этом «часе» мы ничего не знаем, и поэтому процитированное четверости-

шие только вносит в стихотворение определенную неясность. Единственный способ читать его дальше — это не вдаваться в подробности. Правда, здесь уже говорилось, что оно к этому располагает. Впрочем, внешне мотив покаяния продолжается и в следующем, предпоследнем четверостишии:

И коварнее северной ночи,
И хмельней золотого аи,
И любви цыганской короче
Были страшные ласки твои...

Но это только внешне. А на самом деле стихотворение опять возвращается на круги своя и обретает прежнее — чуть-чуть даже более греховное — обаяние. Эта неясность и связанный с ней мотив покаяния скоро начисто забываются, смываются волнами экспрессии. Какие уж тут цветы и звезды, а тем более — луг и тверды! И дело тут совсем не в том, что все образы этого четверостишия — образы разгула. Несмотря на то, что семантически они как бы продолжают мотив покаяния, несмотря на то, что ласки этой Музы прямо названы страшными, воспринимаются эти строки совсем иначе: или (во всяком случае, так воспринимал я) как продолжение воспевания романтической страстности поэта, или — если внимательнее вглядываться в семантику, но не вовсе абстрагироваться от тональности, — как выражение обаяния зла. Эпитет «страшные», несмотря на то, что он как будто сохраняет свой прямой смысл, на самом деле здесь только подчеркивает прельстительность этих ласк, которая, по-видимому, с лихвой — при всем осознании преступности — компенсирует эту «страшность».

Я здесь не собираюсь углубляться (если говорить языком Пастернака) в «неисследимый смысл добра и зла», у меня для этого нет ни желания, ни подготовки. Тем более, что представление о внешних проявлениях того и другого находится в сложной взаимосвязи с условиями вре-

мени и места и достаточно противоречиво. Но думаю, что не ошибусь, если в общих чертах скажу, что представление о добре всегда связано было с ответственностью и альтруизмом, со способностью — это уже крайний случай — отдать «душу свою за други своя». И, наоборот, использование «други своя» себе в пищу или превращение их в средство развлечения всегда было связано с представлением о зле. С представлением о зле всегда было связано и культивирование животного начала и всяческое потакание ему, с представлением о добре — обуздание этого начала, культивирование сверхличных ценностей. Так же обстоит дело с правдой и ложью. Конечно, все это верно, только если рассматривать вопрос в чистом виде. Но давно уже не секрет, что темное начало обладает безграничной способностью к сублимации, и человек может, например, служить злу и предаваться темным инстинктам, будучи при этом совершенно искренне убежден, что служит только добру, и, может быть, даже с большей интенсивностью, чем другие...

Нет, я ни от кого не требую святости. Человек, как говорится, слаб, и двери порока всегда широко открыты перед ним. Это добро требует от него многого — осознанности воли, иногда самоотверженности. Зло не требует ничего. Достаточно только отпустить поводья, пойти на поводу у инстинктов, убедив себя, что как-нибудь все обойдется — кривая вывезет (в том числе, и в отношении нравственности), и все пойдет как бы само собой. Впрочем, конечно, и это — упрощение: зло творят люди разные и по-разному. Некоторые и вовсе не ведают, что творят. Некоторые — по слабости, стесняясь, как бы закрывая на это глаза, но не имея мужества отказаться от открывшихся выгод. Некоторые — с отчаянной решимостью, разуверившись, что можно как-то иначе решить свои дела. А бывает, что человек капитулирует перед торжествующим злом, и не только внешне, а и внутренне: оно начинает казаться ему нормой.

Впрочем, те, кто думает, что отпустить поводья — значит тут же попасть на пир непосредственности, ошиба-

ются. Люди, о которых мы только что говорили, ни к какому пиру отношения не имеют. Они просто плыли по течению, а про обаяние зла и слыхом не слыхали, от всякой причастности ко злу руками и ногами открещивались, не всегда, конечно, искренне, но ведь и не всегда неискренне. Правда, верно и то, что они в это зло больше сползали эмпирически, нежели сознательно возводили его в принцип. Общий традиционный взгляд на добро и зло был в конечном счете свойствен и им. Преодолеть этот взгляд (подчеркиваю: общий взгляд, а не слабый заслон перед тем или иным эмпирическим соблазном, с которым и не всё всегда бывает ясно) — значит преодолеть невидимый интуитивный барьер, созданный всей предшествующей историей культуры и человеческого общежития. А поскольку этот барьер сидит в нас гораздо глубже, чем мы это себе представляем, то преодолевать его приходится каждый раз заново и долгое время. Одного безнравственного поведения для этого мало. Какая уж тут непосредственность! И вообще: есть ли вещь более далекая от непосредственности, чем культ непосредственности?

Хотя следовало бы сказать, что обаяние зла в этой связи — вещь сугубо рассудочная. Дело в том, что зло — особенно идея зла — вещь абсолютно не обаятельная. Пусть даже некоторые творят зло с видимой пользой для себя; эта польза всегда относительная. Человек — существо духовное, и если он сознательно решился на зло, то — при любой удачливости — это ему даром не проходит. Даже если он настолько туп, что сумеет избежать угрызений совести (а это бывает все-таки очень редко), он все равно будет наказан в своей человеческой сущности: например, хотя бы лишением полноценного человеческого общения. Причем дело даже не в том, что с ним никто не захочет так общаться, дело в том, что он сам так не сможет. И совершенно все равно, заметит он это или нет. Ребенок, воспитанный волчьей стаей, тоже не знает, чего он лишился. Но это уже обделенность. Во всяком случае, так это выглядит «с точки зрения поэзии», воплощаю-

щей, по определению, стремление человека утвердиться в своем человеческом «требовании от жизни смысла и красоты». И вовсе это не рассудочное, а самое естественное непосредственное требование человека, некий подсознательный и одобренный сознанием идеал, заложенный в него с детства. То, что человек под влиянием обстоятельств и собственных страстей не всегда в состоянии ему следовать, — ничего не меняет. Человечество в целом всегда его помнит, всегда возвращается и возвращает к этому идеалу. И так будет всегда, если оно не захочет превратиться в стада или стаи диких животных, то есть пока оно — несмотря ни на что — сохраняет свою человеческую сущность. Попытка же пользоваться средствами искусства или языком Высокой Мысли для утверждения тенденций, прямо противоположных, есть нонсенс, объясняемый (в тех случаях, когда это не сознательный камуфляж) только инерцией культурных навыков и привычек. Животные не нуждаются в самовыражении, ибо у них нет ни будущего, ни вечности, ни истории, и — кроме биологических навыков — им нечего передать следующим поколениям. В стремлении выразиться есть молчаливое признание существования истории и сверхличных человеческих ценностей. Эти ценности нуждаются в каждодневном утверждении и подтверждении. А человек — в том, чтобы утверждаться в своей причастности к ним. Быть человеком — трудно, эта истина общеизвестна. Перестать быть человеком — намного проще. Но из этого еще не следует, что человеку, переставшему быть человеком (а тем более человечеству, переставшему быть человечеством), было бы на земле хорошо. Отдельные индивиды или группы индивидов, переставшие — и то лишь в несколько фигуральном смысле — быть людьми, только потому могут хорошо или плохо существовать, что остальное человечество — все еще человечество.

С этой точки зрения, обаяние зла в лучшем случае — самообман. Зло начисто лишено обаяния. Это капитуляция перед собственными страстями, амбициями, проще

говоря — перед гордыней. Это даже эксплуатация всех их. Зло — никогда не полет, а всегда — падение. Впрочем, падение, поднатужившись, можно тоже назвать свободным полетом. Примерно по такой схеме и происходит романтизация зла. И внезапно человек, который смог преступить всё человеческое, который свои низменные страсти и свой низменный эгоизм сделал содержанием всей своей жизни, а других людей рассматривает только как объект или средство, — вдруг такой человек в чьем-то сознании и на чьих-то страницах приобретает величественные очертания, и ему предоставляют (правда, не пострадавшие от него это делают) право находиться по ту сторону добра и зла, иногда даже говорят: выше добра и зла. И все это ему — за силу духа! Как же! Он один — силой своей страсти — провал тягостную пелену нивелировки, он один живет, в то время как другие только существуют! И другие тоже начинают стараться жить, а не существовать. Так и живут.

Между тем все это аберрация. Силой духа обладает скорее тот, кому нет нужды прибегать к таким допингам для того, чтобы только почувствовать себя живущим и избежать нивелировки, тот, кому для этого не надо непрерывно гоняться за остротой страсти (кстати говоря, в непрерывной остроте нуждается не сильная страсть, а слабая, которую надо все время раздувать, чтобы не погасла) и иступленно искать наслаждений.

Боже сохрани, я отнюдь не против того, чтобы люди испытывали наслаждение или даже стремились к этому, желаю каждому испытать их побольше и не беру на себя смелость устанавливать для каждого меру, превышение которой превращает наслаждение в свою противоположность (хотя не могу удержаться и не отметить мимоходом, что такая мера всегда бывает, и чувствовать ее — надо). Но речь сейчас идет не об эмпирических переживаниях и не о мерах допустимости, а о тех, кто сознательно превращает наслаждение в цель, то есть в средство наполнения жизни, в некий духовный культ, независимо от того, любитесь ли он этим умозрительно, так сказать, со стороны или лично

пускается во все тяжкие. И в том, и в другом случае этот культ — зло, ибо прежде всего направлен против духа и духовности. Культ наслаждения — это всегда культ данного момента, противопоставление его всему, что было, и всему, что будет; это культ безответственности. Это культ мгновенных эмоций, противопоставленных чувству, как чему-то прочному и сущностному, в конечном счете — это культ бесчувственности. Только при утрате связи человека с людьми и вечностью, с человеческими ценностями для него приобретают такое гипертрофированное значение наслаждения, то есть этот культ мгновения. Иногда, например, под нивелирующим воздействием «массовой» культуры и даже противоборства с ней такую связь теряет целая эпоха или целый слой культурных людей. Это называется декадансом. Можно это назвать энтропией. В старину, как здесь уже отмечалось, это ассоциировалось с представлением о дьяволе, то есть о разрушительном начале жизни и духа.

Особо опасен этот культ мгновения для искусства. Ведь оно на самом деле жить без мгновения не может. Мгновение — это данное состояние, а вне его любые открытия искусства, любое стихотворение, например, — не больше, чем выпретенная претензия. Тут можно совсем запутаться, если забыть, что мгновение мгновению рознь. Стихотворение воплощает не просто любое на выбор мгновение, а только такое, в котором раскрывается суть жизни до этого момента, причем жизни значимой, осознанной; мгновение поэтому соотносено (и эта соотносённость в нем опять-таки раскрыта) с самой сутью жизни и духа, с вечностью. Это мгновение и есть замысел, вдохновение, откровение. Между стремлением осознать и наиболее точно выразить такое мгновение и стремлением просто гипертрофировать с помощью экспрессии значение случайного, пусть даже страстного, мгновения, мгновения самого по себе, лежит пропасть. В эту пропасть провалилось немало поэтов или их произведений: оступиться в нее легко.

Знаменитый чешский прозаик Карел Чапек в своем предсмертном, так и оставшемся незавершенным, романе «Жизнь и творчество композитора Фолтына» писал о необходимости для художника быть бдительным по отношению к вышеназванному разрушительному началу следующее: «Всюду, где работает художник, — как везде, где идет речь о человеческом превосходстве, — бродит дух зла, подстерегая случай показать себя, искусить и вселиться в тебя. Сам творить не умея, сатана норовит завладеть тобой. Чтобы погубить твоё творение, он насыплет порчу на тебя, разъедает твоё нутро самопохвальбой и самодовольством. Дабы обмануть тебя, чтобы ты не различал его в его истинном, безликом образе, он выдает себя за тебя самого, принимая на себя защиту твоих интересов. “Это я,— шепчет он тебе, — я... твоё гениальное жаждущее славы «я». Пока я с тобой, ты велик и независим и будешь творить как захочешь: лишь себе будешь служить”. Ибо дьявол никогда не настаивает, чтобы ты служил ему — только себе, себе служи...».

Вряд ли, конечно, этот, выражаясь языком Чапека, дьявол смущал Блока именно славой. Но ведь есть и более сложные и изысканные соблазны. Откуда-то же приходит забвение принципа, который столь блистательно сформулирован на следующей странице чапековского романа (собственно говоря, на этой мысли и обрывающегося): «...Не из себя ты творишь, но выше себя, твердо и упорно добиваешься лучшего видения и слышания, более ясного понимания, большей любви и более глубокого знания, нежели то, с которым ты приступал к своему творению. Ты творишь для того, чтобы в своём творении познать форму и совершенство окружающего тебя мира».

Ничего особо нового в этом принципе нет, он общеизвестен, но бывают времена, когда он вдруг начинает казаться общедоступным и пресным, начинает хотеться чего-то более острого, и невдомек, что это острое гораздо примитивнее и площе. Этот культ мгновения, эта игра с дьяволом, эта романтизация низменного губительны для

искусства еще и потому, что чрезвычайно мгновенными, временными и подвижными оказываются все критерии оценок, все, если можно так выразиться, системы координат, ибо они опираются на поветрия, быстро сменяющие одно другое. А вне этих оценок и координат ничего ни описать, ни понять нельзя — с течением времени становится непонятно, что и почему приводит в волнение автора в данном произведении, оно эмоционально умирает. Именно поэтому мудрость для произведения искусства — качество обязательное, каким бы легкомысленным темам оно ни было посвящено; мудрость в искусстве не обязательно связана с выражением глубоких сентенций: это всегда верная мера вещей и явлений, верный тон, которым об этих вещах говорится. Мудрость — это условие долговечности, которая для художественного произведения не амбиции гордыни, а техническое условие, критерий добротности. Мне уже случалось говорить это, но думаю, что это нелишне и повторить: если произведение спустя какое-то время стало невоспринимаемым, значит, оно не было хорошим с самого начала.

Утверждать, конечно, что стихотворение «К Музе» уже умерло, я не берусь. Живучесть его коренится в его двойственности... В том, что, как уже отмечалось, говорит оно одно, а поет другое, прямо противоположное. Этим вторым оно до сих пор и живо. Но годы идут, и текст заявляет о себе все более властно, все более отчетливо проступает он сквозь подтекст и мелодию. Становится ясно, что речь идет о вещах ужасных и, может быть, стыдных. И поскольку мы уже поняли текст и забыть о нем не можем, внезапно в нашем сознании упоение творческой силой оказывается упоением грехом, упоением всем тем, о чем говорит текст. И тогда я перестаю верить этому стихотворению: смешивать два этих начала значит отдавать более высокое во власть более низкого. Может быть, безотчетно автор рассчитывал на то, что два этих начала, две эти стихи никогда не соединятся в стихотворении, что так и будет музыкальная безнаказанно забивать семантическую, и

это освободит его от необходимости тяжелого почему-то для него выбора.

Кстати говоря, этот разноречивый между двумя противоположными стихиями породил, вызвал к жизни целую «культуру» невслушивания в текст и презрения к его буквальному смыслу. До сих пор она широко используется всякого рода вдохновенными эпигонами, у которых не только двух (хоть это и нехорошо), а и одного смысла не найдешь, но которые свято уверовали, что сама «мелодия» (в данном случае просто умение многозначительно и красиво произносить слова) их вывезет и привезет не только к всеобщему поклонению и славе, но и к вождельной моральной экстерриториальности. Безусловно, Блок прямой ответственности за такие художества не несет, но какое-то участие в легализации подобных стихий — правда, не предполагая последствий — принимал и он. И отнюдь не лучшими своими произведениями.

Но я, кажется, слишком забежал вперед. Вполне возможно, что мои филиппики являются плодом неправильного прочтения. В конце концов, может быть, окажется, что лейтмотивом стихотворения было покаяние. Ведь еще остается целых четыре строки, хотя впечатление от первых двух —

И была роковая отрада
В попираньи заветных святынь,

— наших сомнений не разрешает. Та же отрада от попиранья тех же заветных святынь. Правда, эта отрада названа здесь роковой. Ну и что? Это никак не нарушает инерцию романтического прочтения, упоения творческой силой. Роковая — это, может быть, не очень похвально, но вполне величественно. Тем не менее, эти строки не лишают нас права продолжать рассматривать это стихотворение как покаянное. Все дело в том, к чему оно придет, чем кончится, на чем соединятся в одно его противоборствующие стихии. В конце концов, возможен еще и трагический выход, взрыв

обеих стихий. Тем более, что трагичность происходящего здесь нигде не отрицается, скорей подчеркивается. Она притаилась за высоким упоением — да и говорится обо всем здесь словами исключительно высокого штиля — и всегда готова вырваться на волю, придать и высоте, и упоению, и всему стихотворению свою окраску. В сущности, для этого нужно очень немного, только подняться над своим переживанием, осознать его действительную цену, то есть начать, как говорит Чапек, творить не из себя (это не значит «помимо себя» — *Н. К.*), а выше себя, твердо и упорно добиваться лучшего видения и слышания и, таким образом, выйти из этого дьявольского круга. Двух оставшихся строк для этого вполне достаточно. Только бы хватило воли и дыхания. Но их не хватает, и ничего такого не происходит. Стихотворение кончается ничем:

И безумная сердцу услада —
Эта горькая страсть, как полынь!

Мотив покаяния в этих строках исчезает вовсе. Вернее — «побеждается» иступлением. Страсть как объяснение и оправдание, страсть как критерий и высшая ценность — вот к чему сводится все стихотворение, вся борьба его стихий. То, что она не сладкая, а горькая, как полынь, придает ей только остроту и притягательность. Уж такая страсть стоит всего! Это никак не покаяние и не высокая стихия. Несмотря на всю горечь этой страсти, драматизм исчезает начисто. Это уже не драматизм, а найденное решение. Правда, плоское. И все-таки, видимо, это не решение, а его замена. Видно, решения, вытекающего из этого стихотворения, Блок не нашел, потому что сам не смог определиться по отношению ко всему, чем оно живет. Эти строки просто не двигают никуда стихотворения, а живут за его счет, провисают. Давно зная его наизусть, я всегда с трудом вспоминал эти строки. Восторг подмял вдохновение, а потом выдохся. На восторге далеко не уедешь. Даже если ты гений.

Вот все, что я могу сказать по поводу этого стихотворения. Прошу прощения у читателя за то, что стиховедческий анализ у меня подменен анализом восприятий и предположений. А также за то, что к мелодии я апеллирую как к факту, не доказывая его. Это происходит потому, что я таких доказательств не знаю, а те, которые знаю, для меня неубедительны.

Еще раз подчеркиваю: речь идет не обо всем творчестве Блока, а только об одной из сторон этого творчества, о соблазнах и поветриях времени, которые он не сумел преодолеть шестьдесят лет назад. Разумеется, мне, обогащенному всем, что пережило человечество за эти отнюдь не пустые шестьдесят лет, конечно, легко быть сегодня умным. Те, кто так подумает, безусловно, будут правы. Но все-таки только отчасти: легкость эта весьма относительна. Проблема от этого не становится менее важной. То, что Блок, несмотря ни на что, сквозь это все пробивался к поэзии и создал много гениальных произведений, не должно изменить нашего отношения и к тому, о чем здесь шла речь. Этого надо и стоит опасаться. В опыте больших поэтов поучительно все.

Генезис «стиля опережающей гениальности», или миф о великом Бродском

Эпизод из истории современной культуры

Генезис «стиля опережающей гениальности», или миф о великом Бродском

Что, собственно, произошло? Один человек — пусть даже Александр Исаевич Солженицын — внимательно прочел сборник избранных стихотворений Иосифа Бродского и подробно изложил свои впечатления. И всё. Правда, при этом, к удивлению столпов нынешней литературной просвещенности, выяснилось, что Бродский ему нравится только местами.

Неудивительно, что это огорчило тех поклонников Бродского, которые чтят и Солженицына (например, Игорь Ефимов и Лев Лосев). Но ведь если не огорчились, то рассердились и те, кто изначально исходил из сознания превосходства своей эстетической позиции над солженицынской, — например, как мне кажется, Наталья Иванова. Хотя, казалось бы, чего сердиться? Даже поговорка существует — «о вкусах не спорят» — многим нравится.

Я, правда, с этой поговоркой не согласен. Мне больше по вкусу другая формула: «Да будут ваши слова «да» — «да», «нет» — «нет», а остальное — от лукавого», но речь сейчас не обо мне. Кстати, это изречение Христа никак не означает, что своего мнения не следует менять ни за что и

никогда. Апостол Павел свою ориентацию изменил полностью, и христианская традиция его за это нисколько не осуждает. Это изречение содержит в себе только требование определенности и ответственности. «Не знаю», «не понимаю», «ошибся», «каюсь», даже «сомневаюсь» — ответы вполне определенные. А вот фраза: «мне поэт NN не близок, но я понимаю, что он гениален» (а именно это очень часто слышишь, когда речь заходит о Бродском) — от лукавого. Ибо если он не заставил тебя стать себе близким, ты не можешь знать, что он гениален. Может, он и впрямь таков, но только все равно ты этого не знаешь.

Но меня занимает не само возмущение, не сам факт переполоха, а только его причина. Видимо, дело не в конкретных замечаниях Солженицына, а в том впечатлении, которое они оставляют в целом. Впечатление, которое кратко можно было бы передать удивленным восклицанием «тещи из Иванова» (из песни Галича): «Это ж надо!.. А трезвону подняли...». Имеется в виду тот трезвон, который по поводу «гениальности» Бродского не только подняли, но и столько лет всемерно поддерживают его почитатели и пропагандисты. Не могу ручаться, что Солженицын именно так к этому относится, но так я это воспринял. И, судя по реакции его оппонентов, они это восприняли так же.

Когда-то тому же Солженицыну не понравился Галич. То, что это мнение не было опубликовано, роли не играет — тогда такие вещи распространялись и без публикации. Галича, высоко ценившего Солженицына, это, конечно, очень огорчило, но страшного ничего не произошло. Он не возненавидел Солженицына, не стал его «разоблачать», а мы продолжали любить обоих. Если кто кого любит, ему не так уж важно, что говорят о предмете его любви другие, даже очень уважаемые люди. А этих — как взорвало... Такое впечатление, что подавляют бунт на корабле. Хотя никаких оснований ощущать Солженицына членом своей команды у них не было. Вряд ли кто-либо из них и раньше полагал, что Солженицын поклонник

Бродского. Другими словами, обнаружение «его истинной точки зрения» не могло быть для них оглушительной неожиданностью.

Не в том ли дело, что он проявил свое отношение публично — пусть и не формулируя в общем виде? Оказался, так сказать, *aesthetically incorrect*, что в некоторых наших кругах столь же непозволительно, как в американской прогрессивной среде оказаться *politically incorrect*. Вспоминаю, как в 1948 году следователи МГБ внушали моим сокамерникам: «Мы арестовываем не за антисоветские мысли, а за то, что их высказывают». Я не сравниваю моих оппонентов с этими следователями, не говоря уже о том, что те, мягко говоря, себя идеализировали — их деятельность вообще игнорировала понятие вины. Мои оппоненты никого не арестовывали, не стремились и не стремятся арестовать. Но общее есть. Мои оппоненты тоже защищают — выговорим, наконец, это слово — культ. И опять-таки культы, о защите которых идет речь, ни в чем меж собой не схожи. Однако любой культ требует всеобщей зачарованности, а следовательно, цельности и непротиворечивости. Самое легкое прикосновение реальности — такое, как открытие мальчика, что «король гол», — наносит ему непоправимый ущерб. Жрецы любого культа следят за сохранением культовой атмосферы, духа колена-преклонения, и ополчаются на всех, кого удивляют ее несуразности, — только защитники культа политического стремятся устранить их и физически, а эстетического — только морально. Путем, так сказать, *эластичного* исключения из числа «понимающих», объявления их, например, устарелыми. Иногда даже проделывая это уважительно и «научно».

Лев Лосев даже теорию выдвинул, согласно которой поколения литературных «отцов» обычно плохо понимают своих «детей», в то время как «дети» своих «отцов» обычно понимают прекрасно. Собственно, это не «открытие» вовсе, а только повторение старинного, давно обросшего бородой утверждения модернистской и особенно

авангардистской пропаганды. Не учитывающее специфики этого века, благодаря которой нынешние «дети» понимают не отцов, а дедов, теперь уже прадедов. Конечно, «дедов» чисто литературных, а не революционно-романтических, но литературе от этого не легче.

Это утверждение Л. Лосева не подтверждается и фактами моей биографии. Действительно, мою «слепоту» в отношении Иосифа Бродского можно с грехом пополам объяснить тем, что я старше его на целых семнадцать лет. Но ведь возрастная разница между мной и Олегом Чухонцевым немногим меньше — всего на два года. Со стихами обоих я познакомился примерно в одно и то же время. Между тем, стихи Чухонцева меня с самого начала обрадовали, а тогдашние стихи Бродского оставили равнодушным. Иногда мне нравятся и стихи более молодых людей...

А ведь Солженицын в своих заметках вовсе не борется с культом Бродского. Но он — может, вовсе и не намеренно — поступает с этим культом гораздо страшней для его поклонников — просто не принимает его во внимание. Он читает стихи их кумира, как читал бы любые другие. На такое испытание стихи Бродского, по моему глубокому убеждению, не рассчитаны. Ибо большинство написано стилем, который я называю «стиль опережающей гениальности» — по аналогии с термином «опережающая грамматика». Правда, заниматься домысливанием в случае Бродского почти не приходится — не поручусь за то, что это всегда интересно, но понятно почти всегда. Заниматься чаще приходится «дочувствованием» и особенно «довоспарением». А часто — пусть простят его поклонники — просто и как бы не замечая этого, преодолевать скуку.

При всей примитивности этот пропагандистский прием действенен — кому охота быть отсталым и несовременным? А тут еще громкий процесс, когда преследуют «не за политику, а за свободное творчество», признание — вплоть до Нобелевской — «свободным и культурным Западом»... Чье сердце устоит! Тут не то, что скуку, тут любое сопротивление преодолеешь.

Я знаю, что покушаюсь сейчас на подлинные или внушенные представления многих людей о поэзии, искусстве и личности художника, за которые они будут держаться как за главное свое духовное и культурное достояние. Но я знаю также, что есть немало людей, которые о том, что я сейчас выскажу, будут думать. И если они укрепятся в доверии к собственному восприятию, я буду считать свою задачу выполненной.

Выражаться я часто буду довольно резко. Что делать, разговор о подлинности вкуса — дело жесткое. Мои оппоненты уж точно мягкостью не отличаются. Прибегают к внушению — в сущности, к духовному насилию. Робкие пугаются, спешно начинают дорастать до объявленной нормы понимания. Я на такое «носорожество» не способен. А сопротивление духовному насилию, сопротивление внушению доводами полностью выдержать в мягких тонах вряд ли удастся. Но буду стараться.

Это нелегко. На страже этого культа стоят многие. Например, такая активная и влиятельная группа поддержки, как выдающиеся актеры — те, что время от времени выступают с чтением стихов (но не профессиональные чтецы). Вообще у людей этой профессии исторически сложились непростые отношения с поэзией — начиная с Качалова, который предлагал читать стихи как прозу. За редким исключением, они просто не знают, как при чтении стихов вести себя на сцене. Качаловское заблуждение давно преодолено, все знают, что стихи надо читать не как прозу, а как стихи, но плохо представляют, с чем это сопряжено.

На торжественном вечере, посвященном столетию со дня рождения Пастернака, с чтением его стихов выступило много актеров. Но хорошо прочитали его стихи только двое — Алла Демидова и Николай Губенко. Дело не в таланте — талантливы были все. Дело в том, что только Демидова и Губенко не были в этот момент актерами (или хорошо сумели это скрыть), не играли, а читали стихи так, как читали их в кругу друзей — а только так и мож-

но читать стихи. К сожалению, остальные отнеслись более «ответственно» — как ко всякой роли. И превратили лирические стихи в театральные монологи. Но ведь каждый монолог подкреплен действием — тем, что было до него и будет после, а в стихотворении все, что имеет к нему отношение, заключено только в нем самом, втиснуто в пространство между первой и последней строкой. Их можно только читать — и так, чтобы чувствовалось твое понимание, но ни твоей творческой личности, ни твоего особого замысла, ни позы просто не было. А актеры привыкли, чтобы все это было и чувствовалось. В этой связи понятно их тяготение к модернистским (тогда поневоле только заграничным) стихам — их можно играть (вспомните талантливое Сомова). Ввиду формальной незамкнутости этих стихов актеру есть куда себя вложить и где развернуться. Не заграничный, а «свой» Бродский для них просто находка.

Сергей Юрский, на мой взгляд, хорошо читает Пушкина — но только не всякого, а так сказать, игрового. То есть всё, что можно читать, как бы играя самого Пушкина. Не думаю, что, не изменив манеру чтения, он смог бы хорошо прочесть, например, «Безумных лет угасшее веселье...». Тут надо не преобразиться, а просто читать. Лирическое стихотворение — как песня — абстрагируется даже от живущего в нем создателя.

Я видел не раз по НТВ, как Юрский читает Бродского. Читает его, как Пушкина, играя Пушкина. А что — тоже гений и тоже море иронии. Непонятно только, над чем («Служенье муз чего-то там не терпит»), и с каких высот иронизируется. Но это непонимание зритель-слушатель вполне может объяснить себе тем, что недослушал, недопонял, а вообще замечательно. Кто спорит — Юрский замечательный актер. И уверовав (выгравшись?), вполне способен создать своим актерским обаянием впечатление пира мысли и духа там, где его нет. Да только актерское обаяние здесь, по-моему, ни к чему. Не театр.

Михаил Козаков тоже очень хороший актер и тоже обладает актерским обаянием. После его вечера в Нью-Йорке, где он читал и Бродского, один мой знакомый сказал:

— Я раньше никак не воспринимал Бродского. Но Козаков мне его вчера открыл. Я понял, что это замечательно!

Кстати, не так уж хорошо это говорит о стихах — они должны открываться без помощи актеров. Тем более, что человек этот был не так уж чужд искусству. Но заинтересовало меня другое.

— А что именно он открыл, чем он так вас поразил? — полюбопытствовал я.

Знакомый мой задумался, а потом рассмеялся. Впечатление было, но он не помнил, чем его впечатлили. Помнил, что Бродский велик, потому что Козаков, пропагандировавший его (а он это делает, и довольно агрессивно), был великолепен. Так работает внушение. Конечно, не злостное, а основанное на самовнушении. Но истиной оно от этого не становится.

Но, как говорится, вернемся к истории вопроса. С тем, что мои оппоненты считают достигнутым именно ими уровнем (говорю не о конкретных оценках чьего бы то ни было творчества, а об общих представлениях о поэзии), я соприкоснулся еще до войны, в отрочестве. Другого вокруг меня и не было, если не считать официоза сталинщины. Литературность — единственное, чем защищалась тогда от духовного и интеллектуального небытия молодая и тогда еще советская (и потому вдвойне беззащитная) интеллигенция. Используя, конечно, *достижения «серебряного века»* — «важно не что, а как». Некоторые приспособляли это «к делу» — всерьез верили, что если применить «мастерство» к воспеванию великого вождя и расцветающей советской жизни, то есть «инструментировать» это свежими эпитетами и сложными рифмами, — и будет желанный творческий акт.

Так аукалось то, чему обучали своих питомцев на курсах поэзии настоящие русские поэты — Н. Гумилев, Г. Ива-

нов и Г. Адамович. Но они были поэтами, и проблемы «что» для них не существовало, это «что» переполняло их, важно было найти ему адекватное воплощение. А у молодых интеллигентных людей и барышень, которых они учили, это создавало иллюзию, что такой проблемы нет и для них. Ведь чувства, переживания и прочее есть у каждого — остается только научиться это грамотно выражать. В сущности, все сводилось к сакрализации любых переживаний и проблемы *know-how*. Такая сакрализация в условиях большевистского вытеснения ценностей привлекала еще и тем, что создавала иллюзию особого духовного мира, в котором можно безопасно существовать. Ведь речь шла о технике, а технику большевики уважали. Но плодотворным для поэзии этот культ техники и самовыражения быть не мог. «Я научила женщин говорить. / Но Боже! Как их замолчать заставить», — шутливо и не совсем шутливо сокрушалась в конце жизни Ахматова. Она преуменьшала — она научила говорить о своих чувствах и многих мужчин. Не научила их только быть при этом поэтами. Но она, в отличие от ее товарищей, специально этим и не занималась. Они занимались, но все равно не научили. Только способствовали укреплению в сознании многих пишущих умонастроения, в котором поэтическое творчество рассматривается исключительно как явление внутрилитературное. Как внесение вклада в некое развитие литературы. Каким-то образом — больше механически — все это увязывалось с культом самовыражения, превращавшим самовыражение из необходимого условия творчества в его суть и цель. Впрочем, виртуозностью техники действительно можно передавать тонкости эмоций, особенно своеобразной и удивительной личности.

О том, что эмоции не всегда выражают чувства, а эмоции вне чувств безличны, и уж точно безличностны — не ведали и не думали. А о том, что своеобразие личности еще не залог ее значительности и прикосновенности к поэзии — тем более. Главное — вклад в движение поэзии. Собственно, согласно этой системе ценностей, поэзия и

существует для этих «вкладов», благодаря которым имена «вкладчиков» остаются жить в веках. Ибо, по-видимому, вашим «вкладом» в это вечное движение на другом этапе того же движения, как платформой, благодарно воспользуются будущие вкладчики для обеспечения и своего бессмертия. *Perpetuum mobile*, вечная погоня за бессмертием своих имен — и только!

Ирония моя относится не вообще к вкладам. Каждое подлинное художественное произведение — вклад в литературу. Любые настоящие стихи, где подлинности самовыражения сопутствует подлинность причастности (катарсис), являются вкладом в поэзию. Естественно, все подлинно хорошие стихи — «новые»: подражание не может быть подлинностью. Конечно, это требует таланта — сие глубочайшее замечание я делаю исключительно для сужения возможностей демагогической находчивости наиболее рьяных моих оппонентов. Фикцией является не вклад в литературу, а только вклад в движение литературы и особенно стремление к этому «вкладу в движение» (чаще всего предполагаемое). Достижение вечной славы в этой системе представлений начинает восприниматься делом не таинственным, не кустарным, а почти индустриальным — как всякому делу, ему можно научиться. Не то, чтобы эта слава была легко достижима — не каждый ведь может быть и чемпионом по плаванию, но ясно, что для этого делать и к чему стремиться. Именно эта определенность задачи (часто состоящая в достижении неопределенности) и создала «Клондайк» честолюбий. «Найти себя» — стало значить «научиться говорить» (по Ахматовой), то есть одарять людей своими переживаниями в «современной» упаковке. А еще лучше сделать «шаг вперед в развитии формы».

Такое понимание литературного процесса открывает широкие возможности самоутверждения — писательского и даже «продвинутого» читательского. Вообще-то читатель в этой системе ценностей остается где-то сбоку, в стороне от внимания, но ему все-таки предоставляется

удовольствие приобщаться к пониманию тонкостей чужого самовыражения. Многим это льстит, и эту польщенность они принимают за эстетическое наслаждение. Благодаря такой доступности тайн, обрело статус науки литературоведение. И, применяя быстро сменяющие друг друга «новейшие» методики, стало развиваться чрезвычайно бодро. Так, что теперь в этой среде утверждения типа «для существования «критики» (так эта наука себя именует) существование литературы вовсе не обязательно» не встречают здорового смеха, как того требовал бы здравый смысл. Но прогресс зашел далеко. Чуть более чем за сто лет академическое литературоведение на Западе прошло гигантский путь — от противостояния всему живому с консервативных позиций до глушения всего живого с позиций суперсовременных.

Кстати, о читателе. Обычно, когда в последние годы упоминаешь о читателе, в определенных кругах это воспринимается так, словно ты произнес неприличность. И дело не в том, что этот термин демагогически использовала советская пропаганда. Поэт вообще не должен и не может потакать и угождать читателю — игры с читателем более серьезное прегрешение перед призванием, чем даже игры с властью! В последних тоже ничего нет хорошего, но если они вынужденные, то могут и не затрагивать творческой сущности художника (вспомним ахматовский цикл о Сталине). Так что, спору нет — по пути заигрывания с читателем можно уйти далеко в сторону от поэзии.

Но так же далеко или еще дальше можно уйти и по пути прямо противоположному, что многие из тех, с кем я сейчас спорю, и сделали — дьявол стережет на всех путях. Сегодня эта вторая опасность более актуальна, чем первая. Она, можно сказать, действует наступательно. А читателя, хотя ему действительно не стоит потакать, а подчас можно и даже нужно идти наперекор, игнорировать не только нелепо, но и неплодотворно. Он, даже не зная того, участник творческого процесса. И именно как читатель, а не как соавтор или «домысливатель». Воплощение — это

воплощение и в его душе, а то, что к читателю вообще не относится, не относится и к искусству.

«Внечитательское» представление о творце и творчестве — бич XX века. Эта схема определила собой и легализацию тщеславия, доходящую до глубокомысленных размышлений о механизме славы — причем, не из научного любопытства, а с целью практического применения. Этим размышлениям отдали дань даже большие поэты, которые ни в какой стимуляции славы не нуждались. Но — размышляли. А «малых сих» это соблазняло.

Все эти болезни — процесс мировой. Но мы были от него отделены и закрытостью общества, и обилием реальных проблем, которые были нам навязаны. Но отделены мы от него были, когда он уже пустил глубокие корни и у нас — так что его ценности сохранялись, передавались и получали романтический ореол. С его возрождением я и соприкоснулся в довоенном Киеве. Но тогда оно только набирало силу. Потом было отодвинуто войной. Тем не менее, до молодежных литературных кружков Ленинграда в 60-е годы оно дошло окрепшим и самоуверенным. У его пафоса был один реальный, но не очень важный резон — оно противостояло господствовавшему тогда послеоттепельному всплеску «концертной поэзии». Но, во-первых, этот всплеск — явление не такое простое и однозначное, во-вторых, подверстывали под него слишком многое, а в-третьих, это противостояние занимало их только отчасти. Главное, чем они были переполнены, — это та литературность, о которой я говорил выше.

И опять приходится баррикадироваться от глупых обвинений. Литература и должна быть литературой — но она не может питаться одной литературой и жить исключительно литературными интересами. Ибо ее главная задача — добывать гармонию из наличной жизненной ситуации. Поэтому распространенная в начале 90-х многоумная фраза, что «теперь, после того как разрешена общественная мысль, литература может вернуться к самой себе, к своим собственным задачам», — не то что не

верна, а просто от начала до конца лишена содержания. Звучит гордо, но произносящий ее не смог бы объяснить, что он имеет в виду. Уже несколько тысячелетий человеческая мысль бьется над определением сущности и задач искусства в его взаимосвязи с бытием, а этим все это, оказывается, известно изначально, только одна проблема есть — освободиться от лишнего. Литературность 60-х годов до таких высот, как известно, не поднималась — только двигалась в этом направлении. Но все равно жила и цвела в своем собственном мире. В благоухании его парфюмерных (иногда для «смелости решения» и аммиачных) паров и возрос Бродский. И как мифологическая фигура, и как объект всепобеждающего культа «гения», в котором этот круг очень нуждался.

Впрочем, по-настоящему, возник его культ не в России, а в эмиграции. Конечно, поклонники, и даже горячие, были у Бродского и до отъезда, даже до скандального суда над ним, но одним российским поклонникам создать этот культ было бы не под силу. Хотя его проводниками за границей были именно они — в первую очередь, представители тех ленинградских кругов, о которых я уже говорил — «ленинградская группа», «ленинградский литкружок». Название неточное — большинство ленинградцев не имело о ней представления, а если перечислять ее членов поименно, отнести к ней пришлось бы не только ленинградцев. Но, безусловно, столицей этого «направления» был Ленинград. Именовало оно себя «второй культурой». Я эту «культуру» тогда же — и отнюдь не острословия ради — назвал «вторичной». А Ленинград этой культуры (опять прошу прощения у большинства ни в чем неповинных ленинградцев) я назвал «реальной провинцией воображаемого Запада». Эта группа имела и свою периферию. Когда-то, еще в 70-х, одна молодая дама, бывшая ленинградка, не поэтесса даже, просто поклонница всего изысканного и, естественно, Бродского, возражая мне, с неподдельной гордостью выразилась так:

— Ленинград вообще не Россия, Ленинград — Европа! Безусловно, это крайность, больше я никогда ни от кого ничего подобного не слышал. Интерес тут представляет не гордая непатриотичность этого высказывания — Россию эта дама представляла так же мало, как и Европу, — а стремление к изысканной тонкости. Возникла эта «реальная провинция» не в эмиграции, но знамя своей «второй культуры» понесла в эмиграцию («Нас не печатали потому, что мы не политики, а художники») именно она. А ведь это была единственная компактная группа литераторов и претендентов на это звание, которая выехала из СССР. И единственно выехавшая по литературным соображениям — для литературной реализации.

— Да, — сказал мне Галич, когда я поделился с ним недоумением по поводу серьезности таких причин отъезда, — мы ведь выехали против своих литературных соображений.

Должен отметить, что к бесспорным, на мой взгляд, лидерам этой группы, Льву Лосеву и Игорю Ефимову, это последнее соображение не относится. Большинства вышеприведенных глупостей они не говорили, да их и просто еще не было тогда в эмиграции. К тому же они и до выезда были уже не только профессиональными, но и признанными литераторами, и проблема реализации перед ними не стояла. То, что в создании и установлении культа, о котором идет речь, они сыграли весьма заметную роль, этого никак не отменяет.

Установлению этого культа способствовало и то, что имя Бродского после его процесса, точнее после записи этого процесса, сделанной незабвенной Фридой Вигдоровой, было у всех на слуху. Бродский относился к этому факту (особенно к роли этой записи) болезненно, в своих выступлениях всячески старался принизить роль этой записи, а заодно и образ ее автора, то есть, с точки зрения «банальной» морали (для гениев, как я слышал, не обязательной), проявлял черную неблагодарность. Хотел верить, что его мировая известность обошлась без нее. И

зря. Если бы он даже полностью соответствовал представлению своих поклонников, если бы на его месте был поэт, соответствующий моим или любым другим самым высоким представлениям, сам собой известным всему миру он все равно бы не стал. Обстановка, в которой поэты, как это было с Байроном, Шиллером, Гёте и еще с некоторыми, становились известны всему миру (кстати, главным образом из-за «содержания», соответствовавшего мировым настроениям), давно канула в прошлое. Так что без Фриды Вигдоровой не обошлось бы в любом случае, и это ничуть не компрометирует Бродского. Вторым фактором, впрочем, связанным с первым, была поддержка Запада, то есть западных русистов.

Русистика — периферия западной культуры, поэтому все болезни этой культуры сказывались в ней более явно. По своим представлениям и психологии русисты были ближе к эйфории «ленинградского литкружка», чем к каким-либо другим тогдашним российским веяниям. Между тем, на Западе интерес к тому, что происходило в русской литературе и вообще в России (диссиденты, суды над ними и тому подобное), был тогда чрезвычайно высок. Особенно интриговал высокий интерес к поэзии — поэтические вечера, собиравшие толпы людей, быстро расходящиеся тиражи поэтических сборников, высокое положение поэтов в общественном сознании... Быть специалистом по всему этому становилось даже престижно. Кроме того, престижно было попадать в высокие интеллектуальные и творческие круги Москвы и Ленинграда, что доставалось им очень легко. Какого-нибудь заштатного русиста мог в Москве принимать сам Окуджава — о выходе в такие круги в собственной стране он и мечтать не мог. Все это поднимало их значение среди коллег. Но сами они оставались теми, кем были, и человек, которого преследовали (преследовали ведь!), но не за политику, а за литературу, им очень импонировал. Импонировал и стиль — «живет в России, а пишет, как у нас» — так сказать, достиг мирового уровня. В поэзии они чаще всего

ничего не понимали, в ней не нуждались — ни в своей, ни в нашей — не всегда понимали, зачем она вообще нужна, но про специфику поэзии знали много: по ней и были специалистами. При этом у многих возникал соблазн на эту литературу воздействовать, применить к ней свою «просвещенную» систему ценностей — хотя при этом все, что к ней привлекало и повышало их собственный статус — подавлялось. Нелепо, но по-человечески понятно.

Видевшая тогда в Западе единственный свет в окошке (а другого и не было) советская интеллигентная молодежь клюнула на это: «Запад признает!» — чего же больше! Впрочем, были у этой молодежи и свои причины для увлечения. Отчасти я их когда-то описал в статье «Сквозь соблазны безвременья» («Континент», № 42). Только тут не было никаких «сквозь» — была погруженность в эти соблазны.

Их юность совпала с тем, что страна под бравурные марши катилась по наклонной плоскости, когда впереди ничего не было ни видно, ни понятно, и помочь делу они ничем не могли. Их настроение по тональности совпадало с тотальной необязательностью Бродского — необязательностью выбора слов, течения стиха и отношения к жизни. Об ответственности за жизнь я уже не говорю. Они, по свидетельству моего молодого и отнюдь не глупого друга, знали наизусть больше стихов Бродского, чем Пушкина, — ему кажется, что это аргумент в пользу Бродского. Для того чтобы читать Бродского, требовался «допуск» к «самиздату». Этот «допуск» тоже приобщал к высотам, на которых хотелось удержаться. В юности многое льстит.

Что в юности можно других поэтов (особенно Лермонтова) ценить гораздо больше, чем Пушкина, меня не удивляет, сам через это прошел. Пушкин вообще становится понятен не сразу — не потому, что он пишет непонятно (наоборот, настолько «понятно», что как раз эта «понятность» обманывает), а потому что для его понимания требуется хотя бы минимум взрослости. А в те времена взрос-

лели туго — больше становились молодыми да ранними. Удивляет меня не отношение к Пушкину, а — охота пушке неволи — то, что они запоминали стихи Бродского, построенные так, что в них все противится запоминанию. Удивляет мужество, с которым они преодолевали отсутствие сквозного стихового движения — в кусках оно иногда возникает, но потом почти всегда прерывается, теряется.

Даже сейчас, читая эти стихи наизусть, они начисто обходятся без этого движения, даже не стараются чтением его имитировать — словно его и не надо. Читают, как отчитываются. Теперь они уже в зрелом возрасте, и любовь к этим стихам для них — как воспоминание о светлой юности. Когда тычешь их носом в несуразность того или другого стихотворения, объявляют, что любят не эти стихи, а другие. А когда то же происходит с этими другими, объявляют, что любят третьи. Когда ты вспоминаешь хорошие строки Бродского, у них вспыхивают глаза: значит, не зря с ним носились! — и тускнеют, когда выясняется, что эти строки не имеют стихового продолжения. Они ведь были уверены, что такое продолжение, такая связь существует, но просто они ее не уловили. Поверить в то, что гениальный автор, выплеснув строку или две, дальше «пошел пешком», они бывали не в состоянии. Это напоминает упрямое самоослепление влюбленной женщины, которой страшней всего разочароваться в своем избраннике.

И опять я должен упредить ложное возражение — «пойти пешком» не значит свободно идти путем, который «диктует вдохновенье» (А. Блок), а значит переть вне путей и собственного замысла. Возможно, это и есть пресловутое «самовыражение языка», или даже открытое создателями его культа «моцартианское начало», или доверие к своей «харизме» — не знаю. Для меня же это последствие приобретенного Бродским качества, которое я называю «верой в гениальность своей левой ноги». Печально, что это «хождение пешком» принимается за квинтэссенцию «мастерства» и «эмоциональности». И то, и другое у этого автора, конечно, бывает, но только урывками, редко.

Это заблуждение тем более прочно, чем хуже то, что культивируется, — в это трудно поверить, и читатель предпочитает винить самого себя, свою неспособность разглядеть великое. Так работает культ. Так работал и другой культ, бывший на моей памяти, которому и я, хоть и не очень долго, но все же отдавал когда-то дань.

Когда я в конце 1973 года уезжал в эмиграцию, рукописи Бродского в моем кругу были уже вполне доступны, за границей в издательстве им. Чехова вышел его первый сборник «Остановка в пустыне» — все это вызывало некоторое любопытство, но, в общем, им мало кто из известных мне любителей поэзии интересовался. А в январе 1989 года, когда я впервые после отъезда приехал в Москву, он был общепризнан. Если не как первый поэт, то как значительное явление. Я говорю не об искренних его поклонниках, их в кругу моих друзей не было, не о молодежи, падкой на новое, а о людях, о которых точно знал, что никакой Бродский им ни при какой погоде не нужен. Они и не говорили, что нужен. Но изощренно поддерживали культ.

— Ну и плевать, что неподлинный, — сказал один. — Большой поэт необязательно должен быть подлинным.

— Он перекинул мост из английской поэтики в русскую, — сказал другой. Можно подумать, он страшно в этом мосте нуждался и точно знал, что эта работа произведена.

И, наконец, третий, публично назвавший Бродского одним из трех лучших современных русских поэтов, на вопрос, действительно ли он так любит стихи Бродского, ответил яростно:

— При чем тут это?! Я и Достоевского не люблю — что из того?

Положим, кое-что из этого все-таки следует. Достоевский писал прозой, а прозой пишутся не только художественные произведения — к написанному прозой можно относиться и просто как к информации. В конце концов, все мы в быту говорим прозой. Так что теоретически я

вполне допускаю (хоть мне и странно — я люблю Достоевского), что Достоевского можно чтить за мысли, за проникновение в характеры, за духовные открытия и при этом не любить как художника.

Стихи — другое дело. Я знаю, бывают и стихи, изначально не претендующие на то, чтобы быть поэзией — например, рекламы, детские дразнилки и тому подобное, но здесь я имею в виду стихи, как основную форму воплощения поэзии (или претензии на это). Такого рода стихи пишутся для того, чтобы их любили, то есть воспринимали. Все остальное открывается в них попутно. Употреблять их просто для информации неэкономно и противоестественно. Конечно, задача их и воздействие гораздо шире, но — вот беда — о стихах, которые мы не любим, мы не можем знать ничего хорошего. И этот мой товарищ всегда это прекрасно знал и понимал, да вдруг — забыл. Под воздействием культа...

Обратите внимание — все эти мои друзья высказываются о Бродском положительно, но никто не говорит, что любит его стихи. В крайнем случае, находят побочные достоинства. И еще — ради признания Бродского расширяются все нормы — вдруг даже подлинность становится необязательным качеством поэзии...

«Носорожество» — феномен не только политический. Впрочем, все это последствия политической конфронтации с «партийным руководством литературой и искусством». Приятно было, что оно оскандалилось, что поэт, преследовавшийся как «тунеядец», получил международное признание. Настолько приятно, что было не до собственных читательских впечатлений и оценок. Это нечто вроде голосования «назло» за КПРФ и ЛДПР...

Но все рекорды нелогичности побил не мой друг, не мой ровесник, а умный и талантливый представитель другого поколения — покойный Юрий Карабчиевский. Подвергнув в своей замечательной, на мой взгляд, книге «Воскрешение Маяковского» поэтику и поэзию Бродского уничтожающей и точной критике, он при этом огово-

рился, что тот является лучшим поэтом из пишущих порусски. Только недостаток есть один — своеволие вместо откровения. Но если поэт, обладающий этим, отнюдь не частным недостатком, объявляется лучшим, из этого следует, что русской поэзии вообще уже не существует. Однако этого вывода Карабчиевский не делает.

На что ему тогда вообще понадобилась эта оговорка? От чего он хотел ею обезопаситься? То ли боялся обвинений в зависти, то ли в непросвещенности (Запад признал, а ты куда со своим неумытым рылом?), то ли испугался столь резкого отрыва от «поколения» (сиречь, литературных сверстников), а то и от самого себя в прошлом — точно не знаю, но воздействие атмосферы культа в любом случае тут ощущается явственно. Таков успех ленинградского литкружка в распространении своего местного культа.

Как уже говорилось (об этом пишет и Игорь Ефимов), в Ленинграде в 60–70-е годы литературная или претендующая на то молодежь, исполненная любви исключительно к искусству, увлеклась стихами одного из своих товарищей (наиболее явно приблизившегося к литкружковскому идеалу самовыражения и новаторства), переписывала их по ночам и читала друг другу. Больше всего им импонировало, что он в своем творчестве выше «политики», так сказать, продолжает прерванную традицию. Умонастроение это пижонское и снобистское, ибо, к сожалению, как сказал один из современных мыслителей, тоталитаризм страшен еще и тем, что каждого заставляет решать проблему, принимать его или не принимать. Хорошего тут мало, но игнорированием от этого не спасешься... Они могли сколько угодно презирать то, что называли «политикой», могли ею сколько угодно «не заниматься», но эта «политика» все равно усердно занималась ими и всем вокруг. Игнорирование этого факта никак не могло быть торжеством принципа непосредственности, на роль защитников которого все эти люди тоже претендовали.

Некоторую реальность (все равно мнимую, на мой взгляд) придавала этой группе близость к Ахматовой. Ее высказывания о Бродском много сделали для установления его культа, хотя сами ничего «культового» не содержали и были в основном футурологического плана.

Я очень высоко ценю Ахматову. Мне уже случалось говорить, что у Ахматовой наибольший в русской поэзии XX века «выход продукции» — процент стихов высокого класса (около пятидесяти). В этих стихах она великий национальный, народный поэт, причем не только в гражданских по теме. Однако жила в ней до самого конца и другая Ахматова — королева «серебряного века», «столпница паркета». И иногда говорила ее устами. Что ж, я очень люблю ее стихи, чту ее память, благодарно помню многие ее высказывания — умные и точные. Но прямо скажу, это относится не ко всем ее высказываниям. За ее высказывания о Бродском я ей вовсе не благодарен. Впрочем, мне она ничего ни о нем, ни о его круге не говорила. Только раз — с удовольствием — о каких-то молодых ленинградцах, поэтах, которые отстраняются от Блока — не ругают его, но говорят, что он им не нужен. Интересно, согласен ли я с ними. Но этой приятности я ей сделать не мог. К моему несогласию она отнеслась спокойно.

Что ж, Ахматова есть Ахматова, Блок был ее старшим современником, у нее с ним могли быть старые литературные счеты, и ее могли радовать симптомы некоторого умаления влияния Блока на литературную молодежь, могла она даже преувеличивать эти симптомы. Другое дело — «молодые ленинградцы». Должен сказать, что их (надеюсь, только тогдашнее) отстранение от Блока мне и теперь непонятно. Я отнюдь не считаю Блока неприкасаемым. Я сам написал о нем две статьи, весьма критически рассматривающие некоторые аспекты его личности и творчества. Но я писал это, *несмотря на то*, что я его люблю. «Отстраняться» же от этого великого поэта и человека, к тому же столь близкого и необходи-

мого нашему времени, говорить о том, что он мне не нужен, мне и в голову не приходило.

С каких высот — пусть даже творчески не подтвержденных, но хотя бы внутренне или интеллектуально достигнутых — они так смотрели на Блока? Впрочем, на том надувном Олимпе, где они устраивали свои суперлитературные радения, возникала своя система ценностей. Опирающаяся на аксессуары мировой культуры и на прерванную (на мой взгляд, якобы прерванную — выдохшуюся) традицию «серебряного века». Но употреблять аксессуары еще не значит войти в культуру. Бальмонт тоже любил эти аксессуары.

Надувному Олимпу понадобился свой гений. Есть ли вообще реальное содержание у этого термина? Думаю, что нет. Или — что то же самое — есть какое угодно. Обретает он смысл только в плане пресловутого «вклада» в «движение литературы». Конечно, иной раз и сам, услышав чьи-то особенно впечатляющие стихи, воскликнешь: «Гениально!»... Но когда говорят, что Бродский — гений, это не восклицание, а литературная (на мой взгляд, антилитературная) позиция.

По приезде на Запад, я обнаружил в таком серьезном журнале, как «Вестник РСХД», статью «Бродский и Пушкин». Я не стал ее читать. Я вообще с той поры в этом журнале статей о литературе не читаю... Сближение этих имен оскорбляет мой слух, вкус и здравый смысл. Даже если бы это делалось с целью критики... Бродский плох не потому, что он не Пушкин. Впрочем, Пушкиным дело не ограничилось. Бродского ставили в ряд со многими классиками мировой литературы — от седой античности до наших дней. После появления его имени рядом с пушкинским это было уже не трудно — народ привык. Особенно тот «народ», который вообще не читает стихов, но любит «быть в курсе». Он легче всего поддается внушению.

Сюда же относится и «моцартианское начало», о котором уже шла речь. Вообще не было такого положительного качества в литературе (если оно вдруг оказывалось в

центре общественного внимания), которого бы немедленно не обнаружилось и у Бродского, и такого прославленного имени, которому он не оказался бы родствен.

Что это, экзальтация любви? Не похоже. Но если и любви, то сугубо литературной (на мой взгляд, опять-таки — антилитературной), а не читательской. Я здесь не противопоставляю читателей писателям. Писатель — тоже читатель, он немыслим без читательского восприятия. А литераторским, так сказать, «профессиональным» пониманием балуются и иные читатели. Между тем, профессиональная оценка сводится к умению анализировать свое *читательское* восприятие, быстрее других схватывать, где, что и почему мешает. А гордость тем, что мы у себя в Ленинграде нашли своего собственного гения, отвечающего всем традиционным представлениям о новаторстве, оригинальности и самовыражении, который, как и положено гению, двинул литературу вперед, — есть радость чисто литераторская. Даже если ее испытывает человек, не написавший ни строки. И потом, любя стихи, говорят об этих стихах, а не о некоем вкладе в нечто или близости их автора к мировым классикам. Я убежден в том, что насаждавшие культ делали это от неуверенности в своей любви.

Влияние этой атмосферы привело к тому, что Бродский на всю жизнь остался подростком — во всяком случае, так он выглядит в творчестве. Он привык к незаконченности, незавершенности, к общей необязательности — в выборе слов, ходов и прочего. К полной — воистину «гениальной» — свободе стихотворения от замысла, то есть от импульса, который дает ему жизнь. Иногда этот импульс вообще не проглядывает, его просто нет. Причем это может быть и при наличии мысли, ибо, как хорошо (даже лучше, чем надо) знают мои оппоненты, одной мысли для поэзии недостаточно.

И вот пример — стихотворение «Я входил вместо дикого зверя в клетку...». Оно представляет собой энергичную опись всех перенесенных автором мытарств. Но

перечисление это номинально, а не индивидуально, выбор слов крайне неточен. Судите хотя бы по первой, заглавной, строке: «Я входил» — так она начинается. То есть речь как будто идет о некоем решительном и направленном поступке. Между тем, эта строка начинает список мытарств, по поводу которого в конце восклицается: «Но пока мне рот не забили глиной / Из него раздаваться будет лишь благодарность». Если «входил», то кого благодарить? Себя самого? В том-то и дело, что здесь должно быть не «я входил», а «меня вталкивали, сажали, запикивали» — что угодно... Меня сейчас интересует соответствие этих впечатлений не фактам биографии, а только задаче стихотворения. Дело не в нескромности, а в неточности. Я согласен с Солженицыным, что если речь идет о России XX века, надо очень осторожно говорить о своих страданиях.

Но к нашей теме больше имеет отношение его замечание (с которым я уж точно согласен), что пафос заключительных строк никак не вытекает из предшествующего им нагромождения мытарств. Не только поэтически — вообще художественно. А декларативной ораторской логике этого стихотворения ничто противоречить не может. Могло бы противоречить, если бы в основе стихотворения был замысел, импульс, если бы оно было ему подчинено, а потом вдруг сорвалось, ушло в сторону. Такое у Бродского бывало часто. Но в данном случае нет и этого. Есть намерение — в данном случае, благое — благодарность Творцу за его бесценный, несмотря на любые страдания, подарок — жизнь. Но это открытие — а это всегда открытие — не выражено как переживание. Просто продекларирован результат. Без всякой заботы о цельности замысла, то есть о форме.

Меня очень удивляет, когда Бродского объявляют (иногда для «объективности» даже те, кому он не нравится) «мастером формы». И дело тут не в Бродском, а в упрямой путанице понятий. И от этого — представлений. Форма — это воплощенный замысел, воплощенное про-

явление личности в момент вдохновения (определение коего см. у Пушкина — в заметке «О вдохновении»). «Мастером формы» вообще быть нельзя, ибо создание каждого художественного произведения — открытие единственной присущей ему формы. В стихотворении, о котором только что шла речь, формы нет. Да ведь при общей подростковой неоформленности личности (с которой все время сталкиваешься, читая Бродского), чем может быть задана определенность формы? При таких условиях на форму можно наткнуться только случайно, как, впрочем, и на реальное самоощущение, на самого себя. Поэтому-то форма присутствует только в нескольких стихах — в основном же его стихи бесформенны, а гениальность бесформенных произведений искусства — новаторство, до определения которого даже XX век не додумался. Так что потенциальным новаторам XXI века нет причин огорчаться — для них еще остаётся достаточный «фронт работ»...

Из сказанного ясно, что к явлению современной культуры, именуемому Бродским (к которому имеет отношение отнюдь не он один, да и не весь он), я отношусь, безусловно, отрицательно. Я считаю, что поэт Бродский почти полностью погребен под этим явлением, почти полностью заслонен им — прежде всего, от самого себя. Но это не значит, что он иногда — пусть сравнительно редко — не выбирался из-под этого «явления» и не писал хорошие стихи. Такие, которые я, если использовать выражение Натальи Ивановой по поводу Солженицына, «не могу не отметить» как хорошие. Кстати, и стихи других авторов нравятся мне только в этом случае. А разве должно быть иначе? Более того, то небольшое у Бродского, что пробивается на свет из-под завалов его «гениальности», я не просто признаю, а люблю — это настоящая и сильная поэзия.

Я не буду здесь опровергать утверждения, что Бродский великий поэт, гений, ровня Пушкину, Шекспиру, Гомеру etc. Дело не в том, что это не так, а в том, что отпу-

щенный ему Богом дар он почти весь разменял на «гениальность». И в этом смысле действительно представляет собой историко-культурное явление, в каком-то смысле крайнее выражение той эпохи, когда за творчество часто принималось голое (лишь бы оно было изощренно оформлено) самовыражение и самоутверждение. Настолько крайнее, что пафос самовыражения часто у него вытеснял и само самовыражение, саму самовыражающуюся личность.

Беда Бродского в том, что он поверил тем, кто его недостатки объяснял гениальностью и новаторством. Поверил в юности, но, к сожалению, в более взрослые годы это его представление о себе утвердилось, окрепло, вошло в состав его личности. К сожалению — ибо беда тут не в отсутствии скромности, а в отсутствии самокритичности. Если хотите — робости.

Имя Бродского я впервые услышал задолго до его громкого процесса. Я знал, что в Ленинграде вокруг этого имени идет какая-то возня. Впрочем, впервые я услышал его в Москве от незнакомой мне тогда Натальи Горбаневской — она по какому-то делу зашла в «Литгазету» и между делом, как нечто само собой разумеющееся, обронила:

— Конечно, самый лучший современный поэт — Иосиф Бродский. Но он вообще гений...

Сказано это было непререкаемым тоном и с еле скрытой иронией по отношению к тем, кто этого еще не понимает — манера и тогда уже в разговорах о поэзии не новая, заимствованная у 10–20-х годов XX века. Большого впечатления это на меня произвести не могло — литкружковская манера этого заявления не настраивала на серьезный лад — мало ли кто кого «открывает»...

Через некоторое время мне показали пачку стихов Бродского. Туда входили «Большая элегия Джону Донну», «Пилигримы» и еще несколько. Понравились мне только первые шесть строк из стихотворения «Стансы»:

Ни страны, ни погоста
не хочу выбирать.
На Васильевский остров
я приду умирать.
Твой фасад темно-синий
я впотьмах не найду...

Широкий размах, дыхание — все располагает к доверию, к ожиданию. Доверие у многих остается до конца, но ожидание не оправдывается. Ибо оказывается, что дальше следует действительно описание умирания:

Между выцветших линий
на асфальт упаду.

Более того, оказывается, что и предшествующие две строки не имеют отношения к размаху и тональности первого четверостишия. Так или иначе, дальше стихотворениеглохло, уходило от меня — так сказать, в себя. Видимо, дальше мне следовало «входить в его мир» — точнее, заниматься переживаниями автора, связь которых со мной не была им раскрыта. Другими словами, «дорастать» до автора». Причем не для того, чтобы понимать смысл текста — он и так был понятен, — а чтобы заставить себя чувствовать. А я этого не люблю — полагаю, что породить во мне потребность до себя «дорастать» — дело самого стихотворения. Но поскольку читал я этого автора первый раз, а о нем шли толки, я все же тогда дочитал стихотворение до конца. То есть сужу ответственно.

Остальные стихи из этой подборки не заинтересовали меня совсем. «Пилигримы» показались гимназическирасплывчатыми. «Элегия Джону Донну» — непрописанной и лишенной всякого движения стиха. Особенно в первых четверостишиях, целиком отданных статическому перечислению деталей обстановки действия. Солженицыну эта «Элегия» понравилась, поэтому я сейчас ее прочел еще раз — впечатление не изменилось. А все в целом тогда показалось мне давно читанным-перечитанным (ва-

риацией литкружковского стандарта оригинальности, значительности и погруженности в собственную личность — задолго до ее обретения). И главное — не талантливым. Это и было моим первым впечатлением о Бродском — что он просто неталантлив. Потом я это мнение изменил.

Несколько подточил это мнение прочитанный мной еще до эмиграции его талантливый перевод сцены из пьесы в стихах американского поэта Хайма Плутцига «Горацио». Но это был всего только перевод. Я признал, что Бродский может свободно, даже артистически владеть стихом и соблюдать при этом строгость формы, но, видимо, только тогда, когда эта форма задана другим. В каком-то смысле я и теперь так думаю, но все же не столь абсолютно, как тогда.

Но о прочитанных мной первыми стихах я и теперь думаю, что оценил их тогда правильно. В талантливых стихах есть сила, которая движет стих — как бы физически воплощенная в движении стиха сила чувства. А здесь я ее не ощущал, стих не двигался — надо было самому его двигать.

В этой связи вспоминается, как однажды в поезде, в дни, когда травили Пастернака, незнакомый инженер, мало интересующийся поэзией, рассказывал, что к ним в министерство приезжал с докладом редактор «Советской культуры» Данилов и приводил цитаты из стихов поэта. А на вопрос о том, какое впечатление произвели эти цитаты, ответил задумчиво:

— Вы знаете, непонятно... Но как-то музыкально убедительно.

Не знаю, хорошо ли, когда «непонятно» (Пастернак в конце жизни считал, что нехорошо), но что должно быть «музыкально убедительно», для меня несомненно. В связи с Бродским часто упоминают музыку, якобы свойственную его стихам. Я этого почти не замечал. Но если она и есть, то это странная музыка, не связанная с замыслом, работающая сама на себя. Во всяком случае, в

тех стихах, о которых я говорю, никакой музыкальной убедительности не было.

Ажиотаж вокруг его «гениальности», на который я наткнулся в Париже (куда заехал по пути в Америку), естественно, на меня повлиять не мог — внушения очень давно на меня не действуют. Изменяться мое мнение начало уже в Америке. Приятель однажды показал мне стихотворение Бродского «На смерть Жукова», и, к удивлению моему, оно мне очень понравилось. А вскоре у Профферов в Энн-Арборе я познакомился с его автором. Отнесся он ко мне вполне дружелюбно, острых тем мы как будто избегали. И вдруг в разговоре произошел поворот, в результате которого окончательно решился для меня вопрос о талантливости Бродского.

Начал его Бродский:

— Я знаю, что мои стихи вам не близки, — сказал он.

Я сказал, что мне понравились его стихи о Жукове. Мы немного поговорили о них, и он продолжил:

— Но мне все-таки хочется, чтобы вы прочли вот это, — и протянул мне лист бумаги.

Я взял этот лист, предвкушая неловкость — придется после столь приятной беседы говорить неприятные вещи. Но страхи были напрасны. Стихотворение — это было «Ты забыла деревню, затерянную в болотах...» — к моему удивлению, оказалось очень хорошим. Честно сказать, я не поверил своим глазам и прочел его вторично — впечатление не изменилось, и я сказал ему:

— Это очень хорошие стихи, — я впервые до конца осознал, что он не только не бездарен (это я уже к тому времени понимал), но очень талантлив. Он был доволен.

Об этом стоит поговорить подробнее. Стихотворение обладало всеми особенностями Бродского, с той только разницей, что они были на месте и к месту. Даже его переносы окончаний предложений на следующую строку (анжабеманы), обычно столь изошренно-противоестественные, можно сказать, «зверские», — все было задано импульсом, то есть замыслом, и в каждой точке

стихотворения соответствовало воплощению импульса (следовательно, этот импульс присутствовал и ощущался). Вот начало:

Ты забыла деревню, затерянную в болотах
залесённой губернии... Где чучел на огородах
отродясь не держат — не те там злаки,
и дорогой тоже лишь гати да буераки.

Тут все переносы естественны, не противоречат дыханию, в том числе и дыханию стихотворения. Первая строка вообще закончена, и набегающая на нее «залесённая губерния» это еще один наплыв воспоминания (и боли). Окончание второй строки — «чучел на огородах», акцентирование на этой детали тоже естественно — это то, что окружало автора и его боль, которую раскрывает стихотворение. Поначалу, правда, кажется — в рамках двух строк, — что это восклицание, мол, в этой деревне чучел на огородах великое множество. И это тоже было бы неплохо, тоже ничего не разрушает и как-то работает на стихотворение. Но завершение этой фразы в следующей строке работает на него точнее и лучше. Я до этого говорил почти только об исполнении, ибо в данном случае оно соответствует определенности поэтического замысла, а не гуляет само по себе. Оно здесь неотделимо от сути, от боли, которая нарастает. Как неотделима от автора скудость деревенской жизни, которую он в себя вобрал, хотя и не стал ее частью (да не заподозрят меня в том, что я от него требую, чтобы стал — это невозможно и ненужно), и с которой связана его личная боль. Ибо (цитирую третью завершающую строфу, минуя вторую — тоже хорошую и цельную):

... А зимой там колют дрова и сидят на репе,
и звезда моргает от дыма в морозном небе.
И не в ситцах в окне невеста, а праздник пыли
да пустое место, где мы любили.

Стихотворение и с самого начала было о любви, хотя речь идет о деревне — впрочем, о деревне, которую «ты забыла». В этой деревне теперь уже, похоже, нет и «меня», хотя «я» ее не забыл. Здесь нет личных местоимений первого лица — никаких «я» или «меня», — как нет и заявлений о том, что я помню, но это, само собой, разумеется (и, что чрезвычайно обогащает само чувство, внутренний мир стихотворения) — не забыл и потому, что вжился в это, и потому что там остается — к этому вело все стихотворение, но только сейчас вышло наружу — «пустое место, где мы любили». Обычно такие резкие ходы, как «пустое место», для меня чрезмерны, но здесь — нет.

Странная, казалось бы, вещь — стихи о любви, выстроены вокруг любовной боли, а говорится о деревне. Но при этом их ни по теме, ни по сути не отнесешь к «гражданской лирике» — это просто лирика, притом любовная. Автор не ставит и не решает проблем сельской жизни, он просто чувствует людей, которые в этой жизни остались, которые за время его пребывания в ней стали ему со всеми своими будничными заботами более понятны и по-своему даже близки. Все это не имеет отношения к теме стихотворения, но входит в состав лирического переживания, в содержание чувства (выражение Ольги Берггольц). Мы приобщаемся к внутреннему миру человека, способного так чувствовать жизнь и людей, а это внутреннее богатство — одно из условий эстетического наслаждения. И приобщаемся в момент обострения всех его чувств, вобравших в себя весь этот мир вместе с этой деревней, забытой той, которая (по тому, что, как ощущается, в нее вложено) не должна была это забыть. Из-за чего там теперь остается только «пустое место, где мы любили» — полость, которая щемит, но которая этим взрывом — пустым местом там, где была любовь, — напоминает о любви, о том высоком, что редко воплощается в жизни, но все равно в нас живет, существует.

В поэзии ощущимое отсутствие прекрасного, тоска и боль из-за его отсутствия (в том числе, и утраты) означа-

ет его присутствие. В этом стихотворении поэзии соответствует все — прежде всего, содержание личности автора и его чувства, то есть ценность его переживания для нас. Другими словами, наличие импульса (замысла) и его соответствие сущности поэзии, что бывает не так уж часто. И, конечно же, точность исполнения, точность воплощения замысла, строгое подчинение ему всех элементов, всего течения стихотворения — соответствие своему месту в общем замысле каждой его точки.

Неудивительно, что стихотворение мне сразу понравилось. Трудно представить человека, которому оно бы не понравилось. Положительно сказался на поэте отрыв от дружного коллектива поклонников — он стал слышать себя и мир!

Оно настолько мне понравилось, что я тогда просто поверил в Бродского. Кстати, его книга «Часть речи», которая вышла вскоре в издательстве ARDIS, давала для этого некоторые основания. Там было много хороших кусков и строк, позволявших думать, что он взрослеет и выходит на дорогу. У нас даже стали завязываться теплые отношения. Но по причинам мне неизвестным — я ведь его почти не знал — на дорогу он не вышел, а еще глубже погряз в беспросветной «гениальности». Впрочем, вышедшая чуть ли не одновременно в том же издательстве другая его книга — «Конец прекрасной эпохи» — показывала, что по-настоящему из этого состояния он никогда и не выходил. Этой своей «гениальности» он служил до конца дней, и она, на мой взгляд, задушила его незаурядный талант. В полной мере тогда я этого, конечно, еще не знал. Просто меня раздражали «гениальные» стихи, а пуще всего — высказывания.

Например, что поэт — орган, через который выражается язык, а «биография» (проще говоря, личность — в чем же она проявляется, если не в «биографии»?) не имеет значения. Эта бессмыслица — утрировка банальной истины. Безусловно, вне языка поэта нет, но все же поэт выражается через язык, а не язык через поэта. Спорить

мне тут не с чем, ибо само это высказывание больше «самовыражение языка», чем мысль. К сожалению, и его творчество к тому времени было иллюстрацией этого положения. Похоже, это утверждение родилось как обобщение и оправдание собственного творческого поведения. Существование его становилось для меня призрачным и инфантильным. Поддерживать с ним отношения и в без того призрачной (и в духовно-интеллектуальном смысле инфантильной) атмосфере эмиграции, в то время как для меня жизненно необходимым было противостояние этой атмосфере, — было бы противоестественно. После той встречи я один раз позвонил ему — поздравить с благополучным исходом операции. Разговор был вполне теплым, товарищеским. Но потом, когда направление его развития определилось, у меня не было ни повода, ни желания ему звонить. У него, по-видимому, тоже. Отношения, не начавшись, распались. Имел я потом дело уже не с ним, а с его культом, которым меня изрядно донимали в первые годы эмиграции — авторитет молвы и «культурного Запада» был тогда в третьей эмиграции не менее велик, чем в начале перестройки в Москве. Донимали меня вопросами о моем отношении к Бродскому, а в ответ на мои слова иногда удивлялись (дескать, как можно не восхищаться общепризнанным гением), иногда «понимающе» усмехались, «прозревая» мотивы (низменные, конечно) моего неприятия. Картина для них была ясна — судьба Бродского в эмиграции была феерической, моя — жалкой, тут им даже «догадываться» или «прозревать» не надо было.

Должен их огорчить. Успехи Бродского к моей судьбе никакого отношения не имели — он ничего у меня не отнял. Если бы его просто не было, моя судьба была бы точно такой же. Кстати, мне известно, что он неоднократно говорил разным людям, что хотел бы мне помочь, но не знает, как. И я не сомневаюсь, что это правда — и то, что говорил, и то, что хотел, и то, что помочь не мог. По причинам, о которых здесь не место говорить, помочь

мне тогда не мог никто — не монтировался я. Короче, никаких личных претензий у меня к Бродскому нет, только литературные.

Вряд ли можно ему поставить в вину и поощрение собственного культа, тем более, что он сам стал его жертвой. Другое дело, конечно, то, что называлось в старину порчей общественного вкуса, но он об этом не знал, и опять-таки не только, да и не столько он один этому способствовал.

Кстати, первым реальным носителем этого культа, которого я встретил — по существу и по форме, — был Александр Кушнер, которого я считал и считаю настоящим поэтом. Вспоминается мне мой давний, очень давний разговор с ним. Я выразил удивление по поводу ленинградского — тогда еще в основном ленинградского — увлечения Бродским и поделился своими соображениями по поводу его стихов. Саша снисходительно улыбнулся, согласился с моими доводами и заключил разговор тем, что всё так, но стихи все равно гениальны. На мой слух это прозвучало, как «плохо, но гениально». Такой ход мысли был мне знаком — так несчастные советские интеллектуалы 30-х и 40-х годов говорили о Сталине, но с тем, что так говорят о поэзии, я столкнулся впервые. И говорил это не графоман, не претенциозный «вьюнош», а настоящий поэт. Такие рассуждения явились обоснованием «стиля опережающей гениальности», о котором я уже здесь говорил.

Реально с этим «стилем» я впервые столкнулся в эмиграции. И даже не в связи с Бродским. Меня поразил (как я тогда же написал) «мутных гениев поток, / Текущий из России». «Гении» эти были очень активны поначалу, прямо-таки заслоняли горизонт, но потом как-то испарились — остался один Бродский. Ничего удивительного, этот стиль — не только стиль культа, но и стиль, невозможный, не работающий без культа. То, что Бродский был талантливей этих гениев, значения не имело. Имело значение то, что он выехал с уже готовым культом и целым

кругом людей, заинтересованно его поддерживавших. Эти «гении» и создавали атмосферу, в которой только и мог серьезно восприниматься этот «стиль». Естественно, культура на всех не хватило.

Возникает вопрос, почему я начал писать о своем отношении к поэзии Бродского только теперь. Ведь оно выработалось давно, я ни от кого этого не скрывал и, тем не менее, не выступал с этим мнением в печати. Считал, что само рассосется. И если бы не заметки Солженицына, точнее, не победная реакция на них Игоря Ефимова, Льва Лосева и, особенно, Натальи Ивановой, поставившей все точки над «і», я и теперь не пытался бы это сделать. В этих статьях для меня важно не столько их религиозное (а то и партийное) отношение к Бродскому, сколько встающая за этим развернутая эстетическая позиция, программа, чуть ли не установленный норматив. И я подумал, что если им не возражать, у многих не ангажированных читателей создастся впечатление, что культ этот — истина, что она действительно установлена и никто против нее возразить не может. А если кому-либо это скучно или противно, то просто читать стихи не их ума дело. Некоторые с этим смирятся и отойдут в сторонку, другие изо всех сил будут стараться ощутить свою причастность к столь высокому «пониманию». Но читать стихи перестанут и те, и другие. И это логично — если самого гения читать скучно, зачем же нужны просто таланты? Получается, что поэзия существует не для читателя, а для участников какой-то специальной престижной игры. Мое молчание было не капитуляцией (хотя в эмиграции возражать на этот счет было негде, а временами и не для кого), но все же попустительством. Оно бы и дальше продолжалось. Но эти поучения Солженицыну вывели меня из состояния, в котором оно было возможно.

Я должен констатировать, хотя и не всегда согласен с конкретными оценками Солженицына (как я уже отмечал, в ряде случаев, они, на мой взгляд, завышены), в споре со своими оппонентами он абсолютно прав. Прежде

всего, в его заметках ощущается непосредственное читательское впечатление от стихов Бродского, а они до этого и в пылу полемики не снисходят — ограничиваются комплиментами и восклицаниями. Во-вторых, в своих замечаниях Солженицын обнаруживает понимание эстетической сущности поэзии, а в их возражениях (по их представлениям, сугубо эстетических) нет даже намека на то, что такие аспекты существуют. То ли то, что эстетика на советских филфаках существовала только под именем «марксистско-ленинской» (правда, и под грифом «теория литературы» тоже), скомпрометировало в их глазах эстетику вообще, то ли просто легче обходится без этого обременительного груза, но следов знакомства с этой областью в их работах не обнаруживается. Разве что кроме ссылки Игоря Ефимова на Платона в подтверждение «актуальной» для нашего времени (да и для самого Игоря Ефимова, насколько я его знаю) мысли, что Прекрасное не обязательно совпадает с Добрым и Высоким.

Поскольку в глазах «высоких ценителей» я уже два раза обнаружил свою примитивно-прагматическую сущность — когда употребил термин «читатель» и когда проявил некоторое уважение к актуальности, — то теперь (семь бед, один ответ) мне не страшно компрометировать себя и в третий раз. А именно — в своей уверенности в органической связи искусства с Высоким и Добрым.

В сущности, с самого начала речь идет о литературщине — упоминавшаяся мной «литературность» — только более тонкая ее форма. Ибо данный культ неотделим от нее, он — самоутверждение литературщины. Резкие выходы Бродского на его вечерах по отношению к поклонникам — тоже литературщина. Они объясняются вовсе не хамством натуры (этого я в нем не заметил), а только следованием стандартам поведения гениальной личности, выработанным в начале века. Но тогда у всякого рода футуристов могла быть иллюзия, что они *epater les bourgeois*, плюют в лицо сытому самодовольству. А с чего такие эмоции могли возникнуть в конце XX века по отношению к

представителям всех трех русских эмиграций, которым жизнь только и делала, что плевала в лицо?

Култ всегда вещь ложная, всегда подменяет реальность и поэтому требует цельности и непротиворечивости. Дом — то ли хрустальный, то ли надувной, — который себе построил Бродский, держался на поклонении, на согласии окружающих, на их вере, что любое проявление его владельца гениально. Поэтому любое критическое замечание было для него, как падение камня для хрустального сосуда или булавочный укол для надувного шара. Оно разрушало иллюзорную реальность, в которой он жил. В этой связи становится совершенно понятно, почему робкое и почтительное замечание А. Кушнера, что Бродский уж слишком злоупотребляет ненормативной лексикой, вызвало у того такую, мягко выражаясь, бурную реакцию. Вроде пустяк. С одной стороны, всемирное признание, Нобелевская премия, гениальность, а с другой — такое вот дружеское замечание поклонника по, казалось бы, частному вопросу. Но это намекало на то, что «гениальность» постепенно перестает опережать впечатление, что «самовыражение языка» перестает восприниматься даже поклонниками. Это и впрямь должно было быть воспринято как бунт на корабле, который необходимо подавить — Кушнер, в отличие от Солженицына, входил в команду «своих». На страже этого культа — пусть чуть менее нервно, чем его объект, — стоят и его поклонники, что и отразила их реакция на заметки Солженицына. Самой показательной, искренней, да и самой первой из них (хоть и не очень, на мой взгляд, компетентной) была реакция Игоря Ефимова («Новый мир», № 2, 2000).

Я ни в коем случае не собираюсь отрицать права Игоря Ефимова возражать кому бы то ни было, в том числе, и Солженицыну. Он искренне любит Солженицына и, безусловно, искренне любит Бродского — только я не очень убежден, что любит именно как поэта. Он защищает не стихи, а некий образ. Правда, много говорится о воздействии стихов последнего на него и его товарищей, особенно това-

рищей юности. Но, как мне кажется, говорить о поэзии Игорь Ефимов вообще не очень умеет. Он не обращает внимания на движение, и поэтому на самую фактуру стиха, прибегает к ораторским приемам и интонациям. Кстати, совершенно неуместно в ответ на чьи-либо впечатления о прочитанном восклицать: «Полноте!.. Как можно!..». Ведь если кто-то что-то воспринял так, а не иначе, это для него вполне было «можно». Мы можем считать, что у него нет слуха и вкуса, что он ничего не понимает, — это наше право (хотя публично делать такие заявления нельзя, их надо доказывать). Правда, и мне не понятно, как можно говорить о стихах, тем более мастера формы, игнорируя столь частое отсутствие стиха, точнее, его движение. Но тут я апеллирую к нормальному непосредственному восприятию, к тому, как стихи читаются и воспринимаются (так же, как и, говоря о замечательном «Ты забыла деревню...»). И тоже, конечно, могу ошибиться: восприятие — критерий не очень надежный. Но надежнее нет, остальные — искусственны. Однако Игорь Ефимов апеллирует не к восприятию, а только к объявленным им и его единомышленниками мировому значению Бродского и его близости к прославленным именам — с тем и с другим обращаясь то ли как с установленными и общеизвестными фактами, то ли как с постулатами, которые всем надлежит усвоить.

Вот какая беда случилась, по его мнению, с русской культурой в XX веке — на его заре Лев Толстой не понял Шекспира, Владимир Соловьев — Лермонтова, а на его закате Солженицын не понял Бродского. То, что Бродский явление такого же значения, как остальные пятеро, подается — метод внушения или механизм самовнушения? — как само собой разумеющееся. Впрочем, вокруг имени Бродского создана не только своя локальная система ценностей, но и своя история русской, а то и мировой литературы. Кстати, сокрушение Ефимова о том, как складывается XX век, не совсем корректно. Шекспир, когда его стал ниспровергать Толстой, уже несколько столетий существовал в сознании всего культурного челове-

чества, Лермонтов, когда против него выступил Соловьев, в России уже несколько десятилетий много значил, а Бродский — факт современной литературной жизни. Его можно принимать или не принимать, но никак не ниспровергать — веков признания за ним еще нет. Конечно, это же можно отнести и к Солженицыну. С риском быть осмеянным потомками, которые могут быть за это осмеяны своими потомками... Каждый, кто что-то утверждает, рискует ошибиться. Ефимов уверен, что прав он, я в своей правоте уверен никак не меньше. Никакого нарушения законов естества тут нет.

Поскольку я сейчас пишу не о статье Солженицына, ряд его блистательных формулировок, даже приводимых Ефимовым, я опускаю. Но одну, не самую яркую, но для меня безусловную, приведу — из-за реакции на нее Ефимова: *«Порой поэт демонстрирует нам высоты эквилибристики, не принося нам музыкальной сердечной или мыслительной радости».*

Кстати, насчет «высот эквилибристики». Бродский, безусловно, был на нее способен, но и этой способностью часто пренебрегал — обходился «моцартианским началом». Но меня сейчас интересуют не сами по себе эти слова, а реакция на них Игоря Ефимова: *«В этой фразе особого внимания заслуживает местоимение «нам». Как велико это «мы», от имени которого выступает здесь Солженицын-читатель? Из кого оно состоит? И где проходит граница между ним и другим «мы» — тем, которое уже в начале 60-х перепечатывало по ночам строчки еще никому не ведомого поэта, заучивало их наизусть, сбегалось на его редкие выступления? Те «мы», которым вызываемые в памяти строчки Бродского служили защитой и убежищем от бессмыслицы обязательных политзанятий, от стыда комсомольских собраний, от стужи долгих переездов в набитом трамвае? Что двигало нами тогда — еще до громкого международного шума, признания и славы? Думаю, только это: «музыкальная сердечная и мыслительная радость», доставляемая его стихами».*

Надо сказать, что повод для этой лирической контратаки притянут за уши. «Мы» в этой солженицынской фразе не более чем фигура речи, принятая в таких статьях, и требовать количественного и качественного определения этого «мы» — некорректно. В крайнем случае, тут можно ответить: «я и мои друзья», «я и те, кто воспринимает так, как я», и даже «я и те, кто прочтет эти стихи вместе со мной и увидит то, что увидел я». На убежденность в своей правоте имеют право не только поклонники Бродского. Кроме того, Солженицын говорит здесь не обо всем творчестве Бродского, а о том, что сопутствует демонстрируемой им «порой» высокой эквилибристике. Так что все остальное могло обладать перечисленными Ефимовым положительными качествами. С чего тут было взрываться?

И еще хочу напомнить Ефимову, что любое «мы» вокруг Солженицына тоже как-то искало и находило духовное противоядие от всего, им перечисленного (разве только не от трамвайной стужи). И с каких это пор неприятие поэта одними опровергается восторженным отношением других? Какие основания считать ефимовское «мы» выше не только солженицынского, но и, например, моего — даже если бы за ефимовским было большинство голосов? Могу сказать наперед, что именно *против этого «мы»*, а не против Бродского я и пишу эту статью — против Бродского только потому, что он часто сливается с этим «мы». Я всегда помню, что знаю у него два замечательных стихотворения, еще два недоработанных, но тоже хороших (я когда-то видел газетную вырезку с ними, но с тех пор они мне не попадались), конец какого-то длинного стихотворения из сборника «Часть речи», который сам по себе хорошее стихотворение. Может быть, есть и еще какие-то, где автор прорывался к поэзии сквозь душную завесу своей «гениальности» и восторгов этого «мы». Не так уж мало для писавшего в XX веке. Думаю, что это «мы» в его культе нуждалось и нуждается больше, чем когда-либо он сам.

Эта цитата интересует меня не как возражение Солженицыну, а как автобиографическое самовыражение этого «мы». Поражает оно романтической риторикой, мало подходящей к Бродскому. Защитой от «стыда комсомольских собраний» его стихи быть не могли — от необходимости посещать эти собрания, от раздражения (другими словами, «от стыда»), с этим связанного, не могли защитить даже Пушкин с Шекспиром и Пастернаком, а в остальном — кто тогда принимал эти собрания всерьез, чтобы от них духовно защищаться?

Ефимов вообще склонен аргументировать этим «мы» всё — например, грубость некоторых выражений в «Сонетах к Марии Стюарт»: *«Ну, да, с королевами не принято разговаривать таким тоном и таким языком. Но как еще можно было изобразить то, что случилось с нашим поколением в послевоенном, послеблокадном Ленинграде? «Вчера», «атас», «накнокал» и проч. — да, это был наш язык, язык городской шпаны, для которой главными героями были уголовники с золотой фиксой на переднем зубе, а главным аргументом в споре — кулак или финка. И вдруг в этом мире голодного убожества и повседневного насилия («В конце большой войны не на живот, / Когда что было жарили без сала») тоненьким лучом кинопроектора на экран, натянутый в бывшей церкви, — выносится образ шотландской королевы и пронзает сердце на всю жизнь — да есть ли на свете такие языковые «сдёрги» и «диссонансы», которыми можно было бы воссоздать подобное чудо?»*

Воспоминание трогательно, но к делу отношения не имеет. Во-первых, соображение о том, что нет подходящих слов для воссоздания чего бы то ни было, — не аргумент. Оно годится для бытового разговора, меньше — для газетной риторики, но никак не для серьезного разговора о литературе. Если у талантливого автора нет подходящих слов, то, значит, замысел еще не созрел. И вообще, для поэтического произведения задача что-либо воссоздать может быть только побочной — воспоми-

нения в поэзии важны не тем, *что*, а тем, *почему* вспоминается. То есть важен момент, когда автор вспоминает, а не когда происходило вспоминаемое. Этим и определяется его лирическая суть. Воссозданием ситуаций, реальных и вымышленных, работает проза. Так что язык шпаны не может быть языком лирического стихотворения (я говорю не об использовании этого языка, а о самовыражении им), ибо исключает самоидентификацию читателя. Или, как минимум, читателя с иной биографией (а ведь ефимовский Бродский, как я понял, гений всех времен и народов).

Впрочем, цикл «Двадцать сонетов к Марии Стюарт» неприемлем для меня не только и не столько из-за грубых выражений или неоправданной развязности тона, сколько из-за развязности самого стиха, необязательности выбора слов, порожденных опять-таки отсутствием организующего лирического замысла. Небрежные — «свои» — намеки на культурные ассоциации делу не помогают. Всякого рода усложненности чаще всего происходят от невыраженности, недоработанности, но угадывание их льстит самолюбию «культурного» читателя, и польщенность этой «причастностью» принимается им за эстетическое наслаждение. Если Бродский сыграл большую роль в истории современной литературы, то именно такими стихами — в них он явился предтечей и создателем нынешней «тусовки».

Так что дело не в шпане, не в ее языке и даже не в этом цикле. Просто отношение Ефимова к этому циклу — одно из проявлений абсолютизации столь дорогого ему «мы». Убежден, что это «мы» — да еще с конкретной привязкой не только ко времени, но и к месту — не может быть решающей референтной группой, когда речь идет о поэзии.

Переписывали, сбегались на выступления — все, о чем рассказывает Ефимов, происходило не только в Ленинграде. Всем тогда хотелось чего-нибудь свежего, живого, настоящего или принимаемого за таковое. Но все

это, так или иначе, вертелось вокруг «политики», то есть вокруг навязанной нам духовной ситуации. Ленинградская группа отличалась даже не тем, что преимущественно «любила искусство», а тем, что этой любовью поднималась «над политикой»...

Это отрицание «политики» тоже лежало где-то рядом с правдой, но правдой не было. Поэзия действительно не может решать политические проблемы. Но «политика» здесь только псевдоним. Политикой, строго говоря, никто в стране, даже диссиденты, не занимался. Речь идет о взаимоотношениях с патологической реальностью, с тем, как мы живем, как до этого дошли, как отсюда выбираться. Дело не в тематике, а в том, что стоит за человеком — о чем бы он ни говорил. Берет ли он это в душу или парит над этим, что люди этого круга называют любовью к искусству.

Это не было конформизмом по отношению к властям, советчину они не любили, презирали, на хорошем счету у нее не числились (суд над Бродским — чего же больше), но все-таки отличались крайним пренебрежением к этой проблематике. За примерами ходить недалеко. Доказывая Солженицыну, что поэзия Бродского патриотична, Игорь Ефимов иллюстрирует это, в частности, тем, что, хотя опoшление казенной пропагандой таких слов, как «родина» и «отчизна» у многих вызвало к ним идиосинкразию, а Бродский эти слова употреблял. Это бесспорно. Действительно, вызывало, и действительно, употреблял. Но меня в данный момент интересует не Бродский, а сам Игорь Ефимов, который ничтоже сумняшеся называет эту пропаганду марксизмом. Но ведь известно, что марксизм такие понятия в положительном смысле никогда не употреблял. Он и начал с того, что «пролетарии не имеют отечества». Это унаследовал «честный большевизм». Это он и навязывал всем, пока не был к середине 30-х оттиснут от власти. Невозможно, чтобы Игорь Ефимов этого не знал. Это показывает великолепно-верхоглядное отношение к реальной тогдашней духовной ситуации. Она определялась не

просто господством ложной идеологии, то есть преступного соблазна, каким был большевизм, а властью ее имитации, идеологической пустоты, прострации, абракадабры, выдаваемых за эту идеологию. Ситуация была такой, что и те, кто по должности обязан был соблазнять, знали, что им следует говорить, но не до конца понимали, что и во имя чего говорят — во что соблазняют. Людей заставляли серьезно относиться к бессмыслице — отсюда и «стыд комсомольских собраний». Отвращение к неприемлемой идеологии описывается иначе.

В марксизме, а тем более в большевизме, ничего хорошего я давно не вижу, но все мы тогда имели дело не с ними, а с их последствиями. Но, видимо, Игорь Ефимов и его «мы» об этом не думали — во всяком случае, в связи с искусством. То, что они игнорировали, было вовсе не политической, а, как я уже говорил, духовной ситуацией, то есть тем, что как раз имеет прямое отношение к искусству. Их «любовь к искусству» поднимала их не над «политикой», как им казалось, а над запутанностью духовного существования, в том числе и их собственного... Кстати, их отношение к «политике» было тоже чистой литературщиной, подражанием отношению «серебряного века» к «шестидесятникам» XIX столетия (на самом деле к их эпигонам 80–90 годов). Из их собственной ситуации, из наших 60-х оно никак не вытекало. Они были предтечами современной «тусовки» — заслуга, прямо скажем, сомнительная. Это определило ту неопределенность отношения ко всем понятиям и ценностям, которая подняла и задушила поэта Бродского, и в которой назвать марксизмом патриотизм — в том числе казенный постсталинский — можно, не испытывая никаких затруднений. К сожалению, такое отношение отразилось не только на литературе.

Не думаю, чтобы Игорь Ефимов, автор многих хороших работ на социальные темы, не знал разницы между марксизмом и сталинской (а также постсталинской) безыдейной «идейностью», но, видимо, ему просто приятно было вспомнить атмосферу своей молодости вместе со

всем, что ей сопутствовало. Больше всего соответствует этой атмосфере конец его статьи, в которой он задается большим для себя вопросом: *«ПОЧЕМУ у нас так получается. То есть, почему у нас Толстой отрицает Шекспира, Соловьев Лермонтова, Гоголь — самого себя, а Солженицын не восторгается Бродским?»*

О том, как мимоходом в такой ряд вводится Бродский, я уже говорил. Интересно здесь не это, а глубоко-мысленный ответ Ефимова на это свое ПОЧЕМУ: *«Из внутреннего сходства этих коллизий, из почти буквально-го совпадения некоторых обвинений (у Соловьева — Лермонтов не развил «тот задаток великолепный и божественный...», у Солженицына Бродский не пошел «естественным и благородным путем развития»), из дружного отрицания независимости прав и законов искусства вырисовывается и имя этой западни: идеализация идеи Добра, вознесение ее над всеми другими духовными ценностями».*

Эта цитата очень важна, ибо представляет собой самораскрытие сути ленинградского литкружка. Собственно, только она во всем этом пассаже (завершении статьи) мне нужна. Но придется обратить внимание читателя и на витиеватое обоснование этого взгляда. И опять исключительно из мелочных соображений — с целью исключить обвинение в том, что я это обошел молчанием. Я знаю, как спорят если не сам Ефимов, то многие его единомышленники, и полагаю, что это не лишне.

Итак, в абзаце, следующем за этой цитатой, Ефимов говорит, что человеческую душу вечно тянут вверх четыре порыва (почему-то порыва, а не стремления): «к Разумному, к Прекрасному, к Доброму, к Высокому». Для меня такое разделение слишком четко (человеческие «порывы» не так легко поддаются систематизации), но в принципе с этим можно согласиться. Однако приведена здесь эта систематизация не сама по себе, а чтобы подчеркнуть, что *«история духовной жизни»* человека показывает, что эти порывы, вопреки нашим надеждам, могут вступать и в единоборство друг с другом: *«Высокое может*

потребовать от нас недоброго („Оставь отца и мать своих...»), а *«культ Разумного приводит к Робеспьеру и Ленину»*.

Христа в этот спор я бы не впутывал, ибо то, что может понимать и делать Он, смертным не дано, а часто и не позволено. И обращены эти слова не ко всем, а только к избранным — к тем, кому было предназначено помочь Ему выполнить Его Божественную миссию на земле. Аналогов этому нет и быть не может. В нашей земной жизни разрешение себе Злом творить Добро потому и приводит к страшным результатам, что люди берут на себя Божественные функции, занимаются творением мира (эта мысль принадлежит не мне, а Н. А. Струве — от него я когда-то впервые ее услышал). Тем не менее, и оставаясь в рамках земной жизни, отнюдь не беря на себя Божественные полномочия, людям иногда приходится манипулировать недобрым — допускать меньшее зло, чтобы избежать большего. Например, на войне. Дело это для души рискованное, но обстоятельства иногда требуют, и кому-то приходится брать на себя ответственность, а то и грех. Это проблема, прежде всего, бытия, а не искусства. Искусство может сочувствовать человеку, совершившему злое, запутавшемуся в злом, но не самому Злу — это противоречит природе восприятия, возможности самоидентификации и катарсиса.

Но общественные настроения — вещь зыбкая. В какие-то периоды где-то вдруг может стать модным поклоняться Злу, и «все вдруг откроют, что оно прекрасно». Но это уже прелесть, соблазн, а не откровение. Что же касается «культа Разумного», приводящего к Робеспьеру и Ленину, то ведь само выражение «культ Разумного» нонсенс. Если культ, то он не разумен, если разумное, то не культ. Любой культ — затмение разума, буйство сорвавшейся с цепи рассудочности, не чувствующей, в отличие от Разума, границ своих возможностей. Времена Робеспьера и Ленина, когда «господствовал Разум», вовсе не были самыми разумными.

Но нас тут больше интересует то, что говорится о Прекрасном: *«Прекрасное сплошь да рядом отказывается подчиниться требованиям разумного, доброго, полезного»*.

Не хотелось бы это говорить, но меня неприятно удивило присутствие в этом контексте термина «полезное». Толстой, может быть, его употреблял, но Солженицын — нет, и к делу оно не относится. Этот термин просто подверстан сюда — причем, пусть и с подсознательным, но умыслом. Требуется убедить себя и других, что творчества Бродского не принимают только узколобые «прагматисты», с которыми традиционно связано представление о примитивности. Между тем, вся эта антитеза выдумана. Прекрасное, то есть искусство, не должно подчиняться требованию полезности не потому, что это примитивно и стыдно, а потому, что оно и так полезно, если оно на самом деле искусство.

А вот насчет неподчинения требованиям разумного и доброго — разрешите усомниться. Поэзия не движется рассудком и не следует никаким рассудочным схемам. Также она не занимается проповедью добра и морали. Но и не противоречит им. Она не занимается в лоб ни Добрым, ни Разумным, но никогда не выходит за их границы. А уж насчет Высокого и говорить нечего — поэзия и есть высокое, возвышающее. Поэзия порой может быть даже снисходительна к человеческим слабостям, недостаткам, но все равно — с позиций высокого. «Жизнь есть требование от бытия смысла и красоты», — говорил биолог Ухтомский. А поэзия есть живое воплощение этого требования. Требование это может удовлетворяться и не удовлетворяться, поэзия может быть идиллической, трагической, иронической и любой другой, но если в самой плоти произведения, в его движении и развитии не воплощено и не раскрывается это требование гармонии — поэтическим оно быть не может. Подчеркиваю, речь не о строгой нравственности, вообще ни о чем строгом — жизнь и человеческая природа слишком для этого противоречивы, духовное и недуховное в человеке

слишком перемешаны, и тут не до нотаций. «Немного шаловливая мысль, которая не прочь поиграть с чертом, но никогда не забывает Бога», — такое есть изречение в «Записных книжках» В. О. Ключевского. К поэзии оно относится в высшей степени. Выделять что-либо из приведенной Ефимовым квадриги невозможно — поэзия до тех пор поэзия, пока способна синтезировать это все в живом восприятии, в конкретном личном переживании.

На этом «глубоком и эрудированном» понимании «независимых прав и законов искусства», состоящем в противостоянии «идеализации идеи Добра» и, по существу, в отрыве от нее «всех других духовных ценностей», и воспитывал себя ленинградский литкружок.

Игорь Ефимов защищает здесь не равнодушие к Добру (он сам к нему не равнодушен), а только некое представление о «широте мышления», заимствованные у эстетики декаданса — видимо, в кругах «второй культуры» это многих возвышало, а у него, хоть сам он человек совсем не декадансный, осталось дорогим воспоминанием молодости. Речь тут не о том, что и художники люди грешные, и всякое бывает в их жизни, а именно о зле, воплощенном в искусстве. (Традиция сохранилась. Недавно в том же Питере продолжатели этого дела, противостоя «политизированности», увлеклись пропагандистским нацистским фильмом Ленни Рифеншталь «Триумф воли» — потому, что мастерски сделан.) Я этого не принимаю. И не только из банальных моральных соображений (хоть страшно подумать, что будет, если они перестанут быть банальными), а исходя из логики самого искусства.

Проникнутость произведения духом зла или просто равнодушия к добру опять-таки исключает возможность самоидентификации и катарсиса. Для того, чтобы воспринимать это как прекрасное, нужно растоптать собственную естественную интуицию. Иногда это и делают — ради растворения в ауре («современности»), а проще — в эстетике декаданса. От того, что декаданс при советской власти поносили (правда, относя к нему все, что угодно,

точней, неуютно), его эстетика не стала истинной. В ней по-прежнему нет ничего хорошего. Пикантно, что потребность поставить Добро на его скромное место возникла у этих молодых людей отнюдь не в Царстве Добра, а в послесталинском Советском Союзе, когда вся жизнь строилась на наклонной плоскости, а страна организованным порядком катилась в пропасть. Когда естественней было бы искать выхода, то есть беспокоиться о добре. Но естественность была за пределами их если не жизни, то умонастроения. От некоторых участников этого эстетического движения именно в те дни мне приходилось слышать, что они враги не социализма, а только соцреализма, но ведь соцреализм был только одним из проявлений социализма — фикцией, прикрывающей государственное насилие над литературой и искусством. Всерьез бороться с фикцией — значит придавать ей реальность и терять свою.

Нет, не игнорирование «долга перед народом» меня поражает, а строй чувств тех, кто, живя не просто в СССР, а под прямым руководством тогдашнего наиболее рьяного «покровителя» искусства и мысли товарища Толстикова, испытывал потребность противопоставить идеализации Добра идеализацию гениальности.

«Я прожил долгую жизнь и наблюдал много модных духовных веяний, но мода приходит и уходит, а истина остается», — сказал выдающийся католический мыслитель Романо Гуардини в день своего восьмидесятилетия. Я никак не ровня этому мыслителю, но со мной происходило то же. Я тоже пережил на своем веку, как минимум, несколько «аур» (пардон, современностей). Они сменяли друг друга довольно быстро, и то, что в одной «ауре» казалось ярким, в другой угасало.

Так что «западня», заключающаяся в «идеализации идеи Добра», строго говоря, не имеет отношения к делу. Толстого возмущала в Шекспире отнюдь не только «безнравственность», а весь «противоестественный, ненатуральный», с его точки зрения, строй его драматургии, а

Солженицына в Бродском часто удивляет не то или иное «содержание» его стихов, а, так сказать, творческий почерк. Впрочем, как я уже говорил, я занят здесь не защитой статьи Солженицына. Я отнюдь не стеснялся бы защищать эту статью, с большинством положений которой я согласен, а некоторые содержащиеся в ней замечания поражают меня глубиной и точностью понимания предмета, и не только применительно к Бродскому. Просто я думаю, что Солженицын в моей защите не нуждается. И, кроме того, я слишком занят собственным противостоянием тому, что внушает Ефимов.

Общий недостаток его статьи в том, что о строении и воздействии стихов он говорит так, словно это не стихи. В кругах «второй культуры» придавали большое значение спецификам — искусства, литературы и особенно поэзии. Ее адепты ощущали себя специалистами в этой области, можно сказать, купались в понимании этой специфики, ею возвышались и (наиболее рьяные) ею подавляли. Короче, ее изо всех сил превращали в некий норматив, впрочем, при этом определяемый механически — по признакам. Между тем, в существо этой специфики они и не пытались проникнуть. Оно было более просто, но менее наглядно и менее доступно, чем питающие их арrogантность «признаки». И тут было не обойтись без такого отчасти (но только отчасти) субъективного фактора, как вкус. Вкус — дело серьезное, это тотальное чувство соответствия, природа его не биологическая, а общественная, в каком-то смысле он — критерий не только подлинности (в поэзии — подлинности самовыражения и подлинности причастности), но даже истины. Спорить о Вкусе надо, его надо защищать. Потому же, почему надо защищать здравый смысл. Что, полагаю, я сейчас и делаю. Возможно, то же самое думают о себе и мои оппоненты. И хоть я не считаю, что в споре рождается истина, но обнажение позиций, иногда возникающее в споре, может ее обнаружению способствовать. Впрочем, пока проблема вкуса сказывается только на понимании специфики.

Игорь Ефимов пишет, что главное, чем приносили и приносят «нам» радость стихи Бродского, можно назвать старомодным и полузабытым словом «отвага». Оставим в стороне, что слово это не старомодное и не полузабытое — даже медаль есть «За отвагу», отнесем это к риторическим красотам. Впрочем, дальше риторика только набирает силу.

«В своем порыве к высшей свободе поэт отважно бросает вызов страху, усталости, рутине, одиночеству — и тем зажигает в нас радостный огонек надежды. Но чтобы этот вызов был брошен не на словах, не из безопасного далека, мы должны быть уверены, что поэт стоит лицом к лицу со своим противником — то есть, что он не отводит свой взор от ужаса Небытия, что ему знакомы настоящее отчаяние, настоящая тоска, настоящий страх смерти».

Ничего себе набор добродетелей! И нет Твардовского, чтобы спросить: «Что про что?». Что значит вызов страху, усталости и одиночеству (про рутину не спрашиваю — ей в XX веке многие бросали вызов)? Тут требуется мужество, но разве уместен оборот «бросать вызов»? Что значит — бросать этот вызов не из безопасного далека (или, наоборот — с близкого расстояния)? Такая ли уж это редкость — быть знакомым со страхом смерти? И так ли уж хорошо вперяться глазами в ужас Небытия? Что можно там разглядеть? Люди живут, сознавая конечность своей жизни, но они заняты жизнью — бытием, а не небытием — разве это требует меньше мужества? Ведь есть даже выражение — «подвиг жизни» (имеется в виду обыкновенная повседневность, а не чрезвычайные обстоятельства) — неужто оно ложно? Но оставим это. Прочтем дальше.

«В статье Солженицына много говорится о душевном холоде Бродского, о сухости его эмоционального мира. Но каким же образом этот холод мог рождать в его читателях такой душевный жар?» — спрашивает Ефимов, аргументируя все тем же «мы». Насчет «жара» сомневаюсь,

не встречал. Больше встречался с поклонением, вполне спокойным, очень нестойким и часто надменным. Но этот вопрос, заданный читателю, я бы вернул тем, с кем это происходило. Действительно, почему? И Ефимов на этот вопрос отвечает. Конечно, в своем возвышенном стиле, но отвечает.

«Думается, этот жар сродни тому волнению, с которым мир следил за полетом Линдберга, за походом Амундсена. Человек брел к Южному полюсу во мраке, в диком холоде, и мы точно знали, что ничего полезного он там не найдёт. Никто не собирался последовать за ним в мрак и холод. Мужественный вызов ледяной пустыне — вот что восхищало людей в Амундсене.

Точно так же и великий поэт, посмеявшийся стать лицом к лицу с ужасом и хладом Небытия и сохранивший при этом сердечный жар, не зовет нас в Небытие, но дает пример отваги».

Не удивляет просунутый и сюда под сурдинку «великий поэт», но удивляет оборот: «сохранивший при этом сердечный жар». Собственно, ведь на соображение об отсутствии этого жара он и отвечает. Но как! Просто и между делом объявляет само собой разумеющимся как раз то, что надо доказать. Логика поразительная! Но меня здесь как раз интересуют его главные рассуждения, ибо они раскрывают его понимание существа поэзии.

Прежде всего, неточны аналогии. Линдберга он сам забывает по дороге — тот был пионером прямого авиационного сообщения между Новым и Старым светом, за ним потом последовали многие. А Амундсен был исследователем Арктики и Антарктики. Человечество вместе с ним открыло Южный полюс и кое-что узнало о том, что его окружает. Так что в обоих случаях люди знали, почему они «с волнением следили». Мужество обоих было осмысленно и навязчивого снобистского «антипрагматизма» не подтверждает. За спортивными восхождениями на Эверест так не следят, хотя и они вызывают уважение. Кстати, и Линдберг, и Амундсен, и спортивные альпинис-

ты могли, имели возможность свои подвиги и не совершать — это было делом их свободного выбора. Потому они и герои, что свободно сделали такой выбор.

Перед холодом и мраком небытия стоит любой человек — независимо от характера, социального положения и меры таланта. И стоит не по собственному выбору, даже не по собственной воле. Людей, которые бы этого не осознавали, практически нет. Так что особой заслугой в том, чтобы быть знакомым с «настоящим страхом смерти» нет. Вся поэзия — ответ гармонии на дисгармонию бытия, в том числе и на обесмысливающую краткость жизни. Можно, конечно, «бесстрашно» смотреть на жизнь сквозь призму этого обесмысливающего начала, но вряд ли это мудро, мужественно или плодотворно. Мужество (необходимое и в поэзии) состоит, как я привык думать (и Игорь Ефимов меня в этом не переубедит), как раз в противоположном — в преодолении всего обесмысливающего, а не в растворении в нем, не в болезненном вглядывании в ужас Небытия, а — несмотря ни на что — в любви и интересе к жизни. Конечно, о смерти нельзя забывать. Мысль о конечности жизни с особой остротой высветляет ценность каждого дня и вообще ответственность за свою жизнь — перед самим собой и, конечно, перед Богом. Коллизии жизни в связи с этим могут быть радостными и трагическими, но *memento mori* учит вглядываться в жизнь, а не в смерть. «Спешите делать добрые дела», «не откладывая на завтра то, что можно сделать сегодня» — *memento mori!*

Но, честно говоря, и это не имеет отношения к делу. Имеет к нему отношение общее представление автора о поэзии и ее восприятии. Поэт стоит лицом к лицу с мраком и хладом Небытия и дает «нам» тем самым «пример отваги». От этого «примера», как получается у Ефимова, в «нас» вот уже сорок лет через его стихи «перетекают» тепло и радость. В том, надо думать, и состоит доставляемое поэзией (конечно, не всякой, а гениальной) эстетическое наслаждение.

Таким образом, Бродский по ходу его защиты и незаметно для его защитника из поэта превращается даже не в прозаика, а в героя прозаического произведения, за перипетиями судьбы и переживаниями которого внимательно следит читатель, получая удовольствие оттого, что это — «пример отваги». Как уже говорилось, присутствие отваги для меня сомнительно, но сейчас это не важно. Просто поэзия не действует примерами — отваги, благородства или чего угодно. Поэтическое впечатление вообще не выводится из сюжета (наоборот, сюжет, если он есть, движется стихом, то есть самораскрытием поэтического переживания), оно задается первой строкой и раскрывается всем ходом стихотворения, всем его движением к катарсису, заданному первой строкой. «Пример отваги» вообще не отсюда.

Поэзия может иметь дело с мраком, но только если пробивается к свету. Успешно или нет — не так уж важно. Любое искусство это «да», а не «нет» миру, но в поэзии часто «нет» означает «да» — и вовсе не потому, что она якобы работает иносказаниями. Восклицания типа: «Не могу жить!», «Как отвратен этот мир!» и подобные в поэзии, если она настоящая, означают неудовлетворенность высоких требований к жизни и жажду их удовлетворения, то есть интерес к жизни, а не вглядывание в смерть (религиозные размышления о Царствии Небесном выражением «ужас Небытия» не описываются). То же означают в поэзии отчаяние и ирония. Поэтическая ирония — боль обманутой любви, а не способ уйти от ответственности и боли (на что теперь многие — речь в данном случае не о Бродском — уповают). И — главное: поэтическое произведение не только не «зовет» во мрак» (даже если začínается во мраке), оно противостоит мраку — ставит читателя на место поэта и проводит его путем всего стихотворения к катарсису. Переживание становится как бы частью его личного опыта. Но это имеет для читателя смысл, только если переживающий — поэт. Другими словами, человек, расположенный к тому, чтобы отличать моменты, когда

его переживание чревато катарсисом (когда «требуется поэта к священной жертве Аполлон»), от всех прочих. И тогда личный опыт читателя, прошедшего путем стихотворения, становится богаче на это переживание — допустим, на переживание Пушкина, да еще в момент катарсиса. А иначе зачем это все нужно? Любоваться чьим-то подвигом лучше в прозе.

К слову сказать, меня вообще изумляет ситуация, возникающая под пером Ефимова. Неужто среди ленинградской молодежи в начале 60-х так был распространен страх смерти, что она была благодарна за примеры отваги по этому поводу (даже если допустить, что это была именно отвага)? Не верю. Такого умонастроения я не припомню — ни в Ленинграде, ни в Москве, ни где-либо в другом месте. Думаю, что ничего этого не было. Было другое — литературность. То есть доведение до абсурда бесспорной (хотя и официально отрицавшейся) мысли, что поэзия рассматривает все, с чем соприкасается, в масштабах жизни и смерти, а не острой злободневности (которая поэзией и сама рассматривается в этих масштабах). Но такой «прозой» не ограничивались — нуждались в утрированной системе ценностей. В такой, где образ поэта, стоящего прямо-таки непосредственно «лицом к лицу перед ужасом Небытия», вполне уместен и дает искомое — ощущение прикосновенности к Высокому и Вечному. При таком направлении литераторского честолюбия это все, что требуется для обманчивого, но лестного для себя чувства превосходства над всей официальной, а также антиофициальной литературой. Наслаждались этим не только (а может, и не столько) пишущие, но вся их среда.

Между тем, это был перебор. Вечное от не вечного отличается не так наглядно. Ибо каждый миг нашей жизни одновременно принадлежит и сиюминутному и вечному. Игнорировать сиюминутное нельзя, можно только раскрыть в нем вечное или, беря шире, — пробиться к вечному сквозь современность. Но во времена, когда я жил, этой «современности» было слишком много (и сейчас, ду-

мается, ее не меньше), и обступала она человека активно и плотно — страхом, ложью, идеологией и даже романтикой. Разгрести все это, чтобы просто услышать и почувствовать самого себя, было трудно, требовало направленных усилий. Признаю, что для поэзии это не очень хорошо. Но таким было время, когда мы жили, и другого выхода в нем не было — душевное равнодушие или создание надувного Олимпа, чтобы сигать с него непосредственно в вечность, — для поэзии еще хуже. Это начисто исключает не только непосредственность, но и естественность. Вера в ценность стояния перед ужасом Небытия, спешно выхваченная Игорем Ефимовым из воспоминаний молодости для возражения Солженицыну (и, может быть, на ходу слегка модернизированная), — из того же арсенала.

Но перейдем, так сказать, к «недопониманию» Солженицыным высот поэтики Бродского, а главное, к высотам понимания предмета самим Ефимовым. Ефимов приводит следующую, по его определению, «жалобу» Солженицына: *«Бывают фразы с произносимым порядком слов. Существительное от своего глагола и атрибута порой отодвигается на неосмысляемое, уже неулавливаемое расстояние».*

Недостаток для изящной словесности существенный. Его можно признать или не признать. Игорь Ефимов вроде бы признает: «Да, бывает у Бродского и такое», — говорит он. Поначалу может показаться, что это огорченное, но мужественное признание: дескать, ничего не поделаешь — и на солнце оказались пятна. Но не тут-то было. Оказывается, это вовсе не недостаток, а особое воспарение.

«Существительное летит в кажущуюся пустоту. Как атлет под куполом цирка — вот-вот разобьется. Но в последний момент, неведь откуда, вылетает атлет-сказуемое, они сцепляются рифмами, и в ту же секунду в точку их соединения подлетает спасительная трапеция метафоры, тут же всех троих захватывает ослепительным кругом

прожектор таившейся до поры стержневой мысли — какое облегчение, какой восторг!»

Увлекательный процесс, даже странно, что Солженицын этого не заметил и не пришел в восторг. Но это с лихвой возмещает Игорь Ефимов. И неудивительно. Восторг всегда приходит на помощь, когда сказать нечего. Кстати, Пушкин, принудительно навязанный Бродскому в сотоварищи по Олимпу, невысоко ценил восторг — считал это состояние противостоящим вдохновению. Думаю, он был прав. Во всяком случае, для серьезного разговора о стихах восторг не годится. Поэтому возражение, несмотря на его пафосность, не состоялось. Прежде всего, восприятие стихов, сопереживание им никак не походит на восприятие цирковых трюков. Трюки для того и существуют, чтобы зритель с замиранием сердца следил за тем, как атлеты ходят над пропастью и не сваливаются в нее. Это тоже «чувства добрые», зритель с волнением следит за ними, переживает за них. Ни о какой самоидентификации тут и речь не заходит.

В поэзии все наоборот. В поэзии читатель — почти автор. Потому что читает только «за автора», становится им. Любые трюки, замирания и облегчения, связанные с самим процессом чтения, — только отвлекающие затруднения. Приходить от них в восторг нелепо. Поэзия — не детектив, где все открывается в конце, замысел, как здесь уже неоднократно отмечалось, присутствует в каждом стихе. Когда теряется нить, весь процесс чтения и восприятия тут же прерывается — никакое «облегчение» в дальнейшем этому помочь не может. Впечатление от стихотворения, сопереживание — разрушается...

Все качества, из-за которых для меня неприемлем Бродский, определены уже давно неким Н.Н., автором вступительной статьи к первому сборнику Бродского «Остановка в пустыне», вышедшему еще в 1970 году в издательстве им. Чехова. Определены они не противником, а поклонником, так что сомнений в их наличии быть не может. А то, что представлены эти качества как сугубо по-

ложительные — это, на мой взгляд, характеризует не их, а самого Н.Н. Привлекают они его, как и многих других, своей новизной (впервые в такой концентрации) — поэтому они вклад в развитие современной русской поэзии и ее возведения в сан мировой. Привлекло мое внимание еще в первом издании этой книги глубокое замечание, что Бродский сделал главным элементом стихотворения не строку, как было до него, а целый период. Вопрос о том, «сделалось» ли то, что он «сделал» (то есть, работает ли оно), автору в голову не приходил. А ведь именно так относится к делу Игорь Ефимов в своей цирковой аналогии — дескать, куда вы торопитесь судить, когда еще период не кончен! Но в более позднем издании я этого соображения не нашел — видимо, Н.Н. понял, что хватил лишку, но оно только доводило до логического конца его метод понимания поэзии. Он продолжает регистрировать вклады и нацеливает русскую поэзию на достижение мировых стандартов. Впрочем, тезис этот весьма распространен.

В частности, что Бродский — это поэт мировой, в отличие от остальных эмигрантских поэтов, заиклившись на России, говорил в Венеции на встрече, посвященной годовщине со дня смерти Бродского, итальянский граф, фамилию которого я, прошу прощения, точно не запомнил. Граф очень чисто говорил по-русски и брезгливость по отношению к заиклившимся на России выразил тоже хорошо — прекрасным русским языком, подкрепленным живой итальянской мимикой. Я не знаю, кого он имел в виду — в третьей эмиграции таких, к сожалению, было немного, но это не важно. Кого бы ни имел, мировым поэтом, не будучи «заикленным» на своей стране — особенно тогда, когда она стала воплощением мировой трагедии, — стать невозможно. Вот если в твоём «национальном» откроется и нечто важное для всех — тогда такая возможность появляется. Но это уже — как Бог даст, от предварительных стараний это не зависит. Кстати, Данте был «заиклен» на маленькой Флоренции, на каких-то там гвельфах и гибеллинах...

Однако вернемся к Н.Н. Все его соображения вертятся в некоем виртуальном, как теперь говорят, пространстве, то есть существуют в каком-то особом мире внутрилитературных (проще сказать, «литераторских») процессов, куда поэты должны стараться вносить кому-то зачем-то нужные «вклады», что и мыслится кем-то почему-то главной задачей поэзии. По сравнению с такой уверенной герметичностью представлений, декларация Игоря Ефимова — пир интеллектуального общения. Нового тут ничего, но он был первым, проявившим это печатно.

Вероятно, я должен был сразу же ответить на эту статью, но я тогда не придавал ей значения, как не придавал значения самому Бродскому — оценивал их по себестоимости и слишком верил в значение этого фактора. Не учел, что в эпоху массового индивидуализма и массового самоутверждения, массовых представлений о творчестве и оригинальности (все это реакция на массовую культуру и пропаганду, но также и их обратная сторона — противоположности иногда сходятся) лучше быть зорче. Ведь это создало климат в литературе, воспитало целое литературное поколение. Тотальная необязательность, свойственная Бродскому, получив статус респектабельности, оказалась прельстительна. И сказалась на поведении интеллигенции — во всяком случае, ее части — и в других областях.

Суммирую сказанное о самом Бродском — большая часть его стихов мне не нравится. Не нравились мне и в первый период его творчества — то юношеской расплывчатостью, то неподвижностью. Есть (я узнал это потом) и стихи этого периода (например, «От окраины к центру»), в которых поэтический замысел был, но не был до конца осознан и выражен, из-за чего стихи растянулись до бесконечности. Впрочем, Я. Гордин объявил такие стихи открытием нового жанра — длинного стихотворения. Вообще, многое в Бродском, что мешало восприятию его стихов, его поклонники объявляли открытием...

Но это был первый период. Потом как будто начало развидняться, появились полноценные стихи, которые, несмотря ни на что, делают его и в моих глазах подлинным и сильным поэтом. Может быть, таких стихов больше — охотно признаю любое... Но такие стихи требовали «биографии», то есть сосредоточенности, собранности, ощущения себя самого и других, а его приучили к «моцартианству». И он опять ушел в «гениальность», на этот раз, беспросветную. Стал «по-своему» разрабатывать общее место — распространенное в литературных кругах всего мира представление о гении, от которого мы якобы отстали (последнее теперь неправда, поскольку стали стремительно догонять).

Не думаю, что это достижение, но он, безусловно, утвердил в поэзии прозу. Не пресловутую малограмотную «рифмованную прозу» из «самотека» 30-х и 40-х, а вполне грамотную и часто изысканную в смысле версификации, когда самыми совершенными средствами поэзии решается прозаическая задача. Это «открытие», естественно, породило много последователей и последовательниц. Думаю, что он оказал большое влияние на современную поэзию, но вряд ли оно было благотворно.

На этом я кончаю свою статью о культуре Бродского, представляющем собой эпизод, характерный для понимания истории современной культуры. Считаю сказанное достаточным и больше здесь об этом говорить не буду. Но хочу оставить свидетельство, что не все поддались этому «носорожеству» или спасовали перед ним. Конечно, такие заботы, когда на кону стоит судьба самой России, может, и всей нашей цивилизации, могут выглядеть смешно, но что поделаешь — каждый должен делать свое дело, и в своем деле то, что он считает важным. Что бы о нем ни говорили.

2000–2001

II. ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕСТВА

«Пока была любовь...»

Когда человеку душно, он ловит губами воздух. Голодая, он тянется к хлебу. В жару мечтает о прохладе... Иногда полагают, что в его духовной жизни такой строгой взаимозависимости не существует.

Будь так, искусство и философия превратились бы в безудержное сочинительство, ибо открывать в жизни — душой или мыслью — было бы нечего. Каждый имел бы основания считать себя гением, но никто никому не был бы нужен.

В современной культурной жизни на Западе нынче в большом ходу термин «отчуждение», восходящий своими корнями к Гегелю и Марксу. Значение этого термина очень емко, и подразумевает он вещи реальные, опасные и широко распространенные. Речь идет о том, что под воздействием характера и форм современной жизни человек отчуждается от своей человеческой сущности, то есть становится чужим самому себе, своим взглядам, чувствам, привязанностям, потребностям, подпадает под власть созданных им самим вещей и вещественных отношений. Именно на этого «отчужденного» человека рассчитано коммерческое «искусство», которое так успешно конкурирует с подлинным. Оно обращено к тем, кого сама жизнь «не развлекает» и кто поэтому нуждается в дополнительных развлечениях. Конечно, победить скуку жизни

оно не способно, но оно способно отвлечь от нее, заполнить собой часы, которые некуда девать. Разумеется, оно требует к себе пристального общественного внимания, ибо оно не только результат, но и орудие отчуждения. Но это уже выходит за рамки данной статьи. Для нас важно только то, что, конкурируя с искусством, оно даже по задачам не претендует на то, чтобы быть им, что это не имитация духовной жизни, а просто отсутствие потребности в ней, умение обходиться без нее.

В большом ходу теперь и другой термин — «некоммуникабельность». Означает он неспособность человека к общению и взаимопониманию. Разумеется, это имеет прямое отношение к отчуждению. Какая может быть потребность в общении у человека, потерявшего самого себя? Все эти явления, по-видимому, имеют место, и, естественно, искусство — теперь уже речь идет не о коммерческом, а о настоящем или пытающемся быть настоящим искусстве, — не проходит и не должно проходить мимо них. Но какое искусство настоящее, а какое только пытается быть им? Мы, конечно, не собираемся дать исчерпывающий ответ на этот вопрос. Его нет. Но отличия все-таки есть.

Вот тут и приходится вспоминать о том, что, когда человеку душно, он ловит губами воздух, когда не душно — он этого не делает. Подлинное искусство начинается со стремления пробить стену «некоммуникабельности» и «отчуждения», со стремления открыть человеку его человеческое, то есть объединяющее его с другими людьми. Каким бы индивидуалистом ни был художник, если он заговорил — значит, он обратился к другим людям, значит, он претендует на их близость и понимание. Говорить в пустоту, тем более стремиться запечатлеть обращение в пустоте — занятие не только неблагодарное, но и неестественное. А обращаясь к людям, говоря даже о неприятии их жизни, надо хотя бы смутно чувствовать, что у тебя есть что сказать им — не только о том, чего они не знают, но и о том, что они знают. Искусство существует до тех

пор, пока художник с ним связан. Если же он перестал ощущать эту связь — пусть даже трагическую (а когда в классовом обществе она была нетрагической?), — как художник он умер, у него нет больше повода обращаться к людям. В самом деле, чем ему привлекать к себе их внимание? Чтобы они видели, что ему плохо? Так ведь им самим плохо, а они на его внимание не претендуют... Искусство — не просто проявление общественного бытия, дающее социологам материал для анализа. Его связь с людьми и воздействие на них более непосредственное, и только с этих позиций, позиций непосредственного разговора человека, имеющего что сказать, с другим, которому необходимо это услышать, и можно судить о произведении искусства. А если общественные условия, в которых ты находишься, убили в тебе способность подняться на эту высоту, то в данный момент сказать тебе нечего, тебе можно даже сочувствовать, — но ты не художник. Практика показывает, что и в этих условиях подлинные художники все равно время от времени появляются. Проблема, которую мы затронули, несмотря на то, что теперь она стоит острее, чем когда-либо, — не такая уж новая, не такая уж сугубо современная, а старая, как мир.

Откуда берутся имитаторы, сказать трудно. Выгоду это занятие представляет далеко не всегда, удовлетворения настоящего дать оно тоже не может. Впрочем, удовлетворение (как искусство), бывает и ненастоящее (если не знать, не испытать, что такое настоящее). Одному приятно производить впечатление на самого себя, и это ему как будто приносит удовлетворение. Второму для этого достаточно производить впечатление на других. Третьему радостно чувствовать себя причастным к вершинам современного духа, четвертому — не выбиваться из тона, принятого в его кругу. К тому же желающих говорить без потребности сказать мы встречаем не только в искусстве. Во всяком случае, имитаторы всегда были и теперь не перевелись. И они по-прежнему гораздо увереннее творцов. Потому что знают, как надо делать, а творцы это только ищут.

Но в нашем веке выяснилось, что имитировать перед собой и другими можно и сами поиски, само творческое искание. Это когда нравится само состояние поиска, когда ищут, а найти ничего не собираются — ничего не потеряли. Короче говоря, в моде (в цене) сами поиски. Они не прячутся от посторонних глаз как нечто интимное и черновое, а выставляются напоказ как самое главное, — смотрите, я ищу! Как при таком абстрагировании от сути не поверить, что искусство — магия, где, глядишь, после каких-либо сложных по виду, а в сущности, простых манипуляций в произведении вдруг появятся и смысл, и поэзия, и многое другое, чего не было в тебе и о чем ты сам не имеешь никакого представления. Появятся как бы без тебя, помимо тебя и твоего мира, мира твоих мыслей и чувств, появятся потому, что ты избран, хотя и сам не понимаешь, на что, тем более, что понимать — это рассудочность, а рассудочность — враг искусства. В это очень приятно верить, но это неправда. Высоты духа берутся только теми, кто ими живет. Из ничего ничего не произрастает. Закон сохранения энергии имеет отношение ко всему живому, в том числе и к искусству. Смысл этой мысли далеко не столь прозаичен, как ее звучание.

Фильм Антониони «Затмение» я видел на одном из просмотров. Перед демонстрацией фильма выступал известный киновед и рассказывал, как следует понимать этот фильм, советовал не отчаиваться, если фильм окажется недоступным или скучным, — такие фильмы сразу понять трудно, они слишком лиричны и тонки. Кроме того, было сказано, что сам Антониони говорит, что все эти «отчуждения» и «некоммуникабельности» выдумали критики, а он здесь ни при чем. Действительно ли это так или это просто дань представлению о непосредственности творчества, о свободном от всякого *racio* духе художника, судить трудно. Впрочем, конечно, верно, что художник во многом творит стихийно. Но это вовсе не означает, что все, что у него проявляется стихийно, — творчество. Не говоря уже о том, что не все, что выдается за стихийность,

действительно ею является. Стихийность тоже вещь чрезвычайно заманчивая для имитатора.

Когда человек одинок, ему от этого плохо, он — вполне непосредственно — стремится выйти из этого состояния. Когда он видит голодных, он, смотря по характеру, или пытается их накормить, или малодушно отворачивается, или стремится уничтожить голод. Эстетическое любование чужим голодом вряд ли можно считать образцом непосредственного восприятия. Лицемерие духовного голода (или духовной сытости) тоже не может доставить удовольствия. Но, к сожалению, когда на таких вещах есть надпись: «современное», «самое современное» — все равно идет ли речь об «отчуждении», «некоммуникабельности» или непосредственности (чьей, черт возьми, непосредственности, неужели это безразлично?), — то некоторые заставляют себя восхищаться — давятся, но едят. Боятся отстать от прогресса. Боятся пропустить современное... Ах, уж эта современность! Такое ощущение, что она так же, как секс, непосредственность и так далее, вообще существует лет восемьдесят-девяносто, не больше, а до этого существовало только прошлое как таковое. Но зато эта современность как образовалась, так и стоит. Только за нее дерутся разные течения, словно она пяточок, откуда, для того чтобы на нем утвердиться, обязательно надо спихнуть кого-нибудь. Приходится иногда слышать и такие упреки:

«Не понимаю, как можно быть противником модернизма, ведь это бессмыслица. Ведь слово “модерн” по-французски, допустим, означает “современный”. Пушкинский “Современник” в переводе означал бы “Модернист”».

В плохом переводе, хотелось бы добавить. Потому что у слов есть судьба. И слово «модерн», став термином, стало символом противопоставления сегодняшнего дня всему прошлому, символом отрыва его от всей истории культуры.

А что касается современности, то что против нее можно возразить. Любой человек, в том числе и худож-

ник, который живет в жизни, живет в современности. Другой возможности жить у него нет. Если он видит, слышит и чувствует, а не выдумывает, он видит, слышит и чувствует современность. Это не принцип и не заслуга, а просто факт.

Все эти соображения пришли мне в голову снова во время демонстрации фильма и предпосланной ему речи киноведа, о которых я уже говорил. Несколько робея от возможности оказаться в числе отсталых (хотя, собственно говоря, может быть, это и не так плохо, если движение идет не туда), но свято помня, что гораздо лучше оказаться отсталым по своей глупости, а не вследствие слепого примыкания к чужому мнению, которое ведь тоже может оказаться глупостью, я дерзаю изложить вместе с этими попутными мыслями свое впечатление от фильма.

Прежде всего, хочу оговориться. Я вполне сознаю, что бывают произведения искусства, которые не сразу завоевывают себе широкую аудиторию, которые при появлении многим непонятны. Это не всегда самоцель, это может получиться и у художников, очень желающих быть понятными. Весь вопрос в том, что именно за этим скрывается, что — пусть впоследствии — будет понято людьми, а сегодня, как священный огонь, хранит умственная и духовная элита общества. В чем элитность фильма и что за элита стоит за ним?

О фильме Антониони «Затмение» я должен сказать прямо, что никакой элиты за ним не вижу. Ни в героях (это не обязательно), ни в образе автора — что необходимо.

Пересказать его содержание довольно просто, ибо предполагается, что суть его не в содержании, не в том, что действительно происходит, а в том, что скрыто, так сказать, между строк. В тонкости психологических нюансов. Тонкость тоже вещь чрезвычайно лестная, интеллигентная и импонирующая имитаторам. Приятно сознавать себя тонким человеком, чувствующим то, что от других скрыто, но что вообще существенно. Впрочем, нет ничего более грубого, чем погоня за тонкостью. Тогда об-

ращается внимание на такие подробности, на которые нет никаких причин обращать внимание — не только объективных, но и субъективных, единственно для ощущения собственной тонкости. И с верой в то, что раз это тонкость, то за ней что-то есть, потом отыщется само.

В центре фильма — судьба молодой женщины по имени Виттория. По замыслу авторов, она, по-видимому, мятущаяся душа, которая ищет любви и места в жизни и не может найти. Она уходит от одного мужчины, потом находит другого, как будто бы влюбляется в него, но потом понимает, что и этот ей не нужен. Вот вкратце сюжет фильма. Его незамысловатость отнюдь нельзя считать его недостатком — в этот сюжет можно уместить самое различное содержание. Все зависит от того, что это за женщина и что за любовь она ищет.

Застаем мы героиню в очень трудный для нее момент — в то утро, когда она уходит от своего первого жениха. Авторы делают все, чтобы передать напряженность ситуации. Сначала на экране мы видим только лампу, потом книги, потом нервное лицо мужчины, который следит за чем-то. И только после этого мы видим женщину. Отдельно ее руки, ноги. Она стоит, ходит, открывает шторы. Ее снимают в разных ракурсах, на разных фонах. Иногда вместе с мужчиной. И все это в глубокой тишине, усиливающей нервную напряженность момента. Это длится долго, более двух минут экранного времени. Потом эта напряженность наконец выливается в вопрос: «Так как же, Рикардо?». И мы догадываемся, что речь идет о разрыве, что оттого такая нервная напряженность, что этой женщине больше невоготу. Так вот откуда эта медлительность в изображении переживаний — она уходит. Но почему она уходит, почему ей невоготу?.. Впрочем, фильм только начался...

Рикардо никак не может привыкнуть к мысли о разрыве. «Что?» — беспомощно спрашивает он в ответ на вопрос Виттории. Но она знает — «что». Они уже говорили об этом ночью, она решила. «В последний раз, Виттория», —

просит Рикардо. Но это бесполезно. «Нет, Рикардо... Не надо... Не надо...» — говорит Виттория. И мы еще раз убеждаемся, что для нее это невозможно. Правда, мы по-прежнему не понимаем почему. Сущность переживания заслонена от нас пока общей нервозностью тона. Это ведь тоже эмоциональность. И передано это мастерски. И такое впечатление, что не зря все это. Теперь не понимаем, потом пойдем. Но этот трудный для Виттории разговор продолжается. «Скажи мне, что ты хочешь, и я все сделаю... Я тебе обещаю... Я сделаю все, чего бы мне это ни стоило... Мне страшно подумать, что будет, когда ты уйдешь, и я останусь один... Я хотел, чтобы ты была счастлива...» — говорит Рикардо. Как будто это слова любящего человека. А вот ответ на эти слова: «Когда мы встретились, мне было двадцать лет и я была счастлива...».

Значит, была счастлива. Но мы до сих пор не знаем, в чем дело. Почему она перестала быть счастливой, почему этот интеллигентный, судя по внешним проявлениям — любящий (а как потом выясняется, и состоятельный) человек стал для нее таким невыносимым, что она просто рвется от него, как из душевной клетки. Мы уже начали сочувствовать ей, веря в то, что на это, вероятно, есть причины, но мы их не видим.

И лишь много времени спустя мы понимаем, что здесь очень мастерски играет не суть, не судьба чувства, а только нервное состояние, которое передается нам, как зрителям. А это состояние очень легко принять за чувство, сущность которого мы по грубости натуры пока не ухватили. Но это неправда. Ведь чувство содержательно, в нем проявляется весь человек со всем, что ему нужно, во что верит, на что надеется, с тем, что он вкладывает в это чувство. Человек, чувство которого мы восприняли и поняли, становится нам знакомым. Здесь же у нас знакомых пока нет. Мы присутствуем при семейной ссоре чужих людей и чувствуем нервозность обстановки, и только.

Впрочем, сцена еще не кончена. Дальше выясняется, что Виттория делала для Рикардо переводы каких-то ста-

тей (следовательно, он в них нуждался, а она тоже интеллигентный человек) и может передать эту работу другому, а если Рикардо не возражает, то доделать сама. Сказав это и услышав в ответ: «Ты именно это хотела мне сказать?» — она безуспешно пытается уйти от новой попытки Рикардо выяснить отношения. Ему, как и нам, пока ничего не ясно. Она отбивается: «До этой минуты нам удалось кое о чем умолчать... Зачем же ты меня заставляешь...». Рикардо почему-то пугает перспектива ее откровенности: «Нет... Ты этого никогда не скажешь... Ты ведь добрая...». «Для тебя у меня нет доброты», — отрезает Виттория.

Чего боится Рикардо, мы никогда не узнаем. То ли у него есть какой-нибудь тайный порок, то ли ему просто страшно услышать прямое признание в нелюбви. Но, в конце концов, после всех «не знаю» (она вообще любит говорить «не знаю», это неоднократно подчеркивается, в этом ее тонкость и искренность, в этом, боюсь, и авторская позиция) он добивается этого признания. Она уходит.

Сцена как будто закончилась. Мы все время чего-то ждали, даже пытались сочувствовать. В чем у них все-таки дело? Чем вызваны такие сильные чувства, в которые мы так долго пытаемся проникнуть.

Мы этого не знаем. Она ушла. Мы видим, как она идет по какому-то зеленому району города. Опять разные ракурсы. Потом Рикардо догоняет ее на машине: «Я подумал, что... Извини, я даже не предложил тебя подвезти... Садись...» — говорит он, стараясь, чтобы это выглядело как ни в чем не бывало. Но она не поддерживает этого тона. «Рикардо, дай мне уйти». Тогда он провожает ее пешком. Он пытается затащить ее в трактир, которая уже открылась (опять, чтобы отдалить прощание), но она отказывается. Наконец они доходят до её дома — и она прощается. «И для меня эта ночь тоже была ужасной... Прости меня», — произносит она на прощание. С одной стороны, фраза очень значительная, с другой — такие, наверное, всегда произносят в подобных ситуациях. Хотя, конечно, она должна что-нибудь чувствовать после всего, что бы-

ло... Впрочем, что было? «До свидания, — отвечает Рикардо, но тут же спохватывается: — Что я... Какие свидания, созвонимся... Нет, и не созвонимся... Будь счастлива». И на этом отношения кончаются.

Сыграно это, как и все в фильме, очень хорошо, на высоком уровне актерского мастерства. Только странный это все-таки высокий уровень — когда играют как будто точно, но игрой ничего не раскрывают, играют тонко, но примитивные и поверхностные проявления. Сейчас они играли разлуку. Она — уходящую, а он — покидаемого. И это все, что мы о них знаем, несмотря на всю сложность изображения. Ни за кем из них для нас не стоит пока ничего — даже их собственные жизни. Они расстаются.

Впрочем, Рикардо появляется у этого дома еще раз, ночью — звать ее с тоской под окнами. Она не откликнется, а только позвонит его другу, попросит, чтобы тот помог Рикардо. Но друг выразит желание «помочь» самой Виттории. Вероятно, это должно подчеркнуть всю некоммуникабельность жизни — каждый занят самим собой, и никому ни до кого дела нет. А в самом деле получается, что просто друзья у Виттории и Рикардо — свиньи. А свиньи всегда были и всегда будут «некоммуникабельны». Кроме того, шевелится недобрая мысль о том, что друзей мы себе выбираем сами... Вероятно, некоммуникабельность является трагедией совсем для других людей. Разумеется, достаточно было бы трагического ощущения автором этой некоммуникабельности. Но чтобы было так, ему пришлось бы более глубоко проникнуть в этих людей, дать нам почувствовать, что хоть живут они так, но могли бы иначе... Этого «могли бы» с лихвой хватило бы на любую трагедию.

Но здесь автор не интересуется сутью людей, и поэтому трагедия их нереализованных возможностей остается в лучшем случае (даже если она присутствует в фильме) риторической заявкой. Между героиней и авторами существует в этом трогательное единодушие — она не пытается дать себе отчет в смысле происходящего, а авторы тоже

этим как-то не очень заинтересованы. Тут, конечно, был бы вполне законным вопрос: из-за чего, собственно говоря, возник этот фильм, но это было бы уже прямым вторжением в специальную область психологии творчества.

Итак, отношения с Рикардо закончены. Больше о них не будет почти ничего. Только перед самым концом фильма, отвечая на вопрос о том, понимали ли они друг друга с первым женихом, Виттория выскажется: «Пока была любовь, конечно, понимали, но там нечего было понимать...».

Значит, пока была любовь!.. Это очень интересное заявление. Значит, она (и вместе с ней авторы) считает, что здесь была любовь, а потом закончилась... Видимо, это должно нам что-то объяснить. Раз это так — значит все ясно, и все наши вопросы излишни. Раньше любила, теперь не любит. Любовь была, теперь прошла...

А между тем слово «любовь» отнюдь не обозначает чего-то само собой разумеющегося, и если люди разлюбляют — значит, нечто у них происходит, даже если они не понимают, что именно... Нечто такое, что касается всей их человеческой сущности и без раскрытия ее непонятно. То есть они сами могут этого не понимать, но художник, их изображающий, понимать это обязан — иначе он не раскроет ни самой любви, ни ее конца, ни того, зачем он о них заговорил.

Доказывая, что это слово не требует никакого раскрытия, обычно ссылаются на то, что когда влюбленный говорит своей возлюбленной «Я тебя люблю», никаких раскрытий не требуется. Но ведь и ему, и ей известно (или кажется, что известно), что стоит за словом «я» и что — за словом «тебя». А этого вполне достаточно, чтобы понять, что в данном контексте значит «люблю». Без такого контекста это слово мертво: и в жизни, и (тем более) в искусстве. Или имеет смысл скорее игривый, нежели какой-нибудь другой. В связи с этим мне вспоминается одна из героинь Ильфа и Петрова, которая просто не подозревала, что слово «любовь» может иметь и возвышенный смысл.

Было бы странно думать, что такое понимание этого слова, достойное (в облагороженном виде) мещанского романа, вполне удовлетворяет создателей такого ультра-современного, такого интеллектуального и по приемам психологического фильма.

Впрочем, то искусство, которое само называет себя интеллектуальным, мне вообще несколько подозрительно. Иногда мне кажется, что это как раз то искусство, которое требует больше интеллектуальных затрат от зрителя (или читателя), чем от самого художника. Дескать, раз я тебе говорю — значит, здесь есть смысл, а раз не видишь — сам виноват. Первым жрецом такого искусства был Тиль Уленшпигель, выдававший голые стены за гениальные картины, которые видны всем, кроме круглых дураков. И люди видели. Правда, сам автор, в отличие от современных интеллектуалистов, ничего на стене увидеть не пытался.

Часто приходится слышать смелую (лет пятьдесят уже смелую) мысль, что зритель должен быть соавтором произведения. В каком-то смысле это верно. Он должен (хотя слово «должен» тут не совсем точно, это автор должен) настолько проникнуться авторским восприятием, чтобы самостоятельно приходить к тому, к чему пришел автор. Но это происходит только тогда, когда автор — пусть даже не совсем осознанно, только эмоционально — к чему-то пришел. К чему-то, чем у него есть настоятельная необходимость поделиться.

Азбучная истина? Конечно. Большинство неудач в искусстве происходит от невозможности или неумения следовать азбучным истинам. Это самые трудные и недоступные истины в искусстве. Выучить их назубок еще не значит овладеть ими. Впрочем, это относится и ко всем простым истинам жизни. Их твердят нам с детства, но настает такой день, когда мы их вдруг начинаем понимать, когда жизнь (наша собственная жизнь) открывает их нам.

Итак, нельзя раскрыть любви, не раскрыв, чем живут, чем дышат любящие. В фильме за этим словом ниче-

го не стоит: ни мечта, ни надежда, ничего определенного, разве что потребность занять себя чем-либо. Какие-то чужие, нераскрытые отношения, так и остающиеся чужими. Они случайно возникли и естественно исчерпали себя. Вот и все.

Такое толкование устраивает далеко не всех. Слишком значительно, слишком эмоционально все это показано. Не может быть, чтобы ничем не объяснялась эта пристальность взгляда, эта замедленность изображения... И зритель — теперь настал последний срок ему вступать в пресловутое «соавторство» — или вообще отказывается что-либо понимать, или в соответствии с требованием интеллектуальности искусства начинает заполнять заданную авторами форму своим содержанием.

«В этом фильме говорится о том, что женщины намного тоньше мужчин и от этого страдают», — сказала мне уверенно одна зрительница. Это толкование по ощущению глубины наиболее близко к моему, но опять такому ощущению глубины противоречит многозначительность формы. Есть и более глубокие толкования: «В чем тут дело? А это не важно. Нужно сидеть и непосредственно воспринимать то главное чувство, которым наполнен фильм, не вникая в подробности». Это зритель серьезный, и спорить с ним трудно, поскольку он ничего не говорит. Может, действительно, воспринимал чувство, а может, просто сидел с серьезным видом. Чаще всего этот зритель что-то слышал об искусстве, но слышал явно недостаточно. Но он уверен, что знает все. И можно совсем перед ним оробеть, если бы он мог ответить на простой вопрос: «А как же не вникать, если показывают, если тщательно выписывают каждое движение?». А раз показывают, то хочется знать, из-за чего сыр-бор загорелся. Поди знай, что гораздо непосредственнее на что-то (на что именно? — ведь об этом по крайности объявить наперед надо) не обращать внимания. Слышал я и такое толкование: «Этот Рикардо, может, и не плох, но не для нее. Ей надо, чтобы ее любили, забывая весь мир, превращая ее саму в центр

мира, а он так не может. И вообще — ей гораздо большего надо в жизни, ей с ним душно. Потому и рвется. На волю рвется». Что ж, может быть, все так. А может, ей потому и душно, что она стала для него центром мира. Ведь это скучно — жить с человеком, для которого ты центр мира. Да и что это значит? Может быть, просто острота чувства? Ведь почти у всех любящих на первых порах бывает так, что они никого, кроме как друг друга, не видят. А потом острота проходит, и некоторые (кого ничего, кроме этой остроты, не объединяло) теряют друг к другу всякий интерес. Так что вполне может быть, что желание быть центром мира — это псевдоним желания вечной остроты, а это желание пустое и порожденное пустотой жизни, когда никакой другой остроты в жизни нет. Получается, что, с одной стороны, это «А он, мятежный, ищет бури», а с другой: «Только утро любви хорошо...». Так что желание это понятное, но не такое уж сверхличностное и сверхпоэтичное, как поначалу кажется...

Есть толкование и более простое: «Рикардо не мужчина, а ей нужен мужчина. А этот — унижается, плачет... Слаб он для нее...». Что ж, это тоже вполне реально. Может, и впрямь здесь в основе всего тоска по мужчине-конкистадору, мужчине-завоевателю. Просто этому не очень соответствуют средства выражения. Если так, надо интрижку позанятнее, да и секса бы побольше не помешало. И совсем бы тут ни к чему все эти замедленные изображения и вся эта пристальность. Но уровень понимания слова «любовь» соответствовал бы вполне... Впрочем, завоеватель в этом фильме есть. В соответствии с требованиями современности этот конкистадор хорош собой, ездит в современных машинах — «фиатах» и «БМВ», выглядит вполне современно, а находит она его непосредственно на поле битвы современных конкистадоров — на бирже. Биржа выписана ярко и рельефно: светящиеся табло, безумные крики, ажиотаж, азарт, страх, надежда, острота: прозеваешь — проиграешь состояние, а может, и жизнь. Здесь бушует страсть, только не облагораживающая, не

обогащающая душу, а стирающая ее, нивелирующая, сводящая все к одной безумной алчности. Здесь нужно иметь крепкие нервы, ясную голову и безжалостное сердце. Само по себе все это сделано замечательно. Но само по себе в искусстве любое достижение свидетельствует о высоком профессиональном качестве. И только. А этого мало.

Среди людей, которых мы встречаем на бирже, — новая пассия Виттории — Пьеро, едва ли не самый человеческий. На первый взгляд. А если присмотреться, он просто легче других обходится без всякой человечности. Он играет на бирже и помогает играть своим клиентам. Это его профессия. Если надо, он может подтолкнуть человека к краю бездны, что, как мы видим, он делает после того, как на бирже разражается катастрофа. Ничего ему не стоит оскорбить девушку, которая пришла к нему на свидание, причем оскорбить не как-нибудь, а остроумно и весело — его даже забавляет, что теперь она ему не нужна. Когда пьяный угнал его машину и с ней утопился, Пьеро думает только о машине, но никак не о том, что погиб человек. И это даже не жестокость, просто какая-то этическая тупость. Плевать ему на всех, а все, если бы могли, плевали бы на него, но он не дастся. Вот вся его философия. Игра на бирже ему даже интересна. «Когдаходишь в игру, это увлекает», — объясняет он Виттории. Законы волчьего мира, в котором он живет, кажутся ему совершенно естественными, это просто правила игры. Он хорошо их знает и проигрывает редко. Разве что всегда — жизнь. Но, собственно говоря, этого он не знает и никогда не узнает. Он чувствует себя — отчасти, только отчасти (мечтает быть им) — хозяином жизни. Но владеет он ею, так же, как картиной, которая висит у него дома, не зная, что это такое. «Она всегда здесь висела», — отвечает он Виттории на вопрос о том, что это за картина. Он может только потреблять, воспринимать он уже почти не может. Да и не приучен. Трудно оспорить реальность этого героя. Но он не столько жертва, сколько носитель торжествующего зла, он свой среди той стихии, которая превратила в

ть человека мать Виттории, может быть даже (об этом мы можем только догадываться) убила ее отца и превращает в ничто всех вокруг. То, что при этом в ничто превращается и сам Пьеро, не должно ничего менять в отношении к нему — ему это нравится. Он относится к тому типу героев, воздействие которых на жизнь и внутренний мир других людей важнее и интереснее их собственного внутреннего мира, то есть существенное в этом внутреннем мире яснее через внешнее изображение. (Разумеется, если художник не увидел в нем еще что-то, но этого в данном случае нет.)

Впрочем, внутренний мир Пьеро в картине изображается, так сказать, попутно — поскольку такой уж стиль. Важно то, что именно его выбирает высокоинтеллигентная Виттория, уходя от «слабака» Рикардо. Первая их встреча происходит здесь же, на бирже, куда Виттория пришла навестить свою мать. Очень характерно показана эта встреча. Внезапно по радио объявляется о том, что один из дельцов умер от инфаркта. Его память предлагают почтить минутой молчания. Биржа замирает. Виттория случайно оказывается рядом с Пьеро. Вот какой разговор мы имеем основания считать их первым разговором.

Пьеро. «Целая минута... С ума можно сойти».

Виттория. «Ты знал его?». «Ну разумеется,— отвечает Пьеро. И продолжает — опять о своем: — Здесь каждая минута стоит миллиарды».

И все-таки обстановка вокруг такая, что зритель хотел бы видеть в этом разговоре зарождение чувства. Он видит двух как будто еще живых молодых людей, которые как-то выделяются среди этого нечеловеческого рева, кому ж еще сочувствовать. И потом для чего-то же рассказывается так подробно эта история, что-то же должно открыться в героине. А где же этому раскрыться, если не в любви. Зритель ждет любви. Второй раз Виттория встречается с Пьеро на той же бирже в момент катастрофы, когда она только что узнала, что разорилась ее мать. Успоко-

ив мать тем, что «на бирже все случается: взлеты, падения, это нормально», и объявив ей, что она не может видеть мать «в таком состоянии», Виттория отыскивает Пьеро. «Это очень страшно, то, что произошло? Это непоправимо?» — наивно спрашивает она у него, как у понимающего человека. «Все поправимо, если есть деньги... — резонно отвечает ей Пьеро. — Но для многих это полная катастрофа». «А для моей матери?» — любопытствует Виттория. Выясняется, что мать потеряла миллионов десять, но — устало добавляет Пьеро — это ничто по сравнению с тем, что потеряно сегодня во всей Италии... Это усталость человека, пережившего самум. Но и уцелевшего в этом самуме. Потом они отправляются вдвоем завтракать. После завтрака Пьеро провожает Витторию домой, и мы видим их обоих у нее дома. Там происходит один знаменательный разговор. «Вот чего больше всего на свете боится моя мать... нищеты», — говорит Виттория, рассматривая фотографии. «Все этого бояться», — отвечает Пьеро. «А я об этом не думаю, как и о том, чтобы разбогатеть», — заявляет Виттория. Не правда ли, поэтично? Никакого развития, никакого продолжения этот разговор не имеет. Итак, наша героиня не думает ни о нищете, ни о богатстве. В этом еще нет ничего плохого. «Два на земле у меня врага. Два близнеца неразрывно слитых — голод голодных и сытость сытых», — писала когда-то Марина Цветаева, и ее никто еще не осуждал за это. Но у нашей героини все это имеет совершенно другой смысл. Она ведь на протяжении всего фильма не думала не только о нищете и богатстве, но и вообще о чем-либо. Так что ее отрешение от земных забот не вызвано никакими высокими причинами. Просто птичка божия не знает и не хочет знать никаких забот. Вполне возможно, что высокая экономическая конъюнктура делает такую беззаботность безнаказанной. Но поэтичной она от этого не становится. Ваша героиня не любит биржи только за то, что это слишком суетливое и беспокоемое место, а ей гораздо приятнее ничего не делать, то бишь искать любви. Правда, нам известно, что она что-

то где-то переводит, но об этом только заявлено, никаких следов этой работы ни на ее личности, ни на ее быте не отпечаталось. Только однажды, точнее накануне вечером, попав случайно в гости к женщине, которая долго жила в Кении, и увидав там фотографию горы Килиманджаро, она прошепчет не без некоторой просветленности: «Да... Снега Килиманджаро...». Из чего как будто должно следовать, что она знакома с Хемингуэем. Но если вспомнить, что это один из самых беспощадных к себе и трагических рассказов Хемингуэя, то просветленность явно излишня. Возможно, она об этом рассказе только слышала. Вообще этой бесхитростной встрече трех женщин иногда придается слишком большое значение. Она, мол, доказывает, что Виттория все-таки способна к общению. Безусловно, способна. И именно на этом — кстати говоря, совсем неплохо, вполне человеческого уровне. Только неясно, почему у нее этого нет (у других ведь есть) и почему весь фильм (и все ее поведение) намекает на то, что ей нужно нечто более высокое и сложное. Откуда в ней такая претензия, которая ощущается (и раздражает) все явственнее? Неясно. Впрочем, если бы этот фильм не намекал — что бы он делал?

Но фильм еще не окончен. К тому же только что началась любовь. А любовь может проявить в ней нечто, о чем мы и не подозреваем, всему миру известна преображающая сила любви. Может быть, что-нибудь все-таки произойдет? Но ничего не происходит. Фильм по-прежнему посвящен внутренней жизни, хотя именно внутренней жизни у героев нет. Как и раньше, играют элементарные сиюминутные проявления не очень выразительных эмоций. Вот из канала вытащили машину вместе с утопленником. Долго видна его рука, которая свесилась за борт. Но Пьеро, как уже сказано, на это плевать — у него машину сломали, он убыток терпит. Впрочем, лучший выход — продать машину. Его очень радует, что он нашел этот выход. Укоризненно его слушает Виттория и... вечером сама звонит ему и влюбленно вслушивается в звучание его голоса. Не правда ли, романтично. А назавтра она раньше его

приходит на последнее состоявшееся свидание. Так что ее отношение к его бесчеловечности и все с этим связанное — это в ней не более чем девичий стыд. Ничего в ее жизни не произошло и не происходит.

Дальнейшее воспринимается как одно последнее свидание, хотя таких свиданий по меньшей мере три. У Пьеро дома, «на природе» и в конторе. Это, конечно, сделано специально. Ибо любое из этих свиданий может оказаться последним — встречаться нет причин и сейчас, и не последним — почему обязательно сегодня это должно им надоест?

Итак, это свидание. Смеясь, шутя, передразнивая идущих и встреченных раньше, они, в конце концов, приходят к Пьеро — так захотела Виттория. Смелая она женщина. Но, с другой стороны, свобода любви — никакой особенной в этом смелости, пожалуй, и нет. Правда, пока у нее любви еще и не было, зато свободы — в досталь. Неужели об этом мечтали люди, которые веками боролись за свободу чувства?

Впрочем, может быть, что-нибудь произойдет, что-нибудь вспыхнет? Нет. Не вспыхивает. Виттории как будто хорошо с Пьеро, но замуж она за него не собирается. Вот если бы она его любила чуть больше — другое дело. А так — она еще не соскучилась по замужеству. И опять на все вопросы те же «не знаю», что и в начале фильма. И как вывод: «Почему люди задают друг другу столько вопросов? Мне кажется, для того чтобы любить, не обязательно знать друг друга». В данном контексте это значит — не обязательно интересоваться друг другом, можно оставаться друг к другу равнодушными, пользуясь любовью... Нет, у этой тонкой девушки представление о любви такое, что фильм о ней надо ставить веселее. Такой, чтобы и психология была (в меру) и чтобы публике было на что посмотреть... Но мысль развивается. «А может быть, вообще не стоит любить?» — спрашивает Виттория. О чем теперь речь, непонятно. Она и так никого не любит. Видимо, это тоска по любви. По какой? Не чувствуется, что именно те-

перь она пришла к таким грустным мыслям. И тупика не чувствуется. Это у кого-то тупик. А у нее — свобода. Скорее всего, за любовь и потребность любви она принимает потребность как-то занять себя.

Прощаясь, они договариваются встретиться еще и... не встречаются — оба догадываются, что им это ни к чему. Он опять кладет все трубки на телефоны (он их снял на ночь, и, кстати, само по себе включение телефонов не есть еще трагический символ возвращения из любви, как это здесь, по-видимому, должно пониматься, — ведь с приходом ночи их можно опять выключить), а она уходит неизвестно куда. Пусто на месте их встречи. А из бочки, стоящей у недостроенного дома, вытекла вся вода. И щепка, которую Виттория бросила сюда, загадав, и из-за которой столько раз заглядывала в эту бочку, теперь лежит в грязи на дне. Очень чувствительно и символично, но ни содержания, ни чувства эти эмоции не добавляют. Думается, что фильм этот, в отличие от бочки, с самого начала ничем наполнен не был, и эта символика к нему не относится. В фильме очень много нервно напряженных сцен — должно работать настроение. Но ведь настроение работает только в том случае, если за ним стоит отношение. В противном случае оно только заслоняет чувство и содержание.

Женщина, которая никуда не стремилась и ничем не жила, ни к чему не пришла и ничем не стала жить. Вот содержание фильма. Разумеется, бывают такие женщины, разумеется, — особенно в наше время — случаются такие истории, разумеется, им никак не заказан путь на экран. Но привлекать к ее несложной психологии такое пристальное и напряженное внимание не было, на наш взгляд, никакого художественного смысла. Если она и мучится, то только оттого, что досуг у нее есть, а заполнять его она не научилась, что свобода чувства ей доступна, а само чувство — не очень. Это тоже может быть трагедией, но вряд ли трагедией поэтической. Собственно говоря, эта женщина ничем не очаровывается, ни в чем не разочаровывается, ни за что не болеет и поэтому ничем не инте-

ресна. О ней можно писать, ее можно показывать, ибо в ней, как и в каждом, — душа человечества. Но она отнюдь не воплощение судьбы. И давать замедленное изображение ее переживаний — значит делать картину скучной. Не труднодоступной, а именно скучной.

В фильме есть такой эпизод. Виттория и Пьеро встречаются красивого парня, вызывающего восхищение Виттории. А красив этот парень в основном тем, что он куда-то идет мимо них, что ему куда-то надо. А ведь ни Виттории, ни ее знакомым никуда не надо и никогда не надо было. Вот с этим парнем может что-нибудь случиться, он может победить и может потерпеть поражение, может измельчать, может возвыситься. Этот парень, занимающий так мало места в фильме, является исчерпывающим доказательством того, что остальные герои занимают в нем непропорциональное место. Нельзя показывать трагедию некоммуникабельности на тех, кто вообще не очень нуждается в общении, у кого вместо потребностей — претензии.

Существует мнение, что раздражение, которое вызывает Виттория, входит в замысел авторов — дескать, вот во что превратило общество человека. Может быть, и так, но ведь у меня раздражение вызывал не только ее образ, но и авторская позиция, но и такое пристальное внимание к ней. И вообще это болтовня, что если вещь вызывает споры, то она обязательно хорошая; споры по вопросу, о чем фильм, могут вызывать и неопределенность замысла, его непродуманность, невыношенность, невыясненность...

Еще недавно итальянское кино действительно сказало новое слово в искусстве. Хорошо, что теперь оно пытается сделать дальнейшие шаги вперед. Но это не значит, что каждый шаг обязательно должен быть удачен или что он обязательно будет вперед. Новое слово в искусстве говорится не каждый день, хотя это и не очень удобно для прессы, которой каждый день нужны новые сенсации, новые слова. Нужны они и тем, которых подогревает все только новое. Однажды один гость нашей страны спросил у меня: «Скажите, почему во многих московских кварти-

рах висит портрет Хемингуэя? — И добавил с гордостью:— Для нас Хемингуэй — уже пройденный этап». А я подумал: «А уж Толстой или Диккенс для таких, как ты, вообще старье...».

Утверждают, что итальянское кино стало другим потому, что изменились условия жизни, что больше нет той бедности и неустроенности, которая вызвала к жизни неореализм. Такие рассуждения всегда подозрительны — может быть, все это исчезло, а может — перестало замечаться. Но если даже исчезло, то что-то же появилось взамен, чья-то душа все равно требует счастья и пусть смутно, но чувствует, что это такое — счастье, дружба, любовь, кому-то без этого действительно плохо, даже если он и не осознает этого.

Но видеть, понимать и чувствовать это очень трудно, для этого обязательно (пусть за сценой) нужно ощущать масштабы и черты всей жизни, а также себя — не сдавшегося в этой жизни, других людей, близких тебе и далеких. Это нужно даже для самого интимного и камерного фильма. Как бы совершенно ни оформлялся душевный полуфабрикат, какими бы точными средствами ни был бы он передан в словах или на экране (а он ведь, кроме того, ведет и к произвольному сочинительству), — он не может лежать в основе произведения искусства, не может быть победой духа. А когда обходятся без этой победы — пусть даже и утверждая, что это лишнее (птица может и не летать, но тогда она — курица), — можно только позволять каждому фантазировать на свои темы, никому ничего не давая. Это может быть очень занимательно, это дает поводы для споров и толкований, но все это до тех пор, пока кто-то (не обязательно кто-то другой) не прорвет пелену отчуждения и некоммуникабельности и не вырвется к поэзии, к людям. Но, как уже сказано выше, это бывает не каждый день.

Работать же в искусстве без попытки пробить эту стену, касаться отчуждения и некоммуникабельности «изнутри», не вырвавшись из их плена и как бы растворя-

ясь в них с бессмысленной целью «отразить» (что подчас приводит к эстетизации этих явлений, то есть к тому, что бесконечно малое подается как бесконечно большое, а уродливое как прекрасное), — значит заниматься имитацией не только в смысле чисто художественном, но и в просто человеческом — имитацией деятельности. Это — в лучшем случае — все равно, что судорожно ловить губами воздух, не ощущая духоты или в холодный зимний день мечтать о прохладе.

...В заключение — о тех сокращениях, которые сделаны в прокатном варианте этого фильма — единственно доступном широкому зрителю. Они не меняют моего отношения к фильму, не делают моих претензий к нему жестче, но я не могу не заметить, что сделаны эти сокращения топорно и бестактно, ничем не объяснимы (кроме «делового» соображения о том, что полный вариант демонстрируется 123 минуты, что минут на 10–15 превышает максимально допустимую по нормам длительность) и явно вредят фильму. Из-за этих сокращений непонятно до конца социальное положение Пьеро (выброшена реплика, где оно проявлено ясно), многое теряется в сцене вечеринки трех женщин (например, «африканская тема») и т. д. Кроме того, полностью выброшена сцена полета — когда муж подруги катает Витторию на самолете — одна из лучших и талантливейших сцен в фильме, его музыкальный замысел, который можно не принимать, но разрушать который нельзя.

И если я отношусь отрицательно к этому фильму, то отношусь так, прежде всего, к его замыслу, особенно к тому, что он музыкальный. Но что это означает? Как я понял, состоит эта музыкальность в том, что сами образы людей, мотивы их поступков, содержание их характеров, даже сюжет имеют (в лучшем случае) только второстепенное значение. Они только должны создавать общее настроение — его гамму, баланс, которые и составляют суть фильма. Короче говоря, для того чтобы любить, зачем понимать. Но дело в том, что — простите за банальность — кино все-таки

не музыка. В музыке нет зрительного ряда, нет диалогов и поэтому не возникают сами собой примитивные вопросы: «а кто это?», «а почему он это?» и так далее, которые все же требуют ответа. Кроме того, в качестве музыки кино всегда будет уступать музыке, да и зачем кинематографу быть музыкой, когда музыка уже есть без него?

А в данном случае такое музыкальное выражение замысла служит вольно или невольно опозитивированию душевной бедности, то есть того, что, как уже говорилось, поэзией быть не может, что по своей сути не поэзия. В этом смысле сокращенный вариант, отчасти разрушающий невольно и своевольно этот музыкальный замысел, только обнажает суть фильма.

Я глубоко убежден, что этот замысел и стал музыкальным оттого, что не хватило выношенности и проясненности, от веры в то, что незнание есть особый вид знания, а отсутствие чувств — особый способ чувствовать. Когда человеку неясны собственные мысли, он говорит сбивчиво и темно. Это честнее, чем уверенно говорить, ничего не зная. Но это все-таки не вид красноречия.

Отчасти степень талантливости определяется степенью выразительности. Если так, то, несмотря на отрицательное отношение к фильму, я не могу не признать его очень талантливым. Это относится и к режиссеру, и к актерам, среди которых есть такие звезды, как Моника Витти, Ален Делон и Франсиско Рабаль, не нуждающиеся в рекомендации, и к работе оператора. Жаль только, что этот талант ушел на частности, в лучшем случае — на воспроизводство того, с осознания чего только начинается работа художника, на воспроизводство того, что еще надо понять и преодолеть, для того чтобы вырваться к поэзии. Можно спорить о том, стоит ли и в какой степени стоит перекладывать на плечи зрителя (или читателя) понимание и объяснение жизни, но уже прорываться к поэзии должен сам художник. Для этого он и существует. А если нет, то для чего еще?

1967

Психология современного энтузиазма

Предисловие

В 1970 году я прочитал в самиздате письмо *«Ко всем людям доброй воли — Фиделю Кастро, Сартру, Расселу и многим, многим другим»*, написанное левым израильским журналистом Амосом Кеннаном. Автор протестовал против поведения своих коллег по левизне, которые внезапно отвернулись от Израиля. Кеннан упрекает своих бывших товарищей в непоследовательности и несправедливости, он очень обижен на них за это. Но он все равно левый, и те же мотивы, которые позволили его товарищам так поступить, не перестали руководить и им самим — только в других случаях.

В связи с этим его письмо оказалось тогда для меня очень удобным поводом для разговора с левой западной интеллигенцией, который мне уже давно не терпелось начать. Эту задачу я выполнил тогда, но только отчасти, ибо передать эту работу на Запад — не решился. Теперь, приехав на Запад, я убедился, что она не потеряла своей актуальности. С этим чувством я и сажусь за ее перепечатку (я вывез только слепой экземпляр).

Разумеется, любая перепечатка есть в то же время и редактирование. Но я не хочу слишком модернизировать написанную в определенное время и в определенном мес-

те работу. Большинство переделок, как бы значительны они ни были, носят чисто стилистический характер. Только главу о «чилийской революции» ввиду трагической гибели Альенде я счел нужным переделать, то есть написать с сегодняшних позиций. Разумеется, я не изменил моего тогдашнего отрицательного отношения ко всему, что он собирался делать (справедливость такого отношения, по моему, только подтвердилась), но изменил несколько тон, в котором это отношение высказывал.

Эта работа никак не посвящена рассмотрению ближневосточного кризиса, она только рассматривает его моральные аспекты. Просто в отношении к этому кризису проявился довольно остро общий культурный и духовный кризис Запада, а этому кризису как раз и посвящена моя работа.

К сожалению, в ней в сущности рассматривается только одно из проявлений этого кризиса — радикальная психология. Но к этому кризису еще, конечно, относится и общее отношение западного обывателя и зависящих от него демократических правительств к острым вопросам современности. К сожалению, я касаюсь этого отношения вскользь. Но об этом не раз с тех пор, с 1970 года, очень хорошо писали Солженицын и Сахаров, с которыми я согласен.

Остается добавить, что я безоговорочно поддерживаю право Израиля на существование и даже не скрываю своей личной заинтересованности в этом (чтобы иметь возможность добровольно оставаться русским). А также не считаю, что Израиль проявлял или проявляет неуступчивость, ибо единственные переговоры, которые с ним соглашается вести противник — это переговоры о добровольном изменении линии фронта в свою пользу во время войны без всякого согласия на ее прекращение. С моей точки зрения, таких «переговоров» вести не следует.

За годы, прошедшие с 1970 года, обстановка, конечно, изменилась (к худшему). Запад много раз соглашался на требования террористов и создал у последних ощущение

ние безнаказанности. Крайский (австрийский премьер) по их требованию закрыл перевалочный пункт в замке Шенау, что дало арабам уверенность в своей общей безнаказанности и, может быть, развязало Октябрьскую войну. Запад покорился нефтяному шантажу. Дело идет к тому, что Израиль будет предан и Америкой. Но обо всем этом в работе, написанной тогда, ничего нет. Однако, я думаю, что в ней отмечены тенденции, которые позволили всему этому случиться и позволят, если люди не поймут, в какой обстановке они живут, случиться чему угодно.

Уважаемый господин Амос Кеннан!

Вероятно, Вы больше привыкли к обращению «товарищ». Но, как видно из Вашего письма, люди, к которым Вы привыкли так обращаться, предали Вас, и Вы им больше не товарищ. Они теперь озабочены установлением товарищества с теми, кто хочет Вас уничтожить. Не исключено, что это и им самим неприятно, но велика власть диалектики над теми, кто позволил ей заменить совесть. Они верят, что эта несправедливость окажется справедливой исторически. Такая у них вера...

Кроме того, Вы в этом письме проявляете гораздо больше самостоятельности, зрелости и личного достоинства, чем могут это себе позволить Ваши бывшие «товарищи», становитесь как будто и в самом деле «господином», господином своих мыслей и своей совести. Может быть, жгучая альтернатива, стоящая перед человечеством, и состоит в том, кем станут люди в процессе борьбы за равенство — все, как один, господами или рабами. Рабы, безусловно, товарищи по судьбе, но вряд ли стоит из-за этого стремиться к рабству.

Вспоминается один случай проявления такого товарищества. Когда начались уже давние, но когда-то очередные, парижские переговоры по Вьетнаму, командование Северного Вьетнама разослало во все части циркуляр, в котором рекомендовалось ничего об этих переговорах рядовым «товарищам» не сообщать, чтобы поддерживать их «дух» в должном состоянии. Импонирует ли Вам это от-

ношение к духу каждого как к государственной собственности, как к конфискованной глине, из которой революционная творческая интеллигенция может лепить все, что ей вздумается? Не были ли Вы сами когда-либо объектом такой трогательной товарищеской заботы? И не заботились ли так сами о ком-нибудь другом? Про себя я могу сказать, что окружен такой заботой с раннего детства. Вечно из меня что-то формировали для целей, которые, впрочем, тоже часто менялись. И подменялись.

К сожалению, эта дрессировка касается не только нас, живущих за «железным занавесом». Это вообще одна из главных проблем, бед, преступлений и загадок двадцатого века. Ведь часто дрессируемые бывают гораздо умнее, образованнее и духовнее дрессировщиков. И все же они поддаются (за честь иногда считают поддаваться) этой дрессировке. Хотя потом часто оказываются в глупейшем положении, когда их, уже поддавшихся дрессировке (и от этого потерявших отчасти самих себя), эти дрессировщики бросают на произвол судьбы посреди дороги... Как Вас, например...

Переводчик Вашего письма *«Всем людям доброй воли — Фиделю Кастро, Сартру, Расселу и многим, многим другим»* почему-то назвал это письмо несколько иронически: «Плач изгнанника из прогрессивного рая», — несмотря на то, что, переводя это письмо и распространяя его, многим рисковал. Разумеется, большая часть этой иронии относится к самому «прогрессивному раю», но, конечно, кое-что остается и на Вашу долю. Уж слишком страстно переживаете Вы это изгнание...

Слишком огромен и горек наш опыт, для того чтобы мы могли отнестись без иронии к тому, что человеком доброй воли вдруг оказывается лгун и диктатор Фидель Кастро. Или тот же Ж.-П. Сартр, у которого, как показывает его поведение, нет никакой собственной воли — только патологическое стремление к восторженной капитуляции перед чужой волей. И почему-то всегда обязательно перед волей злой.

Вы должны простить мне этот тон разговора взрослого с ребенком. Я вовсе не хочу унижить Вас или Ваших многочисленных единомышленников во всех странах. Но в смысле социального опыта любой из моих сограждан действительно взрослее своих западных сверстников. Теперь уже на шестьдесят почти лет взрослее. И это иногда пробивается наружу. Многие слова, до сих пор окутанные для Вас романтическим флером, пред нами не раз представляли обнаженными, и сущность их отнюдь не была романтической. И многие ходы мысли, в начале которых долго (и в духовном смысле несколько трусливо) топчутся поныне Ваши товарищи, — поневоле уже давно исследованы нами до конца.

В свете того, что мы поняли, несколько нелепо выглядит Ваше возмущение единомышленниками. А что Вас, собственно, удивляет? Что Вас предали? А нас уже около шестидесяти лет предают! И те же самые люди, что и Вас — левые интеллигенты Запада. Иногда — называя себя либеральными, иногда — вместе с либеральными, но предают. Около шестидесяти лет они спокойно и вдохновенно жертвуют нашими судьбами, здоровьем, жизнями (о свободе и достоинстве и говорить нечего) ради того, что им (но отнюдь не нам) кажется историческим прогрессом, то есть ради своей, но отнюдь не нашей — любви. Конечно, мы понимаем, что ничем реальным Вы (даже при помощи ваших правительств) нам помочь не сможете, даже если очень захотите, и нисколько не претендуем на это. Речь идет о вещах сугубо эмоциональных — жертвовать нами не надо с такой готовностью. Или входить уж слишком заботливо в «сложное положение» наших палачей и душителей, даже если Вам кажется, что они на наших костях строят какой-то замечательный мир. Все-таки нельзя, чтобы кровь и страдания одних людей воспринимались другими только как незначительные пятна на солнце своей веры. Конечно, никто так прямо не говорит, но так себя ведут — в своем поведении исходя из этого отношения и стараясь любой ценой уйти от постановки во-

проса, как бы не заметить его. Это испытанный метод, он применяется такими людьми при рассмотрении всех вопросов: ближневосточного, индокитайского и любого другого. Именно поэтому психология этого метода нуждается в самом подробном рассмотрении. Даже если это несколько нарушит жанр «письма». Итак — о методе.

Трагикомедия веры, или повесть о неудачной свободной любви

Название это никого не должно удивлять, ибо в основе рассматриваемого метода (и вообще психологии, о которой идет речь) действительно лежит любовь. И любовь неудачная — основанная на обмане и самообмане. Именно такой любовью и любит много лет эта интеллигенция советскую систему подавления. Любит — за качества, которых в этой системе нет и никогда не было. Любит без взаимности, ибо представителям системы на такой идеологический пыл просто нечем ответить, он их раздражает только. Правда, они иногда подмигивают этой интеллигенции, но всегда с нехорошей целью — попользоваться ею, использовать ее пыл для других целей. Но любовь — слепа. Она эти подмигивания истолковывает совсем иначе, она вообще умеет объяснять поступки советского руководства мотивами, которые тому и в голову не могли прийти. Но это уже — если эти поступки нельзя не заметить. Обычно же она просто старается не знать правды и иногда десятилетиями в этом преуспевает.

Долгие годы очень помогал ей способ, основанный на мировоззрении, — самооцензура. Способ этот прост. Поскольку считалось, что «буржуазная» (то есть чуждая мировоззрению, иногда даже только партии) печать — правды говорить по своей природе не может, ее и не читали. Пользовались только правдивыми советскими источниками, что, во-первых, помогало сохранять верность, а во-вторых, душевный покой. Но метод подвел. Сегодня вряд

ли уже кто-нибудь сомневается в том, какая печать ближе к правде. Спасает диалектика, то есть вера в сложные извивы развития, когда Добро выглядит Злом и наоборот. Это помогает им в их службе Злу, которое все почему-то никак не обернется Добром.

Еще могла эта интеллигенция узнать правду у живых свидетелей, у людей, вынужденных жить среди нее в эмиграции. Но поскольку общество в их сознании делится не на людей, а на классы, то и это было невозможно: живые впечатления в расчет не принимались. Какой смысл интересоваться впечатлениями представителей эксплуататорских классов (или своими о них как о людях), если наперед известно, что все представления (а значит, и впечатления) этих людей классово ограничены. Совершенно ясно, что они просто не могут примириться со своими материальными и иными потерями от революции и вообще реакционеры. Их страдания, даже если бы они были признаны реальными, сочувствию не подлежали.

Между тем, даже среди самых тупых реакционеров, далеко не все руководствовались в своих свидетельствах только своими имущественными или другими личными потерями. Не говоря уже о том, что не все эти люди были лгунами. Когда человек рассказывает об ужасах, которые пришлось пережить ему или его близким (из которых далеко не все эти ужасы — пережили), он врет редко — не до того ему. При любых расхождениях во взглядах (а со многими из этих людей я и сейчас не согласен), к этим людям надо было прислушаться — хотя бы как к источнику информации. Но не прислушивались не только к ним. К самым подлинным «прогрессистам», которых тоже в эмиграции было немало, прислушивались не больше. Берегли вышеупомянутую любовь. Да, что ни говори, права русская пословица: любовь — зла. Особенно, если она опирается на диалектическое отношение к чужим страданиям.

Тем меньше могла сделать в этих условиях высокая умственная и духовная элита России, тоже в большом количестве — чаще против своей воли — оказавшаяся за гра-

ницей. Это была совсем особая элита, имевшая особо богатый духовный и интеллектуальный опыт. Вся она прошла через революционные, часто через марксистские симпатии и — под воздействием жизни — преодолела их. Она первая, еще с 1905 года, начала внимательно всматриваться в тот кризис культуры, который нес в себе двадцатый век (правда, тогда она думала, что это только русское явление), и смело встала на защиту ее духа как общезначимой и всем необходимой ценности. Трагедии семнадцатого и последующих годов еще больше обогатили ее умственный и духовный опыт, обострив ощущения человеческих и культурных ценностей. Она и выслана была потому, что тогдашние правители, левые интеллигенты, — а какой левый интеллигент не ощущает себя мыслителем? — не чувствовали за собой если не достаточной правоты (это им заменяло ощущение силы), то достаточной компетентности, чтобы победить этих «идеалистов» в открытом споре. Другое дело демагогически обыграть их на митинге — но эпоха митингов как раз кончалась. Спасибо, что их только выслали, а не расстреляли.

Но левая интеллигенция и не подумала воспользоваться этой возможностью узнать правду. Да и как она могла прислушаться к этим людям, если они пришли к Христу, а, с ее точки зрения, это было не только реакционно, но даже и некультурно! Эта интеллигенция сама не замечала, что ее абсолютное отрицание Бога — тоже вера, она только смутно чувствовала, что вера эта (основа ее жизни и мировоззрения) зыбка. Тем жестче и фанатичнее (так было и в России) она берегла ее цельность от воздействия внешних впечатлений и чуждых разъедающих мнений. Так всегда берегут слабую веру. И опять-таки к их услугам всегда была диалектика, с помощью которой можно было изменить смысл любого факта. А также — вечная возможность объявлять классово ограниченными и буржуазными, — следовательно, низменно-эгоистическими — любые мнения и доводы, идущие с ней вразрез, любое проявление реального смысла.

Конечно, это была вера, хотя большого уважения эта вера не вызывает. Вы разве не замечали, г-н Кеннан, что на свете нет ни одного атеиста? Как только человек отворачивается от Бога, он поворачивается к идолам, то есть из подручного материала начинает отливать очередного тельца, не обязательно золотого. В наше время такими тельцами бывают не только предметы (допустим, вещи, мебель, деньги), не только положение и мода, но и того хуже — слова. Эти слова быстро утрачивают или многократно изменяют свой первоначальный смысл, но все равно остаются предметом поклонения однажды поверившего в них человека. Таким словом может быть «секс», может быть «эмоциональность», но может быть НАЦИЯ или СОЦИАЛИЗМ. Может быть целая система таких терминов, положительных и отрицательных идолов, отграничивающих «единственно-возможный» смысл достойной жизни. Этот единственно возможный смысл может связаться в нашем сознании с деятельностью или просто с именем какого-либо человека (например, Ленина, Сталина или Гитлера), и они могут потом делать из нас все, что придет им в их разгоряченную голову: противоречиям в их словах и поступках мы всегда найдем талантливое объяснение. Сегодняшнее поведение французских коммунистов или израильской партии Мейера Вильнера показывает, к чему может привести это страшное идолопоклонство. Подлинная религия хороша уже тем, что может быть освобождением от него и от его завораживающей диалектики.

Именно идолопоклонство, страх нарушить волю идолов и помогли левой интеллигенции пройти мимо чрезвычайно богатой философской и мемуарной литературы русской эмиграции. А ведь из нее можно было много (и вовремя) узнать о красном терроре, о коллективизации, о самоуничтожении большевистской партии, о десятилетиях дезинформации и о многом, многом другом. Я мог бы рекомендовать Вам и сочинения Бердяева, и «Красный террор в России» С. Мельгунова, и «Техноло-

гию власти» А. Авторханова, и комплект «Современных записок» (журнала, выходившего в Париже между двумя войнами), и еще много-много книг. Это кроме современных: Солженицына, Н. Я. Мандельштам и так далее. Я считаю, что любой человек, до сих пор думающий о социализме, должен внимательно ознакомиться с его историей в России, а этого нельзя сделать без русских книг, вышедших на Западе. Это нужно просто для того, чтобы быть честным хотя бы перед собой. Правда, есть люди, на которых не действуют никакие книги и никакие факты, но, судя по Вашему письму, полностью это относиться к Вам не может. Я думаю, что прочтя эти мемуары и исследования, Вы почувствуете, объектом каких вивисекций в течение стольких лет были люди нашей страны. И возможно, задумаетесь над тем, насколько было нравственно закрывать на это глаза и испытывать по этому поводу энтузиазм.

Энтузиазм г-на Сартра, грандэр и общий уровень культуры

Да, мы давние жертвы этого энтузиазма. Впрочем, теперь нам стало несколько легче. Половина энтузиастов, разочаровавшись в СССР, переметнулась теперь увлекаться (а значит, и жертвовать) китайцами. Теперь уже их, а не наши страдания — ничто перед великими свершениями. Конечно, к правде никто от этого не приблизился: китайские коммунисты — еще более страшная антикультурная сила, чем московские аппаратчики. Но все же...

Правда, есть и такие энтузиасты, которые, переметнувшись к китайцам, не упускают жертвовать и нами. Впереди всех в этом ряду, как и во многих других, столь же малопочтенных, безусловно стоит Ж.-П. Сартр. Тот самый, к которому Вы обращаетесь, как к человеку какой-то воли. Он теперь широко известен как защитник свободы. Всякой. От всего. Вообще всего, что ему придет в голову назвать свободой. Правда, при этом он упускает то, что

называется свободой обыкновенно. Но он, как мы увидим, вообще не дорожит банальными ценностями. Так вот, этот Сартр выпускает теперь (или выпускал когда-то) журнал под красноречивым названием «Международный идиот» («L'idiot international»), целью которого, по-видимому, является защита теснимых буржуазным обществом идиотов. (И то правда — при социализме идиотам, в отличие от нормальных, не в пример лучше.) В одной из статей, помещенных в этом журнале, доказывается, что сумасшедшие — люди, угнетенные классовым обществом и врачами. (Видимо, врачи — агенты этого общества.) Впрочем, на это я не стал бы реагировать. Но дело в том, что столь трогательно пекущийся о больных, автор этой статьи к судьбе здоровых (которых все-таки больше и которых теперь в некоторых странах тоже сажают в сумасшедшие дома) — более чем равнодушен. Особенно показательна его отношение к советской оппозиции, то есть к тем, кто в любую минуту может оказаться в таком положении. Он ее порицает, и даже весьма строго. Оказывается, она слишком занята приобретением буржуазных свобод (как раз таких, злоупотребление которыми и позволяет Сартру издавать свой интересный журнал), — в то время как автор статьи (и, по-видимому, ее редактор), которым эти свободы добыл когда-то папин дедушка, давно стоят выше таких банальных требований. Даже советскую власть, которую они не очень жалуют за консерватизм, они все-таки считают более прогрессивной, чем нас, так как наша оппозиционность носит, по их мнению, чисто буржуазный характер. Этически эти рассуждения выглядят так же, как выглядели бы рассуждения пирующей компании о том, что голодные почему-то уж слишком много думают о хлебе. Я намеренно пока не акцентирую внимания на интеллектуальной несостоятельности этого манипулирования потерявшими всякое реальное значение терминами. Мне хочется выпятить другую сторону этого рассуждения — его бессовестность и бесстыдство. Впрочем, от такого буржуазного пережитка, как стыд, Сартр уже давно, по-види-

тому, освобожден. Все его внимание теперь сосредоточено на том, чтоб как можно дольше оставаться властителем дум. А для этого необходимо все время не зевать и поспевать за ходячими мнениями, каждый раз стараясь захватить их еще на той стадии, когда они воспринимаются как оригинальные. Тут уж не до совести. Вероятно, к Сартру не стоит относиться серьезно. Но все-таки как-то становится не по себе, когда человек, пользующийся полной свободой, так пишет о людях, которым зажали рот, которым ежедневно за то, что они просто дерзают думать и высказывать свои взгляды, угрожают, как минимум, если не психушки, то советские лагеря строгого режима* — в другие инакомыслящих не сажают.

Последствия таких высказываний далеко не безобидны и носят отнюдь не академический характер. Они раскололи общественное мнение стран, где такое мнение существует и имеет значение, причем сделали спорным вопрос, ранее совершенно для всех (конечно, кроме коммунистов) бесспорный: следует ли сочувствовать жерт-

* Кстати говоря, «строгий режим» — не пустой термин. Нормальных преступников подвергают этому режиму в порядке дополнительного наказания, инакомыслящих — с самого начала, что зафиксировано законодательно. Впрочем, мы теперь вообще живем в эпоху законности, сам «строгий режим» тоже сформулирован вполне легально в «Исправительно-трудовом кодексе СССР» — так что любой желающий мог бы узнать, что это такое. Знакомые с произведениями Солженицына, Шаламова и особенно Марченко могли бы заметить, что те порядки, которые без всякого кодекса существовали в сталинских и послесталинских лагерях, теперь почти полностью легализованы этим кодексом, а некоторые даже изменены в сторону большей жестокости. Например, скупо ограничено количество писем и продуктовых посылок, которые может получать заключенный. Это узаконенное мучительство, причем не только самого заключенного, но и его родных. Современные вожди не обладают жестокостью Сталина, но зато не считают и нужным стесняться, скрывать свою мелкую мстительность. А может быть, они знают, что скрывать не от кого — современные борцы за лучшее будущее на Западе не очень интересуются узнать, что их ждет впереди. Во всяком случае, о протестах в свободном мире по поводу принятия этого варварского кодекса мне ничего не известно.

вам диктатуры. И конечно, от этого наше положение, положение мыслящих людей в тоталитарных странах, тут же ухудшилось. Воистину, ни одна тайная полиция за всю историю человечества не пользовалась поддержкой такого количества рафинированных мыслителей, как советская тайная полиция...

Впрочем, мыслители эти особого рода. Особенно Сартр. Уж, кажется, радикал из радикалов. В июньские дни 1968 года прямо-таки рвался в тюрьму (разумеется, в империалистическую, а не в пролетарскую, туда — смело говорю! — он бы ни при каких обстоятельствах не рвался). И вдруг он же упрекает Набокова и других русских эмигрантских писателей в полной «выкорчеванности», в том, что они «не заботятся ни о какой общественности хотя бы для того, чтобы восстать против нее, потому что сами не принадлежат ни к какой общественности». И даже добавляет: «Их писания поэтому низведены до пустых сюжетов».

Нет, я не собираюсь защищать ни Набокова, ни других эмигрантских писателей от Сартра. О писателях вообще нельзя судить скопом, да и уж слишком неточный человек Сартр, чтобы его эстетические оценки могли иметь какое-либо значение (разве что чисто рекламное). Поражает меня другое. Оказывается, Сартр — кроме того, что он такой страшный радикал, — хочет быть еще и тем, что в России называется «почвенник»*. Вот так. Как говорится, наш пострел везде поспел! В наш век трудно кого-нибудь чем-нибудь удивить, но Сартр — человек, никогда не имевший и не хотевший иметь под собой никакой почвы, кроме зыбких волн общественного возбуждения, — упрекающий кого-то другого в беспочвенности, все-таки бьет все рекорды. Видно, низко пала духовная и культурная жизнь Франции, если в стране с такими традициями такой человек может считаться мыслителем. Неужели сама

*Почвенничество — мироощущение, прямо противоположное радикализму. Кстати, я и сам к нему близок, но я ведь не радикал.

культура этой страны теперь уже только история? К сожалению, интеллектуальное содержание политики «грандэра» (величия), начатой де Голлем и продолжаемой его наследниками, подтверждает самые худшие предположения. В этой политике ощущается воистину сартровская безответственность. Заключается эта политика в открытом перманентном предательстве всех, кого только можно предать, во имя величия (так теперь мыслится величие) и интересов (чаще всего мнимых) самой Франции. Видимо, это предательство, в представлении творцов этой политики, должно подчеркивать значение и роль теперешней Франции в современном мире. И действительно — все народы уже чувствуют и в дальнейшем, если так будет продолжаться, еще острее почувствуют значение Франции. Значение союзника, который в любой момент может оставить свой участок фронта, действительно всегда ощущается остро. И добилась Франция уже немало. Ведь эскалация предательств, охватившая сегодня свободный мир, началась именно с нее. Это именно она остроумно решила поджечь дом, в котором сама живет, в надежде, что в суматохе стащит у соседа фамильные бриллианты. Или просто переиграет его на стороне, пока он будет тушить пожар. Инфантильная политика, нерасчетливость которой, возможно, превосходит ее откровенное неблагодарство. Когда Сартр желал сесть в тюрьму, де Голль вполне разумно воспрепятствовал этому, сказав: «Оставьте в покое этого паяца!». Безусловно, Сартр — паяц, но имел ли право де Голль на то чувство превосходства, которое слышится в этих словах? Если «грандэр» — политика, то и Сартр — мыслитель и филантроп. Уровень глубины и ответственности здесь один и тот же.

По странному стечению обстоятельств почти все французы, которых мне пришлось видеть, были разумными и культурными людьми, уровень которых намного превосходил и эту политику, и эту оппозицию. Но почему этот уровень никак сегодня не проявляется в национальной жизни Франции? Что за мистика? Все это может Вас

утешить в том смысле, что самоубийством занимаются не одни левые. Это верно, но верно и то, что все это происходит в обстановке, создаваемой левыми, иногда не без их влияния, прямого или косвенного. И потом, это не может отменить того факта, что левые этим самоубийством занимаются не время от времени, как все остальные, а всегда. Поразительно, как их ничто ничему не учит. Они каждый раз опять надеются, что уж теперь все обойдется, что террора, который в конце концов оборачивается против них, они не начнут. И каждый раз — опять-таки, любовь зла — совершают такие действия, которые вынуждают потом прибегнуть к террору как к единственному средству, позволяющему «не погубить революцию». Они мастера себя уговаривать, что уж с ними ничего плохого произойти не может. Они как-то забывают о том, что если бы даже им удалось провести революцию по-иному (а я в это не верю), то, как поется в песне, у СССР «броня крепка, а танки быстры». Никакого другого социализма советские руководители не допустят: не стоит забывать Чехословакию. И большинство товарищей этих крамольных социалистов — даже те из них, кто будет выступать против этой акции, — в конце концов все равно сочтут этот вопрос частным и не станут портить из-за него своих отношений со страной, где нет эксплуатации. А то просто приспособятся к «правильной» точке зрения. Как в случае с Израилем.

«Товарищи!» Как я рад, что у меня больше нет таких товарищей и что мне просто некому писать письма, подобные Вашему...

Бесполезный пароль

Ваши товарищи — лгут. И Вам обидно. Но не от отращения к лжи, а только от того, что методы, которые и Вы считали допустимыми, но исключительно по отношению к тем, кто как бы вынесен за черту (допустим, Класса или Прогресса), теперь в полном объеме применены к Вам самому. Вы сами вынесены за черту, из судь-

екта превратились в объект. Положение Ваше напоминает положение старого большевика (или — того хуже — чекиста) в сталинской тюрьме или на скамье подсудимых любого из больших процессов. Или Троцкого в изгнании. И обижают, и клеветуют, и не к кому (да и не к чему) апеллировать: все законы, божеские и человеческие, самим давно попорчены. По Вашему письму видно, что абстракционизм идей и горение душ на прогрессивных банкетах Вам и теперь дороже, чем конкретная истина. И что Вам очень дорога ложь, причастие к которой обеспечивало Вас таким интересным товариществом. За примерами идти недалеко. Они начинаются с первой фразы. «Я за Кубу! Я люблю Кубу!» — восклицаете Вы страстно. Если не знать в чем дело, можно даже удивиться. Любишь, так люби, а зачем об этом так кричать? Мало ли кто что любит. Есть и такие, кому Антарктида даже нравится... Но мы не удивляемся. Ибо прекрасно знаем, что ни любовь, ни сама Куба к Вашему утверждению никакого отношения не имеют. Ибо это не утверждение и даже не восклицание, а только привычный пароль, которым Вы страстно хотите сообщить часовому, что Вы свой. Когда-то, произнеся этот пароль, Вы тут же оказывались принятым и своим в прогрессивном лагере, и теперь Вы повторяете его как заклинание и как доказательство того, что Вы не изменились. Но заклинание не действует. То ли пароль теперь другой (например: «Да здравствует прогрессивный арабский национализм! Смерть израильским захватчикам!»), то ли часовой просто получил приказ при Вашем появлении ни на какие пароли не откликаться, но факт верности никого здесь не волнует, и Вас не пропускают. Собственно, Вы и сами знаете, что не пропустят — дисциплинированность совести тех, к кому Вы взываете, Вам хорошо известна — но все-таки кричите. Этим криком Вы хотите напомнить и себе самому, что Вы — это Вы. Ибо другого представления о себе у Вас пока (я надеюсь, только пока!) — нет. И Куба тут ни при чем. Вообще, чтобы быть точным, Вы

должны были в этом своем восклицании заменить слово «Куба» словом «Кастро»: «Я за Кастро! Я люблю Кастро!». Ибо до Кубы Вам дела, по-видимому, нет. Вас интересует революция, а не Куба.

А между тем, Куба существует и сама по себе. Это не пароль, не символ и не синоним слова «Кастро». Это имя страны, в которой живут живые люди. Правда, теперь они все стали объектом неграмотного эксперимента левой интеллигенции, руководимой Кастро. Впрочем, строго говоря, и Вам его уже давно любить абсолютно не за что. Ведь таких, как Вы, — свою левую интеллигенцию, представителем которой он был, он уже тоже давно подавил, превратившись, как это водится у Ваших вождей, из неграмотного экспериментатора в бессмысленного диктатора. Но левой интеллигенции приятней этого не видеть, как не видела она ничего и до этого.

Правда, заезжал когда-то левый немецкий поэт Ганс Магнус Энциссбергер на Кубу и уехал в ужасе, которого не скрыл от некоторых моих друзей в Москве. Но это, видимо, было от нервозности. По всему видно, что он уже относится к тому, что он там видел, диалектически: дует в ту же дуду. Издалека вообще смотреть диалектически легче, чем вблизи — смотришь не глазами.

Но иногда что-то видеть все же приходится. Например, посадил барбудо Фидель не так давно кубинского поэта Эрнесто Падилья в тюрьму. А выпустил только после того, как тот публично покаялся и себя оплевал. На этот раз и левые интеллигенты не выдержали — в такие спектакли сегодня не верят даже они. И вот собрались они вместе и написали своему кумиру и единомышленнику наполовину дружеский протест, наполовину верноподданное прошение: «Неужели на Кубе так плохи дела, что там надо запрещать говорить правду?». В самом тоне этого вопроса заключен само собой разумеющийся отрицательный ответ. (Так же, как, к слову сказать, и согласие с тем, что если дела плохи, запрещать говорить правду можно и нужно.)

Но, видимо, информации о делах на Кубе у Фиделя Кастро несколько больше, чем у его восторженных поклонников. Верноподданные всхлипы его нисколько не умилили, и он тут же, не вдаваясь в дискуссии и не затрудняя себя изобретательностью, взял да и решил проблему, с ходу обозвав своих непрошенных доброжелателей наймитами империализма (до этого он вложил эти слова в уста Падильи). После этого всякая потребность выяснять положение на Кубе отпала сама собой. Сейчас, вероятно, его обескураженные поклонники ищут корень своей ошибки и некоторый высший — поскольку элементарного не доискаться, — мистически-диалектический смысл его филиппики. А дела на Кубе, как и в любой стране, где у власти партия нового типа, прямо сказать — плохи. Люди голодают и, судя по всему, будут голодать и дальше, не хватает самого необходимого. К тому же, большую часть своего скудного рациона кубинцы получают за счет советского народа, который тоже от этого не в восторге... Так что, я даже несколько извиняю неэтичное обращение Кастро со своими поклонниками. Какое уж тут «неужели»? Плохи дела. Потому и террор, что плохи дела. Потому и всегда после исторически-необходимой победы бывает террор, что материальные (о других я уже не говорю) дела после этой победы неизменно бывают плохи, а признаться в этом неудобно: ведь все, что делалось, делалось исключительно для вящего развития производительных сил.

Только террор может смягчить впечатление от этой ужасающей действительности: ибо, когда человек воочию убеждается, что в любой момент может лишиться жизни, голод и лишения перестают ему казаться самой страшной вещью на свете. Впрочем, Вас это все равно не убедит. Вы твердо убеждены, что все это только издержки прогресса, что Кастро малость потренируется в управлении (на людях) и все пойдет замечательно. Тем более, что и теперь уже какие успехи! Неквалифицированный, а то и просто малограмотный человек может вырасти в крупную персо-

ну. Конечно, подчиняться такой персоне будет мало радости, но что значат эти мелкие соображения перед таким разгулом демократии? Стыдиться надо таких чувств! И — стыдятся.

Вот Вам, например, согласно этому кодексу, следует стыдиться того, что Вы сопротивляетесь уничтожению Израиля и не верите лжи про него. И хоть Вы не уступаете своим бывшим друзьям и хоть знаете, что это они, а не Вы изменили идеологии, Вы все равно стыдитесь и оправдываетесь, Вы все равно, не сознаваясь себе, чувствуете свою вину перед бессмысленным молохом прогрессизма. А ведь это действительно странно. Это они — вопреки всем своим канонам, — объявили утробных националистов борцами за мировую революцию, расовую войну (против женщин, детей и безоружных, против населения, — чтобы его не было) — классовой, а людей, которые нападают на безоружных, боятся вооруженных — героями и храбрецами. Причем, как уже говорилось, такое переосмысление (раньше эти Ваши друзья были на стороне Израиля) произошло только после соответствующей переориентировки советской внешней политики. Федаины и не подозревали, что им так подфартит, что все их звериные вожелания свяжутся таким образом со «светлой мечтой человечества»... А оправдываются не Ваши друзья, а Вы. А что еще, кроме оправданий, означает Ваш пароль (или истошный крик): «Я за Кубу! Я люблю Кубу!»?

Сага о Че Геваре

Но поскольку мы коснулись сказки о Кубе, я полагаю, что нам нельзя никак обойти и связанной с ней «Саги о Че Геваре». Правда, тут мы уже вступаем в опасную зону, в область дорогих мифов. Говорят, что если я посмею коснуться своим неромантическим пером этой героической «Саги», все по-настоящему революционные люди Земли меня тут же начнут презирать. И не только они, а даже все, им сочувствующие. И не только сочувствующие,

но даже и несочувствующие, но испытывающие по отношению к сочувствующим комплекс неполноценности (то есть воспринимающие это свое несочувствие как низменность природы и неспособность к настоящему полету духа). А некоторые — так даже и убить меня захотят. Но тут уж, как говорится: волков бояться — в лес не ходить. Не отказаться же из-за этого от выражения мыслей и отношения к вещам. Тем более, что я больше любого социалиста верю в окончательную победу социализма (обязательно переходящего в национал-социализм) и потому жизнью дорожу не очень. Так что эту Сагу я все-таки изложу. Правда, она у меня получилась слишком юмористической для такого образа. Но что поделаешь!.. Есть на свете вещи, серьезные только по своим последствиям, к тому же меня, как писателя, больше интересует эмпирика красок, и юмор иногда может получаться независимо от автора: от непредвиденного сочетания игры красок с игрой рока. Во всяком случае, вот эта Сага, как она представляется мне сегодня.

Прежде всего — предыстория. Сначала, как известно, на Кубе шла война против диктатора Батисты. В этот период Че Гевара жил полной жизнью: горел душой, ощущая дружбу и приподнятость духа. (Такие люди вообще боятся смерти меньше, чем жизни.) Но сколько веревочке ни виться, а конец будет. Барбудос победили. Сгоряча, наверно. Подчиняясь логике событий. И даже не заметили, что воевали за свободу, а победила диктатура. (Над незаметностью этого перехода, надо думать, и Гевара немало поработал.) Но вот — победа. Казалось бы — все. Ан нет! Неожиданно встали непредвиденные трудности. Нужна еда, нужна мануфактура — прикрывать наготу и писать лозунги — нужно многое, ежедневно необходимое, а его — нет. Конечно, можно было б сказать людям: «Валяйте, ребята, кормитесь, кто как может, а мы потом регулировать будем, — то, что у вас получится». Но тогда бы стихия началась, в буржуазность бы всех потянуло. Нехорошо. А потом — если бы люди самостоятельно стараться стали,

что бы тогда делал левый интеллигент, настоящий революционер? Скучал? А за что кровь проливали? Разве не за творческую радость от руководства жизненным процессом?

Ну вот и стали руководить — творить действительность. Поначалу еще ничего было — это куда склады от старого режима оставались. А потом — совсем плохо стало. Проза жизни, столь ненавистная левому интеллигенту, не только не сократилась, а даже начала быстро увеличиваться. Несознательность начала заедать. Не желают люди с объективными трудностями считаться, и что хочешь, с ними делай. Обступают, волнуются. И этому дай, и тому дай, этому одно, тому другое... Все кричат... Все требуют... А где взять? В общем — плохо.

И досадно, конечно. Самое главное — власть! — ведь уже взяли!.. Сущие мелочи осталось доделать. Ну, чепуху! Ерунду!.. А такая морока! А еще — раз такое дело — приспособленцы появились. Это те, кто хоть что-то умеет, но себя не умеет забывать. А таких вообще голыми руками не возьмешь — всё разлагают, и ни к чему не придерешься. Приспособились, сволочи! Хоть плачь!..

Че Гевара как легендарный герой терпел-терпел, думал-думал и, наконец, принял свое историческое решение, за которое до сих пор его не устают прославлять все потенциальные герои Земли. Он собрал всех своих друзей и соратников и сказал им:

— Ладно, ребята!.. Тут еще кое-что осталось доделать, — доделаете без меня. А я поехал. В другую страну — революцию там поднимать, на наш светлый путь ее поворачивать. А то нецелесообразно получается — специальность пропадает.

Как известно, большевики — большие поклонники целесообразности, потом, желающих властвовать и среди них больше, чем желающих бунтовать, — отпустили.

— Ладно, — сказали, — езжай, дорогой товарищ! А мы тебя заменим на твоём боевом посту!.. (Имелся в виду служебный кабинет министра. Впрочем, злые языки ут-

верждают, что с этого кабинета все и началось — попросту выперли голубчика, но это не меняет сути дела и не должно нарушать строй данного повествования.)

Вот тут, строго говоря, и начинается собственно «Сага». Очередной Дон-Кихот отправляется на поиски очередных Санчо Панса. Отправился... Но оказалось, что Санчо Панса ныне не тот пошел. То ли наслышан он хорошо о кубинском опыте, то ли слухи о российской коллективизации в виде страшной сказки до него дошли, то ли просто он мужицким умом сам допер, что дело тут нечисто, но только высадка на боливийской земле Че Гевары со товарищи запланированного пожара революции не вызвала.

В ответ на зажигательные речи молодых энтузиастов Санчо Пансы только помалкивали, покачивали таинственно головами, иногда даже произносили на местном диалекте свое интернациональное — одинаково непонятное на всех языках — «оно конечно», но от участия в партизанской борьбе эластично уклонялись. Видно, думали: «Много их что-то нынче стало, Дон-Кихотов. Говорят непонятно и ходят сворами, как разбойники, — лучше мужику подальше от них держаться». Впрочем, точно сказать, что именно думали Санчо Пансы, я не могу, не знаю — не я же собирался вести их на борьбу — но факт остается фактом: гениальные и — что самое главное — утвержденные Кастро планы разжигания гражданской войны проваливались. И проваливались настолько явно, что даже такой высокоидейный человек, как Че Гевара, не мог этого не заметить. Санчо Панса на этот раз определенно не рвался в оруженосцы.

Но настоящий революционер никогда не теряет присутствия духа и веры в победу. Препятствия только мобилизуют его, а не обескураживают. И вот какую фразу об отношении к крестьянам, за счастье которых он, как известно, был готов в любой момент отдать жизнь, записал в эти дни Че Гевара в свой знаменитый Дневник: «Разумным террором (в сочетании еще с чем-то, но это в дан-

ном случае неважно: сама по себе тактика революционной борьбы не должна нас сейчас интересовать) можно было бы придать движению настоящий размах». Так и записал — «разумным террором». За точность всей цитаты не ручаюсь, но за эти слова, общий смысл и эмоциональную окраску — головой. Какой левый интеллигент не вздохнет, выслушав эту печальную повесть. Дескать, до чего трагическая личность, до чего тяжело было человеку из-за несознательности и неодолимости масс. Дескать, на что мы только не идем, чтобы загнать их в рай и избавить от эксплуатации... Вздыхаю и я. Только о другом — представляю, как это выглядит на деле...

Живет, допустим, в каком-нибудь глухом боливийском селе некий мужичок. Бедный, но еще не осознавший классовых интересов. (Да и то сказать — не у всех же есть возможность книжки про эти интересы тайком на университетских лекциях читать.) Ну, жена у него, конечно, детей пятеро, мал мала меньше. Перебивается он со всей семьей с ихнего боливийского хлеба на ихний боливийский квас, а в общем — плохо. Жена опять на сносях, дети голодны, и корова в стойле мычит (или там буйволица какая) — жрать просит. А молока с нее и не спрашивай... Тоска!

«Эх! — думает мужичок, — была не была! Нечего делать!.. Пойду-ка я сена накошу украдкой!» (или там тростника — кто их, боливийцев, знает, чем они скотину кормят). Тем более, ему известно стало, что латифундист как раз вчера отбыл куда-то надолго — то ли развлекаться, то ли тоже бунтовать (и такое бывает), а объездчик второй день с приятелями выпивает. Чем черт не шутит!

Сказано — сделано. Пошел. Косит. Доволен, что все с рук сходит. «Деток, — думает, — обрадую, жена будет счастлива, совсем умаялась, бедная». Кончил. Только собрался домой — глядь, из темного леса навстречу ему борцы за его счастье выходят. Злые-презлые: от всеобщей темноты и несознательности. И у каждого за спиной — автомат. Увидали мужичка, и к нему. «Ты из этой деревни?» — спрашивают. «Из этой», — отвечает. Почему не ответить?

«Тебя-то нам и надо!» — говорят. Мужик молчит. Удивляется, наверно. «И зачем это, — думает, — я им понадобился?» А они ни с того ни с сего на крик переходят, на горло брать начинают: «Так чего ж это ты, такой-сякой, за свою свободу не борешься? На других надеешься?». Мужик никак в толк не возьмет, чего от него хотят (сроду ни на кого не надеялся), но видит: дело плохо. На всякий случай канючить начинает: «Да мы, да вы, да дети малые, да жена на сносях. Поле опять-таки не убрано...». Ну и о прочих своих, несущественных для настоящего революционера, мелочах. Но революционеров не так-то просто разжалобить, они диалектикой закалены, в корень смотреть отродясь привыкли, существенное от несущественного вмиг отличат. Своей жизни не жалеют для дела: а уж чужой — да еще и не захваченной революционной страстью — и говорить нечего. «Ты это брось! — отвечают. — Нашел оправдание! У всех жена, у всех дети. Да и вообще, если хочешь знать, все это пережиток. У нас теперь свободная любовь и сексуальная революция. Понял?!» — «Как не понять? — тянет время мужик. — Оно конечно. Но ведь пить-есть тоже надо». — «В хрустальном дворце поешь! При всеобщем счастье! — говорит самый идейный. — Там все будет. Только разве с такой контрой, как ты,строишь этот дворец? У... Гнида... Только развитие тормозит! Отвечай прямо — идешь с нами или нет?» — «Да я что, — оправдывается мужик, — я хоть сейчас, с нашим полным удовольствием. Да ведь дети, господа хорошие...» — «Ах, ты опять!.. Ну так получай за саботаж!» — и с этими словами самый идейный снимает со спины автомат и короткой очередью кончает несколько удивленного таким оборотом дела представителя несознательного трудового крестьянства. А потом населению всех окрестных деревень через верных людей торжественно объявляется: «Такой-то, имярек, расстрелян нами за отказ от выполнения своего революционного долга. Так будет с каждым, кто последует его примеру». Ну и, конечно, старинное: «Тот, кто не с нами, тот против нас».

Тут, конечно, все деревни со страху вливаются в партизанские отряды, создается повстанческая армия, начинается любезная сердцу Че Гевары гражданская война, а потом — победа, а потом... опять проза жизни и следующая страна для души. Как известно, стран на планете пока еще много. Правда, дети у мужика сиротами остались, жена стала вдовой и вообще вся семья с тех пор побирается. Но это уже мелочи для человека, живущего исключительно мировым развитием.

Так, наверно, представлялся разумный террор Че Геваре. И так бы оно случилось. (И вьетнамские, и многие другие крестьяне многое могли бы об этом рассказать, если бы не боялись мести и если бы, само собой, прогрессистам их слушать было интересно.) Но на этот раз так не случилось. Помешала темнота, а также грубый материализм без всяких примесей диалектики. И случилось это так. Один из оруженосцев, который за недостатком времени отдаленным будущим интересовался мало, прочитал где-то по складам правительственное объявление о немедленной денежной награде тому, кто укажет местопребывание великого революционера. А оно случайно было ему известно. Уяснив смысл этого объявления, мужик чрезвычайно обрадовался возможности наконец немного поправить свои дела таким несложным и, как ему тогда* казалось, легальным способом. Он тут же отправился в город и донес на своих возможных освободителей.

Признаться, я и теперь не знаю, как к нему относиться? С одной стороны — доносчиков не терплю, с другой — скольких людей этот человек, сам того не зная, от вышеописанного разумного террора уберег. Одно только могу сказать прямо — дурак! Синицу в руки поскорей схватил, а журавля в небе упустил. Ему бы только дожидаться, пока Че Гевара победит, он бы с такими данными далеко пошел! Особенно на последующих этапах. (Конеч-

* Потом какой-то переворот в Боливии все же произошел. Так что — кто его знает — а может, и перестало ему так казаться?

но, если бы он дожил до них.) Но с другой стороны, откуда ему было знать про этапы? Или про журавля? Темнота! Вот и вся «Сага». За подробности не ручаюсь, но смысл передан точно.

Плоды неудачной любви, или о последующих этапах

Так мы заодно и большого для многих революционеров вопроса коснулись — о последующих этапах. Как-то не любит на них акцентировать внимание левая интеллигенция. Неохота ей помнить, что за любезными ее сердцу двадцатыми годами наступают неожиданно и неотвратимо тридцатые... Конечно, левая интеллигенция восхищена и ими (да еще как!), но... что-то все-таки не так. Все-таки примирение с действительностью (точней, восхищение ею) дается этой интеллигенции на последующих этапах дороже, чем на предыдущих. Как-то революционная романтика становится не та. Вовсе даже становится на себя непохожа, не говоря уже о том, что она отстраняется от своих самых горячих выразителей...

Нет, конечно, эта интеллигенция и теперь не сомневается, что «все продолжается», они понимают, конечно, что просто «новые условия требуют новых форм», но... радости той все равно уже нет. Как-то неприятно замечать, что если раньше в неизбежные жертвы прогресса попадал все больше чуждый элемент: какие-то дворяне, какие-то мещане, а также крестьяне-собственники и рабочие из отсталых, то есть все больше люд не романтический, — то теперь уже и с самой левой интеллигенцией ошибаться начинают: с ее пристрастиями и ее представителями. Как-то уж очень настойчиво ошибаться, я бы сказал — целеустремленно. Протестов, конечно, нет. Какие могут быть протесты — с абстрактным гуманизмом давно покончено, и все лишние жертвы наперед списаны уже давно. Нельзя же из-за такой чепухи, как жизнь и честь твоих близких и

друзей, против исторической необходимости переть. Начинаются даже, как бы это точнее выразиться, успокаивающие укоры извращенной совести: дескать, что же это получается? — пока жертвовали посторонними тебе людьми (и тогда не обходилось без «ошибок», и ты знал про это), ты это переносил, а как тебя и твоих друзей коснулось — ты и взвился! (И то сказать: когда беспартийных мужичков без порток оставляли или всяких «бывших» расстреливали — таких сложных переживаний не было.) Это только доказывает, что ты еще не преодолел своей родовой мелкобуржуазности...

А уж этого обвинения никакой левый интеллигент не вынесет (несмотря на то, что вся «левая» идеология выдумана мелкобуржуазными интеллигентами — да и не нужна она больше никому). Нечто совсем не романтическое, мелкое, стыдное, эгоистическое, низменное чудится ему за этим обвинением. Он родную маму продаст, чтобы только доказать, что это не так. Один московский литератор говорил мне о начале тридцатых в России: «Ведь это же надо было убедить людей, что торговать стыдно, а расстреливать — не стыдно!». Такие люди и убедили. (Теперь оказалось, что люди эти — явление глобальное.) Только если внутри страны это насилие над собой не только поддерживается, но отчасти даже и объясняется тотальным насилием государства (пусть даже — правда, для других случаев — одобренным самой этой интеллигенцией), то у левых интеллигентов за границей нет и этого оправдания. Но в массе своей она нисколько не вступает за друзей и единоверцев, а наоборот, мучительно доказывает себе и другим реальность (или необходимость) бессмысленных обвинений, возводимых на них. Творение (а на самом деле — собственный покой, основанный на тщательно сберегаемом «ясном историческом взгляде») им дороже жизни и чести его творцов. Правда, и творение теперь выглядит так, что его и не узнать. Но при некоторой внутренней работе и с помощью диалектики можно все же увидеть (пусть в наметке, пусть в чертеже) знакомые дорогие чер-

ты. Это, собственно, и называется «ангажированность», то есть завербованность, которой, как я слышал, многие даже гордятся. Никак нельзя это путать с убежденностью, ибо настоящая убежденность никакой завербованности не требует. Завербованность — это отказ от истины, справедливости, доверия к своим впечатлениям и мыслям ради того, что однажды решено и выбрано. Звучит это романтически, это как будто некое растворение в чем-то высоком, а на самом деле — культ безответственности. Эта завербованность и приводит к преступлениям против Духа и Совесть. А все начинается с вдохновенной мелочи — к каким-то людям начинаешь относиться не как к себе подобным, а как к какому-то историческому материалу. Конечно, во имя святого дела, в отдельных случаях, на узком участке. Но если вы вступили в сговор с дьяволом, масштабы Вашего сотрудничества с ним от Вас не зависят. Коготок увяз — всей птичке пропасть. Любая завербованность — это, прежде всего, завербованность против самих себя, против лучшего, что в нас есть. Страшен человек, совестью которого управляют извне. Не сотвори себе кумира.

В этом неиндивидуальном подходе к людям и явлениям очень мало остается от западной гуманитарной культуры. Фактически, и коммунисты, и «новые левые» — проводники восточно-феодального мироощущения в безрелигиозное западное сознание. Характерный для Востока отказ от личности, строгая регламентация ее поведения воспринимаются как некая цельность и общность, как спасение от одиночества и новое отношение к жизни. Даже обезличивающее сексопоклонство — явление восточное. Правда, на Востоке такое отношение, признаваемое нормальным и естественным, тем не менее, введено в рамки, здесь — прорвалось на свободу. Современная эмансипированная девушка (если она не просто следует моде) ведет себя так, словно она только что сбежала из гарема, а юноша — как человек, который тайно проник в этот гарем и не обнаружил там стражи. Эти рассуждения только внешне не относятся к делу. Речь здесь идет о том же — о

человеческих ценностях, которые все взаимосвязаны. И о словах, смысл которых нельзя подменять, — иначе люди перестанут понимать не только друг друга, но и самих себя.

Относительность благополучия и возможности террора

Недавно у коммунистов и у всех прочих передовых людей Запада была новая любовь — Чили. Считалось, что там теперь у власти «наш» парень — убежденный социалист, знаток искусств и собиратель статуэток товарищ Альенде. Причем, он пришел к власти вполне законно — сами чилийцы его выбрали. Так что теперь все будет замечательно: социализм, наконец, обручился со свободой и законностью. Теперь, когда эта эпопея закончена, видно, что больше всех в это верил сам Альенде. Как его уважение к демократии сочеталось в нем с его революционным социализмом, я понять не могу и на этом не останавливаюсь. Привело это его упорство, однако, к тому, что, когда он все-таки понял, что без нарушения демократии всеобщего счастья не построишь, было уже поздно. Его свергли, и он погиб. Но перед смертью он уже собирался несколько нарушить некоторые конституционные права — его к этому вынудила обстановка: иными путями защитить социалистические завоевания оказалось невозможно. И другие революционные социалисты оказывались диктаторами большей частью именно поэтому: жизнь им не подчинялась, и приходилось стрелять. Это всегда воспринималось как частный случай и нетипичное отклонение, но вся беда в том, что того, что считается типичным, еще никто никогда не видел. Но, как известно, Альенде по-настоящему нарушить конституции не пришлось. Первым — и это до сих пор возмущает многих — ее нарушил противник. Он не стал дожидаться уже обещанных действий Альенде и «перешел в наступление»

сам, что бывает достаточно редко. Настолько редко, что, предсказывая в первом варианте этой работы (в 1970 году), как будут развиваться события в Чили, такого — сравнительно благополучного — их конца я не предвидел. Понимаю, что с таким определением этого конца согласятся немногие, а многих (на Западе, конечно) оно даже возмутит. Отчасти они будут правы, ибо слово «благополучный» ни к событиям в Чили, ни к сегодняшнему миру вообще полностью отнести нельзя. Кроме того, у этого конца есть одна явно отрицательная сторона — он позволяет желающим продолжать думать или хотя бы говорить, что, если бы не «злобные силы реакции», все получилось бы хорошо. Между тем, эти «злобные силы» выступили только когда (и вследствие того, что) все — уже! — получилось из рук вон плохо. Хозяйство разваливалось, а в стране все больше брали верх международные банды романтиков, смело экспериментировавшие на чужой собственности и жизни и рвавшиеся к власти. Альенде или не хотел, или не был в силах их обуздать. Стране грозила левая (то есть перманентная и абсолютная, в отличие от консервативной) диктатура. И то, что в стране будет именно так и что ей будет грозить такая диктатура, я предсказывал в 1970 году, еще до окончательной победы Альенде. Мудрости в этом никакой не было — насильственная национализация промышленности к этому приводит неизбежно.

Вот почему я считаю то, что случилось, концом благополучным. Как он ни плох, он уберег народ и от романтической диктатуры, и от перманентного разумного террора. А я думал, что от этого уже не спастись. Ведь создавшийся хаос коммунистам ничего не стоило объяснить «половинчатостью» Альенде («половинчатость» — любимое словцо коммунистов до штурма власти). И совсем не исключено, что поглупевшая от заблуждений и разочарований уличная толпа — материальная сила революции — поверила бы им и бросилась за ними, раскрыв рот. И спихнули б они тогда этого Альенде со всеми его статуэт-

ками к чертовой матери, как последнюю преграду на пути к новой жизни и — уж во всяком случае — к исчезнувшему хлебу. И установили бы они тогда под шумок свою «народную» власть.

А уж после этого — спрашивать было бы не с кого. Ни за голод, ни за сытость, ни за цельность, ни за половинчатость, ни за хаос, ни за целесообразность. Все это мгновенно приобрело бы третьестепенное значение: во всяком случае, самое для себя ценное — власть — коммунисты из-за такой чепухи под угрозу не поставили бы. Уж слишком она была бы им дорога. Одним — как инструмент для добывания всеобщего счастья (а это очень увлекательное занятие — добывать счастье всему человечеству), другим же — сама по себе, ибо к этому времени она (то есть власть) вознесла бы их высоко. Но и те, и другие скорее полнорода перестреляли бы, чем ушли. К тому же мера эта действенна. Не утверждаю, что расстрелами можно разрешить какую-либо проблему, но устранить ее — можно вполне. Поскольку люди, настаивающие на решении этих проблем, — вполне устранимы. Это не одно и то же, но разница, к сожалению, интересуется не всех.

И совсем не важно, что в данном случае действовала бы не просоветская, а прокитайская компартия. Это мог бы быть и сам Альенде, начавший, как он собирался, применять коммунистические методы — результат тот же. Террор есть террор. Между прочим, представлять себе эпоху террора — как нечто грустное и печальное — значит упрощать. При терроре всегда гораздо больше довольных, чем недовольных. Ибо ценность жизни — от сознания, что ты ее в любой момент можешь лишиться — только возрастает. Как и благодарность судьбе за то, что ты все-таки жив. А поскольку человеку нужна устойчивость, то он превращает факт своего существования на земле в метафизическую ценность — в наглядное доказательство, что «все преувеличение» и что «зря не сажают». Так что радостные лица, которые видели западные журналисты в России 30-х годов и в

Китае 70-х — не выдумка. Там действительно много искренне довольных. Кстати говоря, кроме этой основной радости — ярко чувствовать остроту бытия — житель терроризованного общества имеет еще много более мелких, абсолютно пока незнакомых жителям свободного мира (из-за чего многие из них чувствуют себя обделенными). Например, радость по поводу того, что достал яйца к завтраку, мясо к обеду, пуговицу к брюкам. Мир маленьких радостей...

Попытка расширить этот мир только поддерживает и оправдывает террор как средство ограничения человеческой низменности. Романтическое презрение облегчает творческим натурам его применение. Презрение после победы усиливается тем, что теперь эти творческие натуры хорошо видят, что управлять государством трудно (как будто раньше, когда они занимались одной критикой, это было легко), и просто-таки ненавидят обывателя за то, что он не понимает их высоких устремлений и все-таки слишком — в такое великое время! — озабочен кормушкой. И им его действительно не жалко — как насекомое. Именно насчет кормушки «в трудное время» дела у творческих натур обстоят совсем неплохо. Нечто таинственное вдруг появляется: «спецпайки», «спецснабжение». Высокое революционное доверие слышится в этих словах. Как в России, например, кожанка — довольно комфортабельная одежда в эпоху всеобщей разрухи — все это воспринималось как некоторый бастион революционности, веры и осмысленности жизни. Впрочем, все же относительная комфортабельность тоже допускалась исключительно для всеобщего блага, чтобы творческие натуры не отвлекались на низменные заботы от своего высокого служения. Конечно, по сравнению с тем, что бывает на дальнейших этапах, эти прегрешения и соблазны выглядят почти невинными, но основа всего, что будет потом, закладывается именно здесь. И все это вместе объясняется и отсутствием свободы.

Банальное слово

Рискуя вызвать улыбки всего радикального мира, должен сказать, что понимаю слово свобода только банально. Я требую только «свободы вообще», только «абстрактной свободы», а не какой-то там социальной или классовой. Разумеется, можно говорить и о внутренней свободе, но это не имеет отношения к теме. Внутренней свободы может не быть и среди разлитого моря всякой иной свободы, но если нет этой внешней, банальной свободы, защитить внутреннюю могут немногие.

В наше время есть много людей (все коммунисты и фашисты), стремящихся во что бы то ни стало подменить или лишить смысла это великое слово. Намекается на то, что и философы не выяснили еще его значения и что вообще оно бессмысленно, ибо все равно нельзя быть свободным от законов биологии или, допустим, всемирного тяготения. Рассуждений много, задача одна: доказать, что человек одинаково несвободен в парижском кафе и в лубянской камере.

Я мог бы, пожалуй, ответить, что как человек, сидевший и там, и здесь, разницу между этими положениями ощущаю весьма остро. Но это бы значило, что я принимаю эти рассуждения всерьез. Я же их воспринимаю просто как удобный способ уйти от неприятных тем и неприятных размышлений. Возможно, вопрос о свободе надо рассматривать и более широко, чем это делаю я, но это только тогда, когда он хоть в какой-то степени разрешен в узком, то есть в простом, грубом и неинтеллектуальном смысле.

Короче, говоря о свободе, я говорю о самом простом: о том самом, что имели в виду следователи на допросах или уголовники в лагерях, когда говорили очередной жертве: «Я научу тебя, сука, свободу любить!». О том самом, что позволяет рабочим бастовать, не рискуя угодить под пули, как в Новочеркасске, а Вам написать и напечатать письмо, в котором Вы ни за что, ни про что, единственно из верно-

сти ускользающим убеждениям, поносите главу правительства и военного министра своей страны. Такого использования свободы я не одобряю, но это — свобода. Свобода — это то, что позволяет Вашему другу Ж.-П. Сартру издавать свой странный журнал (если он еще не прогорел, но и это не зависит от свободы), который вряд ли был когда-то любимым чтением де Голля или Помпиду и вряд ли и сегодня стал любимым чтением Жискара д'Эстена. Свобода — это то, что дает возможность Вашему знакомому Мейеру Вильнеру, а до этого другому Вашему знакомому, Самуилу Микунису, безопасно совершать свои вояжи в Москву и обратно (хотя это я считаю злоупотреблением свободой: Москва — столица вражеского государства). И наконец, свобода — это то, что позволило бы мне (хотя бы за свой счет) опубликовать эту свою работу в советской прессе, не ожидая для себя от этого неприятных последствий, материальных или даже физических.

В этой связи мне вспоминается один американский интеллеktуал, не то физик, не то математик, который метался в кулуарах одного из московских научных симпозиумов и собирал подписи под протестом против участия Америки во вьетнамской войне. Но важно не это, важно то, что при этом он еще горько жаловался на отсутствие в Америке свободы печати. Доказывал он это тем, что один из таких его протестов (видимо, протесты были его хобби*. «Нью-Йорк Таймс» напечатала только в виде объявления за большую плату, кажется, за 250 долларов). А я подумал тогда о том, сколько бы денег, из самых последних, согласились бы мы заплатить в августе 1968 года, чтобы напечатать в «Правде» или хотя бы в «Медицинском работнике» свой протест против оккупации Чехословакии. За то, что один только лозунг, содержавший такой протест, в течение минуты был развернут на Красной

*Теперь, когда террористическая диктатура Севера победила, он может быть вполне доволен делом рук своих (*сегодняшнее замечание автора*).

площади, те, кто это сделал, поплатились годами ссылки, и, по общему признанию, это было мягким наказанием... Видимо, настоящей свободой этому интеллектуалу казалось бы такое положение, когда любая газета, даже если бы она с его взглядами была совсем не согласна, обязана была бы печатать его протесты и статьи в виде передовой. Но такой свободой пользовался один Сталин. И называется она тиранией — то есть навязыванием своей воли всем другим. Говорят еще, что свобода печати при отсутствии денег — пустой звук. Мне всегда хочется ответить на это: «А вы самиздатом пробовали?». Самиздат — не лучший выход, но отсутствие свободы печати — это когда сажают за самиздат, а не тогда, когда нет денег на издание книги или газеты. Не говоря уже о том, что можно пробовать и собирать деньги. Если люди будут очень заинтересованы в Вашем издании — соберете. Конечно, люди не всегда вовремя понимают, в чем они заинтересованы, но это уже естественная трудность существования и развития культуры, а не отсутствие свободы печати.

В 1968 году в Париже некоторые писатели создали комитет по защите свободы печати. В него, в частности, вошли Луи Арагон и Эльза Триоле. Я, наверно, никогда не узнаю, какую свободу должен был защищать этот комитет. Думаю, что и сами члены комитета сознавали это весьма смутно. И что это за свобода, которой Томасу Манну хватало, а Арагону не хватает? Не хотят ли они добиться полной, в том числе и материальной, независимости от читателя, от того, покупает или не покупает он наши книги? Согласен, что это далеко не всегда критерий, но тут уж ничего не поделаешь. Это естественный риск, неотделимый от творчества. В СССР, например, писатели материально от читательского произвола защищены полностью: важно издаваться, а не читаться. Вряд ли стоит к этому стремиться. Мне иногда кажется, что в этом комитете, в том недовольстве, которое он выразил, — разгадка многих побудительных причин интеллигентского энтузиазма. И тогда неудивительно, что все это направлено против свободы.

Впрочем, создается ощущение, что все подрывающие свободу считают, что свобода все равно будет жить, сколько ее ни подрывай. Видимо, живя всю жизнь в условиях свободы, эти люди представить себе не могут, что может быть и иначе. Они забывают, что в человечестве всегда есть люди, которые неспособны выдвинуться иначе (а выдвинуться жаждут), как через абсолютную и бесконтрольную власть, ибо способны только властвовать. Когда общество функционирует нормально, они подавлены (и даже не подозревают, что они — это они), но если представляется случай, они тут же берут реванш. Они есть во всех лагерях и на всех уровнях, и их надо беречься, как вообще следует беречься лиц с преступными наклонностями. Правда, сегодня в свободном мире наблюдается обратная тенденция. Этот мир (в лице своей псевдоэлиты) больше склоняется к тому, чтобы беречь подлинных преступников, чем беречься таких — потенциальных. Пусть меня простят передовые люди, но я полон глубокого уважения и бережного отношения к традиционной «буржуазной» — другой не бывает — свободе и к обыкновенным принципам законности, на которых она покоится. И то, и другое — высокие и важные достижения человечества, социальные и духовные. И то, и другое бывало и есть не всегда и не везде, и того, и другого может и не быть нигде. И никакого уважения не вызывают у меня те западные студенты, которые в пароксизме внезапного свободолюбия избивали полицию и отвечали бабьим визгом: «Убивают!», когда полиция прибегала к ответным действиям. Как никакого уважения не вызвал даже у русских народовольцев (террористов) человек, застреливший американского президента во второй половине девятнадцатого века. Они справедливо считали, что у американцев тогда были вполне законные способы выразить свое отношение к вещам. Это очень непривычно для русского интеллигента, но я считаю, что в 1968 году американская полиция имела гораздо больше отношения к демократии, чем многие американские студенты. И даже их

профессора. Мне вообще кажется, что противопоставление: «свобода — власть» (чем сильнее власть, тем меньше свободы) — вообще не выдерживает критики. Мне кажется, что свобода вообще немыслима без власти и государства, что наибольшая свобода бывает не без государства, а под защитой государства, если это государство — свободное. Только оно может пресекать различные поползновения частных лиц против свободы и достоинства других людей. Только оно может следить за соблюдением закона, без которого свобода вообще немыслима. Свобода вообще существует до тех пор, пока существует уважение к закону. В противном случае общество начинает поддерживать правопорядок иными средствами. И оно находит эти средства (или разваливается), ибо интересы большинства людей, интересы обывателя требуют прежде всего правопорядка. Политика — не искусство, в ней невозможно игнорировать эти интересы. За свободу безопасно сидеть в своем доме и ходить по своим улицам обыватель отдаст любую свободу. И призовет на помощь кого угодно, включая штурмовиков. Не надо доводить его до этого... Ох, не надо... Виноват в этом будет не он.

Индивидуализм конформизма

Однако вернемся к Вашему письму. Вот его вторая фраза: «Я против *геноцида* (курсив мой — *Н. К.*), осуществляемого американцами во Вьетнаме». Ни больше, ни меньше — геноцида. Исходя из этих слов, совершенно ясно, что Вам не нравится (теперь уже — замечание при перепечатке — не нравилось) американское вмешательство во Вьетнамскую войну. Это Ваше право. Кстати говоря, должен сказать, что и я от него не в восторге. Правда, по другим причинам, чем Вы. Считаю, что идиотизм — вести войну без стремления разгромить противника, тем более такого, который людей жалеть не станет, то есть бомбежками его не запугаешь. Сдерживать бандитов людьми — рационалистическая глупость. Но к геноциду это не имеет никакого

отношения. Так откуда все-таки взялся геноцид? Вы что, действительно считаете, что американцы во Вьетнаме убивали вьетнамцев за их происхождение? (Как нацисты убили бы Вас и меня, если б мы им попались.) Ну, а Южный Вьетнам кто населял? А южновьетнамскую армию кто составлял? Не получается что-то по-вашему. Не кощунство ли это, не преступление ли перед людьми мира и, в первую очередь, перед еврейским народом — придавать этому страшному слову расплывчатые очертания?* Или просто в Вашем кругу, когда речь идет об Америке, стесняться в выражениях не принято? Что ж, Ваши бывшие товарищи не стесняются в выражениях, когда речь идет об Израиле. Чего стесняться, если принято думать, что он — передовой отряд империализма. Спорить и с тем, и с другим по существу — глупо. Что такое Израиль, Вы сами знаете, а Америка все-таки демократическая страна, где несогласных с властью в психбольницы не сажают, как в некоторых передовых державах. Но так же, как Вам не убедить Ваших друзей, мне не убедить Вас. Я и не пытаюсь сейчас. Я только о слове «геноцид». Но и то зря...

Вы — левый интеллигент, и реальные значения слов Вас интересуют меньше всего. Этот «геноцид» для Вас опять-таки не слово, а тот же пароль, дорогой символ причастия к чему-то, что Вам дорого, что возвращает Вас к некому смыслу жизни (Вы даже не замечаете, что эта причастность к совместной лжи — хотя бы про Америку.) А этот ложный смысл Вы пока цените больше, чем многое — чем жизнь и свободу других людей, например. Чем даже истину. Соображения о том, соответствует ли истине то, что Вы говорите, для Вас, судя по всему, пустяк по сравнению

*А что произошло в южновьетнамском городе Дуэ, захваченном северовьетнамцами, когда последние расстреляли в тамошнем овраге женщин и детей, бежавших из Северного Вьетнама в Южный, но застигнутых там северными войсками? Это вьетнамский вариант «Бабьего Яра». Это ужасающее преступление. Но и оно не геноцид. Во всяком случае, не больше, чем «ликвидация кулачества, как класса» в СССР.

с тем, укладывается ли это в дорожную для Вас концепцию. В сущности. Вы включаетесь в глобальную работу по лишению слов и понятий их первоначального смысла. Это очень вредная работа. Ведь недаром ее уже около шестидесяти лет ведет советская пропаганда. И уже много лет с еще большей резвостью китайская. Например, советская пропаганда внушает всем, что Бабий Яр — дело рук сионистов. Ее задача — сделать так, чтобы в угоду ближайшим целям, реальный смысл таких слов, как «сионисты», «Бабий Яр» и так далее растворился в фантастических толкованиях. Ваше заявление о геноциде американцев — такого же сорта. Употребление паролей вместо слов разобщает людей, увеличивает непонимание их друг другом и способствует победам мафий.

Между тем, употребление этих паролей — вообще характерная черта левого мышления. Тут есть противоречие. Кажется, левый интеллигент — такой крайний индивидуалист, требует свободы любых сексуальных извращений (чтобы только не подавлять личность!), требует полной свободы искусства от стыда и смысла, но в то же время, попадая в общество таких же индивидуалистов (а их теперь, кажется, больше, чем неиндивидуалистов), он начинает себя вести как все, думать как все и говорить как все. Разумеется, как все «индивидуалисты», как все в его кругу. И презирать всех, кто думает иначе. Короче, становится заурядным конформистом, а плод любого конформизма — торжество безответственности; безответственность одного придает мнимую основательность безответственности другого. Толпа вообще усиливает безответственность отдельного человека. Прогрессивная толпа — тоже. Это очень хорошо видно из отношений американского писателя, бывшего коммуниста Говарда Фаста, с его родной партией и с советскими деятелями. Вступил он в эту партию еще в 1943 году, видимо, на антифашистской волне. К тому времени он прочел большое количество марксистских книг, и все-таки не углядел, что собственно коммунистической идеологии, из-за которой он вступал в эту

партию, в тогдашнем коммунизме уже не было*. Этой слепоте способствовало то, что рядовым членам партии (не в СССР) ничто не мешало исповедовать эту идеологию интимно, — тем более, что коммунисты, отрицая это слово, на деле признают макиавеллизм, что на последующих этапах сильно способствует их гибели.

Можно даже сказать, что основной принцип этой партии — примат тактических соображений над смыслом деятельности. Поэтому рядовые члены этих партий в свободном мире, даже прямо выполняя противоречащие их идеям советские директивы, имеют полную возможность думать, что смысл их деятельности совсем не в том, что вытекает из их вынужденных слов и поступков, а в чем-то другом, что получится как-то автоматически из тех же действий, часто противоположных этому смыслу. Эта хитрая диалектика превращает левого интеллигента в бессмысленного и безоружного раба своего достаточно бессмысленного (если не считать смыслом жажду власти и места в иерархии) руководства.

Все это приводило к насильственной инфантилизации взрослых людей. Ну, ладно! Пусть тактика. В конце концов, хорошо это или плохо, но это для посторонних. Но что происходит в своем кругу? Почему так странно ведут себя вожди? Фаст приехал из-за границы с важными сообщениями, а руководители отнюдь не торопятся его принять, заняты подчеркиванием дистанции между ним и собой. Для меня, как для советского человека, все ясно. Секретарь ЦК — начальник, Фаст — подчиненный, надо, чтобы он не забывался. Но ведь весь состав американской

* Я говорю это для того, чтоб показать весь дьяволизм этой идеологии, а не для того, чтоб намекнуть, что в ней есть что-то хорошее. В ней нет и не было ничего хорошего. Уголовный дух сталинизма и власть Сталина как таковые выросли из этой идеологии совершенно естественно — из ее преступлений и внутренних качеств. Да и прямо все это утверждено теми, кто исповедовал эту идеологию, хоть они потом от этого и погибли.

партии — раз, два и обчелся. Кого ж тут принимать или не принимать? Где было тогда ему, бедному, понять, что вся эта таинственность и недоступность восточных бонз, все это подчеркнутое пренебрежение к рядовым — просто слепое копирование (вполне возможно, и по прямому приказу) московских порядков. (Я знал одного полковника, который получил от начальства выговор за то, что на фронте обедал вместе со своими офицерами.)

Еще более нелепое впечатление производят страницы о взаимоотношениях Говарда Фаста с советским писателем Борисом Полевым. Даже в момент, когда Фаст уже писал эту книгу (она называется «Голый бог»), эти отношения еще казались ему человеческими и дружескими, хотя и какими-то странными. Между тем, в отношениях этих, судя по его воспоминаниям, не было и ничего человеческого, и ничего странного: просто Фаст общался, а Полевой — работал. Это особенно ясно проступает в переписке. Фаст старается уяснить, в чем тут дело. Полевой — как можно больше сбить Фаста с толку. Для Фаста Полевой — человек, для Полевого Фаст — объект, которого надо постараться удержать в сфере своего влияния. И еще: для Фаста коммунизм — коренной вопрос веры и бытия, для Полевого — официальная личина, в которую продолжает (особенно для заграницы) рядиться его начальство. Для Фаста СССР — база мировой революции, и Полевой ее представитель. Для Полевого же — это только песни пионерского детства и сказки для таких, как Фаст. Он прекрасно знает, что за слишком горячую приверженность к ней в СССР сажают. На этом основании и ведут они друг с другом душевные разговоры. Впрочем, сначала они ведутся не с Полевым, а с Фадеевым. Дело в том, что в это время в лживой буржуазной печати стали появляться сообщения об аресте всех более или менее видных деятелей еврейской культуры в СССР. Речь шла в том числе и о друге Фаста — поэте Льве Квитко. Разумеется, верный коммунистическому благочестию Фаст этим сообщениям не верил. Но некоторые сомнения его все же терзали. Во-

первых, уж слишком настойчивы были эти ложные слухи. Во-вторых, никому из навещавших в то время СССР, в том числе и Фасту, ни с кем из этих деятелей — каждый раз по непредвиденному стечению обстоятельств — встретиться не удавалось. В третьих, некоторые деятели советского посольства уж слишком ассоциировались в его представлении с людьми, способными такую операцию повернуть, а Фаст все-таки в какой-то степени был художником, и люди для него не были чистой абстракцией. Короче — его терзали сомнения. Разумеется, поводов усомниться в советской добропорядочности хватало и до этого, но это уже другой вопрос. На то Фаст и был коммунистом. В его оправдание можно сказать, что на многих его собратьев (в том числе и евреев) и антисемитизм не подействовал.

Своими сомнениями Фаст решил поделиться с Фадеевым. Разумеется, тот их тут же, к великой радости Фаста, опроверг. Оказалось, что Фадеев — сосед Квитко, он видел его перед вылетом в Америку и знает о нем массу смешных историй, которыми не преминул поделиться. Вечер оказался очень приятным. Потом эстафету этой лжи принял на себя Полевой. Я не пишу здесь ни о трагедии Фадеева (хотя из этого факта видно, что ему было из-за чего кончать самоубийством), ни о личных качествах Полевого. Меня интересует Фаст, который не мог не знать, что это советские люди, которым (в отличие от всех других тогда) доверено бывать за границей, то есть, что в этих поездках они выступают как агенты своего начальства. И все-таки добровольно лез им в пасть. Подавляя при этом в себе и естественное, и художническое чувство реальности. Это лишний раз говорит о том, что если сдать душу в партию, как в ломбард, она тебе уже больше не принадлежит.

Но вот Хрущев выступил на XX съезде, Фадеев застрелился, и ложь проступила наружу. Тем не менее, Фаст долго не может уяснить, что происходит, и затевает нелепейшую переписку с Полевым, требуя, чтобы тот объяс-

нил, почему врал. (Как будто и так не ясно.) Полевой ему отвечает, не выходя из принятого в их переписке тона. Он, как всегда, разговаривает с Фастом, как взрослый человек с ребенком, не понимающим самых простых вещей. Этот тон раньше Фасту казался естественным, он действительно многого не понимал (не понимал только, что и его собеседники не понимают), теперь он этого тона не принимает. Но при этом он так до конца и не может понять, что вполне милый, добрый и внимательный Борис Николаевич Полевой при всех этих качествах никогда не обращался с Фастом как с живым человеком и что часы, проведенные с Фастом, были для Полевого рабочими часами. Но было — так. Так уже много лет разговаривают представители советских руководителей с тонкими и рафинированными западными идеалистами, а те — терпят. В СССР накопился большой опыт таких бесед. Так что если у кого есть какие сомнения в чем-либо, приезжайте в Москву — Борис Полевой и иже с ним всегда к вашим услугам. Они угостят вас икрой и деликатесами (хоть ни того, ни другого нет в советских магазинах) и все вам вмиг разъяснят. Конечно, только тем из вас, кому очень хочется или по каким-то причинам очень удобно — им верить...

Как видите, даже такая малочисленная компартия, как американская, не имеющая и намека на государственную власть и настоящее влияние, тем не менее способна так крепко держать в руках своих членов. Даже таких, как Фаст, которые не только не зависели от нее материально, но даже собирали для нее деньги. Разумеется, многое объясняется ее заговорщицкими традициями, создающими особую атмосферу, но в основном ее члены сами себя одуряют идеологией. Уйти из партии из-за такой мелочи, как непрерывные оскорбления и третирования со стороны руководства (или из-за того, что руководство не соответствует твоему представлению о том, каким оно должно быть), — да это же мелкобуржуазная распушенность! Та самая, к которой тебе успели внушить брезгливость и в которой тебя научили беспрестанно себя подозревать. «Разве ты не зна-

ешь, что революция делается не в белых перчатках и не идеальными людьми? Чистеньким быть хочешь?» Нет, это не годилось. Кроме того, человек, который ушел бы из партии по таким причинам, обрек бы себя на одиночество. Вокруг партии был очень широкий круг интеллигенции. В него входили и миллионеры (вот уж кого нельзя было обвинить в мелкобуржуазности) и особенно их романтические жены. Некоторые из них даже очень были непримиримы и без отрыва от своих миллионов изображали из себя фурий революции. Одна из них после появления в печати доклада Хрущева на XX съезде специально звонила Фасту и выражала уверенность, что тот не станет читать эту буржуазную фальшивку. Фаст эту «фальшивку» прочел. Но другого круга у него не было.

Самое страшное в коммунизме — это то, что он привлекает иногда лучших людей и ставит их в положение, противопоставленное всему человечеству и всему человеческому. Человек остается активным, но инициативу, волю и ответственность он передает своему руководству, о котором даже не всегда знает, откуда оно взялось. Например, ни один французский коммунист не мог мне сказать, откуда взялся их вождь Жорж Марше. Ведь это действительно странно. Не пользуясь никакой популярностью (о нем даже ходят слухи, что во время войны он был коллаборантом), он вдруг возник вторым человеком при Жаке Дюкло, а вскорости стал и первым. Его восхождение напоминает некоторые страницы из капитального и высоко оцененного КГБ (объявлен самой страшной антисоветчиной) труда А. Авторханова «Технология власти». Но А. Авторханов ведь писал только о порядках в КПСС [тогда ВКП(б)], а тут речь как-никак о Франции. Широко же шагнули эти порядки. Французские коммунисты, не отвечая на вопрос, больше обычно упирают, что г-н Марше не играет в партии никакой роли. Но это уже — самоутешение. Скорее, не играет никакой роли вся партия, а он — играет. Не для того его протаскивали на этот пост, чтобы не играл. Но даже если бы они говорили правду, все

равно это странно. Зачем массовой партии терпеть во главе навязанную марионетку? Ответ только один: такая это партия. И неудивительно, что прозревшего Фаста больше всего пугает мысль, что когда-нибудь так, как теперь организована компартия, будет организована вся Америка и весь мир. Он, правда, надеется, что этого не будет. Мы надеемся вместе с ним. Но, к сожалению, его тревога отнюдь не безосновательна. Этого не будет только в том случае, если люди осознают грозящую им опасность. И если интеллигенция поймет, что между обществом и творческой лабораторией есть существенное различие.

В этом и состоит мое главное обвинение левой интеллигенции — что общественную жизнь она рассматривает как объект творчества, что эгоистические мотивы она воспринимает как мотивы крайне альтруистические. В этом опасность всякого идеализма (в бытовом, а не философском смысле). Поклонение идеалиста Богу (добру, обществу, благу и так далее) не освобождает его от близкого соседства с дьяволом, а доверие к своему идеализму ведет к потере всякого контроля над собой. Благодаря этому, идеалист может принять за идеальные мотивы своих поступков нечто весьма от этого далекое. Всегда есть искушение перестать различать границу между тем, что ты делаешь для других (для всех), и тем — что только для себя. Даже фанатическая верность идее и материальная бессребренность могут объясняться тем, что именно это возносит данного человека над другими хотя бы в собственных глазах, а также наполняет смыслом его жизнь. И совсем это не всегда альтруизм. Например, Феррапонт из «Братьев Карамазовых» Достоевского истязал себя веригами, но у него было много гордыни и мало доброты или любви. Среди коммунистов, как известно, люди физически храбрые встречаются (во всяком случае — встречались) довольно часто. Но людей храбрых морально, то есть не боящихся заглянуть в бездну с риском увидеть там пустоту, — среди них нет совсем. А ведь многое, очень многое способен сделать человек для того, чтобы победить пустоту бытия. Но на этом как будто бы очень высо-

ком пути нас и поджидают наиболее коварные соблазны. Главный из них — о нем я уже говорил — это допущение, что мир — объект творчества, то есть, что можно решать вопросы своего внутреннего бытия за чужой счет (а это прямо вытекает из понятия конечной цели, из телеологии). Что значит любая эксплуатация труда (особенно если этот эксплуатируемый труд оплачен очень хорошо — лучше, чем когда-либо и где-либо) по сравнению с таким потребительским отношением человека к человеку, когда пот, кровь и судьбы одних людей превращаются в средство оплаты духовных благ других? Самый последний жулик и убийца — ангел с крылышками по сравнению с таким идеалистом. Да и опасен он для других людей меньше, чем Фидель Кастро и Че Гевара.

А не кажется ли Вам, г-н Кеннан, что, выражаясь любезным Вашему сердцу марксистским языком, идеология левой интеллигенции — это идеология не какого-то там мифического пролетариата (который этой идеологии никогда и нигде не придерживался — только подхватывал ее лозунги в горячие минуты), а политической богемы (сначала — женевской, а потом — мировой). Это до тех пор, пока соответственно не изменившись, она не становится идеологическим прикрытием откровенной политической мафии, впрочем, порожденной и приведенной к власти тоже этой идеологией, господством ее поклонников. В этом последнем случае она внешне и эмоционально отличается от своей первоначальной формы. Но в обоих случаях она сохраняет свой сугубо люмпенский характер. Видимо, именно это и чувствовали в ней вышеописанные боливийские крестьяне, сторонясь от ее носителей.

Дела житейские

Из этого совсем не следует, что каждый левый интеллигент или коммунист — обязательно люмпен. Правда, некоторых из них сильное увлечение переустройством мира отвлекло от своевременного приобретения профес-

сии, и разрушительная партия, в которой они состоят, — единственное их место в жизни. Это, конечно, накладывает отпечаток на их мышление и поведение. Но я сейчас говорю не об этом. Я говорю об общем духе, заставляющем их всех без различия вести себя по отношению к жизни с люмпенской безответственностью — как бы ничем в ней не дорожа и ни за что не отвечая.

Одним из видов этой безответственности я считаю и их безграничную способность к удивлению, которую я почему-то не воспринимаю как торжество непосредственности. После всего, что было (и что им известно так же, как мне), я не очень доверяю удивлению итальянских коммунистических интеллектуалов по поводу того, что их советские «единомышленники» отнюдь не энтузиасты «свободной любви» и гомосексуализма (я тоже не энтузиаст, хотя некоторые в этих вещах видят чуть ли не символ освобождения человечества), а также по поводу «сюрпризов» (таких, как оккупация Чехословакии, подавление инакомыслящих или антисемитизм), регулярно преподносимых им советским руководством. Они не раз бывали в Москве, прекрасно знают цену нашему начальству и его «революционности», и удивляться им, по меньшей мере, странно. Правда, время от времени они проявляют свою самостоятельность и, блистая марксистской эрудицией (как чехи в Черне-на-Тиссе), мягко увещевают своих советских «товарищей» отказаться от бюрократического извращения социализма. Это очень хитрая формула и очень хитрое поведение. Эти увещевания, как само собой разумеющееся, констатируют, что, во-первых, в СССР — социализм и, во-вторых, социализм — очень хорошая вещь: просто в СССР допущены некоторые извращения, которые нужно и, конечно, можно исправить. Из этого же само собой вытекает, что у этого строя есть колоссальные преимущества перед свободным миром, ибо свободный мир (все-таки дающий им возможность заниматься этими интересными играми и не сажающий людей в психушки) — порочен по существу. Так что их лозунг: «И поэтому мы всегда с СССР» — вы-

глядит при этом совершенно естественно. И удивляться им не стоит — знает кошка, чье мясо съела.

Разумеется, советских руководителей и такое отношение раздражает. И, если будет возможность, не миновать Берлингуэру дубчековских наручников. Но, с другой стороны, и они кое-чему научились, понимают, что и такая поддержка больше, чем ничего. На самом же деле она больше любой другой, которую могли бы получить советские руководители, ибо она вполне подтверждает коммунистическое лицо этих руководителей, придает какую-то идеологическую достоверность их власти. А это им очень нужно. На самом деле никакого лица ни дома, ни за границей у них нет.

Думаю, что советские товарищи итальянских еще и презирают. Вероятно, между собой они называют их назойливыми дурачками, которые неизвестно зачем суются под ноги, говорят под руку и своим марксизмом только работать мешают. «Пусть, — возмущаются они, наверно, — сначала возьмут власть, а потом уже умничают. Увидят тогда, каково в нашей шкуре!». И они, конечно, правы. В их шкуре совсем не легко, и если их товарищи-итальянцы возьмут власть, они это почувствуют. Во всяком случае, желания соблюдать и марксизм, и демократию у них сильно поубавится (как это было и в Чили, и на Кубе). Тут уж не до марксизма (хоть и в нем хорошего мало). И вообще это как-то нелогично: самим стремиться захватить власть (пусть через выборы, но навсегда), а от кого-то требовать соблюдения демократии...

Впрочем, я думаю, что в глубине души итальянские коммунисты (во всяком случае, их руководство) к власти не стремятся. Им и так хорошо. Так что не зря итальянские коммунисты не стремятся захватить власть. Зря они только требуют выхода из НАТО.

Неужели им до сих пор не ясно, что коммунистические идеи можно исповедовать только под защитой пушек этой организации. Ведь Дубчек и Смирковский попробовали без этого — известно, что получилось. Но положение

обязывает. Революционная демагогия сама может их вынести к власти. Ведь молочные реки в кисельных берегах уже обещаны, и соблазненные могут потребовать исполнения обещаний. Дьявол легко не отпускает. Кстати, эта проблема остается и после захвата власти. В связи с этим как раз и приходится применять неодобряемые методы.

Между прочим, на Америку тоже все-таки не стоит так сильно ополчаться — все-таки на ней все держится. И что вам всем так эта Америка далась? Страна как страна. Всё символы вам, как демоны, не дают покоя, мутят зрение и логику. И от этой самоубийственной логики Вы не можете освободиться даже тогда, когда речь идет о жизни и смерти Израиля. Вот Вы с пафосом называете Голду Меир и Эшкола — милитаристами. Психологически это понять не трудно. Официальная левая пропаганда называет милитаристским весь Израиль, включая Вас, Вам и хочется отмежеваться — сказать, что нет, не весь, хоть милитаристы, конечно, есть и у нас. Вот они. Они плохие, а я хороший.

Я вполне понимаю, что в Израиле когда-нибудь будут и милитаристы, возможно, они даже есть и сейчас. Но вопрос в другом: как Вы их отличаете от всей массы населения воюющей за жизнь страны? Разве Вам надо рассказывать, что Израиль хотели, хотят и будут и дальше хотеть уничтожить? Почему же его руководители — милитаристы? Потому что не хотят без всяких условий возвратиться к границам 1967 года? Но Вы, кажется, и сами не очень этого хотите. Трудно забыть, что тогда, когда эти границы существовали, Израиль все равно считался агрессором, только военное положение его было хуже. То, чего сейчас требуют от Израиля, — это изменение линии фронта в пользу противника, не желающего заключать мир. С какой стати он должен это делать? Или они милитаристы потому, что вооружили страну? Есть ли у Вас дети, г-н Кеннан? Что бы с ними было, если бы люди послушали их папу и не вооружились? Или Вы этого не говорили? Тогда что Вы вообще говорили? Или логика — буржуазный пережиток? Но ведь иногда она стреляет?

Антисемитский интернационал

Между делом Вы говорите, что, конечно же, поведение советских руководителей в ближневосточном конфликте не объясняется таким бескорыстным мотивом, как антисемитизм, что руководят ими какие-то более глубокие прагматические и циничные соображения.

Тут Вы, и не только Вы, говорите вещи, которых не знаете. Впрочем, и сами советские руководители вряд ли могли бы Вам объяснить, что ими руководит (в основном, я думаю, комплекс неполноценности и страшная инерция не ими начатого дела), но прагматизмом тут и не пахнет. Разумеется, они могут быть вполне прагматичны в достижении тех или иных целей, но все эти цели лежат или в стороне, или в направлении, противоположном тому, которое может интересовать сегодня любое российское правительство, — в стороне от подготовки к отражению почти неминуемого китайского нашествия, от создания антикитайского блока держав. Вне этой цели любые успехи советского правительства, принося неисчислимые беды народам, только ухудшают положение нашей страны. Даже захват Европы ничего бы в этом смысле не дал и не был бы успехом, а ослабление Запада, которым только и занимается советское правительство (и в рамках которого находят прагматическое объяснение его ближневосточной политики), — это не что иное, как ослабление единственно возможного тыла и единственно возможных союзников. Эта работа ведется все время — пусть спустя рукава, рутинно... Но ежедневно и без серьезного противодействия. Ведется не из каких-либо высоких причин, а по инерции, потому что есть люди, которым она поручена, и они должны проявлять активность. И доказывать свою необходимость и результативность. И они — доказывают. И из этого бюрократического недоразумения и происходит мировая политика сверхдержавы. Я сам понимаю, что мое объяснение выглядит примитивно. Но в наш сложный век многое объясняется иногда только примитивно, и это соответствует реальности. Поэтому нельзя заранее

отказываться от того или иного объяснения только потому, что оно выглядит примитивно.

Например, Вы совершенно зря исключаете антисемитизм как объяснение советской ближневосточной политики. Я не утверждаю, что это единственное объяснение, но знаю, что антисемитизмом правящий слой Советского Союза пронизан сверху донизу. Кстати говоря, тот случай с подводной лодкой, который Вы описываете, трудно объяснить чем-либо еще*. Рассказов об этом антисемитизме достаточно, некоторые, наверняка, доходили и

* Случай это, действительно, из ряда вон выходящий. В Средиземном море затонула израильская подводная лодка. На ее сигналы бедствия откликнулись английский, турецкий и греческий корабли. Но — опоздали. Находившийся же к ней ближе всех советский военный корабль на эти сигналы не откликнулся. А вечером этого дня московское радио издевательски поносило всех, кто пытался спасти гибнувших людей. Автор говорит, что даже во время второй мировой войны даже германские подводные лодки (кроме лодок СС), потопив вражеский корабль, всплывали на поверхность и оказывали помощь его команде. Я абсолютно убежден, что и советские корабли в любом другом случае не позволили бы себе такого поведения. Безусловно, здесь есть и приспособление к арабской психологии (хотя и арабы сами вряд ли бы себя так вели на море). Но то, что позволило советским лидерам такого рода приспособленчество, — объясняется и их антисемитизмом, то есть отношением к евреям, даже когда они воины, иначе, чем ко всем остальным людям.

Этот антисемитизм советского правящего слоя отличен от антисемитизма, основанного на предрассудках, хотя эти предрассудки стимулирует и на них опирается. Ярость его усиливается памятью об «еврейском засилии», имевшем место в двадцатых и начале тридцатых годов. Тогда, действительно, в советском аппарате и центральном руководстве было непропорционально много евреев. Но это никак не было результатом ставящего себе сознательно именно такую цель мифического «еврейского заговора», как полагают антисемиты по обе стороны железного занавеса, а результатом общей политики советской власти, которая всегда должна на кого-то против кого-то опираться. Тогдашней ее тактикой была опора на инородцев против коренной нации. Инородцам («представителям ранее угнетенных народов») предоставлялись большие возможности (но не права — прав в СССР никто не имел и не имеет), чем представителям коренной нации. В силу многих причин (прежде всего, большего процента грамотных) евреи могли легче, чем другие инород-

до Вас. Правда, есть среди них и недоказуемые. Трудно доказать, хотя это происходит сплошь да рядом, что людей специально заваливают на вступительных экзаменах в вузы или не принимают на работу по расовому признаку. Тут всегда можно в ответ сослаться на личные пристрастия, частные случаи и так далее.

Но поскольку советское государство — государство идеологическое, лучше я коснусь именно этой, идеологической области. Итак, идеологические доказательства государственного антисемитизма:

1. До сих пор процесс врачей не осужден как процесс, специально направленный против евреев в целях их компрометации в глазах остального населения. Не была осуждена и пропаганда, связанная с процессом.

2. Не была осуждена и так называемая «борьба с космополитизмом», когда евреи обвинялись в том, что у них нет родины, и на этом основании изгонялись со службы. Более того, этот термин всплывал в советской печати и после XX съезда КПСС.

3. Шум вокруг «Бабьего Яра» Евтушенко и 13-й симфонии Шостаковича. Ничем, кроме животного антисемитизма, он объяснить быть не может. Как и шум вокруг подлинного Бабьего Яра, где теперь вопреки всем рус-

цы, использовать открывшиеся перспективы. Да и больше побуждений у них было к этому — после тех ограничений, которым они подвергались до этого. Хотелось бы только подчеркнуть, раз об этом зашла речь, что советский антисемитизм органически вытекает из советской люмпен-бюрократической психологии и ее представления о мире, должном, возможном и допустимом. Согласно этим представлениям, любая точка приложения человеческой активности и инициативы является государственной собственностью и распределяется согласно государственным надобностям. И очень редко это распределение зависит от личного соответствия распределенному месту и даже «выходу продукции». Все роды занятий становятся синекурой. Почти все. Из такого положения антисемитизм (и вообще расизм) растет сам собой. И в рамках такого отношения к вещам он не только оправдан, но и справедлив. Зачем раздавать синекуры «чужим», когда лучше — мне? И, тем более, зачем непопулярному государству выглядеть при этом еще и иноморским?

ским, украинским и христианским традициям устроен парк культуры и играют в волейбол. Правда, в стороне от места событий стоит обелиск, на котором написано, что здесь погибли советские граждане (без указания национальности). Действительно в Бабьем Яру лежат не одни евреи, и все имеют право на память. Но только евреи здесь убиты исключительно за свою национальную принадлежность. Этот факт и затушевывается.

4. Расширенное толкование слова «сионист» в советской печати. Этим словом называется не только любой еврейский деятель, но и просто любой деятель еврейского происхождения в свободном мире, если в данный момент он не очень выгоден советским властям. В то же время «сионистское» — это все еврейское. Но в то же время — нечто, связанное или с сионскими мудрецами, или с чем-либо в этом роде. Обычно считается, что сионизм — игрушка в руках американского империализма. Но печально знаменитый писатель Шевцов заявил, что все наоборот: что американский империализм — игрушка в руках мирового сионизма. Его, правда, критиковали, но — напечатали. В подконтрольной печати. Собственно говоря, никакой крамолы он не сказал. Термин «сионистский капитал» употребляется вполне официально, а это — «марксистская» калька гитлеровского термина «еврейский» капитал.

5. В издаваемой во время чешских событий на чешском языке советской газете «Вести», вся «пражская весна» (а она, естественно, расценивалась отрицательно) объяснялась еврейскими (пардон, сионистскими) — происками. Такая же кампания велась и в открытой советской печати. Вообще всех, кто ему мешал, советское правительство стремилось объявить (и на закрытых политических информациях объявляло — например, Сахарова и Солженицына) евреями, ориентируясь при этом на тех, для кого само это понятие — отрицательно, и ориентируя остальных на то, что так это и следует понимать.

6. Публикация в газете «Известия» письма мнимой или подлинной г-жи Шапиро из Лос-Анджелеса. В этом

письме утверждается, что такие же плохие люди, как те, кто сегодня выступает против советского антисемитизма, и довели бедного Гитлера до того, что он стал таким как стал. Ни больше, ни меньше. И совершенно неважно, существует ли г-жа Шапиро на самом деле. В конце концов, любая дура может написать, что ей взбредет в голову, а любая газета может это напечатать как письмо читателя. Любая, но не советская. Контроль над печатью — добродетель, которую советские лидеры утверждают открыто (в дни чехословацкого кризиса), и ни один редактор не напечатает ничего, что может оказаться «не в духе». Тем более, редактор официоза, тем более в подборке политических писем. Следовательно, кто бы это ни написал — г-жа Шапиро или выдумавший ее работник «Известий» — это сознательный акт советского руководства. Акт антисемитский*.

Я отнюдь не утверждаю, что все советские лидеры — антисемиты. Но я утверждаю, что антисемиты среди них есть, что они влиятельны и с каждым днем все время берут верх. Очень им помогает ближневосточный кризис, в котором руководство должно все время отыгрываться,

* Со времени написания этой работы произошло многое, позволяющее подозревать за этим письмом г-жи Шапиро подделку, ибо слишком оно вплетается в сплетения советской пропаганды. Во-первых, было сделано открытие, что Бабий Яр устроили сами сионисты (то есть евреи). Во-вторых, был опубликован ряд статей откровенно антисемитского и даже расистского содержания (например, статья Бегуна в «Немане» № 1, 1973 года), где даже организация «Джус фор Крайст» объясняется тайными замыслами ее членов. А также ряд статей в «Вопросах истории».

Кроме того, о более грозных симптомах, см.: *М. Агурский*. «О неонацистской опасности в СССР», особенно — приложения. Не надо забывать, что преследования Шевцова не имеют ничего общего по абсолютности с преследованием таких лиц, как Марченко. Осипов был посажен в тюрьму, когда четко выяснилось его нежелание быть фашистом. Так что направление преследований — самоочевидно. Исключение ВСХСОН. Но ВСХСОН хотел не ассимилировать эту власть, а свергнуть ее.

ибо и поражения, и победы в этом конфликте его компрометируют. Так отыгрываясь, оно и создало антисемитский интернационал, о котором мечтал, но который не мог создать Гитлер.

Произошло это следующим образом. В один прекрасный для арабских националистов день коммунист Тито нанес визит коммунисту Хрущеву и как один из создателей «третьего мира» поведал ему, какой прекрасный человек националист (и бывший гитлеровец) Г. А. Насер и как он ненавидит империализм. И Хрущев вдруг понял, как он сможет (на кой только черт ему это нужно было? — но это другой вопрос) ущучить империализм в этом нефтеносном районе. Кроме того, имело, вероятно, значение и естественное для примитивного (хотя и лично не жестокого) антисемита, каким был Хрущев, желание помочь человеку, которого «жиды заели». И началась игра. Министр иностранных дел СССР Шепилов (тогда еще не «примкнувший», как его стали звать потом) тут же объехал все арабские страны вокруг Израиля, но отклонил приглашение посетить Израиль. И началась проарабская политика Советского Союза. Но поскольку СССР — государство идеологическое, то с этого мгновения Израиль (который до этого момента, несмотря на советский антисемитизм, пользовался некоторой поддержкой коммунистических, в том числе, и арабских коммунистических партий) автоматически стал форпостом империализма, а арабские страны (и жаркий арабский национализм) — форпостом мировой революции (это вовне, внутри СССР — ограничивались указаниями на антиимпериализм арабского движения, а о мировой революции не заикались даже). Разумеется, все это стимулировало и окрыляло советских антисемитов. Можно было ругать жидов за то, что пьют кровь младенцев — но уже как бы и без нарушения марксистского декорума. И это действительно выглядело как антисемитский рай: с одной стороны, к евреям внутри страны относились как к гражданам второго сорта, с другой, вне страны — всеми средствами мешали им создать собственное госу-

дарство. Правда, поначалу цель была не уничтожение Израиля, а его мучительство. Нельзя сказать, что сопротивления компартий Запада не было вовсе. Слишком резкой была переориентировка, которой от них требовали для единства. Они не могли, например, понять, почему в принимаемой декларации должен быть специальный пункт о борьбе с сионизмом, ведь борьба со всяким национализмом — альфа и омега коммунизма. Но их уломали, слегка уступив — рядом отметили еще и необходимость борьбы с антисемитизмом. Это успокоило совесть наиболее «самостоятельных» и окончательно легализовало практический антисемитизм в международной коммунистической пропаганде. (Борьбы с антисемитизмом от компартий ничто кроме резолюции не требовало, а тут — другое дело). Конечно, какая-нибудь интеллектуальная «Унита» некоторое время пожалась, посложничала, но теперь уже полностью дует в общую дуду. И сегодня все коммунистические партии сообща честно трудятся над уничтожением Израиля. Сначала из-под палки, потому что так велено, а потом они нашли этому диалектическое объяснение и привыкли. И уже по логике неправой борьбы обрели настоящую ненависть. Ведь все время приходится себя настраивать и уверенно опровергать неопровержимые аргументы. Поневоле озлишься...

За организованными партиями, отрицая их за недостаточную крайность, идут слепо другие левые группы. Они и здесь все время стремятся переплюнуть «оппортунистов» в революционной ненависти к «империализму». Эти люди живут в мифическом мире, но, как показали убийства в аэропорту Лод, оружие в их руках вполне реальное. И можно считать, что каждый ребенок, убитый в Израиле террористом, убит левыми или коммунистами: их сочувствие всегда на стороне убийц, хотя иногда они их осуждают за тактические просчеты или из тактических соображений. Это и есть антисемитский интернационал. А все началось с того, что советскому правительству надо было оправдать свою политику...

Все этим началось, но не кончается. Из этого возникают другие коллизии. Западный обыватель жаждет мира. Не столько потому, что он пацифист, сколько потому, что он не любит, чтобы его беспокоили. Евреи западного мира такие же обыватели, как все, но они болеют душой за Израиль и, как могут, поддерживают его. Тем более, что никаких оснований не поддерживать его у них нет: дело Израиля правое. Поэтому сперва, когда это ничем не грозило, западный обыватель скорее склонен был восхищаться Израилем и сочувствовать ему: он борется за жизнь. Шестидневная война, позорное поражение в ней советской политики поставили перед советским правительством задачу: завоевать западное общественное мнение. С этой задачей оно справилось блестяще — в основном, методом запугивания войной. Объяснялось и внушалось, что для СССР «защита» арабов — дело чести, и что он в обиду их по каким-то высоким государственным соображениям дать не может. По каким — на этом внимание не останавливалось, но давалось ясно понять, что уступить должен обязательно Запад. И все это «понимали», ибо все на Западе горят жаждой войти в положение и понять людоеда, который, конечно, ведь не может не питаться человечинной. Дальше оказывалось, что на земле уже давно царили бы мир и благодать, если бы не «сионисты», у которых в западном мире такие сильные позиции и которые хотят заставить народы вокруг воевать за свое неправо дело. (Разумеется, и западный обыватель догадывается, что сионисты — это евреи.) Таким образом, стратегией советского правительства, а вместе с ним и находящегося у него на побегушках антисемитского интернационала стала стратегия глобального антисемитизма. Разумеется, как я уже говорил, она не целиком объясняется антисемитизмом советских руководителей, но он, безусловно, облегчает дело. И, конечно, фанатические крайние элементы подливают все время масла в огонь.

Стратегия эта была не целью, а одним из тех грязных средств, которыми никогда не брезговало советское

правительство. Но это средство, в природе которого есть все, чтобы стать целью. И если этой стратегии не будет оказано должного сопротивления, она принесет неисчислимые бедствия всем людям еврейского происхождения. И только ли им.

Сублимация страха и распределение ответственности

Исходя из всего изложенного, трудно предположить, чтобы я питал какие-либо теплые чувства к советским руководителям. Я их и не питаю. Но когда я слышу рассуждение о том, что все это потому, что «они не революционеры, а могильщики революции, присвоившие ее одежды» (а когда-то я и сам был этим озабочен), я не могу на это не возразить. Мне все равно, кто революционер, кто могильщик, но должен прямо сказать, что к нашим родным советским вождям я отношусь гораздо лучше, чем, допустим, к итальянским образованным, верующим и либеральным коммунистам. Может быть, последние мне даже ближе (духовными грехами, в основном), но они — хуже. Хотя наши и опаснее. Может быть, даже опаснее, чем сама революция, чем они сами думают, ибо понятия не имеют, куда их несет и занесет. Но их — несет, а эти поступают так — путем добровольного выбора.

Трудно заподозрить меня в духовной близости с советскими руководителями, но все-таки нечто общее у нас есть. Во-первых, ни я, ни они — не коммунисты, а во-вторых (это вытекает из во-первых), ни я, ни они всего этого не устраивали, а только одинаково попали в это, как кур в ошип. Когда они выходили в жизнь для того, чтобы делать карьеру (даже в самом лучшем смысле этого слова), надо было как-то приспособиться к царившей тогда атмосфере левой идеологии и фанатизма. Не их вина, что они постепенно приспособили это к себе — это произошло незаметно для них самих, для их воли и сознания. Не их ви-

на, что приспособленное к их потребностям все это потеряло всякий смысл, и что сумятица, образовавшаяся на месте этого смысла (как я все время доказываю — довольно жестокого, хоть и романтического), и стала их внутренним содержанием на всю жизнь. Ведь, в конце концов, даже Сталина, который их вознес, выдумали и выдвинули не они. Да и возможно это стало только после того, что было сделано с Россией другими. И поэтому должен со всей откровенностью сказать, что к Брежневу, какой он ни есть и как плохо я к нему ни отношусь, я отношусь все-таки намного лучше, чем к Ленину, а к Андропову — намного лучше, чем к Дзержинскому. Все-таки не такие они одержимые палачи, как их романтические, вернее, романтизированные предшественники.

Вам эти слова могут показаться непоследовательными, но это — правда. Да и нет здесь ничего удивительного. Просто к судьбе моей страны я отношусь гораздо ответственнее, чем западная интеллигенция к судьбам своих стран, которые, мягко говоря, предоставляют ей гораздо больше возможностей для жизни и самовыражения. Не говоря уже о материальном уровне. Как ни отвратительно это государство, даже оно все-таки лучше анархии и поножовщины. Правда, деятельность правительства направлена на то, чтобы лишить это государство последних опор и нравственных оснований, а это очень опасно — особенно после опустошений сталинского периода. Желание разогнать и подавить все сознательные (но отнюдь не экстремистские) силы страны — желание антигосударственное. Но это уже нечто другое. Да, у них не хватает ни сил, ни мужества, ни ума осознать положение и выбраться из ямы. Но, повторяю, эта яма — не была предметом их добровольного выбора. Только и всего. Ведь они не только носители несвободы, они прилежные ее воспитанники, они не только терроризировали других, но с детства были терроризируемы сами.

А террор, господин Кеннан, как я уже писал, — дело серьезное. Разумеется, я говорю о терроре не индивидуаль-

ном, а массовом. В те времена, когда я учился в школе, террористов-народников даже в детских учебниках открыто осуждали за то, что они не понимали разницы между порочностью индивидуального террора и благотворностью массового*. Массовый террор действительно дает больше эффекта — конечно, после захвата власти. Террор тогда как бы творит мир, мир безграничного конформизма. Он действует в этом смысле и на терроризируемых, и на терроризирующих и довольно успешно понижает уровень представления о себе как отдельных людей и целых народов, так, в конечном счете, и всего человечества, которое вынуждено мириться с ним. Особенно если страна, в которой утвердилось право террора, достаточно большая или значительная (как СССР, Германия или Китай). Мир, который творит террор, утверждается настолько естественно, что люди, которых не удастся терроризировать, выглядят даже не совсем прилично: как монстры, чудаки или уж обязательно выскочки. Задача террора в том и состоит, чтобы тот закуток, куда человек загоняется, воспринимался последним как естественное жизненное пространство, в котором можно свободно жить и даже «дышать», быть счастливым. Человек, боящийся расстрела, еще не терроризируем. Он просто в тяжелом положении и — это положение сознает. Он — еще свободен. Терроризированным он станет тогда, когда жить в этом закутке ему станет легко. Конечно, всему этому способствует и то, что террор так или иначе в значительной степени почти снимает весь активный и самостоятельный слой народа. Как хозяйка — пену. Кстати, та советская романтическая литература двадцатых годов, которой до сих пор поклоняется революционный авангард на Западе, создана — я в этом глубоко убежден — только сублимацией страха**.

*Во второй половине тридцатых годов писать это перестали, но, как известно, это не означало, что террор к этому времени смягчился.

**Разумеется, к этому не имели, или почти не имели, никакого отношения подлинные большие писатели: Булгаков, Зощенко, Платонов, Ахматова, Мандельштам, Пастернак.

Интересно, что создали ее отнюдь не сами большевики (последние не очень в этом нуждались, и даже «Чапаев» Фурманова — вещь не романтическая), а так называемые попутчики, участие которых в революции и в гражданской войне в лучшем случае носило случайный характер, было вынужденным и пассивным. Революционная действительность была столь страшна и противоестественна, настолько пронизана открытым и жестким аморализмом, что сознание отказывалось ее принять. Но это была действительность, а жить надо было. Оставалось только одно: убедить себя, что это не она неприемлема, как было на самом деле, а ты сам неприемлем со своими обветшавшими представлениями о добре и зле. А для этого — восхититься этой действительностью, распростершись пред нею ниц, как перед иконой. Оставалось поверить, что она не уродлива, как было на самом деле, а прекрасна какой-то новой, недоступной тебе — вследствие твоей органической ограниченности — прелестью. Это было тем легче сделать, что она — иногда искренне — обещала все блага (материальные, которых он был лишен) народу, и, протестуя против нее, ты как бы становился врагом этого по корыстным мотивам, отщепенцем, мелкобуржуазным интеллигентом опять-таки.

Я сейчас не пишу об исторической судьбе этих людей. Некоторые зашли так далеко в своем восхищении, что отнеслись ко всей идеологии серьезно. Однажды став на сторону невероятного, они в своем восхищении зашли так далеко, что уже самое эту действительность стали критиковать за недостаточную невероятность (революционность). И погибли на пресловутом следующем этапе. Но большинство перенесло свое умение восхищаться (и объяснять) и на Сталина, правда, не всегда встречая сочувствие в последнем (и, следовательно, не всегда спасая свою жизнь). Сейчас я хочу сказать о другом. Я хочу подчеркнуть, что первоначальной основой энтузиазма многих романтиков был страх (и радость, что есть какой-то порядок, что, как говорит Зоценко, «булки стали выпекать»). Но

это — в духе времени не осознавалось, то есть осознавалось как восторг. И очень жаль, что то, что в свое время было рождено страхом, сегодня продолжает рождать восторг. Шаткие все-таки основания у этого восторга.

В этой обстановке воспитывались люди, которые сегодня стали советскими лидерами, и это — именно это, а не что-либо другое — несут они сегодня в мир, я бы сказал, с рутинной активностью: свой испуг, перекрытый, но не уничтоженный наглостью, свой цинизм, вынесенный из опыта, свою безжалостность, которую они переняли в детстве у людей, которым такие, как Вы, поклоняются до сих пор.

Заключение

Тем более дорожу я свободой цивилизованных обществ. Во-первых, потому что мне вообще дорога свобода. Во-вторых, я знаю, что пока Запад свободен, у нас еще есть основания для надежды. Не потому, что мы рассчитываем на его активную помощь (достаточно просто расширить ту, которую нам и сейчас оказывают информацией о нас и заступничеством). Нам просто необходимо сознание, что где-то рядом свобода еще существует. Именно поэтому я так остро воспринимаю гибель свободы в любой точке земного шара. Если где-то погибла свобода, значит, ее вообще на земле стало меньше, и она стала слабее. И еще безысходнее стала жизнь, особенно наша.

Меня очень возмущают те «филантропы», которые утверждают, что голодным нужна не свобода, а хлеб. Странная альтернатива! На самом деле если человека удастся лишить свободы, лишить его после этого хлеба — проще простого.

Вспомните искусственный голод на Украине в 1933 году. Много ли выиграли украинские крестьяне от того, что не могли защитить себя, когда их в урожайный год морили голодом? — за то, видите ли, что они не хотели работать в колхозе...

Нет, со свободой шутки плохи. Она действительно сама по себе ничего не решает, не делает людей ни счастливыми, ни талантливыми, не уничтожает подлости и так далее. Но стоит ее уничтожить, и все отрицательные качества становятся господствующими. Воздух тоже ничего сделать не может, но попробуйте прожить без него. Свобода — как воздух. Прежде всего для духовной жизни, но и для материальной тоже. И вообще, если нет свободы, в любой момент — примитивно — сочтут нужным, и убьют.

Свободой можно не дорожить только если живешь в кругу разгоряченных и честолюбивых единомышленников, связанных с тобой общей безответственностью, которую, как я уже сказал, они поддерживают в тебе, а ты в них. Иногда это можно принять за вдохновение, но это — в прострации властолюбия. Впрочем, у этой прострации есть серьезная культурная (верней, антикультурная) традиция.

Я уже писал, что большевизм — идеология женеvской эмигрантской политической богемы. Но надо помнить, что эта богема многими нитями была связана с другими — отнюдь не только политическими — богемами XX века. И традиция безответственного отношения к важнейшим ценностям у всех этих богем — общая.

Разве традиция обязательного новаторства, «современности» в искусстве (в смысле отрыва сегодняшнего дня от всей массы истории культуры), обязательной непохожести и ненависти ко всему обычному в человеческой жизни — идет не оттуда?

Странные все-таки заботы у теперешней интеллигенции. Один из её вождей, долго живший в СССР венгерский марксист Георг Лукач, хорошо знавший, чем это все чревато и считавшийся среди марксистов либералом, вдруг перед смертью заявил, что несмотря ни на что, «самый плохой социализм лучше самого хорошего капитализма». Другими словами, получается: «Самая плохая диктатура лучше самой хорошей демократии, если та допускает частную собственность». (Ибо, что такое социализм,

никто не знает, знают только, что к нему надо стремиться и ничего при этом не жалеть.) Единственное оправдание этих слов, если они вынужденны. Разумеется, на Востоке, где они сказаны, их влияние равно нулю, но на Западе они оказывают только вредное влияние — хотя и не имеют смысла. А ведь Лукач был человеком совсем не глупым и совсем не тёмным. Просто он не смог под старость вылезти из-под развалин той доктрины, которой служил всю жизнь.

Все это вместе создает какой-то фантазмагорический мир ценностей. Попробуйте вникнуть хотя бы в смысл лозунга «социализм с человеческим лицом». Этот лозунг явно исходит из понимания того, что все социализмы, которые были до сих пор, такого лица не имели. Это правда. Он настаивает на том, *что* возможен и такой социализм. Я в это не верю, но допустим, что это так. Меня сейчас интересует не реальность или фантастичность этого лозунга, а направление *его* озабоченности. А направление это простое. Прежде всего, обелить социализм. Поскольку социализм возможен (раз «мы» в это верим и это говорим) и *с таким* лицом, то — опять-таки — «Да здравствует социализм!». То есть, что бы то ни было, главным в этой озабоченности остается абстракция (к которой все обязаны стремиться) и только желательным — человеческое лицо. А может быть, все-таки главная ценность — это человеческое лицо, а социализм при нем может быть, а может и не быть — в зависимости от того, как он обеспечивает сохранение и проявление этой главной человеческой ценности? Разве не так? Почему ж этого не замечают?

Мне очень не хочется, чтобы наш страшный опыт не был учтен и пропал даром. Мне кажется, что мы живем в то время, когда надо стремиться не к какому-то новому небывалому миру, а только к спасению, распространению и духовному освоению хотя бы тех немалых достижений, которые уже есть у человечества.

Духовно освоить эти достижения — значит освоиться в мире, созданном ими. Допустим, не быть расточитель-

ным при изобилии («уметь самоограничиваться», как говорит Солженицын) и не хулиганить, когда есть свобода. Это отнюдь не означает, что не надо заниматься практическими улучшениями жизни и управления, но это значит, что не надо убивать муху на лбу топором. Вперед же — если возникнет такая потребность — можно двинуться и когда-нибудь позже.

Закончить — поскольку теперь в большой моде Восток — мне хочется тоже по-восточному:

— *Слушайте, люди города, и не говорите, что вы не слышали.*

Собственно, я не очень верю, что Вы или Ваши «друзья» последуют моему призыву и задумаются над моими словами и моим опытом. Но поскольку меня мучила совесть по поводу того, что никто из нас не говорил с вами об этом прямо, я все-таки хочу это сделать. Хотя бы для очищения совести.

Итак, пока еще есть время,
СЛУШАЙТЕ, ЛЮДИ ГОРОДА!..

Москва—Рим—Бостон, 1970—1975

Судьба Ярослава Смелякова

Умер Ярослав Васильевич Смеляков... Я стоял в почетном карауле у его гроба в Дубовом зале Дома литераторов и последний раз смотрел на него. Его лицо почти не изменилось. Казалось, человек просто уснул тяжелым сном — спит, а все помнит. Все, с чем давно примирился и чему давно знает цену: и в себе самом, и в окружающих. Впрочем, так он и жил. Что он все помнит, я знал о нем всегда. Даже когда он делал вид (перед собой тоже), что не понимает чего-то такого, чего уж никак не мог не понимать. А понимал он многое — гораздо больше, чем хотел. Ибо, кроме того, что он был в прошлом председателем бюро секции поэзии Московского отделения Союза писателей, кроме того, что он входил во всевозможные обоймы признанных, ведущих и любимых «нашим народом» и «нашей молодежью» поэтов и что, в конце концов, его за это наградили Государственной премией, кроме всего этого и многого другого, вопреки всему этому — он еще был подлинным поэтом. А если судить по лучшим его достижениям, то — не побоюсь этого сказать — и большим поэтом. Впрочем, последнее больше относится к его возможностям, душевным и профессиональным, которые он в силу многих причин реализовал далеко не полностью.

Я не остался на панихиду и не ездил на кладбище. Не хотел слышать речей — таких, как на похоронах Паустов-

ского и Твардовского. Тем более, что в данном случае эти речи имели бы больше оснований. Ведь он из кожи вон лез, чтобы эти основания дать. И дал их вполне достаточно. И все же эти речи не вяжутся с ним. Впрочем, как многое в его жизни с ним не вязалось. Древними сказано: о мертвых либо хорошее, либо ничего. Думаю, что эта правильная и благородная формула сегодня неприменима. Если говорить о Смелякове одно хорошее, — все эти холодные официальные речи не будут ничем опровергнуты, и в сознании многих останется одно плохое или безразличное. Не лучше ли сказать об этом плохом самим, выделить его и отделить от него то, за что мы всегда прощали ему это плохое, то, что мы считали в нем главным и что в глазах многих теперь заслонено этим плохим, в значительной степени наносным. Богато наше время подобными наносами и наслоениями!

Нет, я не собираюсь ни оправдывать Смелякова, ни «списывать» с него дурные поступки. Дурные поступки поэта судятся по тем же законам, что и дурные поступки всех других людей (разумеется, с таким же учетом смягчающих обстоятельств), я отнюдь не сторонник нравственной экстерриториальности поэта. Просто, я немного понимаю в поэзии и знаю, что многие стихи Смелякова представляют собой высокое движение отнюдь не мелкой души, и что плохой и пошлый человек просто не мог бы их написать. Да он никогда и не казался плохим или пошлым. И когда он совершал или писал нечто такое, что мне, мягко говоря, не нравилось, я не возмущался, а просто огорчился за него. Как уже сказано выше, это с ним не вязалось — ни с его лучшими стихами, ни с его обликом.

Но это — было. И я не стремлюсь здесь преуменьшить его грехи. Имя всякого выдающегося человека — на самом деле выдающегося, а не возведенного в такой ранг мероприятиями уполномоченных на то учреждений, — входит в духовный потенциал его страны, а иногда и человечества. С этим связана и ответственность за имя, за все, что этим именем подписано, ответственность, которая советской литературой утрачена почти полностью. Ведем

себя так, как будто имена эти не наши, а государственная собственность, выданная нам под расписку для выполнения определенной, «нужной обществу» работы.

За последние десятилетия многие обрели ответственность за то, что они говорят в художественных произведениях, но она почти ни у кого не распространяется на все ими подписанное. Мы произносим фразы, которые считаем необходимой данью установленной форме, и нас не заботит, что многие люди, особенно за пределами нашей страны, понимают их буквально и делают соответствующие этим фразам, но не соответствующие нашим мыслям и нашему знанию выводы. Неужели мы тоже должны поддерживать традицию, согласно которой обмануть иностранца — совсем не грех, а то даже и проявление подлинного патриотизма?

Ни обелять, ни оправдывать безответственность Смелякова в этом вопросе я не собираюсь. Да и можно ли оправдать его позорное интервью газете «Нью-Йорк Таймс», в котором он обрушивается на Солженицына за его «К девятому дню» и демагогически доказывает, что Твардовский никогда не был антисоветчиком; Смеляков не мог не знать, что Солженицын не говорил ни в этом, ни в каком-либо другом заявлении ничего такого, что могло бы потребовать таких опровержений, следовательно, он в своем интервью лжет. Несогласие Смелякова с общей позицией Солженицына или неприятие самого духа его творчества — если такое имело место, и на что он, естественно, имел право — оправданием здесь служить не может. Это не спор, а клевета. И, конечно, он не мог не понимать, что этим лживым письмом он включается в травлю человека, защищающего свое творчество от тотального административного насилия.

Как хорошо ни относишься к Смелякову, ни оправдать, ни преуменьшить значение этого поступка невозможно. Говорят, что им и объясняется тот факт, что проститься с талантливым поэтом пришлось сравнительно немногим людям. Не знаю, может быть, и так. Не думаю, что причина

только в этом, но на похоронах действительно присутствовало много литераторов, и почти не было читателей. Да и литераторы, хоть их набралось немало, были не все, кто должен был быть.

Это очень больно, но я никого не могу упрекнуть.

Слишком трудна сегодня жизнь человека, и совсем неудивительно, что в поэтах он видит силу, помогающую ему отстаивать свое достоинство, а значит, полностью теряет к ним интерес, когда они его подводят. Это не всегда справедливо. Трудна сегодня жизнь и для поэтов, и далеко не всегда один поступок может отменить всю его деятельность. Но все-таки это естественно.

Впрочем, теперь появились люди (Смеляков к ним не относился), которые хотели бы поэзией заниматься, а от этой роли уклониться. Они думают, а чаще делают вид, что думают, что это требование равнозначно пресловутому шестидесятилетнему требованию «долга перед народом», «перед меньшим братом», перед партией, классом, идеей и так далее, то есть, что это все те же набившие оскомину и справедливо скомпрометированные, пошло игнорирующие саму сущность поэзии, требования. И поэтому, уклоняясь от всего такого, они себя даже ощущают причастными к некоей духовной элите. И даже не замечают, что ощущение элитности при полном безразличии к личному достоинству — отличительная черта лакейства. Но это не просто лакейство, это еще и хитроумная ложь. Требование достоинства, а значит, правды, внимания к тому, что обращает на себя внимание, — все это внутреннее, неотъемлемое требование искусства, да и вообще самого существования личности. Вряд ли надо напоминать о том, что нажим и зажим сегодня касаются не только и даже не столько мифического «меньшего брата», сколько их самих и их знакомых, касается не рассудочного стремления перестроить мир и улучшить человека по нашим земным мыслительным чертежам, а простого самовыражения, проявления естественнейших реакций, и что «не заметить» этого без насилия над достоинством невозможно.

От поэта и теперь требуется верность, но только не чему-то и кому-то, а самому себе. Остальное делается само собой. Конечно, я говорю здесь о подлинном поэте, о человеке, у которого есть поэтические претензии к жизни (у Смелякова они были в высочайшей степени), который красоту и гармонию добывает самостоятельно из наличной жизни, а не пытается имитировать их, обходя эту жизнь (свою тоже) при помощи умиления и экспрессии, в сущности, по готовым рецептам. Такая деятельность, возможно, даже укрепляет сознание собственной элитности, она пока вполне безопасна, но радости никому не приносит. Это не творчество, не создание гармонии, а чистописание по прописям, какие бы слова при этом ни произносились.

Верность самому себе — вещь отнюдь не простая. Это — не только и не столько отказ от ложных шагов, от писания ложных, то есть ненужных автору стихов, сколько неукоснительное исполнение того, к чему его приводит естественный путь развития; это — умение приходить к тем выводам, к которым его приводит жизнь, осознание того отношения, которое она у него вызывает, совершение тех шагов (по крайней мере, создание тех произведений), которые у него рождаются. Если человек не только корысти ради, а даже из верности собственным взглядам преградит дорогу своему замыслу, он оборвет свое развитие, а восстановить этот естественный творческий процесс очень трудно, не говоря уже о том, что это будет попыткой обмануть людей, народ, человечество.

Но об этом я буду еще говорить. Сейчас же мне хочется отметить только одно. Выступление Смелякова в газете «Нью-Йорк Таймс» в сложившейся обстановке было ударом не только по Солженицыну (что само по себе немало), но и по каждому честному человеку в нашей стране, и поэтому реакция на этот удар была вполне естественной.

И все-таки иногда — особенно перед лицом смерти — надо уметь прощать и удары. Ибо кто из нас без греха,

чтобы швырять в другого камнями? Нам сегодня не совсем по карману слишком строго судить друг друга.

В очень трудное — особенно для поэзии! — время жил на свете Ярослав Смеляков. Причем жил так, что его жизнь, даже на фоне этого нелегкого времени, воспринимается как весьма тяжелая. Что и говорить! Время прошло по нему всеми воспетыми им тракторами и шестернями. И все-таки он ухитрился кое-что оставить нам. А ведь он был поэтом, то есть был совсем не из железа. Этим я отнюдь не хочу сказать, что Смеляков был слабым человеком. Поэты не бывают слабыми людьми. В стихах, может быть, прежде всего должна чувствоваться сила, а обмануть стихи невозможно — форма не дает. Но это — иная сила, не та, которая помогает переносить пытки — моральные и физические. В комплекс этой силы входят, например, сила восприимчивости и воображения, которая в определенных условиях становится слабостью и отнюдь не повышает сопротивляемость. Сопротивляемость же Смелякова была ослаблена еще и тем, что он был представителем самого ограбленного поколения людей нашей страны и что, как все это поколение, он не видел никакой опоры для своей духовности вне той системы, которая больше всего противоречила всякой духовности и которая время от времени пыталась вбить его самого в землю. Поколение — слово довольно расплывчатое, оно определяется отнюдь не только возрастом. И входят в него разные люди. Представителем того же поколения, что и Смеляков, был, например, Твардовский. Но как по-разному складывались жизненные и творческие пути этих поэтов.

Прежде всего, у них различные истоки. Твардовский по своему происхождению был крестьянином. Правда, и Смеляков, судя по некоторым его заявлениям из стихов последних лет, тоже был «крестьянским внуком». Но это никак не определило его творчества, особенно в начале тридцатых годов. Впечатление было такое (не знаю, верно ли оно), что он происходит из средних городских слоев, близких по быту и представлению к средней интел-

лигенции. Поэтому его приход в литературу был гораздо менее экзотичен, чем приход Твардовского: из этих слоев уже давно (и чем дальше, тем больше) пополнялась духовная элита страны. В каком-то смысле, он даже начал с того, к чему Твардовский пришел только к концу жизни, — с лирического самосознания, с самого себя. Твардовский, по-видимому, довольно долго воспринимал такое самовыражение как нескромность, как навязывание самого себя публике. А подозрительное отношение к любовной лирике он, кажется, сохранил до конца своих дней. Не надо думать, однако, что это было вовсе причудой или глупостью. Достаточное количество авторов действительно навязывают и самих себя, и свои любовные переживания публике совершенно без всяких оснований. Но ведь это относится и к другим темам, которых они дерзают касаться, так что вопрос совсем не в этом.

К сожалению, лирическое самовыражение Смелякова, то есть, прежде всего, его восприятие, не могло быть и не было безгранично свободным. Оно было обусловлено и ограничено многими факторами — прежде всего психологией поколения, с которым он был исторически и органически связан и лучшим поэтом которого, по-видимому, был. (Твардовский был поэтом страны, поэтом эпохи, но поэтом поколения он не был никогда). Что это за поколение? Поколением в литературном и историческом смысле всегда называлось только поколение интеллигенции, возрастная группа ее, которая приносила с собой новые духовные веяния, ибо жизнь остальных слоев общества (во всяком случае, в России) почти не менялась.

Теперь положение у нас и во всем мире несколько изменилось: смена поколений появилась и в других слоях. Но тогда этот процесс только начинался, и Ярослав Смеляков, конечно, был поэтом своего поколения русской, вернее советской — слово «русский» тогда не любили — интеллигенции. Рабочая тема в его ранних стихах и в стихах, написанных о годах, когда писались эти ранние стихи, не должна никого обманывать: все эти цеха; смены,

столовки, шамовки, фабзавучи и бригадиры воспринимаются не взглядом рабочего, для которого это приметы повседневного быта, а взглядом некоего юного интеллигента, который в рабочей спецовке — другого пути для него, собственно, тогда и не было — начинал свою трудовую биографию. То, что не все эти интеллигенты были потомственными, ничего не меняло; все они, сознательно или бессознательно, рассматривали свое пребывание за станком как временное. Ну что ж. Тем сильнее они жаждали как можно быстрее и полнее слиться с передовым классом. И далеко не для всех это было чистым приспособленчеством. Это было, прежде всего, желанием как можно быстрее приобщиться к единственно мыслимым тогда, единственно известным духовным ценностям. А жажда духовной жизни, совпадавшей с жаждой знаний (пути к которым или к муляжу которых для многих впервые открылись только недавно), у них была подлинной и огромной. Духовный потенциал страны тогда был еще громаден.

Совершенно не доказано, что ценности эти действительно были связаны именно с рабочим классом, тем более, что наличный состав класса претерпел множество изменений. Если бы кто-нибудь взялся за исследование истории петроградских и московских рабочих семей при советской власти (начиная с расстрела демонстрации в защиту Учредительного собрания), думаю, он увидел бы, что она по своей трагичности мало чем отличается от истории семей дворянских или интеллигентских. Но тогда это, во-первых, не было еще так ясно, а во-вторых, не над тем работали мозги. Романтикой этого поколения была гражданская война, время, как им казалось, прямой защиты идей; в настоящем они искали продолжения этой романтики (сконцентрировав свой накал на коллективизации и «борьбе с кулачеством»). В будущем им виделась мировая революция. К сожалению, иной духовной жизни они себе не представляли.

Теперь начали появляться мемуары, из которых видно, что такое настроение было отнюдь не всеобщим,

что какие-то люди, часто из рабочей среды (см.: *Е. Олицкая*. «Мои воспоминания». Изд-во «Посев», Франкфурт-на-Майне. 1971), искали иного выхода, хотели по старой памяти (и старыми методами) бороться против гнета и вопиющего нарушения прав трудящихся. Но в жизни такие люди тогда почти не проглядывались (видимо, тогдашнее ГПУ работало куда более разборчиво, а следовательно, куда результативнее, чем НКВД в последующие годы), а если и появлялись на горизонте, то выглядели со стороны достаточно жалко, как «интеллигентики», «хлюпки» и так далее, что никогда не кажется привлекательным, особенно романтически настроенной молодежи.

Жалко должен был выглядеть со стороны, например, Мандельштам. В годы великого перелома (когда даже Пастернак написал «Второе рождение») этот отщепенец написал первое в стране стихотворение против Сталина, в одном из вариантов которого назвал сего деятеля «душегубом и мужикоборцем». И создав этот пасквиль, он не ждал гордо последствий, как надлежит борцу, пусть даже за неправо дело, а позорно «трусил». И еще острее ощущал свою несовместимость с режимом, вследствие чего «трусил» еще сильнее. Кто же боится, — тот жалок. Вот Тихонов — тот ничего не боялся. Однажды, правда, со страху отказался от себя, но потом и мысли такие в голову не приходили, чтобы из-за них бояться. Он жалок не был. Не был жалок, наверное, и Павленко, который, по его словам, из-за портьеры в кабинете следователя наблюдал, как недостойно ведет себя на допросе Мандельштам — совсем не как борец. Почему он считал, что Мандельштам обязан был оказаться достойным той роли, которую никогда себе не выбирал, и которая ему и при счастливом стечении обстоятельств не могла бы казаться интересной, — останется навсегда тайной. Впрочем, этой роли не выдержали и те, для кого она была единственным оправданием жизни: те же следователи, которые в 1934 году презирали Мандельштама за трусость, и их друзья в литературе.

В сущности, культурная традиция поведения обрвалась не «в 37-м году», а гораздо раньше, хотя мыслить внутри идеологии (если это не задевало непосредственно политической злобы дня) еще разрешалось. Но реальной жизни, реальных взаимоотношений людей, реального их эмоционального состояния касались не только сложные умопостроения еще не арестованных марксистских ученых, а именно эта злоба дня. И касалась не как-нибудь там «идейно», а практически, можно сказать, физически, касалась непосредственных нравственных реакций.

Поколение училось безжалостности не только к классовому врагу, но и просто к тем несознательным элементам, которые тормозили развитие. Характерный штрих времени: народовольческий террор осуждался и потому, что он индивидуальный, в то время как правильным и полезным террором мог быть только массовый. И никого это не удивляло. Ко всему этому следует прибавить, чтобы картина получилась полной, еще общемарксистскую традицию исторического карьеризма, согласно которому священный долг сознательной личности состоял в угадывании воли истории с тем, чтобы наилучшим образом соответствовать ей в каждый данный момент, независимо от того, как выглядит эта воля с точки зрения старомодных добра и зла. Опасаться в этом случае можно было только одного: чтобы в какой-то момент оказаться не на самом гребне революционной волны.

Культивирование подобных настроений, конечно, как-то помогало легче переносить страдания украинских мужиков, сотнями умиравших от голода внутри и вокруг Курского вокзала, мимо которого молодые энтузиасты спешили на интересные диспуты о Маяковском, Мейерхольде и сложной рифме. С одной стороны, перед ними был открыт путь, вместе с историей, к прогрессу, к интересной и значительной жизни, с другой, — стоило только хоть раз приземлиться (хотя бы только душой) рядом с этими грязными телами умирающих на заплыванный пол Курского вокзала и взять хоть в какой-то степени на себя

эти тупые неинтересные страдания этих темных представителей умирающей частнособственнической стихии, как всему наступал конец: из высокой элиты духа вы тут же попадали в плебс. Во-первых, по своему политическому и материальному положению (что отнюдь не просто, когда оно меряется на граммы хлеба, жиров и крупы), во-вторых, с точки зрения большевистского нищезанятия, о котором шла речь выше и которое стараниями большевистских интеллектуалов типа Бухарина и Троцкого стало господствующим настроением всей революционной (и конформистской по отношению к революции) интеллигенции. Подобное нищезанятие было для всех наглядно: или ты оставался «сознательной личностью» и сам себя, как лошадь под уздцы, вел по дороге «исторической необходимости», или тебя просто гнали по этой же дороге как представителя несознательной массы. А быть «массой», хотя уважение к массе прокламировалось на каждом шагу, и все его разделяли, почему-то никому не казалось заманчивым. Наоборот, это было, именно ввиду большевистского нищезанятия, гораздо менее привлекательно, чем в любую другую эпоху: такое положение напрочь отрезало человека от всякой надежды на сознательную жизнь. Единственным выходом, хотя бы иллюзорно сглаживающим кричащие противоречия эпохи, был энтузиазм. За него и держались как за спасительную соломку.

Тем не менее, тон превосходства и насмешки при разговоре об этом поколении абсолютно недопустим. Прежде всего потому, что не оно само себя «ограрило», лишившись доступа к информации о мире, стране, общечеловеческих ценностях и, вообще, об интеллектуальной жизни человечества. Но не только поэтому. Просто это ограбленное поколение обладало отнюдь не одними отрицательными чертами. У него было много (как потом — но только потом — выяснилось: неосновательного) доверия к жизни (что само по себе отнюдь не плохо) и много обаяния, связанного с бескорыстием, со способностью к жертве и многими другими качествами, в которых человечество

нуждается и будет всегда нуждаться. Ведь именно оно — так случилось — вынесло на своих плечах основную тяжесть Отечественной войны и в значительной своей части полегло на фронтах. Помыслы его были чисты, хотя сказать это о руках можно было далеко не всегда, потому что и коллективизация, и раскулачивание происходили все-таки при деятельном участии или, во всяком случае, при горячем сочувствии его представителей. И откуда им было знать, что то, что зажигало их энтузиазм, что оправдывало в их глазах самые страшные преступления, иногда было результатом не какой-нибудь — пусть даже ложно понятой — политической необходимости, а темных личных расчетов Иосифа Сталина, расчетов, в которых главным было не только не будущее мирового пролетариата или хотя бы их страны, но удушение личных конкурентов диктатора, укрепление его личных позиций, нежелание сознаться в том, что была сделана глупость, за которую надо отвечать. Вот на что использовалось их стремление быть верными, «твердокаменными», не знающими сомнений. Их оправдывает только одно: не ведали, что творили.

Романтическое изображение коллективизации и раскулачивания занимает видное место в ранних стихах Смелякова, написанных в начале тридцатых годов, до его первого ареста (конечно, традиция такого отношения к делу создана не им, а скорей Багрицким — «ГБЦ», «Человек предместья»). Но отчасти она была естественна и для представителя поколения тех мальчиков, «что опоздали родиться к тачанкам и трубам гражданской войны» (представление о которой было навеяно произведениями отъевшихся на хлебах нэпа и так и не оправившихся от естественного испуга перед этой бессмысленной бойней писателей-попутчиков) и не постигли иных ценностей, чем борьба, особенно, классовая.

Но при всем том как-то странно сегодня читать эти произведения о замечательных лирических мужественных посланцах комсомола, которых караулит низколобий, злой, хищный кулак с обрезом и хочет убить их толь-

ко за то, что эти посланцы во имя своих личных душевных потребностей (верности делу, любви к борьбе и ненависти к частной собственности) хотят выгнать его, хищника, из собственного, им лично построенного дома, разорить его дотла и отправить владельца вместе с женой и детьми либо в Соловки, либо в Нарым, в тайгу и пустую степь, откуда многие, особенно, дети (забота о детях тогда не распространялась на детей классовых врагов), не вернутся. Из сказанного чуть выше должно быть ясно, что я отнюдь не думаю, что этого комсомольца следовало рисовать одной черной краской. Повторяю: в отличие от Сталина субъективно эти люди далеко не всегда были уголовными преступниками. Но все лучшие их качества — верность, бескорыстие и так далее — в силу обстоятельств служили его преступлениям. Именно потому это и было национальной трагедией.

Смеляков этой трагедии, как и многие его сверстники, как бы просто тогда не заметил. Все происходившее он воспринимал не только бравурно, но даже лирически. Впрочем, при всей противоестественности этого лиризма, в самом факте обращения к нему проявилась и положительная черта: желание вернуть лиризм, что было тогда новым для русской советской поэзии (если, конечно, не относить к ней поэтов, начавших свой творческий путь до революции). И пусть лиризм Смелякова был еще как-то связан с утверждением идеологии, с обживанием мира новым человеком, но это был лиризм, лирическое осмысление. И стихи эти отличались от стихов, исполненных романтики фанатического растворения в боевых порядках класса, которая была общепринятой нормой идеологического приличия в предшествовавшие годы.

Но прославился Смеляков, кажется, не столько этими стихами, сколько чисто лирическим стихотворением «Любка». Нет, и это стихотворение было, конечно, тоже вполне комсомольским (но оно было и лирическим). Касалось оно не любви комсомольца, в основном занятого другими делами (такое и раньше бывало в молодой совет-

ской поэзии), а проявления всего человека, вместе с его комсомольством, в любви. Осмысление любви как личного, личностного отношения, как судьбы. Это уже был выход в подлинную «старую» поэзию, в подлинную «старую» духовность. Такого не было до сих пор ни у него, ни у его сверстников, даже таких талантливых, как друзья Смелякова — Борис Корнилов и Павел Васильев.

Впрочем, появление таких стихов было вполне естественно: люди, выросшие после Октября, располагались в новой жизни как просто в жизни (да она и была для них «просто жизнью», другой они не видали) и хотели в ней как-то легализоваться, то есть легализовать свои чувства, свой быт, свое существование, увидеть в них ту ценность, которую обычно люди видят в своей жизни. Казалось бы, все так просто — почему нельзя легализовать быт людей, буквально пронизанный идеологией? Вышло, что нельзя. Это оказалось упадничеством. Правда, упадничеством тогда назывался всякий лиризм. Теперь я понимаю, что в этом был резон. Каким бы ни был лиризм, он так или иначе будит самосознание, в какой-то степени он — всегда проявление самосознания, порыв к духовности, выход — сквозь все внушенное, воспитанное — к своей душе, к своей ответственности, к самому себе. А этот процесс легче и проще вообще не допускать, чем ограничивать; разумеется, в том случае, когда жизнь держится на фантастических основах.

Нет, я не берусь утверждать, что Смеляков (в 1934 году, кажется) был первый раз арестован именно поэтому. Возможно, действительно кто-то глубокомысленно счел всю его лирику проявлением мелкобуржуазности, но и не менее возможно, что он где-то что-то сказал не то (времена-то тогда были впечатляющими, впечатления вполне могли и не удержаться в границах мировоззрения, несмотря на общую верность ему); возможно, он просто шутку какую-нибудь учудил, а шуток тогда не понимали. Но комсомолец Ярослав Смеляков был арестован органами диктатуры пролетариата. Уже много лет спустя после этого события, после войны, во время очередного пребыва-

ния Смелякова в нетях, А.А. Сурков в назидание литературной молодежи примерно так сообщал об этом событии: «Вот был молодой талантливый поэт Ярослав Смеляков! Большие надежды подавал, но попал под влияние каких-то литературных дам и вот — пропал!». Вопросы о том, почему он должен был пропасть, попав под влияние каких-то дам, да еще таким образом пропасть, что это были за дамы и в чем заключалось их влияние, не ставились, все это неизвестно и до сих пор. Трогает только сам тон этого сообщения, эта спокойная уверенность в естественной справедливости возмездия, постигшего легкомысленного поэта, который, правда, ничего плохого не хотел, но — вот мистика диалектики! — тем не менее, преступно нарушил какую-то непонятную ему да и нам, невидимую, но нерушимую границу. Так что — берегитесь! Впрочем, эти слова сказаны были уже потом, а тогда времена еще были вполне «патриархальными», даже термина «враг народа» еще не было. Так что посадить его могли вполне дружелюбно: «Ты, дескать, Ярослав, человек вполне наш, к тому же очень талантливый. И великому нашему делу ты вполне предан. Но по некоторым своим качествам — тоже вполне хорошим — в настоящих условиях вреден. Так что — сам знаешь: общее выше личного — не обессудь, посиди немного для нашей общей пользы. Тогда ведь в ГПУ интеллектуалы работали, это время потом — правда, не всеми — воспринималось, как светлый сон и романтическая легенда. Но, так или иначе, свой срок Смеляков получил.

Не думаю, что его взгляды в заключении претерпели существенные изменения. Скорее всего, он упорно держался за то, что думал раньше, как за единственное свое духовное достояние, от которого его хотят оторвать. И, скорее всего, он действительно оставался тем, кем был до этого — комсомольцем начала тридцатых годов. Но когда он вернулся — это произошло не то в 1938, не то в 1939 году (точных дат я не знаю, но ведь пишу не биографию), — оказалось, что мир за несколько лет отсутствия стал другим, почти совсем непохожим на тот, который он оставил.

Я тогда не был и не мог быть с ним знаком, но думаю, что ему было довольно трудно. Во-первых, независимо от всего остального он стоял перед унижительной необходимостью доказывать верность Делу, которому он на самом деле был верен. Унижительность этой необходимости усугублялась ведущейся повсюду пропагандой бдительности и общего недоверия. Во-вторых, доказывая свою верность делу, надо было на ходу приспособиться и к тому, что само Дело уже не то, и что этого надо не замечать, хоть это лезет в глаза. Самым лучшим выходом здесь была «скромность» — вера в то, что все очевидно, но ты этой очевидности не понимаешь. Подогревало эту «скромность» подспудное знание того, куда теперь приводит излишняя дотошность. В кругах, где вращался Смеляков, люди, перестав, таким образом, доверять себе, естественно, переставали доверять и друг другу. Вот в какой мир он вернулся.

Спустя тридцать-сорок лет появились люди, которые, справедливо открыв, что и деятели, уничтоженные Сталиным, далеки были от ангелоподобности, прославляют теперь бывшего вождя как человека, уничтожившего большевизм и восстановившего величие России. Об этом же — только в обвинительных тонах, называя его термидорианцем, — говорили троцкисты и другие ортодоксальные большевики. Им вторил их антипод — Милюков. Правда, для него слово «термидор» означало надежду.

Верно ли это? Прежде всего — о величии России. Действительно, с воцарением Сталина был возвращен надлежащий смысл доселе находящимся в загоне словам «Россия», «русский», были как будто легализованы русская культура и русская история. Но это только означало, что Сталин решил сыграть на национальном факторе, заставить и его работать на себя. Все это неустанно фальсифицировалось, и даже не по соображениям идеологии, а в угоду ближайшим политическим расчетам. В конце концов, все эти необходимые и значащие слова и явления

превратились чуть ли не в посмешище. Я уже не говорю о том, что они имели отношение к судьбе России, а значит, и к ее величию, и к судьбам миллионов жертв коллективизации и раскулачивания — мероприятий, которые втихомолку воспринимались как чрезмерные даже выдавшими виды старыми большевиками. Кстати говоря, эта молчаливая оппозиция в большой степени определила впоследствии их судьбу. Какими бы они ни были до этого, сколько преступлений ни совершили бы сами, — уничтожены они были именно за то, что проявилось на пресловутом «съезде победителей».

Так что уничтожил Сталин не большевизм, а только старых большевиков, и уничтожил их за недостаточный большевизм в этом важнейшем вопросе. Сама же большевистская идеология нисколько не была отменена, она была только конфискована у большевиков и в значительной степени обесмыслена. Но это отнюдь не улучшало положения — заставляли поклоняться и обесмысленной. Преемственность же всех целей и методов считалась ненарушенной, Сталин, а с ним и призванная им элита, считались истинными и естественными продолжателями дела Ленина и Октябрьской революции. Народ на эти перемены как будто и не реагировал: наступление на его жизненный уровень началось гораздо раньше. (Наоборот, при Сталине даже облегчение наступило, он «Головокружение от успехов» написал.) Что же касается новых выдвиженцев, то бессмысленная идеология их подсознательно устраивала больше, чем осмысленная. В ней было больше мистического, непонятного, такого, что понимали не они, а *он*. Ведь только *он* понимал причины внезапного возвышения каждого из них. Возможно, такому их умонастроению способствовали и традиции схоластического мышления российского православия (см. «Псковские споры» В.О. Ключевского). Но факт остается фактом: большевизм оставался, а составлявшая его основу идеология мировой революции, на которой воспитывалось несколько поколений советской интеллигенции, отходила

на задний план. Правда, воспитанная на диалектике, эта интеллигенция не терялась, а объясняла все тактически-ми соображениями властей, верных прежним идеалам: дескать, об этом не говорится, но в этом — суть. Это чушь. Наоборот, из тактических соображений иногда возвращалась бывшая фразеология, а отказ от нее определялся духом времени и духом власти.

Парадокс в том, что иной, цельной идеологии и непротиворечивой системы фраз советское общество не имело никогда. Но за логичностью тогда никто не гнался, народу внушалось, что он живет теперь лучше, чем когда бы то ни было; и это проходило, особенно после голода начала тридцатых.

В принципе тогдашнее положение с идеологией вполне включалось в общую работу пропаганды по созданию в мозгах людей некоего условного мира, который должен был заменить, и во многих случаях успешно заменял, мир реальный (об этом писал в эпилоге романа «Доктор Живаго» Б.Л. Пастернак). В сущности, это было централизованной работой по умственному расстройству всего народа, прививка ему разновидности шизофрении.

В этих условиях все взыскующие града — я уже говорил об этом — держались за единственное цельное, что они знали: идеологию и романтику революции. Любые стихи о том, что эти традиции живы и продолжаются, воспринимались как освобождение от пустоты, которую если не осознавали, то ощущали все, кто хоть мало-мальски мыслил, как придание смысла жизни, этого смысла лишенной. Стихам Симонова, в которых это бывало, рукоплескали как раз те, кого потом стали считать либералами. К героике и смыслу относились не только воспоминания о гражданской войне, но даже о «классовых битвах» с кулачеством. Все-таки это имело нечто общее со смыслом идеологии (так сказать, преодоление частнособственнической стихии). Расширение империи, принесшее людям столько горя и страданий, воспринималось этими людьми с удовлетворением. А ведь они не были шовинистами. Ка-

кой тут шовинизм! Коммунизм шагает по планете, революция продолжается — вот все, что их интересовало. Фантастически извращается мышление человека, когда он живет в закрытом обществе.

Думаю, что если сейчас поговорить с лучшими людьми Китая, особенно молодыми, выяснится, во-первых, что они относятся к режиму с некоторой, правда, доброжелательной, но все-таки оппозицией. Скорей всего они недовольны некоторой нерешительностью Мао, который никак не может развязать настоящую революционную войну против американских империалистов и советских ревизионистов, и что поэтому их знамя теряет былую чистоту. Они вполне искренни, и все же на самом деле им просто душно жить в обстановке лжи, бесправия и бессмыслицы. Им просто надоела бессмыслица противоестественного стабилизированного идиотизма, который сегодня безответственные западные обозреватели, повторяя то, что они в середине тридцатых годов писали о нашей стране, называют нормализацией положения. Между прочим, ненормализованный идиотизм менее опасен именно вследствие своей искренности и цельности — в нем всегда можно разочароваться. Из нормализованного идиотизма выхода еще никто не находил.

Конечно, какие-то признаки нормализации как будто были. Была как будто введена демократическая по форме система правления (всеобщее, прямое, равное и тайное голосование, парламент). Трудно было все-таки догадаться, что это — только имитация. (Что это означает сегодня, знают даже западные интеллигенты). Впрочем, были изменения и более существенные. Были уравнены в правах все граждане, независимо от их социального происхождения. Это действительно облегчило положение недовымерших представителей старой русской интеллигенции, «лишенцев» и их детей (правда, многие из последних были уже к тому времени фанатическими большевиками и относились к происходящему как к трагедии). Уравненные в правах получили возможность жить, как все осталь-

ные граждане, что для многих было не так уж мало. Измученные всякого рода красными террорами и дискриминациями, они уже ни о чем, кроме как о покое, не мечтали. Особенно нетерпеливые получили даже возможность — разумеется, на общих основаниях отказа от личности и достоинства — делать карьеру.

Были довольны даже ученые. К ним стали относиться с подчеркнутым уважением. Некоторые из них постепенно превратились в кукол, украшающих всякого рода президиумы, где они своим «научным видом» (потом его научились имитировать и «свой в доску») изображали трогательный союз интеллекта с новой властью. Многие даже не заметили, как это с ними произошло, и в каких именно правах их восстановили.

Словом, трудно не согласиться с Кусковой, когда она на вышеприведенное предположение Милюкова о том, что в России в 1937 году происходил термидор, ответила (цитирую по памяти): «Вы ошибаетесь. Никакой это не термидор. Это — азиатчина». В наше время пробуждающейся повсюду национальной гордости и роста европейских симпатий к азиатским формам жизни, считаю долгом отметить, что, не будучи специалистом, не дерзаю утверждать, что термин «азиатчина» имеет отношение к реальной Азии (хотя подозреваю, что некоторое отношение все-таки имеет), но в России действительно происходило то, что Кускова, Милюков, а с ними вся русская и западная, в том числе, и марксистская интеллигенция подразумевали под этим понятием. Только бессмысленной азиатчиной можно объяснить уважение к Сталину со стороны некоторых военных людей сегодня. «Помилуйте, — говорят они, — под его руководством мы гнали немцев от Москвы, Сталинграда и Кавказа до самого Берлина». Что ж, остается их пожалеть за то, что им не пришлось начинать контрнаступление под Новосибирском. То-то славы было бы!

Впрочем, речь не об отступлениях и поражениях — на войне все бывает, речь о характере этих поражений.

Германская армия потерпела много поражений, но успокоиться немцы не могут из-за одного Сталинграда, ибо это поражение вызвано неграмотностью их фюрера. А чем вызвано наше киевское поражение? Теперь говорят некоторые, что оно спасло Москву. Получается, что если бы погибшие под Киевом армии существовали и нависали над левым флангом противника, ему было бы легче. Нельзя внушать людям идиотские мысли, нельзя их учить идиотизму, довольно азиатчины.

Эта привычка к бессмысленности — следствие переворота, совершенного Сталиным. Но при всей грандиозности его последствий, результатов, при всем уголовном его характере, следует помнить, что этот поворот совсем не был результатом некоего грандиозного замысла. Конечно, Сталин (а его индивидуальные качества сыграли здесь не последнюю роль) свои замыслы действительно вынашивал долго, но это было больше по линии личной мести отдельным лицам, по линии злопамятности, но не более того. В основном он защищался, то есть защищал свое положение, для этого не брезгуя ничем — ни гибелью миллионов, ни атакой на крестьянство, составлявшего тогда абсолютное большинство населения страны. И систему свою он тоже создавал, защищаясь, — от последствий своих опрометчивых шагов, например. В сущности, он и здесь только развивал традицию. Красный террор 1918–1921 годов преследовал те же цели — создать «рабочую обстановку» для руководителей, которые не умеют руководить. Отличие Сталина в том, что он это делал чисто в личных целях и в мирное время.

Тот слой, которым (я намеренно употребляю страдательный оборот) Сталин заменил уничтоженный и изгнанный слой «старой гвардии», тем не менее, сам по себе не состоял ни из бандитов, ни из уголовников (хотя и это бывало — например, Багиров). Даже лица, с самого начала мечтавшие о большой карьере, встречаются среди представителей этого слоя довольно редко. Вряд ли кто-нибудь из людей, занимающих сегодня высокое положение

ние в нашей стране, мечтал о нем в 1936 или в 1937 году. Тогда мечтали только уцелеть — и в физическом, и в служебном смысле (часто это совпадало), но какая-то неведомая сила тянула их вверх и вверх по лестнице должностей. В конце концов, уцелевший человек сам искренне начинал верить, что он всего этого достоин: знает то, чего не знает, и понимает то, что ему непонятно. Авторитет его был защищен довольно плотно, системой «партийной этики» (не знаю, был ли перед войной в ходу этот термин, но система была.) По этой системе он имел право в личной жизни общаться только с людьми своего ранга, максимум — с ближайшими подчиненными. Это надежно ограждало его от всяких влияний и критики (которая, тем не менее, оставалась основным законом нашей жизни), кроме, конечно, критики сверху, но это уже была не критика, а верховная воля.

Не надо забывать, что основу этого образования (потом оно получило официальное и в то же время нелегальное наименование номенклатуры) составляли выходцы из необразованных прослоек, люди, только недавно освоившие грамоту. В их сознании она прочно была связана с людоедством официальной пропаганды — это первое, к чему они приобщились, стремясь к культуре и вырываясь из вековой темноты. Как темноты, они стеснялись иногда не только обыкновенных крестьянских добродетелей, но даже сельскохозяйственного опыта. Книге верили больше. Извилисты пути просвещения на Руси.

О таких людях говорил Бухарин Николаевскому, как о самом страшном последствии коллективизации (Париж, 1936, цитирую по памяти): «Самое страшное — не разрушение хозяйства, не жестокость даже, а то, что на этом выработался тип работников, для которых террор — наиболее естественный способ обращения с массами, и которые с самого начала привыкают рассматривать себя как бессмысленные зубья страшной машины».

Совершенно необязательно, чтобы все они лично участвовали в коллективизации, некоторые из них могли

быть по своему положению даже ближе к раскулаченным, чем к раскулачивающим, но все равно за ними стоял страшный опыт беззакония и жестокости, все равно соображение «все дозволено» не было для них и вопросом. Они и теперь так рассуждают, говоря о прошлом: «А может, это было нужно!». Даже термин «ошибка» в применении к преступлениям идет от этой логики. Среди них были и есть умные люди, не говоря уже о людях, обладающих организационными способностями, они так привыкли к алогизму и лжи, как иные — к логике и правде (информация ведь тоже стала привилегией, даже привилегией опасной). Они считали себя коммунистами, хотя не было и нет людей более далеких от коммунизма (несмотря на то, что мировой коммунизм, благодаря родовой испорченности, им проданся и предался), они были русскими патриотами, хотя держали русский народ впроголодь и объявляли его счастливым...

Говорят, что это необходимый этап русской истории, преодоление того разрыва между государством и нацией, которое волновало славянофилов и которое образовалось в XVIII веке. Может быть, они в самом деле орудие истории. Но это не меняет их сущности. А сущность эта — люмпенская. Вряд ли люмпенизация психологии всей страны, которая столько лет ей навязывается, принесет хорошие плоды.

Но я забежал вперед. Такие отношения сложились по-настоящему уже после войны, которая неожиданно явилась мощным катализатором этого процесса. Ибо номенклатура многое скопировала с военной иерархии, в общем, необходимой, но подчас утрированной (командир летного полка должен был обедать отдельно от своих офицеров, то есть не то что имел право, а *был должен*). Именно в конце тридцатых, как раз тогда, когда Смеляков вернулся из лагеря в Москву, начали складываться отношения на основе общей мистики быта и возвышений номенклатуры.

Разумеется, такие отношения, когда алогизм становится повседневностью, когда подлинные мысли предста-

вителей правящего слоя в словах не выражаются, да и не часто домысливаются до конца, — ничего хорошего литературе не обещали. Некоторая возможность касаться правды (пусть хоть в причудливом освещении), свойственная литературной атмосфере двадцатых годов, объяснялась тем, что люди, от которых это зависело, все-таки были еще убеждены в правоте своего дела и меньше боялись этой правды. К тому же что-то значили еще и просвещенные меценаты от большевизма (Луначарский, Каменев и другие).

Теперь в это едва верилось. Меценаты исчезли. Хотя Маяковский был объявлен лучшим и талантливейшим, стало тихо. Друзья Смелякова Павел Васильев и Борис Корнилов исчезли за чертой небытия. Впрочем, жизнь все равно продолжалась. Только по-другому. Становился известным Симонов. И, самое главное, взошла звезда Твардовского. Он получил всеобщее — в том числе и государственное — признание. Не знаю, как тогда отнесся к этому Смеляков. В последние годы жизни он безоговорочно считал Твардовского первым поэтом страны, но тогда мог отнестись к его успеху несколько ревниво. Да и разные они были. Смеляков продолжал традиции русской лирики, во всяком случае, именно это пытался делать; Твардовский шел в поэзию совсем с другой стороны. К нему — при всем признании — еще надо было привыкнуть, многие и по сей день не привыкли.

Сравнение этих двух поэтов, их путей и судеб открывает многое не только в них самих, но в самой истории нашего общества.

В дни, когда входил в поэзию Смеляков, о Твардовском еще мало кто слышал. Он носил вериги сына кулака и вынужден был по этой причине, кажется, прервать образование, к которому относился, судя по всему, весьма серьезно. Был его отец кулаком или не был, не имеет значения ни для нас, читатель (а хоть бы и был), ни для его биографии (все равно считалось, что был).

Потом события стали разворачиваться в ином направлении.

Правда, сидит в тюрьме пролетарский поэт Смеляков, правда, уничтожают старых большевиков, людей, которым недавно еще все поклонялись. Но Сталин произносит: «Сын за отца не отвечает», — и несправедливость, жертвой которой был Твардовский, как бы устраняется (конечно, если поверить, что отец — преступник). Впрочем, в это можно и не верить, мало ли во всякой жизни несправедливостей, лес рубят — щепки летят. Во всяком случае, до этого плотно прикрытая перед ним дверь в жизнь (может быть, не без помощи, тайных доброжелателей), благодаря этим словам, открывается. Он, наконец, получает возможность закончить ИФЛИ. Правда, до этого, а может, и во время учебы ему удастся (кажется, с помощью М. Светлова) опубликовать свою поэму «Страна Муравия», и она приносит ему небывалый успех. Откуда успех?

Конечно, какую-то роль могло здесь сыграть то, что поэма талантлива и значительна. Но это могло взволновать Маршака, отнюдь не Сталина. Для Сталина Твардовский был национальный по форме, крестьянский, колхозный типаж, нечто вроде разбитного сельского гармониста, русский вариант Джамбула или Сулеймана Стальского. Этот образ вплетался во всю систему декорума, вводимую Сталиным. Он ошибся, Твардовский совсем не был типом сельского гармониста, но это многие поняли значительно позже. Возможно, тогда еще этого до конца не понимал и сам Твардовский.

Впрочем, эта временная потеря зоркости не должна никого удивлять. Вряд ли Твардовский тогда относился к духу, который централизованно насаждался, подозрительно. Если его что и не устраивало, так только формы, в которых это делалось, прежде всего, — эстетически. Для того чтобы всегда сохранять зоркость, нужно с самого начала быть настроенным антиправительственно. Но та часть сельской молодежи, которая рвалась к культуре (а именно к ней относился Твардовский), так настроена не была, из каких слоев деревни она бы ни происходила. Со-

ветская власть для нее была связана с городской культурой, с более широкими горизонтами жизни. Тем более, что всё, противостоявшее ей, — так было поставлено дело еще в начале двадцатых годов — выглядело себялюбивым, самолюбивым, мещанским. Мечта о справедливости, равенстве, альтруизме — идея вообще близкая общинной психологии русского крестьянства. Думаю, что и он, претерпевая все мытарства, с которыми была связана судьба «кулацкого сынка», конечно, сетовал на несправедливость, но хотел единственного: чтобы его восстановили во всех правах и позволили участвовать в общей жизни. Полагаю, что подобное же чувство владело и большинством раскулаченных, «подкулачников» и их детей (не говоря уже о детях большинства жертв 1937 года). Сознания общей греховности происходящего не было не только у Твардовского или Смелякова, — его не было почти ни у кого из их сверстников и читателей.

Отсутствие этого сознания имело весьма страшные и необратимые последствия для нашей страны: была обесценена жертва.

Действительно, когда мы осознаем, что находимся в руках злой силы, мы — при любой нашей общественной активности, пусть даже подсознательно, — все равно как-то ей сопротивляемся, отстаиваем себя. Все ее жертвы видятся нам в ореоле мученичества. Когда же мы признаем эту силу нормальной и законной (а тем более, имеющей право на «неизбежные эксцессы»), мы можем только скорбеть о несчастном стечении обстоятельств, о собственной неловкости, благодаря которой нас неверно поняли и истолковали, наши страдания в глазах окружающих (да и наших тоже) выглядят жалко и глупо, словно это не нарушение справедливости, а только наше личное, никого не касающееся несчастье. Мы только тупо доказываем, что мы лично (или наши родители) не мироеды, а трудяги, не двурушники, а честные революционеры, но и сами знаем, что это не так важно, ибо «лес рубят — щепки летят».

В этих условиях все старания человека, естественно, направляются на то, чтобы не попасть в такое жалкое положение, не быть неверно истолкованным, даже высказывая деловое и здравое соображение, иначе говоря, чтобы любой ценой изворачиваться, шагать в ногу с «настоящей» жизнью.

Это умонастроение, это низложение жертвы сильно способствовало полному торжеству того царства страха, в которое успешно превращал нашу страну Сталин; к тому же речь шла о народе, который так или иначе весь прошел через коллективизацию и раскулачивание. На глазах у многих участников — как раскулачиваемых, так и раскулачивающих, — было наглядно продемонстрировано, что все правила, в которых их воспитали родители, и бытовые традиции — относительны, что закона нет и его не надо, что законно все, на что выйдет распоряжение, что нажитое горбом в этом случае в глазах у многих действительно превращается в нечестно присвоенное и легко отдается лодырю и пьянице, которые так же естественно возводятся в достоинство трудового народа. Короче, как говорит один из героев Солженицына: «Что хотят — то и делают». И как будто так и надо.

Бедра состояла в том, что многие решили, как это свойственно людям, что раз так есть, значит, так и надо, что такова новая жизнь (а старая, как они теперь узнали, — темнота и невежество), и начали внутренне приспособляться к этим правилам. Уж если так надо, не в пример лучше — и в моральном даже отношении — в следующий раз исхитриться быть уже не раскулачиваемым, а раскулачивающим. Тем более, что для этого требовалось очень мало — «знать слова». Велико уважение к слову при социализме!

Не знаю, входило ли это в замысел Сталина, но сочетание всех этих стихий, а также недавней грамоты с людоедством, о чем я уже говорил, сказало и на всех чистках второй половины тридцатых годов, и на формировании номенклатуры. Многие тогда брали реванш, в том числе и

реванш за жестокое обращение с ними. Однако это был не единственный вид реванша. Собственно, с духом реванша, допустим, за историческую обделенность, неразрывно связан и весь дух Октября. Этого рода реваншизм никогда не прекращался, его эскалация происходила и теперь. Но этот реванш был один из самых нечестивых: люди начинали поклоняться главному виновнику своих страданий.

Одним из людей, бравших такого рода реванш, мог показаться и Твардовский. Возможно даже, что такие люди чувствовали его своим, и он их — тоже. Но тут я должен оговориться: чувствовали они так или нет, но это было неправдой — никогда, ни за что и ни у кого никакого реванша Твардовский не брал, да и незачем ему это было. Он никогда не был выдвигенцем. Его стали выдвигать, когда он уже сам выдвинулся. Свою карьеру он сделал бы и до Октября. Для ее начала достаточно было, чтобы в детстве ему на глаза попалась хоть одна подлинная книга, чтобы он увидел, что такое бывает. Остального он бы добился сам, как Ломоносов или Есенин. У него не было и быть не могло такого чувства, что он занимает чужое место, которое надо оборонять от законного владельца, что кто-то сделал бы его работу лучше, чем он.

Отрицать некую обманную связь Твардовского с такими людьми (хотя далеко не все они крестьянского происхождения) — дело безнадежное. Он вступил в партию. И почти до конца дней (может быть, до самого его отстранения от «Нового мира») это слово для него сохраняло значение, хотя вступил он в партию, когда она была не коммунистической, а сталинистской. Правда, сам он потом в устных беседах не раз говорил, что переплясы второй части «Страны Муравии» никак не отвечают на вопросы, поставленные в первой; правда, что, может быть, резче, чем многие другие, выступал он потом против сталинизма и его наследия.

И все-таки, несмотря ни на что, его последняя (очень горькая и талантливая) поэма «По праву памяти», так и не опубликованная на родине, наивно начинается со

странного утверждения, что правду писать необходимо. Твардовский как бы оправдывается, что пишет именно правду (хотя в основном всю жизнь только к этому и стремился — «никогда не врал для лжи»). Перед кем он оправдывается? Перед читателем? Перед каким?

Видимо, до конца своих дней, до последних горьких стихов, где он заговорил совсем по-другому, он мысленно включал в число своих читателей и бывших товарищей по номенклатуре. Кажется, только в самом конце жизни он перестал ощущать себя частью этой номенклатуры, которую, видимо, до этого, несмотря ни на что, воспринимал как разумную активную силу, вышедшую из народа и призванную руководить страной.

И тут нет ничего удивительного: ведь его товарищи были полны тех же надежд, что и он, той же жажды деятельности, а многие из них, может быть, и на самом деле были когда-то талантливыми. И хотя в дальнейшем у тех из них, кого прибило к номенклатуре, этот талант угас, а душевные качества иссякли, Твардовский долго не переставал ощущать этих людей своими, а их недостатки — частными.

И почти до конца жизни не было ему чуждо их представление о законности иерархии и даже об иерархических правах. Более того, ему вполне нравилось занимать определенное положение на иерархической лестнице, тем более, что он считал его заслуженным и законным и употреблял на добрые дела. И его, наоборот, удивило и огорчило, когда он вдруг перестал быть ко двору, когда его перестали приглашать и «выбирать». Думаю, что это не столько задевало его самолюбие (он, конечно, знал, что он все равно Твардовский), сколько компрометировало в его глазах саму идею этой лестницы как разумной основы бытия страны.

Безымянный капитан у Достоевского держался за веру в Бога, потому что полагал, что если Бога нет, то какой же он капитан? Твардовский же держался за веру в партию именно потому, что знал, что он при любых усло-

виях остается Твардовским и что ему придется выполнять свой долг — только без той опоры, к которой привык и на которую возлагал он свою главную надежду.

Из всего этого следует, что Твардовский тоже довольно обстоятельно подвергался деформирующему воздействию времени, что оно его пытало кнутом, а еще более — пряником. И, тем не менее, этот человек упорно развивался, если с отклонениями, то с мельчайшими, и в одном направлении — все большего постижения духа русской культуры и верности этому духу. Думается, что уже тогда (то есть в конце тридцатых годов) он был одним из самых образованных литераторов своего поколения, а в конце жизни стал (может быть, за исключением старших поэтов, таких, как Пастернак или Ахматова) едва ли не самым образованным русским поэтом. И при любых — иногда, с моей точки зрения, самых неправильных взглядах — он оставался верным чувству собственного достоинства, благородству, здравому смыслу и серьезности своего творчества.

Разумеется, здесь сказала и природа индивидуальности Твардовского, его незаурядные личные качества, сила духа (не зря ведь Солженицын назвал его богатырем), но мне кажется, что не последним фактором, формировавшим эти качества, было его крестьянское происхождение.

Говоря так, я должен подчеркнуть, что отнюдь не разделяю убеждения Твардовского, что поэзия — дело «не городское», ибо все «городское» — вторично. Я лично убежден, что само по себе происхождение ничего не решает. Крестьянского происхождения были ведь и творцы такого некрестьянского дела, как «рязанское чудо», когда «истово», под звуки фанфар, они перерезали большое количество скота, имея в виду быстро увеличить производство мяса (забыв, что мясо так легко не производится). Крестьянского происхождения и многие другие деятели, в том числе и поэты, которые вспоминают о своем происхождении только тогда, когда надо противопоставить ко-

му-то свое право не быть крестьянами; крестьянского происхождения и такие литераторы, которые к родной деревне относятся как к интересной экзотике.

Кроме того, не одних крестьян я считаю наделенными добродетелями. Сент-Экзюпери, например, уважал еще и ученых. Крестьян и ученых считал он людьми, которые больше, чем другие — пусть на разных уровнях — наделены цельным и органичным восприятием мира. Разумеется, под словом ученый он подразумевал качество личности, а не просто обозначение профессии научного работника.

Но в то время, о котором я говорю, на «ученое мироощущение» велась главная атака с применением всех смертоубийственных аппаратов, и оно почти не проявлялось. Все ценности шатались, а земля для тех, кто на ней вырос и при этом — что бывает не так часто — умел и хотел видеть и чувствовать, все равно оставалась мерой вещей и первоосновой всего сущего. При любых завихрениях облучаемого ума в этом была и некая оздоравливающая антисептическая сила, хотя, конечно, любой мог по своей воле отворачиваться и от нее, и от самой земли, то есть духовно становиться люмпеном. «Вы знаете, какое теперь время?», — спрашивал у меня один, ныне уже умерший, писатель. И сам отвечал: «Такое теперь время, что мужик Твардовский, благодаря своим обыкновенным крестьянским добродетелям, кажется в собственной стране иностранцем». Видимо, не такое это простое дело — ощущение своих истоков и верность им; если не живешь в деревне, для того, чтобы сохранить это, обязательно надо стать «ученым».

Но поскольку Твардовский стал таким «ученым», земля щедро одарила его: обогатила его палитру, жизненный опыт, дала устойчивость, помогла сохранить (при любых своих отношениях с иерархией) верность себе и своему здравому смыслу. Даже трагедия русской деревни, к которой он по-разному относился в разное время, — для него была не абстракцией, а реальной трагедией. Он мог, впадая в грех, оправдывать ее, но никак не мог не видеть,

что она — трагедия. Такое внутреннее состояние всегда сохраняет возможность возвращения к реальности, к здравому смыслу, к реальному миру ценностей.

Особенно ясно сказалось это преимущество Твардовского именно в тяжелые и мутные годы — с середины тридцатых до середины пятидесятых. Революция, которая была духовной основой Смелякова, все больше становилась абстракцией, и ему все трудней становилось сохранять ощущение почвы под ногами. Твардовский же, духовной основой которого (что бы он сам о себе ни думал) была Россия, наоборот, эту почву все больше и больше обретал. Ощущение России выводило его к высотам мировой культуры, к ощущению ее духа. Между тем мировая революция уводила Смелякова в сторону от всякой культуры и всякого духа, мешала его духовной свободе. Конечно, тут не было ничего фатального: возможность уходить вглубь оставалась и у Смелякова. Но, во-первых, нужно было больше иметь внутренней свободы и внутренней решимости, которых в тех условиях нигде было выработать; во-вторых, уходить пришлось бы недозволенными путями: более или менее прямого разговора о смысле и состоянии духа.

К такого рода решениям тогда не был готов и Твардовский. Но в силу специфики его биографии, истоков, в силу специфики его творческого развития откровения его духа могли без ущерба для себя совершенно свободно проявиться в пластике эпоса. Твардовский все время как бы полз по земле, и не сразу было видно, что ползет он все время в гору.

Дух подлинной культуры связан с сутью земли неразрывно, какими бы сложными порой ни были эти связи. Настоящая культура невозможна без постижения духовных ценностей и сложности «примитивных» основ бытия, она не допускает абстрагирования от этих основ. Твардовскому не пришлось постигать их, он на них вырос. Но культура помогла ему должным образом их оценить и взглянуть на них шире. Я отнюдь не утверждаю, что такой

путь обязательно должен быть плодотворней, чем, допустим, путь Ахматовой, который вел к той же цели от противоположной точки. Я просто говорю, что невольная (а тогда, может быть, и бессознательная) приверженность к этим основам помогла ему оставаться самим собой в том нравственном хаосе, в котором мы жили во второй половине тридцатых годов, помогла ему находиться подальше от разрушительной для поэзии революционной романтики и поближе к сути жизни и культуры, чем большинству поначалу как будто бы близких к культуре его сверстников-литераторов. Тут нет заслуги Твардовского, это игра истории. Но само его приобщение к культуре и ее духу — да еще в такое время — это личная заслуга Твардовского. Впрочем, к этому его вел талант и его поэтическая сущность. Дело не только в том, что Твардовский прочел много книг и обогатил свою память знанием фактов (хотя и это вполне необходимо и имело место), дело в том, что все это собралось в одно, что он ощутил культуру как жизненную сущность и единое духовное целое.

Это качество, то есть причастность к культуре, весьма сильно отличало его от людей, которых он долго считал социально близкими.

Впрочем, полностью значение Твардовского тогда вряд ли еще было осознано. Да и вряд ли оно тогда уже проявилось полностью, тем более, что к тому времени, кроме «Страны Муравии», он написал еще ряд стихов в стиле умиления тогдашним временем. Да и вторая часть «Страны Муравии», несмотря на богатую инструментовку, на демонстрацию мастерства, как-то переключалась с этими стихами. Я не думаю, что стихи эти были неискренними, — желание шагнуть в ногу тоже было искренним. Но поэтического откровения в большинстве из них не было.

Да, в трудное время вернулся в Москву Смеляков. В конце концов не так уж важно, тогда ли он признал Твардовского или чуть позже, важно, что он не мог не почувствовать себя обделенным. Впрочем, это соответствовало реальности, хотя его отнюдь не забыли, не разлюбили и

встретили вполне хорошо. Но надо было начинать почти с нуля, это всегда обидно. Надо было опять доказывать свою верность и свой талант. Надо было обжиться и проявляться, хотя обжиться и проявиться он тогда не успел — началась война. Ему опять не повезло: он попал в плен, к счастью, в финский, а не в немецкий. По возвращении из плена он некоторое время сидел в проверочном лагере (опять в лагере!), потом жил «вольно» где-то в Мосбассе и даже получил право работать в многотиражке. В Москве он появлялся только наездами. Это была не самая тяжелая и не значительная из его опал, к тому же она скоро кончилась; Смелякова восстановили во всех правах.

Думаю, что объяснять читателю, что означали «все права» тогда, в 1946–1947 годах, когда сталинская «идеология» дошла до своего апогея, то есть до полного маразма, — излишне. О каких правах может идти речь во время разгула террора и репрессий? Для Смелякова это имело вполне осязательный смысл — ему разрешили жить в Москве.

Вернулся он не с пустыми руками. В каком-то смысле это тяжелое время было кульминационным пунктом его творческой биографии. Так много хорошего подряд он никогда не писал — ни до, ни после этого периода. Привезенные им стихи явственно отличались почти от всего, что тогда писалось. (Разумеется, речь опять-таки не идет о старших поэтах или о таких, как Мартынов или Заболоцкий, — все они стояли в стороне от процессов, которых я здесь касаюсь). Что это был за фон? Для того чтобы понять его, нельзя никак отвлекаться от деморализующего воздействия времени и режима. Дело в том, что террор и давление влияют на сознание не только прямо, но и косвенно. Одним из последствий такого косвенного влияния является добровольный инфантилизм всякого сознания и всякого восприятия, — поэтического, безусловно, тоже. Тогда только что кончилась война, и появилось много стихов, вполне даже честных, но каких-то эмпирических, натуралистических что ли, чья суть ограничивалась са-

мым впечатлением, вызвавшим эти стихи, самой конкретной обстановкой, вызвавшей впечатление. Иногда это сдобривалось экспрессией. Упор делался на зрительность. Зрительные детали почему-то считались признаком и доказательством присутствия эмоциональности. Еще говорили: «поэзия должна не рассказывать, а показывать», не понимая, что этот принцип, чья верность относительна даже для прозы, к поэзии никакого отношения не имеет. Ибо поэзия не рассказывает и не показывает, а «только» (и путем рассказа, и путем показа, и любым другим путем) выражается. Много писалось, таким образом, о войне, но подвиги как-то абстрагировались от своей духовной сути, от общего взгляда на жизнь и на мир. Даже от коммунистического — нельзя забывать, что и коммунизм тогда был почти в загоне. Потом все это изобразительство по команде «Хватит!» переключилось на воспевание трудовых будней. Стихи Смелякова отличались на общем фоне поверхностной и по существу бесчувственной эмоциональности, прежде всего, выношенностью, зрелостью, обобщенностью чувства. Чувство — не просто реакция, не просто впечатление, а такое впечатление, которое задевает и проявляет глубины существа, характера, содержания данной жизни. Смеляков не просто реагировал, он чувствовал и говорил голосом, исполненным этого чувства. Говорил о себе, о пережитом, о России. Теперь он тоже пришел к ощущению России как ценности. Но теперь это не противоречило в его сознании (и в моем, например, тоже) ценности революции и ее духа, которыми он жил раньше. Что делать!.. Как я уже говорил, другой духовности мы тогда не знали. И этот дух, хотя о нем почти не говорится, чуть приглушенным трагизмом проявляется в каждой строке Смелякова, придает его стихам драматизм и обаяние; обаяние духовной жадности, самой духовности, которая в данном случае проявляется и утверждает себя так. И эта же духовность, воспитанное на этой духовности уважение к духу наполняют обаянием и смыслом и другие стихи, в которых речь идет о другом: например, мягкое лиричес-

кое доброе стихотворение «Хорошая девочка Лида». Очень непростые вещи — духовность и поэзия, особенно в такие времена.

Конечно, Смеляков мог бы быть тогда мудрее, как мог бы быть мудрее и я, и многие другие. Но мы не были мудрее. В каком-то смысле был мудрее Твардовский, чья духовность, несмотря на его взгляды, опиралась на более глубокие и незыблемые ценности, чем наша. И это так, хотя и «Теркин» и «Дом у дороги» (пусть последняя поэма была потом «раскритикована») были вполне издаваемы и прославляемы при Сталине (к этому времени относятся его апологические и, к сожалению, искренние стихи о последнем). Но высокой духовности творчества Твардовского я тогда не понимал, впрочем, как и те, кто его награждал. Не то что я не увидел в нем ничего; увидел, что тут не все так просто, как кажется, но счел все это частным и провинциальным. Уж слишком далеко от моих тогдашних поисков это лежало. Близость к Твардовскому я почувствовал гораздо позже, в ссылке, и оформилось это в фразе: «Вася Теркин не будет моим конвойным». Как показало дальнейшее развитие биографии («Теркин на том свете»), я не ошибся. Но впечатление от поэм Твардовского было гораздо более глубоким и существенным, чем это соображение. И, конечно, ценность его творчества не исчерпывается для меня его гражданскими заслугами, хотя они для него органичны.

Все это я понимаю теперь. Тогда же поэзия Твардовского мне нравилась гораздо меньше, чем стихи Смелякова. В стихах последнего (я и теперь их люблю не меньше, просто я еще больше полюбил Твардовского) меня поражала какая-то — явно не в духе времени — чистота и благородство тона, лирическая смелость и тот приглушенный, едва уловимый трагизм, о котором я уже говорил выше. К сожалению, все это хоть и проявлялось в творчестве Смелякова и потом, но не получило достаточного развития.

Между тем положение Смелякова, несмотря на то, что его признавали почти все, было каким-то двойствен-

ным. В чинах-то он сильно поотстал от многих своих сверстников, которые теперь уже чуть не классиками считались. Конечно, он не мог не понимать цену этому, но, с другой стороны, видимо, не мог найти в себе мужества признать, что это вообще ничего не значит. Чего-то в нем не хватало, чтобы все это презреть и идти своим путем, не оглядываясь. Ощущение преемственности власти от революции с ее романтикой (от начала тридцатых годов) у него не пропадало, а внутренне противопоставить нечто свое всему этому он ничего не мог. Только пробовал догонять. Написал, используя свою старинную искреннюю любовь к рабочему классу и рабочей теме, поэму о шахтерском труде, но Сталинской премии ему за это так и не дали. Другому бы дали, а ему нет — отчасти из-за извивов биографии (плен был тогда пятном значительным), отчасти вообще он был каким-то не таким, как надо. Вроде такой, а все же не такой. Видимо, — это мое замечание тогдашнего времени — для того чтобы стихи имели успех, мало было, чтобы они были плохими, надо было еще верить в то, что они хорошие. Первое он еще сделать мог, второму, по-моему, так и не научился.

Мне кажется, что именно тогда в нем если не появилось, то сильно укрепилось то невысокого пошиба тщеславное желание выглядеть не хуже преуспевающих сверстников, даже если те ему в подметки не годились, и раздражительность, и несправедливость. Видимо, просто он не чувствовал твердой почвы под ногами. Этим он отличался от Твардовского, который, при всех сложностях своей биографии, почвы никогда не терял, наоборот, все глубже в нее вращал. В этом нет ничего удивительного: Россия все равно оставалась, а революция все больше становилась абстракцией. Живое ощущение России выводило Твардовского к ценностям мировой культуры, к живому ее ощущению, а Смелякову ощущение революции преграждало все дороги к культуре, отнимало и то, что у него было, в значительной степени делая его беззащитным перед властью бездуховности. Пряник для поэта бывает не

менее губительным, чем кнут. Правда, после неоднократного испытания кнутом — Смеляков потом и испытание пряником вынес отнюдь не блестяще. Но это потом. Когда же в конце 1947 года я был арестован (этим, кстати говоря, закончился двухлетний позорный период моего интеллектуального сталинизма, о котором мне и сейчас стыдно вспоминать — ни до, ни после ничего похожего у меня не было), кнутом для Смелякова еще как будто не пахло. Он оставался в чести и на виду. Лишь через несколько лет его опять арестовали. Все эти годы я его не видел. Только один раз (в 1951 или 1952 году во время одного из моих полулегальных посещений Москвы) я встретил его на Арбатской площади, как говорится, пьяного в дым. Хотя мне и раньше приходилось видеть его пьяным, на этот раз он меня поразил. Вид у него был страшен: одутловатое лицо, растерянный взгляд, маниакальная стремительность. Второе впечатление, имеющее отношение к Смелякову, связано с рецензией С. Львова на его книгу «Кремлевские ели» в «Литературной газете». Я никак не связываю статью С. Львова с последовавшим вскоре арестом Смелякова, но она запечатлелась в моей памяти сама по себе. Это одно из самых сильных моих впечатлений тех лет. Очень спокойно и для того времени вполне интеллигентно статья эта сообщала широкому читателю, а значит, и кому ведать надлежит, что в книге Смелякова только внешне все благополучно, что его стихи только внешне оптимистичны, а по существу они — всегда о смерти, и это неслучайно. Я с тех пор не видел этой статьи, передаю ее содержание по памяти, передаю то, чем она меня поразила. Идея ее гласила: куда начальство смотрит! Именно после нее я сострил в одном доме: «Задача литературной критики — писать доносы». Помню, что ни на кого, кроме меня, эта статья такого впечатления не произвела. Уже в 1952 году о ней никто не помнил. Знаю, что С. Львов и теперь считается среди знакомых порядочным и интеллигентным человеком. Возможно, он таким и является — я плохо его знаю. Возможно, что он имел даже

основания полагать, что «ударить» все равно придется, и он это сделает мягче, чем другой. В тогдашней действительности могло быть и так. Я прочел эту статью непосредственно, как она была написана — без учета посторонних тексту соображений, и такой запомнил.

Эта статья никак не объясняет причину второго ареста Смелякова, разве что факт ее опубликования показывает, что Смеляков, несмотря на общее признание, был все-таки не ко двору: напечатать отрицательную рецензию на литератора такого ранга у нас и теперь непросто. К тому же МГБ для ареста ни в каких статьях и тогда уже не нуждалось. Да и арестовать его могли и не за стихи вовсе, а за то, например, что он уже один раз был арестован: в тот период как раз подбирали «повторников» «по новой». А может быть, и не за это, а за плен, и ему решили приписать измену Родине. Все могло быть. Но я думаю, что речь шла и о пессимизме. На это меня наталкивает одна довольно безобразная, но по-своему значительная сцена, свидетелем и невольным участником которой оказался я сам. Это было в день возвращения Смелякова из лагеря. Собрались на квартире его бывшей жены. Много было выпито, все старались говорить ему приятное, и это было вполне искренне. В конце концов он растрогался и — кажется, впервые в Москве — прочел написанные им в лагере главы поэмы «Строгая любовь». Поэма всем понравилась. Понравилась она и мне (она мне, в общем, и теперь нравится). Я подошел к нему, поздравил с успехом и спросил, как он думает кончать ее, ведь согласно ее внутреннему течению и исторической правде она должна кончиться трагически. Смеляков неожиданно взорвался. «Вы что, хотите сказать, что меня за нее арестуют! — закричал он. — Это вас арестуют, а не меня!.. Вас!.. Вот увидите!». Потом он спохватился: «Господи! Что это я говорю?.. Я вам этого вовсе не желаю!.. Разве можно такое желать человеку?». Тогда я был только озадачен (конечно, я не думал, что он мне этого желает, да и не с чего было), но мне кажется, что скрытые и явные обвинения в пессимизме в той или иной

форме преследовали его все время: и на воле, и в тюрьме. А иначе — откуда такая бурная и неспровоцированная реакция?

Герои этой поэмы — так они устроены — обязательно должны были столкнуться с ходом времени, с тем, что случилось позже; их чистота, вера, представления и даже сами жизни должны были подвергнуться жесточайшим испытаниям. Этого требовала не только историческая правда, но, как сказано выше, и само развитие, сама тоналность поэмы. Но Смеляков не стал придумывать искусственный конец поэмы, не стал противоборствовать ей (к слову скажем, что и на это способен не каждый, чья поэма при начале хорошо «принята»), он просто немного потоптался на месте, написав еще несколько кусков, и заканчивать ее не стал. И хотя такой «конец» все же лучше, чем фальшивый, это очень плохо для поэта. Это тоже, как мы уже говорили в начале статьи, измена себе. Поэмы должны быть закончены, если начаты. Далее, если поэма не закончена из-за «честного» внутреннего разлада — это дурной симптом для автора. Но еще хуже, когда не окончена поэма, цельный замысел которой уже светится сквозь строки, а течение и развитие уже определилось. Это нарушает профессиональную — душевную и духовную — гигиену, разлагая весь поэтический организм. И, конечно, дело тут не только в окончании поэмы, дело в откровениях, к которым он не прислушался, в шагах, которых он не сделал, и в пути, которым он должен был пойти, но не пошел. А путь — это отнюдь не дело свободного выбора, ни у одного поэта нет и не может быть еще одного, запасного, пути, кроме того, который ему предназначен. Почему он это сделал? (Или вернее: почему он этого не сделал?) Однозначно ответить на этот вопрос трудно. Хотя, конечно, не последнюю роль здесь играла усталость, желание спокойно жить и работать, получить по заслугам и таланту и, конечно, страх вдруг опять лишиться всего из-за необдуманного шага. Все это, конечно, могло действовать и подспудно, подсознательно. К тому же ни-

какие мытарства не выбили из Смелякова комсомольского духа начала тридцатых годов. Нет, я вовсе не хочу сказать, что его поэзия только этим духом и ограничивалась — все-таки речь идет о Смелякове, а не о Безыменском. Некоторые его стихи сороковых годов, да и сама поэма «Строгая любовь», — гораздо шире этого, но осознать всю относительность прелести комсомольского духа того времени Смеляков не смог до конца жизни. Вероятно, он боялся не только физических последствий этого шага, но и духовных, боялся оказаться в пустоте. Боязнь же эта как раз и завела его в пустоту, в которой он жил последние годы жизни, оставила без среды и даже подлинного признания, несмотря на его официальные успехи.

Может показаться странным, что в статье, посвященной судьбе поэта, так много говорится не о нем и так мало — о его стихах. словно это — работа не о литературе, а об истории. Что ж, в значительной степени это так и есть. Эта работа посвящена главным образом не тем стихам, которые Смеляков написал (с ними более или менее все ясно, расхождения могут быть лишь в частных оценках), а тем, которые он написать не смог. Именно о них я думал, когда узнал о его смерти (хотя, конечно, материал для этих мыслей мне давали стихи, им написанные, среди которых есть замечательные). А понять, тем более объяснить, как это произошло, невозможно, не объяснив, не раскрыв, не дав почувствовать определенного периода истории нашей страны, с которым был связан Смеляков. Кратко же говорить об этом периоде — невозможно, ибо он специфичен, и специфика его как бы засекречена, закамуфлирована, представляет собой белое пятно на исторической карте. Тут намеками не отделаешься, все надо объяснять и разъяснять, как будто речь идет о неведомой экзотической стране, куда доселе не ступала нога европейца. Все это удлиняет статью, разрушает ее форму, но другого способа донести до читателя свои мысли и чувства я не вижу. Без этого тупик, в который привели Смелякова его жизненные дороги в середине пятидесятых годов, будет понятен не вполне.

Впрочем, внешне жизнь его складывалась теперь сравнительно благополучно. В газетах, журналах и сборниках все чаще стали появляться его стихи. Почти все они были талантливы и носили печать индивидуальности, написаны были четким, отчетливым выразительным языком и как будто даже искренне. Почти в каждом, даже относительно слабом стихотворении, были сильные строки и четверостишия.

Но при всех добрых качествах при чтении этих стихов, особенно большого их количества, возникало ощущение необязательности их появления на свет, не чувствовалось, что они необходимы для автора, что это его последнее слово обо всем (а таким должно быть каждое подлинное стихотворение, и такими и были — даже в этот период — лучшие стихи Смелякова). Неслучайно многие из его тогдашних стихотворений написаны в форме зарисовки, соображения, лирического репортажа (жанр сам по себе не хуже, чем любой другой, но трудно отделаться от мысли, что вся эта живость и впечатлительность — только средство для того, чтобы не говорить о главном). И дело не столько в том, что я не согласен с его взглядами или поведением (если, конечно, не считать таких стихов, как его стихотворение о венгерских событиях 1956 года, которые, как и уже упоминавшееся его интервью, относятся больше к категории поступков, чем к чему-либо другому), как в том, что эта необязательность проявлялась в форме, в организации стихотворения, нечеткости его течения, в многословии...

Иногда он подходил более близко к тому, что его волновало. Но чаще всего в таких стихах (см. «Рязанские Мараты») он старался скорее самому себе зубы заговорить старой романтикой, чем обнажить (хотя бы перед собой) свое отношение к чему-то. Нет, эти стихи талантливы, они всегда трогают, но это как бы... не для взрослого человека; какой-то насильственный инфантилизм пробивается в них сквозь строгие четверостишия. Это отдаляло от него читателя, который как раз в то время жил напря-

женной духовной жизнью, поисками и хватался за любые поделки, если они были ему созвучны.

Это понятно, но все равно в этом есть, как я уже говорил, какая-то несправедливость. Ибо даже в таких не проявившихся стихах есть — пускай заглушенное и побежденное — обаяние подлинной поэзии, следы этого обаяния. Ведь уход от судьбы — тоже имеет отношение к судьбе. Это тоже в каком-то смысле — самовыражение. Но уж очень много у него таких недовыраженных стихов, и не могут они заменить строгий суд над временем и собой, от которого он ушел, отказавшись закончить «Строгую любовь». И если суд над собой, над своими представлениями в ней все же слегка намечен (посещение бригадой «легкой кавалерии» «мещанской» квартиры Зинки), то суда над временем в ней нет вообще. Неуловимая элегичность тона для этого недостаточна, ибо хоть она все время присутствует в поэме, но нигде не фокусируется, и внимание сосредоточено не на ней. Она — в поэме такого характера — должна была отыгаться в сюжете, а этого не произошло, и поэтому она только подчеркивает общую незавершенность поэмы.

Странное ощущение оставалось от встреч со Смеляковым в эти годы. Успехи явно не шли ему впрок. Они как будто, наоборот, взвинчивали его, напрягали его последние силы, приводили и привели к неизбежному срыву, уложили в больницу. Видимо, он слишком был поэтом, слишком глубоко в нем сидела его личность, и победить ее и свой талант до конца он так и не смог. И путь его все равно жил в нем. Жила прозорливость, ощущение шкалы ценностей, цены себе и всему. И хотя проявлялось это как-то искаженно (в той же водке, в том же ЦДЛ, где он ее пил, а потом в пьяном виде грубил своим собутыльникам, потому что ему наскучивало обращаться с бессмысленными куклами так, будто он и впрямь в них во всех видит своих братьев), но все-таки проявлялось. И хотя это общение вытекало из его позиции, и хотя раздражение, вызванное этими неинтересными для

него людьми (с другими он почти не общался), он срывал иногда на посторонних людях, трудно было не разглядеть сквозь все эти наслоения его подлинное нутро: ум, совесть, мягкость, доброту и, не побоюсь сказать, мудрость. И прежде всего — боль. Через нее, собственно, проявлялось и все остальное.

Вряд ли нужно упоминать о том, что суть Смелякова, его путь и судьба в эти годы иногда пробивались наружу и прямо — в виде существенных творческих побед. Хорошие, замечательные стихи Смеляков не переставал писать до конца жизни. Гони поэзию в дверь, она лезет в окно. Часть из этих стихов («Меншиков», «Поэты», «Элегическое стихотворение» и другие) опубликована, часть, может быть, наиболее пронзительная («Жидовка», «Когда встречаются этапы», «Голубой Дунай», «Старший санитар») — нет. Но все это подлинная поэзия, подлинное чувства и прозрения. Так что надпись, которую я сделал на своей книге в 1963 году, — «Ярославу Васильевичу Смелякову, почти единственному поэту из тех, чьи стихи я любил в детстве, в котором я не разочаровался до сих пор» — сохраняет для меня свой смысл и поныне. И, конечно, он состоялся как поэт. Боль времени прошла через его душу и сердце и выразилась в его лучших стихах. И пусть в результате получится не толстый том, а маленький, состоящий из глав «Строгой любви» и около тридцати стихотворений. Но от многих ли из тех, кто сегодня выпускает полные собрания, останется хоть столько. И я убежден, что он не хуже и некоторых более молодых своих собратьев, играющих с режимом в кошки-мышки, но имеющих несравненно лучшую репутацию, чем имел он. Падения их были отнюдь не менее частыми, чем его падения, но выглядели более грациозно, что ли. А взлеты их были все-таки менее значительными. Он, может быть, больше, чем они, боялся властей (да ведь и знал больше, чего он боится), может быть, менее, чем они, был свободен от власти идеологии (в верности которой,

не будучи уж слишком ей привержены, они не устают распинаться тоже), но он, например, никогда не заигрывал с публикой, что они делали совершенно открыто, по наивности и греха в этом не видя, не понимая, что, с точки зрения искусства, это не меньший грех, чем заигрывание с властью. У него наверняка было больше достоинства, чем у них, просто достоинство это было задавлено и поругано. Им самим? А под чьим давлением? Но иногда это достоинство выпрямлялось. И в том, что он написал как бы против своей разумной воли, житейского страха и привычных убеждений, гораздо больше силы и неопровержимости, чем во многих легковесных наскоках «смелых» поэтов хрущевского времени, в которых так отчетливо проявляется склонность к равнодушию. Смеляков же не был равнодушен. Что угодно, только не это.

Теперь его уже нет в живых. Больше ему нечего бояться. И пусть та работа, для которой он предназначался, выполнена им только отчасти, но это не надо понимать слишком буквально. Хорошее стихотворение по своей природе не может выполнять что-либо отчасти, это слишком цельный организм, связанный с жизнью во всей ее полноте, воплощающий наиболее цельную реакцию на поставленные ею вопросы и проблемы. Оно всегда — цельное духовное завоевание, а не часть его. Таких духовных завоеваний немало у Смелякова. Из-за них он и остается в нашем сознании, ими — чем дальше, тем больше — будет определяться его образ в памяти потомков. Его завоевания и толкнули меня на написание этих нестройных страниц и на привлечение в качестве подсобного материала широкого исторического фона. Остальное в нем воспринималось и при его жизни многими, и особенно теперь, как искажение и болезнь. Только не надо забывать, что это была не его личная болезнь, а болезнь всего его общества и его времени. Просто у него, как у поэта, эта болезнь приняла обостренную форму. К сожалению, поэты не отличаются иммунитетом

против таких болезней общества. В какой степени сможем противостоять этим болезням мы сами, покажет будущее.

Предъявлять ему сегодня претензии — дело зряшное. А не видеть его лица за грязью, которой оно забрызгано, дело и несправедливое, и расточительное. Он — все равно часть нашей жизни, часть нас самих. Воздадим ему должное и подумаем о себе.

1974

На путях к элитности

Этюд об освободившихся

Спор, разгоревшийся в журнале «22» вокруг повести Юрия Милославского «Собирайтесь и идите!» («22», № 3) и рассказа Леонида Гиршовича «Мальчики и девочки» («Время и мы», № 28), интересен для меня не только в связи с указанными произведениями (к которым у меня есть свое отношение), а прежде всего тем, что в нем обнаружилось интеллектуальные и духовные тенденции, свойственные многим недавно освободившимся — и не только в Израиль. Спор этот поднят его участниками, особенно защитниками указанных произведений, на невероятно принципиальную высоту. Возможно, на не совсем адекватную высоту. Попутно решаются вопросы о «границах свободы» и о том, «достаточно ли свободны мы для свободы?». Впрочем, вопрос о границах свободы существует только в подзаголовке (видимо, подразумевается, что свобода не должна иметь границ), так что остается только второй вопрос.

Этот второй вопрос, занимающий почему-то умы многих и многих недавно освободившихся, по-моему, — плод недоразумения и инерции мысли. Такая его постановка молчаливо предполагает, что на Западе имеются компактные массы людей, априорно обладающих большей внутренней свободой, чем мы. Между тем, это не подтверждается поведением свободных народов и их лидеров

в современных сложных обстоятельствах. Да и противоречит частному опыту многих из нас.

Безусловно, на Западе есть внутренне свободные люди. Но есть они в сопоставимых (то есть не очень больших) количествах и в России. Но таким людям нелегко и на Западе, хотя им здесь, в отличие от СССР, не угрожает физическая расправа. Причем неприятности таким людям доставляет в основном не государство (действительно свободное), а общество. Огонь ведется не с громом по площадям, а снайперскими, бесшумными пистолетами: выстрела не слышно, а человек падает. Так что не всё на Западе следует считать свободой духа. И не ко всему следует относиться терпимо (как к проявлению «их» свободы), если хочешь оставаться свободным. Есть только один способ оставаться свободным — оставаться самим собой. Все остальные дороги с неизбежностью приводят к конформизму, то есть к потере самого себя. Ведь конформизм не обязательно вывозить из СССР — им можно заразиться и здесь.

При всей любви к свободе и терпимости нельзя забывать, что демократия — тоже «кратия», то есть управление, власть. А главная функция всякой власти — не внедрение тех или иных идей, а защита общепринятого порядка и общественной нравственности. Это вовсе не означает, что государство должно или имеет право следить за нравственностью каждого гражданина, а только лишь, что оно не может допускать, чтобы означенный гражданин превращал свою безнравственность или нравственные эксперименты в общественный факт. При любом строе прежде всех свобод должна быть обеспечена свобода безопасного хождения по улице, то есть улица должна все же контролироваться полицией, а не мафией или хулиганами. В обмен на эту свободу, если ее нет, средний человек отдаст все остальные высокоинтеллектуальные свободы, ибо без нее они теряют смысл. Не надо ставить людей перед выбором: тирания — или хаос.

Между тем некоторые интеллектуалы на Западе (именно те, которым многие из наших хотят подражать)

все это игнорируют и спокойно рубят сук, на котором сидят. И вы их, пожалуйста, не тревожьте! Не вторгайтесь в их «privacy»! Они свободные граждане. И уж, конечно, терпимые, толерантные — именно это качество стремятся перенять у них некоторые приехавшие интеллектуалы. Но только безуспешно, ибо перенимать тут нечего: вся эта терпимость не более, чем благообразная риторика, внешняя форма приличия, принятая в определенных кругах. А реально терпимости такие люди требуют вовсе не от себя, а только к себе. И упаси вас Бог хотя бы случайно покушаться на эту их толерантность (помогающую им скрывать или прикрывать отсутствие мыслей, а иногда и знаний) — покажут они таким экстремистам кузькину мать почище любого Хрущева... И опять все это будет под флагом свободы мнений, не иначе. Хотя в их кругу выражение «журнал мнений» означает презрение к печатному изданию: не навязывайте, дескать, мнений свободному интеллектуалу, с него достаточно фактов. Мнения требуют умственных усилий, порой конфронтации, а факты без мнений имеют свойство мелькать и подтверждать привычные слова — оно и более свободно, и менее обременительно.

Повторяю, я отнюдь не свожу всю западную культуру к таким деятелям. Но мне кажется, что повадки именно таких людей (особенно если они не слишком просоветские, ибо это сейчас выходит из моды: идиотизм приобретает иные формы) кажутся многим из нас высшим шиком. Проявляется это и в характере спора, о котором идет речь. Те, кому нравятся упомянутые произведения, обвиняют в советской нетерпимости тех, кому они не нравятся. И люди смущаются: кому охота попасть в «отстающие»? Меня же это — не смущает. Ибо, будучи виновен во многом, я никогда к такой терпимости не склонялся и не склонял других — конечно, если речь не идет о государстве и праве: там терпимость, ограниченная законом, необходима, и я первый ее защитник. А здесь предпочитаю термин «терпимость» заменить термином «уважение к истине», — четче будет.

Конечно, в ответ я слышу (слышал) чей-то освободившийся голос: «А откуда вы знаете, что есть истина?». Судя по всему, вопрос этот должен меня сразить, выявить всю мою темноту и ретроградство. Но торжество голоса основано на неграмотности. Ибо термин «уважение к истине» испокон веку (придуман он не мной) не предполагает вовсе найденную истину, а только то, что все участники разговора заинтересованы в том, чтобы ее найти. Ну и, конечно, верят в то, что она есть. Только и всего*. В жизни вообще нельзя ни от чего застраховаться — тем более, невозможно застраховаться наперед от ошибок в интеллектуальной области. И конфронтация идей — естественное условие интеллектуального движения, а не признак дурного тона. Впрочем, конфронтация есть и там, где она отрицается, как исчадие ада, — но это не конфронтация идей, а конфронтация между теми, у кого вообще есть идеи, и теми, для кого любая определенная мысль — экстремизм и нетерпимость. И те, и другие — люди Запада, но у «других» в этой конфронтации более сильные позиции. Правда, не интеллектуальные, а тактические. Рассмотрение причин такого положения (а они глобально-исторического порядка) не входит сейчас в мою задачу, но некоторыми своими повадками эти «другие» при ближайшем рассмотрении напоминают советскую номенклатуру. Недаром об этом слое недавно в Америке написана книга со знакомым для нас названием — «Новый класс»...

*Вера в истину означает еще, что истина одна, хотя никто и никогда не владеет ею полностью. Если же истин несколько по каждому поводу, то, значит, их столько, сколько людей на земле, и разговаривать тогда вообще не о чем. У каждого своя истина, свое искусство и так далее. Ни о какой культуре в таком случае говорить не приходится. Мы уже видели, что бывает, когда считают, что у каждого класса и нации своя отдельная и неприкасаемая истина. А что случится, если она будет у каждого человека? Единственным видом полемики будет — убить враждебного человека вместе с имманентной ему враждебной истиной. Не воплотятся ли тогда окончательно страшные сны Раскольникова?

Я отнюдь не забыл, что начал с повести Ю. Милославского и рассказа Л. Гиршовича. И хоть я не собираюсь писать рецензии на эти вещи, несколько слов о своем отношении к ним сказать следует, коль скоро все разговоры вертятся вокруг них. Хотя бы потому, что представления об искусстве находятся сегодня чуть ли не в центре интеллектуальных интересов многих выходцев из СССР, что многие их представления обо всем другом как-то проявляются именно в разговорах на эту тему. Да и я к этим вопросам очень давно неравнодушен.

Начну с признания: обе вещи мне резко не нравятся, чтобы не сказать — я к ним враждебен. Из этого не следует, что я спешу присоединиться к выступлению г-жи Р. Рабинович, каким оно предстает в пересказе. Намеки на связи Ю. Милославского с отделом пропаганды ООП и просьбы к «общественности», чтобы та прекратила субсидировать журнал «22», ничего, кроме осуждения, вызвать не могут. Это вообще не имеет отношения к эстетическому или мировоззренческому спору, это вообще не позиция, а поведение. И поведение недостойное.

Но вот к тому, что г-жа Рабинович, как упрекает ее один из защитников Милославского, не отличает «лирического героя» (то есть рассказчика) от личности автора, я отношусь немного терпимей. Знание этих терминов отнюдь не обязательно для чтения художественной литературы. Серьезный автор даже дорожит доверчивым читателем-нелитературоведом, который все принимает за чистую монету. И это уж его, автора, дело — позаботиться, чтобы его не спутали с его же персонажем. Разумеется, не всегда в такой путанице виноват автор, но ведь и не всегда не виноват. А уж в данных произведениях я не усмотрел никакой заботы о том, чтобы этой путаницы избежать. Более того, я не убежден, что и сами авторы достаточно остро чувствуют границу между собой и своими персонажами или слишком стремятся осмыслить свое с ними различие; думаю даже, что это в каком-то смысле их позиция. Но об этом — позже.

Я не отрицаю за этими произведениями тех достоинств, которые обнаружили в них их защитники. В них есть, например, резкость и выпуклость изображения, острая выразительность — качества, присущие литературному таланту. Но достаточно ли только этих качеств, чтобы произведение было талантливym? Думаю, что нет. Впрочем, тут легко впасть в спор о терминах. И опять-таки — я не утверждаю, что авторы говорят неправду. Наоборот, у меня есть острое ощущение, что они говорят правду (может быть, слишком утрированную «для ясности» у Милославского, хотя он ни к какой ясности, по моему, не стремится). Меня в этих произведениях не устраивает не что рассказывается, а как. Мне не нравится не что видят, а как смотрят оба автора, не нравятся они сами, то есть не нравится, как они используют те малые секреты ремесла, которыми вполне владеют. И если перейти на «что», то мне не нравится не что изображается, а что выражается ими. Не нравится смотреть их глазами. Я от этого, видите ли, не получаю эстетического наслаждения, не воспаряю, так сказать, над болотом, а утопаю в нем. А ведь требование такого наслаждения элементарно для искусства — куда элементарней, чем понимание различий между автором и рассказчиком. Мимо этого многие проходят, не замечая, — в силу элементарности, что ли? Дескать, и понимать нечего. Но ведь это самообман. Элементарные вещи вообще не столь понятны, как кажется. Они просто неотрывны и необходимы. Элементарны, например, просто основы бытия. Никакое усложнение жизни и мысли не отменит этих элементарных основ, элементарных истин. Конструкция самолета может как угодно усложняться, но при любой сложности нельзя забывать об одном элементарном условии: самолет должен лететь. Иначе любое хитроумное конструирование превратится в псевдодеятельность. Между тем некоторые думают, что в литературе и искусстве это не обязательно. Это тем более странно, что человечество ведь уже много веков размышляет о том, что для искусства

обязательно, а что нет. Опыт этих размышлений лежит в основе дисциплины, именуемой «эстетика». Но большинство эмигрантских авторов размышляет так, будто этого опыта нет (возможно, освободились от него вместе с марксизмом). И иногда получается нечто пусть не марксистское, но все же странное.

«...Проза Юрия Милославского имеет совсем иной недостаток — отсутствие авторской позиции вообще», — говорит один из защитников этой прозы Абрам. Причем здесь речь идет об отсутствии не политической, а эмоциональной, жизненной позиции, то есть о том, с чего начинается и что наполняет воздухом все поры художественного произведения. Но для г-на Абрама это всего только рядовой недостаток, существующий наряду с достоинствами. Соответствует такому отношению и тот «единственный вопрос» который приходит в голову А. Воронелю в конце его вполне апологетической по отношению к повести Ю. Милославского статьи: «А не упивается ли он (автор — Н. К.) иногда падением своих персонажей и не сливается ли он в эти моменты с героем своей повести?». Фактически, это вопрос о том, что перед нами — плод разнузданного самутверждения («умножение материи», по выражению К. Чапека) или художественное произведение. Далее А. Воронель говорит, что от ответа на его вопрос зависит масштаб Ю. Милославского как писателя, то есть, практически, — художественно ли произведение, художественность которого он с пеной у рта отстаивает. Терпимость — хорошая вещь, но логика тоже неплохая.

Никак не опровергает моего отношения к прозе Ю. Милославского (точнее — жестко подтверждает его) и блистательная статья Д. Штурман. Ее констатации добры, но в то же время беспощадны. Ибо такие черты, как неформленность мироощущения или сиюминутность восприятия могут иметь какое угодно историческое объяснение и извинение, но в основе творчества лежать не могут. Творчество начинается с преодоления этой инфантильности. Во взгляде художника, какую бы мрачную картину он

ни рисовал, всегда есть причастие к небу, высоте, то есть, простите за выражение, положительное начало. Это утверждение кое-кому из недавно освободившихся, вероятно, покажется очень похожим на соцреализм. Как же! — высота, положительное начало, куда же дальше. Конечно, скажут они, соцреализм, только при иной политической направленности. Это очень удобный прием, он освобождает от необходимости спорить (кто же будет спорить с продолжателями — или антиподами — Жданова?!), причем прием этот применяется иногда вполне искренне.

Мне кажется, что особенно по-боевому, по-комсомольски, горячо и искренне использует этот ход мысли Н. Рубинштейн. В шестом номере «22» напечатано ее письмо в газету «Маарив», опубликовавшую одну из версий статьи Р. Рабинович. Интересно оно, кроме всего прочего, и тем, что заранее объявив адресата некомпетентным в рассматриваемом вопросе (вероятно, так оно и есть), автор потом пускается в глубокомысленные литературные рассуждения. Но прежде всего интересно, как она информирует этого некомпетентного адресата — например, о расстановке сил в дискуссии: не упуская своего и в то же время стараясь показать, насколько она свободна. «Там были отрицательные суждения о ней (повести Милославского — Н. К.), были и...» — читатель, естественно, ждет слова «положительные». Но г-жа Рубинштейн не столь банальна «...и попытки объективного анализа». Одним росчерком пера отрицательные суждения о повести не только объявляются необъективными, но и не стремящимися быть объективными, не пытающимися анализировать. Это не доказывают, об этом информируют израильского (не читающего по-русски) читателя, как о само собой разумеющемся. Но этими всплесками терпимости дело не кончается. Поскольку, как отмечает Н. Рубинштейн, «и апологеты, и критики повести согласны с тем, что общественный вкус оскорблен», наносится сокрушительный удар по самому этому вкусу. Удар, конечно же, состоит в том, что вкус ее оппонентов просто объявляется

воспитанным советской школой, литературой и идеологической критикой. Теперь ее оппоненты узнали все о себе.

Но поскольку и я отношу себя к их числу, я все-таки попытаюсь разобраться. Должен сознаться, что до сих пор я как-то не предполагал такого тотального влияния перечисленных факторов на умы и вкусы. В чистом «советском» виде все эти три фактора только отвращали людей от чтения или отталкивали от себя. Вероятно, Н. Рубинштейн имеет в виду некие флюиды, которые незаметно для нас овладели нашим (но ни в коем случае не ее) сознанием и потом еще долгое время отвращают нас от чтения высокопрофессиональных произведений (в которых такое большое удовольствие разбираться «профессионалам», ощущающим свою причастность к избранному кругу таких же)? Но мне как-то мало верится в эти флюиды. Мне кажется — пусть меня тут обвинят в приеме «сам дурак», — что на вкус Н. Рубинштейн и ее единомышленников этот соцреализм оказал гораздо больше влияния, чем на вкус ее оппонентов. Я говорю о влиянии не политическом или идеологическом, а именно эстетическом. Во всяком случае, судя по всему, его догмы произвели на нее неизгладимое впечатление, ибо только от них она отталкивается, только им противостоит. Не социализму, а именно соцреализму. Ее влечет не обратное политическое, а обратное эстетическое клише. Есть много способов подменять мысль и личное отношение к вещам. Вооружаться обратным клише — один из наиболее надежных и агрессивных. Как в русской, так и в русскоязычной прессе.

Кстати, я плохо понимаю, что значит «русскоязычная литература». Какими бы истовыми израильянами ни были авторы израильских изданий, как литераторы они мало отличаются от всех остальных, выехавших из России и даже остающихся в ней. В Израиле опубликованы вполне достойные произведения — как «Мемуары ротного придурка» Л. Ларского или «Хроника местечка Чернополь» И. Гиндиса, и не только они. Но это произведения русской литературы. И даже то, что из напечатанного в

Израиле мне не нравится, тоже больше относится не к проблемам алии, а к духовному состоянию русской интеллигенции после 1968 года, к потере ею всяких критериев. Особенно это относится к людям, которым сейчас в районе 40 (плюс-минус 5 лет) и меньше. Они никогда ничем не очаровывались и ни в чем не разочаровывались, они вышли в жизнь после всех очарований и разочарований. Это не их вина, что, не имея возможности за что-либо ухватиться во внешнем мире, они столь падки на бессмысленную абсолютизацию слова «личность» и любого каприза, как проявления этой личности (особенно если речь идет об искусстве). Логика примерно такая: «Личность — понятие священное. Следовательно, священо все, чего захочет моя левая нога. Кто против моей левой ноги, тот за Колыму и Освенцим. И вообще — это соцреализм». Культ самоутверждения вытекает из этого вполне гармонично. Во-первых, это проявление священного личного начала, во-вторых, это ведь так естественно — хотеть самоутвердиться. Пусть даже любым способом — однако, живем! Таким образом, то, от чего культура всегда защищалась, выдается за ее апофеоз. Словно хаос не ведет к Освенциму, а является ему альтернативой!

Этот массовидный индивидуализм свойственен и многим на Западе. Но те из «наших», кто принимает его за вершины западной культуры, ошибаются: к ним он не имеет никакого отношения. Да и тот уникальный социальный опыт, который у нас есть, обязывает к чему-то иному, чем подражание. И этот опыт не может сводиться к простому торжеству над марксизмом и соцреализмом. Особенно если принимать за марксизм вузовские лекции по марксизму-ленинизму. Марксизм гораздо сложнее, серьезнее и изощреннее (а значит, и опаснее), чем то, за что его принимают иные освободившиеся от него — в эмиграции и дома, сионисты и представители русского национального возрождения. Из отрицания марксизма выросла русская религиозная философия, а из нынешней вдохновенной эклектики любого направ-

ления, сколько ее ни отрицай, ничего путного не вырастет, ибо имеет это характер не интеллектуальный, а эмоциональный.

Гордиться тут нечем, ибо эмоциональность отнюдь не противоречит бесчувственности. Каприз — тоже вещь эмоциональная. И когда один из авторов чувствует трагедию арабской девочки из Рамаллы и не чувствует израильского солдата, в которого она с ненавистью швыряет камни, то это ведь не более широкий взгляд, не более широкий мир чувств, а каприз. Это говорится не из любви к девочке, а просто назло израильскому патриотизму, с которым у автора какие-то иные счеты. Все это, конечно, не взрослость, но и не детство, с которым у многих связано представление о необходимой искусству непосредственности, — это инфантильность, качество, вполне терпимое у персонажа, но невыносимое у автора. Все это, как и «положительное начало», как и многое другое, — не Сталин выдумал, Сталин просто постарался приспособить к себе эти понятия, подменяя их суть, — как подменял он все, что стремился использовать.

Впрочем, культ необязательности, инфантильности и безответственности сказывается иногда не только в отношении некоторых авторов к искусству. Вот как, например, уже упоминавшийся Амрам отзывается о русском народе, пусть в порядке предположения: «Может, все дело в несоответствии душевного строя народа навязанной ему извне общественной и экономической системе, чуждым ему этическим принципам? Быть может, русский народ лишь временно смирился под властью христианства и лишь ждал момента, чтобы от нее освободиться?» Хотя и говорится «быть может», но для автора, по-видимому, это очевидно. Как же! Ведь в европейцев, как он не забывает отметить, бесы коммунизма пока не вселились, а в восточной Европе его власть держится на танках. Так что все дело — в характере русского народа.

Об интеллектуальной стороне этого утверждения или предположения спорить не буду. В этом смысле ут-

верждение о биологическом несоответствии русских христианству можно сравнить только с утверждением М. Бернштама («Вестник РХД», № 128), что русский народ к революции, произошедшей в его стране, вообще никакого отношения не имел, что он с первого дня был просто оккупирован анонимным международным социализмом (так что и русской называть эту революцию не научно). Но есть в рассуждениях г-на Амрама и другая, более примитивная сторона — откровенно расистский характер этого предположения. Конечно, в нашу эпоху национальных возрождений всегда можно сказать, что это не расизм, а попытка определения индивидуальных черт данного народа. Правда, вряд ли г-ну Амраму приятно, когда подобное определение черт проводится русским националистом типа Скуратова и уже на материале не русского, а еврейского народа (я уж не говорю о нацистах). Почему-то такие свободные изыскания всегда проводятся националистами одних наций только на материале характера «других» наций.

Я отнюдь не собираюсь вступать в спор с господином Амрамом и отнюдь не потому, что не мог бы сказать ничего в защиту русского народа. Скорей потому, что все это слишком очевидно: и русский народ не безъязык, у него есть культура, и культура эта глубоко христианская. Сейчас я думаю о другом. Я просто хочу спросить у автора и редакции: «Как вам не стыдно? На страницах своего журнала спорили об антисемитизме, явно не одобряли его и вдруг сами вступили в расизм. Видимо, из терпимости?». А по-моему, терпимость терпимостью, но и совесть тоже надо иметь. Впрочем, кто его знает — может, теперь договорились передовые люди, что стыд и совесть тоже выдуманы большевиками и их полагается стыдиться... За прогрессом не угонишься...

Но мне почему-то не кажется, что г-н Амрам расист. Это все тот же порожденный 68-м годом интеллектуализм без образа и границ, о котором я уже говорил. В создавшейся духоте многие интеллигенты метались в

поисках духовного выхода и откровения. Некоторые евреи как будто нашли и то, и другое в пафосе «отъезжанства», из-за чего стали спешно ощущать национальные корни и тянуться к «истокам». Конечно, они понимали, что каждый отъезд кончается приездом, а приезд — бытом, в данном случае — бытом незнакомым. Но это было очередным «светлым будущим», в котором ввиду его отдаленности можно было соглашаться даже «камни таскать». Зато пока они были счастливы — им во мраке сверкнула молния. Некоторые весьма щедро авансировали эти свои будущие подвиги и бескорыстие, с этой высоты обливая презрением окружающих. «Хватит с нас таскать за вас каштаны из огня!» — заявил один такой интеллигент своим нееврейским товарищам, таким же, как он сам. Он как-то даже забыл, что, при всем сопряженным и с этим отъездом риске, стремление уехать — совсем не то, что стремление изменить хоть что-то в стране. Другие выражались менее агрессивно, но еще более отчужденно: «Не хотим вмешиваться в чужие внутренние дела». В переводе с патетического языка на значащий (переводе, который они далеко не всегда производили в своем сознании) это выглядело как: «Наплевать нам на то, что с вами тут будет, мы — поехали». В этой обстановке стали казаться кое-кому нормальными и рассуждения о том, что советская власть для русских — как раз, ибо они по природе рабы, но для евреев, живших до сих пор той же жизнью, что и все, она — нож острый, ибо они молодцы и свободолюбцы. Так что многое, что сегодня говорится и пишется в России крайними представителями национально-возродившихся кругов о евреях (не всеми и не всё) — только столь же патетический ответ на эту патетику. (Не надо забывать, что душная атмосфера России после 68-го года влияла на русских интеллигентов не только еврейского происхождения.) Эта патетика по мере сил и теперь способствует разобщению людей перед ликом тоталитаризма. И вовсе не извинительно, что это иногда происходит только от невозмож-

ности осмыслить факт своей эмиграции или иммиграции, от жгучей жажды самоутверждения. Думаю, что печатать вдохновленные этим вещи из одного уважения к терпимости — не совсем серьезно.

В безграничной жажде терпимости вообще нетрудно в чем-то важном и существенном даже перещеголять и тех, к кому мы взялись быть терпимыми.

Например, в шестом номере «22» опубликован сокращенный вариант первой главы воспоминаний ныне покойного старого комсомольца (потом сиониста) Михаила Байтальского, а также примечания к этой публикации, написанные редактором журнала Р. Нудельманом. Говорят, что Байтальский пережил большую эволюцию (как-никак из коммуниста превратился в сиониста), но, судя по всему, эта эволюция не коснулась его отношения к тому, что он думал и делал в юности. При отсутствии этого раскаяния его метаморфоза теряет значительную часть своего обаяния, напоминая девиз: «Кому должен, всем прощаю...». А кое-кому — как боец комсомольских карательных отрядов — он все-таки задолжал. И немало...

Но он этого не понимает. Слова «кулак», «кулацкий» даже после всего, что было потом, он все равно произносит с какой-то первозданной неприязнью. «Между Ананьевым и Балтой были расположены богатые села, населенные злыми эгоистами и наполненные «идиотизмом деревенской жизни». Эти села он лично, вместе с такими же, как он, тогда и грабил. Но помнит он не это; помнит он, что они иногда сопротивлялись, и это его до сих пор возмущает: «Зверье мстило». Обозвав своих врагов «зверьем», М. Байтальский все же проговаривается, говорит, что оно «мстило». Но забывает сказать, за что. Правда, слово «зерно» кое-что объясняет. Зерно — это то, за чем «чистые помыслами» каратели и совершали свои экспедиции в деревни. Разумеется, и у этих «чистых помыслами» была своя трагедия, но заключалась она прежде всего в соблазне, в том, что они поверили в свое право

посягать на жизнь и быт других людей и — обманутые или обманувшиеся — при любых своих «помыслах» оказались насильниками и карателями. Сознаться в этом хватает сил далеко не у всех. У М. Байтальского — Бог ему судья — не хватило.

Впрочем, это его биография, и легко быть умным задним числом. Но я, пишу не о М. Байтальском, а о журнале. Свобода свободой, симпатии симпатиями, а все же нехорошо печатать такой очерк без всяких оговорок в неподцензурной печати. А с такими оговорками, как у Р. Нудельмана, и того хуже. Ибо М. Байтальский хоть писал, что думал, а вот Р. Нудельман просто старается свести на нет всякую определенность вообще. Правда, и он отмечает некоторую односторонность Байтальского в том, что тот называет «зверьем» людей, которые тоже защищают свою правду (игнорируя тот факт, что «правда» Байтальского давно не выглядит таковой ни для кого в России). Но, видимо, Р. Нудельман вообще испытывает «просвещенную» нужду в том, чтобы было как можно больше всяких правд (иначе куда девать терпимость, а без нее нечего делать в приличном обществе). И он просто начинает наводить тень на плетень в ясном вопросе и вообще погружается в рассуждения о праве на убийство. Реальная проблема за этими философскими глубинами вообще теряется.

А проблема была вовсе не в праве на убийство, а в праве на насилие, не останавливающееся перед убийством, в том числе и перед массовым*. И насилие это исходило не от «зверья», а от «чистых помыслами» — они-то и были нападающей (всегда нападающей) стороной.

*К слову сказать, проблему насилия теперь тоже часто подменяют — и у нас в оппозиционных кругах, и на Западе. Споры о допустимости насилия всегда были спорами о том, можно ли применять насилие для создания идеального общества, а не о том, можно ли тащить вора в участок. Но в очерке Байтальского речь шла именно о насилии ради идей, которое мы все — без различия взглядов — отрицаем.

Нападали же они с целью заставить крестьян жить не согласно их здравому смыслу, а в соответствии с помыслами неоперившихся юнцов. Так что нет ничего удивительного, что крестьяне воспринимали этих вооруженных идеалистов как нечто тупое, отвратительное и противопоставленное жизни. Тем более, что эти чистые всегда ощущали за собой (и мужики за ними ощущали) всю мощь никому ничего не прощающего государства. Так что крестьяне только защищались — отчаянно. Разумеется, трудно одобрять методы, которыми они расправлялись с юными карателями, возможно, их действительно можно обвинить в превышении необходимого предела обороны, но ведь до этого были превышены все необходимые и мыслимые пределы нападения на них. Отчаяние — плохой советчик и редко располагает к умеренности. Не надо доводить людей до отчаяния, а потом уж чего с них спрашивать!

Не думаю, чтобы сказанное выше не было понятно Р. Нудельману и до того, как он услышал первые возражения. Но над ним взяло власть тяготение к странной респектабельности — респектабельности непонимания самых простых вещей, желание во всем видеть сложность. «Все не так просто» — фраза, которую можно услышать почти от каждого эмигранта. Нет, не все не так просто! Некоторые вещи, которые хватают за горло, иногда очень просты, даже примитивны. И усложнение их оборачивается — равнодушием к смыслу, крови и совести, ко всему, кроме своеобразного интеллектуального «марафета», который люди на себя «наводят». Думаю, что и некоторые крайние русские националисты в Москве и Ленинграде (такие же интеллигенты, как мы с вами) доходят до своих, подчас чудовищных, высказываний таким же путем. А часто и ради той же респектабельности — только принятой в том кругу, где они сейчас вращаются.

Тому, кто не стал свободным и самостоятельным в России, надо, хоть это еще труднее, сделаться им здесь. Но нет рецептов самостоятельной мысли и нет ее отличи-

тельных признаков — есть только различные рецепты ее имитации. Нет выхода ни в усложнении, ни в упрощении, выход — правда, мучительный — только в том, чтобы сознать и слышать самих себя, но видеть в этом не цель и смысл, а начало пути. И при любых обстоятельствах, при любом отношении — выход в ответственности, которую нельзя снять с себя никакой механической терпимостью.

1980

Над страницами жизни Петра Григоренко

Если судить по названию книги П.Г. Григоренко — «В подполье можно встретить только крыс», — то это еще одна книга о проблемах диссидентского движения. Между тем, это движение не занимает большого места в этой книге. Это прежде всего рассказ о том, как один честный, талантливый и умный человек начал служить, почти всю свою жизнь честно, даже идя на конфликты, прослужил, а потом перестал служить советской власти. Название явно уводит в сторону. Правда, сам автор дает ему особое истолкование. Он исходит из того, что подполье — это не вообще нелегальность, а только заговор группы лиц, имеющих целью захват и удержание власти над всеми остальными. А поскольку автор всю жизнь служил именно таким крысам, получается, что название это вполне уместно. Но, во-первых, эти объяснения — устные, а во-вторых, плохо, что название вообще требует объяснения и вызывает семантические споры. Так или иначе, но по названию о сути книги догадаться трудно. И многих оно может оттолкнуть или не заинтересовать. А жаль. Эта книга нужна всем.

Кстати говоря, проблем подполья П.Г. Григоренко почти не касается. Даже на последних двухстах страницах, собственно и посвященных участию автора в правозащитном движении.

На этих страницах тоже есть много интересного. Особенно, когда автор рассказывает о своем пребывании в закрытых психиатрических больницах — «психушках», то есть в самой уже бездне советского бесправия, где у человека вполне официально отнято право на личность. «Больной, не возбуждайтесь!» — змеиным шепотом шипели на него сестры этого заведения, когда он серьезно возражал, заступаясь за других несчастных. Это был одновременно и намек на то, что они вправе к любым его словам относиться как к бреду сумасшедшего, а при случае могут его и «успокоить». Такого торжества ублюдков над высоким интеллектом и духом вряд ли когда-нибудь знала история. В сущности, ублюдочная власть так же относится ко всему народу, заставляя его делать вид, что внушаемая ею бессмыслица есть членораздельная речь, а тех, кто отказывается делать такой вид, — «успокаивая». Обстановка, которая вырвала когда-то у Григоровича знаменитую фразу «Вся Россия — палата № 6» — по сравнению с этой рай земной. Не говоря уже о том, что и тогда эта фраза была преувеличением. Но думаю, что если сказать: «Весь СССР — спецпсихбольница МВД!» — преувеличения не будет. Думаю, что так, как П.Г. Григоренко прошел через эти испытания, — мало кому бы удалось пройти. Он не только вошел, но и вышел из этой больницы, сохраняя здравость ума и души. Но это уже потому, что он — человек незаурядный, что этих качеств у него не только достаточно, но и в избытке, что сила его духа и интеллекта редкостны. В принципе, такие испытания человека должны сломить. Ведь это же пять лет таких издевательств, мелочных, ежедневных, ежечасных, непрерывных... Это было так тяжело, что и сегодня Петр Григорьевич избегает слишком много об этом рассказывать, переживать это снова.

Но он сохраняет способность относиться к этому факту широко, обобщенно. Он видит в нем угрозу не только жителям тоталитарного мира, но и всем людям на земле. Ибо это дурной пример. Ибо впервые доказано, что

психиатрию можно в широких масштабах использовать против человека. От себя добавлю, что довольно медленная реакция мировой психиатрической общественности на компрометацию своей профессии подтверждает основательность тревоги П.Г. Григоренко. Но он вообще склонен рассматривать проблемы широко, а не только с поверхностно-правозащитной точки зрения. Это значит, что для него все проблемы бытия вовсе не сводятся к защите прав, хотя правам он придает большое значение. Это очень интересно сказало на том, как он, например, воспринял жизнь в родной деревне, куда приехал отдохнуть после психушки. Многое его обрадовало. В глазах людей исчез страх. Иностранцы передачи на русском языке слушали открыто, не таясь от соседей. Мальчишки преследовали сексотов, пытавшихся следить за опальным земляком. «Шпиёны приехали!» — орали они на всю улицу. Всему этому Григоренко радуется, без этого нельзя. Но в голову ему приходят и совсем не правозащитные мысли. «Избавление от страха, это именно то, что нужно нашему народу прежде всего, — признаёт он. — Но этим все не исчерпывается. Что придет на смену этому чувству? Какой духовный мир займет его место? Это вопрос, во всяком случае, не менее важный. Но ответа на него пока нет. И даже не намечается». И действительно, коммунистическую пропаганду народ не приемлет, церковью почти нет, а западные радиостанции, даже «Свобода», не создают программ, способствующих формированию внутреннего мира человека. «Что же будет с не знающей страха, но пустой душой? Пока что пустоту эту заливают самогоном или домашним вином. А что будет дальше?» — тревожится он. И тревога его — существенна. Ибо вопросы эти перед ним стоят, и о них нельзя забывать, они ведь все равно себя покажут. И человека, способного так свободно, четко и широко мыслить, в нашей стране объявили сумасшедшим.

Тем не менее, все-таки я считаю, что последние две-три страницы лучше было бы в эту книгу вообще не вклю-

чать, их надо было либо издать отдельно, либо включить в какую-нибудь другую книгу — в дополнение к написанному о диссидентском движении другими авторами и самим П.Г. Григоренко.

Ценность же этой книги, и ценность непреходящая, в другом — в том, что она есть историко-психологическое свидетельство первостепенной важности.

Это свидетельство человека, прошедшего с советской властью весь ее путь до сегодняшнего дня, путь рядового представителя тех кадров, которые, по выражению Сталина, решают все. И которые действительно все решили. Путь человека, втянувшегося, как и многие, в этот слой — незаметно, но полностью. Но, в отличие от многих, вырвавшегося из этого слоя и поэтому способного взглянуть на свой жизненный путь как бы со стороны. (Самосознание — не относится к сильным сторонам этого слоя.)

Когда он выходил в жизнь — советская власть только начиналась, была подростком, как и он. Вместе с ней он мужал, креп, входил в возраст, старел. Только вот в старческий маразм он вместе с ней не впал. Отошел. При наиболее благоприятных карьерных перспективах. Притом что от него лично эта карьера особых подлостей не требовала. (Он занимался военно-техническими и военно-историческими исследованиями.) И для тех, кто жил в это время в СССР и кто помнит, как и чем мы все жили, совсем неважно, что поначалу его отход объяснялся увиденным несоответствием реальной власти «настоящему и творческому ленинизму». Констатация несоответствия между догмами (вернее, внушенным образом) ленинизма и сущностью тогдашней (и нынешней) власти — существенный шаг для начала самосознания. Это — первый шаг. Понимание, что, тем не менее, истинный ленинизм и его сегодняшнее воплощение очень родственны, что одно вытекает из другого почти автоматически, приходит потом — если этот первый шаг сделан. Конечно, я говорю о поколениях, которые были бы под обаянием того и другого. Не только о П.Г. Григоренко, но и о себе — хотя я на 18 лет

младше его. Более младшие поколения получили это преодоление коммунизма готовым из наших рук, но само это — не ценность. И само по себе это отнюдь не уберегает их от заболевания другими болезнями духа, иногда даже сходными. (Если опыт нашего соблазна только отвергнут, но не понят.) Но речь сейчас не об этом.

Конечно, личность человека определяется не только (да и не обязательно) категорией, не только социальным или иным слоем, к которым мы его относим, не только общностью происхождения и биографии, а и личными особенностями. Например, семьей. Многие в личности Петра Григорьевича определяется тем, что он, как говорится, человек из хорошей семьи. Обыкновенно это выражение относят к семьям дворянским, купеческим, вообще интеллигентным. Я же отношу его здесь к семье крестьянской. Но это была именно хорошая семья — с устоями, традициями, с чувством собственного достоинства, с большой и разумной любовью к земле, к знаниям, в том числе и практическим, применяемым к той же земле. Конечно, люди есть люди, и в этой семье тоже случилось всякое. Например, бабушка автора, человек во всех остальных обстоятельствах добрый и заботливый, вынудила уйти из семьи беззащитную и очень добрую женщину — мачеху автора, бесприданницу, — причем, когда отец был в солдатах, и эта мачеха оставалась одна с детьми. Эта история до сих пор отзывается болью и стыдом в душе автора — может быть, именно потому, что она резко противоречит всему, что он видел в своей семье, что в нем было заложено с детства. Ему повезло. И не только с семьей. Он испытал все благотворное влияние редкостного духовного наставника — православного священника о. Владимира Донского, человека высокого духа, ума и фундаментальных знаний, миссионера-бессребренника, проведшего лет тридцать в Африке и под конец обосновавшегося в их деревне. Влияние о. Владимира не уберегло автора этой книги от многих соблазнов времени, от большевизма и безбожия, но — вместе с за-

ложенным в семье — все равно от многого убергло, ибо составляло костяк его личности, как бы он внешне далеко подчас ни отходил от этого и как бы преданно ни служил новому строю.

Встречаясь на страницах этой книги с самим автором и некоторыми его товарищами, узнавая в них хороших и достойных людей, легко соблазниться, решить, что поскольку хорошие люди встречаются везде и всегда, то к таким понятиям, как «коммунизм», «новый строй», «партийность» и тому подобное — надо относиться терпимее. Это ошибка. Конечно, хорошие люди — хорошие люди, и лучше, где бы то ни было, иметь дело с ними, чем с другими. Но когда эти слова внедряются в сознание, насильно, то они начинают — книга показывает и это — влиять не только на поведение людей, но даже на формирование их внутреннего мира, определяют использование их самых лучших качеств. Порядочный человек начинает истово служить оголтелой непорядочности. Особенно это опасно, если человек по природе активен.

П.Г. Григоренко судит себя самого достаточно жестко. Не только за свои прямые прегрешения, их не так уж много. Наивное кощунство, совершенное в восторге комсомольского неофитства, особенно горькое тем, что он оскорбил этим о. Владимира Донского — человека, которого всегда любил и уважал, который так много сделал для него — для его просвещения и становления. Правда, пристыженный священником, он потом дома в одиночестве забрался в сарай, упал на сено и горько заплакал от стыда и потрясения. И хоть, как он сам говорит, с тех пор он принес еще много зла своему народу, но кощунства и святотатства больше не допускал никогда. И еще один грех — в качестве начальника штаба отдельного саперного батальона и талантливого инженера, «виртуозно» взорвал по приказу начальства три православных храма, среди них замечательный собор в Витебске. Но все же это уже выполнение приказа, и к тому же эта «работа» начала быстро ему претить, и он при первой возможности перепоручил ее дру-

гим. Выход не блистательный, но другого — для тогдашнего П.Г. Григоренко — не было. Однако судит он себя не только за то, что делал, но и за то, что делалось без него, но при его косвенном соучастии, за то, что не хотел видеть и понимать, — короче, за все, чем была и что делала партия, в которую он добровольно вступил и против которой сознательно выступил гораздо позже, чем, по его мнению, надо было это сделать. Впрочем, почти никто из людей его биографии этого не сделал до сих пор. А он это сделал в расцвете своей карьеры, когда его практически никто не трогал и он мог работать, непосредственно не совершая подлостей. Даже те неприятности, которые обычно, особенно в СССР, выпадают на долю всякого талантливого и самостоятельного человека, были у него уже, в основном, позади — таким было его положение. И вот в один день он сам своими руками все разрушил, отказался от того, за что все вокруг держались зубами, не только руками.

Впрочем, если бы этого не было, не было бы и того Петра Григорьевича Григоренко, которого мы знаем, а был бы просто талантливый военный (инженер, кибернетик, военный мыслитель и организатор) — генерал-лейтенант, генерал-полковник, генерал армии и даже маршал. И, как он сам говорит, возможно, сегодня душил бы Эфиопию не Василий Иванович Петров, а Петр Григорьевич Григоренко — пусть при этом, добавлю от себя, не очень уважая пославшее его туда начальство. А с ним — в глубине души — и самого себя.

Но этого не произошло. Нет маршала Григоренко, а есть правозащитная деятельность, злобная и жестокая месть за нее «с использованием» психиатрии, эмиграция и, наконец, эта книга. В каком-то смысле я считаю эту книгу венцом и наивысшим достижением всей жизни этого незаурядного человека.

Значение этой книги переоценить трудно. Без нее просто невозможно теперь изучать историю советского общества. И не только изучать, но и просто представить. Ибо что можно представить, не представляя психоло-

гии людей, составлявших основу этого строя, ее костяк. П.Г. Григоренко был при всей своей незаурядности все же типичным представителем этого слоя. Путь его вполне типичен для многих талантливых, энергичных и отнюдь не обязательно нечестных подростков и юношей из низов (но не только из низов), которых привлекла к себе и светом ложной, но соблазнительной истины, и открывающимися путями, захватывающими перспективами молодая советская власть. Во всяком случае, во все время своего существования в этом слое, то есть до своего открытого выступления на партактиве, П.Г. Григоренко *никогда* не чувствовал себя белой вороной или совершенно одиноким человеком, всегда, кроме идиотов и жуликов (а их, конечно, хватало, и они весьма затрудняли жизнь), вокруг него были люди, которых он уважал, которым доверял и о которых и сейчас вспоминает с искренним уважением. Даже о тех, кто его уважения заслуживает далеко не во всем, он говорит объективно, отдавая дань их достоинствам и хорошим поступкам. Они для него люди, а не знаки: и уже упоминавшийся В.И. Петров, и маршал Чуйков, и многие другие. Люди, среди которых он жил и возвышаться над которыми он вовсе не стремится. Хоть и приходится.

То, что все эти люди — люди, никак не дает оснований для пересмотра нашего отношения к той страшной силе, которой они служат и которую составляют, но это разрушает схематические представления и способствует более глубокому пониманию жизненных процессов и человеческих отношений в тоталитарном обществе на протяжении всей его истории. Так и получается, что в самом центре этого завихрения, при всех деформациях сознания, люди часто в своих человеческих отношениях остаются людьми, хотя эти человеческие отношения (и в этом трагедия!) на ход событий совсем не влияют. Наоборот, люди более честные, часто попадая при этом в конфликтные ситуации, тем не менее, приносят своим бесчеловечным режимам больше пользы, лучше им служат, чем все остальные, — иногда против воли начальства.

Вот характеристика, которую в середине тридцатых годов вроде бы дала П.Г. Григоренко польская разведка (он строил тогда укрепрайоны на польской границе, и у этой разведки могли быть основания им интересоваться): «Принадлежит к так называемому сталинскому поколению. Идеальный. Предан Сталину и его режиму не из желания выслужиться, а по убеждению. К критике в адрес режима относится нетерпимо, но доносов не пишет, а горячо убеждает оппонента в его неправоте. Головокружительное продвижение по службе воспринял как должное и, несмотря на отсутствие опыта, дело взял в руки твердо и уверенно. Инициативен и решителен. Принимать на себя ответственность не боится. Заметных пороков не обнаружено. Подходов для вербовки нет». Текст был бы совсем достоверен, если бы дальше не следовала еще одна фраза: «Можно попытаться действовать через женщину, хотя надеяться на успех тоже трудно». Фраза ставит весь текст под сомнение. Возможно, автор (или редактор) этой характеристики не польская дефензива, а советский НКВД, которому она вдруг зачем-то понадобилась — и именно в качестве документа «с той стороны». Уж слишком стиль этой фразы в духе тогдашних процессов и митингов! Да и прочитал автору этот текст — да еще так, что тот никак не мог в него заглянуть, — не кто-нибудь, а представитель этой организации Кириллов («череп, обтянутый кожей» — такое он производил впечатление). Может, он и дописал последнюю фразу. Но здесь для нас это неважно. Важно все, что предшествует этой фразе. Кто бы ее ни написал. Правда о П.Г. Григоренко и о многих других людях, живших активно в эти годы.

Человеческая активность — драгоценное качество, но она же и бремя. Потребность эта не менее остра, чем другие физические, материальные и духовные потребности. Эта потребность далеко не всегда даже связана с тщеславием или честолюбием, она часто бескорыстна и, во всяком случае, ни с какой прямой материальной или карьерной корыстью не связана, но потребность эта может

быть весьма соблазняющей. Ведь гораздо приятнее действовать, зная, что каждый твой час и миг отдан, по выражению комсомольского писателя Николая Островского, борьбе за освобождение человечества, а не просто прозе жизни. И тут далеко не каждый легко согласится увидеть (точнее, осознать, что видит), что борьба эта имеет другой вид и смысл. Конечно, если ты не дурак, ты видишь все это, но упорно и умело убеждаешь себя, что это только частности, а так все разумно и хорошо. И это действительно для тебя частности, ибо главное сейчас — это стихия твоей жизни, увлеченность работой, широта перспектив, наполненность каждого дня. Во всем этом столько захватывающего, что просто как-то не вяжется с чем-либо дурным — и ничем, кроме как частностями на светлом фоне или временными трудностями, быть для тебя не может. И даже впечатление от родной деревни во время коллективизации, куда ты и прибыл-то из своей интересной жизни только затем, чтобы увезти, спасти от голодной смерти, то есть от общей судьбы, родного отца, а потом и от другой, куда тебя пошлют уполномоченным на уборку урожая и где ты встретишь несчастных людей, доведенных до полной апатии и равнодушия, — ни в чем не смогут тебя поколебать. Особенно после того, как свою деревню, то есть тех, кто уцелеет до этого времени, тебе все же удастся отстоять — на том, правда, основании, что она, *в отличие от всех деревень* вокруг, всегда тяготела к коммуне. И уж совсем ты успокоишься после того, как Сталин в «Головокружении от успехов» сделает вид, что все это «перегибы» слишком ретивых исполнителей. А ведь сам слышал выступление украинского генсека Косиора на инструктаже уполномоченных по хлебозаготовкам и даже вполне уловил сознательное намерение партии уморить голодом часть украинского крестьянства, чтобы остальным неповадно было сопротивляться коллективизации. Говорилось нечто вроде того, что «мужик», отказываясь собирать хлеб, хочет задушить нас голодом, но мы ему самому дадим почувствовать, что такое голод. Предлагалось за-

ставить вывезти все подчистую, якобы для того, чтобы заставить мужика открыть потайные ямы (которых, все знали, не было). Ты тоже будешь знать, но уверишь себя, что виноват только Косиор, даже захочешь жаловаться на него Сталину — спасибо друзьям, отговорят. И твою потребность к служению и вере советская власть всегда использовала. Хотя больше симпатизировала тем, у кого ее не было. Особенно после того, как сталинская диктатура окончательно оформилась.

Но до этого советская власть должна была утвердиться как порядок вещей, как ход жизни, как нечто, с чем вполне реально и респектабельно могли связываться всякие жизненные планы, расчеты и честолюбие многих людей. Большую роль в этом сыграла тотальная советская пропаганда. Она всегда умела создавать впечатление, что то, что она хочет навязать, давно всем известно, кроме каких-то глупых, отсталых и замшелых людей, что люди, которые ей противостоят — ублюдки, корыстные эгоисты и так далее. То есть она всегда творила мир. Сегодня она это делает — и часто успешно — и в международном масштабе. Утвердившийся в мире — и почти само собой разумеющийся — образ агрессивных и ужасных Соединенных Штатов, грозного и агрессивного сионистского Израиля, представление, что можно требовать от Израиля выполнения им всех арабских требований, сводящихся к его уничтожению, но не хотеть при этом самого уничтожения, — все это ее заслуга. Да что эти частности. Миру навязана такая атмосфера, при которой подчас даже президенты Соединенных Штатов (только не Рейган) оправдываются, когда их обвиняют в дурном отношении к социализму, словно это их действительно позорит! Это в свободном мире. А что могла сделать такая пропаганда там, где она же контролировала все средства информации. И сочеталась с террором: хочешь — верь, хочешь — пулю. Но все-таки ее функции было мало для создания порядка вещей. Годы революции и гражданской войны еще никакого порядка вещей не создали. Люди ощущали не нали-

чие его, а, наоборот, отсутствие, исчезновение, революцию, хаос. Люди упрямо ждали, «когда все это кончится». Порядок вещей начался с нэпа, когда возникла иллюзия, что нормальная жизнь может быть и при советской власти, которая даже начинала выглядеть конструктивной силой. В связи с этим сама романтика утопической идеологии и связанный с ней дух революции, разрушения, вражды, дикости, неуживчивости — стали казаться чем-то respectable и солидным, и девушки из хороших семей стали выходить замуж за бескомпромиссных утопистов (люди дозволенные, но все же идейные, то есть культурные, а не дикие). Конечно, можно греметь филиппиками против мещан и приспособленцев, хотя не стоит уж слишком презирать среднего человека за то, что он хочет жить и не соответствует не им придуманным представлениям о должном. Но, даже отвлекаясь от этого, надо все же заметить, что в том и порядок вещей, что такие люди воспринимают создавшееся положение за реальность, к которой надо приспособиться. Это легализация плоти жизни, ее узаконение в нормах и представлениях бытия. Трагизм советской истории состоит в том, что легализация эта была обманчивой, даже провокационной. Стремление людей к жизни, к порядку, к устойчивости оказалось пойманным на крючок — люди обрадовались концу откровенного хаоса и не обратили внимания на то, что власть, созданная во имя утопии, объявила, что уступает требованиям жизни только для того, чтобы не слететь, и то при этом сохраняет «командные высоты» в своих руках, во имя тех же, то есть утопических и скомпрометированных, целей. Впрочем, жизнь уже и так брала свое, и многих партийцев сохранение «командных высот», иначе — своей власти (связанной и с положением, и с блатами), интересовало уже и тогда гораздо больше, чем причины, по которым это необходимо, даже если они этого не сознавали. Но эта реальность была в их мозгах причудливо связана с их утопизмом. Так и пошло, так и образовался порядок вещей. Конечно, идеальная сторона этого утопизма тут же —

и чем дальше, тем быстрее (а после окончательного воцарения Сталина — с ужасающей скоростью) — стала испаряться, пока, в конце концов, просто не была выброшена на свалку вместе с ее носителями, даже теми, кто ради пребывания у власти шел на многие беспринципные компромиссы. Но и сменив все, даже свой состав, партия, созданная ими, продолжала держать эти «командные высоты» как свою главную ценность. Командные над жизнью и над всеми ее интересами, внеположные по-прежнему для этой партии, хотя идеологические цели, во имя которых они были когда-то взяты, превратились в муляж из обесмысленных и потерявших всякую логическую связь терминов. Впрочем, муляж идеологии выражает и сущность, и реальную духовную потребность строя лучше, чем что-либо иное. Порядок вещей уже был создан, утвердился, приобрел инерцию и привычно продолжал работать сам против себя, против своей природы на нарушение жизненных связей, да и самой жизни. Признание муляжа и миража за реальность стало признаком благонамеренности. Люди, внутренне расположенные к иерархическому порядку, вопреки своей консервативности и даже благодаря ей, старательно занимаются насаждением и соблюдением беспорядка, а люди, сознательно стремящиеся к порядку, оказываются в положении бунтовщиков, с существованием которых мирятся как с необходимым злом. Кстати, мириться с их существованием власти становится все труднее, ибо все труднее ей справляться со своей внеположной сущностью. Хотя кто-то ведь должен работать и должен был работать всегда. Власть, даже основанная на утопии, — вещь не утопическая. Так или иначе, она подчиняет себе порядок вещей. И это страшно. Особенно тогда, когда утопию заменяют ее муляжом и заставляют верить в него, как в реальность.

Сегодня даже те, кто подчиняется этому порядку вещей, в глубине души и почти открыто презирают его. Но когда П.Г. Григоренко выходил в жизнь, этот порядок еще до конца не раскрылся и, несмотря на большое количест-

во открытых врагов, в глазах многих выглядел еще вполне привлекательно.

Автобиография генерала Григоренко — как уже было сказано, это своеобразная история советского общества. Разумеется, не полная, не исчерпывающая, но история. Это не только важнейшее свидетельство современника, это еще и очень серьезное осмысление пережитого. Радость общения с очень умным и внутренне очень богатым человеком не покидает нас во все время чтения этой книги. Это, конечно, не значит, что она отвечает на все трудные вопросы советской истории. Это невозможно. Но она касается их глубоко, заставляет о них думать, и многое все-таки становится яснее — даже из того, что понять вообще трудно: и как все-таки утвердился этот противоестественный порядок вещей, и как могли его поддержать люди, по своей природе чуждые ему, — такие, например, как мудрый, добрый, смелый человек, дядя автора — Александр. Правда, только поначалу, но потом уже спохватываться было поздно. Против порядка вещей, опирающегося на террор и диктатуру, после того, как он утвердился, восставать трудно. История его показательна, ибо спохватился он довольно скоро, как только заезжие чекисты расстреляли в их деревне по пустяковому поводу первую партию заложников. Природа его, несовместимая ни с какой, особенно, бессмысленной, жестокостью, сказала тут же. На ближайшем же митинге, а они устраивались каждый день, когда после очередных угроз оратор (главный чекист) спросил: «Вопросы есть?» — неожиданно в ответ прозвучал спокойный голос дяди Александра, задавший такой простой, естественный после происшедшего вопрос: «А за что вы людэй росстриялы?». Он тут же был арестован, и только случайность спасла его от смерти на следующий день. Какой путь прошла страна, чтобы в ней исчезли обыкновенные люди — не борцы, не деятели, не фанатики, — способные в таких неестественных обстоятельствах задавать естественные вопросы. Не удивительно, что такой человек, неспособный идти против собст-

венной совести и здравого смысла, намучался и пропал в годы коллективизации, — гораздо удивительнее, что он до нее дожил. А поначалу он принял советскую власть и даже чуть не поспорил с почитаемым им священником о. Донским, который стоял за белых. Если бы такие люди, как этот человек, поддерживали с самого начала белых, много бы не случилось. Не поддержали. Почему?

В общем, это старый вопрос, вопрос о том, почему проиграли белые. Ведь сегодня почти всем — и в том числе П.Г. Григоренко — вполне ясно, что победа белых была бы спасением для страны, — а вот не победили. Как это произошло? Кое-что можно почерпнуть и из этой книги.

Стоит запомнить, что в начале революции Петр Григоренко был, по его собственным словам, человеком политически нейтральным. Религиозным. Любившим петь в церковном хоре. То есть никак не большевиком. И он очень хотел учиться, очень стремился к расширению собственного мира и к какому-то иному приложению сил, которых он в себе чувствовал много. Это очень важно запомнить, ибо таких людей, стремившихся реализоваться по-иному, чем их родители, накопилось тогда по городам и весям России много. Это был резервуар энергии, с которым надо было обращаться бережно, который надо было умеючи направлять, использовать и давать дорогу и уж, конечно, не направлять его против себя.

А получилось так. Способный мальчик пришел сдавать экзамены в реальное училище г. Ногайска (ныне Приморска, расположенного в семи километрах от родной деревни). Далось ему это непросто, так как бабка, вопреки желанию еще не пришедшего с войны отца, оказала бешеное сопротивление, которое преодолеть удалось только с помощью о. Владимира Донского. Юноша сделал все возможное, чтобы выглядеть соответственно случаю. «Идя в училище, — вспоминает он, — я оделся по-праздничному: хорошо выстиранные и аккуратно залатанные штаны и рубашка, подпоясан специально сшитым матерчатым пояском на пуговке, голова стрижена под машинку,

босые ноги чисто вымыты». Между тем, остальные кандидаты были одеты или в форменную одежду реалистов, либо в нечто с нею сходное. Все это смущало будущего генерала и заставляло прятаться за спины будущих товарищей (относившихся к нему насмешливо и в свою среду пока не принимавших). То, что произошло дальше, мне кажется невероятным. Однако это — было. Юношу обнаружил директор.

«— Молодой человек! А вы зачем сюда пожаловали?

— На э-к-з-а-м-е-н, — проблеял я.

— На экзамен надо одеться приличнее! Ну что это? — потряс он меня за тряпичный пояс. — Нужен ремень. Если и не форменный, то, во всяком случае, кожаный и широкий. И ботинки нужны. Босиком только стадо пасти можно. Вот так! Идите! Оденьтесь, как положено, и тогда приходите!»

Вот так для него произошла встреча двух миров. Мира рвущихся к культуре и как бы окопавшихся в нем. Разумеется, человека, так встретившего сына народа на пороге знания, всерьез считать русским интеллигентом нельзя. Русский интеллигент, при всех грехах этой формации, такого отношения бы себе не позволил. Но интеллигентными профессиями всегда занимались не только интеллигентные люди. Да и вряд ли тогда еще дифференцировались в сознании Петра Григорьевича понятия интеллигент и чиновник. Но представителем старого мира этот директор для него был. И, к сожалению, не только для него. Впрочем, именно для него дело кончилось сравнительно благополучно. Он сумел одолжить у знакомых требовавшуюся одежду и на следующий день блестяще выдержал экзамен. Но в том, что он так легко отдался большевизму, заслуга вышеназванного директора есть. На горе им обоим и многим другим.

Или вот такой факт. «Однажды, в прекрасное солнечное утро, придя в школу, мы (автор и его друг Семен, сын о. Владимира Донского — Н. К.) никого в ней не застали. Стали расспрашивать. Установили — все пошли к собору

встречать дроздовцев». Друг побежал встречать брата, но Григоренко его примеру не последовал, «хотя в то время я никакой вражды к белогвардейцам не испытывал», — добавляет он. Очень важное объяснение, особенно, если принять во внимание то, что произошло дальше. Неподалеку от училища, у здания бывшей городской управы, нынче совета, толпился народ, родные членов совета. Сами же члены «все до единого собрались в зале заседаний, чтобы передать управление городом в руки военных властей». «Городской совет Ногайска, — объясняет автор, — как и большинство советов первого избрания, был образован из числа наиболее уважаемых, интеллигентных, преимущественно зажиточных, а в селах хозяйственных людей. Для них важнее всего был твердый порядок, а потому они не хотели оставить город без власти даже на короткое время. Они говорили: «Офицерье нас перестреляет». На что им отвечали: «За что? Ведь мы же власть не захватывали.

Нас народ попросил. Офицеры — интеллигентные люди. Ну, в тюрьме подержат для острастки несколько дней. А расстрелять...». Однако, как только появились дроздовцы, группа офицеров направилась к совету, и конвой начал тут же выводить арестованных его членов (два фронтовика пытались убежать, но были убиты). И через короткое время погнали их к подорожной деревне Денисовка. Скоро оттуда донеслись выстрелы, а потом оттуда прискакал офицер и прокричал: «Где здесь родственники советских прислужников? Можете их забрать». Все было кончено и проделано на глазах у людей. Спасся только один, учитель, бывший фронтовой офицер. Но и он тут же был расстрелян, когда, надев форму и четыре «Георгия», явился в комендатуру — обжаловать незаконный террор. Хоть семья у него в ногах валялась, умоляла не ходить. Но он не мог. Тогда еще было много таких людей. Теперь они почти вывелись.

Когда-то, еще в 1974 году, только попав за границу, я с интересом прочел рецензию на только что вышедшую

тогда, по-видимому, очень интересную и важную книгу «Дроздовцы». Рецензия эту книгу оценивала довольно высоко, но отмечала в ней один недостаток—упоминание о фактах, подобных вышеописанному. «Это не на пользу Белому делу», — не видя в этом ничего странного, объяснял свою позицию рецензент. Меня тогда поразила эта соцреалистическая логика в устах врага советской власти. Теперь я, конечно, понимаю, что сходство это чисто внешнее. Слишком часто такие факты использовались для очернения *всего* Белого дела, суть которого отнюдь не определялась такими фактами и победа которого, несмотря на них, была бы спасением для России и ее населения. Но это не значит, что надо болезненно реагировать на упоминание об этих фактах вообще. Все-таки не на пользу Белому делу пошли сами факты, а не упоминание о них спустя 54 года после того, как белые проиграли. Среди расстрелянных членов Ногайского Совета большевиков не было совсем или почти совсем. А сам этот расстрел толкнул к большевикам многих. «Меня огнем пронзила мысль, — продолжает рассказ П.Г. Григоренко, — дядя же Александр председатель Борисовского совета! Значит, его тоже могут расстрелять!». После чего он со всех ног бросился бежать домой, благодаря чему «никого из Ботновских советчиков дроздовцам захватить не удалось. Были предупреждены и соседние села. Все отсиделись в камышах». Это ведь не от красных, от белых они там отсиживались, то есть от людей, пришедших наводить порядок, от людей, которые могли бы их спасти от многого, что с ними случилось потом. Естественно, особо теплых чувств эти крестьяне — те, кто прятался, и те, кто их скрывал от несправедной расправы, — к белым питать не могли. И не питали. Это подтверждается и моим личным опытом. Мне приходилось в разное время жить в разных местах по пути отступления армии Колчака, и везде слово «колчаки» в устах простых людей — к тому же переживших все прелести коллективизации и индустриализации — было ругательством. На странность этого факта обращает внимание и

сам П.Г. Григоренко, говоря о том, что белые у них в селе никого не убили, а красные — семерых ни в чем не повинных крестьян и, тем не менее, и он, и многие другие ненавидели белых, а не красных. Прегрешения красных как бы забывались. Белым же ставилось каждое лыко в строку. В конце концов, все белые бесчинства были не более чем эксцессами, естественными в гражданской войне, а у красных кроме таких эксцессов, которых тоже хватало, был целенаправленный, холодно рассчитанный (по соседству в деревне, ранее восставшей против белых, был потом красными расстрелян каждый второй мужчина — по мнению Григоренко, хорошо понимавшего логику большевизма, на том основании, что восставший против белых, может восстать и против красных), ужасающий (и применяемый для того, чтобы ужасать!), беспощадный, систематический террор, террор, не обошедший ни одного из слоев населения. И тем не менее...

В другом месте Григоренко говорит, что, превратив террор в индустрию, красные и относились к нему профессионально. Никого не расстреливали просто так, на улице или на глазах у всех отведя за город. Расстреливали в подвалах, в укромных местах, заглушая выстрелы ревом моторов, действуя на воображение таинственностью и необъяснимостью своих действий, а не обнажая их живыми картинами в духе вышеописанной, смысл которой нагляден и понятен всем. И который вполне сумеет использовать советская пропаганда, уже тогда творившая тот порядок вещей, о котором шла речь выше. И не пошло ли ей на пользу зверское убийство зажиточной еврейской семьи, предпринятое группой офицеров для устранения свидетелей грабежа, леденящие подробности которого до сих пор еще волнуют автора мемуаров. Уцелел только один член этой семьи — внук, которого в последний момент прикрыла своим телом бабушка. Топор только скользнул по черепу, оставив глубокий шрам, в то время как бабке и деду топором раскроили черепа. Конечно, во время гражданской войны такие эксцессы встречались

сплошь и рядом, но ведь в данном случае в нем участвовали офицеры, то есть люди, вставшие на защиту порядка. Дед и впустил их в дом потому, что они назвались представителями комендатуры. Кстати, потом они с помощью комендатуры и от ее имени пытались добыть из больницы уцелевшего свидетеля этих подвигов — да доктор спрятал его. И разве удивительно, что потом автор встретил его в облике секретаря уездного комитета комсомола, когда сам пришел вступать в эту организацию. Думаю, что обоим в значительной степени толкнуло на это соприкосновение с дроздовцами в Ногайске. И такие близкие им по духу люди, как директор училища, так мало интересовавшийся той энергией, которая таилась в глубинах народа и требовала правильного использования, а не отправки назад — пасти коров. Повторяю, не свожу к ним Белое дело. Не считаю, что именно они определяют его состав и суть. Но они помогли советской пропаганде создать ложный образ этого дела и в значительной мере предопределили его проигрыш. В результате чего Петру Григорьевичу пришлось в конце жизни пересматривать весь свой путь и каяться в нем, а секретарь укома Голдин настолько серьезно воспринял идеологию большевизма, что остался ортодоксальным большевиком, когда порядок вещей стал требовать от желающих оставаться в партии большевизма более диалектического, то есть примкнул к троцкистам. И, по-видимому, потом разделил судьбу почти всех, кто отнес сам себя или был отнесен другими к этой категории. В конечном счете, от проигрыша Белого дела не выиграл никто: ни те, кто его защищал, ни те, кто ему изменил, ни те, кого оно само толкнуло в лагерь победителей, ни отчасти сами победители — особенно, если они были честными хотя бы по отношению к своему делу.

Правда, перед Петром Григорьевичем этот выбор не стоял. Вступать в новую жизнь он начал, когда Белое дело было уже проиграно, когда новый строй открывал перед ним блестящие перспективы, путь к знаниям был открыт, теперь никто бы уже не посмел намекнуть ему, что

его дело не учиться, а пасти коров. (Кстати говоря, и пасти коров надо уметь, не все умеют, и это вовсе не знак человеческой никчемности.) Когда при его вступлении в профтехшколу с ним попытались сделать нечто подобное (правда, не за то, что мужик, а за то, что комсомолец), то он знал, даже слишком хорошо знал, что у него есть защита. Это даже привело его к одному из немногих в жизни сомнительных поступков: «...Я написал в уком комсомола письмо о том, что в Молокановке создана не профтехшкола, а гнездо контрреволюционной белогвардейщины». «К счастью, — добавляет Григоренко, — в то время «бдительность» еще не достигла той степени, что в 30-х годах, и мое заявление не имело трагических последствий». А могло бы иметь. В оправдание ему можно привести юношескую неопытность и то, что с ним самим поступили кричаще несправедливо. Он был хорошо подготовлен, и все экзаменационные задачи, в которых не было для него ничего нового, решил правильно. (Он запомнил и задачи, и решение, и правильность последнего возмущенно подтвердил тот, кто его готовил к экзамену, — талантливый педагог, бывший преподаватель математики одной из лучших московских гимназий, которого на Юг погнала угроза голодной смерти.) Тем не менее, ему в глаза соврали, что решение ошибочно, но работу показать отказались. Совсем как на нынешних приемных экзаменах в советский вуз: когда дано указание кого-либо «зарезать». Конечно, людей, боявшихся иметь у себя комсомольца, можно понять, но подлог есть подлог. Такие вещи только углубляли трагическую неразбериху и взаимонепонимание. И еще больше увеличивало кредит советской власти в глазах такой, рвущейся к большой жизни талантливой молодежи. По молодости лет он не обратил особого внимания на уничтожение партийных оппозиций, более того, они были подкопом под подлинность идеологической сущности строя, открывавшего такие перспективы перед ним, и он, наверное, инстинктивно отталкивался от всего, что они говорили. Сейчас он, как и многие другие, отка-

зался от этой идеологии полностью — в любом ее виде, но это уже другая степень. До нее ему, как и многим другим, пришлось пройти и через «подлинный ленинизм», то есть через то, что противопоставляла сталинскому духовному и идейному небытию оппозиция. Отступление в этот «ленинизм» — это отступление к начальному соблазну и греху из порожденных ими духовного небытия и прострации, но боюсь, что без этого отступления понять суть такого греха трудно: что вообще можно понять, находясь в прострации? Тогда это казалось не прострацией или потерей идеологии, а наоборот, жизнью и продолжением ее. К сожалению, не только для таких, как П.Г. Григоренко, который и мыслить всерьез критически начал около тридцати, а и для многих людей иных возрастов, политической подготовки и социального происхождения. Но это уже хоть и близкая к нашей, но иная тема.

Информатор польской дефензивы (все-таки вряд ли советский НКВД — он, скорее, подправил что-то в конце) безусловно прав, рекомендуя П.Г. Григоренко «представителем так называемого сталинского поколения». Но сталинское поколение составляли люди совершенно разные. Большинство из тех, кого относят к этому поколению или, точнее, с кем связывают представление об этом поколении, так или иначе связаны с представлением о порождении культурной революции и чисток 37-го года. П.Г. Григоренко ни к тем, ни к другим не относится. Вехи его биографии и роста только внешне совпадают с вехами биографии таких людей. Он тоже происходит из низов, тоже неоднократно посылался по партийной мобилизации, каждый раз почти против воли, скачкообразно перебрасываясь с уровня на уровень без ликвидации пробелов, то есть из него тоже готовили «кадру», облаченную больше доверием, чем знаниями или ответственностью. Дело не только в том, что Петр Григорьевич таким не стал, — дело в том, что у него не было и предпосылок таким стать. Хотя бы потому, что учиться он хотел и всегда учился, как только выпадала возможность, что к жизни и деятельности его

тянуло и до того, как навстречу этим желаниям пошла партия. Короче, он был одним из тех представителей народа, который действительно хотел подняться и поднимался, которых накопилось довольно много перед революцией, а не представителем тех, кого партия поднимала к свету знания за уши, чтобы иметь своих «специалистов». Именно поэтому П.Г. Григоренко и такие, как он, проявляли иногда героические усилия, ликвидируя пробелы самостоятельно, но получали полноценное образование. Само по себе это тоже не панацея. Старательно вместе с П.Г. Григоренко учился и Николай Леличенко, в конце 50-х годов один из украинских министров, который при встрече стал доказывать, что один из общих товарищей по учебе, арестованный в 37-м году как «враг народа», действительно этим врагом был. «И я подумал, — говорит автор, — что, видимо, сам он приложил руку к его (товарища — Н. К.) гибели». Не о всяком ведь так подумаешь. Далеко не всякое приобщение к знаниям, к профессии бывает приобщением к культуре. Мимоходом, кстати говоря, Григоренко отмечает, что в той массе «оргнабора» (то есть насильственно мобилизованных на культурный фронт), которая училась плохо или вовсе не училась, почти никто в годы чисток не пострадал. Когда интеллигентного юношу, попавшего в институт не по набору, а по конкурсу, спросили, что после института будет с выдвиженцем, к которому он был прикреплен для «подтягивания» в порядке комсомольской нагрузки, но который упорно «подтягиваться» не желал — только требовал, чтобы прикрепленный решал за него задачи, умудренный опытом многих, интеллигентный юноша не задумываясь, ответил: «Он будет моим начальником». И как в воду глядел. Стал. Буквально. Конечно, так получилось не только в этом случае. Не знаю, как себе представляли последствия таких оргнаборов те, кто их придумал, но они, вынужденные защищать свое место в жизни, должны были овладеть самой жизнью, довести ее нормы до своего уровня. И от них одинаково солоно приходилось не только старым «гнилым» интеллигентам, но

и многим новым — таким, как П.Г. Григоренко. В сущности, этих выдвинутых выводили как гомункулусов, но только не из неживой материи, а из живых людей, и они-то и составили основной костяк сталинщины. Над ними смеются, но за глаза — в глаза попробуй. Они упрямо, глупо, нелепо, но успешно навязывают свой уровень и язык своих противостественных представлений всем внутри страны (в том числе и тем, кто над ними смеется), мировому коммунистическому движению (это не моя забота, но отметить надо), мировой дипломатии, вынужденной считаться с их языком, да и вообще всему миру, вынужденному осмысливать их как реальность. При Сталине они обходились без самосознания, главная их добродетель перед людьми и «Богом» была в том, что они были верны «Ему», а он уж знал, кто они и для чего. Но после Сталина они предпринимают иногда попытки самосознания и определения собственного идеала, идеала людей, облеченных чем-то неизвестно из чего и неизвестно для чего. Особенно это ярко проявилось в романах В. Кочетова «Братья Ершовы» и «Секретарь обкома». Гомункулус заявил о себе. Картина мира с точки зрения интересов бездарного человека, имеющего право на несоответствие занимаемой должности. То, над чем все остальные смеялись, что всем отвратительно (безличность, подхалимаж, прислужничество), в этих произведениях отнюдь не скрывалось, а поднималось на высоту идеала. Но это, так сказать, касалось вынужденных героев. А вот что орал открыто, на официальном заседании Центральной Контрольной комиссии КПСС не вымышленный герой, а зам-председателя этой комиссии — старый сталинский функционер Сердюк: «Оклады его высокие не устраивают, видите ли... Ты не о своем высоком окладе думал, когда говорил об этом. Ты был уверен, что как высококвалифицированный специалист имеешь право на свой высокий оклад. Ты о *моем* высоком окладе думал, когда говорил об этом... — Нажал он на слове *моем*. — Сменяемость ему, видите ли, нужна. Так ты же не о своей сменяемости думал.

Ты же специалист и в смене не нуждаешься. Ты же думал не о том, чтобы тебя сменили. Ты хочешь, чтобы *меня* сменили... Развел такую демагогию и еще имеешь нахальство жаловаться...».

Эта речь — реакция на выступление Григоренко на Фрунзенском райпартактиве г. Москвы, где он настаивал на соблюдении «ленинских принципов», то есть на сменяемости функционеров и ограничении их окладов зарплатой среднего рабочего. Тогда еще Петр Григорьевич ощущал себя коммунистом и видел в соблюдении этих утопических принципов спасение от всех бед. Но речь сейчас не об эволюции его взглядов, а о прямом самовыражении гомункулуса, о прямом выражении им своей, как говорят марксисты, «классовой позиции», в том числе классовой ненависти выдвигенцев, ни на что, кроме как на принадлежность к правящей мафии не способных, к специалистам, без которых, к сожалению, нельзя обойтись, и которых необходимо держать в руках, и именно потому, что они-то без «нас» обойтись вполне могут... Это искусственно выведенная порода, роботы, восставшие против своих творцов. А одним из их творцов был и сам Петр Григорьевич, когда по воле партии тащил их за уши к получению дипломов, к уравниванию их в правах с теми, кто может и хочет знать, с такими, как он сам, и теми, у кого он учился и хотел учиться. Сегодня эти роботы постепенно сходят со сцены, но они очень заботятся о том, чтобы ничем полноценным их заменить нельзя было — причем в одной из самых умных, образованных и квалифицированных стран мира. Впрочем, о том, кто придет им на смену, пока еще можно только гадать, но людям, долгие годы вынужденным приспособливаться к их ирреальности и скрывать от них творческий огонь, очень трудно будет сохранить его и донести его до момента, когда его можно будет применить. Но будущее — это иная тема. На сегодняшний день реальными победителями революции остаются гомункулусы.

Видимо, к этому шло с самого начала. Но вовсе не было очевидно. В событиях участвовали не только канди-

даты на высокое звание. Даже в высшем слое, даже сегодня ими являются далеко не все (но все должны приспособливаться к ним, то есть делать то, что отказался делать наш автор). А на первых порах негомункулов было гораздо больше, ведь самый тип выработался и утвердился намного позже. И очень интересно, как именно они контактировали с той бесчеловечной стихией, которая их влекла (хотя таковой в их глазах не выглядела), и с бесчеловечной идеологией, в которую верили. Как уже упоминалось, информатор дефензивы характеризовал П.Г. Григоренко как человека, нетерпимого к антисоветским взглядам и разговорам, но мимоходом сообщает: «доносов не пишет».

Позволительно было бы спросить: «А почему?». Ведь предан же делу, ведь столько есть врагов у советской власти, ведь жестокая схватка и капиталистическое окружение, ведь долг коммуниста прямо обязывает, ну не доносить, конечно, но сигнализировать компетентным товарищам по партии (которой он предан не за страх, а за совесть!) о нездоровых настроениях и их носителях. А вот поди ж ты... И ведь не только не доносит, а когда его товарищ Гриша Балашов, такой же верующий комсомолец, как и он сам, решает сознаться, что он сын попа (в первые годы советской власти, до середины тридцатых годов, это было большой компроматацией), он не только сам не доносит, но даже уговаривает Гришу не делать этой глупости, понимает, что она может погубить хорошего человека. «Не знаю почему, но я считал этот обман вполне оправданным», — говорит он о тогдашнем себе. Очень многие, верующие коммунисты (и нацисты тоже) считали свои жестокие принципы верными во всех случаях, кроме тех, когда они касались людей знакомых и понятных им. Это никак не заставляло их отказываться от этих принципов. Впрочем, это касалось вещей и гораздо более глубоких и основополагающих. И столкнулся с ними П.Г. Григоренко гораздо ранее, в самом начале своего комсомольства.

Один из двух присланных в их деревню для организации ячейки комсомольцев, Иван Мерзликин, был слу-

чайно ранен во время любительского спектакля, когда исполнял роль расстреливаемого комиссара. Все, в том числе и автор мемуаров, очень удивлялись, каким образом пыж смог пробить полушубок. Удивлялся и будущий генерал. Но Ваня вопреки очевидности доказывал, что пыж и не пробивал никакого полушубка, ибо полушубок был распахнут. В доказательство он демонстрировал целехонький полушубок. Но юный Григоренко, перед спектаклем застегивавший ему этот полушубок, обнаружил, что полушубок подменен. Мерзликину пришлось раскрыться:

«Про пыж это я придумал. Уговорил Грибанова (доктора — *Н. К.*) поддержать мою версию. С полушубком она не получается, вот я и подменил его. Для чего я это делаю? Я догадываюсь, как это произошло. Тут никто не виноват. Но если дело попадет в Чека, то не одна голова полетит... Я немного служил в Чека, и теперь врагу не пожелаю туда попасть». Несколько странно звучит в устах сторонника диктатуры такая характеристика главного ее органа. Но дальше — больше: «Теперь учти, кроме меня правду знают только Грибанов и ты. Грибанов не скажет, так как его за «пыж» запросто к стенке поставят. Я тем более не скажу, так как мне сразу припаяют «покровительство бандитам». Значит жизнь моя, Грибанова, всех братьев Яковенко (один из них был хозяином дробовика, другой из него стрелял по ходу спектакля) и еще, может, кого-то зависит от тебя одного». В связи с этим Мерзликин просит Григоренко помочь ему уничтожить улику, т. е. картечину. «Пойдешь домой — выброси в речку. Я хотел сохранить на память, да боюсь, найдут. Уже сегодня был чекист. Но он шлапак: поверил Грибанову и мне. Но там не все такие. Найдется кто-нибудь, кто начнет копать. Поэтому от греха подальше». В заключение автор говорит: «Я выполнил его просьбу». И даже более того: «Замечание насчет Чека запало мне в душу на всю жизнь. Может, этим объясняется, что я никогда ни на кого не донес в ЧК и в душе подвергал сомнению распространяемые советской пропагандой страшные истории о «врагах народа» и рассказы о «подви-

гах» чекистов. При той восторженности, с какой я воспринимал все советское, я без Мерзликина мог натворить много такого, за что потом было бы стыдно и больно».

Честно говоря, я не очень верю, что Петр Григорьевич при любой восторженности мог бы натворить «много такого». Ведь для этого мало оступиться, надо долго жить определенным образом, противоречащим его натуре и воспитанию, а этого он не мог бы. И ведь чувствовал в нем нечто надежное тот же Ваня Мерзликин, когда доверял безусому юнцу столь ответственную тайну. Но все же наверняка кое от чего Ваня Мерзликин его уберег.

Но этот конспиративный разговор и сговор двух сторонников диктатуры, стремящихся скрыть следы никогда не существовавшего преступления в боязни, что начнут копать и тогда выкопают — то, чего не было, эта твердая убежденность, что родным компетентным органам ничего доказать нельзя, что они человеческому языку не доверяют — даже тогда, когда он исходит из уст доверенных людей при готовности и дальше вполне честно идти с этими органами в одном строю к тем же сияющим вершинам, — вещь весьма знаменательная. Нет, это не сталинские гомункулусы, это люди, в значительной степени сами выбирающие себе дорогу, но уже ставшие на нее, уже обложенные тем, что большевики называют дисциплиной, уже подвергнутые постановлению о запрещении фракций, уже обязанные не считаться с велениями собственной совести (совестью их тоже в централизованном порядке должна распоряжаться «партия», то есть партократия, и совесть разрешенная — это только полная разоруженность перед ней). Конечно, времена еще сравнительно вегетарианские, еще в центрах человек с достаточным партийным весом может и вырвать кого-либо из лап ЧК, еще *анфан террибль* партии Рязанов, несмотря на свое пошатнувшееся положение, может, будучи вызван в ЧК на допрос для опознания какого-либо соглашателя, начать путать карты и опознать его только после прямо выраженной просьбы опознаваемого, которому зачем-то

это нужно («Память», № 3), но в глубинке на это шансов меньше, и вообще официально ЧК — вещь духовно высокая, карающий меч революции, и в это надлежит верить. И все движется к тому, что исчезнет всякий вопрос о вере, о самостоятельной ответственности (прямо перед начальством и в тех терминах, которые оно употребит), и наилучшими людьми станут те, для которых это естественно, то есть гомункулусы. Но никогда, нигде, ни на каком уровне не будет так, чтобы были одни гомункулусы. И человеческое как-то будет проявляться. И все-таки люди будут доверять друг другу. Даже в очень серьезном.

П.Г. Григоренко винит себя в том, что он был в состоянии понять, что делают и что собираются сделать с крестьянством, что понравившиеся ему и успокоившие его статьи Сталина «Головокружение от успехов» и «Ответ товарищам колхозникам» на самом деле были маневром для того, чтобы сбить с толку серьезное сопротивление крестьянства и выиграть время для подготовки страшнейшего преступления против него — организации искусственного голода. Еще бы! Ведь он сам слышал речь тогдашнего секретаря компартии Украины Косиора на собрании тех, кто должен был выезжать в качестве уполномоченных ЦК КП(б) Украины на уборку урожая.

Речь эта очень важна, это одно из немногих прямых доказательств, что страшный голод начала тридцатых годов был организован умышленно, и ее пересказ я повторяю полностью. Вот она: «Мужик перешел к новой тактике. Он отказывается убирать урожай. Он хочет, чтобы погиб хлеб, чтобы можно было костлявой рукой голода задушить советскую власть. Но он просчитается. Мы его самого заставим узнать, что такое голод. Ваша задача — сорвать кулацкую тактику саботажа уборки урожая. Убрать все до зернышка и собранное немедленно вывозить на хлебосдачу. Степняки не работают, надеясь на спрятанное в ямах зерно прошлых лет уборки. Надо заставить их раскрыть ямы».

Речь эта произвела очень тяжелое впечатление на Петра Григорьевича. Он знал, что никаких ям нет и в по-

мине, что были они только до нэпа и понял довольно четко, что просто Косиор сознательно решил организовать на Украине искусственный голод — что он почти прямо и высказал. (Понять, что дело тут не только в Косиоре, Петр Григорьевич еще и не мог, не решился.) Поразительно то, что он своего отношения к речи Косиора (как-никак секретарь ЦК Украины, член Политбюро большого ЦК!) в своей среде не скрывал. И секретарь институтского партбюро Топчиев с ним не спорил, но как человек более взрослый, отговаривал его только писать жалобы Сталину на Косиора. Советовал *пока* подождать. А ведь практически обязан был квалифицировать настроения П.Г. Григоренко как кулацкие и антипартийные — особенно в момент обострения классовой борьбы. И поступить соответствующим образом. Ан нет. Не поступил. И человек был, видимо, другой, и обстановка, видимо, была еще далеко не та, что потом. Из того, что народ был лишен всяких прав и всякого голоса с первых дней советской власти, и потом все изменения практически касались только изменений внутри партии, никак нельзя делать вывод, что эти изменения не имеют значения. Сокращение демократии внутри партии — а этот процесс шел все время и довольно быстро — означало, что демократия сокращалась и в партии, что везде, любая — даже искривленная, партийная — жизнь сходилась на нет, и в стране не оставалось никого и ничего, кто мог бы хоть в мизере возразить верховной власти, означало все большую замену на всех уровнях великих грешников теми, кто сам себя называл *номенклатурой*, то есть теми, кого вытаскивали и вытащили за ушко в руководители всех сторон жизни, в создание обстановки, где на руководящих уровнях просто гордились, что за них думает Сталин, и где высшей доблестью и удачей считалось правильно угадать его верховную волю. На таких основах уже не поговоришь. Конечно, и там оставались люди, которым было что сказать друг другу, да и появлялись новые (жизнь-то шла!), но равняться приходилось на других, «нетипичных», но почему-то все

решающих. Да и очень редко — на партийном уровне. На профессиональном — чаще. Вспомним описанную Григоренко реакцию армии на то, как проходило — на уровне грамотности Буденного — присвоение новых (вернее, старых, дореволюционных) званий комсоставу. Или разговор Новобранца с Рыбалко в Генштабе по поводу разведсводки № 8, разговор, требовавший высочайшего доверия друг к другу: узнай кто-нибудь, конец бы не только Новобранцу (он и так избежал его случайно), но и Рыбалко тоже — за соучастие. Но за выражение недовольства порядком переаттестации потом сажали, а разговор двух военных с самого начала был строго секретный, чуть ли не заговорщицкий. То, что при этом был заговор не против интересов власти, а за них и что из-за этого один его участник шел на верную смерть, а другой — на смертельный риск, в этом дух сталинщины. А ведь разговор с Топчиевым был просто разговором, хоть был он прямо политическим и касался линии руководства. Ибо все-таки у обоих была инерция ощущения членов партии, а не просто людей, допущенных к ней для получения благ и чинов. Другая атмосфера в отношениях не то что была, но еще была возможна в отношениях между людьми. Хоть это уже был анахронизм (или атавизм). Хоть в каком-то смысле это были самые преступные годы советской власти, последствия их на отношениях внутри партии сказались несколько позже — во время и после чисток.

Этот инструктаж Косиора сблизил П.Г. Григоренко еще с одним человеком, чрезвычайно интересным для понимания общей обстановки и реальной истории, заворгом комитета комсомола, бывшим троцкистом Яшей Злочевским. В самиздатской публицистике утвердилось мнение о троцкистах, как об исчадиях зла, главном источнике бед, людях в лучшем случае из романтических соображений ненавидящих народ и крестьян. Я отнюдь не собираюсь защищать троцкизм, ибо считаю его догматическим большевизмом, грешным всем, чем грешен большевизм, и ответственным за все, что творил большевизм, пока вклю-

чал в себя и его. Его идеологию и проповедь я считаю опасным и бесчеловечным делом — разумеется, не более бесчеловечным и страшным, чем то, что творил (то, что он говорил, не имеет значения) Сталин, но к тому ведущий, к нему приведший. Но молодежь к нему влекли не его бесчеловечная суть (ее хватало и в «генеральной линии»), а некий вид идеологической цельности, протест против бессмысленной беспринципности, нежелание повторять абракадабру. Толкало их безусловно не в ту сторону — не к отказу от коммунизма, а к его углублению, очищению. Но я ведь не троцкизм защищаю, а людей, которые заблуждались далеко не всегда из низменных побуждений. И воюю против схемы, позволяющей отвлечься от стыда сталинского небытия. Отвлекаться от этого не надо, это надо преодолеть — в некоторой степени и в самих себе, главное — в самой нашей жизни. Ведь и троцкизм, и ленинизм во многих преодолены, а сталинщина — не всегда, слишком разрушительные последствия она оставляет после себя.

Во всяком случае, бывшего троцкиста Яшу Злочевского с крестьянским сыном Петром Григоренко, и до этого симпатизировавших друг другу, окончательно сблизило их отношение к вышеупомянутому инструктажу. Оказалось, что они одинаково расценили его — как указание об организации голода. Только Яша Злочевский, он был старше на три года, понимал это отчетливей — в том смысле, что Косиор знал, что делал, и что он не один это выдумал. «Не он один. Все они растленные типы. Для них человек — ничто. Власть им нужна любой ценой. Ради нее они никого не пожалеют, даже друг друга», — он говорил, как рубил... Под словами этими может подписаться любой из нас сегодня.

Но может быть, дело тут в троцкистской озлобленности — все же оттеснили, оболгали, используя методы, которые, впрочем, Троцкий считал вполне нормальными, но только вне партии, а не внутри ее. Собственно, этот вопрос — правда, в другой форме — и задает ему его более

молодой собеседник. Вот он: «Яша! А как у тебя с троцкистским прошлым? Что, твой отказ от троцкизма — тактика или действительный отход?». Выслушаем ответ. Он очень важен: «Видишь ли, я вообще ничего не могу делать неискренне. В троцкизме я действительно разочаровался и никогда к нему не вернусь не только организационно, но идейно. В главном троцкизм не отличается от ленинизма, а следовательно, от теперешней идеологии и тактики партии. Но у троцкистов я многому научился. Анализ бюрократизма и диктатуры партийного аппарата троцкисты сделали классически». А дальше, немного непоследовательно идет программа жизни, принятая несколькими поколениями советской интеллигенции, теми ее представителями, которые безуспешно старались сводить концы с концами и оставаться честными: «Благодаря этому (анализу — *Н. К.*) я, идя с партией, придерживаясь ее идеологии, стратегии и тактики, вижу те извращения, которые на них накладывает советский бюрократический и партийный аппарат, особенно борьба за местечки. Делай все честно, в меру своих сил препятствуй аппаратчикам, бюрократам душить партию и народ, но не лезь со своими жалобами в верха».

Нет сомнения, что Николай Леличенко был искрен, когда убеждал своего бывшего однокашника, что Злочевский — в отличие от других «жертв культа личности» — и на самом деле был «врагом народа». Вероятно, он услышал от Яши нечто такое, что ему показалось невероятным. И тем более страшным, что было проаргументировано и не могло сойти за «обывательские разговорчики». Логика таких людей — когда речь идет о том, за что они держатся, — не убеждает, а только пугает и раздражает. Николай Леличенко (в отличие от большинства из «спецнабора») учился добросовестно и старательно, хотя учеба давалась ему трудно. И вполне возможно, он усвоил профессиональные знания, но мысль о том, что земная ответственность человека, особенно человека мыслящего, не может ограничиваться его ответственностью перед на-

чальством, вероятно, не приходила ему в голову никогда. (И здесь он не отличается от тех, кто учился спустя рукава.) Этому ему негде было учиться. И практически не у кого. Даже те, идейные, которых потом с его помощью вытеснили из жизни, учили его не этому. У некоторых из них еще была, вероятно, развита потребность думать о вещах лично их не касавшихся и иметь свою точку зрения на вопросы, уже авторитетно обдуманые начальством, но от него ведь требовалось только классовое чутье, более того, к этому чутью апеллировали, его объявляли отправной точкой всякого грамотного мышления (а к грамоте он стремился; и что говорить, классовое чутье, в каком-то, правда, несколько трансформированном виде, у него развилось). К тому же те, кто его учили, и сами мало-помалу, ради единства партии или чего подобного, предавали свою способность самостоятельно мыслить и отвечать. Конечно, это делалось для того, чтобы сохранить возможность участвовать «в общей работе», или как в Яшином случае, чтобы стараться на ходу выправлять ошибки руководства, иногда это, как мы видим, было и искренне, но со стороны слишком неотличимо от желания сохранить за собой теплое место. И можно быть уверенным, что такой Николай Леличенко и не отличал этого. Тем более, что он не был и расположен к этому, ибо был не заинтересован. Конечно, всё это люди, и как все люди они отличались друг от друга (хотя выглядели и старались выглядеть одинаково), и в каждом внезапно могло проснуться что-то человеческое, но биография их к этому не располагала. Но все-таки я думаю, что никто не выиграл от того, что такие люди стали, выражаясь языком В. Чалидзе, «победителями коммунизма», думаю, что все даже еще больше проиграли от этого. Это было не смягчением, а бескрайним ужесточением того, что было до этого. Не говоря уже о том, что человек, самостоятельно пришедший к коммунизму, мог (и такое бывало) раскаться в нем, а человеку, чувствующему ответственность только перед начальством, раскаться вроде бы и не в чем. А в чем оно состояло, не его

ума и не его нравственной озабоченности дело. Парадокс состоит в том, что такое положение эти люди стараются сохранить и тогда, когда окруженное ореолом начальство исчезает и даже когда они сами (зная ведь все про себя) занимают его место. Такие люди сейчас и правят нашей страной и навязывают свой уровень всему миру. Это было бы очень смешно, если бы не было столь опасно.

А тем более, были они опасны тогда. Разговор с одним из таких людей обошелся Петру Григорьевичу довольно дорого. Разговор этот произошел после того, как в штабе Дальневосточного фронта впервые стало известно о начале войны, то есть после речи Молотова 22 июня 1941 года (другой информации штаб не получил). До этого, знакомый с разведсводкой № 8, он считал, что командование знает о том, что война вот-вот начнется, и принимает меры (он не мог тогда знать, что сводка разослана в прямое нарушение воли командования), и теперь, даже по речи Молотова, он понимал, что меры не приняты, что немцы застали нас врасплох и уничтожили советскую авиацию. «Вспомни, как начинали немцы в Польше, Франции, Норвегии, — объяснял он своему сослуживцу. — Везде они (то есть немцы) начинают с удара по авиации и затем беспрепятственно громят наземные войска. Не надо быть очень мудрым, чтобы понять это и принять меры, чтобы отбить подобную попытку, если она будет предпринята противником. А наше Верховное Главнокомандование не позаботилось об этом, и вот вся наша Западная группировка военно-воздушных сил разгромлена». Человек, которому он это говорил, был, как и сам П.Г. Григоренко, выпускником Академии Генерального штаба, вроде специалист того же класса. Но о нем потом говорится: «Общекультурный уровень невысокий, ввиду чего и военные знания его были формальными, заученными». Естественно, что из этого следует «неспособность к анализу и к собственным выводам». В сущности, это характеристика целого слоя. И вообще, спрашивается — зачем набирать в Академию Генерального штаба людей без достаточ-

ного культурного уровня? Ведь это все-таки не курсы трактористов и шоферов и даже не среднее бронетанковое училище. Это ведь дело заведомо элитное, как раз и требующее общего кругозора. Но такие люди определяли многое. И свою неспособность к анализу кое-чем компенсировали. Вряд ли в другое время Петру Григорьевичу захотелось бы откровенничать с этим человеком, тем более, что сам он говорит о нем как о неинтересном собеседнике, но день уж был слишком нерядовой. Видимо, показалось, что начавшаяся трагедия сближает людей общей судьбой. Но человек, потерявший связь с самим собой (человек с самым высоким военным образованием, а в сущности и не знающий, что такое образованный человек), никакой связи с ним почувствовать не может. И «в час, когда над нашей Родиной нависла смертельная опасность», он сделал то, что сделал бы в любой другой — написал донос на своего бывшего однокашника, что «усумнился» в мудрости Сталина. Сталин, правда, в разговоре даже не упоминался, но уж в этом деле полковник Андрей Алейников мыслить, по-видимому, умел хорошо. Так, что его, такие, как он, понимали. А получалось так, что их уровень был господствующим. И действовать против них можно было только подпольно. Так и действовал друг Петра Григорьевича, один из виднейших политработников Дальневосточного округа. Он передал через жену друга (они жили по соседству, чтобы тот зашел к нему ночью того дня, как поздно бы тот ни вернулся с работы, и сказал ему следующее: «Ну вот что! Запомни! Я тебя не видел, мы с тобой не говорили, я тебе ничего не советовал. Ты можешь вести себя как угодно и рассказывать что угодно, но если ты расскажешь о том, что сомневался в мудрости Сталина, я тебе ничем помочь не смогу. В ответ на возражение Петра Григорьевича, что он имени Сталина не называл, друг сказал, что это неважно. «Мудрый у нас только один человек. Поэтому о мудрости в том тоне, о котором говорил Алейников, ты вообще не говорил... И запомни — речь идет не о партийном билете, а о твоей голове. Утром тебя пригла-

сят в назначенную мной партийно-следственную комиссию. Не забудь, когда к ним придешь, что ты не знаешь, зачем тебя вызвали».

Вот сколько конспирации понадобилось. А в сущности человек только высказал профессиональное суждение о коллегах, о их просчете. И обошлось это дорого, хотя самое страшное удалось отвести. Отделался строгим выговором. «Меня мой разговор с Алейниковым преследовал очень долго <...>. Всю войну я прошел на генеральских (иногда полковничьих) должностях, но оставался подполковником. Только случайно, благодаря вмешательству Мехлиса, в конце войны (2 февраля 1945 года)... Этот разговор столкнул меня и с Брежневым в конце 1944 года (при попытке снять выговор, которой воспротивился Брежнев: “Неуважение к товарищу Сталину? Пусть поносит!”). Его же мне напомнили, когда я в 1961 году выступил против Хрущева». Существенная деталь. На той парткомиссии в армии, где Брежнев так картинно выступил против снятия выговора Григоренко, стоял вопрос о снятии выговоров с двух других провинившихся. Один, заместитель комполка по тылу, которого должны были судить за крупные хищения, но благодаря заступничеству начальства ограничили строгим выговором с предупреждением (но без занесения в учетную карточку). Второй — командир полка связи, насилловавший подчиненных ему девушек-связисток (их ему приволакивали холуи-бугаи) — это называлось «использование служебного положения в целях принуждения подчиненных к сожительству». С обоих приговоры сняли без звука. В присутствии того человека, который 17 лет управлял Россией и влиял на судьбы всего мира, который специально пришел, чтобы не допустить снятия выговора с Григоренко. Это и есть моральный кодекс номенклатуры, управляющей нашей страной.

В этой книге, вероятно, нет ни одного послереволюционного эпизода, который не влек бы за собой необходимости пространных размышлений. Каждый эпизод —

узел, в котором скрещиваются многие факторы, определившие судьбу нашей страны. Только такие эпизоды практически и отобраны автором, да и как-то служат они этому, хотя автор как будто писал только автобиографию. Но это биография человека, прошедшего большой и сложный путь, освещенная тем, к чему он пришел, и написанная с точки зрения тех истин, которые ему открылись. Это книга фактов и книга мысли. Эта книга будит мысли, и если все их выразить, получится книга, в несколько раз превосходящая авторскую. Не знаю, когда напишут такую книгу, но уверен, что книга генерала П.Г. Григоренко — важнейший источник для изучения истории советского общества. И что каждому, кто ею интересуется, следует эту книгу прочесть.

За чей счет?

Открытое письмо Генриху Бёллю

Дорогой г. Бёльль!

Когда-то мы встречались в Москве и как будто относились друг к другу с симпатией. Несмотря на то, что я во многом не согласен с Вами, эта симпатия не прошла у меня и поныне. И, кроме того, я по-прежнему благодарен Вам за Ваши произведения, за то, что они раскрыли миру немецкую трагедию изнутри и значительно ослабили то отчуждение, которое — чем бы оно ни объяснялось — не способствовало ни самопознанию, ни взаимопониманию людей. Это — заслуга, с моей точки зрения, непреходящая.

Я всегда считал и считаю Вас благородным человеком. И Ваша статья «Жестокий мир свободы» («Страна и мир», № 3 (1984)) с основными положениями которой я в корне не согласен, не поколебала моего отношения. Вы спорите с В. Буковским, но Вы отдаете ему должное как человеку и как автору. И Вы хорошо понимаете, из какой страны он приехал. Так что я пишу эту статью не для того, чтобы защитить Буковского, и не для того, чтобы объяснить Вам прелести зрелого социализма. Тем не менее, я выступаю явно на стороне Буковского.

Я никак не соревнуюсь с Вами в знании Запада, но и не собираюсь игнорировать собственное восприятие и впечатления: все же я здесь уже больше десяти лет, и обо

мне никак нельзя сказать, что Запад поворачивался ко мне своей парадной стороной — как Вы говорите о Буковском. Я даже могу согласиться с Вами, что употребленное им слово «беззаботность» не совсем точно для описания тех явлений, к которым он его относит (беззаботными бывают характеры, — жизнь людей в целом беззаботной вообще не бывает), однако я думаю, что само явление он описывает вполне точно. И безо всякого легкомыслия, которое Вы в этом усматриваете. Да, Вы правы, все, что им увидено, увидено глазами зэка, которого только вчера вырвали из крошечной тьмы. Спорить с этим трудно. Но весь вопрос в том, насколько этот взгляд информативен и законен, насколько абсолютен. Вопрос этот очень серьезен, и я попробую его затронуть чуть ниже. Но и сейчас могу сказать, что дело не в том, что Буковскому, как Вы полагаете, показали две-три улицы вокруг Цюрихского вокзала, где люди — как, во всяком случае, Вы о них думаете, — не знают, куда девать время и деньги и занимаются «шопингом», т. е. покупкой ненужных товаров.

Кстати, я не думаю, что под словом «беззаботность» В. Буковский понимал отсутствие всяких забот вообще. Заботы ведь есть даже у бездельника, а Запад населен отнюдь не бездельниками. Беззаботность для Буковского — это спокойное отношение к нормальным человеческим потребностям и возможность без сверхъестественного напряжения удовлетворить их. И возможность, особенно остро воспринимаемая именно вчерашним зэком, забывать о том, что все это может быть и совсем не так и что все это даже здесь — под угрозой. Уверен, что субъективно восприятие зэка очень остро передало суть мировой ситуации и даже ценность достижений человечества. Пренебрежительно относиться к изобилию товаров может только тот, кто ими пресытился, а в этом виноват сам пресытившийся. И не стоит Вам уж слишком сильно прислушиваться к самоощущению подобных людей.

И не они, говоря проще, воплощение Духа и Истины. Именно их справедливое отвращение к себе, осозна-

ваемое как отвращение к недостаткам общества, и подрывает, главным образом, волю Свободного мира к сопротивлению. Дескать, зачем защищаться, если наш мир немногим лучше, чем тоталитарный. Только этим можно объяснить ту борьбу за одностороннее разоружение Запада, с которым мы сегодня имеем дело.

Вы, конечно, не думаете, что положение в СССР сравнимо с западным. Но все же для Вас оно — только одно из неблагоприятных мира, существующее как бы отдельно, само по себе, наряду с другими. Для меня же это фон, на котором происходит все остальное, и окрашивающий все остальное. Современный тоталитаризм ущемляет сегодня свободу и достоинство не только тех, кто уже у него в когтях, но и всех остальных, заставляя их соотносить свое поведение с его существованием, влияя на их мысли и даже психологию. Он внушает вполне объяснимый и в то же время иррациональный страх (или потребность в сублимации, а она тоже влияет на мироощущение многих интеллектуалов). Это ли не ущемление?

Возможно, Вы и в моих словах увидите проявление той российской мегаломании, которую Вы находите во многих из нас. Но я все-таки думаю, что это чувство реальности. Я отнюдь не склонен относиться несерьезно к внутренним проблемам Запада, но я думаю, что решение их невозможно без сохранения свободы. Мне кажется поэтому, что само *противопоставление этих проблем главной* — защите от тоталитаризма — *самоубийственно*. Его и беззаботностью можно назвать только из вежливости.

И не стоит сейчас говорить о нашем знании или незнании Запада. Для того чтобы перед второй мировой войной утверждать, что демократическим странам необходимо укреплять свою обороноспособность перед лицом нацистской угрозы, вовсе необязательно было очень хорошо знать Запад (и тогда несовершенный). Было лишь достаточно понимать, что такое Гитлер и фашизм. А если вернуться к современности, то опять не получается по-вашему. Ибо нашу оценку положения разделяют и многие

люди, родившиеся на Западе, причем часто вполне образованные, благородные, — например, участвовавшие в Сопротивлении. Так что все-таки дело не в знании или незнании, и даже не в нашей мегаломании, а в чем-то более существенном. То есть я хочу сказать, что нас отделяет от Вас нечто более существенное, чем просто наша неграмотность и нежелание подучиться.

Как нетрудно догадаться, разделяет нас, прежде всего, отношение к тем, кого Вы в своей статье называете «элитой». Я как-то не могу признать элитой людей, которые, по-Вашему, подпадают под это определение. В самом деле, смотрите, что Вы сами о ней говорите: «Советскому Союзу удастся — в определенной степени и до определенного времени — подкупить часть западноевропейской элиты». Очень странная элита, которую можно подкупить — пусть даже только морально. А Вы, по-видимому, имеете в виду именно моральный подкуп, ибо сразу же после этого говорите, что и в этом «отчасти виноваты» такие авторы, как Буковский, которые судят «о коллизиях некоммунистического мира лишь постольку, поскольку они отличаются от советских условий». Возможно, мы очень плохо делаем, когда так судим (хотя не думаю, что это так), но все же — какова *элита*! Услышала то, что ей не нравится, оскорбилась, отвернулась в связи с этим от живой информации и бросилась в противоположную сторону, увлекая за собой тех, кто ей доверился, прямо в пасть тигра. Настоящая интеллектуальная элита не может в своих выводах и поведении руководствоваться одними реакциями. Все же и подумать надо, что ты делаешь, и куда это приведет.

Впрочем, Ваше «отчасти виноваты» вообще уводит в сторону от того, что действительно происходило. Эта «часть элиты» если уж при выборе симпатий и антипатий на что и реагировала, так уж никак не на Буковского и его друзей, а на что-то совсем другое. Ибо когда она становилась на этот путь, нами на Западе еще и не пахло, а с тем, что говорила старая эмиграция, эта часть элиты традиционно вообще не считалась. Она (элита) стала такой до на-

шего приезда*. И ее поведение, и психология, на мой взгляд, представляют сегодня одну из главных опасностей для существования свободы. Она сама по себе *симптомом* культурного и духовного кризиса, переживаемого нашей цивилизацией. Возможно, кризис этот — явление исторически обусловленное, неотвратимое, но вряд ли почетно быть ферментом такого исторического процесса. Все-таки, я думаю, слова «горе тому, через кого приходит соблазн», не потеряли своего значения и до сих пор.

Дело тут не в религиозной риторике. Соблазн — то есть состояние, когда один мотив нашей активности принимается за другой — проблема не только религиозных людей. Это очень часто замечают за собой и неверующие. И совсем не обязательно, чтобы этот скрытый подлинный мотив был низменным. Он может быть и вполне духовным. Например, стремление наполнить жизнь высоким смыслом. Что низменного, скажем, в желании облегчить страдания человечества, спасти свой народ от грозящих ему несчастий? Низменное возникает (или появляется) тогда, когда вдруг оказывается, что благоденствие человечества или твоего народа имеют для тебя ценность только в том случае, если они получают его из рук твоих или твоей партии, а не из каких-нибудь посторонних.

Помню, как однажды в Москве в конце пятидесятых (в Европе тогда был расцвет «экономического чуда») к моим друзьям, детям старого коминтерновца, зашел его старый друг, член ЦК одной из западных компартий. Когда его спросили, как обстоят дела в его стране, он, не задумываясь, ответил: «Очень плохо. Экономическое процветание. О революции никто и думать не хочет». Как видите, благоденствие рабочего класса без революции воспринимается им как несчастье, хотя первоначально са-

*Посвященную ей работу «Психология современного энтузиазма», опубликованную в русском и немецком изданиях «Континента», я написал еще в 1970 году. То есть уже тогда «элита» заявила о себе достаточно громко. А ведь мы еще и не думали об отъезде.

ма революция мыслилась им наверняка как единственное средство для достижения этого благоденствия. Могут добавить, что, если Вы вспомните, революции, благоденствия не приносившие, никогда такими людьми как несчастье не воспринимались. А факт отсутствия этого обещанного, но так и не пришедшего благоденствия в лучшем случае объявлялся случайным недоразумением. Эту случайность предпочитали скрывать от недостаточно сознательных масс и индивидуумов из тех соображений, что те неправильно примут ее за закономерность и отвратятся от идеи. Знаменитая Беатриса Вебб была искренне возмущена, когда поезд с раскулаченными, состоявший из товарных вагонов, на какой-то станции поставили рядом с другим, в котором находились иностранные туристы. И те могли свободно наблюдать из окон, как голодные дети протягивали сквозь решетки худые руки и тщетно просили хлеба. Была эта гуманная (и, несомненно, демократическая) социалистка возмущена не тем, что такой факт имеет место, а только недосмотром местного начальства, из-за которого этот факт стал известен *неподготовленным* людям. Сама она, по-видимому, считала себя вполне *подготовленной* и, очевидно, такой и была. Какое понимание бюрократических механизмов и психологии (что следует и чего не следует показывать иностранцам, и кто за это отвечает), какое гордое ощущение собственного соучастия в грандиозном историческом творчестве! А ведь она и коммунисткой не была, только прогресса очень жаждала. А уж коммунистам и сам Бог велел.

Конечно, мотивы такого поведения бывают самыми разными. Разные люди. Но меня интересуют только самые честные. Как видите, и они часто, заботясь о всеобщем счастье, не так уж сильно дорожат не только счастьем, но даже жизнями тех, о ком якобы заботятся. Не то же ли происходит иногда с некоторыми нынешними «борцами за мир»? Ведь любить мир, а отчасти и борьбу за него — дело вроде бы чистое. Как говорится, есть куда поместить душу. И самоутвердиться есть в чем, а это необходимо

каждому человеку, тем более интеллектуалу. И добавлю, нет в этом стремлении самоутвердиться — самом по себе — ничего плохого. Конечно, если нет путаницы мотивов. Ведь мало кто решится убить живого человека за то, что он препятствует его личному самоутверждению. Но если человек то, что он совершает для самоутверждения, принимает за заботу о спасении человечества, то убить того, кто ему мешает, ему гораздо проще: путаница мотивов влияет и на логику поступков.

Почти любой борющийся ныне за мир в Европе, прекрасно знает, что бороться против размещения советских ракет на том же континенте — бессмысленно, все равно что биться головой о стену (конечно же, не о Берлинскую, тут смысл бы был, но привлекать внимание к этой стене, то есть к советской сущности, борцы за мир почему-то не любят). Но это никого не смущает. «Советский Союз вне сферы нашего воздействия», — ответил один английский активист борьбы за мир, когда его спросили о причинах такой односторонности. Впрочем, иногда эти борцы бросаются в невероятную «объективность» — требуют разоружения обеих сторон. Но ведь это лицемерие. Подобное требование, обращенное к Западу, становится политическим фактом, оказывает воздействие, а обращенное к СССР — не вызывает там даже сотрясения воздуха, а советским руководством воспринимается скорее всего как тактический ход. И я думаю, что советское руководство ошибается не слишком; ибо острое ярости и в этом случае направлено не против советской реальности, а против западной — не существующей — агрессивности. А значит, борьба ведется только против обороноспособности Свободного мира.

И вот тут начинается для меня некоторая странность Вашей позиции. Зная, что представляет собой Советский Союз и его правительство, Вы почему-то не делаете из этого никаких выводов. В Ваших размышлениях, связанных с современным положением, это знание не участвует. Вы игнорируете это свое знание, словно вынесли его за скобки и

там забыли. Как будто не висит оно над Вашей страной и свободой всей тяжестью танковых и иных дивизий, как будто речь об угрозе со стороны Албании, Гаити или Чили (к которым я отношусь не так, как Вы, но предположим, что Вы правы), или о другом провинциальном уголке мира. Нет, речь идет о мощнейшей державе, полностью зависящей от потерявшей всякое представление о жизни и ее ценностях группы случайных лиц, группы, не только не контролируемой общественным мнением, но тотально контролирующей его. Я не хочу сейчас говорить о сущности современной советской власти. Но с тем, что это разрушительная и опасная сила, согласитесь, вероятно, и Вы. Не могу понять, ради каких соображений и ценностей Вы этой опасностью пренебрегаете. Неужели только для того, чтобы защитить прекрасную идею социализма от компрометации реальностью? Ведь всякое акцентирование внимания на советской опасности, так или иначе, задевает самую идею. Правда, существуют сложные построения, которые «ставят все на место», даже не отрицая некоторых неприятных фактов. Одно из них просвечивает и сквозь Ваши рассуждения. Конечно, признаете Вы, в СССР построено нечто бесчеловечное, но только потому, что строили неправильно. Теперь уже помочь этому трудно. Остается только защищать тех, чьи права там нарушаются (каждый раз упоминая, что нарушают их и правые диктатуры), и стараться вытащить оттуда, кого удастся, как из прокаженного города. А при следующей пробе (опять на людях) исходить уже надо будет из другой — на этот раз правильной и демократической — модели. И поэтому всерьез говорить о советской угрозе не стоит — это значит так или иначе настраивать людей на иные мысли и не располагать их к новым пробам. Поэтому в разговорах на скользкие темы следует эту опасность как-то обходить или, во всяком случае, уравновешивать.

Вот и получается, что многие борцы за мир (причем из самых умеренных) ставят на одну доску СССР и США. Дескать, мы — бедная Европа, зажата в клещи двумя ги-

гантами. Неужели Вы сами не чувствуете противоестественности подобной симметрии? Вот Вы написали статью, где очень нелестно говорите об американском «милитаризме». Грозит ли Вам это чем-нибудь? А ведь на территории Вашей страны стоят американские войска, расположены американские военные базы. А если бы Вы жили в Восточной Германии, где стоят *советские* войска, могли бы Вы чувствовать себя в безопасности, если бы ту же самую статью опубликовали на Западе (на Востоке она не могла бы быть напечатана, так как относится отрицательно к советской модели социализма)? Полагаю, что ответа на этот вопрос не требуется. Однако бунтующие (и именно против собственной обороноспособности) студенты вызывают Ваше сочувствие и, вероятно, уже потому, что этим они доставляют боль и тем, кого Вы называете «пресыщенными сонливыми парламентариями и достойными их правительствами» (речь идет о правительствах именно демократических стран).

Должен сказать, что к «сытым сонливым парламентариям и достойным их правительствам» есть претензия и у меня. Ибо из-за своей сытости и сонливости они слишком часто идут на поводу у этих бунтующих студентов (например, в Голландии). И кончиться это может плохо. Для всех. В том числе, и для самих студентов, — как Вы сами понимаете, у советской власти не побунтуешь. Так что я думаю, что к той боли, которую испытывают все эти «пресыщенные и сонливые», надо относиться с уважением и сочувствием, а вот к тому, что они эту свою боль, как это часто бывает, игнорируют при принятии политических решений, нужно относиться безо всякого уважения. В сегодняшних экстремальных условиях игнорировать эту боль — преступление.

Так мы незаметно опять подошли к размышлению о той «части элиты», о которой уже шла речь выше и которую я элитой не считаю, отказывая ей в самостоятельности и ответственности суждений. Это презрение к сытым, пресыщенным и сонливым (то есть к тем, кто нам, спра-

ведливо или нет, кажется таким) — черта, характерная именно для психологии этой «элиты». Это слова из ее лексикона, давно и хорошо мне знакомые. Эта психологическая традиция, это романтическое презрение к среднему человеку, который не всегда откликается достаточно живо на нашу высокую любовь к человечеству, особенно географически и культурно отдаленному от нас, и на наше творческое стремление устроить его жизнь согласно нашим представлениям — уже очень дорого стоило многим людям. Особенно в нашей стране. И сегодня оно дорого обходится многим людям в разных странах мира. Что означали (на человеческом языке) слова героического и романтического Че Гевары, что разумным террором (плюс, кажется, разъяснительной работой, но при любом терроре любой плюс уже не имеет значения) можно придать движению (тому, которым он руководил) настоящий размах? Я уже не спрашиваю о том, кто дал ему право так распоряжаться чужими жизнями и кто определил бы пределы такой разумности. Но интересен и социальный аспект. Кого же это Че Гевара собирался использовать в качестве примерных жертв, нужных для придания настоящего размаха своему движению? Ведь не латифундистов же?! Не их же движение собирался он возбудить. Выходит, что речь шла о тех самых простых крестьянах, счастью которых Че и его товарищи решили посвятить свои жизни и которые тогда несколько сонливо относились к тому, что эти их защитники считали борьбой за крестьянские интересы. Так чем не творческая идея — убить некоторое количество этих «сонливых», чтобы со всех остальных сон как рукой сняло, и они со страху тут же влились в ряды борцов. И какие тут могут быть сомнения в своем праве? Ведь для их же пользы. А при этом — какое удовольствие от размаха своего творчества можно получить! Ведь творишь не из глины, камня, красок или слов, а из себе подобных — по своим чертежам. И творишь не какое-нибудь отдельное художественное произведение, которому только иногда и не полностью удается поймать и запечатлеть

на секунду приоткрывшийся отсвет мировой гармонии (чаще в форме острого ощущения потребности в ней и ее отсутствия), а саму эту мировую гармонию живьем. Как же к этой кухне допускать непосвященных — ведь ничего не поймут и ужаснутся. Разве хорошая хозяйка подпускает непосвященных к плите, разве объясняет, что и зачем она кладет в суп? Может, горькое, может, сладкое — вот будет готов суп, тогда и судите. К сожалению, о том супе, который я имею в виду, мы уже можем судить вполне компетентно.

Но часто нас убеждают, что наше мнение о качестве этого супа поверхностно и превратно. Просто тот суп, который мы испробовали, варился неправильно и был недодварен. Так что колики, полученные после него нами и теми, кто ел его после нас, ничего не доказывают. Надо только постараться сварить его правильно — вопрос чистой технологии. Конечно, при этом каждая новая попытка приветствуется. Но «технология» опять подводит. А энтузиасты все равно не унимаются: результат опять не показателен, опять это частный случай.

В сущности, так же ведете себя и Вы, когда все происшедшее с нашей страной и многими другими называете «советской моделью социализма». Это создает ощущение, что у Вас в запасе есть другие модели, получше. Но, судя по Вашей статье, ни о какой другой модели, кроме термина «демократический социализм», Вы ничего не знаете.

Все остальные модели были всегда мечтой, пожеланием, проектом. Попытки привязать этот проект к местности и тем более настаивание на этих попытках неизменно приводило и приводит к первоначальной «советской» модели. Мечта же переносится в другую страну, где производит ту же работу. Неизменно действует безответственный ленинский принцип, выраженный в наполеоновской фразе: «Главное, надо ввязаться в бой, а там обстановка покажет». Но Наполеон это говорил о том, как выиграть сражение. Ему не слишком надо было учитывать, что будет после того, как он разобьет противника.

Лениных, больших и маленьких, это должно было бы интересовать в первую очередь. Но не интересовало и не интересует. Они захватывают власть, а потом ей служат.

Тоталитарное государство из этой ситуации вырастает вполне естественно. После этого уже все равно, что «показывает» обстановка. Думать имеет смысл только тогда, когда еще есть выбор. В нашем варианте — сегодня. Завтра уже будет поздно. И меня очень удивляет, что Вы этого не чувствуете, что Вы локализовали все неприятное для себя в слове «советский», отбросили его в сторону, как нечто внешнее, не имеющее к Вам отношения. Вы, например, пишете: «К чему стремился в свое время Агостиньо Нето в Анголе, чего хотел Фидель Кастро на Кубе? Поначалу они не ставили своей целью воспроизвести советскую модель. Они мечтали о демократическом социализме, но осуществить эту модель им не удалось. А так как они не хотели и «чистого» капитализма, их силой загнали в социалистический лагерь. Загнали именно капиталисты, антикоммунизм которых даже не состояние духа, а инфекционная болезнь».

Конечно, мы с Вами на многие вещи смотрим по-разному. Но Вашислова о том, что Кастро и Нето не хотели поначалу «советской модели», меня удивили. Поначалу ведь к ней не стремились и сами советские деятели. Поначалу к ней никто не стремится. Беда в том, что *потом от нее никто не отказывается* — когда становится ясно, что иная «не удается».

Ваши слова «даже не состояние духа, а инфекционная болезнь» мне кажутся точными, но только не по отношению к «антикоммунизму капиталистов», а по отношению к антикапитализму интеллигенции, действительно распространяющемуся, как инфекция. Даже многие капиталисты подвержены этой инфекции, считают антикоммунизм неприличием и финансируют если не прямо различного рода коммунистические организации, то движения, к ним наиболее терпимые. Но удивило меня в этой цитате не Ваше мнение, а сама логика развития мысли.

Допустим, Вы правы, и у Нето, и у Кастро была мечта, осуществить которую не удалось, то есть оказалось, что установление демократического социализма (того очень хорошего, обещанного ими, ради которого они взбаламутили жизнь миллионов людей) неосуществимо. Пусть только в данный момент и в данных условиях, но — неосуществимо. Даже если неудача определялась конкретными обстоятельствами (впрочем, почему-то они всегда и везде неблагоприятны), творцы жизни обязаны были их учесть. И это их вина: не спросивши броду, сунулись в воду и завели людей в топкое место. Тут бы самое время прощения у людей просить, стараться стать невидными и неслышными. Но нет, творцы испытывают совсем иные эмоции. Они, оказывается, не хотят, — не хотят обратно в «простой» капитализм, то есть в ту не всегда гармоничную, не совершенную, но все же человеческую жизнь, которую разрушили; не хотят признать поражения и не хотят прекращения эксперимента над соотечественниками. И толкают всех к тому, что Вы сами безо всякого одобрения называете «советской моделью», то есть к тоталитаризму со всеми его прелестями. И — что поразительно — Вы рассматриваете эту их деятельность с трагическим сочувствием. Нет, не капиталисты этих деятелей, а эти деятели свои народы загнали туда, где ни одному народу не может быть хорошо или хотя бы сносно. И гонят все дальше. А из каких эмоций они это при этом исходили — не так уж важно. Для тех, кого загнали, ясно, что не из очень хороших. Но Вы, как ни странно, склонны больше интересоваться внутренними драмами загонщиков.

Про режимы, созданные такими загонщиками, иногда говорят, — конечно, если находятся на безопасном расстоянии от них, — что они, по крайней мере, уничтожили в своих странах голод. На самом деле они просто научились вовремя и аккуратно вывозить трупы умерших от голода с главных улиц, чтобы не оскорблять взоров иностранных идеалистов. И уж, во всяком случае, научились заставлять недоедающих помалкивать, не выносить

сор из избы — если до трупов голодных, в отличие от СССР и Китая, дело не доходило. Или если эту ситуацию удалось потом, как в тех же СССР и Китае, смягчить. Подчеркиваю: ситуацию, созданную самими режимами, а не доставшуюся им в наследство.

Опыт, прежде всего советский, показывает, что только очень немногие из таких людей умеют признать, что «осуществить мечту не удалось, что они потерпели поражение», и то, ради чего они, никого не жалея, захватывали власть, таким путем не достигается. Сознаться в этом страшно, и большинство на это не решается. Приходится идти дальше. И постепенно они начинают служить собственной власти как самоцели. Интересы этой власти и заводят их в «советский лагерь». Конечно, это их не всегда спасает. Следы былого идеализма могут сделать их неудобными для созданной ими власти, и власть от них избавляется. Но бывает и иначе. Кастро, например, развился вместе со своей властью и соответствует ей до сих пор.

Не могу понять сочувствия, с которым Вы говорите о тех нескольких стах коммунистов, которые отважились, краснея втайне, может быть, содрогаясь, прочесть книги «изгнанников из России». Дальше Вы говорите, что при воздействии этих книг на таких читателей отрицательно сказывается та небрежно-залихватская манера, с которой авторы этих книг пишут о Западе и дают ему советы. Это для читателей будто бы ставит под сомнение правдивость этих книг и в остальном.

«Небрежно-залихватская манера», «небрежность и высокомерие» — это Ваши личные оценки, с которыми согласятся не все (я, например, с ними не согласен). Но, допустим, Вы правы. Что же получается? Почему эти люди читают интересные им книги «втайне»? Они ведь еще не победили на Западе, и тюрьма за чтение книг им до полной их победы не угрожает. Согласитесь, что это «втайне» кое-что говорит об их партии и о том, что они вместе с ней несут людям. И дальше — почему, «краснея»

и «содрогаясь», они все же остаются в этой партии? Причины, конечно, чисто духовные. Но не кажется ли Вам, что это — *духовная жизнь за чужой счет*? И что они по своим духовным причинам будут всегда стараться найти (и найдут) основания для того, чтобы поставить под сомнение то, что мешает их духовной цельности? А ведь некоторых коммунизм затягивает еще и материальной заинтересованностью. Разные подачки (за заслуги, конечно) постепенно входят в семейный бюджет. И поверить авторам запрещенных в СССР книг значит уже не только остаться в пустоте, но и нарушить налаженный ход жизни. И это тоже располагает к недоверию...

Но речь не о материальном, а о духовном соблазне (материальный, в любом случае, наступает потом). Я не считаю элитой людей, которые втайне краснеют, содрогаются, но боятся истины. И считаю, что в восьмидесятые годы двадцатого века быть коммунистом или нечестно, или глупо. Время, когда коммунизм мог быть «всемирно-историческим заблуждением», давно кончилось: слишком много информации о нем с различных континентов лезет в уши и глаза. Именно поэтому у меня нет ни тени симпатии к тому воображаемому турецкому профсоюзнику, о котором Вы говорите. Какие бы ни были сегодня репрессии в Турции, если он придет к власти, они станут несравнимо страшнее. Ибо у сегодняшних турецких властей (даже если они так плохи, как Вы думаете) нет иных целей, кроме как сохранить тот порядок, который не они придумали, а у той партии, к которой принадлежит этот человек, есть планы, касающиеся самих основ бытия. И террора, при попытке претворения их в жизнь, эти планы потребуют настолько много, что потом он станет самодовлеющим и превратится из средства в цель. И в повседневность. Ибо основы нашей негармонической жизни имеют тенденцию сопротивляться, что особенно возмущает идеалистов с наганами и оправдывает в их глазах любой террор (ведь убивают как бы не людей, а неприятную и неодухотворенную кос-

ность жизни). Хотя, если даже относишься к жизни как к материалу, то все равно глупо возмущаться и удивляться, что сталкиваешься с ее сопротивлением.

Возможно, он, этот турецкий коммунист, — хороший человек. Возможно, он действительно возмущен язвами окружающего его общества. Но он человек, опасный для окружающих, ибо, зная о том, что такое Советский Союз (во всяком случае, будучи обязанным и имея возможность знать), он все равно непосредственно связан с его руководством и толкает свой народ в ту же сторону — во имя личных своих духовных и душевных обстоятельств. И даже если он окажется честен после победы своей партии и будет ею за это расстрелян, это никому уже не поможет. Мавр к тому времени уже сделает свое страшное дело.

Однажды я встретил двух латиноамериканских коммунистов, людей приятных и культурных. Более того, они прекрасно знали советскую действительность (учились в СССР) и, надо сказать, ненавидели советское руководство. И, к их чести, не переносили этой ненависти на русский народ, как это часто бывает. Обюрократившую верхушку своей собственной партии они тоже оценивали весьма трезво. И, тем не менее, оба остались не только членами, но и бескорыстными активистами этой партии, хотя один из них говорил: «Если мы победим, я тоже эмигрирую, как Вы». Объяснял он это тем, что в первые сто лет после победы социализма интеллигенту бывает очень плохо, а отказываться от интеллектуальной жизни он не хотел.

Это был когда-то хороший и совсем не глупый человек. Но видите, до чего его довело слишком тесное общение с марксистской диалектикой. Ладно, сам он уедет (если будет еще куда уезжать), а куда денутся простые люди и без того бедной его страны, для кого он все это придумал и кого он на все это обрек? Ведь любая страна при социалистическом хозяйствовании, если была до этого бедной, становится нищей; если была нищей, становится го-

лодной; если была голодной, становится вымирающей. Ведь все это проверено на практике. А уж о свободе и говорить нечего. А ведь свобода — это вовсе не изыск, необходимый только одним интеллектуалам для приятного проведения времени, необходима она и самым обыкновенным людям. Если у них отнимают свободу, то отобрать после этого хлеб (о котором так пекутся идеалистические материалисты, что с легкостью жертвуют ради него свободой) вообще не представляет труда.

Все это мои собеседники, в общем, знали. Это их даже смущало, но не останавливало. Перспектива все осознать до конца и лишиться всего, что наполняло их жизнь, пугала их больше. Еще раз повторяю: это хорошие люди, и я надеюсь, что они, в конце концов, образумятся и откажутся от коммунизма. Но проблема, если речь идет об интеллектуалах, остается все той же: *духовной жизнью надо жить за собственный счет.*

Незаметно мы коснулись проблем третьего мира. В Вашем письме они занимают очень большое место и играют специфическую роль. Вы все время колете нам глаза равнодушием к страданиям людей в этих странах. Вам кажется, что люди, которых Вы от нас защищаете, в этом отношении намного чувствительнее нас. Даже говоря о проблемах Запада, которые мы недооцениваем, Вы по ходу дела подменяете их проблемами Центральной и Южной Америки (проблемы почти полностью освободившейся от колониализма Африки Вас почему-то волнуют гораздо меньше).

Действительно, очень большая часть человечества не доедает. Но разве кому-нибудь станет легче, если остальная часть человечества тоже лишится свободы и хлеба? Ведь от этого станет только хуже: голодные страны лишатся даже той помощи, которую сейчас получают от сытых. Да и всякого ориентира тоже, и надежды, основанной на том, что жизнь бывает иной. К тому же жителями развитых стран тоже не стоит так уж легко жертвовать, — им это может не понравиться. Они тоже люди и знают, что

благосостояние их добыто трудом и предприимчивостью многих поколений. Не надо уж так совсем не считаться с их чувством собственного достоинства и справедливости. Не стоит создавать в их сознании представления о культуре и мысли, как о чем-то противостоящем их самым насущным интересам. Не стоит создавать такую ситуацию, когда люди нацистского типа в глазах многих начинают выглядеть единственными их защитниками и патриотами, когда перед человеком встает страшный и безысходный выбор: Сталин или Гитлер.

Вы много внимания уделяете ужасам простых диктатур. Говорите, что если бы мы сами оказались в их лапах, мы запели бы по-другому. Я тоже не в восторге от генерала Пиночета. Но что из того? Он спас свою страну. Потому что прежний правитель, милый и образованный Альенде, допустил в стране анархию и не был в состоянии или не хотел ее унять. А в условиях этой анархии подбирались к власти люди, может быть, не всегда столь образованные, но всегда более решительные, чем Альенде. И от них избавиться было бы уже невозможно. И тогда все страдания, какие теперь они терпят при Пиночете, выдуманные и реальные, даже либеральным активистам показались бы счастливой сказкой. Все-таки при Пиночете не только экономическое положение улучшилось (сейчас оно хуже, чем в первое время, но все же), но и многолюдные антиправительственные демонстрации были еще возможны. Попробуйте, проведите их в освобожденной Никарагуа. Теперь там даже враждебная Сомосе, но при нем выходявшая и сохранявшая лицо, либеральная газета «Ла пренса» находится на последнем издыхании. И издохнет (или подвергнется унификации): тот, кто строит небывало лучшее общество, кто взял власть для того, чтобы накормить и ублажить людей, но сделать этого не в силах, не может допустить, чтобы ему об этом напоминали, чтобы всякое бесплодное умствование мешало «работе». (О том, что под словом «работа» он понимает сохранение власти, он на первых порах старается не

догадываться. А печать тем временем в Никарагуа уже под контролем армии.)

Нет, мне не нравятся пытки и истязания, даже когда они применяются к тем, кто сам при возможности будет их применять в индустриальном масштабе. Мне не нравится, например, как поступили с радикальными идеалистами в Аргентине. Это, конечно, ужасно, когда люди исчезают среди бела дня, а потом их находят на дне морском. Но мне кажется, что и тот террор, который развернули в стране многие из потом пропавших (перед тем, как пропасть), тоже был плох, хотя прогрессивная пресса о нем и не писала. Разумеется, то, что делала хунта, недопустимо в цивилизованном государстве, но с террором, намеренно дестабилизирующим жизнь целой страны (с тем, чтобы в хаосе захватить власть — конечно, во имя будущего счастья), как-то надо было кончать. И вряд ли с ним можно было кончить так, чтобы Вы остались довольны. Тот, кто прибег к террору как к средству, должен знать, что это средство обоюдоострое, что за это можно заплатить кровью — собственной, героической, а не только какой-либо другой, «сонливой».

Правда, бросается в глаза следующее: матери пропавших не сидели тихо, не «помалкивали в тряпочку», выстаивая часы и дни в тюремных очередях, как это было у нас, а собирались на площадях, митинговали и протестовали, задавали вопросы. И даже преступной хунте это не казалось преступным, поскольку для матерей это естественное поведение, а не политическая деятельность. От нас же в свое время требовали проявления солидарности с палачами наших близких и отречения от них. Нам навязывали «состояние активной несвободы», как определил это живущий во Франкфурте талантливый эмигрантский публицист Роман Редлих. Впрочем, у нас еще была не последняя степень воцарения этой несвободы. В Китае Мао Цзэдуна было еще хуже. Люди обязаны были выказывать восторг, пускаясь в пляс на торжествах, устраиваемых в честь казни их родителей, детей или мужей.

Вы воюете против правых диктатур, против авторитарных государств. Споры нет, порядки в некоторых из них весьма жестоки, даже применяются пытки. В СССР в настоящее время они, видимо, не применяются (хотя раньше применялись широко). Впрочем, психиатрический террор еще страшнее и кощунственнее, чем пытки. Но даже если отвлечься от этого, все равно не торопитесь делать вывод, что положение в СССР лучше и легче, чем в Аргентине или Чили во время террора. Прежде всего потому, что СССР — давно и многократно расстрелянная страна. И для того чтобы ее терроризировать, пытки не нужны. В СССР в течение десятилетий происходили не расстрелы, а планомерный отстрел, причем не только тех, кто поднимал голову, но и тех, о ком по косвенным соображениям могло возникнуть подозрение, что они когда-нибудь могут захотеть ее поднять. В сущности, в стране разрушены все нормальные социальные связи (остались только связи на личном уровне; они часто очень тесны и содержательны, но реально противостоять власти ни в чем не могут). И потом есть еще одно существенное отличие изначально правых диктатур от левых и тех, в которые они неизменно вырождаются. Правые диктатуры подавляют, и иногда жестоко, своих политических противников, но людей, к политике не причастных, не трогают. Не трогают ни Церкви, ни частной собственности, ни банков, ни профсоюзов, ни многих иных видов человеческой деятельности, то есть не трогают те структуры, на которые в любой момент может опереться демократия. Примерно так сформулировал отличие авторитаризма от тоталитаризма Элиот Эбрамс в своем выступлении в Гарвардском университете. Тоталитаризм, как известно, на все это посягает. Я же формулирую еще проще: авторитаризм контролирует всю государственную и политическую деятельность общества; тоталитаризм же стремится захватить полностью все стороны общественной жизни, уничтожить само общество и подменить его собою.

Поначалу он делает это из соображений идейных. Потом, становясь все более чуждым любым идеям ввиду их неприменимости, он постепенно превращает идеи из цели в средство и камуфляж. Но деваться ему от них некуда, ибо по форме он — идеократия. И он вынужден навязывать обществу нечто бессмысленное и нелогичное, мертвую имитацию, пустоту небытия. А это требует большой крови. Таким «гуманным», как сегодняшней советский, тоталитаризм может стать, только полностью подавив и сломав общество. У нас это почти произошло.

И еще одно. Почти метафизика. Есть разница между злом, которое происходит от естественного человеческого копошения, от хищничества, корысти, жестокости, тупости, вносимых людьми и в государственную жизнь, иногда накладывающих отпечаток на нее, отпечаток неприятный, — от зла, творимого целенаправленно и организовано в надежде, что из него сконструируется добро. В первом случае это человеческая стихия, которую человечество всю историю стремится урегулировать так, чтобы это стихийное зло было введено в границы. Во втором — зло применяется сознательно в процессе творческой переделки одного человека по приблизительным чертежам другого. Оно всегда абсолютно. Ибо задача эта безгранична. Эта претензия на божественное творение, и от смертных она требует жестокого отношения к материалу и стойкости в этом бессердечии. До тех пор, пока оно не приводит таких «творцов» к собственной гибели и к таким властителям, по сравнению с которыми даже те, что были до сих пор, кажутся идиллическими. Эти последние уже окончательно приводят жизнь к пустоте небытия, вооруженной и непобедимой.

Я, конечно, понимаю, что, как говорят в России, подставляю борт под огонь. Могут сказать: что это за демократ и либерал (а демократом и либералом — в старинном, правда, смысле — я себя считаю до сих пор), который говорит такое? Но, к сожалению, жизнь часто оставляет нам выбор только между *далеко не очень хорошим и ужа-*

сающим. Если уйти от реально стоящего выбора и выбрать в этих обстоятельствах «замечательное», отвергая «далеко не очень хорошее», практически выберешь ужасающее.

Если бы в России в 1917 году генералу Корнилову удалось захватить Петроград, вероятно, не обошлось бы без кровопролития, за которое его до сих пор бы проклинали (ибо условия, при которых его можно было бы проклинать, он бы своим взятием Петрограда обеспечил). Но большинство из проклинавших вряд ли догадывалось бы, что если бы не Корнилов, их бы просто не было на земле. Да, авторитаризм — не демократия. Но он оставляет условия, из которых она может развиваться (а иногда и уступает ей власть). Из тоталитаризма же демократия восстановиться не может (разве что в результате мировой войны, как это было с нацистской Германией), а уж сам тоталитаризм никогда и никому власти не уступит — скорее, согласится на конец света.

Все это неоднократно подтверждено жизнью, но жизнь — не аргумент для безответственного идеалиста. Он упрямо хочет добра и творит зло. Он хочет демократического социализма (а это то же самое, что травоядный тигр) и согласен ради этого установить и поддерживать тиранию. А потом долго не будет верить своим глазам и будет рассматривать созданную им коллизию исключительно как трагедию своей веры, как внутреннюю трагедию, в то время как расплачиваться за это поначалу будут только другие. И не стоит приспосабливать к этому пиру себялюбия христианство. Конечно, Христос требовал от людей сочувствия бедным и униженным, требовал даже отказа от имущества. Но все же плакаты, изображающие Христа с автоматом, и епископы, извиняющие террор, это, выражаясь Вашими словами, «причастие буйвола». И обращаясь к рассказу об Анании и Сапфире из Деяний Апостолов, Вы совсем не опровергаете им утверждения В. Буковского и В. Максимова (первым сказал это Максимов), что христианство призывает раздавать имущество свое и

добровольно, а социализм — отбирает чужое и силой. У Анания и Сапфиры никто и ничего не отбирал силой. Они добровольно вступили в общину, где от каждого требовалось отказаться от имущества, и взяли на себя это обязательство. Наказаны они были за то, что обманули, что этих добровольно взятых на себя обязательств они не выполнили. Ничего общего с проповедью насильственного отчуждения имущества эта история не имеет — другой, как говорится, юридический казус. Христос никогда не берет в руки автомат.

Но из этого никак не следует, что автомата не должна брать в руки полиция. *Охранять* порядок силой можно и нужно. *Творить* мир силой нельзя и преступно. Похоже, что Вы больше сочувствуете тем, кто думает наоборот: полиция, беря в руки оружие, совершает преступление, а брать в руки оружие для переделки мира и установления в нем справедливости чуть ли не почетно, во всяком случае, извинительно. Собственно в этом, как говорили в России в старину, «наши разногласия».

Разногласия эти серьезные, можно сказать — судьбоносные. Вот, например, недавно вся леволиберальная интеллигенция была возмущена американской агрессией в Гренаде, нарушением международного права. Кричали, шумели, антиамериканские демонстрации устраивали. ...Впрочем, демонстрации «против Америки» устраивали и на Гренаде, только другие: протестовали *против ухода* американских войск с острова. (Не против прихода. Приходу радовались как неожиданному избавлению от последствий собственной ошибки. Когда-то ведь сами проголосовали за революционное правительство, попробовали, поняли, да поздно: стали собственностью прогресса.) Но кого на Западе интересуют их чувства и их опыт? Прогрессивной общечеловечности в мире много (и вся она пишущая), а население островка мало, заглушить его голос просто. Но надеюсь, история не забудет, с какой яростной настойчивостью эти свободолюбцы стремились (во имя права, что ли?) затолкать население Гренады назад в тоталитаризм.

Впрочем, может быть, это делалось во имя продолжения эксперимента. На этот раз «прогрессивная общественность», видимо, особенно жарко верила, что он завершится удачей и «сказка станет былью». И вот проклятые американцы опять все испортили. Правда, реакция население на их приход и уход показывает, что этот эксперимент постигла судьба предыдущих. Но разве можно считаться с мнением подопытного кролика?

Или еще: сейчас в моде сочувствие Сальвадору. Конечно, не правительству, а повстанцам, в значительной степени просочившимся туда из соседнего Никарагуа, практически — с Кубы. (Да, той самой, выбравшей «по вине капиталистов» советскую модель и, следовательно, ее же теперь и экспортирующей.) Правда, тут речь идет уже не о международном праве (экспортировать такие вещи оно запрещает), а о праве народа выбирать свою судьбу. Но народ в Сальвадоре попался несознательный и партизанам не сочувствует — вероятно, от близкого знакомства. И есть опасность, что выберет народ свою судьбу «неправильно». Да и по совести сказать, зачем ему трудиться выбирать, когда передовые и самозванные его представители давно уже за него все выбрали. Из этих соображений и был среди народа перед предпоследними выборами распространен партизанами призыв бойкотировать выборы. Дескать, вот победим, будут «наши» выборы, тогда голосуйте, не ошибетесь. Дадут вам кандидата и позволят сделать его депутатом.

Но стране это не понравилось, и она в голосовании участвовала. Все иностранные наблюдатели говорили, что выборы были правильные. Все прогрессивные интеллигенты издали разглядели, что неправильные. Но, видимо, сами партизаны больше склонялись к мнению интеллигентов. И решили принять меры. Поэтому они явились в одну из доступных им деревень и расстреляли всех участвовавших в голосовании. Расчет простой: в следующий раз будут знать, как не реагировать на призывы. А то их убеждаешь, а они не слушают. Ничего не скажешь, — разумно.

Правда, пока еще террор не дал нужных результатов. Население и в следующих выборах участвовало. Но ведь и у партизан трудности: руки не до всех дотягиваются, империалисты мешают. А без тотальности террор теряет в разумности. Но, даст Бог, с помощью либеральной интеллигенции удастся скрутить руки американцам («Американцы, вон из Сальвадора!» — так, кажется?). Их помощь прекратится. А партизанам — нет. Кто же будет протестовать против помощи прогрессу?! И тогда террор станет по-настоящему разумным. И все увидят, что народ Сальвадора дружно бойкотирует буржуазные выборы. Многие и сейчас хотят это видеть. Нет, разумный террор — штука действенная.

Во Вьетнаме, например, такой случай был. Подразделение американских агрессоров в сопровождении их южновьетнамских прислужников продвинулось вглубь района, где действовали герои Вьет-Конга. В группу входили в основном медики, поэтому они занимались лечением людей, долгое время оторванных от всякой медицины. Но герои были начеку. Оперативные группы продвигались вслед за американцами, входили в те же дома и убивали каждого, кому была оказана медицинская помощь. Чтобы все знали, кто такие американские агрессоры и каково с ними иметь дело. И когда одного из героев все-таки поймали, он мужественно заявил, что ничего не боится, так как любой деревенский староста его тут же выпустит, как только американцы уйдут в другое место. Ибо староста хорошо знает, что с ним сделают в противном случае вьетнамские партизаны. Но благородная вера героя в «разумный террор» была на этот раз жестоко обманута. Произошло невероятное. (Тут уже должны всерьез включиться чувства прогрессивной интеллигенции.) Американский офицер не выдержал, вынул пистолет и выпустил обойму в народного героя. Без суда и следствия. Почему-то ему показалось невыносимой уверенность героя в своей безнаказанности. За это он подлежал военному суду агрессоров

(законников среди них много). Но никто его почему-то не выдал. И я бы тоже не выдал.

Впрочем, во Вьетнаме прогресс, как известно, победил. Бой был выигран, правда, не на полях сражений, а на Западе, на страницах газет, в университетах, в Конгрессе США. Тоталитаризм в этой борьбе обрел мощных союзников, таких, которые, может быть, и выражали часто недовольство тоталитаризмом (для его же пользы, хотя его это и сердило), но никогда не изменяли ему; точнее, не изменяли своей традиционной ориентации, намертво связанной с тем, что этот тоталитаризм породило.

Даже судьба «лодочных людей» не смогла разорвать эту связь. Подумайте только: во Вьетнаме создано такое положение, что люди предпочитают отправиться в открытое море на ненадежной лодке, рискуя вместе с семьей погибнуть (и сколько десятков тысяч действительно погибло), только бы избежать той участи, на которую их обрекли при участии Ваших единомышленников. Тут бы волосы на себе рвать: «Меа кульпа!».

Но нет. Никто не отвлекся от очередной защиты очередных революционеров, несущих то же самое другим народам. И то сказать: тут ведь нет нарушения прав, в чем обвиняют Сальвадор; *тут право такое*, и оно не нарушается. Этим правом и стараются люди, которым Вы симпатизируете, заменить то обычное и несовершенное, которое пока позволяет нам с Вами и миллионам других людей сохранять свободу и достоинство.

Но зато, — пока им еще не удалось убить демократию, — какая радость творить. И даже только сочувствовать творению. А о том, что из этого получится, можно ведь не думать. Как говорится, движение — все. Цель — ничто. Но все же: за чей счет! Это тоже имеет значение, по-моему.

Что-то неблагоприятное творится в нашей общей культуре, если традиционная ориентация так подводит ее деятелей, даже таких честных, как Вы. Особенно остро я ощутил это, побывав в Испании, в Мадриде и Толедо, на

месте боев гражданской войны 1936–1939 годов. Мы все тогда сочувствовали республиканцам, вся европейская интеллигенция. О себе и моих друзьях я и не говорю. Нам тогда даже нравилось, что власть постепенно переходит к коммунистам. Другие же просто на это закрывали глаза. А ведь там уже тогда происходили страшные вещи. Вот, например, эпизод из времен осады Алькасара. Командование народной милиции предъявило осажденному гарнизону ультиматум: если крепость немедленно не капитулирует, то специально доставленный в штаб милиции сын коменданта крепости будет расстрелян. Сыну-подростку дали возможность сообщить это по телефону своему отцу. Отец посоветовал сыну поручить душу Богу. И сына расстреляли. Не знаю, кто был тем командиром народной милиции, который это сделал, чем он жил, что любил. Может быть, он и раскаялся в содеянном. Не знаю, что с ним было дальше. Но я утверждаю, что дело, которое он защищал, не было правым. Ходил я по этой крепости (теперь там музей), видел фотографии ее защитников. Простые крестьянские или солдатские лица, дворянские лица офицеров. Вероятно, на республиканской стороне было больше лиц, которые показались бы мне близкими. Романтики, интеллигенты, мыслители... Однако...

Кстати, как романтически я обожал борцов интернациональных бригад, приехавших в Испанию бороться с фашизмом, а чаще — за социализм. Но теперь я понял, что вмешиваться в чужие дела следует осторожно. Байрон умер за Грецию, но никаких своих порядков он в ней установить не стремился. Большинство борцов интербригад все же имело в виду социализм. А при этих бригадах бывали и «особые отделы», которые подходила к людям, в лучшем случае, с классовых позиций. В этом качестве местные деятели были все же лучше. Один мой знакомый рассказывал про своего дядю. Дядя жил во время гражданской войны в Мадриде, а сочувствовал националистам. Ему грозил арест и расстрел. Тогда он обра-

тился к своему приятелю, который сочувствовал красным и в их среде был влиятелен. Приятель знал дядю как хорошего человека и помог ему выпутаться из беды. Когда победил Франко, дядя помог и этому приятелю, и многим другим республиканцам, о которых в свою очередь знал, что они хорошие люди. И люди уцелели. Интернационалисты же корней в этой стране не имели и никаких личных симпатий к посторонним им людям питать не могли. Они поневоле в этих обстоятельствах бывали принципиальней, то есть жесточе, ибо руководствовались одной идеологией.

Проектировать основы бытия вообще не стоит, а бытия мало знакомых тебе народов — особенно. Например, хороший человек, интернационалист Мате Залка был очень возмущен, когда русскому поэту Осипу Мандельштаму дали комнату в Москве. Его волновал идеологически вопрос: как это так, комнату дают буржуазному поэту, когда не хватает и для революционных. Может, даже он увидел в этом элемент перерождения революции, кто его знает? Думаю только, что если бы он не погиб в Испании («генерал Лукач»), то, выйдя из советского лагеря, от которого он бы точно не уберегся, он потом бы очень стыдился своих былых чувств. А ведь если бы тогда все вышло, как он хотел, большой русский поэт не имел бы над головой крыши даже в тот короткий период, когда она у него могла быть. В общем, не осторожно — устанавливать шкалу ценностей и решать судьбу страны, с которой ты до конца не сжился. К странам Центральной и Южной Америки это относится в полной мере.

Не знаю, прав ли был Франко, подняв мятеж против либерального правительства, даже если оно совершало ошибки. Но ясно для меня одно: после того, как в дело вмешались коммунисты и Сталин, Франко стал спасителем отечества. Во всяком случае, посетив Испанию, я могу сказать, что хотя экономическое ее положение оставляет желать лучшего, эта страна существует в целостности и сохранности, в живой цельности и неразрывности своей

истории. Вот простой факт. Когда я там был, умер «испанский Чапаев» — Кампесино. Биография его сложна. Во время гражданской войны он отличался храбростью и жестокостью к своим и чужим. После поражения поселился в СССР и там скоро был посажен в лагерь. Из лагеря бежал, причем за границу. Это кажется фантастикой, но это правда. После бегства выступал в Париже свидетелем на политическом процессе, изобличавшем сталинские лагеря. Все это по случаю смерти Кампесино было напечатано в газетах, относившихся к нему без особых симпатий. Однако напечатано, ибо эта колоритная личность стала частью Испании и ее истории. У нас в СССР после гражданской войны и до самой второй мировой вообще нельзя было встретить ни одного бывшего белого. Им нельзя было себя обнаружить, даже если они были официально зарегистрированы (и при этом не расстреляны и не отправлены на Соловки).

Очень реабилитировал в моих глазах Франко один разговор с родителями моего друга. Во время гражданской войны они поддерживали Франко, а после войны перестали — из-за чрезмерной жестокости. «Он казнил слишком много людей, — говорили они. — Потом, правда, казни прекратилась, но первые два года было ужасно». «А сколько человек он тогда казнил? — поинтересовался я. — Тысяч, наверное, десять?..» Я был уверен, что преуменьшаю. Сразу после такой войны, такого ожесточения, таких эпизодов, как в Алькасаре или в романе Хемингуэя. Оказалось, я сильно преувеличил. За эти годы было казнено человек триста-четырееста. И то, что у этих людей, «переживших фашистскую диктатуру палача Франко», сохранилась такая нормальная мера вещей (ведь триста-четырееста — цифра действительно гигантская), больше всего меня расположило к Франко. Раз такое количество жертв после такой войны и ожесточения ужаснуло этих разумных, культурных, интеллигентных людей, значит, ей-богу, с Франко еще можно иметь дело. Все-таки это Вам не Агостиньо Нето и не Фидель Кастро.

И вспоминая этих милых испанцев и их слова о жестокости Франко, и сообразуя их со своим общим ощущением Испании, страны небогатой в западном представлении (но не в представлении жителя Рязанской области), я опять прихожу к одному грустному, но необходимому выводу: везде, где таких романтиков, каким был я (и таких гуманистов, как Ваши единомышленники), разбили, жить еще можно. Но если демократии все же окажутся неустойчивы, то я бы предпочел такого диктатора, как Франко, таким, как Ленин, Сталин, Кастро или Гитлер. Я бы хотел, чтобы дело не дошло до такого выбора. К сожалению, это больше зависит от таких людей, как Вы, а не таких, как я. Поэтому я и пишу Вам это письмо.

1986

Возвращение к нравственности

С нравственных позиций

Аргументация нравственностью и порядочностью в СССР вошла в литературу, в газетную публицистику и в частные беседы вовсе не с приходом к власти Горбачева, как некоторым издали кажется. Еще в начале семидесятых, незадолго до моего отъезда, помню частный разговор в одном журнале о том, что теперь быть непорядочным стало невыгодно, что порядочность — в цене.

На протяжении всей брежневской эпохи в «Литературной газете» наравне со всем похабством ее международного отдела жил, действовал и выходил на газетные страницы другой отдел — «коммунистического воспитания». С неприятным для нашего слуха названием, он, тем не менее, был занят отнюдь не похабством. Руководил им в течение многих лет талантливый и честный журналист Евгений Богат, ныне, к сожалений, покойный. Я не собираюсь здесь расписываться ни за Богата, с которым не был знаком, ни за участвовавших в работе его отдела журналистов в том, насколько кто из них воспринимал это название как мимикрию, а насколько действительно полагал, что «боролся за нового человека». Но как бы они ни объясняли себе свою деятельность, — они выступали с нравственных позиций. А причины, по которым они в

своих статьях и очерках ставили знак равенства между своими нравственными позициями и сущностью государственной идеологии, вряд ли нуждаются в объяснении. Это было правилом игры, без соблюдения которого можно было бы, пожалуй, выступать только в эмигрантских изданиях. Правила эти, конечно, были понятны и читателю, к которому они обращались с нравственной пропагандой. Переоценить значение этой деятельности в стране, где практически были запрещены даже религиозные проповеди и где до большинства населения не только «там-», но и «самиздат» не доходит, — невозможно. Кроме того, их публикации ставили еще целью добиваться справедливости в конкретных случаях, когда дело было особенно вопиющим. И иногда им даже удавалось спасти невинных от расстрела. В значительной мере именно эти люди «реабилитировали» и снова ввели в обиход слово «порядочность». Поразительно, что это происходило в газете, которой руководил один из самых непорядочных людей нашей страны — Александр Чаковский.

Сошлюсь и на деревенскую прозу 70–80-х годов. Она развивалась в самый разгар брежневской стагнации и утверждала, прежде всего, нравственные критерии. То, что сейчас пишет Виктор Астафьев — я имею в виду его художественные произведения, а не побочную продукцию — безусловно, новый этап его творчества. Но в смысле отношения к жизни и правде он просто продолжает то, что делал раньше. Ему нечего пересматривать, зачеркивать, стыдиться. «Царь-рыба» содержит не меньше правды, чем «Печальный детектив» и рассказы в «Нашем современнике», № 5 за 1986 год. Разве что формулировки порезче...

Те, с кого началось

Так что разговоры о нравственности — не новое в советском обиходе. Новое же в том, что теперь о нравственности заговорили официально, с высоких трибун. Со стороны это должно выглядеть странно. Было бы даже смеш-

но, если бы правительство демократического государства вдруг начало призывать свой народ и самого себя к нравственности. Но речь идет об ином государстве. И сейчас, после всего пережитого, ни в чьих глазах не выглядит странным, а тем более смешным: ни нам, ни тем, кто это делает не до смеха.

При общем отвращении ко всем большевистским формациям и их выразителям я не отношусь к тем, кто весь советский период воспринимает как нечто неизменное, не имеющее своей истории, в чьих глазах мрачный бонвиван и циник Брежнев по фанатичности своих устремлений выглядит форменным Троцким, жаждущим бурь мировой революции. Ленина я ненавижу даже, пожалуй, больше и персональнее, чем остальных, но он для меня все же не то же самое, что Сталин или Хрущев (о Горбачеве я пока вообще избегаю высказываться), а палач Дзержинский все же нечто иное, чем палачи Ягода и Ежов. Но что есть безусловно общего у всех советских формаций и их выразителей — это война с общечеловеческой естественной нравственностью и попытка заменить ее иной, частной, «партийной». И в этой войне «заслуги» «бессребреников» Ленина и Троцкого гораздо выше заслуг не скажу Сталина, но уж точно любого взяточника типа Брежнева. Атаку на элементарную нравственность повели именно такие «бессребреники». Конечно, вместе со Сталиным, моральные качества которого многим из них были неприятны, но считались полезными делу революции.

Обвинение в безнравственности — разменная монета во взаимоотношениях политических противников. Марксизм с его классовостью морали дает для подобных обвинений достаточные основания. Но природа большевизма коренится не в одном марксизме или в какой-то другой теории, а в общем подчинении всех ценностей насущным тактическим задачам. Нарушая все заповеди, от религиозных до интеллигентских (а когда надо и марксистских; например, ленинская «диктатура политики над

экономикой»), коммунистические лидеры объективно и субъективно нуждались в нарушении и даже разрушении «общепринятой» морали. Субъективно — для собственного спокойствия, объективно — для того, чтобы заставить других делать то, что нужно было делать во имя превращенных в религиозную святыню «интересов партии». То есть, в сущности, для укрепления и удержания власти ее лидерами — к чему постоянно, но не для всех заметно, и сводилось все «великое дело».

Какие-то нормы приличия внутри партии в какой-то степени соблюдались года до двадцать второго, но потом Сталин медленно, но верно (а глядя из нынешнего дня, и не так уж медленно) начал распространять методы, которые прежде считались допустимыми только по отношению к не членам партии, — на само партийное сообщество. Курьезно, но все члены существовавших или разгромленных оппозиций временами, в своем, во всяком случае, кругу, искренне зывали к морали и порядочности, — возмущались неизменным цинизмом, к которому прибегал Сталин. Конечно, личная аморальность Сталина проявлялась и на отношениях внутри их преступного сообщества и выделялась даже на его фоне. Но люди, связавшие мораль с интересами партии и даже вступавшие до этого в беспринципные союзы с тем же Сталиным (как Зиновьев и Каменев), вряд ли имели право его в чем-либо обвинять — разве только в нарушении законов своего сообщества.

Единственным, но зато в их глазах абсолютным оправданием такого обращения с моралью была сияющая конечная цель. Она в их представлении была такова, что мелко и даже аморально было противопоставлять ей порядочность и мораль, если они мешали тактическим планам по ее достижению. Она оправдывала все. Не знаю, насколько искренни были в такой наивности большевистские вожди. Допустим, в момент, когда ложью, обманом и развязыванием низменных инстинктов они брали власть, некоторые из них действительно плохо представляли, что делают. Но потом, когда для удержания ее они вынужде-

ны были столько раз холодно и цинично использовать небывалую по масштабу ложь и жестокость? Нет, уж слишком много «диалектики» потребовалось бы им для естественного сохранения такого непонимания.

Большинство тогдашнего второго эшелона этим тактическим фанатизмом, фанатизмом по отношению к партии и к удержанию ею власти, были проникнуты достаточно искренне. Культ единства партии, превращения его в религиозный принцип, владел ими вполне. Вероятно, была в этом и корысть, но она не осознавалась. Впрочем, потом и эта партийная, частная, незаконная мораль, как и всякая другая, была все равно смята во время коллективизации, раскулачивания и ограбления нэпманов. Даже те старые члены партии, для которых это было уже слишком, — а таких было немало, — хранили молчание. Они уже были вконец разложены предшествующими упражнениями в нравственной диалектике, и вне партии, единственного места, где их основанная на этом предыдущая деятельность не выглядела преступной, существовать не могли. Какой бы она ни становилась. Теперь этой «партии» (то есть Сталину) перебить их всех поодиночке не составляло никакого труда. Что он вскоре и проделал. Иногда — даже при деятельном их соучастии.

Безусловно, сообщество это преступно с самого начала и вполне заслуживает своей участи. Но хорошего в таком — именно в таком! — «торжестве справедливости» было мало: исчез постепенно даже самозванный форум, где хоть кто-то, хоть исходя из патологических соображений, считал себя за что-то ответственным и мог хоть в каких-то интересах что-то открыто обсуждать. Но, в сущности, Сталин только воспользовался плодами их победы над моралью.

А уж его выдвиженцы просто воспринимали созданную предшественниками аморальную обстановку как естественную среду обитания и активности. Или как температуру в теплице, которую они зачем-то (зачем — знает Сталин) призваны поддерживать. Этим уже все было ни-

почем. Издевательское богоборчество и подлые гонения на Церковь начала двадцатых годов — ничто по сравнению с более спокойным, но почти полным ее уничтожением в начале тридцатых. Да тут уж не в богоборчестве было дело, хоть и его хватало. А больше так: «Сказано — сделано».

И даже коллективизация многим из них была ни-почем — руки на ней грели, хоть часто сами были крестьянского происхождения. Это о них в 1936 году в ужасе говорил Бухарин Николаевскому, что самый страшный результат коллективизации — это создание типа функционеров, для которых террор — единственный способ обращения с массами, и которые с самого начала привыкают видеть в себе бессмысленные зубья страшной машины. Высказывание это интересно еще и тем, что исходит из уст человека, которого Н.Я. Мандельштам назвала „теоретиком террора». По-видимому, террор как одно из средств обращения с массами этот самый гуманный из таких теоретиков продолжал еще и тогда считать вполне допустимым. По непроверенным слухам, только в тюрьме он впервые признал то, что все «мещане» знали с рождения, что существуют абсолютные, объективные моральные ценности. Мысль, несмотря на обилие научных слов, не такая сложная и не так трудно постижимая, ибо в основе ее — естественное отношение к вещам. Гораздо больше труда, образованности и напряжения, а также восторженной экзальтации требует усвоение истин противоположных, противоестественных. Однако трудов на это такие люди не жалели — слишком высоко было вознаграждение: наполнение жизни радостью исторического «творчества». Во время коллективизации, а потом «чисток» Бухарин впервые столкнулся с плодами этого «творчества» и, в отличие от большинства своих коллег, не только испугался за себя, а и ужаснулся содеянному.

В большинстве своем эти люди, как и все большевики, практически оказывались беззащитными перед Сталиным не только внешне, то есть политически, но и внутренне, то есть духовно. Как сопротивляться, если источ-

ник нравственности — интересы партии, а партия группируется вокруг своего генсека? Это и привело ленинскую партию к ее парадоксальному и жалкому концу, к тому, что она себя сама оболгала, посадила и расстреляла.

Как это было возможно?

Как это могло произойти? В этом смысле чрезвычайно интересны воспоминания обер-чекиста Александра Орлова. Интересны не тем, что разоблачают фиктивность антибольшевистских сталинских процессов (кто в этом сегодня нуждается?), а тем, что рассказывают, как именно они организовывались. Причем наиболее достоверен в его книге как раз рассказ о начале этой сталинской акции — о первых таких процессах, когда еще сам Орлов был своим человеком в чекистской верхушке и другом тех, кто эту акцию проворачивал.

Почему Сталину было необходимо уничтожить старую гвардию — понятно. Но ведь ему нужны были сообщники. Причем, из железных рядов ОГПУ, привыкшего тогда еще себя ощущать органом партии, точнее, частью партократии. А тут им должны были предложить поднять руку на саму партию, на ее романтизируемых старых бойцов, на собственных друзей? И кому это можно предложить? Как? В каких словах?

Оказалось — это было проще пареной репы. Им просто по секрету «разъяснили», что международная обстановка требует удара по Троцкому, а для этого следует скомпрометировать Зиновьева и Каменева. И этого хватило. «Солдаты партии» тут же проявили невероятную, я бы сказал, нечеловеческую «сознательность» и, гордые доверием, бросились проявлять инициативу и изобретательность — таскать для Сталина каштаны из огня. Они к тому времени настолько привыкли к удобной для них диалектике пользы дела, что уже никакая фальсификация им не казалась чудовищной. Наверно, только до времени — пока это обрушивалось на других. Никто не узнает, что

они думали, когда это обрушилось на них самих. Потому что ни один из членов занимавшейся этим делом особо доверенной следственной спецбригады (приставка «спец» традиционно для большевизма придавала любой подлости привкус особой важности, доверенности и романтичности) не выжил, не дожил даже до реабилитации, а тем более до справедливого суда за свои преступления.

Тут поражает фантасмагория и тотальность безнравственности, некоторая ее освященность даже. Это не безнравственность профессиональных уголовников — в ней ни вызова, ни открытости, ни сознания своей отверженности. Наоборот, сознание своей аристократической причастности. Они были первыми, кто обрушил удар на свою партию, пусть сначала и на бывших оппозиционеров. Их быстро убедили, что для пользы дела это необходимо. Но очень скоро выяснилось, что для той же пользы дела ими ограничиваться нельзя. Пришлось для пользы дела еще привлечь к этому процессу в качестве обвиняемых уж и вовсе ни в чем не виновных — перед преступной властью — «честных коммунистов». Привлечь вроде как по договоренности, — правда, несколько односторонней, у привлеченных согласия не спрашивали... Но с ними в тюрьме обращались как с товарищами, более того, как с товарищами, почетно приобщенными к сложной политической тайне. Как к товарищам, которым во имя интересов *дела* доверено и поручено на зло врагам взваливать на себя и других всякую напраслину. Нравственные представления были настолько искажены, что естественная неуютность самоощущения (все-таки следствие и процесс шли совсем в иных выражениях) перебивалась польщенностью. Какой коммунист не хочет быть причастным к высоким хитросплетениям во имя блага!

Правда, их еще уверяли, что приговор, а тем более, смертный приговор, таким самоотверженным борцам может быть вынесен только понарошку — для обмана врагов. Как ни странно, в этом, несмотря на прожженность, уговаривавшие были искренни. Ведь такое витиеватое от-

ношение к делу и к морали соответствовало партийной логике — действительно, зачем убивать своих? Пусть эта партия была мафией, но ведь и мафии не устраивают фиктивных показательных процессов против своих верных членов. Но для Сталина «своих» не было — разве только пешки и слепые исполнители, которым этой акцией он и начал расчищать дорогу. По первоначально эти уговаривающие, видимо, и сами не представляли, что происходит, какое употребление сделает Сталин из их привычки к витиеватой аморальности. Не знали они и того, что вовсе не были для него своими. При всей их готовности к злу, они все же привыкли себя чувствовать в нем равными соучастниками, а не пешками, не слепыми исполнителями, а только таких он и мог терпеть возле себя. Задачей его сейчас как раз и было заменить такими всех «своих» и всех «самоотверженных борцов». И поэтому вскоре оказалось, что «понарошку» на этих процессах были только эти витиеватости, а расстреливали же после них — всерьез. Для упоминавшихся «самоотверженных борцов» такой оборот был неприятной неожиданностью. Неожидан он был и для уговаривавших. Впрочем, они не поняли, что это изменился их статус, и только недоумевали, продолжая «честно» служить и дальше. Отчужденные от моральных незыблемостей, они запутались в своей собственной казуистике и потеряли ощущение реальности. И года через два их собственный расстрел был для большинства из них еще большей неожиданностью.

Сталинские «вытащенцы»

Таковыми были те, с кого началось. Потом Сталин привел таких людей, которые уже ни на какое понимание не претендовали. Им и на необходимость фальсификации намекать не приходилось, надо было только намекнуть, что в таких-то и таких-то кругах таится измена и ее необходимо раскрыть. И попробуй не раскрыть. Фальсификация из этого происходила как бы сама собой, не только без

участия вождя, но и без его разрешения. То, что нужно было Сталину, делалось как бы исподтишка, тайком от него, чуть ли не под страхом разоблачения (а подчас и действительно «разоблачали», как того же Ежова!). Но это были уже сталинские выдвиненцы точнее сказать «вытащенцы» (то есть люди, неожиданно для самих себя вытащенные Сталиным за шиворот к власти), которым никогда и не предлагалось быть чем-то большим, чем *слепое* орудие, они, так сказать, не люди идеи. С них, вроде, и спросу меньше. Идеологические объяснения им какие-то, конечно, тоже давались, но, как и всем советским людям, не для убеждения, а для повторения и усвоения. В основном же они должны были обходиться смекалкой: на лету понимать намеки «хозяина» — так они и называли его между собой. Какой бы его доверенностью они ни бывали при этом облечены, какими бы привилегиями, бляшками и звездочками на погонах эта доверенность ни сопровождалась, они не становились от этого даже младшими соучастниками, но оставались слепыми исполнителями. Обоснованием, в том числе и нравственным, любого их деяния была сама эта степень доверенности, которую следовало оправдать преданностью.

Почему, собственно, следовало быть преданным Сталину? Этот вопрос даже не ставился. Конечно, альтернативой этому было — исчезновение. Но выдвинутые им люди были ему еще и благодарны. И объяснения все-таки давались. Большинство пробавлялось тем, что он был наследником Ленина и революции, самым умным и правильным продолжателем великого дела. Более дотошные добавляли — продолжателем в более сложных условиях. Это было удобно: оправдывало любую фальсификацию и любую подлость как вынужденные этими условиями. Но это уже было опасным вольнодумством. Дотошность не поощрялась: он велик, потому что велик. И те, кто видел в нем единственное оправдание своего внезапного вознесения и связанных с этим преступлений, вполне довольствовались тем, что он просто вождь народов и вообще ко-

рифей. В этой среде, пронизанной наушничеством, называемым бдительностью (Сталин вовсе не стремился, чтобы его клеветы представляли собою нечто единое и цельное), это было наиболее безопасно. Безусловно, все это способствовало превращению этих случайных людей в бессмысленную банду, эмпирически даже еще более страшную и опасную для окружающих, чем те, кого они смели и заменили.

Но не следует забывать, что первую и наиболее результативную атаку на нравственность и подрыв авторитета нравственности осуществили не сталинские «вытащенцы», а их предшественники. Кстати, то немногое, что оставалось от ленинских времен в сталинских, — это как раз диалектическое отношение к нравственности. Это долго не осознавалось. Интеллигентная молодежь предвоенных лет в своих внутренних исканиях не всегда сознательно противопоставляла нынешним грязным временам «чистые и бурные» двадцатые годы. Или (в сущности, это то же самое) изо всех сил стремилась в нынешних временах видеть продолжение мировой революции. Мировая революция — единственное цельное, что молодежь знала и что эту безнравственность как бы оправдывала. Сталин по этой логике был узурпатором, который употребил это право на безнравственность всуе — так сказать, для личных нужд.

Но в неправоное дело коллективизации, выдвинувшей новую формацию партийцев, старая формация, «старая гвардия» была вовлечена не меньше, как бы к этому ни относились отдельные ее представители. Даже Бухарин, хорошо понимавший, какие разрушения несет коллективизация, и первым определивший, какой опасный для жизни тип «работника» она породила, не вышел из-за этого из партии. Пребывание в партии все еще было для него гораздо более важной духовной ценностью, чем последствия ее деятельности. Слишком он сроднился с ее преступлениями, слишком научился принимать их и оправдывать — участвовать в них, — чтобы остаться со всем этим грузом

вне ее. Поэтому мистика партийности в его сознании перекрывала и реальности коллективизации.

Но и люди, менее вовлеченные в этот грех, осознали случившееся совсем не сразу. Говорят, что, когда отрезает трамваем ногу, шок так велик, что боль ощущается только через несколько минут. Для общественного сознания шок от коллективизации был настолько велик, все связанное с ней было настолько страшно и огромно, настолько несовместимо с внушаемой оценкой происшедшего (а революционный пафос еще действовал, и внушениям еще многие верили), что осозналось оно только через десятилетия. Конечно, если иметь в виду молодую интеллигенцию — простые люди, не вовлеченные в революционный пафос (например, мой отец), понимали это с самого начала однозначно. Впрочем, не всегда. Особенно молодежь. Иногда даже дети раскулаченных (как видно, например, из воспоминаний брата А.Т. Твардовского Василия, магнитофонную запись которых я слышал перед отъездом из Москвы) воспринимали тогда постигшую их участь как частную несправедливость по отношению к ним и как трагедию неразделенной любви к советской власти. Даже оппозиционная мысль (когда она после смерти Сталина проявилась) не сразу обратилась к коллективизации — тогда все заслонял маразм последних лет сталинщины.

А в конце тридцатых — в расцвет сталинщины — будущие ее носители, молодые идеалисты (конечно, как-то уже чувствовавшие, что все идет не так, но защищавшиеся от осознания своих чувств при помощи восторга) и вообще представляли коллективизацию мероприятием пусть жестоким, но высоким и героическим — расширяющим внутренний мир человека, освобождающим его от замкнутости и гнета «проклятой» частной собственности. В коллективизации им даже виделся последний всплеск революционности, ностальгия по которой или усиленное стремление видеть продолжение которой в окружающей их сталинской бессмыслице было тогда единственным содержанием их духовной жизни. Тогда, в конце тридцатых,

даже оппозиционность принимала форму требований более правильного и честного построения светлого будущего, в сущности, большей ортодоксальности.

Любопытный термин — «перегиб»

Конечно, признавалось при этом, что в этом великом деле иногда допускались и «перегибы» — местными, конечно, властями. Любопытнейший это термин, должен сказать. Он намекает на положительность самого явления, по отношению к которому допускались эти самые «перегибы». И это уже само по себе ложь. Последствия этих «перегибов» видны всем и до сих пор жестоко сказываются на всей стране. А последствий якобы имевшего место самого явления (положительных, по этой логике) — никто никогда не видел. По-видимому, к «перегибам» это явление и сводилось.

В «перегибах» охотно сознавалась и центральная власть, Сталин о них даже «Головокружение от успехов» написал. Как известно, был это обычный сталинский трюк: циничное сваливание своей вины на тех, кто послушно выполнял его директивы (а те из страха за себя или за единство партии вынуждены были молчать). Более того, он и не думал отказываться от своего головокружительного наступления на жизнь: и после этой статьи исполнители продолжали получать секретные спецпакеты, в которых «головокружение» это предписывалось им столь же строго, как и до нее — разве только мелкую живность разрешили оставлять крестьянам. И об этих директивах тоже надо было молчать. И брать все на себя, делать вид, что вождь — большой либерал.

Коллективизация, кроме всего прочего, несла с собой дальнейшее углубление большевистского аморализма и дальнейшее погружение общества в ложь и протрацию — в сталинщину, которая тогда только начиналась.

Конечно, молодые идеалисты последующих лет (да и не только они — на то и спецпакеты) не все об этом мероприятии знали. Но нас сейчас интересует не глубина их

осведомленности, а само слово «перегибы». И не то, насколько оно соответствует реальности, а проявляющаяся в его, так сказать, эмоциональном содержании система моральных ценностей.

Прежде всего, оно сразу переносит сочувствие с тех, в отношении кого «перегибают», на тех, кто это делает, и даже на само дело, при совершении которого эти «перегибы» допущены... Дело это априори оказывается чем-то важным и достойным, раз на его фоне какие-то деяния выглядят как «перегибы». То есть как нечто несущественное по сравнению с самим делом. Чего ж тут особенно беспокоиться — во всяком деле есть издержки, бывают ошибки: не ошибается только тот, кто ничего не делает. Так что «перегибы» оказываются чем-то неизбежным при всяком большом деле и потому простительным, почти желательным. А попутно и как-то очень естественно допускается, что миллионы человеческих судеб, их жизнь и смерть, могут быть не только материалом, но и издержками творчества отдельных групп и лиц. Произносится только — «перегибы», и эти миллионы выносятся за скобки и там забываются: лес рубят — щепки летят. Получалось, что одни люди даны другим в пищу. Но такой была моральная атмосфера времени, что этого не замечали и этим объяснением утешались — даже те, кто по своей человеческой сути вовсе не был склонен к людоедству.

Моральные разрушения, связанные с коллективизацией, касаются всех людей — даже тех, кто сам не раскулачивал, не раскулачивался и не видел, как раскулачивают. Не все сознавали, но все чувствовали, что это — величайшая несправедливость, и искали ей оправдания и объяснения. Это было многообразное насильственное протаскивание людей через разврат: развратись или исчезни — вот альтернатива, стоявшая перед каждым.

Этому же служили и лагеря. Каждый, кто тогда жил, особенно если был ребенком (знаю по своему опыту), воочию увидел, что можно стать жертвой «перегиба», то есть попасть в категорию, отнесенную к издержкам, кото-

рую не жалко, которая на фоне великих свершений почему-то автоматически теряет право на сочувствие. Подсознательный страх оказаться в этой категории — особенно тяжкий для веривших в эти свершения — определил многое в жизни нескольких последующих поколений, определил облик всей страны.

Сталин сознательно стремился, чтобы все вокруг него потеряли нравственный облик и достоинство — и клеветы (будут преданы, как собаки) и все остальные (будут легче управляемы). С некоторыми ему это полностью удалось, с некоторыми нет, но совсем не задетых этой порчей почти не осталось. Грех, свойственный большевистской диктатуре вообще, особенно углублен грехом коллективизации. Без осознания этих грехов никакого возвращения к недиалектической, обычной, необходимой для жизни нравственности быть не может.

Коммунистическая идейность — что дышло

Грех этот крепко сидел в нас. Как уже сказано, изменение оценки этого явления в целом произошло даже не сразу после смерти Сталина, а чуть позже, и связано оно с общим крушением не только сталинщины, а и вообще как официальной, так и оппозиционной коммунистической идеологии.

Для меня лично оно началось после подавления Венгерской революции 1956 года. Именно не в *связи* с подавлением, а *после* него. Когда я прочел в «Правде» статьи трех венгерских коммунистов, которые серьезно и полемизируя друг с другом разбирали, как они называли это, «уроки контрреволюции». Статьи эти были написаны явно не советским политико-канцелярским слогом (*Sowjetparteisprache*), а вполне грамотным, марксистским, идейным языком. Это значило, что их авторы явно были не случайными выдвигенцами, а людьми коммунистической традиции. Поразили меня эти статьи каким-то жестоким безразличием к реальности.

Только что иностранными войсками было в крови задавлено народное восстание против скомпрометированной — даже с точки зрения чистого коммунизма — власти. Наглость и brutality советской интервенции потрясли весь мир, а тем более всех вокруг меня. От стыда и боли некуда деться — особенно потому, что коммунизм в нас еще не совсем изжит. Ведь расстреляли попытку возродить его подлинность, попранную Сталиным. Его только что официально судили за это на XX съезде. Что ж творится? Как жить?!

Но для коммунистов этого всего просто не существовало. Существовала только власть их партии, священная при любом ее поведении, потому что партия называется коммунистической и автоматически представляет прогресс, то есть единственное, что надо представлять. Конечно, лучше если народ при этом живет хорошо, но это — факт второстепенный. Главное — власть партии. Все, что стремится ее поколебать, автоматически отнесится к абсолютному злу — реакции и контрреволюции — и по существу вообще не рассматривается. Рассматриваются только «ошибки» правительства Имре Надя (уже обманом захваченного, но еще не расстрелянного), сводящиеся к попустительству, которое позволило этому злу проявиться. В том и «уроки». А сама интервенция — акт безусловно положительный, потому что восстанавливает власть партии. Остальное их просто не интересовало.

Это меня потрясло. Я почувствовал, что эти деятели так рассуждают не вопреки, а благодаря своему мировоззрению, которое я до этого как будто разделял. Выходило, что и самая распрокоммунистическая идейность — что дышло: она ничем не дорожит, даже сама собой. Ибо ориентиры ее ценностного мира — вполне подвижны, это случайности тактических соображений. И что завести она может куда угодно: естественных тормозов в ней нет. Это привело меня не только к отказу от коммунизма, но к осознанию необходимости абсолюта, к пониманию значения человеческих моральных ценностей. А отсюда уже до сты-

да за всеобщее равнодушие к коллективизации — меньше, чем один шаг.

Кстати, тогда лично меня, да и многих других, перестало оскорблять, что наши тогдашние вожди индифферентны к идейному коммунизму. Правда, это привело к противоположной ошибке — показалось залогом того, что мы становимся нормальными, не ориентированными на утопию или ее имитацию государством. Это само по себе было утопией, чего я и те, кто со мной соглашался, не знали. Но для искусства и мысли этот временный самообман был полезен. Разумеется, пока был честен. Ибо в связи с этим политические вопросы отходили на второй план, а на первый выходили вопросы духовного наполнения бытия, нравственности.

Поворот к нравственным абсолютам

Думаю, что подспудный, еще неявный поворот к абсолюту, к религиозным поискам начался уже тогда. Тогда, в начале шестидесятых, это еще не было широко осознано, но в этом уже нуждались. И связано это теперь было уже не с новыми событиями, даже не с откровениями XXII съезда КПСС, а просто с тем, что толчок внутреннему развитию был дан, и оно происходило само собой.

Надо сказать, что правительственного сопротивления нравственной и моральной пропаганде практически не было. Наверно, и потому, что она поначалу в силу вышесказанного и не была направлена против строя. Во-вторых, сам строй чем дальше, тем больше сталкивался с последствиями того аморализма и релятивизма, которые раньше пропагандировал, а в повседневности требовал от своих работников и практически от всего населения. Нравственные ресурсы тратились еще беззаботней, чем естественные. Во имя своих ближайших интересов щедро расплачивались будущими — хотя и во имя будущего. И теперь это будущее наступило. Воспитанные строем качества стали обращаться людьми не только друг против друга, но и в еще большей

степени против него самого. Они стали, в частности, проявляться в отношении людей к труду, к своим обязанностям и к государственному имуществу. Получалось, как с водкой: сокращение ее продажи сказывалось на бюджете, а увеличение — на производительности труда. Так и здесь. Высокие моральные качества делали людей неуправляемыми в одном смысле, а низкие — в другом. Но так или иначе, власть сопротивления нравственной пропаганде не оказывала, а в «Литературной газете», как я уже говорил, она даже шла под эгидой коммунистического воспитания...

Власти допустили и восславили и «деревенскую прозу», хотя они скорее должны были бы ее запретить, чем разрешить и восславить. Правда, ее хулители говорят, что для начальства деревенщики и почвенники в отличие от «западников» — свои. Свои? Может быть, отчасти. Но тогда представители режима, начальники эти, сами себе не свои. И режим — сам себе не свой. Это не шутка, это патология режима. Почти все эти начальники пережили трагедию русской деревни, а некоторых задело и коллективизацией. У них это — болит. Вот и смотрят сквозь пальцы, так говорят хулители.

Что ж, так оно, вероятно, и есть. Но что здесь плохого? Можно обвинять этих начальников (если они в том повинны), что они запрещают другое или даже нечто подобное, но написанное другими, но не в том, что они напечатали это. Я не утверждаю, что такие начальники — обязательно светлое явление. Люди это, скорее всего, разные и мотивы их действий тоже, вероятно, не одинаковы. Возможно, в других случаях некоторые из них будут выглядеть отнюдь не приятно. Но за то, что они «пустили» «деревенщиков», можно им быть только благодарными.

Кончилась сталинская эпоха

Судя по всему, сегодня в СССР есть возможность опубликовать многое, ранее невозможное, разрешено ставить вопросы глубже, чем когда-либо. Особенно в публици-

стике. И, главное, более откровенно заговорили на трибунах и в массовой печати. Все это очень важно. Это попытка изменить атмосферу в стране. И, конечно, в литературе. Но в литературе кое-что в этом направлении делалось и раньше.

Что вообще произошло в СССР после смерти Черненко? На этот вопрос я отвечаю однозначно: кончилась сталинская эпоха. Приход Горбачева изменил весь стиль советской жизни. Стиль — это еще не суть, а «кончилась» — еще не означает, что жизнь пришла в норму или хотя бы произошли существенные перемены. Более того, это не значит, что есть гарантия от многих сталинских методов. Но это значит, что кончилась эпоха выдвигенцев. Началась эпоха «карьеристов» (в западном, не оскорбительном смысле этого слова). У новых руководителей нет комплекса людей, которые сами не знают, как оказались наверху. Они прекрасно знают, как это произошло. Они, по-западному же говоря, — *selfmadepeople*. И это проявляется во многом. Их, например, не оскорбляют модернистские упражнения. В Ленинграде разрешен модернистский литературный клуб, даже сборник ему разрешили издать. В сущности, это было бы выгодно и старикам. Это удобная канализация беспокойных юношеских честолюбий и комплексов. Более того, подобного рода «творцы» часто создают атмосферу, в которой люди, озабоченные действительными жизненными проблемами, начинают выглядеть недостаточно возвышенно, их даже можно третировать с высот чистой гениальности. Кругом бы выгода была. Но старики решиться на такое не могли: раздражало умничанье и чудились намеки.

Великое дело — возраст! И отнюдь не только в биологическом смысле. За горбачевцами нет ни коллективизации, ни тридцать седьмого года. Поэтому даже если отрицать их добрые намерения, просто не всякая критика системы их задевает или должна задевать лично, как задевала их предшественников. А от этого уже легче. Кроме того, они достаточно компетентны, чтобы понимать, что есть вещи пострашнее критики, и стремиться их избежать.

Но если даже их добрых намерений не отрицать и считать, что они столь хороши, какими я их сейчас теоретически хотел бы видеть, то все равно сделать все то, что минимально необходимо для спасения, им будет очень нелегко. А они отнюдь не безупречны, как показывает их внешняя политика. Пока они просто с молодой энергией продолжают старую, а старая, кроме неблагоприятности (впрочем, и благодаря ей), была плоха еще и тем, что выгодна она только одной державе в мире — КНР. Внешнюю политику изменить нелегко, но это самое легкое из того, что им предстоит сделать. И то, что они и этого не могут, даже из Афганистана еще никак не могут уйти — симптом тревожный. Все равно, держит ли их в плену собственная ограниченность или они не могут преодолеть ограниченность аппарата, генералов, КГБ или кого-либо другого. Соппротивление брежневщины.

Кстати, брежневщина — это сталинщина на свободе, сталинские выдвигенцы, освобожденные от страха перед сталинской плеткой и получившие возможность проявить свою подлинную сущность. И неудивительно, что естественнее всего она проявляется в коррупции. Ведь то, что они делали для Сталина, тоже было насквозь безнравственно, тоже в человеческом смысле было коррупцией. Их и выдвигали за способность к этому, она стимулировалась, воспитывалась, широко использовалась, но жестко держалась в узде — чтобы не забывались, чтобы помнили, кому должны служить в первую очередь. При Брежневе все это освободилось от всякой узды, и нагляднее проступила ее подлинная суть — разложение.

Воля — тоже нравственная категория

Может быть, гorbачевцы пришли слишком поздно — во всяком случае, для того, чтобы все прошло без крайнего напряжения. Им бы прийти вместо Хрущева и в его время. Тогда еще не все резервы доверия (не только к власти, а, может, и к жизни) были растрочены, оставались

еще Иваны Денисовичи, желавшие и умевшие пахать. На них и выезжали.

Сегодня ситуация хуже. Сказывается усталость, в том числе и духовная. В процессе обновления, по моим сведениям, участвуют, стремятся его использовать и закрепить только представители старших поколений, люди, которым сейчас около пятидесяти-шестидесяти, помнящие «оттепель» 1956 года. Молодежь, даже интеллигентная, безразлична. Даже огрызается иногда, когда ее призывают действовать (отнюдь не в смысле подготовки к баррикадам). Интересуется только атрибутами «красивой жизни»: магнитофонами, автомобилями. Это, конечно, тоже реакция на бессмысленный идеологизм в прошлом, но реакция неплодотворная. Такой реакции способствует многое. Правду, о которой теперь разрешено говорить вслух (что кругом коррупция и что причины ее — в самой системе советской экономики), — все, кого это интересовало, знали и раньше. Это может показаться делом житейским, даже не слишком интересным. И действительно — откровения Горбачева, несмотря на свою важность и серьезность, вероятно, поражают воображение не так, как хрущевские о сталинском терроре, о котором тоже догадывались, но который в полном объеме мало кто представлял.

Откровения Горбачева рассчитаны на озбоченную мысль, и если ее не хватит, если мы слишком уж приспособились к нашим противоестественным условиям, к гибельности — дело худо. А между тем, против нововведений Горбачева, которых практически еще и нет, уже образовалась мощная коалиция — от крупных комсомольских функционеров до подзаборных алкашей. Как бы кто из нас к этим нововведениям ни относился, факт это неприятный. Конечно, дело не в алкашах. К тому же в глубине души они сами знают, что даже по поводу водки прав Горбачев, а не они. Но комсомольские функционеры — другое дело. Это — худшие из карьеристов (уже не в западном, а в советском значении этого слова). Занимаясь только фикцией, они вообще почти не представляют, что бывает

сопротивление материала и последствия решений. Даже Брежнев и его сподвижники имели об этом более отчетливое представление. Учиться на своих ошибках у них нет не только охоты, но и возможности, так как их деятельность не связана с реальностью. Они мечтают о сильной власти, но знают ли они сами, что они с ней собираются делать? Пахать ведь ею нельзя. Пока я очень сомневаюсь, чтобы знали, — просто верят в нее, как в панацею, и чувствуют ее сладость. Но возможность применить свою безответственность у них может появиться. Они опасны. Так что на «банальную» нравственность — во всяком случае свою (другое дело — внушать ее «народу») — эти комсомольские *Übermensch* не претендуют. Об их нацистских симпатиях эмигрантская пресса уже писала.

Впрочем, очень многое зависит от того, как будет применяться и трактоваться «Закон об индивидуальной трудовой деятельности» (а составлен он так, что позволяет самые разные, даже противоположные толкования). От характера его истолкования зависит и характер последствий для страны. Диапазон их широк — от спасительных (он позволяет широко допустить личную инициативу) до губельных (позволяет и ничего не допустить). Документ этот несет на себе отпечаток незавершенной борьбы и камуфляжного компромисса разных групп и тенденций. Мне кажется, что от ее исхода зависит не только характер политики, но и судьба страны.

И необходим какой-то необычайно сильный нравственный стимул. Но стимул не обманной. Савонароловские порывы секретаря МК Б. Ельцина могут даже импортировать кому-то (я почему-то думаю, что он хороший человек), но веры в результативность своего труда они никому не прибавят. А на войне с завмагами далеко не уедешь — только еще больше разладишь снабжение и обслуживание. Необходимо не штурмовать небо (достаточно этим занимались), а, помня при этом Бога, по-земному заняться своими земными делами. Ибо нравственность должна проявиться прежде всего в отношении к ним. Го-

сударство было безнравственным прежде всего по отношению к труду людей. Если это изменится, люди постепенно начнут верить и работать. И даже будут снова способны на жертвы. Слишком частая, бессовестная и бессмысленная эксплуатация этой способности постепенно привела к почти полной ее атрофии.

Абстрактные же разговоры о нравственности, безусловно, тоже необходимы и важны, но ограничиваться ими нельзя. Сами по себе они слишком мало к чему обязывают и поэтому слишком многих устраивают. Чтобы сдвинуть дело с мертвой точки, надо, однако, преодолеть болезнь воли, неверие в нужность своих движений. Неверие, воспитанное не только террором, но и воспоминанием о том, к чему однажды некий порыв воли нас уже привел.

Воля — тоже нравственная категория. В воссоздании и воскрешении ее русская литература свою роль сыграла и продолжает играть. Она поддерживает жизнь, мысль, надежду. Но боюсь, что для того, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки, этого уже недостаточно. Нужно еще что-то — более земное. И разумное, действенное, даже административное. А что касается небесного — нужно много верующих и мудрых священников. Но это нужно всегда.

О государстве

Название этой статьи намекает на аспект научный и философский. Но вряд ли, прочитав ее, кто-то заподозрит меня в претензии примерять на себя лавры Платона или кого-либо другого из великих мыслителей. Я не могу сказать тут никакого нового слова, — я ведь и старые не все знаю. Меня, скорее, могут заподозрить в том, что я ломлюсь в открытую дверь, стараюсь внушить очевидное...

Что ж этим я отчасти и собираюсь заняться. Мне действительно показалось сегодня важным напомнить себе и другим, что государство — ценность, выработанная культурой и историей, необходимо и нам, и что поэтому и к нему следует относиться серьезней и бережней, чем мы привыкли на своих *table talk*. Эта очевидность, конечно, почти всеми принимается, но при этом любые соображения об интересах государства у многих вызывают подозрительность и даже враждебность.

Не буду отрицать, что психологические основания для такого отношения к самому понятию «государство» объясняются нашим горьким опытом жизни в тоталитарном государстве. Это государство занимало так много места в нашей жизни. Оно распоряжалось нашими судьбами и самой истиной: знало, как лучше пахать и строить, лить металл и писать книги. Государство оформляло свои «знания» в непреклонные приказы, но никак не отвечало за то,

что из них получалось — за это отвечали те, кто не мог их ослушаться. И естественно при таком характере оно следило за разработками и за мыслями, физически подавляя всякую возможность возражения. В иные годы даже превентивно. Его интересы, даже ложные, во всех случаях считались неизмеримо более важными, чем самые жизненные интересы любого из нас — в конце концов, как известно, оно завело, точнее, загнало себя и нас в тупик.

Правда, в чем-то государство и облегчило жизнь. Например, тот, кому долго не давали квартиры или плохо снабжали продуктами, получал возможность срывать зло: виноваты были (и на самом деле!) местные или центральные власти, но не он, — от него самого улучшение его собственного бытия (что и в других условиях нелегко, но там часто обвинять некого) обычно и впрямь не зависело. И привыкал человек во всем полагаться на государство. Надежно, но и не хлопотно.

Это и теперь еще не умерло. Мой старый друг, журналистка Нина Рогова, записала в очереди за мясом такой разговор:

- Попова повесить надо!
- Зачем?
- Чтоб мясо было.
- А разве из-за этого появится мясо?
- Появится.
- А раз так, Вы не скажете, кого надо повесить, чтобы был сыр?

Не думаю, что ирония последнего вопроса убедила возмущенного «вешателя». Скорее, озадачила и рассердила. И беда тут отнюдь не в жестокосердии этого человека. Скорее всего, ее просто не было, и реально вешать он никогда бы не стал. Просто сработал ставший привычным за семьдесят с лишком лет внушенный властью психологический стереотип, выражающий отношение власти к цене человеческой жизни, риторика типа: «Его за это расстрелять мало!». Но наш «вешатель» скорей всего этой риторикой и ограничивался. Беда тут не в жестокосердии, а в

вере в то, что если заменить Попова человеком более подходящим (вопрос — по каким качествам — не встает и кажется ясным), все где-то решится само собой. Самим государством. Разумеется, в таком наивном «государственничестве» таится огромная опасность. На нем основана и жажда «твердой руки», которая никому, в том числе жаждущим этой «руки», ничего хорошего не даст. «Твердая рука» в наших условиях может только расправиться с теми, кто ее раздражает, твердо пообещать всем остальным все, чего люди ждут (как сделал пресловутый ГКЧП), а потом, как это бывало всегда при господстве «твердой руки», изымать из жизни всех, кто станет требовать исполнения обещания. Впрочем, сегодня и это проблематично — скорее, она просто прольет кровь и увеличит хаос. Ибо «дать» эта рука ничего не сможет кроме возможности уповать на себя и поругивать себя исподтишка. Ибо блага все же производит не государство. И пока большая часть народа не получит возможности и не начнет рассчитывать в устройстве своей жизни на самих себя (а для этого все есть — и голова, и руки, и даже, как ни странно, еще энергия) — ничего не будет. Но переход этот, переход к нормальной жизни, для всех нас, кто от нее отвык — необычайно труден. Тем более, когда в перспективе — не земной рай, не нечто идеальное, а обыкновенная, грешная, нормальная жизнь. Конечно, эта жизнь не стоит на месте, конечно, люди стараются благоустроить ее, сгладить противоречия, но эта перспектива для очень многих гораздо менее привлекательна, чем окончательный земной рай впереди. Несмотря на то, что они на собственном опыте не раз убеждались, что, чем больше приближаешься к этому раю, тем сильнее пахнет серой.

Правда, на практике все эти попытки достигнуть рая всегда во всех странах — даже в устойчиво-демократических, где они поэтому пока проваливаются, — требуют усиления роли государства. У нас такая попытка (включая сталинскую имитацию) провалилась не скоро, и роль государства стала невероятной, подавляющей...

Все это сегодня вызывает во многих, часто интеллигентных людях если не нигилистическое, то вполне равнодушное отношение к государству вообще, к самой необходимости его существования. Отношение приблизительно такое — пусть оно хоть провалится, лишь бы утвердились демократия и рынок. Конечно, так глупо и прямо никто своего отношения не формулирует даже в душе, я отчасти утрирую, но подсознательное их отношение — именно таково.

Иногда это оправдывают естественной реакцией на пережитое. Дескать, натерпелись от тоталитарного государства за столько лет, обожглись на молоке, вот и дуем на воду — презираем любое. Можно считать эту реакцию естественной (хотя я все равно думаю, что не для интеллектуала!), но реакция вообще не может быть оправданием ошибки, тем более — доказательством правоты. Ошибка все равно остается ошибкой, чем бы ни объяснялась, и гордиться ею, а тем более исходить из нее — нелепо. А если ее последствия опасны — то ведь и преступно. Не в каком-либо абстрактном смысле, а просто перед собственными детьми, перед всеми окружающими.

Все мы, конечно, за демократию. Но дело в том, что демократия, простите за банальность, может существовать только в демократическом государстве. Просто потому что она — одна из форм государственности. Личная свобода может существовать только тогда, когда охраняется законами и силой свободного государства. Следовательно, для существования демократии и свободы необходимо государство. Но в свою очередь и существование государства кое-чего требует. Прежде всего, оправданности в глазах народа. Любое государство существует, прежде всего, для охраны безопасности, достоинства и имущества граждан — проще говоря, порядка. Если оно не выполняет этой основной своей функции, все остальные его качества и намерения теряют всякое или почти всякое значение. Широкие массы населения могут предпочесть ему любое другое, даже фашистское. Как показывает

практика XX века, человек отдаст любую свободу за свободу без опаски ходить по улицам. Этим можно (хотя, по моему, это и неразумно) романтически возмущаться, но игнорировать нельзя. Разумеется, он попадает впросак, но виноват в этом его выборе не только он — улица должна контролироваться государственной полицией, а не своеволием уголовников и хулиганов.

Конечно, для того чтобы выполнить эти свои естественные функции, демократическое государство должно быть достаточно сильным. *И если мы не хотим толкать людей в объятия нацизма или чего-то подобного, мы должны укрепить, сделать сильным демократическое государство, а не иронизировать над естественным стремлением «обывателя» к порядку и покою.* Тем более что гордыня тут необоснованна — в подобных вещах самый высокий и глубокий мыслитель, самая поэтическая личность нуждаются не меньше, чем «обыватель». Минимальный порядок в жизни необходим хотя бы для того, чтобы человек был уверен, что ни с ним, ни с его дочерью, если кто-либо из них вышел зачем-то из дома в любой час дня и ночи, ничего нежелательного не случится — сходит, куда захочет, и вернется. Или, если откроет мастерскую или торговлишку какую или там свиноферму заведет, то никто не сможет безнаказанно его ограбить или, тем более, явиться к нему в дом для рэкета. И уж конечно, чтобы человек тысячу раз подумал перед тем, как утолить свое «чувство справедливости» путем поджога поставленной кем-то свинофермы.

Конечно, все согласны, что без этой уверенности нельзя. И справедливо скажут, что все эти «права человека» должен защищать Закон, но как-то упускают, что закон и принимается, и соблюдается государством. И если государство фикция, то и Закон тоже. Никаким перениманием западных форм если не судопроизводства, то некритически усвоенного и к тому же отнюдь не безупречного с общественной точки зрения поведения тамошнего адвокатского сословия, привлекающего некоторых на-

ших особо передовых и действительно честных адвокатов, этого не достигнешь. Нужна сила государства. Причем, не абстрактно прекрасного, а могущего выполнять свои функции при нынешнем состоянии общества. Руководствоваться тем, что я называю «комплексом Вестминстерского аббатства», другим словами, требовать немедленного следования нормам британского права, нам пока не по средствам. Смешно было после провала ГКЧП видеть на телеэкранах журналистов, «аристократически» ужасавшихся тому, что был приостановлен выход газет, поддерживавших путч. Дескать, нельзя нарушать свободу слова — демократия должна быть великодушной! Все так, только за чей счет будет это великодушие? Голосу таких свободолюбцев вяли и сегодня почти все эти издания (кажется, кроме «Правды» и «Труда») и занимаются подрывной деятельностью против свободы. Нет, не выражением своих взглядов, а именно подрывной деятельностью. Использованием ситуации, которую создали те, чью тоску по своей абсолютной власти они выражают, и неизбежные ошибки демократической власти в преодолении этой ситуации. Я отнюдь не в восторге от политики сегодняшнего правительства, я даже не понимаю, почему отпуск цен на государственные товары называется реформой, но перелом, который в 1980–1990 годы пережила и переживает страна, хоть и может оказаться трудно выносимым, необходим — иначе не выжить. А на этом фоне «коммунисты» (читай «КПССовцы»), скорбящие о народных страданиях — это нечто потустороннее. Ведь речь идет о разумных или неразумных попытках преодоления того, что натворили они. Но «потусторонность» эта вовсе не смешна, а опасна. Сталин часто выигрывал на своих же провалах. Вспомним «Головокружение от успехов». Он выиграл, но у кого? Кто расплачивался? И какой ценой?

К сожалению, не все расплачивающиеся (их дети и внуки) это сегодня помнят. Поневоле приходят на ум где-то слышанные легкомысленные строки:

Кто дважды верил в комуниак —
В четвертой степени дурак.

Вероятно, они несправедливы, вероятно, не всякий, кто дает себя одурачить — дурак, но позволять это делать людям, которые заведомо этим занимаются, в то время как юридически они оказались вне закона — на том основании, что так делают в Англии, — в наших условиях безответственно.

В ответ на это обычно говорят: «Но ведь так можно далеко зайти». Могу ответить просто: «А вы не заходите».

1991–1992

Будни «тридцать седьмого года»

Передо мной в ксерокопии документ, очень важный для понимания нашей истории. Я его не открыл и не добыл хитроумным способом. Просто нашел в книге, которая доступна всем. Он — один из фрагментов, составляющих приложение к этой книге. Называется она — «МИНА ЗАМЕДЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ (Политический портрет КГБ)» и выпущена московским издательством РУСАРТ еще в 1992 году. Автор книги и, следовательно, первый публикатор этого документа — известная журналистка Евгения Альбац, написавшая много интересных и важных статей о «ЧК–ГБ». Некоторые из них в расширенном виде вошли в эту книгу. Но сейчас меня интересует только вышеназванная публикация.

Материал этот важный, а в том, что содержит его вторая часть — достаточно сенсационный. То, что многие подозревали, о чем догадывались, что глубокомысленно выводили из имевшихся у них фактов, — подтверждено теперь официальным документом — приказом — и служебной перепиской.

Да, если рассматривать этот документ только как еще одну улику против сталинщины — тут и говорить не о чем. Уличать лично товарища Сталина (а в том, что за приказом стоит Сталин, читатель вполне скоро убедится) в безграничном беззаконии и в государственном банди-

тизме — нелепо и скучно. Впрочем, даже если скучно, все равно надо: желающие этому не верить не перевелись до сих пор. Но я займусь другим.

Я попытаюсь прокомментировать этот приказ как документ эпохи. А это — необходимо. Прежде всего потому, что исчезает память. Эпоха, крайним выражением которой был этот приказ (вторая половина 30-х годов XX века), становится, ввиду своей ирреальности, непонятной (гораздо непонятней, чем 30-е годы XIX века) и поэтому как бы не существовавшей. Привычные термины — террор... жестокость... произвол — ставят ее в ряд обычных неприятных эпох. Дескать, прискорбно, но о чем тут говорить... Между тем, говорить есть о чем. Ибо эта ни на что не похожая, непредставимая и практически невыносимая эпоха не только существовала, но до сих пор держит нас в тисках.

Вот первая страница этого документа, точнее его обложка (видимо, на папке «Дела») и название. Привожу здесь — правда, графически сжато — все, что значит на этой странице, кроме инвентарных и архивных штампов и обозначений.

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО

Экз. № 1

ОПЕРАТИВНЫЙ ПРИКАЗ
НАРОДНОГО КОМИССАРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
СОЮЗА С.С.Р.
№ 00447

Об операции по репрессированию бывших кулаков,
уголовников и пр. антисоветских элементов

гор. МОСКВА
30 июля 1937 года

Мы по крупицам собирали свидетельства, доказательства, мучительно умозаключали, опять сомневались, опять убеждались... А тут это черным по белому, в приказе самого Ежова, во второй его части. Впрочем, и весь приказ посвящен «операции по репрессированию» — можно

было бы сказать, не вдаваясь в лингвистические тонкости: операции по массовому уголовному наказанию людей за несовершеннолетние, но, по абстрактным представлениям наказывающих, возможные деяния.

В этом смысле интересно заглянуть в часть III — **ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИИ**, которая начинается прямо с фрейдистской «оговорки» — «каждый арест оформляется ордером». Лучше про роль юридической формы в СССР не скажешь. В это время как раз принимается сталинская демократическая конституция, ни одного ареста без ордера и прокуратуры! Но народного комиссара внутренних дел это не беспокоит. Он, как видите, хорошо знает, что ордера не испрашиваются у прокуратуры, от которой формально зависит давать их или не давать, а именно оформляются по мере надобности его наркоматом. Приказ об этом говорит почти открыто. Ордера отнюдь не учитываются как лимитирующий фактор. Дело прокуратуры — поставлять вовремя ордера. Думаю, что поставляла она уже подписанные бланки — фамилию жертвы быстрее было вписать самим. В тех обстоятельствах это было даже разумнее. Юридический смысл тот же, а волокиты меньше. С волокитой у нас всегда любили бороться.

«Операцию», о которой говорит этот приказ, — велено начать 5 августа (через 6 дней, в некоторых местностях через 11 и 16) и закончить в четыре месяца. Это не первая волна таких репрессий в те годы, хотя по замыслу она несколько отлична от предыдущих. Но об этом потом. Начнем со II части приказа, как с наиболее сенсационной и существенной фактически.

Вот она с комментариями:

II. О МЕРАХ НАКАЗАНИЯ РЕПРЕССИРУЕМЫМ И КОЛИЧЕСТВЕ ПОДЛЕЖАЩИХ РЕПРЕССИЙ

Так в тексте — и «меры наказания репресслируемым», и «количество подлежащих репрессий». Остальной текст приказа тоже часто неловок, но такого элементарного несо-

гласования падежей в нем больше нет, что чрезмерно даже для этой пубрики — видимо, торопились, и не до того было, чтобы вычитывать. Возникает вопрос — куда было торопиться? Но он сродни многим другим естественным вопросам, и о нем после, когда речь пойдет о преамбуле и I части. Там же пойдет речь о «контингентах», подлежащих репрессированию. II часть, с которой мы начали, — сугубо деловая. И все определения ее следует воспринимать как данность.

1. Все репрессируемые кулаки, уголовники и др. антисоветские элементы разбиваются на две категории:

а) к первой категории относятся все наиболее активные из перечисленных выше элементов. Они подлежат немедленному аресту и, по рассмотрении их дел на тройках, — РАССТРЕЛУ;

б) ко второй категории относятся все остальные, менее активные, но все же враждебные из перечисленных выше элементов. Они подлежат аресту и заключению в лагерь на срок от 8 до 10 лет, а наиболее злостные и социально опасные из них, заключению на те же сроки в тюрьмы по определению тройки.

2. Согласно представленным учетным данным Наркома ми республиканских НКВД и начальниками краевых и областных управлений НКВД утвердить следующее количество подлежащих репрессии.

	Первая категория	Вторая категория	ВСЕГО
Азербайджанская ССР	1500	3750	5250
Дагестанская АССР	500	2500	3000
Московская область	5000	30000	35000
Омская область	1000	2500	3500

Это случайные, выбранные для примера строчки из списка-таблицы. Всего там значатся 64 административные единицы — автономные республики, края и области. Есть еще и последняя, 65-я единица:

Лагеря НКВД	10 000	—	10 000
-------------	--------	---	--------

На эту 65-ю строку следует обратить особое внимание. Из нее видно, что термин «репрессирование» по отношению к заключенным, уже находящимся в лагерях (о том, что «репрессирование» должно проводиться там, приказ говорит неоднократно), был синонимом термина «расстрел». 10 000 репрессируемых, и все по первой категории — на месте второй стоит прочерк. Проясняется несложная тайна массовых лагерных расстрелов (точнее отстрелов) — кашкетинских на Воркуте и гаранинских — на Колыме.

Общего количества репрессируемых в этой операции таблица не подсчитывает. Республиканским наркомам и начальникам местных управлений НКВД это было ни к чему, им бы каждому со своими справиться. Но я подсчитал и добавляю строку:

ВСЕГО	(1 кат.) 80 150	(2 кат.) 223 750
(в сумме) 303 900		

Вот так. Живет где-то почти 304 тысячи ничего не подозревающих человека, заняты своими делами, строят планы, а через несколько дней их безжалостно вырвут из жизни, оторвут от родных, любимых, дорогих, начнут предъявлять несусветные обвинения, заставляя невесть в чем сознаваться, — причем просто так. Ибо независимо от исхода допросов, 80 тысяч (26%) из них расстреляют, а остальных пошлют в лагеря по постановлению «троек», которым по логике документа приказано так постановить. Тем более, что председатели этих «троек» — получатели сего приказа, начальники местных управлений НКВД. Впрочем, эти впечатляющие цифры, как увидит читатель, далеко не полные. Дальнейшие параграфы содержат скрытые, но весьма широкие возможности для их перевыполнения, поощряющие лихорадочную самодеятельность в этом направлении начальников НКВД перепуганных не менее, чем жертвы... Но с другой стороны, это прямо запрещается текстом приказа. Пожалуйста — читаем дальше:

Однако наркомы республиканских НКВД и начальники краевых и областных управлений НКВД не имеют права самостоятельно их превышать. Какое бы то ни было самочинное увеличение цифр не допускается.

И вообще налицо стремление выглядеть пристойно — у нас не махновщина какая-нибудь, даже не беспредел «красного террора», а государственный порядок. «Лимиты» взяты не с потолка, а из учетных данных, представленных самими адресатами. А собственно, что это еще за «учетные данные», по которым можно репрессировать? Ведь не обвинение же — в чем-либо заподозренных и без того всегда сажали. Нет, были эти «данные» явно общие — социальные, биографические, анкетные — да еще и подогнанные. Ибо составлялись они людьми, знавшими, чего от них ждут, да в том состоянии, в котором они тогда могли быть среди той свистопляски «бдительности», которая бушевала в стране. И боюсь, что составление этих «данных» было наиболее серьезным следствием, которого удостоились репрессированные. На следующих этапах следствия истиной интересовались еще меньше. Такое и не было задано... Вот первая после этого сатанинского списка фраза:

3. Утвержденные цифры являются ориентировочными.

Вот тебе и «учетные» данные! Ориентировочные они, оказывается. Но делается попытка выдать это (не перед адресатами, а, как это ни фантастично, перед абстракцией — бумажным благоразумием) за крен в гуманную сторону. Как же — спущенные сверху лимиты на невинно арестованных превышать нельзя, а уменьшать вроде можно! Но дураков нет — куда ветер дует, все знают.

Да и приказ позаботится о том, чтобы быть понятным правильно, ему тоже себе дороже жертвовать сутью ради благообразия. И ошалевшие начальники тут же после этого строгого предупреждения обязывались

В случаях, когда обстановка будет требовать увеличения утвержденных цифр (а когда и где у нас была другая обстановка? — *Н.К.*) ...представлять мне соответствующие мотивированные ходатайства.

Оказывается, это называется ходатайствами (почти слезницами), и они должны быть мотивированными. Чем может мотивироваться гром среди ясного неба? Но гуманность как будто сразу не сдается.

Уменьшение цифр, а также перевод лиц, намеченных к репрессированию по первой категории — во вторую категорию, и наоборот — разрешается.

Да, разрешается. Но не думаю, что находились охотники воспользоваться разрешением уменьшить цифры или переводить из расстрельной категории. Ведь не первый раз такие приказы — знали, как их читать. Вот уж где — хоть об этом не говорится — потребовались бы мотивированные основания. Адресаты не раз имели возможность убедиться, что умение мотивировать такие поползновения тогда — в обстановке нагнетаемой истерии — ох как не поощрялось! Это ведь означало притупление бдительности, а то и пособничество. Те, кто был на это способен, до 30 июля 1937 года в «органах» не продержались...

А вот просьбы об увеличении этих «квот», как говорится, в деле имеются. Прежде чем сказать о них, придется на время отвлечься от части II приказа и заглянуть в следующую, уже упоминавшуюся часть III — **ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИИ**. Она содержит в числе прочих и такое, на первый взгляд, чисто административное распоряжение.

В первую очередь подвергаются репрессии контингенты, отнесенные к первой категории.

Контингенты, отнесенные ко второй категории, до особого на то распоряжения репрессии не подвергаются.

Нет, это не всплеск внезапной гуманности. Слова наркома тут же объясняются в том смысле, что если какой начальник с первой категорией уже покончил и считает возможным приступить ко второй,

он обязан, прежде чем к этой операции фактически приступить, — запросить мою санкцию и только после получения ее начать операцию.

Так что все в порядке — запросит и получит. Административные игры? Но в публикации, кроме приказа, есть еще четыре документа, три из которых мы сейчас приведем. Из них видно, что игры это совсем другие. Вот первый:

СТРОГО СЕКРЕТНО

(снятие копий воспрещается)

ШИФРОВКА

Из Махачкалы отправлена в 0-05 26.IX.1937 г. поступила в ЦК ВКП на расшифрование 26.IX.1937 г. в 9 ч. 20 м.

Вх. № 2063/III

МОСКВА, ЦК ВКП(б) т. СТАЛИНУ

Следствие органов НКВД показывает, что лимит для беглых кулаков и антисоветских элементов недостаточен, что выдвигает увеличить лимит по обеим категориям. Дагобком просит увеличить лимит первой категории вместо установленного ЦК ВКП(б) 10 июля с.г. 600 до 1200 и второй категории вместо 2478 до 3300.

Секретарь Дагобкома
Верно (подпись)

Самурский

Этот документ интересен еще и тем, что в нем попутно «засвечивается» (для тех, кто в этом сомневается) — ЦК ВКП(б). Разговор в шифровке от 26 сентября идет о цифрах, «установленных» не приказом по НКВД от 30 июля, а заседанием ЦК ВКП(б) 10 июля с.г. Кстати — «квоты», приводимые секретарем обкома Самурским, расходятся с цифрами в приказе. В приказе смертников 500, в шифровке — 600 (у ЦК на 100 больше!); заключен-

ных — в приказе 2500, в шифровке — 2478. Так что неведение ЦК — тогда это уже был псевдоним Сталина — исключается.

Хотя НКВД — как видно из текста этой «слезницы» — уже идол, которому следует поклоняться и секретарю обкома. Вот как предупредительно он ссылается на следствие органов НКВД, которое «показывает» и только на этом «веском» основании просит увеличить количество смертников вдвое, а заключенных на 822 человека (против квот ЦК). Эта демонстрируемая предупредительность сама по себе о многом говорит. Надо было показать «Москве», что я — ни-ни! — не против главенства НКВД. Наоборот, содействую. Но нас сейчас интересует другое. Из этой шифровки видно, что, так или иначе, в той обстановке «установочные цифры» легче было пересмотреть не в сторону уменьшения, а только увеличения.

Впрочем, в следующем документе это проявляется более прямо.

МЕМОРАНДУМ № 26212

Из Омска 13 августа 1937 года
НАРКОМУ ВНУДЕЛ — тов. ЕЖОВУ

По состоянию на 13 августа по Омской области первой категории арестовано 5444 человека, изъято оружия 1000 экземпляров. Прошу дать указание по моему письму № 365 относительно увеличения лимита первой категории до 8 тысяч человек.

13.VIII № 1962

ГОРБАЧ

Верно:

Нач. 1 Отд. Омск. У.В.Д.
Лейтенант Гос. безопасности
ПОДПИСЬ (Аленцев)

А слева на полях меморандума (вот какие слова уже употребляли некоторые энкаведисты во внутренней переписке!) красуется резолюция: «т. Ежову. За увеличение лимита с 1 (так в оригинале: цифра «1» — непропорционально-огромна — *Н.К.*) до 8 тысяч. И. Сталин». И так,

контрольные цифры — на основании учетных данных, а вместо 1000 можно запросто расстрелять 8000. До этого согласно приказу вместе с лагерниками всего намечалось репрессировать 3500 человек, а тут только под расстрел подводится 8000! По «ходатайству» энтузиастов. Вот как!

Публикуется еще одна, правда, опосредованная, резолюция вождя: «Дать дополнительно Красноярскому краю — 6600 человек лимита по первой категории. За И. С. — В. Мол.». Молотов, значит, подписал. За вождя. Но за него, как известно, против его желания не подпишешь! И если «за», значит, он «за» — поручил, не прячется. Он ведь вполне мог и Вячеслава заставить всё взять на себя — любил такую тактику. Но нет. Не заставил. Сам «дал» Красноярскому краю 6600 трупов — дополнительно к 1000 первоначального лимита. «Дал», а не «приказал» — значит, в ответ на «слезницу». Уважил.

Но речь пока не о Сталине. Я о том, что в свете рассказанного указание о том, что, покончив с первой категорией, к репрессированию второй впредь до специального доклада наркому и получения в ответ его санкции не приступать, получает иной, отнюдь не административный, а зловещий смысл. А.И. Солженицын в «Архипелаге ГУЛАГ» вспоминает, как опасно и страшно было тогда в зале, где произнесена здравица в честь Вождя, при обязательно разразившихся «бурных и несмолкаемых» аплодисментах, первым перестать хлопать в ладоши (хотя хлопали чаще всего искренне). Видимо, не менее опасно для этой ошалевшей публики было «самоуспокоенно и благодушно» доложить, что враги этой «наиболее опасной» категории уже все обезврежены. У других не обезврежены, а у тебя обезврежены? — надо к тебе присмотреться поближе. Дешевле (для шкуры энкаведиста) было проявлять рвение — выдвигать, как в первую пятилетку, всякие «встречные». Внутри этой адской машины тогда была своя «аура», наиболее густой экстракт того безумия, которое прививалось всей стране. Так что план 303 900 человек (из них 80 000 первой категории) был намного пе-

ревыполнен. И необходимость докладывать об исполнении первого этапа была отнюдь не единственным резервом этого «перевыполнения плана».

Такая «забота о “резервах”» проявляется в приказе и более прямо. Она отчетливо слышится и в пункте 1 части IV этого приказа — ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ СЛЕДСТВИЯ. Вот этот пункт:

1. На каждого арестованного или группу арестованных заводится следственное дело. Следствие проводится ускоренным и упрощенным порядком.

В процессе следствия должны быть выявлены все преступные связи арестованного.

«Следствие», которое проводится «ускоренным» и, главное, «упрощенным» порядком, — конечно, производит впечатление. Впрочем, после убийства Кирова такое открыто объявлялось и в печати. Но на что главным образом нацеливается это «ускоренное-упрощенное»? На выяснение вины? Это, конечно, требуется, но никого не беспокоит — она уже доказана самим фактом репрессированности. Нет, нацеливается она на выявление связей арестованного. Естественно, преступных, как и он сам. Ведь это приказывал человек, хорошо знавший, с какими преступниками имеет дело, другим, знавшим это еще лучше. Ясно, что речь шла об оговоре знакомых, другими словами, об обеспечении резерва.

Но вперед мы заглядывали только затем, чтобы точнее проявить смысл того, о чем я говорил раньше, и нам пора вернуться назад, ко II части. В ней дальше пойдет разговор еще об одном резерве — о семьях репрессируемых. Он начинается внешне невинной фразой:

Семьи осужденных по первой и второй категории, как правило, не репрессируются.

Наивный добрый человек может и обрадоваться — хоть семьи не репрессируются. Но радоваться он, как

мы увидим, будет зря. Да и сама эта фраза, если вчитаться и подумать, подозрительна. Хотя бы тем, что произнесена — о таком ведь и говорить не надо. На Руси, как мне помнится, после Ивана IV (если исключить династические причины) семей своих политических противников никто специально не преследовал и не трогал. Даже «классовый» «красный террор» жен прихватывал далеко не всегда — разве распущенное большевиками «революционное творчество масс» уж слишком разгуливалось. С чего ж объявлять? Но с другой стороны, семьи репрессированных не могли быть юридически более защищены от произвола, чем их главы (те ведь были не «осуждены», как здесь сказано, а «репрессированы» — Ежов тут не врет, просто понятия уже путаются). Ведь «чистосердечное признание» можно вырвать одинаково — как у главы семьи, так и у любого ее члена. Так что объявить вроде бы и не худо. Но под «гуманность» этой фразы между делом подведена мина — в виде вводного предложения — «как правило». И эта «мина» взрывается в следующей же фразе. Ибо правила предполагают исключения, а в них все и дело.

4. (...) Исключения составляют:

а) Семьи, члены которых способны к активным антисоветским действиям. Члены таких семей, с особого решения тройки, подлежат выдворению в лагера и трудпоселки.

Такое вот исключение. Трудно сказать, кого из членов этих семей нельзя репрессировать согласно этому «исключению». И ведь говорится даже не о наклонности вести борьбу — в этом главы семей «обвиняются» сами, — а только о способности ее вести. О какой, о физической? Неважно. Для репрессии достаточно начальственного подозрения. Это исключение «а» 4-го параграфа II части приказа № 00447 позволяет репрессировать кого угодно и дает солидную прибавку к намеченным 300 000 жертв.

Но есть еще «исключения» по пунктам «б» и «в»:

Семьи расстрелянных по первой категории должны быть выселены из приграничных районов, больших городов и курортных местностей.

Так что исключений хватает и средств, которые можно к ним применить, — тоже. Кто же на фоне таких исключений будет думать об уменьшении спущенных по «правилам» цифр?

А вот и красноречивое завершение этой части приказа.

5. Все семьи лиц, репрессированных по первой и второй категориям, взяты на учет и установить за ними систематическое наблюдение.

Зачем эта «игра в войну» с мирными людьми? Ведь какая ни туфта, а она денег стоила! На людей обрушивались бессмысленные и безжалостные удары, но сами-то они в массе своей были изначально мирные аполитичные люди, хотевшие одного — чтобы от них отстали. Слежка эта нужна была отнюдь не для раскрытия их тайных замыслов, а чтобы «продолжать борьбу». Жестокий этот спектакль играется как бы перед самими собой, но в нем в качестве марионеток используются (а часто по требованиям сюжета убиваются) живые люди, не имеющие никакого отношения к этому театру и этой драматургии.

Вообще ЧК–ГБ, как розыскная организация, как в точном смысле слова политическая полиция, никогда не стояла особенно высоко. Ее активность внутри страны была всегда гораздо менее эффективна, чем вне ее. Извне иногда раскрывали кое-что и внутри, через иностранных жуликов, а главным образом, через беспардонных идеалистов, работавших на нас, — так был раскрыт Пеньковский. Она всегда компенсировала себя возможностями «классовой борьбы» — произвола. Такой она была и до «ежовщины», когда она еще не лишилась квалифицированных кадров. А уж после «37-го»!.. Член руководящего круга НТС Георгий Сергеевич Околович,

ныне, к сожалению, уже покойный, рассказывал мне несколько лет назад, как в 1938 году (когда прославились зоркие пограничники и их собаки) он вдвоем с товарищем перешел советскую границу в районе знаменитой тогда станции Негорелое («граница на замке!»), используя польское «окно» (которое, надо полагать, поляки содержали не для НТС, а пользовались им и сами, как хотели), и прожил в СССР столько, сколько счел нужным. А когда товарищ заболел, они беспрепятственно ушли с ним той же дорогой назад. Причем «славные органы» были осведомлены об их пребывании в стране — сестра Околовича, которой тот, будучи в Питере, позвонил по телефону, в испуге сообщила о его появлении «куда надо». Но она не знала, под какой фамилией проживает ее брат в СССР, и это оказалось для «славных органов» непреодолимым препятствием. Это лишало их возможности объявить всесоюзный розыск (по всем паспортным столам милиции), а иных способов розыска, чем через паспортные столы, они, видимо, не знали. Еще бы! Они привыкли искать тех, кто не прячется. И пограничники были им под стать — ловили на границах только тех, кто в ужасе бежит, не разбирая дороги. И все ухищрения — древесные завалы — были обращены против беглецов, а не против пришельцев. Впрочем, для Околовича и его больного товарища эти завалы и на обратном пути тоже не оказались большим препятствием. «Были способы», — скромно объяснил он. «Органы» иметь дело с противником, действовавшим своими «способами», разработавшим свои меры предосторожности, — не умели. Они были институцией репрессий, а не розыска. Тут их квалификация, если тут требуется квалификация, была неоспоримой.

До сих пор мы говорили только о механизме репрессий тех лет. О том, чем в сущности эта «операция» не отличается от предыдущих. Но сейчас надо сказать о том, чем она от других отлична. Собственно это видно уже из названия приказа.

Между тем, скажу, забегая вперед, эта «операция по репрессированию», в отличие от предыдущих (в 1935–1937 гг.), направлена не против «троцкистско-бухаринских шпионов, диверсантов и убийц» или всяких «двурушников» — их «охвостья», а против «бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов» — другими словами, против людей беспартийных, аполитичных, против всех.

Проясняется ее суть сразу — при чтении преамбулы и I части приказа № 00447, названной кратко и выразительно: 1. КОНТИНГЕНТЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ РЕПРЕССИИ, — которые мы пропустили. Определения его преамбулы намеренно расплывчаты. В сущности, I часть — тавтология преамбулы. Просто те, о ком в преамбуле говорится, что насчет них что-то «установлено», здесь именуются «контингентами», которые «подлежат». А кроме того, в ней есть некоторые частные уточнения, из коих существенные будут отмечены.

А пока — преамбула. Начиналась она с такой полуфразы:

Материалами следствия по делам антисоветских группировок устанавливается, что...

Намеренно обрываю цитату и хочу обратить внимание читателя на то, что сама эта полуфраза — фрагмент того бредового и кровавого спектакля, который шел тогда на столь громадной сцене, какой была вся территория СССР. Проглотив эту фразу (а она в таком виде вполне могла появиться и в газете), мы оказываемся внутри этого бреда, обретающего как бы черты реальности. Ведь о раскрытии антисоветских организаций газеты трубят каждый день. И установить в процессе следствия что-нибудь еще вроде бы вполне возможно. Но фантазмагория состояла в том, что этот приказ был обращен как раз к тем, кто, собственно, все это и «устанавливал», и кому истинность этих установлений была хорошо известна — даже

самым тупоголовым из них. Но важно, что именно сейчас установлено. А установлено сейчас, что

...в деревнях осело большое количество бывших кулаков, ранее репрессированных, скрывшихся от репрессий, бежавших из лагерей, ссылок и трудпоселков.

Собственно то, что в описываемый период репрессии никогда не ограничивались одними партийцами, знает любой, кто «сидел» при Сталине. Осенью 1948 года одним этапом со мной прибыли в ссылку человек 30–40, в основном «набора 1937 года», — отсидевшие свои «десятки», потом немного сверх того «до особого распоряжения», а теперь отправленные «навечно» в ссылку. Среди них человека три были раньше низовыми функционерами, которые свое «высокое» прошлое отнюдь не выпячивали, ибо среди остальных — самого разного, в основном простого люда — оно не котировалось. Потом прибыло еще этапов восемь, соотношение если и менялось, то не в пользу партийцев. Среди всех был только один «верующий коммунист», бывший полковой комиссар. Конечно, часть партийцев в лагерях и тюрьмах была расстреляна, но никак не большинство. Это не совсем соответствует псевдопатриотической схеме сталинских репрессий, но для нас, послесталинских «реабилитантов», тут ничего нового нет.

Прочитав о том, что уголовники здесь связаны с «бывшими кулаками», посвященный читатель горько улыбнется. Дескать, власть проговорилась. «Кадры» уголовников тогда в значительной мере составляли дети раскулаченных. В детстве потеряв дом и семью (а заодно веру в закон и справедливость), они были подхвачены «шпаной» — блатным товариществом. Но вдохновитель «операции» объединил их не поэтому. Вечная забота его была о том, чтобы спутать в умах людей — в том числе, и в умах уже и без того порядком обезумевших «энкаведистов» — все представления о реальности. В данном случае,

чтобы содействовать — соответствием общей какофонии — стиранию всяких различий между политическими и уголовными. Действовало обычное сталинское «остроумие». Дескать, какие же они политические, если все, кто не с нами, — диверсанты, убийцы, вредители и их пособники. К ним надо относиться, как к бандитам. А с другой стороны, и уголовных можно было при случае не признать таковыми. Ибо всякий, кто нарушает социалистический порядок, — вредит делу социализма, а значит — враг. Следовательно, с ним и следует быть беспощадными, как с врагом. В лагерях в это время специальные комиссии в общем списке с бандитами-рецидивистами расстреливали оппозиционеров. Объявлялось: за бандитизм, за антисоветскую деятельность и тому подобное — в том же перечне. А что удивительного? Под обвинение, не имевшее юридического смысла, можно подвести, что угодно и даже ничего не подводить — его можно использовать, как жупел.

Но вдуваемся снова в логический смысл этого приказа. Забудем на минуту конкретный смысл, забудем, что «кулаки» — это лучшие крестьяне, которых неизвестно за что выгнали с семьями из их изб и выслали неизвестно куда — в основном, мучиться и погибать. Забудем, что бежали они, чтобы жить и работать — правда, в основном, не в деревнях, а на стройках и в промышленности, где тоже показали себя ценными работниками. Поверим, что бежать из такой ссылки и «осесть» — преступно и безнравственно (хотя преступники не они, а государство). Но спросим себя просто — что значит «ранее репрессированные»? Или «скрывшиеся от репрессий»? Ведь это не от суда, не от обвинения, а неизвестно от чего — под репрессию вообще можно подогнать любого, а уж под несостоящуюся!.. Но дальше, уже в I части, эти «скрывшиеся от репрессий» дополняются еще одним «контингентом» — «скрывшимися от раскулачивания». С тем же дополнением — «которые ведут (а не «продолжают вести» — *Н.К.*) антисоветскую деятельность». Впрочем, такое в различных модификациях говорится почти обо всех. В другом

месте (той же I части приказа) сказано еще наглее, что репрессированию подлежат все бывшие кулаки, вернувшиеся после отбытия наказания. Вот так. Правда, для порядка тут тоже добавлено: и продолжающие вести активную антисоветскую подрывную деятельность. Вполне логично для врагов: вели раньше, потом за это были наказаны, теперь вернулись и продолжают. Но это ведь крестьяне! — откуда у них такая массовая политическая завзятость? Ничего этого, кроме наказания, конечно не было. А если бы было, не было бы ни Ежова, ни Сталина, ни порядка вещей, их допустившего.

Но даже если не соотносить с реальностью и поверить в «деятельность», то как забыть, что она должна была состоять в уголовно наказуемых деяниях, за которые отдают под суд? Тем более, при «учетных данных» — чего же было дожидаться указанной «операции»? Не получается. Но камуфляж, на первое время, неплохой — дескать, репресслируем не всех вернувшихся, а только «продолжающих».

Но вдумайтесь в язык этого приказа. Смотрите, как при всей своей глухоте и часто косноязычии эта власть обращается с языком, как превращает в нечто зловеще-сакраментальное обыкновенный глагол — «осесть». Будто так уже это криминально и злоумышленно — осесть, начать вить гнездо, работать. Вроде все эти гады не поселились, как люди (что невозможно, поскольку они из списка людей нелюдями исключены), а каким-то подлым образом — «осели». С одной стороны, это слово тут звучит брезгливо — оседает грязь. С другой, грозно — оно приобретает смысл, похожий на «засело», «окопалось». Засели, и вот-вот откроют огонь, надо предупредить. Механизм травли был разработан задолго до этого.

Однако имели наглость «осесть» (и это тоже «установлено») не только «бывшие кулаки».

Осело много в прошлом репрессированных церковников и сектантов, бывших активных участников антисоветских вооруженных выступлений. Остались почти не-

тронутыми в деревне значительные кадры антисоветских политических партий (эсеров, грузмеков, дашнаков, мусаватистов, иттихадистов и др.), а также кадры бывших участников бандитских восстаний, белых, карателей, репатриантов и т.п.

Все перемешано, и все одинаковы — священники и каратели, белые и дашнаки, повстанцы и репатрианты, сектанты и эсеры. Почему-то из русских партий в деревне «осели» они одни, эсдекам России (в отличие от Грузии, где они «грузмеки»), по-видимому, полагалось «оседать» только в городах. При помощи привычных до этого в политическом обиходе слов, в которых заглушается их смысл, на наших глазах убивается сама память об этом обиходе. Во всех. Даже в ближайших исполнителях.

Так удивляться ли тому, что здесь возникают некоторые загадки? Какая, например, разница между «антисоветским вооруженным выступлением» и «бандитскими восстаниями»? Ведь слово «бандитское» в применении к восстанию — не определение, а ругательство, и как раз по поводу «антисоветских вооруженных выступлений». Бандиты, как известно, восстаниями не занимаются. Видимо, это просто риторическое излишество для еще большего раскошегаривания низовых работников. Кстати, если имеется в виду именно этот контингент (или бывшие белые), то ведь потому они и смогли «осесть», что сдались советской власти на честное слово — кто мог знать наперед, что такого слова у этой власти нет и никогда не будет. Ну а что касается священников, то они по логике приказа виноваты по определению — про них даже не говорится, что они «продолжающие». Репрессировать их предлагается просто за то, что они, отбыв наказание, не подошли, а «осели». Особенно любопытна тревога по поводу осевших (таинственно, что ли?) репатриантов. Между тем, они вернулись домой с разрешения власти, ни в чем дурном замечены не были (а то бы их без репрессий «замели»), и вдруг оказалось, что они живут по недосмотру. Его-то вроде теперь и приказывалось компенсировать ре-

прессиями. Но преамбула на этом не кончается. Следует немаловажная оговорка:

Часть перечисленных выше элементов, уйдя из деревни в города, проникли на предприятия промышленности, транспорта и на строительства.

Часть эта объявляется вдруг как бы в развитие предшествующей мысли. Но для тех, кому был адресован приказ, это было весьма важным дополнением. Оно позволяло находить упомянутых врагов не только в деревне, но и в городе. Иначе бы им не заполнить контрольных цифр, а это бы означало пособничество. И то, что эти «элементы» не только оседают в деревне, но и «проникают» в города, для них спасение. Не потому ли затем в I части в список «подлежащих» вклинивается и новая группа — бывшие чиновники? Круг широкий — хватай и не печалься. НКВД нужен фронт работ. Конечно, и деревню не оставили в покое. Среди людей «набора 37-го», прибывших в ссылку одним со мной этапом, о котором я уже тут упоминал, были и простые мужики, арестованные в деревне. И было их немало.

Помню я и своего тамошнего соседа, вовсе не ссыльного, а местного жителя, сибиряка. Человек вполне достойный, профессиональный охотник, но и политически, и всяко малограмотный, он был в 37-м арестован как бывший колчаковский офицер. «Догадались», что это нелепость, лишь когда при смене Ежова Берией начался показатель «реабилитанс» — к счастью, мужик этот тогда еще не был осужден, и его отпустили. Но в целом к репрессиям в деревне наркомвнудел был хуже подготовлен. Раскулачивание было явлением иного порядка и иного времени — оно было открытым, чуть ли не военным нападением государства на крестьян, и его акты почти не требовали даже подобия юридического оформления. Теперь это подобие требовалось. В том и отличие репрессий от, допустим, акций «красного террора», что судьбы людей

решались хоть и «ускоренно-упрощенно», но обязательно с имитацией юридического оформления. Между тем, все, кого по существу или с далеким приближением можно было бы отнести к перечисленным элементам, «осадали» отнюдь не в деревне. Так что без «помощи» города было не обойтись.

Следующий абзац приказа напоминает о том, что уже было в названии:

В деревне и в городе до сих пор еще гнездятся значительные кадры — уголовных преступников — скотоконократов, воров-рецидивистов, грабителей и др., отбывавших наказание, бежавших из мест заключения и скрывающихся от репрессий.

Тут уж волей-неволей пришлось отмечать, что «и в городе». Эсера или колчаковца найти или «создать» в деревне с грехом пополам еще можно, а представить вора-рецидивиста, «гнездящегося» в деревне, наверно, и тогда было невозможно. А без воров-рецидивистов — не та декорация!

После сообщения обо всех этих «установленных» и — с непонятной точки зрения — «прискорбных» фактах (что осели и гнездятся) объясняется, почему они прискорбны.

Как установлено (это тоже «установлено» — *Н.К.*), все эти антисоветские элементы являются главными зачинщиками антисоветских и диверсионных выступлений как в колхозах и совхозах, так и на транспорте, и в некоторых областях промышленности.

Обычно таким способом валили на «врагов» вину за реальные неудачи «социалистического строительства», но тут и этого нет. Эти несчастные «элементы» — зачинщики того, чего никогда не было (и за что, если бы такое случилось, их бы без всяких репрессий судили и расстреляли).

I часть, в основном, «уточняет» (значит расширяет) заданное преамбулой. Контингентом, подлежащим ре-

прессированию, кроме снова все упомянутых бывших кулаков, оказываются еще по тем же соображениям

...и социально-опасные элементы, состоявшие в повстанческих, фашистских, террористических и бандитских формированиях (и, конечно, опять же без различия — *Н.К.*), отбывшие наказание, скрывшиеся от репрессий или бежавшие из мест заключения...

«Бывшие кулаки» здесь для красоты слога и разгона. А вот упоминание о «социально-опасных элементах» — требует внимания. Это гениальное изобретение советской юстиции не должно быть забыто. В те времена эта статья была «буквенной» (СОЭ), в мое — она называлась «7-35». Что это значило? Это сплав из двух статей, относящихся к «Общей части» УК РСФСР, то есть к его предисловию. Статья 7 декларирует, что преследуемы могут быть и «лица, не совершившие преступления». Да, если по своим связям, прошлой деятельности и каким-либо другим (следовательно, любым) причинам они могут представлять опасность для социалистического государства. А статья 35 была просто перечислением всех санкций, применяемых Уголовным Кодексом. Это означало, что к любому из «обвиненных» по статье 7 может быть применена любая из санкций, перечисленных в статье 35, то есть вообще любая санкция. В сущности, эта сборная статья была формулой репрессий как таковых, хотя чаще всего репрессии обходились без нее. А в мое время замена этой статьей знаменитой статьи 58-й даже означала смягчение — замену ГУЛАГа ссылкой. Но во времена этого приказа «банальную» лагерную десятку она обеспечивала легко, а теоретически по ней не исключен был и расстрел (но таких случаев я не знаю)...

Впрочем, остальное тут не лучше. Откуда вдруг в СССР лица, состоявшие в фашистских формированиях, если самих таких формирований никогда не было? Из Италии, что ли, подоспели как раз к репрессиям для их

удобства? Что значит террористические формирования? Но смысл слов здесь не очень важен. Важна их окраска. Она создает общий неблагоприятный фон, якобы требующий срочных ответных мер. Без него такой приказ существовать не может.

Относится к подлежащему репрессии и следующий контингент:

Изобличенные следствием и проверенными агентурными материалами наиболее враждебные и активные участники ликвидируемых сейчас казачье-белогвардейских повстанческих организаций.

Об этом в общих чертах уже было. Перед нами какая-то мутная тавтология с вариантами. Господи, какие казачье-белогвардейские повстанцы в 1937 году? Но нет сомнения, что раз о них зашла речь, то они будут. Правда, их будут не ликвидировать, а наоборот, создавать — под пытками на допросах в лубяньских и сходных кабинетах. Но они — будут. Ибо есть решение пошерстить и казаков — очередной раз. Но тут ничего удивительного — мало ли что там создавали таким способом и до, и после этого. Следует обратить внимание на саму словесность. Лица, «изобличенные следствием и проверенными агентурными материалами», да к тому же еще «ликвидируемые сейчас», тоже отнесены к контингенту, подлежащему репрессированию, а не суду, — и это никого не удивляет: ни автора приказа, ни адресатов. Не удивило бы тогда и многих других, к делу не причастных, но читавших газеты и слушавших радио. Многие находились во власти такой декламации.

Репрессированию, согласно различным пунктам приказа, подлежат, оказывается, и «элементы этих контингентов, находящиеся в данный момент под следствием или в ожидании суда в тюрьмах, а также уже отбывающие наказание в лагерях». Можно было бы воскликнуть, как Твардовский: «что про что?», но мы уже знаем,

что в лагерях это значило расстрел. Дальше голос наркома обретает металл.

Перед органами государственной безопасности стоит задача — самым беспощадным образом разгромить всю эту банду антисоветских элементов, защитить трудящийся советский народ от их контрреволюционных происков и, наконец, раз и навсегда покончить с их подлой подрывной работой против основ советского государства.

Как видно из следующего абзаца, «именно в связи с этим (видимо, с тем, что «установлено») и произносится «ПРИКАЗЫВАЮ». И приказывается в сроки, которые мы уже упоминали, начать означенную «операцию».

Важен для нас (и для автора) не этот абзац, а тот, что перед этим «ПРИКАЗЫВАЮ». Не зря же каждая строка в нем подчеркнута — в нем ставится задача.

Интересен в этом месте сам язык приказа. Обо всем говорится так, словно враг у ворот и готовится к штурму осажденной крепости. Он требует проявлять осторожность, организовывать специальные группы захвата, словно атака готовится не на мирные дома и квартиры, а на боевые партизанские караулы. Такую атмосферу создает и поддерживает этот приказ. Вместе с газетами и радио тех дней он подменяет в сознании людей реальность, в которой они живут, фантастическим бредом. И реальные, даже дикие и жестокие действия власти могут восприниматься (и часто воспринимаются) людьми в каком-то фантастическом свете, не вызывая должной реакции. Буйство бедного, болезненно-самолюбивого уязвленного сознания, лежащее в основе этих деяний и событий, начинает выглядеть таинственно, интересно и даже грандиозно.

И вместе с тем — более локально — в этом языке как бы оживала уже становившаяся анахронизмом романтическая чекистская легенда. Изначально ложная, она все же в сознании многих, да и самих чекистов, существовала. На нее как бы равнялись. На ней даже играли — вот тра-

диции, которым мы следуем, а вы... И этот стиль — стиль, выкованный в якобы тяжелых схватках с контрреволюцией, — вполне может почудиться за этими словами. А ведь пишет их один перепуганный насмерть человек другим не менее перепуганным. И всем им, хоть многие этого не осознают, а только чувствуют, сейчас не до легенд — им бы шкуру уберечь.

Смысл слов опять ничего не значит. Все эти случайные «элементы» (значит, не имеющие представления друг о друге люди) гением Сталина и под пером Ежова превратились в единую банду, от чьих происков и необходимо защитить народ и «основы советского государства». Но потом они опять перечисляются раздельно. Детская игра. Но только в нее играть и принимать ее всерьез обязаны все. А для десятков тысяч ничего не подозревающих людей она обернется неисчислимыми муками и гибелью. И все же забавно (сегодня!), что эти перепуганные вурдалаки, оказывается, еще и защитники чего-то от кого-то или кого-то от чего-то.

Многие абзацы этого приказа, как уже отмечалось, похожи на абзацы из газет того времени. Тогда массовые издания тоже не лимитировались логической связностью и обходились выкриканиями и заклинаниями. В сущности то же делает и формальный приказ. А кто вдумывается в слова заклинаний и выкриканий? Исполнителям же этого приказа эти заклинания говорили только о «накале борьбы», значит о том, что в случае если они уступят человечности, здравому смыслу и самоуважению, им не следует ждать для себя ничего хорошего.

Сами исполнители, разумеется, своей судьбы еще не знают. Тогда, к июлю 1937-го, смена энкаведистских «поколений», видимо, еще не завершилась. Старые кадры еще не вовсе исчезли, новые — в условиях патологической вакханалии — еще себя не осознали и не вовсе освоились. И, кроме того, есть все основания полагать, что и новы эти новые были еще не окончательно, что Сталин и ими собирался пожертвовать (как что-то узнавшими), и они это

предчувствовали. Поэтому, ко всем, кто создавал и кому адресован приказ 30 июля 1937 года, можно отнести определение «обезумевшие». Все это стоит за его формулами.

И понятно, из-за чего по его поводу не стоит спрашивать: «Зачем?». Смысла в приказе нет никакого, а последствия его — сколь угодно велики. Люди, которые потом, в годы войны, позволяли натаскивать себя на солдат и офицеров, убежавших из плена, которые преследовали их, подозревая во всех смертных грехах за то, что те остались живы, тоже прямо или опосредованно сформированы такими приказами.

Но это потом. А пока еще никто не знает своей судьбы. Даже самые главные. Вот 1-й пункт VII части этого приказа:

1. Общее руководство проведением операций возлагаю на моего заместителя — начальника главного управления государственной безопасности — комкора тов. ФРИНОВСКОГО. (ГБ—ГУГБ считалось тогда только главком в НКВД — *Н.К.*)

Неужто ничего не чувствовали? Например, тот же комкор Фриновский к 30 июля 1937 года уже должен был понимать, что он среди чекистов долгожитель и что к этому времени успел проводить большинство своих коллег и товарищей в лучший мир и в дальние лагеря. То, что, повернись иначе, любой из товарищей проделал бы то же самое с ним самим (одна школа!) — другая тема. Но что и его «долгожительству» может прийти конец, понимать он должен был. То же можно сказать и об авторе приказа 00447, его начальнике, наркоме тов. Ежове. Но что-то они чувствовали, в глубине их душ кошки наверняка скребли. Что ж!.. Тем больше рвения они проявляли, стремясь избежать неясной угрозы, висевшей в воздухе. Боялись. О чем сам Ежов сказал на заседании ЦК. Правда, Сталин ответил: «Ежов боялся!.. Смышно». Однако «смышно» не было. Любой из участников заседания мог оказаться (и некоторые потом оказались) в таком же «смышном» по-

ложении. Но сейчас эти двое вершат судьбы и по воле Вождя легко, хоть и секретно, в массовом порядке подводили под арест сотни тысяч людей, и это отвлекало, казалось могуществом. Но Вождь не любил быть благодарным и не любил свидетелей — через несколько месяцев им обоим предстояло быть арестованными и расстрелянными. Причем, Ежова перед этим еще хоть маленько секретно поразоблачали (на упомянутом чуть выше Пленуме ЦК), а комкор, надо полагать, исчез и без такой публичности. Но пока все звучно. «Возлагаю». «Приказываю».

Я не сочувствую этим двум нисколько — уж кто-кто, а эти точно свою судьбу заслужили. Но все равно такое их падение — ни об их устранении, ни об их вине никому ничего не сообщили — было не освобождением, а еще большим сгущением непонятной, запутанной и безвыходной фантазмагории. Таких случаев внезапного и необъяснимого вознесения на Олимп и такого же падения с него в небытие было тогда много. И все к этому привыкали. Привыкали к непонятному, привыкали не понимать. И удовольствоваться непониманием. И это было страшно. И это только утвердилось с приходом Берии в 1938 году, когда было разыграно очередное «Головокружение от успехов» — часть заключенных, в основном еще не осужденных и сидевших в тюрьмах, была реабилитирована и выпущена. Большинство репрессированных при этом продолжали сидеть, и ряды сидевших продолжали пополняться (например, аппаратом Наркомата иностранных дел), но, тем не менее, было блестяще продемонстрировано, что у нас «зря не сажают», «разбираются» и «невиноватых выпускают». И само собой выходило (особенно поначалу), что уж посаженных после этого «выпуска» замели не зря.

Вакханалия не кончалась, но приобретала «спокойные» стабильные формы, а это еще больше усиливало фантазмагорию.

Сталинщина не имела лица, но зато у нее было много личин. Она очень хорошо умеет обходить, разрушать,

подменять и заглушать логику и даже впечатления бытия, личный опыт... Надо учиться ее распознавать и ей сопротивляться. Серьезный анализ приказа Народного Комиссара Внутренних Дел СССР № 00447 от 30 июля 1937 года может способствовать этому. Этот год — 1937-й — БЫЛ! Он оставил глубокий след в нашем сознании и истории. Иной, чем всё, что было раньше. Ибо он уже был не просто преступным безумием идеологии, как «красный террор», и не имитацией этого буйства, как коллективизация, а сознательным насаждением безумия в чистом виде.

1991

А был ли Сталин-то?

Очерки о психологическом развитии советского большевизма

Предварительное замечание

Это работа вовсе не о Сталине, а о том, как развивалась психология большевизма, о том, чем родственны, а чем отличаются друг от друга различные «поколения» (это далеко не всегда связано с возрастом) его представителей.

Некоторые авторы — в эмиграции и в метрополии — ведут себя так, как будто иронический вопрос, вынесенный мной в заглавие этой работы, действительно имеет содержание, давно решен, и решен отрицательно, то есть никакого Сталина не было. Конечно, такие авторы не отрицают, что Сталин существовал и управлял страной, но считают — особенно после того, как бывший и настоящий гражданин СССР уяснил себе, что и Ленин ужасен, — что никакой особой роли он в истории не сыграл, что просто при нем механически продолжалось то, что началось при Ленине. С этим взглядом я решительно не согласен. Более того, я считаю его вредным для нашей страны, ибо современная Россия — Россия не послеленинская, а послесталинская. И преодолеть ей сейчас, чтобы выжить, придется наследие не Ленина, а Сталина. Ибо необратимые изменения в ее структуру и психологию внес все-таки он, хотя победу ему обеспечил Ленин и его последователи. Но отнюдь не для того, чтобы хоть в какой-то степени их

реабилитировать, начинаю я сейчас эту работу. Вся их жизнь в те годы, когда они были у власти, все их мысли, построенные на внутренних недомолвках и допущениях, лежащие в основе весьма активных действий, ни уважения, ни сочувствия, ни симпатии не вызывают. Тем более, что они навязывали это силой всем другим, которые до сих пор еще за это расплачиваются. Хотя вины на них, наверно, больше. Разобраться в этом трудно, но необходимо, ибо это наша история и наше настоящее.

Реликт «чистейшего» идейного большевизма

1. Выбор героя исследования

Даже Маркс еще говорил, что в революции играют колоссальную роль глупость и подлость, и сами большевики утверждали, что среди них много «примазавшихся». На этих примазавшихся иногда и сваливали наиболее впечатляющие эксцессы. Ибо сами большевики делали все возможное для того, чтобы «разбудить», привести в движение, а потом использовать этих «примазавшихся». Этих «примазавшихся»: ни братишек, ни кокаинистов — от большевистской революции не отдерешь. Однако не их психологию я хотел бы сейчас рассматривать.

Были среди большевиков и патологические фанатики типа небезызвестной Р. Землячки, кровожадно расстреливавшие людей тысячами, а потом следившие внимательно, чтоб их бывшим единомышленникам, как и другим заключенным, не жилось слишком комфортабельно в сталинских тюрьмах. (Известна ее претензия к врачам Института им. Сербского — она работала в Госконтроле, — что они превратили свой институт в санаторий.) Наконец, были среди большевиков и люди, колебавшиеся (или готовые колебаться, но их готовность не была должным образом оценена) вместе с линией партии — только бы не оторваться от власти и связанных с ней привилегий, — хотя в сознании это часто оформлялось тоже как фанатизм.

Коммунисты в силу многих причин не приучены отдавать себе ясный отчет в своих мыслях и в своей сущности — отказ от этой необходимости искусно закамуфлирован от них верностью воле партии. Такие люди довольно типичны для любого послереволюционного (а может, и дореволюционного тоже) состава большевистской партии. Исследование психологии такого человека не отвечает моей задаче, ибо всегда мне могут сказать, что я хватаюсь за середняка и игнорирую лучших. А именно в «лучших» сосредоточено то, на что я хочу возразить, и что в каком-то смысле противостояло сталинщине — хотя бы ее людям, хотя бы биографически, — несмотря на почти очевидную общность с ней в главном. Но «главное» — не всегда главное при оценке конкретной человеческой личности. Это противоречит официальному мнению большевиков, но никак не личному моему.

Женщина, речь о которой пойдет в статье, обладает, хотя она и остается большевичкой, многими личными положительными качествами. И, кроме того, она пронесла этот свой большевизм так и сквозь такое, что можно без преувеличения назвать ее героиней. Она сумела остаться самой собой там, где легко ломало самых сильных мужчин. При этом по натуре она была отнюдь не Фурией, а милой и обаятельной девушкой, вполне привлекательной. Это значит, что общественному горению она предавалась отнюдь не потому, что хотела компенсировать как-то свое женское начало. (А случалось и такое.) И все-таки...

Речь идет о Марии Михайловне Иоффе, жене видного троцкиста и личного друга Троцкого, председателя первой советской мирной делегации в Бресте Адольфа Абрамовича Иоффе (вопреки распространенному убеждению Иоффе был не сторонником, а противником Брестского мира). Впрочем, она и сама была видной троцкисткой, а также другом и доверенным лицом Троцкого, чем до сих пор гордится.

Ход истории, заставивший ее эмигрировать с бывшей родины мирового пролетариата на родину ее истори-

ческих предков, ни в чем ее не разубедил. Ведь о том, что Сталин не приведет революцию ни к чему хорошему, она и ее друзья предупреждали партию неоднократно, за что и пострадали. Поэтому с них, как говорится, взятки гладки. А то, что Сталин погубил не только революцию, — подробности. И вообще все это для нее — историческая случайность.

На самом деле исторической случайностью было то, что она дожила до сегодняшних дней. Таких, как она, Сталин уничтожал наиболее целенаправленно и абсолютно — в 37–38-м годах их помещали в лагеря не «истребительно-трудовые» (по точному выражению Солженицына), а просто истребительные («Серпантинка» на Колыме, «Кирпичный завод» в Воркуте), и там сознательно убивали холодом, голодом, а то и пулей. Сталин уничтожал их и как врагов, и как сознательных свидетелей революции, убивал, как вообще убивал память, — ибо реальная история была отменена.

Судьба была благосклонна к Марии Михайловне. Хотя ей и пришлось побывать в одном из таких истребительных лагерей, но она уцелела, выжила, а теперь даже вырвалась за границу и опубликовала мемуары, в которых полностью выразилась и высказалась. Последнее — не только ее удача, но и наша. Ибо в своих мемуарах она выступает человеком своей среды и своего времени, во всей их первозданности. Это в чистейшем виде реликт идейного большевизма. Она до сих пор верит в его правоту и потому говорит правду. Это очень удобно для изучения этого явления. Хотя и думаем, и воспринимаем все, что она рассказывает, мы совсем не так, как она. Ее мемуары почему-то изданы двумя частями. Первая часть — «Начало» — опубликована в № 19 и 20 журнала «Время и мы». Это рассказ о жизни мемуаристки до высылки Троцкого и ее ареста в 1928 году. Почему-то он дан в литературной записи, хотя М. М. — профессиональная журналистка. В эти годы Мария Михайловна жила полной жизнью, и они ей нравятся. Отдельные замечания о том, что теперь ей все ви-

дится иначе, воспринимаются как неорганичные вставки, сделанные позднее и под посторонним влиянием.

Вторая часть мемуаров называется «Одна ночь» и вышла отдельной книгой в нью-йоркском издательстве «Хроника-пресс». Тут дело обошлось без литературной записи. Рассказывает она о самом драматическом моменте своего пребывания в лагерях, в том числе, и в том самом истребительном лагере, о котором уже шла речь. На вторую часть мемуаров мы будем чаще всего опираться во второй части работы, посвященной сталинщине. Сейчас же нас интересует Мария Михайловна Иоффе как уцелевший представитель раннебольшевистской элиты — причем в обстоятельствах, которые она до сих пор считает для себя счастливыми.

2. Жила-была в Питере девушка...

Мария Михайловна, относясь к старой гвардии, все не была тем, что потом называлось «большевиком с дореволюционным партстажем». Впрочем, весьма многие старые большевики стали большевиками только в преддверии октябрьского переворота. Одни — из природной активности, другие — чтобы не отстать от развития революции (как почти все революционеры, они были заморожены историей Французской революции и знали, как некрасиво отставать), третьи — из карьеризма или авантюризма. Вообще деление на большевиков, меньшевиков, эсеров и анархистов не пронизывало российскую жизнь так остро, как жизнь российской политической богемы в эмиграции (и как позднейшие истории партии, написанные эмигрантами или перелицованные). Это разделение и заметили по-настоящему только после возвращения Ленина в Петроград. Тем легче перебежчикам записывалось в коммунистический партстаж их пребывание в других социалистических партиях. Так что нет ничего удивительного, что Мария Михайловна намекает — весьма неопределенно — на какие-то свои «определенные» связи с

партией и до вступления в нее. И это, наверно, правда. Она была еще очень молода, обаятельна, и такие «связи» были у нее с представителями всех оппозиционных партий, со всеми она разговаривала, всем симпатизировала. А в том кругу, где она потом вращалась, то есть в высоких партийных сферах, было как-то неудобно без дореволюционного стажа. Вот и домыслила, и поверила в свой домысел. Впрочем, ведь ни Троцкий, ни Иоффе, ни все люди «ее круга» не были, говоря по-современному, людьми с чистыми партийными анкетами.

Так что, судя по ее же воспоминаниям, до революции М. М. никакой партийной работой не занималась. Прежде всего — по молодости лет. Она просто кончила одну из лучших петербургских гимназий и поступила в учебное заведение — в Бехтеревский Психоневрологический институт. Обстановка, в которой она здесь оказалась, конечно, ни к какой определенности не располагала молодую, красивую, обаятельную девушку «с умственными интересами». Надо полагать, ее наперебой зазывали к себе все партии и группировки, которые во множестве расплодились в этом учебном заведении. Судя по тому, как М. М. рассказывает о месяцах, проведенных в институте (а буквально месяцы отделяли день ее прихода в институт от февральских событий), реагировала она на все это чисто по-женски, вернее, по-девичьи. Ее интересовали не столько программы, сколько люди — их яркость и увлеченность. По существу, ей нравились (и продолжают нравиться) — все. Вот как она сама вспоминает об этом: «Кого только среди нас не было — были бундовцы, социал-демократы, кадеты... — причем все идеалисты, готовые сложить головы на плаху за свое дело». Говоря это, Мария Михайловна абсолютно упускает, что долгое время принадлежала потом к элите той партии, которая многим из этих «идеалистов» помогла реализовать эту их горячую готовность «сложить голову» — предварительно оболгав их. Конечно, потом та же участь постигла и саму Марию Михайловну и всех ее друзей — тем не менее, разница

между оболгавшими и оболганными остается и должна бы (после всего, что ей открылось) жечь. Но Мария Михайловна ее даже не замечает.

«Это была особая эпоха и вышли из нее люди особого склада, — продолжает восхищаться она. — Почему так естественно, что я провела двадцать восемь лет в лагерях? Да потому что я человек из другого времени, человек культуры XIX века, культуры нашего института. Что могло быть общего у меня с теми, кто пытал меня и миллионы таких, как я, в подвалах Лубянки?».

Неприятно говорить это человеку, прошедшему двадцать восемь лет в лагерях, но кое-что общее с теми, кто ее пытал в подвалах Лубянки, у нее, как здесь уже отмечалось, — все-таки было. Ибо пытать в этих подвалах начали задолго до того, как там оказалась Мария Михайловна и ее товарищи. И пытали тоже в основном людей «культуры XIX века». Если не сразу эсеров и меньшевиков, то кадетов — довольно скоро. И совершенно не исключено, что некоторые из пытавших или расстреливавших (то есть отдававших приказы о проведении того и другого) иногда захаживали после занятий на огонек в высокоидейный и высококультурный дом Иоффе поговорить о сокровенных тайнах диалектики или о новостях современной культуры, культуры без шор. (Все они были большие западники и культуртрегеры, как все окружение Иоффе.) Во всяком случае, у Марии Михайловны и ее мужа не могло быть никаких принципиальных причин чураться людей, выполняющих столь трудный долг перед революцией. И вряд ли они чурались...

И все-таки в одном она права: все, кто ее окружал, на самом деле дети девятнадцатого века — в отличие от «сталинских соколов», которые шли им на смену. И с которыми общее у них было все-таки не всё. Только — как к этому веку ни относиться — все они блудные его дети.

Кстати, и для тех, кому необходимо лишний раз убедиться, что «все это сделал евреи», в этих мемуарах тоже есть пожива: всякого рода Мони и Товии Лазаревичи-

чи разбросаны в них, как грибы в лесу после дождя. Это, не говоря о том, что М. М. сама еврейка и одно время склонялась в институте даже к сионистам, а также о том, что евреями были ее муж Адольф Иоффе и их общий друг Лев Троцкий. Но нигде — вопреки новомодным толкованиям — никто из них не действует, как еврей в каких-то еврейских интересах. А в жизни и самоощущении М. М., несмотря на ее мимолетную склонность к сионизму, еврейский вопрос вообще не сыграл заметной роли. В революцию — уже происшедшую — ее толкнули отнюдь не притеснения (кстати говоря, на большевистский Олимп ее ввела женщина, которую звали Прасковья Ивановна).

Но это, конечно, не значит, что М. М. не сталкивалась с притеснениями или о них не знала. Знала. Не могла она не знать о существовании процентной нормы. Но в Бехтеревском институте ее не было. Правда, этот институт и не имел прав, то есть не мог выдавать дипломы. Но это только означало, что каждый закончивший этот институт должен был потом держать экзамен на врача в Университете. Только и всего. Правда, однажды Бехтереву сделали предложение — институт получит сейчас все права с тем, чтобы в дальнейшем в нем была введена процентная норма. Это означало, что все, кто в нем уже учился, получают облегченную по сравнению с прошлыми выпусками возможность стать врачами, но за счет будущих «поколений» студентов, среди которых евреев для выравнивания нормы несколько лет не было бы вообще. Бехтерев передал это предложение на суд студентов. Развернулись дискуссии, и предложение отклонили. Это было самым острым столкновением М. М. Иоффе с процентной нормой.

Столкнулась она и с чертой оседлости. Отец ее имел право жительства в Петрограде, которое распространялось и на нее, как на члена семьи. Когда же отец женился вторично, она решила забрать младшего брата и жить отдельно. Оказалось, что, если она уйдет из дому без отцовского разрешения, она автоматически лишается права на жительство в родном городе. (Ни одна ее сверстница ино-

го происхождения с такой ситуацией бы никогда не столкнулась.) Но все уладилось. Судя по всему, вторая женитьба отца произвела на М. М. более глубокое впечатление и врезалась глубже в память, чем черта оседлости, процентная норма и общее положение евреев в старой России: «Я так и не смогла простить отцу его вторую женитьбу, — вспоминает она через много лет, — и, возможно, именно она во многом определила мою будущую судьбу». Это означает, что ее толкнула в революцию не надежда на разрешение какого-либо конкретного и конечного вопроса (национального, аграрного и тому подобных), а надежда победить прозу жизни и исправить экзистенциальную испорченность бытия. В этом соблазн всякого подлинного революционерства.

Впрочем, ни причины, ни пути, приведшие М. М. к большевизму, из ее мемуаров не ясны. Неясно даже, когда именно стала она склоняться к этому боевому верочению. Окончательно это для нее оформилось, когда М. Вульф, в книгоиздательстве которого она работала, уволил ее за попытку организовать профсоюз, и они с младшим братом остались без средств к существованию. Она вышла из издательства и вдруг решила отложить все заботы на завтра и, имея в кармане всего шесть копеек, сходить на выступление Луначарского в Цирк-Модерн. Дальше события полетели стремительно. Выступление Луначарского (о празднествах Великой французской революции) ее потрясло, она написала об этом статью, передала ее в редакцию газеты «Рабочий путь» (одно из названий «Правды» в 1917 году), статья была с некоторыми сокращениями напечатана, а М. М. получила по почте открытку с приглашением зайти в редакцию к уже упоминавшейся Прасковье Ивановне. Ей была предложена работа в редакции, а тем самым, хотя об этом никто тогда не думал, и место в большевистской элите. Таков сюжет.

Он прост, но все-таки тут не все понятно. Непонятно, например, с чего вдруг молодую девушку потянуло слушать доклад про какие-то празднества? Мало ли тогда

самых разных митингов происходило в Петрограде! — почему был выбран именно этот? И потом — когда это было? В марте или в сентябре? Или тут сказались те «определенные» отношения с социал-демократами, о которых уже шла речь? М. М. намекает на то, что они были, и что даже вождь институтских большевиков Бухбиндер предложил ей вступить в партию. Но и тут непонятно, когда это было, и что она ему тогда ответила. Ясно только, что было это до 3 июля. Ибо после этой неудачной попытки переворота М. М. сама запросилась в партию. Вот как она об этом рассказывает: «Наступил июль. Убили Воинова. Я хочу что-то делать, но не знаю, как и что. В институте никого нет. С трудом разыскала Бухбиндера: “Куда ты к черту девался. Я хочу в партию, а тебя нигде нет”. — “Ну, давай пять!”. — Я дала ему пять и с обидой говорю: “Ну что теперь, когда уже все кончено, когда уже Воинова убили...” — “Кончено? — произнес он со своим обычным еврейским акцентом. — Еще только начинается...” ».

Из этого отрывка получается, что М. М. еще и до Цирка-Модерн и речи Луначарского была членом партии. Но не видно, чтобы она до поступления в «Рабочий путь» «что-то делала», хотя за этим шла в партию. И потом, тогда в ее посещении митинга и дальнейшем превращении нет ничего чудесного. Почему бы члену партии не пойти послушать одного из лидеров этой партии? Я никак не собираюсь ставить под сомнение подлинность партийного стажа Марии Михайловны, не мое это дело (по мне, и одного дня надо стыдиться). Просто мне кажется, что она и сама не помнит, чем, как и когда определился ее выбор, так много от нее потребовавший и имевший столь страшные последствия. Думаю, что в основе вдохновений, определивших ее выбор, лежало то чувство, которое она сама сформулировала так: «Казалось мне, что настоящая жизнь грохочет мимо меня, а моя жизнь совсем ничтожная». Желание «грохотать» вместе с сорвавшейся с цепи «настоящей жизнью» и боязнь отстать в своей ничтожности от ее грохота, боязнь ничтожества — вот что руково-

дило тогда многими молодыми людьми. Такое чувство всегда живет в определенной части молодежи, потом оно проходит. Но для близких ей по духу сверстников и для нее самой это «потом» так и не наступило: через несколько месяцев они уже заправляли делами огромной страны. Грохот в их душах роковым образом наложился на грохот времени. Они долгом чести считали вскочить в грохочущую под уклон вагонетку, и только единицы успели потом одуматься и вовремя выскочить из нее.

Так или иначе, но молодая студентка после успеха своей статьи в большевистской газете большевизмом увлеклась — хотя, может быть, не столько его идеологией, сколько напряженным динамизмом его тогдашнего быта и его деятелями, к которым получила доступ. Большевистскую логику она тоже старательно перенимала, но усвоила, как мне кажется, не до конца. Вот как не побольшевистски переживает она разрыв с левыми эсерами: «И еще на душе было кисло оттого, что рвем с левыми эсерами. С меньшевиками порвали, с интернационалистами порвали, остались одни левые эсеры». Скорбь ее понятна. Ведь это речь о тех «интересных людях», с которыми она училась и спорила в институте. Ей и теперь трудно от них отказаться, а теперь они все враги. Впрочем, большевики люди дела, а не слов и не чувств. А на том, что делала Мария Михайловна, эта ее «кислотность» никак не отражалась. А делала она, как увидит потом читатель, — многое. Еще бы! Ведь перед ней раскрывались захватывающие перспективы. Образованных, да и просто вполне грамотных людей у большевиков явно не хватало*, студентка Бехтеревского института, недавняя выпускница одной из лучших питерских гимназий, да еще знающая языки, во всяком случае, немецкий, да еще красивая, обаятельная и вдохновенная, — была нарасхват.

*Хотя по сочинению г-на Бернштама в «Вестнике РХД» получается, что вся русская интеллигенция, зараженная социализмом, относилась к большевикам если не просто благожелательно, то вполне терпимо.

Не успела она как следует утвердиться в газете «Рабочий путь», как выяснилось, что ей гораздо целесообразнее работать в Отделе печати Совнаркома, и ее забрали туда. Что она там делала — непонятно. По ее словам, ведала связью Советского правительства с иностранными корреспондентами. Вероятно, было и это. Кроме того, она продолжала записывать (начала еще в газете) речи вождей революции. Не всегда Ленина, чаще Луначарского, всегда — таков был его приказ — Троцкого, еще до того, как он познакомился с ней, и раньше, чем она познакомилась с его другом Адольфом Иоффе, — просто однажды ему понравилось, как она его записала. Но единственный поступок, совершенный Марией Михайловной на этом посту, о котором она рассказывает, — это арест журналиста, причем не иностранного, а русского — знаменитого Василевского-Не-Буквы. Факт этот сам по себе незначительный, ибо не имел последствий, даже смешной отчасти, но он довольно хорошо характеризует если не саму М. М., то общую обстановку, создаваемую большевиками, и их самих. Так что имеет смысл коснуться этого эпизода подробнее. Арестовала М. М. маститого журналиста сгоряча за то, что тот не хотел, несмотря на требования и угрозы, перестать ругать советское правительство (ведь она как-никак была представителем этого правительства). Сказано — сделано. Не-Буква был водворен в холодную комнату, в арестное помещение, оказавшееся в том же здании, что и Отдел печати. Так что большевистские интеллектуалы не гнушались работать рядом с большевистскими охранниками. Их это не смущало. Не знали они еще своей судьбы. И даже того, что через несколько недель они сами начнут кровожадно призывать к Красному террору и оправдывать расстрелы, производимые на основании записей в домовых книгах (по ним определялась соцпринадлежность), — они еще тоже не знали. И наука наук ничего про это не говорила, а если бы и говорила, они бы не услышали, они в ней искали и находили другое — то, что окрыляло.

Но времена еще были патриархальные и, арестовав человека, М. М. растерялась, не зная, что делать дальше. Старшие товарищи, к которым она обратилась за советом: Дзержинский, Радек — отнесли к происшествию с юмором: «Сама арестовала, сама и решай!». Это «железный»-то Феликс — воистину пасторальные еще времена. Ведь потом, даже в самое спокойное время, какие шутки могли быть со статьями 58¹⁰ или 70! Видимо, не развернулась еще как следует Советская власть и не до Не-Буквы ей еще пока! В общем, М. М. заметалась. Она занялась добыванием бутербродов для своего узника в совнаркомовском буфете, начала всячески кормить его и ублажать. В конце концов, не выдержала и объявила Не-Букве, что тот свободен и может убираться на все четыре стороны. Не-Буква отказался, сказав, что от такого питания и такой тюремщицы никуда не уйдет. Ушел он только под угрозой применения силы... Так что очень забавная в результате получилась история. История о том, как интеллигентная и обаятельная девушка «полемизировала» с интеллигентным мужчиной. Если даже такая девушка в том окружении могла так просто арестовать человека, то что говорить о многих других. Ведь не все проигрывали идеологические споры — некоторые и выигрывали...

Мария Михайловна испытывает некоторую неловкость в связи с этим эпизодом, но и только: общий смысл, общая неправомерность таких эпизодов от нее ускользает. Ибо слишком много — особенно в это время и по отношению к нему — она применяла диалектики, слишком многому научилась у людей, среди которых жила и которых называет «философы и романтики революции». Память об этих людях она бережно хранит, пронеся ее через жизнь, гораздо более героическую, чем, вероятно, жизнь большинства ее учителей. Да и противников тоже. Но героизм — не гарантия правоты или даже невиновности. Впрочем, о героизме Марии Михайловны Иоффе я буду говорить во второй части этой работы. Здесь же меня ин-

тересуют ее учителя — те самые «философы и романтики революции», которые занимают так много места в ее жизни и памяти.

«Философы и романтики революции»

1. Троцкий

Прежде всего, вызывает удивление само это определение: «философы» и в то же время «романтики». Причем речь не о каких-то романтических философах, а именно о романтиках, да еще таких, чья романтика связана с определенным явлением — с революцией. Это не столько определение, сколько противопоставление. Этих людей Мария Михайловна противопоставляла в душе тем, кто ее пытал и мучил в лагерях и тюрьмах. Эти последние не были не только философами (ими не были и ее учителя, всякий большевизм враждебен спокойному размышлению), но и романтиками, а романтиками ее учителя все-таки были. Говоря так, я вовсе никому не льщу, романтика в моих глазах не является достоинством.

«Когда человек не может быть поэтом, он становится Романтиком», и имеет это, наверно, отношение не только к поэзии. Но романтика большевиков не была бескорыстной, она парила над всеми установлениями, божескими и человеческими, чтобы оправдать в их же глазах захват того положения, которое они после этого насильственного захвата занимали.

В этих людях, может быть, полнее, чем в других, воплотились дух и психология большевизма. Несмотря на культивируемую «широту» и «культурность», в них явно проступал его непреклонный догматизм. Они поэтому и принадлежали потом к его догматической, «троцкистской» оппозиции, составляя ее интеллектуальный и организационный центр. Даже среди большевиков встречались фракции с более человечными — хотя бы на пер-

вый взгляд — программами*. Но они, и погибая, не, отказывались от своих догм, не изменяли своему малопочтенному делу. Даже во второй половине тридцатых годов среди их последователей было меньше капитулянтов и предателей, чем среди всех остальных партийцев. А в те времена шаталось все, и любая устойчивость — даже основанная на их догмах — имела всеобщее значение, что-то охраняла — отнюдь не в партийных программах. А ведь они были не только больше всех оболганы, но и более направленно, чем все другие, уничтожались. Достаточно сказать, что «троцкизм» приписывали иногда меньшевикам, иногда священникам, иногда трактористам — для того чтобы их уничтожить. Это слово, оторванное от своего смысла и ставшее жупелом, было одним из мощнейших средств массового оглушения**. То, что первоначальный смысл этого слова тоже отнюдь не приятен, — другое дело.

Троцкизм — это большевизм, и все преступления троцкистов совершены ими не как-то отдельно, а в составе партии, в порядке проведения ее линии. Будучи изгнаны из партии (и с высоких постов), они утратили всякое влияние на события. И даже в том случае, когда Сталин заимствовал важнейшие пункты их программы, это была его, а не их политика, и никакой реабилитацией троцкизма или

* Из воспоминаний Л. Копелева видно, что средний человек в те дни считал Троцкого своим врагом и бессмысленным фанатиком. Ленин же воспринимался как творец нэпа, а потому гуманист. Отсюда и всенародная скорбь в дни смерти Ленина. Прозорливо боялись, что так не просто и не сразу обретенный покой — опять на волоске.

** Сакраментальный смысл этого слова прижился и за границей, причем не только в компартиях, но и в снобистских кругах. Так герой одного из романов Ивлива Во, оказавшись в кружке лондонской богемы, стал свидетелем разговора, участники которого обвиняли друг друга в троцкизме. И это понятно. Приняв советский социализм из ненависти к «мещанству», они приняли и Сталина как его выразителя и — на том же интеллектуальном основании — все, что от него шло. Поэтому «коммунизм — хорошо, а троцкизм — плохо». Я здесь не исследую психологию снобизма, только отмечаю, что советские люди не были одиноки тогда.

троцкистов она не сопровождалась. Поэтому самое страшное преступление советской власти перед страной — уничтожение деревни во время коллективизации — совершено не ими и не по их инициативе, как бы они сами к этому ни относились. А относились они к этому, когда это стало проводиться в жизнь, — очень неоднозначно. Во всяком случае — как свидетельствует их союзник по политизолятору Цилига, — они были весьма смущены, когда в этой привилегированной тюрьме для партийцев прочли пришедшее из-за границы инструктивное письмо их лидера Троцкого, в котором тот, правда, с оговорками, это ужасавшее и их мероприятие одобрил: «Сталин выполняет нашу программу!» — торжествовал он. Оговорки же, в основном, сводились к тому, что Сталин делает это слишком грубо — конечно, не так, как делал бы сам Троцкий (как будто можно такие вещи делать тонко). Но оговорки ничего не меняли: программа — «наша»!

Что ж, спорить трудно. Действительно, в троцкистской программе были и коллективизация, и наступление на кулака, и построение социализма путем ограбления крестьянства. Но эту программу конфисковал, присвоил, выполнил и перевыполнил Сталин — без троцкистов. И никто не знает, как бы они ее выполнили сами. Конечно, ничего хорошего быть все равно не могло. Но, при всей порочности их программы, у троцкистов было одно важное в моих глазах преимущество — открытость. При объявлении такой программы пришлось бы, столкнувшись с жизнью, отказаться от нее или расшибить себе голову (что тоже было бы неплохо). Но, во всяком случае, они не называли ограбление ростом благосостояния, а террор — торжеством демократии, то есть не погружали страну в прострацию, не отменяли реальности, как делал Сталин. Он расшиб голову не себе, а самой жизни страны и народа.

Это очень важно отметить, ибо сегодня у некоторых появляется соблазн свалить именно на троцкистов все это страшное мероприятие. Не избежал этого соблазна и такой превосходный русский прозаик, как Василий Белов в сво-

ем замечательном и точном во всех других отношениях романе «Кануны». У него получается, что всё, надвигавшееся на русскую деревню в 1928 году, — а выписано все это, как и сама деревня, блистательно, с любовью, с болью: сердце сжимается при чтении, — результат подпольной и хитрой деятельности разгромленных к тому времени троцкистов*. В. Белов приводит в доказательство своей правоты подлинные факты и документы, даже частные письма, оказавшиеся в спецотделе губкома, но только факты эти доказывают совсем не то, что ему хочется доказать. То, что программа троцкистов и их намерения в случае исполнения были бы (и стали) несчастьем для России, в доказательствах не нуждается. То, что существовало троцкистское подполье и троцкистские листовки, — тоже. То, что в конце двадцатых мысли, содержащиеся в этой программе и в этих листовках, стали проникать в партийную печать и партийные документы, то есть становиться партийной политикой, — тоже. Нельзя только убедительно доказать другое, обманчиво-обидное: что между всем этим существует организационная связь, преемственность. Ибо, когда и кулаков стали посылать в лагеря, их врагов-троцкистов продолжали как ни в чем не бывало переселять в политизоляторы и отправлять в ссылки, а в редких случаях (см.: *И. Солоневич. «Россия в концлагере»*) — в те же лагеря.

Правда, Сталин, повторяю, к насильственной коллективизации или к ограблению крестьянства никогда не

*Для В. Белова одно из доказательств вездесущности троцкистского заговора — подпись Кагановича под одним из жестоких документов. Думаю, что таких документов можно привести множество. Но Л. Каганович всегда был известен в партии как сталинский пес — приписывание ему троцкизма нелепо. Его с Троцким объединяет только национальное происхождение. Но оно же объединяет Троцкого с организатором его собственного убийства — Эйтингом. Ссылка на происхождение теперь многих впечатляет, но ничего не доказывает. Если бы мне пришлось писать статью против такого истолкования истории, я назвал бы ее «Сказание о троцкисте Кагановиче», и уже было бы смешно. Впрочем, может быть, и нет, мы живем в эпоху подмены памяти и истории.

призывал. Он только все это проводил в жизнь, иногда даже как бы одергивая тех, кто выполнял его распоряжения, обзывая эту рядовую исполнительность «головокружением от успехов». Не от чего-нибудь, а именно от успехов: успехи, оказывается, тогда — при всеобщем голодании — были, да еще такие, что от них могло сделаться головокружение. Так что многие даже благодарны были Сталину, словно не свою, а чью-то чужую руку на горле он ослабил... Но логика терроризованного населения — это отдельная и серьезная тема.

Все это действительно был заговор, но заговор не троцкистов, а Сталина — заговор лжи, равной которой нет, путающей и до сих пор людей (как мы видели на примере Белова*). Но я говорю об этом сейчас не для того, чтобы защитить троцкизм, а наоборот, потому что пишу о троцкистах, как о наиболее полном выражении большевизма — то есть резко отрицательно. А поэтому не хочу выглядеть под-

* На В. Белова произвел большое впечатление, например, обнаруженный им следующий факт. Было приказано гроб с телом высланного из Москвы троцкиста Лашевича возратить для похорон в Москву и по всему пути следования воздавать ему воинские почести, встречать его траурными маршами, почетными караулами и траурными митингами. В. Белов воспринимает это как доказательство тайного всесилья троцкистов, перед которым якобы пасовал даже Сталин. Между тем, дело было не в троцкистах, а вообще в партийцах, в их общественном мнении, уже успешно подавляемом, но пока еще существующем. Это общественное мнение, хотя мирилось и соглашалось, но все же болезненно воспринимало отдаление от дел «вождей революции» (возможно, чувствуя за этим и угрозу себе). Для успокоения таких настроений (с которыми вовсе не считаться Сталин еще не мог) был выдвинут лозунг: «За прошлое — спасибо, за настоящее — отвечай». Эти почести и были демонстрацией принципа, что за прошлое действительно спасибо. Это была обычная сталинская дымовая завеса. Не надо забывать, что гражданская война кончилась всего 6–8 лет назад, и заслуги, связанные с ней, еще чтились. Думаю, что Троцкого, если бы он умер, Сталин похоронил бы с еще большими почестями. Все эти заслуги я вовсе не чту, это заслуги перед дьяволом, но историческую истину лучше знать. При любом мировоззрении как-то унижительно пользоваться ее суррогатами. Троцкисты тоже были вредоносны, но многое создавали не они.

певалой тех, кто старается видеть в троцкизме единственного носителя всех бед, постигших Россию (особенно страстно упирают на это те, кто ставит знак равенства между словами «троцкист» и «еврей», в чем есть и дополнительное упрощение). Самое же нелепое — это пытаться отделить большевизм от троцкизма. Большевизм и сам отделялся от троцкизма по мере того, как отделялся от своей идейной сущности. Впрочем, она всегда в нем отступала перед сущностью организационной, которая освящалась как идеологическая ценность и сводилась к голому прагматизму. Все это вело к той чудовищной форме правления — идеократии без идеологии, — которую утвердил Сталин и, с которой мы имеем дело. Но до поры до времени троцкисты вполне с этим мирились. Поэтому они не имели понятия о том, что революция перерождается.

Сегодня нам эти заботы — смешны. Революции, имевшей столь фантастические цели, больше и делать нечего было, как перерождаться. Весь вопрос, в какую сторону пошло бы это перерождение. Троцкисты больше всего боялись, что в сторону «термидора», не учитывая того, что в России и месяца такого никогда не было. Бояться им надо было другого, тогда бы они, может быть, уцелели. Но тогда бы они не были коммунистами.

Впрочем, рядовые троцкисты редко появляются на страницах мемуаров Марии Михайловны, во всяком случае, их первой части. М. М. тогда имела больше дела с их руководителями. Из них, естественно, самой крупной фигурой был сам Троцкий.

Образ этого человека вообще занимает особое место в жизни и памяти М. М. Иоффе. С Троцким и с революцией (почти знак равенства) связана для нее, по ее словам, «основная линия жизни, вне которой события, факты, да и сама жизнь обретают какой-то неосмысленный, лоскутный характер», то есть фактически с этим образом для М. М. связан смысл жизни.

Но кем он был, этот Троцкий, из которого сотворила себе кумира юная студенточка и образ которого про-

должает привлекать пожилую пенсионерку? Хорошо, он не был гитлеровским шпионом и отравителем колодцев — в лубочные ухищрения сталинской пропаганды теперь мало кто верит. Хорошо, он был замечательным оратором — об этом мы тоже слышали. Но это уже не так ясно. Какой сущности соответствует это качество? Или, как говорит сама М. М., в чем секрет его ораторского обаяния? На этот свой вопрос она четкого ответа не дает. Поначалу оказывается, что, прежде всего — в мыслях, а, во-вторых — в филигранной отточенности речи. «...Как только он начинал говорить, он захватывал вас в водоворот своих мыслей, и вы оказывались под гипнотическим влиянием этого человека». Как видите, с одной стороны мысли (хотя не в филигранной отточенности, а в водовороте), а с другой — «гипнотическое влияние этого человека». Ход рассуждений М. М. весьма характерен для того митингового времени. Троцкий выглядит байроническим кавалергардом с безднами в душе, загадочной натурой, Печориным — только соблазняющим не девиц, а целые толпы народа: «Он обладал только одному ему присущим умением доводить аудиторию до высшей точки накала — именно это и произошло, когда он в разгар своей речи вскинул вверх два пальца и воскликнул: «Клянитесь, что вы поддержите пролетарскую революцию!». И вся аудитория, тысячи людей, скандировали вслед за ним: «Клянемся!». Скандировал даже один меньшевик, ярый враг восстания, присутствовавший при этом массовом действе. Потом он оправдывался: «Когда стоишь и слушаешь этого человека, невозможно не следовать за ним». Полагаю, что ни с какими «мыслями» все это не имеет ничего общего. И, собственно, требовал Троцкий от аудитории малого — только поддержки, вовсе не от чего приходило было в экстаз. Но это объясняется еще и состоянием аудитории в то время, жаждавшей обрести этот экстаз. Впрочем, потом и сама М. М. — в полном противоречии со сказанным выше — объявляет: «На аудиторию он влиял не только мыслью, но и голосом, интонацией, всем своим обликом. Возмож-

но, если бы даже те же слова, даже речь, произносились кем-то другим, они не обладали бы таким воздействием». Возможно. Но только дело не в мыслях. Да и кто разгадает секреты ораторского обаяния! Известно, что Троцкий иногда словом умирал и поднимал в атаки взбунтовавшиеся полки — без обаяния такого бы не получилось. Так в чем же его секрет? Впрочем, тут в секрет этого обаяния входил элемент, по-видимому, мне понятный. Действовал эффект разговора с человеком, стоящим у власти.

Я знаю случай, когда не меньшей ораторской победы, чем Троцкий, добился человек, не обладавший ни его славой, ни его властью во время гражданской войны, а только тоже в некоторой степени причастный к тайне и авторитету. Речь идет о человеке, занимавшем в 1968 году пост начальника Свердловского облуправления ГБ.

Он пришел на студенческое собрание одного из свердловских институтов — видимо, в порядке партпоручения, «для встречи с народом». Аудитория была возбуждена: только что была завершена интервенция в Чехословакии. Утверждалось, что наши войска находятся в этой стране по приглашению каких-то неназванных «честных коммунистов». Но при вступлении войск в страну этих коммунистов на месте не оказалось. Весь мир, даже Совет Безопасности, иронически вопрошал: «Где ж эти люди, пригласившие вас? Покажите их, назовите!». И ответить было нечего. Приходилось на международных форумах произносить длинные политпросветские лекции, тянуть время. А вот наш гэбист, когда ему задан был подобный вопрос, нисколько не растерялся и даже время не стал тянуть. А наоборот, ударился в доверительность. Он сказал: «А нас, товарищи, в этой обстановке и пригласить никто не мог, слишком там поработала контрреволюция. Говорю вам *откровенно* — у нас не было другого выхода, только этот, тяжелый». Вот этой «откровенностью» начальника, решившегося говорить доверительно, он и победил. Эффект был потрясающий. И победа его была не гэбистской, а чисто ораторской. К сожалению.

Хотя чем, собственно, он заморозил студентов, этот начальник? Фактически он их просто принял в соучастники не ими задуманного, не ими проведенного и вовсе им не нужного преступления. Но люди в нашей стране привыкли, что с ними разговаривают, как с детьми, не достаивая информации, а тут со студентами сравнительно большой начальник говорил как с равными, доверительно, не скрывая трудностей. Аудитория на миг почувствовала себя причастной к высшим государственным соображениям, и ей это польстило, отбив в тот момент охоту разбираться в смысле и качестве этих соображений. Конечно, потом многие опомнились, но было поздно: мероприятие уже было проведено. Для «галочки»? Отчасти. Но не только. Ибо никакие прозрения порознь такого значения не имеют, с ними, в крайнем случае, гэбист займется в «рабочем порядке», а сопротивление целого зала — вещь опасная и заразительная, и его надо погасить. Немедленно. В конце концов, и Троцкому было нужно, чтобы красноармейцы в данный момент пошли в атаку, что они будут думать потом — было уже не так важно. Все это я говорю в подтверждение своего тезиса, что ораторское искусство — ценность далеко не абсолютная.

Что же касается Троцкого, то я думаю, что своими речами он часто заговаривал еще и самого себя. Человек образованный, умный и, говорят, талантливый, хотя по «Бюллетеню оппозиции», который я читал, этого и не скажешь — не мог же он так никогда не ощутить дыхания пустоты в том месте, где предполагалась конечная цель; должен же он был хоть иногда сомневаться в том, что, говоря словами солженицынского Ивана Денисовича, «и солнце ихним декретам подчиняется». Не мог же он так всю жизнь переть с доктриной против самой сути жизни...

А может, и мог. «Бюллетень оппозиции», издававшийся им за границей со дня высылки до дня смерти, как будто вполне это доказывает. Весьма показательный журнал, этот «Бюллетень». В конце тридцатых он уже лишился всяких живых связей со страной и варился в собствен-

ном соку, но еще в начале тридцатых у него эти связи были. Почти в каждом номере появлялись сообщения под рубриками «В Москве», «В Ленинграде» и так далее. Но тщетно вы бы пытались воссоздать по этим сообщениям жизнь людей в указанных городах. Появлялись только упоминания об ухудшении материального уровня рабочего класса (представители, все же), но и об этом в «буржуазной» печати писалось полнее и четче. В основном же в этих сообщениях шла речь о положении и настроениях в парторганизациях этих городов. Из этих сообщений неизменно следовало, что шансы оппозиции в партии растут. Так действительно могло показаться. По мере провала экономической политики Сталина и ужесточения режима в партии оппозиционеры действительно могли вызывать некоторые симпатии. Но это были симпатии не к линии Троцкого, а к самому факту оппозиционности, независимости, самостоятельности, как таковому. «Бойцы вспоминали минувшие дни», испытывали неосознанную ностальгию по самим себе...

Но важно для нас сейчас не это. Важно то, что Троцкого за границей интересует не положение в стране, а положение в партии. Это очень характерно для него. Рассуждал он, по-видимому, так. Страна все равно в «наших» руках. Поэтому важно, кто из «нас» будет ею управлять, какой путь службы социализму изберет: с бюрократическими извращениями или без оных. И в любом случае власть должна оставаться в «наших» руках, даже если «мы» — это Сталин, уничтоживший партию. (Хотя партия «штурмующих небо» была для него единственной, хотя и зыбкой ценностью, даже родной.) Все равно поверить в то, что уступка власти контрреволюционерам — не самое страшное, он не мог. Это значило признать, что все высшие пики его жизни — блеф, самообман, дорога, «любой ценой» (а слово «любой» у них вовсе не было гиперболой) пробиваемая в никуда, точнее, в пропасть. В этом он не сознался никогда. Его «Бюллетень» — несмотря на все, что он знал, до самого конца назывался «Бюллетенем

оппозиции», как будто партия, по отношению к которой он мог быть оппозицией, действительно еще существовала, не была уничтожена и подменена. Да и считал он необходимым защищать СССР в случае войны с Германией — тоже только потому, что нужно было сохранить там «пролетарскую власть», хоть и подвергнутую бюрократическому искажению.

Впрочем, и некуда ему было уже отступать. Слишком много преступлений совершил он, исходя из гипотезы, принятой за аксиому. Ведь нельзя было (выражение Набокова) «сделать бывшее небывшим», нельзя было задним числом отменить, например, суд над капитаном (по другим источникам, адмиралом) Щасным. А суд этот — впечатляющий. «Преступление» этого человека состояло в том, что при подходе немцев к Гельсингфорсу он вывел оттуда остатки российского военного флота и сквозь льды уже замерзавшего Финского залива привел их в Кронштадт. Обвинялся он в том, что проявил при этом высокие профессиональные и личные качества с тем, чтобы заработанный таким образом авторитет в дальнейшем использовать против революции. Вот за это намерение его и судили. Потом большевики очень гордились этим походом кораблей, называли его Ледовым (видимо, в противовес «Ледяному походу» Добровольческой Армии), но сам Щасный был приговорен за него к высшей мере. Только, видимо, фантастическое это дело даже в Ревтрибунале шло недостаточно гладко, и поэтому свидетелем по нему выступил сам Троцкий. Разумеется, банальным свидетелем в таком деле быть невозможно, так что, надо полагать, была произнесена громовая речь, оказано «гипнотическое влияние» (при тогдашней должности и авторитете Троцкого гипноз этот достигался просто), и человека не стало. Можно было бы наивно спросить: «Где была его совесть?», но она, по-видимому, еще до революции была вытеснена доктриной. Все же надо и Троцкому отдать должное — он и потом не апеллировал к совести. Он вообще ни к чему живому не апеллировал, а жевал в своем «Бюллетене» жвачку, стилистичес-

ки близкую к газете «Женминьжибао» времен Мао Цзэдуна. И другого выхода у него не было.

Такого же сорта и остальные его заслуги — например, то же создание Красной Армии путем мобилизации в нее офицеров и генералов Русской Армии и отдачи их под контроль партийных комиссаров (потом эту заслугу конфисковал Сталин). Цель была проста — под угрозой смерти заставить людей «честно» служить чуждому, а то и враждебному им делу. Все должно было окупиться в будущем. Признаться в том, что не окупилось, он никогда не смог. Говорят, что он был смел и храбр, — может быть. Но духовного мужества у него не было никогда. Уже после его смерти любимая и любящая его жена, вспоминая какой-то эпизод и упомянув при этом товарища, который много им когда-то помог, считает долгом сообщить: «Потом он, к сожалению, примкнул к меньшинству». Оказывается, у них еще и свое меньшинство было, примыкание к которому тоже означало (как и в большой РКП) отпадение от жизни, духовную смерть.

Тогда уже началась вторая мировая война. Погибали уже тысячи, должны были погибнуть миллионы, но у этих людей были свои заботы, они, так сказать, жили напряженной внутренней жизнью — хранили чистоту риз и верность тому, чего не было. Даже странно думать, что это была верность тактической идее, тому или иному варианту тактики. Видимо, человек может превратить в предмет веры, заполняющей жизнь, что угодно. Если у него нет более общей веры. И если это способствует его самоутверждению.

Но Троцкий — конечно, самое крайнее выражение этой доктринерской болезни.

2. «У наших...»

Но круг, в котором жила Мария Михайловна в самый светлый период своей жизни, не исчерпывается Троцким. Троцкий — просто наиболее яркий его выразитель, были и другие. Конечно, не стоит всех этих людей

мазать черной краской, вероятно, можно было бы обнаружить у них и положительные качества. Были у них, наверно, свое бескорыстие, своя самоотверженность. И то, что Мария Михайловна, которую эти люди вознесли высоко (в смысле общественного положения и духовного парения), остается им верна и сегодня, когда судьба их «в бездну бросила без следа», — выглядело бы скорее трогательно, чем возмутительно (тем более на фоне тех лет, когда любая верность, кроме верности очередному приказу, была не в моде), если бы... Если бы можно было зачеркнуть тот факт, что все свое парение и благополучие люди этого круга строили на фоне принесенного ими другим несчастья. Причем это несчастье не было для них опровергающим аргументом. Если это «ошибка» (большевики очень любили это слово), то, в первую очередь, духовная и моральная, а не интеллектуальная или тактическая. И как бы ни воспевала их М. М., ни мудростью, ни честностью интеллекта (впрочем, это качество вообще редкое) ее друзья не отличались. Они не были духовной и интеллектуальной элитой своей страны. Это независимо от их воли определило многое в их дальнейшем положении и поведении, в их психологическом строе. Конечно, пришедшие потом им на смену были еще страшнее, чем они. Но, во-первых, обстановку, в которой те смогли победить, создали тоже они (то есть сами потерпевшие), во-вторых, это ничего не меняет (хотя они и сами погибли от этого).

Да, эти люди жили скромнее, чем теперешнее начальство. Но все же (если даже забыть, что времена теперь другие) их положение все равно было несколько странным для борцов за равенство (нынешние на такое звание не претендуют). А именно — сами они ели, когда другие были по их вине голодны. И даже считали это естественным: «В здании Совнаркома, — вспоминает М. М., — было две столовых — одна внизу, другая — *рангом выше* — на третьем этаже». Нет, это не признание в том, что пресловутые «ленинские нормы» нагло нарушались еще при Ленине и с его ведома, это просто незначаящая по-

дробность в рассказе о том, как она познакомилась с будущим мужем: «И вот однажды поднимаемся мы с Радеком в столовую на третий этаж, и вижу вдруг брюнета с незнакомым и очень интересным лицом». Значит, так: устроили революцию, ввергли громадную страну в хаос во имя равенства, а сами защитились от этого хаоса всевозможными «столовыми на третьем этаже». Повторяю: конечно, это ничто по сравнению с сегодняшней высокоорганизованной, четко действующей и дифференцированной системой самоснабжения советской номенклатуры (когда в правительственной санатории «Барвиха» есть корпус для, как выразился один из отдыхающих, «товарищей попроще»), но лиха беда начало. И это очень символично — что со своим избранником Мария Михайловна встретилась впервые именно в таком месте, месте встреч людей своего круга.

Конечно, порядок этот придумала не Мария Михайловна, но в жизнь он вошел не без согласия упомянутых здесь философов и романтиков революции. И рассуждали они, вероятно, здраво. Никакая революция, никакая война не может быть успешной без штаба, а штаб должен быть свободен от забот о сытости. А к штабу, конечно, относятся товарищи, наиболее преданные мировой революции и наиболее ей полезные. Такие, как, например, Мария Михайловна, ввиду своей активности, а также знания необходимого для распространения революции немецкого языка. Не знаю, кто решал, кому для развития революции необходимо есть в первую очередь, а кто может ей служить и на пустой желудок. Подозреваю даже, что их рассуждение о штабах верно (за исключением чрезвычайных обстоятельств). И без штабов, без неравенства не обойтись. Но тогда и революций не надо устраивать во имя равенства. Однако — устроили. И установили прямую связь между уровнем сознательности и уровнем сытости. И какими бы тонкими и умными они ни были, сколько раз бы ни читали в подлиннике «Капитал», все-таки именно сытость отделила круг наиболее сознательных от всех ос-

тальных. Она как бы дополнительно цементировала их партийность и идейность, вознося этих романтиков над мыслями, заботами и опасениями всякого рода презренных мещан и обывателей. Так что не удивительно, что свой «третий этаж» был у этой интеллигенции не только в смысле питания.

Впрочем, при всей уникальности большевистской интеллигенции вовсе не следует рассматривать ее уж слишком отдельно от того, что вообще происходило в культуре и в сознании современного ей мира. Никто не спорит, они были представителями самого коллективистского, ультраколлективистского, даже уравнилельного, мировоззрения. Но в то же время они, не желая никак отставать от «всего передового в Европе» (культуртрегеры!), совсем не были чужды и весьма распространенного там воинственного индивидуализма, всяких форм авангардизма. С последним их сближало общее боевое неприятие основ бытия и то презрение к «мещанской морали», о котором уже шла речь. Это их настроение я однажды уже назвал «большевистским ницшеанством». Ведь, если вдуматься, в индивидуализме они нуждались больше других, нуждались практически. Ибо нет в марксизме роли более незавидной, чем роль рядового представителя революционной массы. Оно, конечно, — кто спорит? — роль почетная, пролетарский поэт даже воспел состояние, когда «каплей льешься с массами».

Но одно дело «литься» с ними, другое — к ним принадлежать. Ибо массы — это не субъект, а объект творческого воздействия, массы надо формировать, организовывать, воспитывать, чтобы они правильно выполнили назначенную им историей роль, но, например, пускать их в «столовую на третьем этаже» — не обязательно. Так же не обязательно разговаривать с ними как с людьми — их надо только агитировать, то есть «правильно ориентировать», чтобы вызвать полезные делу реакции и действия. Ибо они — строительный материал, объект сознательного творчества. Относиться к этому иначе — мещанство. Ан-

тимешанский «творческий» пафос декаданса пришелся «мыслителям» революции в самый раз.

Правда, эта близость к декадансу и индивидуализму несколько не гармонировала с тем, на чем они были воспитаны, но марксизм со своей диалектикой допускал здесь кое-какие тонкости толкования (как и в вопросах самоснабжения). Он подходил к делу научно и не ставил грядущую победу справедливости в прямую зависимость от нравственного поведения тех, кто за нее борется, то есть опять-таки оставлял много места для эстетического презрения к пошлой морали. Это освобождало их от чрезмерной прямолинейности в личном быту и окружающей жизни. Это позволяло, например, Ларисе Рейснер вести на фронтах гражданской войны жизнь революционной гранд-дамы. Так что некоторое сближение, а иногда и сращение богем — художественной и суперреволюционной (а чем еще были эмигрантские колонии в Женеве и Цюрихе, как не богемами?) — не случайно. И не только в России (например, Луи Арагон).

В этой связи очень интересен разговор Марии Михайловны с мужем о том, нравственен или не нравственен их друг Карл Радек.

«Радек как личность долгие годы оставался для меня загадкой. Один раз, это было уже в 20-е годы, я заговорила об этом с Адольфом Абрамовичем, спросила мужа: «Ты знаешь, я не могу разобраться: нравственный он человек или безнравственный. Ум — бесспорен, талант — бесспорен, никого равного ему по журналистскому таланту я вообще не знаю, даже за границей»*. Так вот Адольф Абрамович тогда так ответил: «Видишь ли, в оценке его профессиональных способностей ты абсолютно права, а что касается, нравственен он или безнравственен, так он — не

*А то, что за границей вообще и априори все лучше, для культуртрегеров ее круга несомненно. Русская культура, к тому времени уже мировая, так и останется для них периферией заграничной. Все же круг М. М. — очень второсортный в масштабах русской культуры.

нравственен и не безнравственен, он — по ту сторону морали, она для него просто не существует, у него свои нормы поведения, свои мысли, свои поступки».

Так и кажется, что это разговор не политических деятелей о политическом деятеле, а каких-то третьестепенных богемных художников о своем собрате. Это явно отголосок других разговоров, слышанных ими при других обстоятельствах, на всем этом общая печать культурного кризиса, охватившего мир. Впрочем, разве коммунизм и нацизм — не ипостаси этого кризиса?

Пикантно, что сами по себе Адольф Абрамович и Мария Михайловна — люди отнюдь не столь гибкие в моральном отношении (пока их не сбивает с толку мировоззрение), но они, тем не менее, пасуют перед столь явно выраженным тотальным аморализмом, пасуют перед объективным напором большевистской диалектики в нравственных вопросах и снобистской «изысканности» современных людей без шпор (и перед теми, кто умеет использовать все это в личных интересах, что нетрудно). Даже при сегодняшнем своем опыте, наглядно и жестоко продемонстрировавшем перед ней ценность обычной «мещанской» порядочности, М. М. все же допускает следующий пассаж: «Это (то есть характеристика Радека, приведенная выше) была абсолютно правильная характеристика. Вспомните хотя бы Радека на процессе 37-го года (ошибка — 1938-го — *Н. К.*), ведь никто так «осмысленно», так «вдохновенно», на таком «философском уровне» не каялся и не предавал других, как Радек. Я определенно знаю ход его мыслей: главное выжить, а потом мы все объясним! А то, что это безнравственно, его просто не занимало. Вот что, по-видимому, имел в виду Адольф Абрамович, когда говорил, что он, Радек, по ту сторону морали».

Вот какая, значит, сложная фигура был Радек. Представьте себе, что бы было, если бы такая сложная фигура появилась где-нибудь на процессе эсеров. Как бы потешалось над ним все окружение Марии Михайловны — и в печати, и в своем кругу «старых борцов» — для само-

уважения. А тут вот как все усложненно воспринимается. Даже место такое придумывается (вернее, заимствуется у богемы): «по ту сторону морали», но в то же время и по ту сторону аморальности. Последнее, естественно, нелепость (по ту сторону морали — только аморальность), но нелепость вполне модная и «европейская». Во всяком случае, и сегодня Мария Михайловна не может отказаться от нее, хотя образ, нарисованный ею, весьма неприятен.

Я совсем не убежден, что М. М. сохранила бы такое «эстетическое» отношение к Радеку, встретить она его в лагере. Во всяком случае, к старому большевику Сафарову, угодничающему перед начальством, она относится без всякого снисхождения. Хотя с битого-перебитого (в буквальном смысле) Сафарова спросу куда меньше, чем с сытого и вальяжного Радека. Трудно себе представить, что такой человек бы в лагере не стучал. Ведь принцип: «Главное выжить!» — действовал и в лагерях. Собственно, что за ним было еще, кроме этого цинизма и безразличия ко всему, кроме, может быть, заостренной (в любую сторону) фразы («талант!»)? Такие люди тогда и потом встречались среди наиболее отвратительных, «утрированных» представителей богемы, но они и там воспринимались как подлецы. Правда, подлость им прощали — «за гениальность». Здесь еще и за мировоззрение и пользу, которую ему приносят.

Убеждение, что мировоззрение и польза могут искупить любые пороки, вообще было свойственно большевикам. Особенно Ленину, хотя он на индивидуалистическом искусстве не воспитывался и к своим «нормам» пришел без него. Не нуждаясь, в отличие от Сталина и Гитлера, в своих идеализированных портретах, он, подобно им, совсем не нуждался и в «самовыражении».

Но, Марию Михайловну эти материи не интересуют. Она говорит о них только, чтобы подчеркнуть, что вообще все они (то есть ее друзья) были очень разными, в отличие от тех «манекенов со стертymi лицами», какими они выступают в сталинской пропаганде.

Заботы Марии Михайловны понятны. Она всегда ценила в своих друзьях сложность и уникальность, а от сталинской пропаганды им досталось крепко, может быть, даже больше, чем когда-то от их собственной пропаганды каким-нибудь кадетам. И действительно, люди они были сложные и разные. Радек, как мы видели, был подлецом, ее муж Адольф Иоффе, — человеком принципиальным. В Троцком Джон Рид, к вящей гордости М. М., находил даже «нечто мефистофельское» (то есть изысканно сложное), и, кроме того, Троцкий понимал поэзию: нашел стихи Ахматовой слишком женскими, «почти гинекологическими», хотя и оценил их высоко.

Так что сложность у всех налицо. Была она и у тех, кто в круг М. М. не входил. Например, П.С. Коган объяснял Цветаевой, что он хоть и марксист, но когда есть время, любит красоту — наслаждается Бальмонтом.

Я никогда не верил сталинской пропаганде и на ее счет согласен с Марией Михайловной. Но все же заботы самой М. М. меня не трогают. Дело в том, что в своем следовании «культурности», эти люди совершенно всерьез требовали от всех остальных полного растворения в коллективе, в классе и исторической необходимости, требовали жертвенности — не только физической, но и духовной, и в тоже время стараясь, как уже говорилось, кормить других жвачкой, сами, как наиболее сознательные и преданные делу, ее глотать не хотели. Также ходили в свои «столовые на третьем этаже» — пользовались такими же привилегиями, которые только на этот раз касались не еды, даже не информации, а духовных удовольствий. С самого начала коммунисты присвоили себе в качестве привилегии право не придерживаться собственных принципов, во имя которых и совершали свои преступления. Много изменялось в их партии, но это осталось. Я знал одну женщину, партийку со стажем, которая когда-то долго не отдавала свою дочь в общую школу, а нанимала учителей, чтобы ребенок не общался с «быдлом». Говорят, что сегодня тоже есть специальные школы для детей приви-

легированных отцов, в которых учеников вообще не пичкают никакой идеологией. Не знаю, так ли это, но слух симптоматичен. Так теперь мыслится привилегия. Но это началось еще тогда — у самых высокоидейных, повторяю, и в скромных размерах: когда их, идейность оказывалась не под силу им самим.

Но сделать из этого естественные выводы они были не в состоянии: были не в состоянии преодолеть двойственность своего положения. Да, они были одной из самых высокоидейных (то есть верных фантастической цели) и высококультурных элит большевизма, но они не были элитой страны, во главе которой оказались. Смутно они сами чувствовали это, отсюда их непрерывная борьба против традиционных ценностей, на которых были воспитаны и которым изменили. Хотя не могли не чувствовать, что их игра на понижение опасна, что успех ее создает положение, при котором позиции изменивших неизбежно оказываются слабее, чем позиции людей, изначально чуждых всяким ценностям. Но они уже не могли остановиться и на фоне недискредитированных ценностей выглядели непрезентабельно, в истинном свете. Отсюда их более чем горячая преданность «принципу партийности», круговой поруке насильников. Правда, троцкисты, в отличие от всех остальных, в конце концов, разорвали путы этого принципа (когда сочли, что партия изменила своей сути), но что это могло изменить? Во-первых, они опомнились поздно, во-вторых, что они могли сказать народу? Что они лучше знают, как его эффективней эксплуатировать во имя их великой цели?

Ведь они были не против принципа партийности, а только против его «опошления» Сталиным, может, стояли даже за большую его остроту и свирепость. Так что противопоставить аморализму Сталина им было нечего: моральной они были только внутри партийной (то есть антимо­ральной и антинародной, групповой, отдельной) морали. Куда с этим сунешься? Дьявол легко не отпускает. Да и не собирались они вовсе вырваться из его когтей — настаи-

вали только на своем варианте дьявольщины, на правильной партийности. Но о принципе партийности — в следующей главе.

Краткое отступление о «принципе партийности»

Я не согласен с утверждением, что и сейчас в бедах нашей страны играет важную роль господство духа и буквы коммунистической (или просто марксистской), идеологии. Идеология теперь не больше чем внешняя норма приличия, форма, в которой власть привыкла выражать свои (любые, любой направленности) веления и соображения. И когда А.И. Солженицын в своем замечательном обращении к Сахаровским слушаниям 1979 года по поводу участия правозащитника Игоря Огурцова вдруг говорит: «Так коммунисты мстят своему идейному противнику», — то я просто не понимаю, о чем речь. То есть я понимаю, что Игорь Огурцов — идейный противник коммунизма, понимаю, что ему мстят, мстят жестоко и бессмысленно. Но только мстят ему отнюдь не потому, что Брежнев обиделся за коммунистические идеи, а потому, что Огурцов посягнул (хотя бы мысленно) на лично выгодный Брежневу и его окружению режим. Другими словами — если употребить самые «высокие» из возможных в данном случае слова, — Огурцову мстят за то, что он враждебен и вреден интересам и власти партии. Мстят, руководствуясь уже упомянутым выше пресловутым «принципом партийности». Принцип этот, действительно, связан с идеологическими основами большевизма, вырос из них, ими освящен, но существует независимо от них и от условий, его породивших. Или — что то же самое — сам по себе становится идеологической основой деятельности партии. Получается парадокс. Партия создает принцип партийности, а потом существует якобы только во имя его соблюдения. И даже власть партии над страной осуществляется якобы во имя этого «принципа партийности». Впрочем, в этом уже есть смысл. Но только такой, как в мафии, — безвыходно

уголовный, а не идеологический. Даже если сама идеология располагает к уголовщине — это совсем другое... Но все имеет свои корни. Вся история большевизма неотделима от принципа партийности. Именно этим, а не общей идеологией отличались большевики от других социалистических и марксистских партий. Именно этот принцип отделил их в 1903 году от меньшевиков — в спорах по пункту первому устава партии (о членстве в ней) на II съезде РСДРП. Принцип этот — организационная основа «партии нового типа». Он превращает всю партию в послушное орудие руководства и в то же время в дисциплинированный отряд. Согласно этому принципу человек сдает в партию, как в сейф, все: мысли, сомнения, восприятие, совесть. Во всех разговорах — во всяком случае, с беспартийными — он обязан вести себя, как послушный рупор партийной политики, луженая глотка партии. Искреннее согласие с партией требуется от него лишь в главном, в остальном — только абсолютное подчинение, независимо от согласия.

Принцип партийности — орудие обоюдоострое. Например, он помог большевикам захватить власть в 1917 году, что в каком-то смысле можно считать действием, совершенным из идеологических соображений. И он же обеспечил победу Сталина над партией и ее идеологией. Причем неоднократно получалось так, что во имя торжества этого принципа сами большевики азартно и против воли (одновременно) голосовали фактически за свое уничтожение. Конечно, тут, как и в утверждении этого принципа, сыграла свою роль и общая беспочвенность большевистского мировоззрения, которое иначе утверждать нельзя было.

Тут мы опять возвращаемся к временам, с которых начинаются мемуары Марии Иоффе. Тогда еще ни это выражение, ни сам принцип не окостенели, не превратились в пустое «правило игры», все это было животрепещущим и важным. Ибо власть над громадной страной, чуждой целям этой власти, — совсем не шутка. Она была

взята (рассматриваю самый идеальный и наивный случай) для целей, мягко говоря, более широких, чем благоденствие страны и даже власть над ней. В значительной степени для того, чтобы использовать страну и народ как средство для воплощения своих идей. Разумеется, эти люди были убеждены, что плоды их деятельности будут, в конце концов, полезны и русскому народу (как и другим народам России), но именно — в конце концов. А до наступления этих счастливых времен они якобы пока жертвовали во имя своих идей и самими собой (повторяю: беру идеальный случай) и — что гораздо хуже, — судьбами других людей и интересами всего населения. А поскольку население не приходило от этого в восторг и хотело жить согласно своим собственным представлениям, морали, религии и здравому смыслу, а не по капризу чьих-то восторженных проектов, — то проектировщики считали своим правом, долгом и обязанностью отечески воспитывать несмышленишек: словом, розгами, а иногда — поскольку теперь миндальничать не время, скоро все равно все окупится всеобщим счастьем, — то и пулеметами, трехлинейками и наганами. Причем все это я говорю об отношении проектировщика к «обывателю». Что же касается «врагов», то есть людей, которые не «заблуждались», а вполне обоснованно были или могли быть (хотя бы в мыслях) против, то о таких и размышлять не надо было. Таких надо было сразу ставить к стенке, а потом распространять ложь, ни с чем не считаясь, — насчет классового врага любая позорная ложь при диалектическом подходе оказывалась правдой. «Объективно» такие люди все равно были шкурниками (даже если были заведомо благородными людьми), и жалеть тут не о ком. Все получалось довольно красиво. «Интересы партии» — ведь звучит вполне альтруистически — дескать, не за себя, а за дело. В этом свете любой поступок выглядит благородно, в крайнем случае — трагически. Но вся беда в том, что выглядело это так только в их собственных глазах. А остальные по отсталости и непониманию диалектики воспринимали все иначе.

Допустим, приходится в каком-нибудь городе расстрелять хорошего и популярного человека. Собственно, он пока еще ничего не сделал, но ведь ясно, что он к «нам» хорошо относиться не может. А обстановка сложная, опасная. Вот и скрепя сердце кончаем с ним из диалектических соображений. А все остальные за это считают нас убийцами, не хотят входить в наше положение и соображения. Приходится еще парочку человек для остратки хлопнуть. И — так далее. В конце концов, получается, что мы себя понимаем, а другие — нет, что у всех одна мораль, а у нас — другая. И оказываемся мы, как в осажденной крепости. И эта крепость — наша партия. И она для нас все — жизнь, родина, истина и любовь. И ее интересы — для нас священные. И интересы ее дела, и она сама, как таковая — ибо это единственное место, где нас понимают. Вот они и есть — основания принципа партийности, в самом романтическом истолковании.

Очень скрепляла принцип и тактическая ложь, совершенно, конечно, необходимая, потому что в отсталой стране вся прелесть идей не всем была доступна (на то, что «передовые» страны вовсе на эту прелесть не клюнули, никто внимания не обратил). А раз так, то каждый, который хотел заставить население действовать в нужном ему направлении, должен был (по их мнению) приспособливаться к отсталому уровню его представлений. И «приспособлялись», как известно, вполне беззастенчиво. Например, крестьян приманивали взятым у эсеров временным для коммунистов (потому что не совсем социалистическим) лозунгом: «Земля крестьянам!», — а потом уверенно, в своем марксистском праве, грабили их продотрядами. Еще нелепее получилось с войной. Пришли к власти с лозунгом «Долой войну!», то есть о немедленном прекращении войны. Каждый втыкавший «штык в землю» объявлялся чуть ли не героем. А после Октября это сразу стало позорным дезертирством. Наиболее принципиальные из коммунистов требовали продолжения войны, потому что теперь в их

глазах она была революционной. Ленин не соглашался на это, ибо не хотел неминуемого тогда поражения, но не потому, что был связан предыдущими лозунгами. Но дезертиров теперь и сам не уважал... Теперь все стало другим в его глазах. То защищали «их», а то — «нас»... Другое дело.

В связи с этим коммунистам приходилось тяжело. Все ругали их: «Обманщики!», «Убийцы!» — и только они одни знали, какие они хорошие. И только их партийность поддерживала их.

Кстати, я привожу только те факты, которых они сами не скрывали. Некоторые из них — об отношении к ним питерского пролетариата, о сущности Кронштадтского восстания — по-настоящему начинают выплывать только сейчас. Похоже, что большинство партийцев «скрыло» их даже от самих себя — забыло для ясности. А это, может быть, самые кардинальные факты.

Но окончательно оформилась (то есть потеряла всякий смысл) «партийность» к 1921 году, когда стало ясно, что из «наших» идей, а, главное, расчетов, ничего не вышло, кроме пауперизации городов и общего недовольства деревни. Оказалось, что рабочие и крестьяне, того и гляди, турнут эту «свою» власть куда-нибудь подальше, чем, безусловно, остановят исторический прогресс. Оказалось, что место, куда «идеалисты» загоняли людей, мягко выражаясь, палками, — отнюдь не рай, а скорее место прямо противоположное. Правда, все расчеты строились на близком приходе мировой революции (почему-то считалось, что с ее наступлением все трудности разрешатся как-то сами собой — как и почему, мне уже давно непонятно), но и это научное предвидение оказалось липовым. Казалось бы, проиграно все, во имя чего и в расчете на что большевики брали и «любой ценой» удерживали власть, — и, значит, надо сдавать дела и каяться: «Дескать, ошибка вышла!». Но не тут-то было. Не такой был человек Владимир Ильич, чтобы власть кому-нибудь отдавать или каяться в пре-

грешениях. Так что о том, чтобы уходить, и вопрос не ставился, а просто решено было подождать мировой революции, находясь у власти. Тем самым способствуя быстрейшему наступлению этой «светлой эры» мировой революции, а пока — чтобы несознательные массы грубо не прервали этого нашего напряженного ожидания (то есть чтобы им легче было «нас» переносить) — решено было временно допустить для них капитализм под «нашим» контролем: пусть вывезет страну из разорухи — в городе и в деревне.

Меньшевики, которые тут же воспрянули духом: «Мы всегда говорили, что иначе нельзя!», Ленин сразу резонно одернул (привожу не цитату, а пересказ того, что он говорил): «А мы говорим, что за такие слова будем расстреливать! Ибо мы допускаем капитализм только временно, сохраняя за собой «командные высоты», именно для того, чтобы сохранить нашу пролетарскую власть». Конечно, при этом предполагалось, что эта власть (не пролетариата, конечно, а партии) будет способствовать быстрейшему достижению конечной цели, в том числе и мировой революции. Без мировой революции большевизм не мыслил себя тогда. Но все заботы о нем, в сущности, могли сводиться только к отчислению части национального дохода на ее нужды и к засылке агитаторов-пропагандистов-организаторов в страны, не достигшие «нашего» уровня сознательности. То, что эти отчисляемые на идейно-партийные нужды средства принадлежат не партии, а народу, просто никем не замечалось. Народ об этом просто не знал, но если бы и знал, то особенно не возмутился бы — по сравнению с продрозверсткой и продотрядами, это было мелким подбором. И особенно мало это интересовало тех, особо идейных, кто никак не мог очнуться от революционного наркоза и выезжал на подпольную работу за кордон.

Но самой толщии жизни в стране эти заботы о мировой революции касались мало. В том числе, в жизни большинства партийцев. Независимо от того, чему они быва-

ли преданы, в ожидании мировой революции они на всех уровнях вели жизнь обычных начальников, чей авторитет далеко не всегда подкреплялся необходимым уровнем квалификации, то есть держался на власти партии. Это тоже сплачивало. И все у них еще больше оказывалось свое, отдельное, «опричное»: отдельная духовная жизнь, отдельная мораль, отдельное объяснение своего положения. Духовные и корыстные интересы переплелись у них так, что не оторвешь и не отличишь. Эта их тотальная опричность и есть партийность — пусть поначалу их принцип партийности был верностью своему знанию о себе, клубу тех, кто помнит (или думает, что помнит), зачем все это. Постепенно их клуб наводнялся людьми иного рода. Опираясь на этих последних, но с помощью людей этого клуба, Сталин и произвел свою революцию против «ленинской гвардии». Но сам этот клуб — пусть теперь наполненный другими людьми, пусть абсолютно формальный, служебный, бюрократический, — сама идея этого клуба и необходимости быть ему верным не только осталась, но и утвердилась. Более того, оказалось, что к «новому вину» эти «старые мехи» подходят больше, чем к «старому». Оказалось, что без идей принцип партийности действует еще четче.

Сталин уничтожил внутреннюю зависимость партии от ее идеологической сущности, он заставлял относиться, как к чему-то сущностному, к любому требованию момента, в этом духе не только велась пропаганда, но и воспитывались дети. Остальное служило только камуфляжем, да и вспоминалось редко. Так что переворот, совершенный Сталиным, не был ни в коем случае ни освобождением страны, ни возвращением к истокам, как снится сегодня некоторым из романтиков нового типа (националистического направления), это было насильственным насаждением пустоты как содержания жизни, это было дальнейшим погружением в бессмыслицу и протрацию.

У люмпена Сталина и богомного революционера Троцкого был общий враг — любая форма свободной жиз-

недеятельности других людей. Не знаю, как далеко зашел бы Троцкий. Я уже писал здесь, что его выгодно отличала от Сталина открытость его доктринерской бесчеловечной программы, что она должна была бы его лимитировать. Но лимиты эти предполагаются вне его, а не внутри. Не говоря уже о том, что в наше время объявленная открыто идиотская программа — слишком часто выполнялась (Гитлер, Пол Пот, Хомейни и другие). Так что, может быть, я и не прав. Впрочем, Троцкий жил все-таки еще в другое время. В каком-то смысле до Сталина.

Сталин, в отличие от Троцкого, никаких идиотских программ не объявлял, но тем не менее, зашел дальше чем кто-либо. Он не только подмял троцкистов, выступавших против самой сути жизни, но и саму суть жизни, против которой выступали троцкисты. Именно он сломал и уничтожил структуру народной жизни. Уничтожил крестьянство, а также еще больше церковью, монастырями и священниками, чем было уничтожено до него. (А до него, в начале двадцатых, был учинен тотальный погром религии, особенно Православной церкви.) Короче, до прихода Сталина к власти можно было еще говорить о реставрации, после его ухода можно теперь только мечтать о возрождении: реставрировать почти нечего. При нем «принцип партийности» только укрепился, утвердился и отвердел, хотя сама партия (ее первый «идейный» состав) была уничтожена им.

Конечно, троцкисты в дальнейшем утверждении этого принципа не участвовали, они вообще вырвались открыто из тенет этого принципа, когда решили, что партия изменила своему назначению, но в первоначальном его оформлении и внедрении в жизнь они принимали, как уже говорилось, активное участие. Поэтому тот факт, что окончательное утверждение этого принципа отняло жизнь у многих друзей М.М. Иоффе и стало виной многих ее мытарств, не отменяет ни их, ни ее вины. Впрочем, она до сих пор не понимает, что того, что она тогда делала, исходя из этого и во имя этого, надо стыдиться.

Это начиналось так

В октябре 1917 года большевики захватили власть в Петрограде. А через короткое время проиграли выборы в Учредительное Собрание. Получалось, что, как только оно соберется, они свою власть потеряют. Встал вопрос: «Что делать?». То есть каким именно путем власть никому не отдавать. Собственно, и вопроса не было — ясно было, что это «не наше» Собрание надо разогнать. Да ведь внове все было. Все-таки вековая мечта российской интеллигенции, все-таки сами клялись, что чуть ли не для того только и власть захватывают, чтобы провести выборы в это собрание, а тут взять и запросто так — разогнать. Но никуда не денешься — надо. Решили готовиться, то есть подготавливать общественное мнение. Направление сразу было выбрано правильное — клевета. Первым ее объектом была выбрана партия кадетов. На них легче было толпу натравливать — всякие профессора и вообще буржуи. При принципе партийности клеветать не страшно, на партийном языке это называется вскрытие сущности врага. Короче — приступили к развертыванию операции. Поначалу им подфартило. Член ЦК партии конституционалистов-демократов (кадетов), товарищ министра просвещения Временного правительства графиня Панина отказывалась сдать числящиеся за ней суммы кому бы то ни было, кроме правительства, законно избранного Учредительным собранием. Что было вполне законно — ведь большевики пока еще тоже признавали Учредительное собрание. Кстати, и закона, обязывающего сдавать Совнаркому все средства, ранее принадлежавшие Временному правительству, — не было еще, чего стоящий во главе этой институции юрист Ульянов даже и не заметил. Но закон мало кого из большевиков интересовал. Я думаю, что и возвращение денег интересовало их не в первую очередь. В первую очередь они были заинтересованы в том, чтобы пресечь такое открытое непризнание их захвата власти. А кроме того, в компроматах кадетов, а здесь все:

«графиня...», «денег не отдает...» — казалось, что очень годилось для этой цели. Короче, графиню решили арестовать, на ее квартиру были посланы красногвардейцы.

И тут большевикам опять повезло. Накануне у Паниной осталось ночевать еще несколько членов кадетского ЦК, и явившиеся утром красногвардейцы их застали. Они, правда, никаких денег не задерживали, но тоже были кадетами. И их тоже доставили вместе с графиней Паниной в святая святых — Смольный. А там стали размышлять (на «верхах»), что с ними делать. Решили самым естественным для себя образом — объявить «врагами народа», препроводить в Петропавловскую крепость и то ли судить их, то ли просто так держать до полной победы мировой революции (впрочем, как мы знаем, она тогда ожидалась в самые ближайшие дни). Так что тот жупел, которым самих этих энтузиастов так бессовестно клеймили лет через семнадцать-двадцать, выдумали они сами.

Да и клеветническая кампания в печати была почти такая же, как потом о них, — столь же фантастическая и столь же наглая. В чем только не обвиняли бедных кадетов. Например, в устройстве монархического заговора. Основание? Во время какого-то обыска (не у кадета) был найден чей-то проект организации Учредительного собрания, предусматривавший должность председателя собрания сроком на один год. Причем тут кадеты и причем монархия? Да и заговор где? Неважно. Зато это нагнетало обстановку в духе, полезном для «партии». Но это еще не самое пикантное. Что там монархический заговор — кадетов обвиняли еще в организации погромов винных складов. «Мели, Емеля, твоя неделя»... Если бы неделя... Потом уже люди перестали удивляться такой логике, она даже была частично вбита в сознание. Помню случайную сборную экскурсию из Сухуми в Новый Афон и рассказ экскурсовода о монастыре, о его невероятной хозяйственной деятельности. Завершался он просто: «А потом монахов по постановлению правительства отсюда выселили». — «За что?» — спросил кто-то. «За контрреволюционную

деятельность», — последовал исчерпывающий ответ. Публика, только что восхищавшаяся изобретательностью и трудолюбием монахов, была вполне удовлетворена. Только моя жена зачем-то спросила: «А в чем она состояла, эта контрреволюция?». Публика удивилась: «Вам же говорят: «Контрреволюция...». Понадобилось много свинца, типографской краски, радиооболванивания, чтобы добиться у людей такой понятливости. В 1917 году ее еще не было.

Вот как воспринимал все эти откровения один из арестованных на квартире графини — виднейший кадет Шингарёв: «Кто пишет подобные глупости? Безграмотные дураки? Или прожженные негодяи для дураков? Но ведь читать будут эту чепуху, и будут верить, и ничего не поймут — тысячи и тысячи людей. В этом весь ужас современного положения». То, что для нас привычно и естественно, для него, проявившего здесь зоркость, но не обладающего нашей благоприобретенной понятливостью, — конец света. Это массивное нагнетание бессмысленной лжи и было дорогой к концу света, иными словами, к началу того мира, в котором я, как и миллионы других людей, родился, вырос и прожил жизнь. Это была мина замедленного действия, заложенная под свой и общий дом, общую и собственную жизнь.

Но сами большевики были тогда вполне победительны, уверены и не подозревали даже, что за эту разрушительную ложь придется расплачиваться.

М. М. Йофе и теперь не понимает, что поплатилась (и страшно) именно за это. А ведь так все сходило с рук: кадетов держали в крепости, сколько хотели, «учредилку» — разогнали, демонстрацию в ее защиту — расстреляли, да еще как-то так, что она как бы из истории выпала, пока недавно Солженицын не вытащил ее на свет Божий. А то вроде ничего не было: ни демонстрации, ни ее расстрела, только матрос-партизан Железняк и его: «Караул устал!». Все вышло. Но осечки случались. Например, вышла осечка и с открытым пролетарским судом над графиней Паниной, в котором очень оконфузилась и Мария Михайловна.

А вышла она потому, что устроители суда, находясь в плену собственной демагогии, всерьез поверили, что они — партия пролетариата. То есть поверили в то, что все, что ударило тогда в их разгоряченное сознание, инстинктивно присутствует в каждой рабочей груди, рождается из классового опыта и «чутья». Поэтому они не только в судьи назначили рабочих, но и весь зал, всю рабочую аудиторию объявили судьями. Из зала могли выходить обвинители и защитники. Естественно, они были уверены, что рабочие будут наперебой клеймить классово чуждую графиню. Упустили они, что «настоящее классовое сознание» есть только у недоучившихся студентов (и то не всегда). Потом они уже никогда об этом не забывали, потом они такого никогда не допускали, потом они судили уже не силами пролетариата, а только от его имени (Троцкий ведь речь против Щасного произносил тоже не иначе, как от имени пролетариата). Надежней получалось. И не только при Сталине (тем более, тот все больше судил от имени не пролетариата, а народа), а уже и во всю эпоху гражданской. Как говорится, на ошибках учимся.

Короче, упустили большевики, что их всех петроградские рабочие то ли знают, то ли нет, а графиню Панину, наоборот, знали все. Ведь это была та самая графиня Панина, которая, как говорит сама М. М., больше чем кто-либо сделала для пролетарской бедноты Петрограда, организовав знаменитый в столице Народный дом. «Был там бесплатный рабочий университет, курсы для женщин, ставились пьесы, Панина приглашала сюда выступать театры. Она собрала специальный фонд помощи бедным...» То, что большевики понимали в данном случае как классовое сознание, было бы на самом деле черной неблагодарностью. Впрочем, большевики отрицали частную благотворительность. И не принимали ее в расчет. А зря...

Итак, судьи заняли свои места. Председатель — рабочий Жуков, слева — двое рабочих с завода Эриксона. В зале — пролетарии. В зале же — и Мария Михайловна Иоффе, присланная из Смольного, из отдела печати,

чтобы записывать процесс. Ей суждено сыграть на этом процессе решающую роль, но она еще не знает об этом.

Ввели графиню. «И вот она входит, высокая, приятная женщина в черном платье, — вспоминает Мария Михайловна, — и чувствуется, что эта графиня до сих пор симпатична нашей революционерке, — а навстречу поднимаются два бородатых рабочих из публики, кланяются ей до пояса: “Спасибо, матушка-графиня!.. В черную годину царизма (не знают они еще черных годин, узнают! — Н. К.) только ты одна о нас заботилась... Да святится имя твое!..”». Да, «немарксистьсьское», как сказал бы Галич, получилось начало... «Ох, немарксистьсьское»... Дальше — больше. Дальше вступает в строй предшественник яшинских «рычагов»: «Рабочий Жуков спрашивает: «Кто желает обвинять?». Все молчат. «Кто желает защищать?». Все поднимают руки». Картина величественная, достойная быть предметом национальной гордости. Это то, что большевики извели потом под корень. Это те мужики из подгородных киевских сел, которые оправдали Бейлиса. Оправдали, потому что он был не виноват. А теперь бы? Теперь бы вызвали народных заседателей куда надо. Сказали бы: «Товарищи, дело очень сложное, деликатное, ответственное. Но вам мы можем его доверить». И сбитые с панталыку «товарищи» признают черное белым не задумываясь — и даже не из корысти, а единственно, чтобы оправдать доверие. Ведь в залах «открытых» процессов публика возмущается подсудимыми почти искренне. Подобранный? Но ведь и присяжные на процессе Бейлиса были тоже подобраны прокуратурой. А не вышло...

Марии Михайловне и самой сегодня нравится все это: и сама графиня, и осанка ее, и бородатые рабочие, и реакция зала. И мудро, если бы не нравилось после той низости, через которую ей пришлось пройти. Я подозреваю, что в каком-то смысле ей и тогда все это нравилось. Но просто она уже была приучена не считаться с естественными реакциями, она — «дело делала». Когда-то такое отношение к «делу» сильно облегчало позицию лично ни-

кому не приятного Евно Азефа, виднейшего провокатора и террориста. Но в тех высокоумных кругах, куда к тому времени попала М. М., этот факт так и не был осознан (вспомните разговор в семье Иоффе о Радеке). Впрочем, больше всех нравится в этой истории нашей мемуаристке она сама — во всей полноте юных чувств и реакций. К сожалению, мы никак не можем разделить этого ее отношения к себе и к своим тогдашним горячим чувствам, а тем более — действиям. Вот что она сама, захлебываясь, рассказывает об этом: «Я не могла усидеть, — вспоминает она. — Ведь рядом буржуазные журналисты из «Нового времени», «Речи», «Дня»... Я ведь все принимала близко к сердцу, за все отвечала...». Вот какие духовные страсти! Но, видимо, и ее учителя тоже не могли усидеть рядом с такими органами печати, тоже все принимали близко к сердцу. Во всяком случае, лет через десять, когда вырвавшаяся из их рук власть принялась за них самих, некому было уже и голос подать в их защиту: все эти «буржуазные» органы были закрыты давно — самими этими людьми. Так что хорошо поработали товарищи себе и всем на погибель. К сожалению, как уже сказано выше, и Мария Михайловна тоже. Вот что она сделала, «за все болея, за все отвечая», когда стало ясно, что мероприятие проваливается: «Тогда я срочно шлю суду записку: “Жуков, делай перерыв”. Он послушно встает и говорит: “Объявляю перерыв”.» ...Как говорится, диктатура пролетариата налицо: семнадцатилетняя «сопля» управляет взрослым квалифицированным человеком, и он безропотно выполняет ее распоряжения, «потому что она из Смольного» и, возможно, понимает, что здесь происходит и что ему делать. Ведь процесс-то тоже устроили «люди из Смольного». Жуков фактически выходит из игры, а юная энтузиастка начинает самозабвенно творить историю: «Оббегаю кругом зал, влетаю в комнату судей и оттуда звоню в Смольный: “Ради Бога, найдите кого-нибудь, посадите в машину и пришлите какого-нибудь обвинителя, никто не хочет обвинять”».

Полюбуйтесь, какая свобода и легкость творчества! Все комнаты судей перед ней распахиваются, все Жуковы останавливают процессы, все конфискованные автомобили срываются с мест по ее вдохновению... И все это для того, чтобы уже фактически оправданную по условиям ими же выдуманного суда «высокую приятную женщину в черном платье», ждущую в зале решения собственной участи, женщину, которой эта семнадцатилетняя студенточка, судя по всему, и в подметки не годится, — все-таки не отпустить, засудить. И ее засудят. Суд будет подлый, демагогический, все будет шито белыми нитками. Но это будет бледной копией того суда, который она же в этот же момент — «все принимая к сердцу, за все отвечая» (и все подтасовывая) — устраивает самой себе в будущем. Ей до сих пор непонятно, что все это ее упоение — не более чем преступное достижение радости и полноты жизни за чужой счет. Да и за счет судьбы всего общества — в чем ей дали полную возможность убедиться.

Она не только не раскаивается в совершенном, она и сегодня хвастает перед нами тем, как ловко и вдохновенно помогла совершить тогда этот грубейший подлог. Судя по всему, это звездный час ее жизни. Разное иногда принимают люди за звезды. Дальше все пошло гладко. Из Смольного в ответ на ее призыв срочно прибыл другой рабочий, иного склада, чем Жуков, — будущий заместитель Троцкого по наркомвоенмору Наумов. В отличие от простоватого Жукова, этот «рабочий» сразу берет суд в свои руки. Он быстро меняет тактику. Натравить зал на Панину не удастся, надо спасать, что возможно. И тогда возникает: «Мы судим не ту графиню Панину, которая строила Народные дома, а ту, которая не отдает народу взятые у него деньги». Все это вранье. Графиня Панина была членом ЦК партии кадетов, а они были объявлены врагами народа. Так что судили, пытались скомпрометировать именно ту самую — просто силы свои переоценили и теперь эластично откатываются назад: не удалось за другое, будем хотя бы за деньги. Кстати, тут в мемуарах впервые

появляется тема возврата денег как цели суда, даже в воспоминаниях они занимают не первое место. Но приговор касался исключительно их: «Объявить графине Паниной общественное порицание и держать в заключении до тех пор, пока не сдаст деньги».

Все было проделано ловко. Неискушенные люди растерялись: «Деньги какие-то... Бог с ними, с деньгами, пусть отдаст и будет свободна». Да и приговор, оказывается, идет об условиях освобождения, а не о чем-либо другом, страшном, от чего пришли защищать...

Тем не менее, я убежден, что пусть смутно, неосознанно, но у каждого из присутствовавших рабочих осталось ощущение, что их каким-то образом обвели вокруг пальца. Ведь они все, как один, пришли защищать Панину, а проголосовали за какой-то странный приговор, ее к чему-то обязывающий. Вот оно, знаменитое большевистское мастерство демагогии, околпачивания, это их умение внушить людям недоверие к их собственному здравому смыслу, чем потом так мастерски пользовался Сталин... Приемы примитивны, но трудно так сразу поверить, что представители власти: толковый рабочий, свой брат, протестный мужик и миловидная барышня, на вид явно бескорыстная, могут так бесстыдно на глазах у людей заниматься обманом и подлогом. К этому все-таки привыкнуть надо было...

Итак, представительница «пролетарской» партии при проведении «необходимой пролетариату» акции наткнулась на упругое сопротивление этого самого пролетариата. Тут было от чего смутиться. Но, видимо, принадлежность к самым умным, все знающим, овладевшим теорией действовала на нее сильнее, чем здравый смысл, и зрение, и слух. И она еще сегодня одаривает нас, вероятно, сохранившимся в памяти с юности объяснением события: «К первому заседанию народного суда готовились не столько большевики, сколько меньшевики и эсеры. Они организовались и сделали так, что почти весь зал состоял из их сторонников»... Вот так. Все интриги. Просто ди-

ву даешься, до чего сильны были меньшевики и эсеры в Петрограде на исходе семнадцатого. Только странно, что они власть так легко упустили — да еще при такой способности «сорганизовываться». Правда, за несколько недель большевики уже могли изрядно надоесть рабочим и, наверно, надоели, но так тогда и надо говорить. А если весь зал «сорганизованный», так с чего он вдруг потом растерялся перед «рабочим» Наумовым? Да и вообще — когда это меньшевики и эсеры предпринимали акции в защиту кадетов? Если бы они были способны понимать, что главный их враг может вполне стоять на общей с ними социалистической платформе и радостно праздновать Первое Мая, а, наоборот, у буржуазных кадетов есть с ними общие ценности — не видать бы большевикам власти, как своих ушей. Но они этого не понимали вплоть до того дня, когда были запрещены их партии, а многие и позже. Да и вообще не похожи эти бородачи из зала на людей, «организованных» какой бы то ни было партией. Меня вообще поражает уверенность Марии Михайловны, что люди, которых она вслед за ее учителями взялась облагодетельствовать, могут быть только инертной массой, которую кто-то «организовывает». То, что они сами способны на живое чувство благодарности или справедливости, ей просто не приходит в голову. Правда, она видит, что это так, помнит, что это так, описывает их такими, но примитивное объяснение, удовлетворявшее ее в дни молодости, по-прежнему имеет над ней власть. Имеет, несмотря на ее лагерный опыт, который она вынесла не благодаря марксистской «классовой солидарности», а потому что везде встречала людей, умевших оставаться людьми. Она знает это, но как только речь заходит о годах ее юности — забывает. Иначе это потребовало бы от нее пересмотра всей молодости и жизни, всего, чему она оставалась верна в обстановке массивной клеветы и террора, всего, что все эти страшные годы поддерживало ее существование. На это у нее сил, по-видимому, нет, и, все вспоминая честно, она, как мы видели, вспоминает это вместе с теми объяснениями,

которые ее успокаивали тогда. Это по-человечески понятно, но никак не может никого устроить. Содеянное такими, как она, слишком страшно — и по последствиям, и просто как человеческое поведение — и требует недвусмысленного покаяния. Но это живой факт психологической истории советского коммунизма, живой осколок той психологии, которая теперь в нашей стране не встречается и часто непонятна. И поэтому я убежден, что к этому факту нам при любых взглядах нужно отнестись с максимальной внимательностью.

Интересен конец этой истории, которую, что ни говори, выдать за победу было невозможно. Но ведь Мария Михайловна была партийным журналистом и обязана была написать очерк об этом суде. Как же писать? С этим вопросом она и зашла после суда к Ю.М. Стеклову, старшему и многоопытному товарищу, впоследствии многолетнему редактору «Известий». И вот что ей ответил старший товарищ в те чистые, безоблачные, романтические дни: «То есть, как вы не знаете? Журналист не имеет права не знать, что писать. Есть общество, ассоциации, примеры истории, есть мысль. Мы узнаем этих молодчиков, это те самые, которые во время Парижской Коммуны — так называемая золотая молодежь (это бородачи-то! — *Н. К.*) — шли на собрания, не давали ораторам говорить, избивали рабочих... — вот, с чего нужно начать».

С этого и начали. Чем кончили — теперь хорошо известно... А чем вообще кончится то, что начали, — никто и теперь знать не может.

Ловушка

О красных знаменах и социальной справедливости

Итак, по Москве опять проходят демонстрации под красными знаменами. Как в 1917-м они требуют смены правительства, как и тогда демократического, как и тогда виновного в тяжелом положении трудящихся. Пафос их праведного возмущения настолько абсолютен, что можно забыть, что именно устроители этих демонстраций (то, что они защищают и хотят вернуть) довели страну до нынешнего состояния, а те, кого они поносят, если в чем и виновны, то только в том, что пока не умеют исправить положение. Конечно, теперь с товарами хуже, чем до начала перестройки, но ведь и до нее каждый день с товарами становилось все хуже, один за другим они исчезали под гром трудовых побед — новые руководители просто пока не смогли остановить это скольжение страны в пропасть. А кто умеет? Легкого выхода из такого положения, по-видимому, не существует. Даже теоретически. Нет опыта, которым можно воспользоваться. А не выходить — значит «скользить все дальше вниз», в пропасть, в хаос. Приходится идти на ощупь, трудными путями. А это открывает широкую возможность опять возглашать: «Есть такая партия!».

Вероятно, партия такая действительно есть. Есть в том же смысле, что и в 1917-м, в смысле готовности взять власть и править любой ценой во имя своих целей. Идеи-

но-психологический анализ различия этих целей и отношения к ним у тогдашних и теперешних организаторов демонстраций нас сейчас отвлек бы далеко в сторону от темы. Безусловно, люди это психологически во многом разные, но стремление к власти у них одинаковое. И одинаково эта власть им нужна во имя целей, не имеющих отношения к реальному положению трудящихся, как бы эти цели ни оформлялись в сознании. Хотя именно на положении трудящихся эти организаторы и играют. Вероятно, различие еще в том, что тогдашние организаторы демонстраций сами верили во многие мифы, во имя которых действовали, а у нынешних верить в пропагандируемые ими мифы просто нет возможности, ибо у них иной жизненный опыт. Один из мифов, который был давним уже тогда и который нынешние теперь реанимируют, это соблазнительный миф о социальной справедливости. Только если прежде мечтали этого состояния достичь, то сегодня стремятся к нему вернуться. Утверждают, что при справедливости жили, но теперь ее потеряли. В нормальном состоянии этой души после всего пережитого не поверит никто — какая была социальная справедливость при Брежневе, все помнят. Но ситуация сейчас далека от нормальности, и во что могут поверить люди в состоянии отчаянья, никто не знает. В этих обстоятельствах всем мыслящим людям без четкого представления о смысле и употреблении понятий не обойтись. В том числе, и понятия «социальная справедливость». Попробуем разобраться, что это за миф вообще, и чем на самом деле озабочены нынешние его пропагандисты в частности.

Понятие это необыкновенно привлекательно. О социальной справедливости иногда говорят как о вековой мечте человечества. Это правда в том смысле, что в той или иной форме мечта о ней всегда существовала. Но никогда это не было мечтой всего человечества — лучшие и зрелые умы обходили ее стороной. Но юные умы соблазнялись ею часто — сказывалось незнание жизни и непонимание человеческой природы. Причина притягатель-

ности этого понятия понятна — высокое чувство справедливости автоматически переносилось на социальную сферу, обретало широкие масштабы. Но что это значило?

Чувство справедливости — необходимое качество человека. Общества, забывающие справедливость, дичают. Справедливостью, и только справедливостью должно руководствоваться право — прежде всего, суд. Иначе начинается произвол. И все же не все хорошее в жизни определяется одной справедливостью. У Бога, например, человек просит не справедливости по отношению к себе, от которой, как он знает, ему по грехам воздастся, а прощения и милости («Господи, помилуй!»). Да и в добрых земных делах, нисколько не забывая о справедливости, мы часто руководствуемся иными соображениями. Социальность — отнюдь не синоним справедливости. Забота о больных, инвалидах, сиротах, престарелых, помощь пострадавшим от стихийных бедствий и социальных неурядиц (например, пособия по безработице) — все эти гуманные проявления общества, без которых общества просто нет, не имеют отношения к справедливости. Вот я, например, живу в Америке и получаю пособие по старости и слепоте. Я его ничем не заслужил. Я приехал сюда уже в летах, а профессия моя оказалась здесь мало применима. Если дела в Америке пойдут плохо, и она больше не сможет помогать таким, как я, я восприму это как катастрофу. Но не как несправедливость. Эта страна мне ничем не обязана.

Это социальная защита населения, даже высокий уровень этой защиты. В этом нуждается каждое общество. И особенно наше — из-за постигшего ее исторического несчастья. Начавшегося, кстати, с попытки безотлагательно установить в стране и во всем мире социальную справедливость. Сегодня из-за этого в защите крайне нуждаются не только широкие круги населения СНГ, но и, похоже, почти всего бывшего соцлагеря. Спасибо всем людям, организациям и странам, которые принимают участие в этой помощи. Важно использовать ее с толком, чтобы бы-

стрее встать на ноги. Но это уже другая тема, а у нас пока речь «только» о социальной защите.

Формы и размеры социальной защиты в истории бывали разные, но если существует общество, существует и она. Она — составная часть социальности, проявление социальных связей и самого существования общества, его атрибут. Но социальная справедливость — нечто совсем другое.

Социальная справедливость — термин в достаточной степени эфемерный. Его поклонники во все века стремились к материальному равенству людей. И очень часто, не доверяя природе человека, эти утописты до Маркса откровенно в своих проектах поддерживали равенство полицейскими средствами — над каждым работающим должен был стоять специальный агент и следить, чтобы тот работал не лучше и зарабатывал не больше других — не нарушил равенства. Разумеется, развитию производства такая любовь к гармонии не способствовала, но в сознании творцов утопий развитие производства с планируемым раем на земле не всегда связывалось. Главное — справедливость распределения. Идея равенства вообще часто противопоставлялась свободе. Исключением была, кажется, только социал-демократия, и то из нее выделились большевики.

Теперь другие времена, производство как будто все уважают, но мечта о социальной справедливости то и дело дает о себе знать и на современном Западе. и часто с тем же пренебрежением к свободе (всякого рода «Красные бригады») Но есть и более умеренные, которые в глубине души считают, что для того, чтобы всем было хорошо, лучше всего было бы поровну разделить все богатства. Чаще всего, это прекраснодушные наследники состоятельных отцов, граждане богатых стран. Сами они этих богатств не наживали, чего это стоит, не знают, застали свою страну уже богатой и уверены, что деньги берутся в банке. Так что неплохо бы и поделиться. Правда, обычно делиться богатством с бедными надо не им самим

(им свои деньги обычно самим остро нужны), а чему-то абстрактному и всегда виноватому, именуемому «обществом». Поскольку защищать такое представление в споре трудно да и с опытом оно плохо уживается, они обычно уговаривают себя и других, что стремятся только к более широкой социальной защите «бедных», чем другие. Но когда они дорываются до власти, они, как «либералы» (на самом деле вульгарные радикалы) при Картере, начинают скоростное продвижение к воплощению своей высокой мечты. Во имя бедных они подвергают богатых такому налогообложению, что тем становится неинтересно вкладывать в производство что бы то ни было: и деньги, и силы — вообще, трепыхаться. И начинает он испытывать весьма знакомое нам: «А мне что, больше всех надо?». В результате получается спад, очень много людей теряют работу, и вся жизнь идет наперекосяк. Бедным становится отнюдь не лучше. Торжествует одна социальная справедливость.

Да и вообще так ли уж справедлива эта социальная справедливость, другими словами, материальное равенство — даже «в чистом виде»?

Странная вещь — это равенство. Никто не требует равенства в результатах спортивных соревнований. А вот когда дело касается жизни — некоторые требуют. И чувствуют себя правыми и благородными. Даже те, кто поджигает занявшихся «делом» соседей. Допустим, кооперативную свиноферму в подмосковной Салтыковке. Они, наверно, тоже удовлетворяют свое чувство справедливости. А ведь и в жизненном соревновании равенство результатов — нелепость. Надо только, чтобы соревнования проводились честно. Для того и законы. Большого не дано.

Кстати, далеко не все в народе убеждены, что равенство — синоним справедливости. Все знают, что люди работают неодинаково. Много раз в разговорах с квалифицированными рабочими я слышал жалобы на то, что их заработок (несмотря на всю «борьбу с уравниловкой», которая велась все годы чуть не с начала индустриализации — *Н.К.*) не слишком отличался от заработка тех, кто ничего не

умеет, да и вообще не шибко перерабатывает. Их явно такое равенство не устраивало. Как образовалось такое положение, не знаю. Интересная деталь — отношение Ленина к этой — что греха таить, наиболее квалифицированной и ценной — части рабочего класса. В своем труде об империализме он с раздражением говорит о ней, как о «рабочей аристократии», разложенной и купленной капиталистами-империалистами. Раздражение его понятно — эта часть рабочего класса опровергала его представление о назначении рабочего класса — быть непрременным резервом пролетарской революции, представлявшей тогда для вождя самостоятельную ценность. Получалось, что мировая буржуазия в шахматной партии с Лениным (пardon, с пролетарской революцией) сделала хитрый ход — подкупила наиболее квалифицированных рабочих и вывела их из состава революционной армии.

Но мир вовсе не играл с Лениным в его революционные шахматы. И в данном случае никто никого не подкупал. А платили «рабочей аристократии» больше потому, что теперь столько стоил ее труд. Платить меньше — себе дороже, уйдет ценный работник. Кстати, один «рабочий аристократ», квалифицированный токарь Александр Шляпников — был и в окружении Ленина. Солженицын говорит, что временами он на свою зарплату кормил весь большевистский ЦК. Но он, надо полагать, оказывался кем-то вроде представителя буржуазии, перешедшего на сторону пролетариата — была такая прослойка в партии, составлявшая, полагаю, в ней подавляющее большинство ее членов. Базой революции и просто передовым рабочим становился в представлении Ленина только рабочий малоквалифицированный, а потом и люмпен. Рабочий класс и его благосостояние нужны были Ленину не сами по себе, а как орудие революции. Рабочим классом могло оказаться все, что могло стать таким орудием. Поэтому люмпенская стихия сыграла колоссальную роль в революции, а люмпенская психология вошла в плоть и кровь созданного этой революцией государства.

Отсюда и такие сложные игры с искоренением «уравниловки». Впрочем, с тем, что она не мешает рабочим или крестьянам, пожалуй, сегодня все согласны. Со скрипом могут согласиться насчет инженеров и ученых. А вот отказаться от привычного представления, что предприниматели или финансисты — дармоеды, многим до сих пор трудно. А ведь они — люди с инициативой и организаторскими способностями — вносят не меньше. Они — это те, кто создает и организует производство, создают рабочие места. И, если они хорошо работают, то те, кто с ними или у них работает, — больше зарабатывают. Если таких будет много, будет много и товаров, товары подешевеют.

А собственная его жизнь отнюдь не легкая. В отличие от рабочего, получающего зарплату, он каждый день, каждый час рискует, рискует своими деньгами, благосостоянием — всем. Рабочий день его никогда не кончается. И чем лучше у такого «бездельника» идут дела, тем меньше у него покоя. Слишком многое надо держать в голове: конъюнктуру спроса, ее развитие, тысячу факторов, которые на нее влияют и многое другое. Всего это знать наперед нельзя, надо и угадывать. Я лично его деньгам не завидую — не говоря о том, что они для него не разливанное море вина, а элемент деятельности — прибыль добывается в «деле» и большей частью вкладывается в «дело», иначе не устоишь.

Но это все в обществах, где нормальное (отнюдь не идеальное, далеко не всегда гармоничное, но нормальное) течение жизни не прекращалось. Как известно, у нас оно прекращалось. Экономическая активность населения подавлялась много лет и была жестоко подавлена почти полностью. Многие как бы привыкли жить без нее — настолько, что нынешняя ее легализация их даже возмущает — оскорбляет в них чувство справедливости. Хотя все привыкли и к «левым» приработкам, и к «шабашкам», и никого это не оскорбляло и не шокировало. А ведь «левые» мастера выполняли работы отнюдь не по казенным ценам (часто при помощи украденных на производстве

материалов), а «шашки» по существу были официальной работой, но за нормальную, договорную, «рыночную» оплату. А это — волнует.

Да так, что ушедшая в подполье часть партократии использует в качестве символа зла, от которого она берется спасти народ, уже не американский империализм, а отечественных кооператоров, биржевиков, бизнесменов. Впрочем, для ненависти к этим деятелям у партократии свои причины, и в отличие от обещаний спасения она у нее искренняя. Правда, среди бизнесменов есть и такие, с кем они сами повязаны, но тех они, вероятно, при случае объявят спецбизнесом и засекретят. Но остальным не поздоровится.

Чем же люди бизнеса так возмущают партократов? Тем, что нечестны? Но даже если принять эту ложную оценку целого слоя, не партократам блюсти честность. Вокруг них коррупция всегда цвела, и никогда им жить не мешала. Они, как известно, ее использовали. Для собственных нужд и услуг вышестоящим. Но так же как и все свои привилегии — использовали только тайно. Они и богатыми были. Но тоже — только тайно.

А нынешние богатые люди непереносимы им (и многим другим тоже) прежде всего тем, что пользуются всем открыто. Тратят большие деньги — иногда на широкую благотворительность (различные полезные фонды, издания и тому подобное), а иногда и на себя самих — и все открыто. В том и загвоздка. Верхушка номенклатуры тратила на себя ничуть не меньше, а возможностей у нее было гораздо больше. В ее распоряжении были все богатства страны. Роскошные имения запросто забирались под дачи, егеря трубили на охотах — и все бесплатно или почти бесплатно, но все — тайно. Другими словами, пользовались, но как краденым, подпольно. Не только потому, что это действительно было за счет народа, а и потому, что такое «пользование» противоречило всему, что они сами по долгу службы вещали и требовали от других. Все-таки удовольствие не то. А тут кто-то наслаждается всем этим — от-

крыто, как заработанным. Им и вправду есть от чего очуметь. Им, конечно, тяжело терять такую, как они имели, социальную справедливость. При которой они сначала все у всех отбирают, а потом часть отобранного по своему усмотрению — распределяют. Очень непыльная и хлебная, скажу я вам, работенка.

Да, устроители наших современных демонстраций в защиту социальной справедливости отнюдь не утописты. Я говорю об устроителях, а не о дезориентированных людях, обозлившихся на «прелести» переходного периода и в отчаянии пошедших искать высшей справедливости под красными флагами. Эти как раз утописты, ибо не найдут того, что ищут...

Но то, что устроители краснофлагих демонстраций достали из нафталина это требование — не удивительно. Сейчас действительно начинается открытое имущественное неравенство людей. Для нас это непривычно, мы привыкли, чтобы богатство было хотя бы потенциально наказуемо. Многим обидно. Не говоря уже о том, что начинается это неравенство в обстановке лишений для большинства. При этом не все, кто составляет сейчас состояние, делает это честно, сейчас удобно ловить рыбку в мутной воде. Из этого так же не следует, что каждый, кто составил себе состояние, обязательно сделал это нечестно, как многим приятно думать, но есть и нечестные. И их достаточно для демагогии. Странное дело! Равенства в нашей стране все эти годы было меньше, чем где бы то ни было, но уравнилительной психологией мы пропитались насквозь, больше, чем кто-либо. Короче, тут есть на чем играть — приманка соблазнительная.

Однако, не стоит клевать на эту наживку. Мы видели, что из этой социальной справедливости получается — в результате все бедны. Нет, не надо бояться, если кто-то рядом разбогател. Это вовсе не значит, что все вокруг обязательно проиграли. Они, скорее всего, в конечном счете выиграли — чем богаче страна, тем богаче все, даже самые бедные ее граждане. А если мы будем держать друг друга

за руки и за плечи или вцепимся друг другу в штаны, чтобы кто-то не выскочил — выиграет только одна «социальная справедливость». Другими словами — те, кто надзирает и распределяет. То-то претенденты на эту роль так гневно выступают под красными знаменами, они одни знают, чего хотят и зачем суеются. Остальным в случае их победы ничего не светит. Да и они выиграют ненадолго, ибо все возможности этой «справедливости» в нашей стране исчерпаны. Их «выигрыш» может только сильнее толкнуть страну в хаос...

Выходит, что при всей своей приземленности они тоже утописты.

Дети идеократии — при идее и после

Я никогда не сомневался в том, что Сталин не ушел из жизни в 1953-м, когда умер, что с ним не было покончено ни в 1956 или 1962-м, когда его развенчивали, ни в годы перестройки, когда добрались и до Ленина. Более того, последнее ему даже помогло. Либеральным умным людям стало казаться, что поскольку и Ленин палач, даже основоположник государственного палачества (что правда), то о Сталине и думать нечего. Тем более, они его давно победили (чего никогда не было — побеждали всегда не они, а их). А Сталину нахождение в тени было только на руку — он и при жизни хорошо умел использовать нахождение в тени*. Против своих «соратников». Они его недооценивали? Недооценивали не его, а силу энтропии,

* Даже такой умелый и трезвый человек, как Л.Б. Красин, по свидетельству Г.А. Соломона (*Саламон Г. Среди красных вождей. «Современник». «Росинформ», 1995*), считал, что недалекий, но честный и скромный трудяга Сталин, оставаясь в тени, тянет воз за Троцкого в руководстве армией. Допускаю, а отчасти и знаю, что кто-то за Троцкого этот воз тянул, но этот «кто-то» явно был не Сталин, вряд ли когда-то сотрудничавший с Троцким. Да и в чем? Военным гением он явно не был, а расстреливать Троцкий тоже хорошо умел. Красин попался на удочку своей справедливой и обоснованной нелюбви к Троцкому (не помешавшей ему, когда тот попал в опалу, демонстративно, в отличие от других «товарищей», садиться с ним рядом на толковищах в Политбюро). Вот какое впечатление Сталин исподволь умел создавать о себе.

которую сами до этого использовали вместе с ним, а также сталинскую решимость пойти по этой разрушительной дороге беспредельно далеко. Он и прошел по ней очень далеко, по пути разрушив и подменив все человеческие (и даже партийные) ценности, и поэтому даже теперь, будучи прахом, он все равно живет и накапливает силы. Он — это люди, в которых он остался, для которых обстановка политического и идеологического разврата и поклонения бессмыслице — родная стихия, единственно возможная, понятная и удобная. Вот и получается, что Ленин, несмотря на свое «вечное» присутствие в мавзолее, умер — со всей своей проповедью и практикой «утопии со взломом» (а если и воскресает, то только временно и попутно), а Сталин — жив. Сегодня он выступает как рыцарь национального начала и борец против интернациональной ленинской гидры, разрушавшей Россию. То, что этот «национальный рыцарь» раскулачиванием и коллективизацией разгромил русское крестьянство (тогда абсолютное большинство народа), или оставляется в тени, или относится для ясности на счет одного Кагановича. То, что Каганович всегда был только энергичной сталинской «шестеркой» (а другого Сталин так долго рядом с собой не терпел бы), теперь уже знают не все — схема действует.

О преступлениях интернационализма перед Россией нынче многие любят говорить. Особенно национал-патриоты. Что ж, это правда. Россия в XX веке действительно оказалась жертвой политического интернационализма. Еще бы! Он был основой «честного большевизма», и именно он изначально, вдохновенно, идеи ради, толкнул Россию в пропасть, стал официально владеть ею ради мировой революции, расходовать на это народные деньги. Он первый открыто проявлял безжалостность к народу, нанес первые бессовестные и жестокие удары по Церкви. Все это отвратительно и преступно. Но... не по сравнению со Сталиным — хотя бы с тем, что он в начале 30-х проделал над страной, прежде всего над теми же крестьянством и Церковью. Году к 35-му Церкви вообще почти не осталось — во

время войны, когда она понадобилась, ее пришлось восстанавливать из пепла. Восстановить крестьянство он и не пытался. Впрочем, это до сих пор не удается никому.

Беда не в том, что Сталин отказался от идейности, интернационализма и мировой революции (кстати, он и не отказывался, а как бы откладывал на потом), а в том, что при этом государство все равно оставалось идеократией, только, как это ни парадоксально, идеократией без идеи, безыдейной идеократией. Уточняю: я вовсе не считаю, что жизнь людей или государств должна (или даже может) быть подчинена идее, некой земной конечной цели. Определение «безыдейный» не относится к тем, у кого вообще нет такой идеи, кто находит в жизни другие ценности. Идейность — псевдорелигия и псевдодуховность — вещь страшная. Но остающаяся после нее безыдейность еще страшней. Это не отсутствие идейности, а ее замещение. Это насаждение пустоты, дьявольщина. Сталинщина — наиболее яркое ее выражение.

При всем отвращении к «чистому коммунизму» я считаю, что его отличие от выросшей из него сталинщины для нас важно, ибо сегодня мы имеем дело именно с ней. Играя на нынешнем беспределе, всячески его используя, она прячет в нем, как хвост, свою преступную суть и опять набирает силу. Одним высоколобым (и часто при этом некомпетентным) высокомерием и иронией ее не убьешь. Особенно, когда все вокруг качается.

Некоторое представление о различии этих формаций дают две мемуарных книги. Обе на экстремальную тему — о советских разведчиках. Одна принадлежит Элизабет Порецки, вдове не признавшего сталинский переворот, взбунтовавшегося против него в 1937 году (и почти сразу за это убитого) Игнаса Рейсса, вторая — его коллеге, товарищу его убийцы, вполне приспособившемуся к Сталину, П.А. Судоплатову. Оба они — отнюдь не худшие представители своих «генераций». На таких судьбах общие закономерности отражаются четче. А то, что П.А. Судоплатов тоже считает себя и действительно был (во вся-

ком случае, сначала) «коммунистом-идеалистом», для меня удача — виднее эволюция и превращения, да и общая порочность идеократии.

I

Начнем с трагедии «чистого» коммунистического интернационализма, воплощенной в Игнасе Рейссе. Русское название книги о нем — «Тайный агент Дзержинского»* — неточно. Оно не только ничего о ней не говорит, но и сбивает с толку... Детектива, на который оно намекает, в книге нет. Как нет и Дзержинского — Рейсс только собирався рассказать жене о том, как его жизнь пошла вкривь по вине «железного Феликса», но не успел.

Настоящее название этой книги, данное ей автором, — «Наши. Воспоминания об Игнасе Рейссе и его друзьях» — раскрывает ее суть гораздо точнее. И имеет отношение не к одной разведке, хотя Элизабет Порецки была не только женой и другом, но и соратником агента Рейсса.

Кстати, чтобы не возвращаться к этому: книга переведена и отредактирована очень плохо. Некоторые несложные по содержанию места я понимал со второго или третьего захода. Да и вообще в книге есть необъяснимые ляпы. Например, в ней часто аббревиатура НКВД относится и к временам ЧК, и к временам ГПУ. У автора, вероятно, это происходит по старости и по привычке последних лет — уж слишком врезался в ее память НКВД, убивший ее мужа. Но отметить эту неточность в русском издании можно было.

Но это к слову. Вернемся к Игнасу Рейссу. Кем бы стал этот австрийский коммунист, если бы не Дзержинский, мы не знаем. А в реальности он стал советским разведчиком, агентом сначала Коминтерна, потом ГРУ (военной разведки СССР), а напоследок и ИНО (Иностран-

* *Элизабет Порецки*. Тайный агент Дзержинского. М., «Современник», 1996. Пер. с англ.

ного отдела НКВД). Последняя его должность — резидент ИНО НКВД во Франции.

О том, почему он пошел по этому пути, в чем была человеческая сущность и трагедия его самого, его друзей и вообще представителей определенного слоя европейской и нашей коммунистической интеллигенции (была и такая), лучше всего говорит письмо, отправленное им в середине июля 1937 года советскому руководству. Оно приводится в книге, и я его тоже сейчас приведу полностью. Полагаю, что те, кто интересуется историей нашего несчастья, должны прочесть его до конца, хотя существенная его часть проникнута сектантско-фанатической логикой и патетикой, не для всех легко переносимыми. Итак, письмо:

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ВСЕСОЮЗНОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ БОЛЬШЕВИКОВ

Это письмо, которое я пишу вам сейчас, я должен был бы написать намного раньше, в тот день, когда «шестнадцать» были расстреляны в подвалах Лубянки по приказу «отца народов».*

Тогда я промолчал. Я также не поднял голоса в знак протеста во время последующих убийств, и это молчание возлагает на меня тяжелую ответственность. Моя вина велика, но я постараюсь исправить ее, исправить тем, что облегу совесть.

До сих пор я шел вместе с вами. Больше я не сделаю ни одного шага рядом. Наши дороги расходятся! Тот, кто сейчас молчит, становится сообщником Сталина и предаст дело рабочего класса и социализма!

Я сражаюсь за социализм с двадцатилетнего возраста. Сейчас, находясь на пороге сорока, я не желаю больше жить милостью таких, как Ежов. За моей спиной шестнадцать

* Зиновьев, Каменев и др., осужденные на первом «открытом» суде над старыми большевиками.

лет подпольной деятельности. Это немало, но у меня еще достаточно сил, чтобы все начать сначала. Ибо придется именно «все начать сначала», спасти социализм. Борьба завязалась уже давно. Я хочу в ней занять свое место.

Шумиха, поднятая вокруг летчиков над Северным полюсом, направлена на заглушение криков и стонов пытаемых на Лубянке, Свободной в Минске, Киеве, Ленинграде, Тифлисе. Эти усилия тщетны. Слово правды сильнее, чем шум самых мощных моторов.

Да, рекордсмены авиации затронут сердца старых американских леди, молодежи обоих континентов, опьяненных спортом, это гораздо легче, чем завоевать симпатии общественного мнения и взволновать сознание мира! Но пусть на этот счет не обманываются: правда проложит себе дорогу, день правды ближе, гораздо ближе, чем думают господа из Кремля. Близок день, когда интернациональный социализм осудит преступления, совершенные за последние десять лет. Ничто не будет забыто, ничто не будет прощено. История сурова: «гениальный вождь, отец народов, солнце социализма» ответит за свои поступки: поражение китайской революции, красный плебисцит*, поражение немецкого пролетариата, социал-фашизм и Народный фронт, откровения с мистером Говардом**, нежные заигрывания с Лавалем: одно гениальней другого!

Этот процесс будет открытым для публики, со свидетелями, со множеством свидетелей, живых или мертвых. Они все еще раз будут говорить, но на этот раз они скажут правду, всю правду. Они все предстанут перед судом, эти невинно убиенные и оклеветанные, и рабочее интернациональное движение реабилитирует их всех, этих

* Плебисцит, требуемый в Саксонии нацистами против социал-демократического правительства и поддержанный коммунистами (прим. ред. книги Э. Порецки).

** Во время конфиденциальной беседы с американским журналистом Роем Говардом Сталин в мае 1935 года заявил ему, что мысль о том, что СССР может вдохновить социалистическую мировую революцию, отдает «трагикомедией» (прим. ред. книги Э. Порецки).

Каменевых и Мрачковских, этих Смирновых и Мураловых, этих Дробнис(ов) и Серебряковых, этих Мдивани и Окуджав, Раковского и Адreasов Нин, всех этих шпионов и провокаторов, агентов гестапо и саботажников.

Чтобы Советский Союз и все рабочее интернациональное движение не пали окончательно под ударами открытой контрреволюции и фашизма, рабочее движение должно избавиться от Сталина и сталинизма. Эта смесь худшего из оппортунистических движений — оппортунизма без принципов, смесь крови и лжи — угрожает отравить весь мир и уничтожить остатки рабочего движения.

Беспощадную борьбу сталинизму!

*Нет — Народному фронту, да — классовой борьбе!
Нет — комитетам, да — вмешательству пролетариата, чтобы спасти испанскую революцию. Такие задачи стоят на повестке дня!*

Долой ложь «социализма в отдельно взятой стране»! Вернемся к интернационализму Ленина!

Ни II, ни III Интернационал не способны выполнить эту историческую миссию: раздробленные и коррумпированные, они могут лишь помешать сражаться рабочему классу, они лишь помощники буржуазной полиции. Ирония истории: когда-то буржуазия выдвигала из своих рядов Кавеньяков и Галифе, Треповых и Врангелей.

Сегодня именно под «славным» руководством обоих Интернационалов пролетарии сами играют роль палачей своих собственных товарищей. Буржуазия может спокойно заниматься своими делами, поскольку царят «спокойствие и порядок», есть еще Носке и Ежовы, Негрены и Диасы. Сталин их вождь, а Фейхтвангер — их Гомер!

Нет, я не могу больше. Я снова возвращаюсь к свободе. Я возвращаюсь к Ленину, к его учению и его деятельности.

Я собираюсь посвятить свои скромные силы делу Ленина: я хочу сражаться, потому что лишь наша победа — победа пролетарской революции — освободит человечество от капитализма, а Советский Союз — от сталинизма!

Вперед к новым битвам за социализм и пролетарскую революцию! За создание IV Интернационала!
Людвиг*. 17 июля 1937 года.

P.S. В 1928 году я был награжден орденом Красного Знамени за заслуги перед пролетарской революцией. Я возвращаю вам этот прилагаемый к письму орден. Было бы противно моему достоинству носить его в то время, как его носят палачи лучших представителей русского рабочего класса («Известия» опубликовали в последние две недели списки недавно награжденных, о заслугах которых стыдливо умолчали: это были исполнители казней).

Это письмо — героическое: автор знал, что может за него заплатить (и заплатил) жизнью. Но для патриотического гнева — и не только шовинистического — оно тоже дает достаточно оснований. В нем нет мотивации патриотизма или заботы о стране и ее людях. Но Рейсс вообще был и считал себя коммунистом иностранным — то ли австрийским, то ли польским: восточная Галиция, откуда он был родом, во времена его молодости перешла из австрийского в польское владение. К России же он отношения не имел вообще — он примкнул не к ней, а к ее революции.

Но все же это не в последнюю очередь и бунт духа против циничного насилия и надругательства над ним. «Я возвращаюсь к свободе» — несколько неловко объявляет он об этом на языке, свойственном людям этого круга. Местами его письмо напоминает неуместную прокламацию. Оно изобилует «горячими призывами» — к кому? Неужто к работникам тогдашнего ЦК ВКП(б), не знающим вечером, где они проснутся утром, и готовым на все, лишь бы проснуться не в тюрьме? Это инфантильно. Но инфантильность эта не личная — таков стиль мышления и проявления подлинного коммунизма — течения, созданного для планомерного

* Людвиг — одно из агентурных имен Рейсса, так его звали в Париже, так, предупредив об этом читателя, называет его в книге жена, так он подписал свое последнее письмо в Москву.

штурма небес. А как заниматься регулярно таким фантастическим делом без перманентного нагнетания в самих себе и во всех вокруг восторженной истерии и принудительной инфантильности? В этом их стиль, стиль не только пропаганды, но и внутренней жизни, внутреннего общения. Трагедия Рейсса была в том, что, болезненно переживая учащавшиеся нарушения этого стиля в партийном обиходе, он долго и инфантильно не соглашался признать, что они стали доминировать, что стиль переменялся. Вернее, принудительная истерия как стиль пропаганды и внутривнутрипартийной жизни сохранилась, даже окрепла, но лишилась семантической основы — Сталин ни в каком штурме небес не нуждался. Форма перестала соответствовать содержанию, профанировалась и обесмысливалась, ибо самого содержания просто не стало, истерия превратилась в имитацию, позволяющую «страстно» освящать любой чих Вождя. Но патетика Рейсса адекватна его мировоззрению. Все его письмо — включая многочисленные инфантильные глупости — написано более чем всерьез. И система сработала. Письмо это, как мы видим, было написано в середине июля 1937 года, а уже вечером 3 сентября он попал под Лозанной в сети, расставленные охотниками из НКВД, и был убит.

И поэтому, хотя его письмо дает достаточно оснований для иронии, как дал бы их каждый идейный коммунист тех времен, я не склонен относиться к нему иронически. Ибо больше ни один партиец — ни внутри СССР, ни за его пределами — таких писем не писал. Даже у тех, кто вдруг обнаруживал, что сталинский топор занесен над ними лично, редко хватало духа и самостоятельности поднять руку на «маму ВКП».

Рейсс отличается и от них тем, что выступил тогда, когда непосредственно ему самому ничего не грозило. Он вступился за других и за «дело». Это было первое, а может, единственное за годы «чисток» прямое выступление функционера против Сталина*, просто-таки нападение на

* Приходит, правда, на память Рютин, но Рютин выступил за несколько лет до этих «чисток». Да и волновали его не только идеология и партия.

него, объявление ему войны, совершенное исключительно из идейных соображений.

Собственно, самого Сталина Рейсс не удостаивает своим обращением, говорит о нем в третьем лице. Естественно, такая дерзость не могла остаться без быстрого ответа. Сталин мог пойти на негласное соглашение с А. Орловым, тоже сотрудником НКВД, сбежавшим из СССР в конце 30-х годов и пригрозившим из-за границы Сталину крупными разоблачениями, если тот тронет его мать. Сталин и не стремится его убить, ибо тот обращался к нему как уголовник к уголовнику, — не только потому, что тот приберег козыри, а и потому, что вообще мотив его бегства — сохранить шкуру — был для Вождя не оскорбителен и не опасен. Рейсс же публично отлучал его от Идеи, единственным выразителем которой мог быть только он — и по должности, и потому, что она одна была как бы легитимным основанием неограниченности его власти.

Как ни странно, уцелевшие, но в любом случае натерпевшиеся страху во время «чисток» коллеги Рейсса по внешней разведке стараются принизить мотивы его ухода. В этом смысле они следуют Сталину, хотя большинство их его не любит. По Судоплатову, например, получается, что ушел Рейсс потому, что не смог отчитаться в тратах и вообще вел разгульный образ жизни (а ИНО НКВД к этим забавам своего резидента, видимо, относился, как безвольная мать к проказам непутевого сына). А какой-то автор по-сталински «хитроумно» открывает, что Рейсс вообще перешел не к троцкистам (до этого он и впрямь троцкистом не был, но перешел к ним, как к идейно наиболее близким), а к англичанам (продался капиталистам), и только по их совету выдал это за переход к троцкистам. Разгульный образ жизни Рейсс, по Судоплатову, продолжал вести и отослав свое роковое письмо, то есть зная, что за ним охотятся. Ничего себе резидента держал ИНО в Париже! В воспоминаниях Порецки эти дни описаны иначе — как напряженная попытка вырваться из облавы, и это достовернее. Ставить это под сомнение недобросо-

вестно. И зачем ей врать через тридцать лет после событий? Она уже давно разделяет далеко не все тогдашние взгляды свои и своего мужа, и иной задачи, кроме как выговориться, у нее нет. И выговориться именно насчет драмы идей — своей и своих друзей. О чем говорит и название ее книги. На сенсационность она не рассчитана. В таких случаях люди не врут.

Конечно, при всей запутанности в идеологии Рейсс в чем-то важном оказался, вопреки взглядам, человеком свободным. Этим вызвано и отчасти пронизано его письмо. Но в письме есть и сама эта запутанность. Наряду с бунтом души и достоинства в нем вполне воплощены его зашоренность и коммунистическое сектантство. Это сектантство определялось теми официальными догматами коммунизма, которыми он руководствовался, ради которых он служил Сталину и измены которым ему не простил. Это я сегодня отделяю значение его бунта от сектантства, ради которого он бунтовал, — ему такой ход мысли был недоступен и показался бы нелепым и оскорбительным изыском.

2

Конечно, взгляды его не только неприемлемы для нас, но и наивны, а пророчества оборачиваются только горячей риторикой, принятой в их кругу.

О позитивистской наивности его расчетов и пророчеств говорить тем более нет нужды. Предвиденный им «день правды» так и не пришел. Показателен и список преступных мероприятий, который Рейсс предьявляет Сталину: «поражение китайской революции, красный плебисцит, поражение немецкого пролетариата, социалфашизм и Народный фронт, откровения с мистером Говардом, нежные заигрывания с Лавалем...».

Естественно, сочувствовать Рейссу трудно. Вряд ли нормальный человек способен скорбеть о тогдашнем поражении китайской революции, скорее о позднейшем ее

торжестве. К тому же список, которым Рейсс грозит своим врагам на воображаемом коммунистическом страшном суде, нелогичен. Его одновременно возмущает и потеря сектантской чистоты (согласие Сталина на Народный фронт, его заигрывания с буржуазными лидерами), и его же раскольническая сектантская деятельность («красный плебисцит», шельмование социал-демократов кличкой «социал-фашисты», облегчившей победу нацизма)*.

Рейсс верит, что в будущем рабочее интернациональное движение «реабилитирует всех этих Каменевых и Мрачковских, этих Смирновых и Мураловых, этих Дробнис(ов) и Серебряковых, этих Мдивани и Окуджав, Раковского и Адreasов Нин, всех этих шпионов и провокаторов, агентов гестапо и саботажников».

Но сегодня ясно, что правда — даже в коммунистическом варианте — дорогу себе не проложила. В усеченном виде и с инфантильными объяснениями ее через девятнадцать лет сообщит Хрущев, чем не только перепугает родную номенклатуру, привыкшую с рожденья к кровавой прострации, но и подорвет мироощущение всей мировой коммунистической и вообще «передовой» общественности, к этому времени абсолютно просталинских (представители левой богемы, ругаясь, обзывали друг друга троцкистами). А перечисленные деятели, которых (кроме Адreasа Нина, убитого за границей) заставили еще перед смертью оболгать себя, были робко оправданы, но не «открытым пролетарским судом», а тихим Постановлением Верховного суда СССР или РСФСР, — да в громком оправдании уже и нужды не было. Делалось это все по сугубо внутренним причинам, и мировой пролетариат тут был ни при чем. Его как действующей силы вообще в реальности не оказалось.

* Сталин действительно полагал, что приход Гитлера к власти ему выгоден, так как тот бросится на западные демократии и развяжет ему, Сталину, руки. И он действительно заставил германских коммунистов вести самоубийственную политику. Как и советских генералов перед войной. С этой мечтой он не хотел расстаться и в трагическую ночь на 22 июня 1941 г.

Но наивность эта не совсем невинна. Рейсс говорит об ответственности Сталина за преступления последних десяти лет, с 1927-го по 1937-й год, — преступления предшествующего десятилетия его явно не волнуют: преследовали не своих. Да и в обозначенных им границах сочувствия у него странная абберрация: Шахтинское дело, процессы Промпартии, историков, меньшевиков СВУ (мифического Союза Освобождения Украины) совесть его не затрагивают. Хотя все они состоялись после 1927-го года и все до одного были фальсификацией. Но самое поразительное, что совесть его не затрагивают коллективизация и раскулачивание* — самые страшные и судьбоносные преступления партии в этот период, прямо или косвенно задевавшие тогда жизнь всего народа. Рейсс ставит себе в вину свое молчание, начиная только с процесса «шестнадцати».

Кстати, реальное представление о жизни народа у четы Рейссов было. Они прожили в Москве те три года (с 1929-го по конец 1932-го), которые как раз и были годами сталинского наступления на жизнь. Они отчасти даже испытали это на себе. Видели страдания, лишения, ежедневные муки простых и непростых людей, хотя сами были в относительно привилегированном положении (воспринимаемом ими после Европы, как форма нищеты). Жизнь эта их возмущала, сострадание окружающим было им отнюдь не чуждо, но идеологически все это растворялось в их общем отрицании Сталина и отдельной строкой в предъявляемом ему счете не стало. Историей России они не мыслили.

Между тем, воспоминания Порецки о московской жизни тех лет — очень живое и ценное свидетельство о том времени, о тогдашней жизни людей, об уже входившей в силу, но еще не до конца утвердившейся сталинщине.

* Следовало бы тут упомянуть и индустриализацию. Но ее вклад в разрушение страны для многих и теперь не очевиден. Что ж спрашивать с Рейсса?

Жизнь эта своеобразна. Что-то еще остается (и, скажу от себя, используется) от романтических времен. Семьи работников Разведупра РККА живут в общежитии, похожем на барак, каждая занимает в нем одну комнату. Это далеко от хором на Фрунзенской набережной, больше соответствующих их положению (я не коммунист и не требую равенства), но меньше — прокламируемому мировоззрению. И снабжение у них только более сносное, чем у других, но не роскошное. И Елизавете Порецки постепенно становится понятным, как люди втягиваются в такую жизнь, привыкают к ней. И она привыкает — и к очередям, и к тому, что надо всегда при себе иметь тару на случай, если где-нибудь по дороге вдруг что-нибудь «дают». И к другому привыкает. Хоть коммунисту это зазорно, привыкает и к незаконному приобретению молока для ребенка. Ее шустрая домработница Лиза выменивала его у крестьян в родной деревне на лишние продовольственные карточки (Рейссам их презентуют друзья-холостяки), а хозяйка этого как бы и не замечает. Что сделаешь! Не оставлять же ребенка без молока! Но другие ведь тоже вели себя так именно по этой причине. «Не замечать» и «не знать» (и еще — «не понимать») — основные добродетели советского человека, воспитанные именно Сталиным.

Видела она и как эти, созданные Сталиным и допущенные партией (в том числе и «ленинской гвардией»), условия формируют новую «ментальность». На примере той же Лизы, которая стала обворовывать свою партийную хозяйку, а при обнаружении обдала ее фонтаном «классовой» демагогии. Она же третировала собственного отца, поскольку того вдруг объявили кулаком. «Партийные» хозяева, когда он приходил в гости к дочери, принимали его, разговаривали с ним, ему сочувствовали, а родная дочь от него отворачивалась, чтобы не знаться с кулаками, — ковала свою судьбу. И незаметно судьбу своей родины тоже. Происходила порча. Ее Елизавета Порецки заметила и за собой. В углу сарая, относящегося к их дому, пристроился доктор-лишенец «из бывших», че-

ловек симпатичный и, естественно, интеллигентный. У нее с ним установились вполне человеческие отношения. Однажды этот бесправный доктор даже помог ей — дал ряд дельных советов по поводу болезни ее сына. Она была ему очень благодарна. Но когда после этого он попросил разрешения позвонить по телефону (общему для всего общежития), она оказалась в сложном положении. Ведь он все-таки считался лишенцем, а телефон был напрямую связан с ГРУ Наркомата обороны — видимо, с его коммутатором. Начала действовать советская сакральность. Сочла, что не имеет права допустить такого человека до такого телефона (а подсознательно и соседей, наверно, опасалась), и, стыдясь самой себя, отказала. После этого они с доктором только вежливо здоровались при встрече, отношения испортились. И уже в шестидесятые годы, работая над своей книгой, она все еще вспоминает этот эпизод со стыдом и болью. Все эти и подобные впечатления задолго до 1937 года в значительной степени подготовляли грядущий уход Рейссов.

Кстати, с обстановкой 1937 года, когда ни за что при полном молчании партии стали расстреливать самих коммунистов, они столкнулись тогда же — еще в 1932-м. Хотя тогда такое происходило только на Украине — видимо, в связи с началом «голодомора». По-видимому, предполагалось, что украинская интеллигенция, в том числе и коммунистическая, будет слишком нервничать по поводу вымаривания своего народа — вот и наносился упреждающий удар. Вряд ли окружение Рейссов представляло себе до конца трагедию Украины, но все, кто его составлял, знали другое — внезапно был ни за что арестован и через неделю без суда расстрелян их товарищ и коллега, украинский (восточно-галицийский и американский) коммунист Павло Ладан.

В отличие от многих коммунистов-аборигенов, погрязших в собственных хитроумных тактических расчетах, интересах партии и обессиливающей диалектике, Рейсс, его жена и некоторые их товарищи убийства свое-

го друга — поначалу только одного — не простили. Может быть, потому, что они не прошли той школы разложения, которую «члены правящей партии» начали проходить с первых дней обретения безграничной власти, приводившей их часто и к потере представления о границе между средствами общественными и личными. Причем иногда это происходило без отрыва от самой горячей идейности — читаешь об этом и диву даешься. Даже такой, как будто чистый человек, как Адольф Иоффе, отдавший все свое немалое наследство партии, в бытность свою послом в Берлине, позволял своей молодой любовнице (будущей второй жене) оплачивать счета из модных лавок и вообще личные счета через посольскую кассу. А такой вроде интеллигентный человек, как Л.Б. Каменев, поил гостей чаем из чашек с императорскими вензелями. А ведь до революции в кругу не только революционной, но и всякой русской интеллигенции при всей ее оппозиционности не было более позорящего звания, чем «казнокрад». Большевики сломали эту традицию. Только речь теперь (в первые, «романтические», годы их властвования) шла уже не о казнокрадстве, а об открытом грабеже казны. Потом ситуация развивалась, принимая более организованные и «приличные» формы (привилегий, спецобслуживания). И то, что с ними случилось в 1937-м, можно рассматривать как естественное развитие установленной ими традиции, которая определила их беспомощность перед Сталиным. Потом это награбленное добро было конфисковано в свою пользу ежовскими энкаведистами, то есть, раскуплено за гроши, но уже «законным порядком».

Вряд ли Рейссы понимали генезис окружавшей их обстановки, но саму ее аморальность они, особенно она, чувствовали остро. И поэтому изо всех сил стремились поскорее вырваться из советского рая. Это не в последнюю очередь определило переход Рейсса из ГРУ в НКВД, так как НКВД предоставлял такую возможность легче и быстрее. И они уехали. Но и уехав — осуществив желание для большинства людей страны несбыточное, — они все

равно еще не ушли. Еще целых пять лет, зная о Сталине все, что они о нем знали, продолжали служить своим идеям через него. Им, привыкшим жить ради идеи, сердцем которого была «Москва», страшно было остаться в идеологической пустоте. При всем своем личном благородстве они не понимали, что удовлетворяют свои личные духовные потребности за чужой счет.

Так вот и Бухарин когда-то, возмущившись «безобразиями», творимыми ЧК, и получив от Политбюро задание курировать это учреждение, но не сумев ничего там изменить, — был счастлив, получив другое ответственное задание. В ЧК продолжались бесчинства, но дело, которому служил Бухарин, не теряло от этого в его глазах своей святости. А ведь Бухарин интеллектуально был намного выше Рейсса и мыслил шире... Штурм небес и борьба за всеобщее благо учат мужественно переносить чужие несчастья.

Надо отдать должное Эльзе (так ее называли друзья) Порецки. Страдания окружающих ее задевали, и при всей левизне она это совсем «по-правому» ставила в вину Сталину. И это понятно — ее связь с Россией была органичнее и теснее, чем у ее мужа: все-таки она родилась в «русской» Польше, окончила русскую гимназию. Все это отразилось на ее состоянии в момент отъезда из страны.

«Поезд тронулся. Неустанно стучали колеса под нашим вагоном, темные пригороды советской столицы уплывали назад... И я понемногу осознала, что действительно уезжаю из Советского Союза, может быть навсегда!

Мы так мечтали с Людвигом об этом дне: вырваться! Вырваться из этой страны, где рухнули все наши надежды. Но — странное дело! — чем дальше отодвигалась Москва, чем ближе была долгожданная граница, тем больше горечи, грусти, тоски испытывала я. «Моя судьба навсегда связана с Россией», — шептала я себе сквозь подступившие слезы. Годы страданий и разочарований привязали меня к ней больше, чем годы надежд, обрушившиеся на нас всей своей новизной сразу после революции».

Конечно, собственная трагедия, трагедия ее коммунистической веры, и здесь заслоняет трагедию страны, но все же как бы и сливается с ней. Эльза все замечает. Утром они с сыном просыпаются за границей*, и когда принесли завтрак, мальчик стал быстро и неумеренно поедать сдобные булочки, поданные к чаю, — одну за другой. Мать спросила его, зачем он так много ест, и услышала в ответ, что хочет наесться впрок, ведь такое бывает не каждый день. Мать уверила его, что теперь это у него будет каждый день. Но он все равно припрятал две булочки. Зря, потому что он уже вырвался из социалистического рая. И она, конечно, не могла не вспомнить об остальных детях необъятной страны, которые о таких булочках тогда и не мечтали. А других детей вывозили на Север вместе с раскулаченными родителями в зарешеченных теплушках, откуда они тянули исхудавшие ручки и просили не булочек — просто хлеба, а иногда и воды. И умирали без того и другого — на этом «этапе социалистического строительства». Рейссы знали про это, не принимали этого и все-таки государству, обрекшему детей на такое существование, служили еще четыре года. Надеялись на то, что кое-что от «настоящего коммунизма» в нем еще остается, и это перевешивает, мягко выражаясь, «слезу ребеночка». Трагедия коммунизма не может оправдывать этой психологии. Тем более что кризис, который вел к этой трагедии, был заложен в коммунизме изначально.

3

Не знаю, как Эльза, но сам Игнас Рейсс так никогда уже и не узнал, что все годы борьбы жил в обстановке кризиса коммунизма, кризиса его любимой наукообразной утопии. Когда начался этот кризис? Строго говоря, в

* По тексту они наутро проснулись в Германии, но так быстро поезда тогда не ходили — это аберрация памяти, — вероятно, утром они были только в Польше.

момент возникновения партии, штурмующей власть в расчете на поддержку мирового пролетариата — в середине 1917 года (то, что называлось большевизмом до этого, относится к нему только отчасти). Явно кризис коммунистической утопии заявил о себе в 1921 году, когда стало ясно, что мировая революция «подвела», а уходить от власти ни Ленину, ни кому-либо из его соратников — от Троцкого до Сталина — не захотелось. Да и страшно было — столько преступлений совершили, исходя из того, что всемирный социализм все спишет. И решили продержаться до подхода основных сил почему-то замешкавшейся мировой революции, для чего всемерно (практически, безмерно) укреплять власть. Нет, никто ни от чего не отрекался. Наоборот, был даже предпринят ряд попыток стимулировать мировую революцию в других странах — при помощи денег, агентов, а подчас и войск, но все эти попытки захлебнулись — пролетариат в целом не рвался играть написанную для него роль. Пришлось пойти на нэп, но и тут искреннее сумасшествие «штурма небес» пытались законсервировать, настаивать на нем как на основе внутрипартийной жизни. Однако общая, в том числе, и государственная жизнь пошла уже по другому руслу, внимание раздваивалось. И жизнь брала свое. Партийцы все больше проникались психологией и интересами власти. А заодно и борьбой за нее друг с другом. Внутренняя жизнь общества и государства требовала все больше и больше внимания. Это вроде бы естественно. Но ведь государство было не естественным, а теократическим. Его объявленные цели были всегда внеположны по отношению к стране и ее населению. Ситуация была противоестественной, и этим потом воспользовался Сталин. Против его откровенно антинародных мероприятий даже идейная часть партии не протестовала, соблюдая верность внеположным целям, а противопартийные он проводил, пользуясь отчуждением, вызванным жесткой верностью «авангарда» этой внеположности. Рейсс и подобные ему интернационалисты нащупали эту двойственность с самого начала и

ревниво отмечали и больно переживали любое отступление от этой внеположности. Для них — во всяком случае, теоретически — наша страна была, главным образом, базой мировой революции. Психологически это понятно. Они считали, что служат общему, а значит, и своему собственному делу, а все, что намекало на то, что это не так, превращало их в наймитов. Для «национал-патриотического» гнева они дают много оснований. И в данном случае не совсем несправедливых. Но они никогда не были гражданами нашей страны, не родились в ней, не учились в ней и никак не обязаны были быть ее патриотами. А если говорить о таких людях, как Рейссы, то и у «национал-патриотов» нет никаких оснований для претензий к ним — у них нет особой вины перед Россией. Они не участвовали ни в захвате власти, ни в красном терроре, ни в репрессиях, ни в коллективизации — только «честно работали на нашу разведку». И даже искренне уважали Россию — за то, что российский пролетариат добровольно выбрал ту дорогу, честного следования по которой они требовали от Сталина.

На самом деле этой дороги не было. Интересы страны требовали отказа от идеологии, поддержки и безграничного развития нэпа и, так ужасавших Троцкого, «реставрации капитализма» и «термидора». Но партия, ориентированная на внеположные интересы, в целом не была на это способна. Этого никто не хотел, даже «правые». Однако все равно приходилось заниматься больше государством, чем революцией. Это обрекало искренних адептов коммунизма на беспочвенность и работало на Сталина. Он влез в этот зазор, использовал внеположность цели, которой партия жестко подчинила государство, и только незаметно подменил эту цель — интересами мировой революции — интересами собственного властвования. В Сталине не было никакой правоты, вместо необходимого стране отказа от коммунизма он установил коммунизм без коммунизма, власть еще более ужесточенных большевистских методов при обесмысливании цели. И ради

этого он обрек страну на невероятные несчастья, подорвавшие, как сегодня видно, ее силы, которые были громадными, но не безграничными. Его счастье было в том, что ему противостояла откровенная и чистая беспочвенность. Беспочвенны были не только те, кто шел против Сталина, но и те, кто пошел за ним, за властью пустоты.

4

Одним из таких людей был заслуженный чекист и разведчик, генерал-лейтенант госбезопасности Павел Анатольевич Судоплатов. Тот самый, который с радостью принял в душу и бережно хранил в памяти версию, что поступок Рейсса был вызван растратой казенных денег*. Мне кажется, что такова вообще традиция и внутренняя потребность советских разведчиков — сводить все мотивы коллег, которые ушли, не выдержав советчины (которой и сами знали цену, но терпели), к низменным мотивам: пьянству, разврату, корыстолюбию и тому подобному. Не знаю, только для других или заговаривая при этом и самих себя (с советским человеком такое случалось часто). Но знаю, что Судоплатов в подобных случаях говорит правду не всегда, и знаю это точно. Например, все, что он рассказывает о разведчике Николае Хохлове, сбежавшем из СССР в конце 40-х годов, — неправда...

У него получается, что Хохлов перешел не к НТС**, как было на самом деле, а непосредственно к американцам, и перешел не по убеждению, а запутавшись в каких-то темных и полутемных делах. С НТС же Хохлова зачем-то (зачем?) связали потом сами американцы...

Все это неправда... О том, что взгляды Хохлова задолго до побега были отчетливо оппозиционными и что его жена разделяла эти взгляды, я знаю от своих друзей,

* См. Судоплатов П.А. Разведка и Кремль. М., «Гей», 1996.

** Народный трудовой союз — эмигрантская антисоветская организация.

Вероники и Юрия Штейнов, сокурсников Николая по журфаку МГУ, друживших с этой семьей. Кроме того, не состоя в НТС, я, тем не менее, связан многолетними теплыми и дружескими отношениями со многими членами этой организации и ее руководящего круга, то есть, с людьми, с которыми Хохлов завязал свои первые отношения на Западе. Разговаривал я и с легендарным Г.С. Околовичем, одним из руководителей НТС, которого послан был убить Хохлов и которому первому открылся («Я капитан КГБ Хохлов и послан Вас убить»). И, кроме того, я хорошо и давно знаком с самим Николаем Евгеньевичем Хохловым, так что историю его ухода на Запад знаю с двух сторон. Пришел он к энтеэсовцам потому, что во время своих «командировок» читал их издания и сочувствовал им. И поэтому, получив приказ убить Околовича, он не счел себя вправе его выполнить и решил уйти. С американцами свели его энтеэсовцы, ибо без них невозможна была его легализация. Но Судоплатову или тем, кто редактировал его книгу, нужна была беспринципность Хохлова, и они не учли, что еще живы свидетели.

Судоплатов рассуждает о малой компетентности Хохлова в делах разведки. Естественно, я квалифицированно возразить ему не могу. Но доказательства, которые он приводит, неубедительны. Он утверждает, что Хохлова и ЦРУ во Вьетнаме не смогло использовать по причине его некомпетентности. Но это неправда. То есть, Хохлова ЦРУ там действительно не использовало, и действительно по некомпетентности — только своей, а не Хохлова.

Хохлов вообще не предлагал ЦРУ своих услуг ни во Вьетнаме, ни где бы то ни было. Ибо в самом начале его жизни на Западе эта организация его страшно и жестоко подвела. И именно по некомпетентности, сомнению и равнодушию своих тогдашних работников. Перед его первым открытым выступлением по радио ЦРУ обещало ему, что незадолго до выступления его жену и сына увезут из его московской квартиры и спрячут в американском посольстве. Однако в последний момент эту операцию отменили.

Это еще не было бедой. Если бы его об этом предупредили, он бы или вообще не говорил о жене, или сказал бы, что она ничего не знала об его решении. Но его не предупредили и, выступая по радио, он, как было условлено, рассказал, что жена разделяла его образ мыслей и заранее одобрила его поступок. После этого жена исчезла, и он, сколько ни пытался, ничего о ее судьбе узнать не мог — жил много лет с сознанием, что он ее предал и погубил. Относиться после этого с уважением и доверием к этой организации он не мог..

Он работал во Вьетнаме, только не от ЦРУ. Он был консультантом по разведке при первом президенте Южного Вьетнама. И работал квалифицированно, хотя и — по не зависящим от него причинам — безрезультатно. Понимая, что среди подданных Хо Ши Мина накопилось достаточно взрывчатого материала, он предложил и разработал проект создания «Северного Вьетконга». И если «Южный Вьетконг» состоял из переброшенных на Юг по «тропе Хо Ши Мина» северных солдат, то предполагаемые партизаны «Северного Вьетконга» представляли бы из себя реальное народное антикоммунистическое сопротивление. Безусловно, проект был перспективен, он мог повернуть ход войны. Но правительство США с подачи компетентного ЦРУ воспрепятствовало этому. Под предлогом, что это приведет к ядерной войне. Но при таком компетентном понимании обстановки вообще было некомпетентно высаживаться во Вьетнаме. Так что вопрос, кто компетентнее, однозначно не решается..

Из сказанного не следует, что все в книге П.А. Судоплатова — неправда. Так же как и то, что его можно целиком представлять в мрачных тонах. Чувствуется (и Н.Е. Хохлов в этом согласился со мной), что это человек умный, талантливый, вообще недюжинный; что он — личность трагическая. Под стать ему и его книга. Она все время как бы балансирует между воспоминанием о подвигах, потребностью выговориться и самооправданием. И — замечанием следов. Нет, не в юридическом смысле. В этом смысле замечали следы те (в том числе, и свободолюбец Хрущев), кем после

смерти Сталина он нагло и несправедливо был арестован и осужден, и кто потом долго сопротивлялся его освобождению и реабилитации. Судить его советской Фемиде было не за что. К массовым репрессиям и к фальсификации дел он отношения не имел. Конечно, ангельской работы в этой организации не было. Он участвовал в некоторых сомнительных операциях вроде впрыскивания яда Шумскому, одному из руководителей Украины в начале тридцатых (при Скрыпнике). Но никогда не был ни инициатором, ни движущей силой этих «ликвидаций» — так меланхолично называет он такие акции. Кстати, инициатором конкретно этой акции был Хрущев, тогдашний генсек Украины. Конечно, с перепугу. Мало того, что власть никак не могла справиться с бандеровским движением, так еще в это время в лагере сактировали Шумского. Это значит, что его отправили умирать домой, — просто больных и слабых не актировали. Но и в таком состоянии, находясь в одной из саратовских больниц, он сильно напугал Хрущева — написал несколько писем киевским знакомым. Письма явно не имели «криминального» характера — старый зэк не мог не знать, что его письма перлюстрируются. Да Хрущев и не говорил о содержании писем — его взволновал сам факт. Ему, лично отвечавшему перед Сталиным за Украину (и для кого неспособность справиться с бандеровским движением могла обернуться крупными неприятностями), помешались за невинными письмами попытка собирания сил, зачатки организационной деятельности. Он «догадался», что главные письма изможденный зэк Шумский пишет и отправляет в некие загородные националистические центры — с целью восстановления связей (которых у него, как у коммуниста, не могло быть) и развертывания широкой борьбы против советской власти (с больничной койки). Почему-то просто, «по-нашему, по-простому», вернуть в лагерь только что сактированного зэка Хрущев считал для себя неудобным, и он настоял на том, чтобы его тихо «ликвидировать» — слово, которое в книге Судоплатова употребляется часто и с большой легкостью. И проведена

была государственная акция огромной важности — несколько генералов вместе с Хрущевым поехали в Саратов проследить за тем, чтобы работавшая в больнице медсестра, «наш агент», сделала Шумскому вместо инъекции, назначенной врачами, инъекцию яда кураре. Доказательств связей Шумского с границей, с удовольствием отмечает Судоплатов (поскольку кашу заварил Хрущев, которого он ненавидит), естественно, и после этого не обнаружилось. Но операция была проведена с блеском — никто ни о чем не догадался. Лежал изможденный и больной человек в больнице и умер — ничего подозрительного.

Повторяю, Судоплатов юридической ответственности за эту операцию не несет, он не был ее инициатором и не мог отвертеться от участия в ней. Тем более, не вправе его был судить за нее Хрущев, ее затеявший. Но если отвлечься от юриспруденции, то это участие в реализации чужого бреда все равно преступно и несовместимо с человеческим достоинством. Судоплатов не мог не понимать, что все это бред, не говоря уже о том, что столь страшным врагом Шумский выглядит из-за того, что сидел в лагере, а сидел он там ни за что (был таким же украинским коммунистом, как и сам Судоплатов). Тем не менее, он должен был не только участвовать в этом идиотском преступлении, — он должен был и выказывать серьезное отношение к его смыслу.

Но выказывать серьезное отношение к любой бессмыслице Судоплатов, этот коммунист-идеалист, как и все советские деятели, привык давно, ибо привык легко и даже поспешно (пока голова цела) предавать и свой идеализм, и коммунизм. Я говорю не о предательстве общей морали, свойственном коммунизму вообще, а о предательстве именно коммунизма, точнее, ленинизма*, свой-

* Оговорка нелишняя. История большевизма — эскалация измен! До 1917 года он был хотя и крайне левым, но течением в социал-демократии. И некоторые из большевиков (Красин, Соломон и др.) захвата власти с расчетом на мировую революцию не одобрили, отнесли это к ленинизму, который считали изменой большевизму. Сталинщина уже была изменой ленинизму.

ственном сталинщине. Первым деянием, приобщившим его к сталинщине, было убийство Троцкого.

В убийстве Троцкого есть одна характерная деталь. Все, кто выполнял это облеченное в форму приказа желание Сталина, были духовно ближе тому, кого убивали, чем тому, кто их послал убивать. Как мы знаем, Павел Судоплатов, осуществлявший общее руководство операцией, не без оснований называл себя коммунистом-идеалистом. Во всяком случае, таким он был когда-то. Вероятно, и Эйтингон, руководивший убийством на месте, мог бы о себе былом сказать то же самое... Какая же нелегкая погнала этих двух коммунистов-идеалистов убивать третьего такого же? Никакая. Только мстительность Сталина. Так два идеалиста-коммуниста стали на путь предательства — нет-нет, не Родины, только самих себя, смысла своей жизни*. На путь не отказа от коммунизма, чему я бы только сочувствовал, а именно предательства. Правда, массовое предательство коммунизма Сталину, к которому причастны и они, началось раньше. Но явное предательское действие эти двое совершили теперь. Я отнюдь не скорблю о Троцком. И, кроме того, если бы его убил какой-нибудь член Российского общевойскаского союза (РОВС) по заданию своей организации, я бы и слова не сказал. Как не имею никаких морально-политических (опуская общенравственные) претензий к убившему Войкова Коверде. Стоило это делать или нет, это выглядело бы — хотя бы в собственных глазах агента РОВС — как справедливое возмездие. Впрочем, РОВСу это было не нужно. Нужно это было Сталину — из личной ненависти.

Судоплатов тут впервые выступил как «шестерка». И то сказать, необходимость убить Троцкого спасла жизнь

* Это не юридическое обвинение. Перед любым советским судом Судоплатову отвечать было не за что. Разве что перед трибуналом, подобным Нюрнбергскому, да и то вряд ли. Ни в каких массовых репрессиях он участия не принимал, и то, что он при Хрущеве сидел в связи с Берией, было не расплатой за беззакония, а их продолжением. Здесь речь об ином предательстве.

ему самому. Ему и привлеченному им к этой операции Эйтингону. Ведь на дворе был год 1937-й, и они оба тогда — Судоплатов фактически, а Эйтингон и формально — были отстранены от дел и должны были разделить судьбу остальных «коммунистов-идеалистов». И тут им подфартило — Сталину во что бы то ни стало понадобилось убить Троцкого, а «мастеров» почти всех пересажали, выдвиженцы же их заменить не могли — тут и вспомнили о Судоплатове. Это спасло ему жизнь. И в значительной степени погубило душу — научило плыть среди подвижных рифов сталинщины, подгоняя под ситуацию мысль и чувства. Это удел многих, не только чудом уцелевших чекистов. Но для последних вопрос уже был не в том, стать «шестеркой» или нет, а в том, чтобы быть «шестеркой» наиболее чуткой и расторопной — чтобы вовремя почувствовать волю пахана, успеть увернуться или заслониться кем-то другим. Промедление (или принципиальность, или верность чему-либо) смерти подобны — точнее, тождественны ей.

Положение невыносимое, и именно поэтому Судоплатов, умный человек, оказавшийся во власти столь глупых, но непреодолимых обстоятельств, хватается за любую глупую ложь, чтобы принизить тех, кто так или иначе этим обстоятельствам не покорился. Договаривается он и до реанимации — в смягченной форме — сталинской лжи о сотрудничестве троцкистов с гестапо (они, дескать, подставляли под удары гестапо «наших товарищей»). Возможно, эти «товарищи» сами это выдумывали. Зная чувства сюзерена, они объясняли такой троцкистской подлостью свои провалы и неудачи. Но что эта выдумка перед тем, что реально вытворяли сами эти «товарищи» над всеми антисталинскими или просто несталинскими коммунистами во всем мире! Притом, что интересы войны этого не требовали — Троцкий перед смертью успел призвать своих сторонников в начавшейся войне защищать СССР как все-таки, несмотря ни на что, социалистическое государство... Конечно, Троцкий оставался Троц-

ким, но речь о том, что Судоплатов не оставался Судоплатовым, а стал «шестеркой» при пахане (хочется сказать: при сатане).

Но Судоплатов и Эйтингон, как и Шпигельглас, хоть шкуру спасали, которую с них уже однажды едва не содрали. А ведь в убийстве Троцкого участвовал и левый художник Сикейрос — его-то с чего в сталинизм потянуло? Даже если отвлечься от «художественных вкусов», которые Сталин вскоре начнет насаждать, что в нем вообще было «левого»? А вот Троцкий был воплощением левизны. Но Сикейрос пошел в бой за Сталина. Не «за Родину — за Сталина», а просто — за Сталина — за все, что он своей персоной символизировал. Да он ли один? Как здесь уже говорилось, почти вся мировая богема превратила слово «троцкизм» в ругательство. А что она в этом понимала? Да и сам убийца Троцкого Рамон Меркадер и готовая на все ради революции его неугомонная матушка Карнидад как тут оказались? Ведь они профессиональные революционеры, мятежники, просящие бури, — Сталин таких на дух не выносил, в тайгу — и это в лучшем случае — их загонял (но использовал, когда могли сгодиться), а они — каштаны из огня для него таскать. Им по близости натур с Троцким бы в экстазе сливаться, а они — вон что. Сумасшедший дом творился тогда и внутри самого коммунизма.

Эпоху преступной идейности сменила эпоха преступной безыдейности — понятие, с определением которого читатель этой работы уже знаком.

Характерный факт. Чтобы представить, как трансформировалось наше идеократическое государство и представление о его сути в мозгах «партактива», приведу произнесенные уже в середине 90-х слова одного крупного функционера, просвещенного советского идеологического чиновника, возглавлявшего в последние годы существования Главлита его отдел по контролю общественно-политической и художественной литературы, — Владимира Алексеевича Солодина. Интервьюируемый по другому поводу, он так ответил на заданный между делом

вопрос о том, был ли интернационалистом главный идеолог КПСС М.А. Суслов: «В мое время в высших партийных кругах интернациональные идеи были уже малопопулярны. Что ни говори, «интернационализм» — *троцкистское течение в партии*» (выделено мной — Н.К.)

«Что ни говори!»... Владимир Алексеевич — человек достаточно грамотный, историю партии изучал прилежно и прекрасно знает, что интернационализм — не атрибут какого-либо одного течения в партии, а с самого начала — важнейшая составляющая общепартийной идеологии. Другое дело, что от этой идеологии в интересах страны и народа следовало давно отказаться. Но ведь не отказывались — другой идеологии, кроме этой, неотделимой от интернационализма, у партократии просто никогда не было. Все, в том числе неоднократно и сам Сталин, клялись в верности интернационализму. При этом, правда, чем позже, тем больше задвигая его подальше. Но, оставаясь идеократией, коммунистические руководители, среди которых интернационализм непопулярен, являются активными носителями и распространителями пустоты. Интернационализм в их среде неофициально, в качестве интимной идеологии, быстро замещался не патриотизмом, не заботой о стране и народе, а шовинизмом, проще говоря, нацизмом — милым сердцу тоталитаризмом, но без всемирности. В этом кругу оказался и бывший коммунист-идеалист П.А. Судоплатов. Нельзя сказать, что ему в нем все нравилось. Не нравился, например, антисемитизм. И тут он проявил даже мужество и достоинство — ни разу ему не поддался. А в 1951-м году, когда государственный антисемитизм быстро двигался к своему апогею, когда высокопоставленные холопы, теряя человеческое достоинство, по высказанной и невысказанной воле Сталина легко бросали своих ставших неподходящими жен, он официально зарегистрировал свой брак с женой-еврейкой. До этого, с двадцатых годов, по старинной комсомольской традиции они жили без регистрации (считалось, что это ненужное мешанство). Деятельность его же

ны, которая тоже была чекисткой, а одно время даже «работала» среди творческой интеллигенции, умиления вызвать не может. Но эта пара в такое время сохраняла абсолютную верность друг другу, да и попавшим в беду товарищам тоже — не так это часто встречалось в этой среде после сталинских «чисток». Ведь чистки — особенно в этой среде — как раз и были чистками от верности, были направлены против всяких связей. Но я ведь предупредил, что пишу отнюдь не о худших людях. Н.Е. Хохлов, даже после того, что Судоплатов о нем наговорил, сохранил о нем воспоминание как о неплохом и отнюдь не счастливым человеке — а знал он его на пике карьеры.

И закончил он жизнь гимном украинскому сепаратизму, борьбе с которым отдал лучшие годы жизни. Как будто не он в начале 30-х «ликвидировал» — путем теракта — руководителя украинских националистов полковника Коновальца*. И как будто не он в конце сороковых принял активнейшее участие в ликвидации бандеровского движения. Он раздражается одой в честь украинской независимости так, будто советское правительство, в целом, и он как представитель государственных спецслужб, в частности, на протяжении всей советской истории только тем и были заняты, что готовили Украину к независимости. И вот, наконец, теперь достигли своего. В этом восторге сказывается сталинская выучка — умение быстро (для высокопоставленной «шестерки» опоздание смерти подобно) понять и признать высшей мудростью любой поворот больной мысли сюзерена. Сюзерена нет, но есть нечто, кажущееся порядком вещей. И вошедшая в кровь необходимость соответствовать ему.. Все это — следствия его участия в убийстве Троцкого. Тогда он ступил на зыбкую почву идеологической безыдейности, лишился того, что Эльза Порецки называет идеологической совестью (атеистический аналог религиозной искренности).

* Я не касаюсь этого подробно не потому, что одобряю, а потому, что этот теракт не противоречил его идеологии, не был изменой самому себе.

А пройти удалось по ней очень далеко. И хотя потом, в «либеральные времена», его сделали «козлом отпущения», он с этого пути уже не сошел никогда. «Коготок увяз — всей птичке пропасть».

Таковы судьбы двух «коммунистов-идеалистов» в нашу эпоху, судьбы людей, прочно связавших свою судьбу с идеократией, с попыткой силой установить некий идеальный порядок на земле — попыткой, у которой уже поэтому не было другой перспективы, кроме как выродиться во что-то отвратительное. У нас это выродилось в сталинщину, в чистую дьявольщину. Я давний враг всех попыток нивелировать сталинщину, но не следует и забывать, что не будь идеократии, нечему было бы так вырождаться.

В создавшихся условиях мои герои выбрали два разных пути. И каждый по-своему пришел к трагическому концу. Один потерял жизнь, другой — благодаря «счастливному» стечению обстоятельств — «только» самого себя. Отказ от коммунизма, от штурма небес, смиренное открытие, что вернее труд и постоянство, то есть стремление улучшать наличную жизнь вокруг себя, а не принимать на себя божественную функцию и создавать новую — к этой коллизии не относится*...

Кстати, в наше время в личном плане и такой путь не гарантировал благополучного конца.

Но он спасал душу.

1999

* Встает вопрос о пути Орлова. Но он спасал только шкуру. Дело естественное, но люди, участвовавшие в том, в чем участвовал он, не имеют права на эту роскошь. Поэтому рассматривать его судьбу нет необходимости — ее нет. Это не значит, что нельзя пользоваться оставленными им свидетельствами. Можно и нужно.

Бомонд над клоакой

Передо мною книга с длинным названием:

М.М. Яковенко. Агнесса. Устные рассказы Агнессы Ивановны Мироновой-Король о ее юности, о счастье и горестях трех ее замужеств, об огромной любви к знаменитому сталинскому чекисту Сергею Наумовичу Миронову, о шикарных курортах, приемах в Кремле и... о тюрьмах, этапах, лагерях, — о жизни, прожитой на качелях советской истории. М., «ЗВЕНЬЯ», 1997. Издательская программа общества «МЕМОРИАЛ».

Я давно уже собирался написать об этой примечательной книге, но это не будет рецензия на нее. И отнюдь не потому, что книга лишена литературных достоинств. Просто интересует меня в ней другое. Я понимаю, что это «другое» не выступало бы так ярко, если бы не литературные достоинства, и благодарно отдаю им дань, но писать буду не о них.

Книга эта, конечно, свидетельство. И свидетельство яркое, неожиданное, хотя никаких новых фактов рассказчица не сообщает, догадки ее о причинах событий, основанные на слухах, ходивших в той средневысокопоставленной среде, в которой она вращалась, не всегда точны (хотя это и само по себе уже информация, но — косвенная). А уж о репрессиях и лагерях рассказано достаточно и без нее. Ценность этой книги в другом — в свидетельст-

вах, которые могут быть переданы, прежде всего, именно художественными средствами...

Чтобы покончить с литературной стороной дела, я приведу два заключительных абзаца из серьезного и квалифицированного послесловия к ней, написанного Ириной Щербаковой.

«Она (то есть автор книги М.М. Яковенко — *Н.К.*) затрудняется определить жанр этой своей книги. Конечно, это и не мемуары в чистом виде, и не литературная записка, и не роман. Тут всего понемногу. Но для нас сейчас важно только то, что перед нами замечательный текст, возникший в результате встречи двух ярких талантливых женщин. Эта книга — их общее творение. Героиня рассказывает о событиях своей жизни, о людях давным-давно «унесенных ветром», автор — о времени.

В основе этого текста — услышанная жизненная история и точно переданная сказовая интонация, которая помогла передать то, что не могут зафиксировать никакие документы: характеры, чувства, ощущения, наконец, мифы ушедшей эпохи. Словом, все то, что создает историю повседневности».

С этой оценкой книги и ее «соавторов» я вполне согласен. Но добавлю все же, что эта «история повседневности» возникает так отчетливо именно потому, что перед нами не просто биография женщины, свидетельствующей о том, что она видела и претерпела, а именно женская биография. Все, что она рассказывает, увидено глазами женщины, озабоченной, в общем, исключительно своей женственностью.

Нет, она вовсе не глупа, не темна, не суперэгоистична. Скорее, умна, культурна и, в общем, добра. Даже к другим женщинам. Правда, не к тем, кто дерзает встать на ее женском пути, — таких она сметает. Причем, не прибегая к посторонним средствам (допустим, через могущественных знакомых — она порядочна), а ограничиваясь опять-таки чисто женскими методами. Умеет проявить свое превосходство и подавить им соперницу. Но такие были ред-

ки. В основном, везде, где она вращалась, она царила беспрепятственно, и на ее корону никто не посягал. В этом она была уверена до конца, и это, по-видимому, было недалеко от истины. И писать бы об этом вовсе не надо было, если бы не тот исторический фон, на котором развивалась ее чисто женская биография, и если бы не те люди и события, с которыми она была опять-таки чисто по-женски связана, и которых тоже воспринимала чисто по-женски, то есть политически и идеологически непредвзято.

Это дает возможность увидеть историческую повседневность времени, в котором она жила, в несколько непривычном, бытовом ракурсе. В том ракурсе, который существенно ничего не меняет в моих, например, представлениях об этой эпохе, но дополняет их новыми красками. Яркая женская биография этой женщины интересует меня поэтому не сама по себе, не из-за особой симпатии или антипатии к ней (точнее к ее образу — женщину эту я никогда не видел), а только из-за той самой «исторической повседневности», которая столь выразительно просвечивает сквозь ее восприятие. Об этом и будет моя работа.

Но разговора о биографии этой женщины и об отношении к ней тоже не избежать.

Отношусь я к этой женщине пусть не очень сложно, но двояко. Симпатизирую ее женственности, сочувствую ее стремлению состояться и даже «царить» в *beaumont'e*, но уж слишком упрямым было то легкомыслие, с которым она не замечала, что этот *beaumont* — над клоакой. Что с первой минуты ее второго замужества все, кто ею восхищался и целовал ей руки, приходили из клоаки и в клоаку возвращались, ибо *beaumont* этот был чекистским конца двадцатых — начала тридцатых годов.

В этот мир она попала не сразу. Перед вторым замужеством было первое. А перед ним девичество до и во время гражданской войны. Родилась она в городе Майкопе, росла в кругах, весьма далеких от какого-либо *beaumont'a* вообще — в семье, относившейся, как теперь говорят, к «среднему классу». Отец ее мечтал разбогатеть, но не смог и так и ос-

тался приказчиком. Но это позволяло ему содержать семью на приличном уровне и даже обеих своих дочерей Лену и Агу (то есть самое Агнессу Ивановну) учить в гимназии.

Этническое происхождение Аги тоже весьма сложное, экзотическое даже для южного города. Отец ее, был греком (девичья фамилия Агнессы — Аргиропуло), а мать — русской сибирячкой с примесью якутской крови. Обои сестрам это пошло на пользу: они выросли красавицами. Мать участвовала в жизни дочерей до самого конца, а с отцом произошла такая история. Он под давлением родственников развелся с матерью, а после гражданской войны с разрешения советского правительства реэмигрировал на историческую родину. Развод не оборвал его связей с дочерьми, а вот реэмиграция, куда он хотел увлечь и их, — оборвала. Тем более, что кончилась она и для него трагически. Греческое правительство реэмигрантам не доверяло, видело в них большевистских агентов и не шибко их впускало. Он так и умер в карантине, где прожил несколько месяцев и заболел. Так что в советской жизни своих дочерей он участия не принимал.

Судя по тому, что Агнесса Ивановна о себе рассказывает, она в юности вовсе не была похожа на тургеневских героинь. Да и просто на интеллигентную девушку с «умственными интересами». Даже не принадлежала к тому кругу, где такие «интересы» у девушки котируются (впрочем, как бы развивались ее интересы, если бы не было революции, неизвестно). Не знаю, выигрывала ли от этого она сама, но мы от этого сейчас, безусловно, выигрываем. Ибо в кругах, где это котируется, такие «интересы» часто имитируются. Это могло задеть и ее и снизило бы достоверность ее «показаний». Но уж чего-чего, а имитации в Агнесе Ивановне не было ни на грош. Она была именно тем, чем была, и никем другим и не хотела ни быть, ни казаться. В этом и ценность ее воспоминаний как историко-психологического источника.

Если же говорить о влиянии на нее в ее юности общей духовно-интеллектуальной атмосферы всей страны,

то и оно было минимальным. В стране все взорвалось и изменилось, но реально Майкопа, города, где родилась, жила и училась в гимназии Ага, изменения не касались сравнительно долго. Несколько лет, то есть большую часть Гражданской войны, в городе стояли белые, то есть продолжалась привычная жизнь. И были кавалеры, воспитанные люди, офицеры, причем иногда такие, о каких раньше уездные барышни и мечтать не могли, каких забросить в Майкоп могли только экстраординарные обстоятельства. Правда, с этим у Аги были связаны и огорчения. Увивались-то эти кавалеры больше вокруг ее старшей, уже окончившей гимназию сестры Лены, она и впрямь была невеста (и скоро стала женой одного из них). А младшая оставалась в тени, как маленькая. Ее это очень огорчало. Но под конец и у Аги завелся роман. И вполне настоящий (конечно, настоящий по тем временам: тогда не считалось, что настоящие романы начинаются с приглашения «у койку»). Герой этого романа, есаул Петровский, дворянин, выпускник университета (физмат окончил), был много старше ее и, как человек порядочный, берег шестнадцатилетнюю девочку. Даже на поцелуи пошел не сразу, а дальше — ни-ни. Если бы не внешние обстоятельства (уход белых), дело бы, может, все-таки кончилось браком, и была бы нормальная жизнь. Но пришлось проститься и уйти. По договоренности с красными город сдавался им без боя, и даже тем офицерам, которые пожелают остаться, гарантировалась неприкосновенность. Но многого ли стоили большевистские гарантии? Кто-то мог их дать даже искренне, а кто-то другой, кто не давал, спокойно бы их нарушил.

А вот муж Лены поверил гарантиям и остался. Зарегистрировался, как положено, и, действительно, первое время жил спокойно, работал где-то. Но недолго. Вдруг пришел приказ всем зарегистрированным явиться на станцию Тихорецкая в такой-то день, в такое-то время, и все кончилось. Лена проводила мужа до Тихорецкой. Ехали на подводе. Муж, прощаясь, плакал. И плакал не зря.

Сначала от него приходили письма, а потом перестали. Как рассказал один случайно уцелевший, всех явившихся расстреляли из пулеметов. Как в Крыму Землячка с Белой Куном*...

Интересно, как восприняла Лена необходимость разлуки с мужем. Проводив его, как нормальная верная жена, она, по ее словам, на обратном пути испытала облегчение, почувствовала себя свободной. От кого, от чего? От мужа, который ей опостылел? Но ведь она могла уйти от него раньше и уж, конечно, не сопровождать его в эту прощальную поездку. Нет, непохоже. Скорее, почувствовала она свободу не от него, а от лежащей на нем — а значит, на них обоих — печати прокаженности. Сама, по своей воле, она бы его не предала, но раз так получилось «само собой» (вряд ли она понимала, что проводила его на смерть), испытала облегчение.

Я знаю многих женщин, которые разделили со своими мужьями трагедию Белого Дела в тягостях эмигрантского и советского «учетного» существования. Я восхищаюсь этими женщинами, но Лену осуждать не берусь. Ей я сочувствую. Но я, мало сказать, осуждаю — я испытываю омерзение к тем, кто счел себя вправе подвергнуть ее (да только ли ее? — всю страну) этому нечеловеческому испытанию. Задело это испытание только старшую из сестер Аргиропуло. Но наверняка отразилось и на младшей, стало памятью и ее сердца, вошло в состав ее личного социокультурного опыта. И навыков.

Впрочем, хватало у нее и непосредственных впечатлений. В начале Гражданской семья Аргиропуло сняла квартиру в доме отставного генерала, доброго старика, который весь день возился со своим садом, пестовал его, гордился им. Охотно рассказывал о каждом растении, с

* Так бывало, по-видимому, чаще всего. Однако какие-то офицеры, состоя на учете в ОГПУ и НКВД, но, скрывая свое прошлое от всех остальных, дожили до войны. По какому признаку отделяли «овец от козлищ», никому не известно. Думаю, что и самим отделявшим.

любовью произносил их названия. И вот что с ним произошло:

«Пришли красные. Генерала убили, «надели», как на вертел, на садовую решетку. Некоторое время он висел так».

Видимо, это произвело на Агнессу сильное впечатление, раз она об этом рассказывает спустя столько лет, после всех своих *beaumont'ов*, этапов и лагерей. Но тогда ей было восемнадцать лет, и ее собственная жизнь занимала ее больше всего. А вся ее дальнейшая жизнь, даже в ближайшие недели, требовала забвения этой страшной картины. Но в этом она была неоригинальна: тогда таких впечатлений, требующих забвения, было много. Для того чтобы выжить, надо было забывать, точнее — не вспоминать. Это забвение тогда и потом было путем и способом жизни и выживания всего населения страны. Ситуация у Аги в этом смысле была стандартно тяжелой — такой, как у всех. К таким стандартам приучили народ заигравшиеся фанатики. Потом эти стандарты обернулись против них самих, но кому от этого стало легче? Страна уже была затянута в трясины.

Мне грустно констатировать способность людей к такому забвению, но на ней держатся все тирании. Ничего не поделаешь — это так. Далекое не все люди способны к адекватной реакции на подобные «вертела» или просто на «таинственные» исчезновения людей; большинство застывает в страхе и хватается за любые утешения и позы. И живут. Но это уже люди взрослые, пожившие. Что же удивительного, что расцветавшую как раз тогда недавнюю майкопскую гимназистку Агу больше всего на свете занимало несмотря ни на что радостное и распространяющее радость ее цветение?

Она цвела. И даже то, что ее с семьей переселили из генеральского дома в более бедное и менее удобное жилище, не очень отвлекло ее от этого. Неудобство этого переселения она ощущала, но это было на втором или на третьем плане. Интересовала ее только сама жизнь, перепол-

нявшая ее, обаяние ее собственной женственности, которой она сама не могла и не хотела противостоять. И ожидания, с нею связанные — естественно, в наличной социальной реальности. Ее можно было бы осуждать, если бы она была воспитана в сознании ответственности за социальную жизнь, но этого не было. Она была умной, часто проницательной, одевалась со вкусом, но интеллектуалкой не стала, да и не собиралась стать. Не потому что не могла — просто интересы у нее были другие. Впрочем, настоящая женственность — это тоже высокая ценность, в том числе и культурная, выработанная веками. И жалко будет, если человечество ее лишится. Ага была от природы расположена к веселому легкомыслию, сама себя так рекомендует, но, как у всех ее сверстников, жизнь ее сложилась так, что думать пришлось о многом, о чем она думать не хотела и в нормальное время бы не думала. Но в нормальное время она бы вообще не прожила такой интересной жизни. И никому не пришло бы в голову записывать устные рассказы об этой жизни.

Хотя жизнь ее все равно была бы полной. Скорее всего, вышла бы замуж за какого-нибудь блестящего офицера, который потом стал бы генералом, или за преуспевающего инженера. Блистала бы на балах не только красотой и нарядами, но и разговором: ей ведь многое было интересно. И предмет особых ее забот — сметала бы своих соперниц, если бы такие возникали.

Впрочем, она относилась к своим приятельницам хорошо. Да и вообще была доброй. И где бы она ни оказалась, на местном или столичном уровне, там бы и царила. И этим бы и удовлетворялась. Абстрактного честолюбия или тщеславия у нее не было. Само собой, были бы у нее и дети. И поскольку была она человеком, в общем, порядочным, никакие моральные проблемы перед ней бы не вставали.

Случившаяся революция внесла существенные коррективы в ее жизнь, но изменила не суть ее женственности, а только обстоятельства, в которых она должна была

проявляться. Ее отношение к ценностям не меняется на всем протяжении ее жизни и рассказа о ней. Много лет проведя в непосредственной близости к высокой политике, она и теперь не выдает себя за когда-либо жившую ее интересами. Ее всегда устраивало, что она просто женщина — красивая и обаятельная, но просто женщина при всех извивах своей и исторической судьбы.

Но перейдем непосредственно к ее жизни. Глава об ее первом замужестве, о первом выборе, начинается с эпизода, прямого отношения к этому не имеющего. Когда Ага оканчивала гимназию, Майкопом уже владели красные, и гимназисткам объявили, что им придется сдавать политэкономия. Прислали специального лектора, на вид весьма хилого, но пылавшего невероятной страстью «ко всем этим коммунизмам и диктатурам» (выражение Агнессы Ивановны). Излагал он им суть учения так: «Вот есть у меня пинжак. И, если у тебя его нет, то я должен его тебе отдать, и я с радостью отдам. Или рубашка, которая, как говорится, ближе к телу...».

Впечатление о «лекторе» Ага выразила кратко и точно одной фразой, завершающей рассказ о нем: «Мы, барышни, смотрели на него с удивлением».

Фраза эта с виду незначительна, но за ней стоит многое. Смешно ли им было слушать такие лекции? Вероятно, смешно, но вряд ли чтобы очень. Это было первое настоящее соприкосновение «барышень гимназисток» с непонятным миром, в котором им отныне предстояло жить. Лекторов с таким языком они на гимназической кафедре никогда не видели и представить себе не могли. Однако он там стоял и говорил. И в удивлении этом наверняка был и привкус отчаяния: если такие люди могут преподавать в гимназии, то что нас вообще ждет впереди? Они ведь не знали, что это всего лишь «милые детские глупости только что родившегося нового строя».

В основном эти девушки относились к тому же «среднему классу», что и Ага — милые, порядочные, привыкшие к культурному быту и обиходу. Среди них могли

быть и будущие интеллектуалки, но о таких Ага не вспоминает. Впрочем, если они и были, то тогда тоже, наверно, были растеряны. Ведь все они были в том возрасте, когда девушки сознательно и подсознательно думают о суженых и об устройстве своей жизни. А как ее устраивать? С кем?

Раньше Ага очень завидовала сестре, ее успеху в офицерской среде, ее замужеству и вообще жизни. А теперь, когда Ага подросла, окончила гимназию и получила свободу маневра, все это оказалось как бы ни к чему: все ушли с белыми. Гимназисты, растерянные, как и она сама, ее, по-видимому, не привлекали. Она, сознавая это или нет, нуждалась в прекрасном принце, в победителе. Неужели в этой жизни оказались победителями одни «пинжаки»? Неужели все, что ей дано (а цену себе она если не знала, то чувствовала), пропадет втуне?

Но скоро она воочию убедились, что это не совсем так. Однажды вечером к ней прибежала ее подруга Лиля, и вот что она ей сообщила: «Агнеска, что ты тут сидишь? Ты что, ничего не знаешь? Еще вчера вошла в город башкирская бригада, а ты тут сидишь взаперти! И командиры у них культурные, интересные. Солдаты у них башкиры, а командиры — ну как белые офицеры! Честное слово, пойдем скорее в городской сад! Как раз они там гуляют. Сама увидишь».

Еще Лиля рассказала подруге о своем конфузе. В городском саду Лиля и ее подруга Ира оказались, вероятно, вполне намеренно рядом с этими командирами. На фуражках у этих предполагаемых кавалеров было, по выражению Лили, «красное нашито». И Лиля — в основном, чтобы показать, что и она не лыком шита, — сказала подруге по-французски (предполагала, что уж по-французски-то те не понимают), что красное — цвет дурака, ибо, как известно, дурак красное любит. Но вышел конфуз: самый юный из командиров, очень еще молоденький, поднял перчатку и по-французски же разъяснил милым барышням, что они ошибаются: красное — цвет не дурака, а свободы. Девушки, смутившись, убежали, но были счаст-

ливы — молоденький командир был идейным, но интеллигентным, вполне им под стать: в жизни опять появилась перспектива.

Агнесса это почувствовала и не заставила себя долго уговаривать, быстро собралась и побежала вместе с Лилей навстречу вновь открывающимся возможностям. Раз и на этой стороне есть такие люди, значит, не все еще потеряно. Недавние их кавалеры, если и были живы, были теперь или еще в Крыму, или уже в Галиполи. Впрочем, может быть, и на родине — в гибельных концлагерях у Белого моря или даже на воле — на учете до определенного времени. Барышни — может, тогда еще даже «кисейные» (почему бы и нет и что в этом дурного?) — им ничем не могли помочь, но понимали, что юность длится не вечно и не повторяется. А эти командиры были здесь и тоже были хорошими, но за ними чувствовалось дыхание жизни и победы. Ни они, ни барышни не знали, что, скорее всего, их тоже ждут трагедии, вполне сравнимые с трагедией Белого офицерства и эмиграции. Барышни мало разбирались в идеях, боялись не их, а грубости и хамства. Теперь появлялась надежда отвести от себя эту угрозу, остаться в привычном для себя мире. Вот они и побежали навстречу этой надежде.

С момента, когда Агнесса побежала в городской сад, чтобы увидеть там красных командиров, похожих на белых офицеров, и началась ее одновременно и советская, и женская биография.

Следует подчеркнуть: она бежала тогда навстречу своему женскому счастью, а не советской идеологии, с которой всегда только сосуществовала, а не сливалась (как было бы, наверно, и со всякой другой идеологией). С идеологией она не сливалась никогда, хотя именно с людьми, осуществлявшими власть этой идеологии, всегда была связана ее судьба. Бежала она не зря, предчувствия ее не обманули. Там и тогда, в этом саду и этим вечером она встретила своего будущего мужа — первого из трех, которые были в ее жизни, — Ивана Александровича Зарницкого.

О перипетиях и развитии ее романа с Зарницким я рассказывать не буду. Отмечу только, что это вправду был роман, что она действительно полюбила, что это не был цинический брак по расчету — таких у нее вообще не было.

Но несколько слов о ее первом суженном сказать все-таки придется. Он был сыном священника и какое-то время — горячо верующим. Но потом отказался от веры и фактически от родителей, поскольку совершенно искренне отправился воевать «за народ». Был ли он тогда членом партии, из рассказа Агнессы Ивановны понять трудно. Потом, когда его подчиненный, впоследствии печально знаменитый Фриновский, «подсидел» его, и он лишился своей должности (что она отмечает), он уже был беспартийным, но вряд ли он был им и к моменту своей женитьбы. В это время он служил уже не в Майкопе, а в Ростове и командовал всеми погранвойсками Северного Кавказа. Беспартийный мог быть военспецом, но не чекистом.

Впрочем, тогда еще ничего не устоялось, и все могло быть. А начальником он был большим. Ему тогда подчинялись и местные органы ЧК. Когда она направлялась к мужу в Ростов и проезжала Армавир, там ее и всех, кто ее сопровождал, по его просьбе опекали — встречали-проводжали, принимали и кормили — местные чекисты. Для нее это были просто мужчины, сослуживцы будущего мужа.

Она в этом смысле — никак, конечно, того не желая — оказалась его злым гением. Потребовала венчания в церкви, а через некоторое время и поездки к его родителям — «клерикалам» — другими словами, восстановления связи с ними. Да и сама она не отказывалась от религии никогда. По ее представлениям, съездить к родителям было обязательно. Все это было выполнено, чем потом не преминул воспользоваться Фриновский, когда «копал» под ее мужа. Но предвидеть такие последствия она по политической наивности не могла. Он никогда не корил ее этим и отнесся к ударам судьбы стоически. А может, даже был рад, что был отстранен от этой работы: он ведь, судя по всему, был порядочным человеком. Такие тоже иногда

примыкали к большевизму даже и во время Гражданской войны, то есть, когда, по нынешнему восприятию, это было наименее возможно. Кстати, в конечном счете, это отстранение пошло ему на пользу: исключенных в начале двадцатых в годы «ежовщины» замечали редко.

Фриновский появился в Ростове, прибыв туда в составе чекистской «бригады Евдокимова», назначенного представителем ВЧК (а потом, видимо, и ОГПУ) по Северному Кавказу. О личности Е.Г. Евдокимова почти никто ничего не знает (лишь должность и инициалы — и то и другое мне известно только из примечания к этой книге), но его фамилия в связи с сыгранной им ролью известна мне давно. В этом смысле он фигура весьма значительная. Можно даже сказать — историческая. Даром, что без лица. Он (во всяком случае, так это выглядело) — изобретатель и инициатор первого абсолютно сфальсифицированного публичного судебного процесса — «Шахтинского дела». Конечно, «первого» — это сильно сказано. Был до этого «Процесс ЦК правых эсеров» с фантастическими обвинениями, но это была расправа с политическими противниками. Тут большевики совершенно искренне были уверены, что «все дозволено» — удалось разоблачить или нет, но засудим врагов! Было от начала до конца высосанное из пальца «Таганцевское дело». Эта фальшивка (из-за которой был расстрелян Н.С. Гумилев) оправдывалась, как им (но только им!) казалось, крайней пропагандистской нуждой доказать трудящимся связь кронштадтских повстанцев с монархическим офицерством и «буржуазной» интеллигенцией. Уж очень трудно было найти «правильное» (то есть соответствующее большевистской фразеологии) «классовое» объяснение Кронштадтского восстания. Но публичным в «Таганцевском деле» был только приговор.

«Шахтинское дело» по мотивам возникновения приближается к «Таганцевскому», но в нем идеологическое оформление играло чисто вспомогательную роль. Правда, именно тогда Сталин выдвинул свой гениальный

тезис-отмычку, что «по мере нашего продвижения вперед растёт сопротивление эксплуататорских классов», — тезис, которым на всю остальную жизнь он обеспечил себе удовлетворение своих душевных потребностей (в наведении ужаса на всё и вся), и который был предназначен исключительно для партийных умников — чтобы заткнулись. Но в случае «Шахтинского дела» власть главным образом заботило не идеологическое неудобство, не стремление идеологически пристойно объяснить неприятный для нее факт (как это было, например, когда случился «контрреволюционный» мятеж «красы и гордости революции»), а желанием запудрить мозги тем, кого идеологические объяснения (и даже несоответствия) мало интересовали, а тем более утешали, — широким массам. Ибо к 1928 году результаты экономической гениальности Сталина стали сказываться на уровне жизни простых людей и, в первую очередь, возлюбленного партией рабочего класса. И Сталин решил объяснить все вредительством «буржуазных» специалистов — инженеров и ученых. Чтобы трудящиеся воочию увидели тех, по чьей вине страдают, кто сознательно им вредит. Между тем бросали с раската как раз тот отряд русской интеллигенции, который наиболее тесно сотрудничал с советской властью и в которой непосредственно нуждался сам Сталин для реализации своих замыслов. Но из замыслов ничего хорошего не получалось, и нужны были виновники...

Инициатива Е.Г. Евдокимова, главы той чекистской «группы», с которой прибыл Фриновский, состояла в том, что он подкинул Сталину карту в масть — нашел конкретное воплощение его замысла: группу инженеров из города Шахты (Ростовская область, российская часть Донбасса) он обвинил в сознательном вредительстве. Обвинение было настолько диким, что и выдавшие виды старые большевики — и тогдашний глава ОГПУ Менжинский, и наркомюст Крыленко — отказались принять фальшивку Евдокимова всерьез. Но это шахтинцам не помогло. «Ценную инициативу» подхватил и «поддержал» Сталин,

который к тому времени (1928 год) уже полностью прибрал ОГПУ к рукам. По моему глубокому убеждению, именно он был подлинным изобретателем этого дела, а Евдокимов только первым выполнил его желание, нашел и «обработал» (избиением и пытками) «объект». Процесс прошел «как надо», как потом такие проходили всегда: «все во всем сознались». Массам показали виновников их страданий. Это было новое. Я отнюдь не из тех, кто склонен преувеличивать умственные способности «корифея наук», но то, что он тонко понимал и чувствовал низменные стороны массовой (а иногда и не только массовой) психологии и умел их использовать, — вне сомнения.

Но сейчас речь не о Сталине, а о Евдокимове. Ни о его личности, ни о судьбе мне ничего не известно. Впрочем, в его конце можно не сомневаться: Сталин не любил оставлять в живых исполнителей своих замыслов. Ясно, что он исчез, но неизвестно, когда и как. Никто этим не интересовался. Ни воспоминаний о нем, ни упоминаний я не встречал. О Миронове хотя бы Агнесса Ивановна вспоминает, рассказывает о своей любви к нему. А о Евдокимове, по-видимому, никто. Похоже, оставил он глубокий след «только» в истории российской, а может быть, и мировой, но не в чьем-либо сердце. Да и в истории это след почти безымянный, осталось не его имя, а последствия его усердия.

Я пишу так много о «Шахтинском деле» только потому, что ранние раскаты этой грозы ударили и по первому мужу Агнессы Ивану Александровичу. Ибо истерия с «вредительством» раскручивалась (во всяком случае, в Ростовской области, вотчине Евдокимова) постепенно. Правда, до «дела» это выглядело все-таки иначе, чем после. Но тоже подло и разлагающе. Тем более, что таких малых «дел» было много.

Происходило это так. Начинались придирки, травля на собраниях с освещением в печати (натравливали рабочих на «антилигенцию»), насылались неграмотные и недобросовестные ревизии и тому подобное. Потом происходил суд при наэлектризованной публике. Тогда ведь

люди еще не предполагали, что сама власть может фальсифицировать дела, а многим социальная демагогия явно была по сердцу. Так что приговор встречался на «ура».

Через все это должен был пройти и Иван Александрович Зарницкий. Он был вышиблен из органов и стал работать в милиции. Но кто-то наверху решил, что его, как человека знающего, с высшим образованием, целесообразно использовать иначе. Его попросили занять должность заместителя директора обувной фабрики. Но поскольку «в директорах там был малограмотный выдвигенец, который ничего не понимал, ничего не делал, только шумел и ругался матом», Иван Александрович стал там фактическим директором и вершил все дела. Ни тот, кто его приглашал, ни он сам, конечно, не могли предвидеть, что начнется такая кампания. Но она началась: повсюду стали искать вредителей и саботажников, и Зарницкий понадобился уже не для работы (черт с ней, с работой!) а для показа, ибо вредителей и саботажников надо было обнаружить и на обувной фабрике — с обувью-то было не очень хорошо.

Дальше буду говорить словами Агнессы Ивановны (конечно, в изложении М.М. Яковенко), ибо короче не расскажешь:

«Нашли какие-то созревшие кожи и тут же состряпали дело. Якобы кожи опрыскали каким-то раствором, способствующим гниению, и дали им залежаться, а лаборатория делала фальшивые анализы и признавала годным то, что не годилось. Обвинили во всем Ивана Александровича и еще несколько человек. Лет через пять они бы ни минуты не пробыли на свободе с таким обвинением, но тогда еще были другие времена, и их до суда не арестовали. Главным «вредителем» сделали Ивана Александровича. Конечно же, беспартийный, попович, с отцом связь поддерживает — как же не вредитель!».

Иван Александрович свое нахождение на свободе использовал с толком: собрал все нужные документы, опровергающие обвинение. А когда начался суд, стал предъявлять их один за другим суду, опровергая ушаты грязи,

которые на него и других выливали оболваненные «свидетели». И, представьте себе, подействовало. Собранностью, мужеством, логичностью он переломил настроение и публики, и суда. Обвиняемых оправдали. Сталин, впрочем, извлек урок из подобных процессов, и вскоре уже никому, чьи дела имели пропагандистское значение, не давали возможности собирать документы в свою защиту. Да и в судьбы на такие процессы допускались только те, кто «понимал», что здесь он должен не судить, а «проводить линию партии и не мешать важному делу». Но тогда еще могло случиться и такое.

Это никак не уменьшает заслуги Ивана Александровича. Потому что уже и при этих условиях переломить ту наэлектризованную обстановку, сложившееся — пусть даже идиотское — предубеждение было совсем нелегко. Он вообще был не только умным, но хорошим, достойным человеком, безропотно тянул на себе всю семью Агнессы, даже когда она от него ушла. И как его занесло в красные офицеры?!

Но тогда еще Агнесса Ивановна от него не уходила и даже не собиралась, хотя у нее уже давно был роман с другим, с ее будущим вторым мужем, в которого она влюбилась без памяти. Этот будущий второй ее муж был тогда в силе, но она оставалась верна ему и тогда, когда он оказался в тюрьме, — пока не узнала, что он расстрелян. Как личность, он в подметки не годился ни первому ее мужу, ни третьему. Так и тянет повторить за Пушкиным: «Сей Грандисон был важный франт, / Игрок и гвардии сержант». Он был не сложнее того, о ком вздыхала в девичестве мать Татьяны Лариной, но обстоятельства его жизни были и сложнее, и страшнее. И требовали от него страшного. И он — главная тема этой статьи.

* * *

Передаю слово опять Агнессе Ивановне: «Я преклонялась перед силой разума Ивана Александровича. Но когда я с восторгом рассказала Мироше (чекисту

Миронову, своему будущему второму мужу, о котором уже шла речь — Н.К.) о суде, он вдруг нахмурился, словно его стегнули.

— И я мог бы так! — сказал он самолюбиво».

Мне кажется, что этот всплеск самолюбия был не на пустом месте. В том-то и дело, что не смог бы. Забегая вперед, скажу, что и не смог, когда пришлось. Потому что не за что было схватиться. Ивану Александровичу постоять за себя было бы куда проще. Отношения души с миром и с людьми, с собственной совестью, были бы у него проще.

Мне не хочется начинать разговор о Миронове с поношений, хотя его чекистские должности, особенно в сочетании с годами, когда он их занимал, к этому располагают. И то, что именно такой человек стал главной любовью Агнессы Ивановны, не делает мне ее образ антипатичным, но, как бы сказать, снижает его.

Впрочем, я уже предупреждал, что пишу не апологию Агнессы Ивановны, хотя и не собираюсь ее осуждать и презирать. Ее упоенное существование в наличном *beaumont'e* и упорное игнорирование того факта, что это *beaumont* над клоакой, что из клоаки выходят и туда возвращаются ВСЕ, кого она покоряет, восхищает, кто ей с восхищением целует ручки, можно понять и простить, но не апологизировать. Но она сама и ее чувства для меня здесь — только критерий достоверности той информации, которой я сейчас буду пользоваться. Я верю Агнессе Ивановне, верю непредубежденности и непосредственности ее восприятия в том смысле, что она воспринимала людей и события именно так, как она это излагает.

Итак, ее возлюбленный. Прежде всего — имя. «Мирошей Сережу звали в семье, друзья и близкие. Настоящее его имя было Мирон Иосифович Король. Но он взял псевдоним (тогда многие так делали) и стал Сергеем Наумовичем Мироновым». Почему он так сделал (тем более — зачем «многие так делали») и когда это произошло, — на этом она внимания не акцентирует. Ее это, наверно, и не

интересовало. Но мне любопытно. Из другого источника мне известно, что подавлением восстания в Чечне он занимался под своим «родовым» именем, его карательный отряд так и назывался: «группа Короля». Когда же и почему он вдруг решил его изменить? И зачем? Неужели, чтобы скрыть свое инородчество?

Происходил он из небогатой еврейской, но имевшей право жительства в Киеве семьи. Стараниями бабушки был водворен в гимназию. Там, несмотря на несомненные способности, учился с прохладцей. Но бабушка и с этим справилась, и, несмотря на скромные успехи, он при процентной норме стал студентом Коммерческого института. Для того, чтобы дать представление о его дальнейшем пути в жизнь и в революцию, предоставим опять слово Агнессе Ивановне:

«В 1915 году его призвали в армию. Он горел патристическим чувством и желанием воевать «за веру, царя и отечество». Я думаю, что хотел и отличиться на войне. Это ему удалось. Он был призван простым солдатом, но вскоре ему удалось выделиться. Когда в 1916 году высочайше было разрешено евреям — но только лучшим из лучших — присваивать офицерские звания, он сразу получил звание прапорщика, а в 1917 году был уже поручиком.

Но вот произошла революция, он снял форму и какое-то время не знал, что предпринять, но с его характером он не мог долго оставаться в стороне и в 1918 году вступил в Красную Армию. В Первой конной Буденного он сразу отличился, был выбран красным командиром и в 1925 году вступил в партию. Революция ему, еврею, открыла все дороги. Это оказалась его революция».

Последняя фраза этой цитаты повторяется в книге многократно, это как бы объяснение и извинение жизненного пути ее «Мироши». Фраза странная. Мало ли кому что где открывается? Это не оправдание. Но фразу эту Агнесса Ивановна не придумала. Мне семьдесят четыре года, а я ее помню с детства. Она вошла в плоть и кровь советского воспитания и казалась естественной. В 1945 году, когда англичане выдали Сталину воевавших против

него казаков, они выдали — уже совершенно противоправно — и нескольких белых офицеров и генералов, которые никогда не были советскими гражданами и ни выдаче, ни обвинению в измене не подлежали. Среди них были и лица с известными именами: Краснов, Шкуро. И вот в помещении, где они содержались, движимые естественным любопытством, появились высокопоставленные советские военные. Не гэбисты, а просто военные — судя по описанию (сделанному племянником П.Н. Краснова — Н.Н. Красновым) люди вполне интеллигентные. Поговорили вполне пристойно с «белыми», называли их вполне уважительно «господами», а потом осведомились: «А говорят, что среди вас тут есть и наши «господа», служившие до войны в Красной Армии?». Получив утвердительный ответ, советский генерал сказал:

«С вами, господа, мне все ясно. Вы всегда воевали против советской власти и вот теперь пошли против нас с немцами. Тут нельзя отказать если не в уважении (генерал знал, где живет — *Н.К.*), то в последовательности. А вот этих «господ» я не понимаю: ведь им советская власть дала все...».

Я отнюдь не так, как этот генерал, отношусь к людям, оказавшимся на «той» стороне: среди них бывали всякие, и причины принять такое решение (по-моему, неправильное) у них были. Но не собираюсь тут полемизировать ни с ними, ни с этим генералом. История наша слишком тяжела и запутанна для таких полемик. Я коснулся этого эпизода только для того, чтобы подчеркнуть живучесть этого представления, сводящегося к странному силлогизму: «Раз тебе дали все, то ты должен быть верен тому или тем, кто дал, кто бы он ни был и что бы ни творил». Кстати, многим (как выдвигенцу-директору ростовской обувной фабрики) «давали» то, чего они не заслуживали, на что не «тянули», за что потом расплачивались другие, а в общенациональном масштабе — вся страна.

Приведенная цитата из воспоминаний Агнессы Ивановны для меня очень важна. Собственно, она и толкнула

меня писать об этой книге. Здесь открывается в «Мироше» нечто такое, что рассказчица, которая смотрела на героя глазами любящей женщины, увидела, но не поняла, иначе бы умолчала. Я отнюдь не собираюсь отрицать существования в дореволюционной России унижительных ограничений для евреев: процентной нормы, черты оседлости, некоторого ограничения на профессии. Они не были тотальны (как всё в России), постепенно даже отмирали, но они были и многих унижали. Я этого не отрицаю, я только утверждаю, что к судьбе «Мироши» это не имело ни малейшего отношения. В чем он был притеснен? В том, что он после гимназии не мог попасть ни в какое престижное учебное заведение, то есть полностью реализовать свои возможности? Но из ее же изложения выходит, что он этой чести и не заслуживал. Другие ведь попадали.

Возможно, у него и впрямь были способности к учению, но он явно не был склонен их перенапрягать, учился с прохладцей, предпочитал как можно дольше оставаться сорванцом и шалопаем. Это, как говорится, его право, но шалопаи — независимо от их происхождения и религиозной принадлежности — в университеты тогда, как правило, не поступали. Да «Мироша» и не чувствовал себя угнетенным. Попав в армию, он с патриотической готовностью и желанием отличиться воевал «за веру, царя и отечество» и — по свойству природы — отличился. И как только в 1916 году было разрешено отличившимся (и все-таки, вероятно, грамотным) евреям присваивать офицерские звания, он был произведен в прапорщики, а вскоре и в поручики. Значит, революцию он встретил в том же чине, что и М.Н. Тухачевский, хотя не был, как тот, блистательным выпускником престижного Александровского военного училища. Так какие дороги ему лично были перекрыты — причем настолько, чтобы при падении этих препон пуститься во все тяжкие, стать чекистом?

Впрочем, он это и сделал не сразу. Скажем прямо, если бы не революция, он бы вообще не догадался, что он революционер. Да и когда она произошла, он, судя по из-

ложению Агнессы Ивановны, скорее растерялся, чем обрадовался. Перечтем: «но вот произошла революция, он снял форму и какое-то время не знал, что предпринять». «Снял форму»! Вряд ли он сделал это охотно, это ведь перечеркивало все, чем он гордился и чего достиг. И что теперь в изменившихся обстоятельствах могло для него (тут он не отличался от остальных офицеров) в иные моменты стать опасной уликой несуществующего преступления. Никаких следов жажды переделать человечество в плане всемирной гармонии (а без этого идеологического компонента коммунизма просто не существует) в его поведении не замечается. Он просто «не знал, что предпринять» в обстановке, свалившейся на него, как снег на голову. Видит Бог, те, кто ждал революцию, как к ним ни относились, принимали ее приход не так.

Однако потом он революцию принял. Почему? Вопрос интересный. Перечтем опять: «...но с его характером он не мог долго оставаться в стороне и в 1918 году вступил в Красную Армию». Так что все дело было в характере и обстоятельствах: больше некуда было ему деваться, а также девать свое честолюбие, вот и вступил. Нельзя сказать, чтобы это обнаруживало в нем, говоря марксистским языком, признаки «критически мыслящей личности» — он их и дальше не обнаруживал. Но и палаческие склонности тоже не обнаруживает. В общем, человек был как человек, как многие другие, кого, как щепку, несло «ветром истории». Только очень честолюбивый. Но и такие «щепки» были тогда не редкость. Это не мешало ему быть храбрым и распорядительным командиром. Насчет военной карьеры своего возлюбленного сведения Агнессы Ивановны явно неотчетливы, подробности и хронология ее не очень занимали. Для нее важно, что он всегда был молодец.

Можно понять, что воевал он в Первой Конной у Буденного, там отличился, был выбран красным командиром, воевал на польском фронте, получал по революционным праздникам поздравления, а то и именные подарки от Буденного. Правда, и от Дзержинского тоже. Но его

связь с Дзержинским началась, видимо, уже после Гражданской войны. Впрочем, в другой роли мы его не видели. Ведь и в Ростов он прибыл в составе чекистской «группы Евдокимова» — той же, что и Фриновский. Последнего Агнесса Ивановна, надо ей отдать справедливость, на дух не переносила с самого начала. Этот человек был подлецом по натуре, а не от обстоятельств. У Агнессы Ивановны было чутье...

Впрочем, «чекизм» ее «Мироши», судя по всему, тогда был еще почти только военным. Он «командовал войсками ВЧК, которые вместе с пехотой Уборевича подавляли в Осетии и Дагестане (в Чечне тоже — *Н.К.*) мятеж имама Гоцинского». Вроде бы и совсем не «чекизм» — на войне, как на войне. Но часть, которой он командовал, безусловно, была карательным отрядом, той «группой Короля», о которой уже шла речь. И инструкции она имела самые безжалостные. Да и соотношение сил не такое, как на войне. Но все-таки тогда он «не расстреливал несчастных по темницам», а участвовал в боях, рисковал, мог и пулю получить.

И, тем не менее, война в составе войск ВЧК была школой «чекизма». Она приучала не только к беспредельной жестокости, но и к вероломству. Орден Боевого Красного Знамени кумир Агнессы Ивановны получил за поимку имама. Поимки, правда, никакой не было, но «группа Короля» действительно загнала имама с его ополченцами в какое-то ущелье, откуда не было выхода. Вероятно, это было не просто и далось недешево. Но там они «предложили ему (имаму — *Н.К.*) сдаться, а за это жизнь и прощение».

На этих условиях имам сдался. Прощение явно задерживалось, но обещание сохранить жизнь на первых порах действовало. Агнесса Ивановна однажды даже встретила этого имама (правда, в сопровождении двух чекистов) в Ростове, когда гуляла с Мирошей. И тут выяснилось, что и насчет сохранения жизни все очень зыбко. Обратимся опять к Агнессе Ивановне:

-
- «Потом имама увезли в Москву.
— Что ему будет? — спросила я Сережу.
Он отвечал, что не знает.
— Расстреляют?
— Возможно».

Некоторое неудобство он, видимо, все же чувствует, отсюда и лаконичность ответов: «не знаю» и «возможно». Как-никак, сам от имени советской власти обещал этому имаму прощение и жизнь, а что теперь решит эта власть, он не знает. Но в этом «возможно» есть и привычка к «высшим соображениям», свойственная вообще «творцам новой жизни», к которым он приобщился. Которая позволяет не вдаваться в эти материи и «подробности» и как-то нивелирует его вероломство, обеспечив привыкание к таким «нормам бытия». Это своеобразное «воспитание чувств». Так, подобным привыканием, и воспитывался «новый человек» — не человек и гражданин, не социалистический «ангел во плоти» (освобожденный от материальных забот, а потому и от дурных качеств), как несколько веков мечталось всякого рода утопистам, а безжалостный и бессовестный функционер, способный выполнить самое преступное задание своего руководства и воспринимать получаемые за эту «ответственную работу» незаконные привилегии как нечто заслуженное и совершенно естественное. И за посягательство на эти привилегии — имеются в виду не только материальные, но размах, важность, карьера — он готов был ненавидеть и расстреливать «белогвардейцев», имамов и кого угодно. Конечно, эти привилегии были освящены «идейностью» (как тоже нечто необходимое для быстреего достижения торжества справедливости), но при этом и удобны, и особенно приятны потому, что окружающая жизнь становилась, мягко выражаясь, все менее удобна.

Кончил он плохо. Это можно было и предвидеть. Но он, как и Агнесса Ивановна, не был интеллектуалом. Он больше был расположен к действию, чем к размышлению. От этого конца сравнительно долго отделяла его

жизнь, полная таких возможностей, какие ему раньше и сниться не могли не столько как еврею, сколько как нерадивому гимназисту. И вообще так быстро возвыситься можно было только при общем смещении ценностей. Так что ему было за что быть преданным революции — правда, не по тем причинам, которые имела в виду Агнесса Ивановна.

Безусловно, его драма — драма соблазна. Но это не соблазн ложной веры в улучшение экзистенциальной сущности человека. Как здесь уже отмечалось, его это не очень занимало. В отличие от чекистов, посещавших салон Бриков, он не был левым интеллигентом. Он вообще не был идеологичен. Хотя Агнесса Ивановна заметила его и ближе с ним познакомилась именно на идеологических мероприятиях. Первый раз она его увидела в Ростове на общегородском митинге, посвященном дню Красной Армии. Вот как она описывает этот митинг:

«Ораторы были малокультурные, неинтересные — наши ростовские *партийные*. И вдруг на трибуне появился совершенно незнакомый мне человек, весь в черном, в кожаном, в фуражке, с наганом у пояса. Говорил он что-то про мировую революцию, про интервентов, которых отогнали, но которые зарятся опять на нас напасть».

Ну и дальше в том же духе. Агнесса Ивановна говорит, что она не слушала, только любовалась этим оратором. Все так. Но и не слушая, она кое-что запомнила и, если бы было в его речи еще что-то, она бы тоже заметила и запомнила — женщина она была умная и чуткая. Просто остальные «партийные» были мало культурны, а бывший гимназист был опять-таки свой, «культурный», к тому же красивый и динамичный.

Потом это впечатление забылось. Но вот жен комсомола вызвали в штаб и сообщили им, что они погрязли в мешанстве, интересуются только тряпками и, дабы они не отставали от своих мужей, будут отныне каждый вторник приходить на курсы по овладению политграммотой. Интересно она рассказывает об этих курсах:

«И вот мы сидим и болтаем, а сами оглядываем друг друга, кто как одет, у кого какой кулон на шее, у кого ожерелье из настоящего жемчуга или поддельного и т.п. Многие были одеты богаче, чем я, но безвкусно...»

Жены комсостава, судя по этому описанию, избавляться от мешанства не собирались. И как их мужья могли им обеспечить такое соревнование драгоценностей? Из каких источников? И что это? Награбленное их мужьями во время Гражданской войны или централизованно распределенная между ними часть награбленного? Ведь это еще первые «романтические» годы советской власти, мечта моего отрочества и юности...

Политически просвещать этих женщин в порядке общественной нагрузки явился тот самый оратор с митинга, который ей тогда понравился. Вблизи он оказался еще красивее и значительнее. Короче, все его подопечные влюбились в него, старательно записывали все, что он говорил, чтобы повторить. И наша героиня, чтобы не ударить лицом в грязь, — тоже. Потом и мужа попросила, чтобы он ее поднатаскал, и на следующее занятие явилась во всеоружии. «Не выдержала, подняла руку. Миронов кивнул мне, дал слово, и я так отбарабанила ему про интервенцию и зловредную Антанту, что он нахвалиться не мог». Другими словами, всех затмила, стала первой ученицей и, главное, была им замечена. С этого и начался их роман. «Вот когда я была политически грамотной! Единственный раз в жизни! Боже мой, у другого я эту скучищу и слушать бы не стала! Но даже скучищу эту Мироша преподносил интересно. Мироша, Мироша, какой он был способный!»

Фразы эти все невинны. И хорошо, что в этот, «романтический» период нашей истории жен краскомов больше занимала их женственность, чем «высокие» матери, иначе бы жизнь прекратилась.

Агнесса, конечно, отличалась от других вкусом, культурой, но не по существу. Ее так же, как и остальных, заинтересовал оратор, а не его «проповедь». И, по моему сего-

дняшнему восприятию, ее можно понять. Это действительно «скукотища» — все эти «мировые революции», «Антанты» и прочее. «По моему сегодняшнему восприятию»... Но в юности у меня восприятие было другое, эти слова жгли. Жгли ностальгией по временам «настоящей веры», то есть как раз по тем временам, когда жены краскомов повышали на курсах свою политическую грамотность.

А как воспринимали эти слова их мужья? Безусловно, среди них были и такие, для кого эти слова вовсе не были скучны или пусты, — сознательные фанатики (среди женщин они тоже встречались). Были еще и беспартийные «военспецы», которые в массе считали, что служат не «Третьему Интернационалу», а России, которая ни в каком случае не должна оставаться без армии, и с них в этом смысле взятки гладки. А остальные?

А остальные, я думаю, служили за то, что революция открыла им все дороги, и это считали идейностью. То есть каждый на свой салтык были, как «Мироша». Конечно, участия в разрушении своей страны такая цель оправдать не может, она не адекватна творимому. Но все же это еще в рамках человеческого. Конечно, и адекватная творимому утопическая задача — экзистенциальное исправление человечества — тоже не может оправдывать преступления, более того, оно превращает преступление в последствие личного выбора, усугубляет вину. Но эта противоестественная адекватность повышает и ответственность, а с ней часто ощущение тупика и поиски выхода из него.

Но вот благодарность за открытие дорог (а ничего иного Агнесса Ивановна при всей своей чуткости у своего «Мироши» нащупать не могла) ни к чему такому не располагает: только к «преданности» и «верности», но никак не к ответственности. Таких, как мы говорили, было много, и судить их строго не стоит.

«Мирошу» от большинства из них отличает только то, что его занесло на передний край идейности — в ВЧК–ОГПУ–НКВД, что, так или иначе, ему, в отличие многих других, «расстреливать несчастных по темницам»

все-таки пришлось, а этого *открытие* (ему лично) *всех дорог* оправдать уже никак не может.

Еще раз подчеркиваю: любовь Агнессы Ивановны к «Мироше» была чиста от материальных расчетов. Когда они решили жить вместе, у их любви было, по его выражению, шесть лет «подпольного стажа», и она вовсе не торопилась выйти за него замуж, не зарилась на его материальные возможности. Поженились они только потому, что продолжать эти «подпольные» отношения стало невозможно. Ибо «Мирошу» перемещали с Кавказа, где служба давала ему возможность сравнительно часто посещать Ростов и встречаться с Агой, в Алма-Ату, откуда так просто не приедешь, да и официального повода не будет.

Видимо, это не устраивало обоих, и он увез ее прямо со свидания, в чем была. Произошло это просто, почти само собой. Она пошла его проводить, вошла с ним в купе на минутку, да так там и осталась. И поехала, ужасаясь, что оставляет так неожиданно Ростов, а там своих мать и сестру на попечении ни о чем не подозревающего мужа. Правда, сначала она собиралась вернуться с первой же станции, потом со второй, потом уже из Москвы (путь ее «Сережи» — так она его теперь называла — в Алма-Ату лежал через Москву, где у него еще были дела). Странное это намерение — вернуться после такого отъезда. Но на то и любовь, чтобы подминать под себя логику. Какие могли быть при этом расчеты? Вела ее именно любовь.

Начиналась другая жизнь. Когда она чуть опомнилась и, естественно, ужаснулась тому, что уехала в чем была — в легком платье, жакетке и с маленькой сумочкой в руках, оказалось, что для «Мироши» это не проблема: «Не беспокойся, мы все-все купим, у тебя будет все», — говорил он.

И действительно: «В первый же день мы пошли вместе в магазин, и я выбирала все, что мне нравилось, а он только платил. Мне хотелось то и то, запросы мои все росли, я иной раз стеснялась, но он замечал, что мне нравилось, и покупал все. Правда, не все уже тогда можно было найти».

Хочу напомнить, что это «не все уже тогда можно было найти» в нашей стране всегда совпадало с тем, что не всем (далеко не всем!) можно было купить и не все из того, что продавалось. Но с этим, похоже, у ее возлюбленного проблем не было. И это ей понравилось. Не вернулась она в Ростов (не рассталась навсегда со своим «Мирошей») не из-за этого: его «могущество» она обнаружила гораздо позже, чем полюбила. Но, конечно, оно ей импортировалось.

А он сам? Воюя на Кавказе, он ни разу не предложил Аге стать его боевой подругой и разделить с ним радость борьбы за освобождение трудящихся Востока: для этих нужд у него была другая, более идейная жена — Густа. Но теперь, когда перед ним открылись иные перспективы, он в личной жизни освободился от тенет идейности. И стал хотеть того, что ему на самом деле было нужно: чтобы его жена была, прежде всего, настоящей женщиной. Он сам в этом потом ей сознавался. Что ж, на мой взгляд, это вполне естественно, это нужно каждому настоящему мужчине. Но с тех, кто поет: «Мы наш, мы новый мир построим!» и сурово внедряет в жизнь такое отношение к вещам, другой спрос. Ибо нехорошо (скажем по-детски) продолжать насильно гнать людей в мир новых ценностей, при этом то и дело открывая для себя прелесть старых и позволяя себе в качестве привилегии право пользования ими.

Но тогда этим двоим, как всем любящим, было не до таких мыслей и прозрений, и в Ростов к мужу Агнессы Ивановна не вернулась. Она стала законной женой любимого ею и любящего ее «Мироши-Сережи». Произошло это в 1931 году, на старте его феерического взлета, в начале обретаемого им могущества. Тогда она и получила допуск в тот *beau monde* над клоакой, о котором я, собственно, и пишу. Получила в связи с тем, что сам он получил доступ в самую клоаку: его назначили заместителем полномочного представителя ОГПУ по Казахстану: полпредами тогда назывались послы, но ОГПУ, видимо, любило звучную таинственность. В переводе на современный

язык его должность называлась бы «Заместитель начальника казахстанского управления ОГПУ». Тоже красиво. По-видимому, это была его первая чекистская должность. И получил он ее, вероятно, в порядке очередной махинации Вождя с заменой кадров.

Безусловно, преступным и жестоким учреждением ВЧК–ОГПУ была с момента своего возникновения. Не случайно к работе этого учреждения в качестве «социально-близких» часто привлекались самые настоящие уголовники (которые и вели себя соответственно). Но это не главное. Преступниками с самого начала были, прежде всего, интеллектуальные руководители этой организации, ее «мозговой центр», даже если субъективно ощущали себя честными людьми и, допустим, в отличие от многих «соратников», не присваивали конфискуемого имущества и взяток не брали. Например, Дзержинский. Преступниками они были просто потому, что взялись быть «карающим мечом партии». Партия в самом идеальном случае есть группа частных лиц, объединенных общей целью, и никакого права на свой «карающий меч» она не имеет. Но почти с самого начала и чем дальше, тем больше, это учреждение становилось «карающим мечом» даже не партии (образования хоть и дисциплинированного, но аморфного), а партократии, готовой на все ради удержания власти. И эта вседозволенность развращала (даже и в самом примитивном смысле) и саму партократию. Так что ничего хорошего во всех своих звеньях и в свой «романтический» период (выдуманный, как мне кажется, писателями-«попутчиками») это учреждение никогда не представляло. А прибранная к рукам Сталиным, то есть приблизительно года с 1928-го, сотворив за это время по его подсказке несколько фиктивных публичных процессов (Шахтинский, меньшевистский, Промпартии, историков), эта организация к 1931 году уже была полностью разложившейся даже в своей «партийной» функции. Конечно, все это были проделки чекистской «элиты», непосредственно якшавшейся с Вождем, но элита и создавала

тот общий моральный климат, тот воздух, которым дышали, в частности, и «полпредства» на местах.

А ведь «место», о котором идет речь, Казахстан 1931-го, — давнее (по тогдашним советским меркам) место ссылки всякого рода социалистов и менее давнее — коммунистов-оппозиционеров. Теперь он вдобавок стал местом, где не только, как везде, проводится коллективизация и раскулачивание, но и куда (а не только откуда) депортируются раскулаченные, и где их часто высаживают из теплушек прямо в пустую снежную степь: как хотите, так и выживайте.

Я в Караганде снимал квартиру у людей, которые это пережили сами. Они все претерпели и выжили, но — многих близких похоронили. Люди, особенно дети, мерли там, как мухи. И отвечало за все подобные «операции» как раз то учреждение, в котором новый и любимый муж Агнессы Ивановны ехал занимать «видное» положение. Хотя вряд ли он тогда до конца представлял, с чем это «положение» сопряжено. Впрочем, он не имел права делиться с ней служебными впечатлениями, а она не больно этим интересовалась. Но вот что происходило на уровне ее посвящения: «В первый же день завхоз принес мне груды отрезов крепдешина, я взяла. Миронов рассердился: «Отдай все!».

Мне пришлось идти к завхозу домой. Его жена удивилась: «Что, неужели не подошло?».

Так сказать, устоявшийся быт. Особенно мило удивление жены завхоза. Мила и сама Агнесса Ивановна, решившая, что раз принесли, значит, все в порядке. Неожиданна для меня такая «интеллигентщина» в Миронове. Видимо, он привык быть карателем (перед новым назначением он, видимо, участвовал в подавлении чеченского восстания против коллективизации, которое тогда как раз развернулось), но не сатрапом.

А нравы в Алма-атинском ГПУ были более чем простые. Полномочным представителем ОГПУ, то есть прямым начальником Миронова, был некто Каруцкий, в ка-

ком-то смысле коллекционер: собирал порнографию. Он был вдовцом. Жена его недавно покончила с собой, не выдержав разлуки с сыном, еще совсем мальчиком, которого по настоянию мужа отправила к бабушке: ребенок был от ее первого брака. Все бы ничего, но первый ее муж был белым офицером (что делать — «барышни» во время Гражданской войны иногда выходили замуж без должной политической сознательности!), он с этим ее недостатком мирился, но последнее время «полпреду» стали этим колоть глаза: дескать, коммунист, чекист, а пригрозил белогвардейского отпрыска. Это было опасно, так можно было и «полпредства» лишиться. Вот он и поступил как коммунист: велел жене отослать ее классово-чуждого сына подальше. Впрочем, это вообще соответствовало его облику.

«Каруцкий очень любил женщин (оставим на совести рассказчицы этот эвфемизм «любил», мало подходящий тому, что она имеет в виду — *Н.К.*), и у него был подручный Абрашка, который ему их поставлял. Высматривал, обхаживал, сводничал».

Отметим вскользь, что, выходит, Лаврентий Павлович был среди чекистских кавалеров не новатором, а традиционалистом, и вернемся к Агнессе Ивановне. Дело в том, что этот Абрашка стал «подбивать клинья» и под жену Миронова. Тот приходил в ярость, кричал жене: «Гони его!», но Абрашка был профессионал: то одно принесет, то другое — втирался. Но однажды Миронов пришел мрачный и сказал: «Теперь я знаю, зачем Абрашка приходит. Каруцкий посылает меня на месяц в командировку для инспекции по всему Казахстану. Это он нарочно, чтобы я уехал, а ты бы тут одна осталась. Может быть, ты это хочешь, не знаю...

— Сережа! Этот пузатый Каруцкий!

— Не хочешь? Ну, тогда... Что если мы его перехитрим?! Мне ведь дают целый вагон... Поедешь со мной?

— А можно?

И я поехала с Сережей в командировку».

Перехитрили. Только и всего. Следовательно, у начальников такого ранга возможность так себя вести и

иметь при себе такого «Абрашку» была уже тогда. И уже тогда такой человек, как Миронов, силач (гнул монеты в ладони), храбрец (наверняка георгиевский кавалер, а иначе не видать бы ему офицерского чина), вместо того, чтобы при всех дать этому гадкому склизкому сластолюбцу в рожу, как всегда в России били подлецов, должен был спасти от него свою законную жену, увозя ее, «аки тать в нощи», хотя «тать» тут был совсем не он. И независимо от нашего отношения к самому Миронову и его биографии, это его унижение касается всех. Ведь все это творилось на глазах у многих и утверждалось как порядок вещей. Как право, которым наделяются не все, а особо заслуженные. Такой становилась атмосфера в стране, где мы все жили.

Каруцкий исчез из памяти людской (воскресила его только Агнесса Ивановна), но Абрашка не исчез. При Л.П. Берии его функции выполнял полковник Саркисов... Надо сказать, Берия в качестве чекистского героя-любownika был предусмотрительнее Каруцкого: он соперников удалял (а в отдельных случаях и устранял) более мастерски. Впрочем, у него и возможности были другие: он мог использовать всю мощь сталинского государства. Каруцкий же был на предыдущем витке прогресса, в его возможностях было только в командировку на месяц соперника услатить, а это, как оказалось, средство ненадежное.

Впрочем, Абрашка не исчез вместе с Каруцким не только как явление, но и персонально. Приходилось мне читать, что был такой и в свите Абакумова. И по описанию (которое я когда-то где-то читал) очень похоже, что это был тот самый алма-атинский Абрашка, он ведь и в Москве навещал Мироновых. Так ли это и пережил ли этот «чиновник по особым поручениям» при Абакумове самого Абакумова, я не знаю. Конечно, если это тот Абрашка, то при бескомпромиссном антисемитизме Рюмина мог и пропасть. Но не так это мне интересно. Пропадали в этом застенке и при Рюмине, и до него, в больших количествах гораздо более достойные люди. О них и стоит скор-

беть. Как и о том, что в судьбоносный период истории страны под контролем человека, нуждающегося в услугах такого Абрашки, оказалась громадная территория, населенная живыми людьми. Та самая Казахская АССР, куда выехал в сопровождении жены инспектировать Сергей Наумович Миронов.

К сожалению, мы лишены возможности увидеть то, что он инспектировал, глазами самого Миронова; будем довольствоваться тем, что видела его жена. Напоминаю: он не имел права и не любил говорить с женой о своих служебных делах, а у нее не было потребности вникать в эти «чисто мужские» дела. Она и не вникала. Но жизнь проникала в нее сама. Поездка в комфортабельном салоне-вагоне по Северному Казахстану была в высшей степени приятной. Правда, за пределы вагона она, южанка, выйти не могла — мерзла. «Тогда мне доставили доху, мех вот такой — в ладонь ширины, густой! Я в нее закуталась — и куда угодно, в пургу, в мороз! Мне тепло».

С этих пор и до ареста Сережи ей вообще все, если нужно было, «доставляли». По-видимому, с неба. Но ведь это было так естественно: красивой женщине — закутаться в доху, когда вокруг холодно, или жить с любимым в такой приятной обстановке, где повара, они же проводники, «готовили на славу», и где всегда было из чего готовить («мы везли с собой замороженные окорока, кур, баранину, сыры, в общем, все, что только можно было везти»). А вокруг...

Что бы ни было вокруг, поездка, в общем, была очень приятной. Но вот странность, которую она стала замечать: «Все бы хорошо, только почему-то Сережа с каждым днем становился все молчаливей, угрюмей, даже я не всегда могла его растормошить».

Действительно, с чего бы мрачнеть инспектору ОГПУ в Северном Казахстане в конце 1931 года? Когда все так приятно. Но кое-что разъяснилось, когда поезд стоял на заснеженном полустанке у поселка «Караганда», уже тогда громко именовавшегося городом. Часть населения

вагона, сотрудники Миронова, пошли посмотреть, «что за Караганда», Агнесса Ивановна хотела пойти с ними, но «Сережа не пустил». Однако потом, когда «экскурсанты» вернулись, а муж уснул, Агнесса Ивановна пошла послушать, что они видели. Оказалось, что весь «город» состоит из хибар, наскоро склоченных «высланными кулаками» (так выражались рассказчики). В магазине одни пустые полки, про хлеб продавщица сказала, что они «забыли, как и выглядит» и вообще она не работает, не торгует: нечем. Только где-то заваялась бутылочка ликера (самый необходимый товар для «высланных кулаков» — *Н.К.*). Она предложила пришедшим взять ее. «Взяли. Разговорились с нею. Она рассказала: «Сюда прислали эшелоны с раскулаченными, а они все вымирают, так как есть нечего. Вон в той хибарке, видите отсюда? Отец и мать умерли, осталось трое маленьких детей. Младший, двух лет, вскоре тоже умер. Старший мальчик взял нож и стал отрезать и есть, и давать сестре, так они его и съели».

Все помолчали, потом попили горячего чая и... отвлеклись. Про голод они, оказывается, в отличие от жены своего начальника, уже знали. Потрясенная, она рассказала про это мужу, но, оказывается, и он про это знал.

«Знаю, — говорит, — заходим в домишко, а там трупы... Вот такая командировочка». Он очень тогда переживал, я видела...», — вспоминает его жена. Еще бы не переживать! Но именно к этой «командировочке» привели бывшего киевского гимназиста и поручика российской армии «все дороги», открытые ему «его» революцией! Лично он именно тогда окончательно ступил на тот магистральный путь, который вел через гибель других к его собственной.

Другого выхода теперь уже не было — только психологическая самоанестезия. Вот продолжение цитаты:

«...Но он (ее «Мироша» — *Н.К.*) уже старался не задумываться, отмахнуться». Эта фраза позволяет вылить на ее «Мирошу» и на нее саму ушаты грязи. Но как раз по этому поводу я не собираюсь на них «катить бочку». Ибо вот где

уместно сказать: я теперь обращаюсь ко всем, кто тогда жил или родился от живших тогда в СССР: кто из вас без греха, киньте в него камень!.. Разве мы всей страной не отмахнулись от этих детей и взрослых, разве не жили так, словно этого не было? Даже теперь, когда я с горечью вспомнил о веселом и счастливом смехе, которым киевляне, жители города, с тротуаров которого только недавно убрали трупы умерших от голода крестьян, сопровождали демонстрацию фильма «Веселые ребята», мне указывали на то, что я слишком жесток, сетую на то, что люди получили возможность забыться. Вот и забывались, хотя те, кто вымарывал этих людей, продолжали править нами и только входили во вкус. И в этом Миронов ничем не отличается от всех нас. И я обращаю сейчас внимание не на это, а на то, что он во время этой своей «командировочки» с каждым днем становился мрачней и угрюмей, что такие впечатления не проходили у него от глотка горячего чая в «своей» компании. Это говорит о том, что кое-что человеческое в нем тогда все-таки еще оставалось. Отчасти, наверно, потому, что он, как уже говорилось, только сейчас заступил на такую должность. А значит, не он лично высылал сюда этих несчастных и не он устраивал им такую жизнь на новом месте.

Кстати, тут к сталинскому беспределу мог быть в какой-то степени (незначительной на общем фоне, но во все же) добавлен беспредел жестокого равнодушия Каруцкого и таких, как он. Что ни говори, реально Миронов столкнулся с этой проблемой только сейчас. Конечно, к этому времени он, скорее всего, был уже преступником, но, по-видимому, бессмысленным палачом сталинской формации («сталинским псом», как он потом выражался) он тогда еще не был. Только становился. Конечно, отмахнуться от этих страшных впечатлений хотели все, но все отмахивались при этом от того, что должны были сами продолжать делать. А ему надо было и продолжать, и покрывать эту «работу».

Конечно, вина Миронова тяжелее, чем вина большинства его сограждан. Но нельзя забывать, что и их (на-

ша) вина была и имела значение. Хотя я не знаю, что бы мы могли тогда сделать? После того, как люди (не чета Миронову — такие, как Бухарин и Рыков) из верности партии (и причастности к ее преступлениям, которые должны были окупиться в будущем) позволили Сталину завести страну в такой тупик, в такое царство торжествующей патологии, откуда выхода уже не было ни для кого. А может, нет и сейчас. Для того, чтобы сойти с пути, на который ступил Миронов, нужно было быть личностью гораздо более крупной, чем он. И даже чем Бухарин и Рыков. Что ни говори, они что-то из себя представляли, потому у меня к ним и претензии. Да и сойти Миронову все равно уже было некуда, кроме как в могилу.

Конечно, никто, даже самый благородный человек (редкие исключения не в счет) не может перестать есть и пить, перестать жить из-за того, что другие голодают и умирают. Но ведь тут речь идет о тех, чьими руками (пусть даже не волей, только руками) этот голод устроен. Какие «интервенты» (кроме нацистских), разгромом которых он так гордился, были бы страшней для тех «трудящихся», которых такие, как он, «освобождали от нужды»?

Но такие мысли, может быть, приходили в голову Бухарину (и то он гнал их и, как я слышал, позволил им утвердиться в своем сознании только перед казнью), а уж Миронову такие духовно-интеллектуальные подвиги, видимо, были не по силам.

Он не мог переступить через жизнь, которая у него сложилась именно так. И не мог от отказаться от того, что она ему давала. Например, доставлять своей очаровательной жене те невинные, но весьма дорогостоящие радости, которые приводили ее в восторг. Только его «ответственная», как тогда говорили, «работа» могла предоставлять ему такие возможности, это чисто мужское удовольствие. Как говорится, спасибо, что он хоть какое-то время сохранял способность ужасаться и мрачнеть перед тем, как отмахнуться и забыть.

Да ведь и жена его отмахивалась. Ей ведь тоже нравилась эта жизнь и до, и после того, как услышала историю о детском людоедстве и о «домишках», где одни трупы. Она сочувствовала, ужасалась, но это было вне ее жизни. А ее жизнь, которая протекала и далеко, и одновременно рядом с этим страшным, ей нравилась. Нравилась, потому что она жила с человеком, которого она любила. Нравилась потому, что он все-таки отличался от начальственного жлобья — был и удачливый, и все-таки свой. Например, он не строил из себя перед подчиненными, которых к тому же прибыл инспектировать, большого начальника, а обращался с ними по-товарищески:

«Завтра мы начнем работать, — сказал он дружески (начальнику петропавловского отделения — *Н.К.*), — а сегодня приходите к нам с женой на обед, у нас будет жареный поросенок».

Конечно, простота в отношении с товарищами — качество прекрасное. И если бы не фон, можно было бы умилиться. Но от «фона» отвлечься нельзя. «Жареный поросенок», столь весело, дружески и демократично предлагаемый «товарищам» после того океана человеческого горя, по которому он только что плыл в полном всяческой изысканной провизии салоне-вагоне, не может не коробить. Конечно, ему хотелось отвлечься от страшных впечатлений в компании понимающих (то есть, виноватых в том же) людей. Это понятно. Но к чему тогда относилась та «преданность» ее Сережи, о которой столь часто вспоминает Агнесса Ивановна? Впрочем, и сталинские энкаведисты, с самого начала жившие принципом «падающего подтолкни!», тоже всегда, особенно, когда летели вверх тормашками, оправдывались своей «верностью». Но к чему могла относиться такая «верность», если не к поймавшему их на свой крючок дьяволу?.. А, в общем — шла жизнь. Вечером местные начальник с женой, действительно, навестили их в салоне-вагоне. Агнесса Ивановна принимала гостей, оценивала красоту, вкус и туалеты своей гостьи Ани — вела светскую жизнь. Нет такой клоаки, в которой не было своего *beaumont'a*...

Правда, это был такой *beau mond*, где высокопоставленная гостья могла устроить истерику повару, случайно пролившему ей на платье соус, но уж какой был! Впрочем, по сравнению с теми, кто сменил ее мужа (который все-таки пытался ее урезонить), она была гуманисткой. Повар, правда, стоял ни жив ни мертв, но подумаешь: истерика! Через несколько лет, при других, более «современных» начальниках, если такое случалось на приеме у Сталина, до истерик (истерика все-таки связана с человеческими отношениями) никто не унижался. Просто в кухню выходил Берия и «наводил порядок» (государственный, конечно) — и человек исчезал. Берия был не сумасшедшим, но царедворцем, квалифицированно обслуживавшим сумасшествие, а иногда его и использующим. Но о Берии потом. Разговор идет об еще «честном и гуманном» периоде ОГПУ, уже полностью подмятого под себя Сталиным. Об его *beau mond'e*.

На следующий вечер местный начальник давал ответный обед прибывшим гостям. «Там-то был пир, так пир! Много всяких прислужников, слуг, каких-то подхалимов, холуев. Подавали всякие свежие фрукты, подумайте, даже апельсины. Ну, уж про мороженое всяких сортов и виноград и говорить нечего».

За таким столом, зимой, в Сибири (Петропавловск расположен между Курганом и Омском) кому захочется вспоминать об окружающем голоде и детском людоедстве? Это даже выглядело бы неприлично. Кругом серьезные сознательные люди, получившие все эти блага (для себя и семьи) за исполнение важных и тяжелых функций. Ведь надо же им и отдыхать от этой тяжести! Чего же к ним лезть с этими неправдоподобными умирающими детьми и тому подобным? Что они, сами не знают? Знают, но понимают! А ты куда лезешь со своей мещанской жалостью, да еще к классовому врагу? Только следишь лаптями на паркете, когда заслуженные люди отдыхают, управляешь им заслуженную светскую жизнь!

Но никто с этим и не лез. Тем более, что высшее «понимание» этих людей заключалось в приобретенном на-

выке отмахиваться от того, что ужасает, и усиленно верить, что «там» (пока еще не «ОН», а «там») знают, зачем это нужно. Этого никто не говорил, но сама обстановка, в которой они жили и сами стихийно создавали, это внушала. Так они действовали друг на друга и друг друга поддерживали... Эта обстановка выглядела присущей жизни и определяла критерии престижа. Конечно, для тех, кто с ней духовно взаимодействовал.

Агнесса Ивановна была одновременно и вне ее, и внутри, продолжала верить в Бога и мерилась с гэпеушными дамами красотой, туалетами, «культурностью» и вкусом. Главным в ее жизни была любовь к мужу при полном отсутствии интереса к тому, чем он занимается на работе. Его сотрудники, тот же Каруцкий, занимали ее только как светские знакомые. И о том, за что ей был обеспечен уровень жизни, роскошный по любому времени, а не только в обстановке голода, она тоже не думала, принимала как данность.

А голод в Казахстане был страшный. И не только среди «высланных кулаков». Еще страшнее (мне рассказал об этом поэт Олжас Сулейменов) сказались коллективизация на аборигенах. Дело в том, что казахи в большинстве своем были скотоводами и никакой пищи, кроме мяса, не представляли, все остальное, включая хлеб, считали приправой, «травой». Спасаться лебедой или крапивой они просто не умели. И когда у них стали отбирать (пardon, «обобществлять») скот, им стало нечего есть. Кто мог (существенная часть казахского населения и почти все уйгуры), ушли в китайскую провинцию Синьцзян, а остальные стали умирать. Толпы голодных казахов бродили по Ташкенту и умирали на улицах. Казахстан, по словам Сулейменова, лишился половины своего коренного населения. За точность цифр я ручаться не могу, но ясно одно: Казахстан тогда благодаря «гениальной решительности» Сталина и духовной безответственности большевистской партократии постигла, говоря по-нынешнему, «гуманитарная катастрофа».

А учреждение, в котором занимал столь высокую должность муж Агнессы Ивановны Сергей Миронов, имело к этому «мероприятию» и к его последствиям самое непосредственное отношение. Даже если Миронов с женой приехали сюда после этого «исхода». Если при нем уже не проводились мероприятия, приведшие к исходу, это учреждение должно было заниматься заметанием следов и вылавливанием «недовольных». Так что, хоть он и «был предан», но, в отличие от своей жены, не знать о масштабах этого несчастья не мог. Но «мужественно» это переносил (это равнодушие к приносимым несчастьям культивировалось в их среде именно как мужество).

Конечно, относилось это не только к Казахстану. И даже Агнесса Ивановна имела об этом представление. Вот ее свидетельство:

«Когда мы жили в Алма-Ате, не только в Казахстане вымирали сперва раскулаченные, потом казахи, но и на Украине был голод. Про это я, конечно, не знала, потому что у нас было все». Выразительней этого “потому что” сказать невозможно. Она бы и до конца ничего не знала, но в ответ на свое предложение жившей с семьей в Ростове сестре Лене поделиться с ней своими богатствами — прислать шелк, чулки, платья — получила в ответ странное письмо. Его в целом русский текст бы малозначащим, но в середине его была одна фраза, написанная по-гречески (отец научил дочерей писать и читать на его языке): “Одежды не присылай, пришли лучше еды”. И вот ее реакция: «Но, знаете, сытый голодного не разумеет, говорю маме небрежно: “Ты там собери что надо...”». Но мама смысл этой «странной» фразы поняла правильно. Тем более что человек, побывавший недавно на Украине, сказал: «Да что вы, там настоящий голод!». И Ага с какими-то сотрудниками мужа, которые туда ехали поездом, отправила не шелка и бархаты, а «мешок муки, пшено, картошку, все, что «подвернулось под руку». Мало кому тогда могло «подвернуться под руку» такое богатство — только наиболее преданным, с помощью кого осчастливленную парти-

ей страну и держали на голодной пайковой диете. Так или иначе, причастность к этой среде давала Агнессе Ивановне возможность не только жить, как в оазисе, но и поддерживать своих близких, для которых каждая ее посылка и каждый приезд были отдохновением от недоедания. Близкие в то голодное время (начало тридцатых) только и жили ее продовольственной поддержкой. И она старалась ее оказывать.

Так что голод как будто был ею осознан. Но голову она себе им не забивала. У нее были более важные дела — блистания в своем *beaumont'e*, в привилегированных кавказских санаториях, где обязанностью персонала было предупреждать желания своих сановных отдыхающих, а ее — не давать окружающим забывать об ее красоте и исключительности. Туда они ездили и из Алма-Аты, и потом из Днепропетровска, где в 1934 году ее Сережа сам стал полномочным представителем (начальником) ОГПУ. Значение этого поста чувствовал даже его малолетний племянник-детсадовец, его выделяли и взрослые, и даже дети.

А Агнесса Ивановна цвела. При ней был целый двор фрейлин, которым она покровительствовала. И вообще ей ее жизнь нравилась. Она любила, и человек, которого она любила, давал ей все, что ей нужно было для счастья, в царстве горя и мук устроил ей роскошный оазис, куда с удовольствием приходил отдыхать от трудов (далеко не праведных). И приходилось ему, наверное, нелегко. Возможность устроить себе и ей столь роскошный оазис, который Агнесса Ивановна воспринимала как естественную среду обитания, товарищ Сталин задешево никому не предоставлял.

Мне кажется, что удачнику Сергею Миронову в его чекистской карьере очень не везло. Он каждый раз оказывался в какой-нибудь местности в самый неприятный момент. В 1931-м во время коллективизации — в Казахстане, когда там мерли и сосланные, и местные, а он обязан был искоренять недовольство по этому поводу. И вот теперь, в

1934-м, на Украине. А в чем, собственно, тяжесть? Искусственно организованный там страшный голод 1933-го, «Голодомор», еще свирепствовал, но уже кончился.

Надо сказать, что Агнесса Ивановна его заметила — и не только в семье сестры. Но казалось, что страна постепенно зализывает раны. Правда, война показала, что зализать их не удалось, но до войны еще оставалось семь лет. А пока царил покой, пусть и без особого благоденствия. По советским меркам, вполне нормальное время. Все так. Но если это время где-то и было нормальным, то только не на Украине. На Украине в 1934-м начался 1937-й.

Именно тридцать седьмой. Но не только. Производились чистки среди украинских интеллигентов, организованные вокруг фиктивного «процесса СВУ»*, но в этом не было ничего необычного: «буржуазную интеллигенцию» громили и до тридцать седьмого года. Правда, теперь репрессии против украинских интеллигентов были усилены в связи с недавним «Голодомором». Сталин считал, что они опасны, ибо никогда не простят ему вымирания своего народа. Думаю, что он преувеличивал: украинская интеллигенция, как и все остальные в СССР, к этому времени обескровленная и обессиленная, опасности для него не представляла.

Все это была привычная, хоть и преступная, повседневность той эпохи. Принципиально новым в нынешних репрессиях было другое: теперь удар наносился и по коммунистам. Собственно, и это не было новостью. Коммунистов-оппозиционеров сажали уже несколько лет. Но сажали их именно за оппозиционность, ничего им не приписывая и направляя их или в ссылки, или в привилегированные партийные тюрьмы-«политизоляторы». Сажали как «своих».

Теперь низовых и не только низовых работников сажали «в общем порядке», предъявляли фиктивные, но уголовные обвинения, навязывали чистосердечные при-

* СВУ — Спилка вызволення (Союз освобождения) Украины — фиктивная организация, сфабрикованная ОГПУ в провокационных целях.

знания и отправляли в настоящие лагеря. То есть проделывали над ними все, что над коммунистами всей остальной страны начали проделывать только в годы, относящиеся к комплексу лет, именуемому «тридцать седьмой год», то есть, начиная с 1936-го.

Некоторые видят в событиях этого комплекса лет историческое возмездие и считают это «мероприятие» полезным для России (освобождение от коммунизма), а жертв этого времени — людьми, свою участь заслужившими. С последним я согласен, если речь идет о «сознательных партийцах» и об их «участи». Но, во-первых, они составляли только малую часть тогдашних жертв, а во-вторых, и они заслуживали самого сурового наказания, но все равно не клеветы. И, прежде всего, этого не заслужили мы. Мы не заслужили того потока патологической лжи о них, в котором мы долгие годы жили, и который навсегда искривил сознание многих и многих.

Почему полигоном для отработки таких методов стала Украина 1934 года? Думаю, что произошло это, как многое у Сталина, эмпирически. Просто он хотел убрать всех свидетелей и проводников устроенного им «Голодомора». Приказ об этом был отдан в надлежащей форме (для догадливых), а методы... Методы выработали сами исполнители «в ходе проведения «операции». Сталин заметал следы. Но ведь не сам, а руками таких, как Миронов.

Был ли он подонком от природы? Думаю, нет. Все-таки подношения в Алма-Ате велел отнести назад, этой стороны тамошнего «профессионального быта» не принял (видимо, заговорила вдруг приобретенная в детстве порядочность) и опять-таки все же мрачнел, видя прелести раскулачивания. Но начальник Днепропетровского ОГПУ не мог не знать того, что творилось в его застенках, и не мог не поощрять своих подчиненных к активности в этой деятельности. И самому приходилось быть активным в этих фальсификациях. «Верность» приводила к коррозии личности, к неверности. Ведь приходилось врать и себе самому.

Но Агнесса Ивановна, естественно, больше пишет не о его работе, а о том, как она использовала то, я бы сказал, безлимитное вознаграждение, которое он за эту работу получал. Как вращалась в своем *beaumont'e*, как ездила в Киев, как покупала там себе ткани в торгсине (значит, и боны получали) и как хорошо было в правительственных санаториях. Описывает новогодний вечер в санатории украинского ЦК. Были Постышев, Чубарь, Балицкий, Петровский, Уборевич, потом из Зензиновки, где отдыхал Сталин, приехал Микоян. Но все было весело, запросто. Так же было и на импровизированной свадьбе в Киеве. Дело в том, что Агнесса со своим Мирошей расписались (официально оформили свой брак, что тогда не считалось обязательным) только в Днепропетровске. Слух об этом событии достиг Киева, и когда Мироновы в очередной раз приехали в Киев, по инициативе Балицкого (тогда уже Наркомвнудела Украины) им была устроена веселая импровизированная свадьба.

Агнесса Ивановна рассказывает об этом периоде своей жизни с упоением и подробностями, иногда красочными. Очень любил Миронов резаться с коллегами в карты. И иногда проигрывал крупные суммы, которые тут же непостижимым образом восстанавливались. Оказалось, что все областные начальники регулярно получали премиальные, а замнаркома по своей должности получать их не мог. Эта вопиющая несправедливость устранялась просто и по-товарищески. Он каким-то образом выписывал им лишнюю премию, которую они и проигрывали ему в карты. Скорее всего, это делалось без уговора, а просто на товарищеском взаимопонимании (при уговоре не был бы нужен этот спектакль с картами). Судить о предосудительности этой операции, вникать в их взаимоотношения с казной не берусь. Во-первых, не знаю всех обстоятельств, а во-вторых, то, что эти люди делали каждый день по долгу службы, было, с нормальной точки зрения, гораздо более предосудительно. Напоминаю, что тяги к стяжательству у Миронова не было.

И вряд ли это было «гешефтом»: «ты мне, я тебе» (это, повторяю, не требовало бы карт по ночам). Думаю, что тут сказывалась спайка, которая тогда еще была у этого круга: товарища выручали. Пусть в смысле привилегий, одной из которых его случайно (скорее всего, по бюрократическому недосмотру) обошли, но выручали товарища. Причастие к привилегиям было образом жизни этого круга. Как же было смириться с отлучением от него одного из товарищей?

Сталин уже к этому времени уничтожил основание для существования каких бы то ни было кругов в политической элите, но еще не уничтожил самого их существования. Что это был за круг? Что объединяло его членов? Некая инерция представлений о своей верности «идеи революции» и даже (это после всех раскулачиваний) «интересам рабочих и крестьян». Но беззаветных революционеров, которые эти слова понимали буквально, среди его членов уже не было — те больше льнули к Троцкому и из «элиты» были исключены. Подвергнуты остракизму (то есть выведены из строя) были и «правые» большевистские интеллектуалы, которые пытались сочетать утопический нахрап большевизма со здравым смыслом. Все это происходило при полном молчании и не без стыдливого соучастия всех, кого Агнесса Ивановна встречала тогда в своем *beaumont'e*. Во всех санаториях, домах отдыха, на всех приемах, свадьбах и везде, где бывала.

Нет, это еще не были люди сталинской формации. По сравнению с Александром Хватом, следователем МГБ, пытавшим академика Вавилова, который и по прошествии лет никак не мог понять, какие к нему могут быть претензии, они были верх осознанности и осмысленности. Да и веселья их были еще похожи на человеческие. Это был еще круг. В нем еще и Микоян, и Постышев, и Уборевич могли почти на равных встречать Новый год с нижестоящими товарищами. И даже общаться друг с другом они могли. Потом людям их ранга такие вольности «не рекомендовались»: Вождь вообще не любил, чтобы люди общались в неоргани-

зованном порядке, а вышестоящие с нижестоящими — тем более. Ведь они могли договориться если не о заговоре, то о том, что Вождь у нас не столь велик и не столь благостен, а это колеблет устой государства. Сталину нужны были гомункулусы. Не обязательно глупые или темные (Вышинский был весьма образован), но обязательно лишенные чувства ответственности за смысл поручаемого дела. Хотя бы за тот коммунизм, которым они клялись.

Конечно, кроме ответственности за исполнение этой клятвы, сталинские гомункулусы чувствовали это, да еще как! Только «не умом, а поротой задницей», как выразился однажды А. Н. Толстой. Разве что иногда, во время Великой Отечественной, работала и совесть.

Beaumont, в котором блистала Агнесса Ивановна, был еще не совсем таким. Личной ответственностью за происходящее они уже не обладали, но никогда бы в этом не сознались и самим себе. Ибо слышали, что такая бывает, и помнили еще, что не иметь ее неприлично. Кроме того, почти все они участвовали в установлении этой власти, все пользовались плодами этой победы и подсознательно верили, что это дает им особые права. Эти чувства и общность воспоминаний и объединяли их в один круг.

Они не были еще «деятелями сталинской эпохи», но они были теми, без чьей беспринципности и продажности (кто еще в те голодные годы мог так купаться в роскоши?) эта эпоха бы не наступила. Они (в том числе, и Ежов, который, в конце концов, тоже ведь был одним из них) считали себя людьми революции (да не заподозрит меня читатель в симпатии к этой «ценности»), но ведь именно свою революцию они предавали.

Речь идет не о предательстве своей человеческой сущности — таким предательством был весь большевизм и уж, конечно, весь «чекизм». «Классовая борьба», «не ограниченная законом и опирающаяся на насилие власть пролетариата над буржуазией»* определяли стрельбу по пло-

* Формулировка Ленина, вошедшая в Уголовный кодекс РСФСР.

щадям. Так что такие гнусности, как «Шахтинское дело», «дело Промпартии» и прочие антиинтеллигентские фальшивки, как-то еще можно было сочетать с их «партийной совестью», — все равно, дескать, классовые враги. Хотя, добываясь таких признаний, уже нельзя было оставаться человеком. Недаром даже такие «неангелы», как Менжинский и Крыленко, пытались воспротивиться нелепости обвинения: оно унижало и их человеческое достоинство. И всех остальных «мирош» тоже, хотели они это замечать или нет. Ибо не могли они совсем не чувствовать, что эти «мероприятия» определялись не столько классовой борьбой, сколько личными интересами Иосифа Сталина, которому надо было замести следы своих гениальных решений.

Был, например, у Миронова в Тбилиси друг по прежней работе, потом заместитель главы Закавказского ОГПУ Абулян. Человек независимый, он конфликтовал с секретарем ЦК Закавказья Берией. Что ж, бывает. Но однажды Мироновы прочли в газете, что этот Абулян погиб в автомобильной катастрофе. Что ж, и такое случается. Миронов, правда, прочитав это, потемнел лицом. Ничего странного: переживал за друга. Но когда они с Агнессой Ивановной в следующий раз были в Тбилиси, и Агнесса Ивановна выразила желание посетить вдову Абуляна, Сережа почему-то сказал: «Ты сходи одна, без меня».

В доме Абуляна все было пронизано страхом, и говорили шепотом. И шепотом вдова рассказала госте, что мужа ее убил «Лаврентий». И объяснила, как он устроил «автомобильную катастрофу». Вдаваться в детали нам здесь незачем. Для нас важна реакция Миронова, когда он услышал рассказ жены об этой трагедии. «Хочешь жить, молчи об этом. Никому ни слова!» — сказал он ей. Он тогда командовал Днепропетровским ОГПУ, был могуществен, купался во всех земных благах. И знал, что никакого иного способа спасти любимую жену от гибели у него нет. Чему же он, опять-таки, был верен?

Абуляны уехали в Москву. А когда через несколько лет Агнесса попыталась их разыскать по адресу (это было,

когда Берия уже перевели в Москву заместителем Ежова), там уже жили другие люди, которые о них ничего не знали. «Абуляны исчезли бесследно... Берия “позаботился”»*. Но это уже было в конце «ежовщины», в другой стране, где уже ничье положение ничего не значило. А ведь свою фразу о необходимости молчания Миронов произнес, когда к этому только шло.

Дело ведь не в том, что Берия был гнусен, а что свою гнусность мог проявлять вполне безнаказанно. А они, «железная когорта», это терпели и следили за тем, чтобы это терпели все остальные. Это их руками Сталин втянул всю страну в террор. Но зато как веселились в приятном обществе!..

Робость жила в них и без Берии. Еще когда Мироновы были в Алма-Ате, туда из Ростова к Агнессе приехала знакомая женщина, родственница друзей ее первого мужа, просить заступиться за своего арестованного сына. Ага очень жалела эту женщину, но когда попросила мужа помочь ей, он резко отказался. Мотивировал он свой отказ тем, что не может вмешиваться в дела других управлений. И вообще он потребовал у своей горячо любимой жены, чтобы она впредь никогда ни за кого его не просила.

Таковыми мелочами, как суть дела, как виновность и невиновность, этот рыцарь революции даже не поинтересовался. Видимо, у этих рыцарей был взаимовыгодный договор не интересоваться делами друг друга. Что ж, задания у них у всех были все больше такие, что лучше было

* Берия был гнусен — достаточно вспомнить его «любовные похождения». Судя по всему, это был криминальный тип. Убийство из личной ненависти с использованием (как и в «любовных» делах) возможностей руководимых им учреждений — для него естественный стиль поведения. Индивидуальных подлостей, в том числе и кровавых, за ним тьма. Но массовые репрессии в основном были связаны не с ним. И, кроме того, после смерти Сталина только у него (и отчасти у Маленкова) были серьезно продуманные программы выхода из ситуации. Он обладал государственным умом, но в личном плане был очень гнусен. И такое бывает.

не интересоваться. Хотя (вроде бы, по их представлениям) каждое фиктивное дело — подрыв авторитета революционной власти. Но им было уже не до своих представлений. Важно было угадать, что происходит. Ведь все эти пиры и свадьбы происходили в 1936-м, когда кое-кто и из них уже тоже начал исчезать. А первый звонок — убийство Кирова и все с ним связанное — был еще в конце 1934-го. Нельзя сказать, что он их не встревожил — встревожил. Как «профессионалы» они обратили внимание на то, что проштрафившиеся руководители Ленинградского ОГПУ Медведь, Запорожец и другие были поначалу наказаны несоразмерно мягко. Это было непонятно и поэтому, вероятно, наводило на очень нерадостные догадки. Да и слухи поползли. Было страшно, что исчезают свои, но исчезали, главное, обрабатывались в «нужном» духе не без их помощи. Это именно они втаскивали в этот ад не только всю страну, но и друг друга. Тем не менее, как мы видели, весь круг как бы продолжал существовать в прежнем стиле, словно всех пирующих в правительственных санаториях это не касалось в первую очередь.

Какую веселую, изысканную свадьбу устроил Балицкий Агнессе и Сереже, как сам веселился, словно большевистский нимб — петля — уже не примерялась к его отнюдь не святой голове. А ведь «нимб» этот неминуемо должен был коснуться головы Балицкого, и он не мог этого не чувствовать. Хотя бы по составу арестованных, от которых его подчиненные должны были добиваться идиотских «чистосердечных признаний». И Миронов, буквально пропадавший в те дни «на работе», тоже это чувствовал, не зря же он все чаще и чаще бывал мрачен. Тем более, что Ягода уже оказался «врагом народа» (в буквальном смысле слова он им и был, но имелся в виду смысл отнюдь не буквальный), а Миронова могли запросто записать в «ягодинцы» (поскольку он был назначен при Ягоде). Но ему повезло — пронесло. Он благодаря случаю оказался «ежовцем». Случаем этим был Фриновский. Тот самый Фриновский, который «подсидел» пер-

вого мужа Агнессы Ивановны в пограничном управлении Северного Кавказа. Теперь он командовал всеми пограничными войсками страны.

Агнесса Ивановна его недолюбливала и не терпела его вульгарную, по ее мнению, жену Нину. Но летом 1936 года в сочинской санатории Нина выглядела прекрасно. Они с Мирошей удивлялись, но оказалось, что Нина сейчас прямо из Парижа. «Там, — как ехидно рассказывает Агнесса Ивановна, — ее «сделали», нашли ее стиль, показали, какую и как делать прическу, подобрали косметику, костюмы». Меня в этом факте интересуют только «их нравы». То, что такие дорогостоящие «курсы по повышению элегантности» могли позволить своим женам (за чей только счет?) наиболее верные стражи завоеваний революции в не очень сытой (по их же вине) стране.

Конечно, Агнессу Ивановну такие проблемы по понятным причинам не беспокоили. А особого уважения к этой Нининой удаче в ее словах не слышится по другой причине. Вероятно, ее раздражало, что дуракам счастье. Ей бы самой, попади она в Париж, консультанты бы не понадобились. Но у Мироши с Фриновским были хорошие отношения: они когда-то вместе служили на Кавказе и подружились. И это временно отвело от Миронова занесенный над ним меч.

Как раз когда Фриновские были вместе с Мироновыми в санатории, в газетах появилось радостное (для Фриновских) сообщение о том, что Наркомом внутренних дел СССР назначается Николай Иванович Ежов. «Как только это известие до нас дошло, Нина и вовсе расцвела. Она не скрывала своих надежд, говорила мне: «Это очень хорошо. Ежов нам большой друг». Они вместе где-то отдыхали и подружились семьями. И в самом деле, через некоторое время читаю в газете: заместителем наркома внутренних дел назначен Фриновский. Что тут в санатории сделалось! Все подхалимы так и кинулись к Нине обхаживать ее».

Такой была верхушка «революционного авангарда» к тому времени. Да только ли к тому?

Фортуна поворачивалась лицом и к Мироновым. Пошли толки, что теперь возвышаться начнут бывшие пограничники, сослуживцы Фриновского. По-видимому, к ним относился и Миронов. Во всяком случае, ждал повышения и он. И дождался: стал начальником краевого Управления НКВД всей Западной Сибири (тогда Западная Сибирь была краем).

На этом, собственно, можно и кончить эту статью. Она, повторяю, о тех, кто сам еще не был сталинским го-мункулусом, то есть искусственным существом, на этот раз созданным не из мертвой, а из живой материи, из живого человека. А как иначе назвать представителя «идейной власти», не имеющего никого представления ни об идейности, ни даже об идее, которую, тем не менее, воплощает в жизнь? И не представляющего, что творимое им по приказу может иметь отношение к его личной совести и что ответственность бывает не только перед начальством, а и перед людьми и самим собой.

Нет, речь здесь не о таких людях, а о тех, может быть, еще более виноватых, кто какое-то, хотя бы самое смутное, представление об этом имел, но кого Сталин привилегиями (и страхом их потерять вместе с головой) эластично вовлек в свои губительные комбинации и без кого не была бы внедрена в жизнь и сознание людей сталинщина, вариант царства Сатаны. Вот по поводу кого было бы уместно вспомнить: коготок увяз — всей птичке пропасть...

Ведь и возлюбленный Агнессы Ивановны, как уже говорилось, не был от природы подлецом. Но после Казахстана и Днепропетровска за ним наверняка уже числилось много подлостей. А теперь он ехал в Сибирь творить новые, еще более страшные. В 1936–37 годах ничем иным на своем сибирском посту он заниматься бы не мог.

Правда, масштабы этих подлостей он пока не представлял, ибо не представлял, что такое ежовщина. Ничего удивительного. Заключение, арестованные при Ягоде, радовались, узнав, что теперь его сменил новый нарком, и

ждали благотворных перемен. Он знал больше, чем они, и таких перемен не ждал.

Между тем, перемены наступали одна за другой. Но только отнюдь не благотворные. Он это понял, как только стал принимать дела. Его заместителем стал родственник Ежова, Успенский, которого Миронов называл слизью (его и Солженицын в ГУЛАГе описал с отвращением) за то, что тот творил фиктивные дела. Сделать с ним ничего было нельзя. Миронов видел причину его безнаказанности в родстве с Ежовым, а тот просто действовал по инструкции.

Впрочем, Миронов скоро это понял. Уже при нем пришел циркуляр из Москвы, где назидательно сообщалось об аресте тех начальников областных управлений НКВД, которые разоблачили мало врагов. Москва нацеливала местных работников на создание фиктивных дел*. Миронов так это и понял, опять помрачнел и даже с женой поделился, хотя циркуляр был секретным.

Оставалось теперь «рыцарям революции» только сажать «своих» и клеветать на них, чтобы самим не быть посаженными и оболганными, жить еще на воле по лагерному присловью: «Умри ты сегодня, а я завтра».

И мрачнеть теперь Миронову приходилось все чаще. Это неудивительно: больно близко к нему стали ложиться снаряды. И он стал бояться теперь уже не вообще, а конкретно за себя. Страх был патологичен и пока еще не адекватен ситуации. Однажды он даже побледнел, увидев из окна кабинета развод караула. Решил, что все: это за ним. Хотя этот развод он до этого наблюдал многократно. Но страх целиком раздавил его. И только ли его? Большинство остальных «рыцарей» тоже. Конечно, страшно было попасть в сталинский застенок, особенно тем, кто знает, что это такое. Но на фронте тоже бывало страшно — ничего, выдерживал. Всё предав,

* Анализ одного из таких приказов Ежова (на самом деле — Сталина) за № 0047 дан мной в статье «Будни “тридцать седьмого года”».

став псами Сталина — что они могли противопоставить его вероломству? Они соглашались быть палачами Сталина и совсем не были готовы быть его жертвами.

Особое место в повествовании Агнессы Ивановны о ее жизни в Новосибирске занимает тогдашний секретарь Западно-Сибирского крайкома ВКП(б) Роберт Эйхе, тот самый, чье письмо приводилось Хрущевым в его «секретном докладе» на XX съезде. С ним и его идейной и ученой женой Еленой Евсеевной (кончила два факультета) отношения у Мироновых были полудружеские. Впрочем, Агнессой, которую вообще раздражали женщины-интеллектуалки, и сама Елена Евсеевна, и все ее товарки воспринимались как «синие чулки». Эта пара, несмотря на роскошный загородный дворец для приемов, все-таки больше вяжется с представлением о «ленинской гвардии», чем Миронов и его приятели. Они были более адекватны исповедуемой идеологии, чем чета Мироновых. И поэтому к тому времени еще больше были предателями своего дела, чем они или их приятели.

Уточняя: я не считаю предателями людей, которые гласно (или хотя бы негласно) порвали с коммунизмом или вообще изменили взгляды. Но людей, которые позволяли подменить то, чему вроде бы служили (и за службу чему одарялись всеми земными благами), такими считаю. А эти позволили провести раскулачивание и коллективизацию (в формах, которую не принимала ни одна фракция, даже самые левые) и даже покорно принимали в этом активное участие, позволили шельмовать как врагов людей, оставшихся верными тому делу, во имя которого якобы все творилось. Кто тогда предатель, если не они?

Я говорю не только об этих двоих, но и обо всем слое «старой гвардии», притерпевшейся к Сталину. Эти люди, прежде всего, предавали (конечно, используя для успокоения совести диалектику — на что-то же должны были сгодиться два факультета или хотя бы просто чте-

ние марксистских книг) самих себя. Такие не только наиболее жалки, но и наиболее опасны. Мне не жалко дела, которое они предавали (оно не заслуживало лучшей участи), не жаль подчас (по этой же причине) и их подельников, но мне отвратительна та атмосфера высокопоставленного предательства, которую они установили и в которой чувствовали себя, как рыба в воде. Это единственное наследство, которое они оставили после себя.

И тут большой разницы между ними и не шибко образованным Мироновым нет. Об Агнессе я не говорю. Они ее считали «барынькой», что ее почему-то задевало. И это странно. Ибо кем она еще была или хотела быть, за кого еще себя выдавала, на что еще претендовала? Впрочем, потом, когда продолжать жизнь «барыньки» стало невозможно, она не растерялась и вела себя вполне достойно. Как, впрочем, и многие настоящие барыни, когда пришлось. Но Агнесса, строго говоря, вообще не участник этой драмы и за нее не отвечает.

И еще хочу подчеркнуть, что оба они — и Эйхе, и Миронов — хотя и были представителями слоя, приведшего Сталина к власти, но все-таки они субъективно были разными. Миронов только мрачнел, получив директиву, стимулирующую массовые репрессии, а Эйхе все-таки пытался выручить невинных, даже (о, ужас!) давно «раскаявшихся» троцкистов, а это в те сумасшедшие месяцы выглядело ритуальным преступлением: по внушаемой тогда мифологии они все равно уже навсегда оставались причастными дьяволу. Агнессе потом кто-то сказал, что Эйхе даже выступил на пленуме ЦК против репрессий. Может, такое и было, но я об этом больше нигде не слышал и не читал.

Расстались Мироновы с Эйхе в момент, когда и эта чета испытывала патологический (адекватный обстановке) страх. И даже стали лебезить перед Мироновыми (особенно узнав о том, что того повысили по «их» службе) в наивной надежде, что раз повысили, то, может быть, Миронов сможет замолвить «там» словечко за них. Хотя

в нормальном состоянии они, наверное, прекрасно понимали, что ничьи словечки уже не помогают, что времена изменились, что доверять и не доверять теперь мог один только товарищ Сталин, а к нему попробуй доберись и его реакцию попробуй угадай. Так что теперь уже никто ни за кого никакого слова замолвить не мог.

Поднятые им из ничего «начальники нового духа» (Я. Смеляков) это принимали как данность, а те, кто помогал создать эту обстановку, никак привыкнуть к ней не могли. К тому же страх иногда порождает эйфорию. За это не сужу.

Мионов, перед которым так лебезил Эйхе, и сам боялся так же патологически. Но случилось чудо (почему Эйхе и начали перед ним лебезить): когда он уже находился на дне отчаяния, пришел приказ, предписывавший ему немедленно сдать дела и через три дня быть готовым подсесть в специальный поезд, следующий из Москвы. Куда, не сообщалось. И опять Мионов побледнел, заподозрил, что в этом поезде их арестуют и прикончат. Но он успокоился, узнав, что во главе этого мероприятия стоит Фриновский, и что везет этот поезд специальную дипломатическую миссию в Монголию, а сам он благодаря тому же Фриновскому направлен теперь послом в эту же Монголию. Следовательно, не лишился доверия (а с ней и жизни) и не выпал из системы. Поняв это все, он сразу стал прежним, уверенным в себе, даже окрыленным. Хотя знал и то, что людоедский циркуляр продолжает действовать. Но — пронесло.

Правда, по дороге ему пришлось еще два раза мрачнеть: когда пытали «своих». Он присутствовал при том, как Фриновский избивал допрашиваемого — кстати, не им. После экзекуции, видя подавленность Миронова, высокопоставленный палач не преминул блеснуть столичной осведомленностью — сообщил, что товарищ Сталин приказал бить, пока не «сознаются». Видимо, этим избиением он передавал передовой опыт непросвещенным местным кадрам. Кроме того, на каком-то полустанке Миро-

нов с женой слышали душераздирающие вопли истязаемого. Этим истязаемым, как догадался Миронов, был его предшественник на посту посла в Монголии, выдающийся советский разведчик Таиров. Это не вдохновляло. Но на общем состоянии Миронова это не отразилось. Он чувствовал себя спасенным и приобщенным.

Впрочем, дипломатическая миссия эта была довольно странной. Руководил ею такой «опытный дипломат», как Фриновский, и осуществлять ее ехали по большей части работники НКВД. Да и новоиспеченный посол, которого они спешно прихватили по дороге, был, как мы знаем, из того же ведомства.

Потом всплыла еще одна деталь, относящаяся к этой «миссии», тоже немаловажная. «Потом» — это когда члены миссии в Улан-Удэ пересели из вагонов в машины: тогда еще железной дороги до Улан-Батора не было, и туда от Улан-Удэ шестьсот километров добирались на другом транспорте. И вот, совершая это путешествие, наши «дипломаты» везде натыкались на следы недавно здесь прошедшей крупной кавалерийской части. Как откуда-то знала Агнесса Ивановна, это был конный корпус Конева. Тут перестает быть загадкой и чекистский состав «миссии». Видимо, Сталин производил тогда в Монголии нечто вроде государственного переворота: нельзя же было не охватить монголов «тридцать седьмым годом». И передислокация корпуса Конева была военным прикрытием этой «миссии».

Кстати, «миссия» эта была такова, что Миронову в другие времена отказали в посмертной реабилитации именно на основании его «дипломатической» деятельности в Монголии. Видимо, он там превысил дипломатические полномочия.

Справедливо или нет были оценены его личные «заслуги» (Агнесса Ивановна считала, что несправедливо, но признавала, что не знала, чем он там занимается; ее касались только дипломатические приемы), но о характере «миссии» это говорит достаточно ясно.

Очень боюсь, что причиной того поведения в Монголии, которая потом мешала его посмертной реабилитации, и была та радость воскрешения, которую он испытал в поезде, а также столичные новости Фриновского и потрясшие его «дорожные впечатления». Естественно, он там отнюдь не «превысил свои полномочия», как объяснялось официально, а только правильно их понял, знал, чего от него ждут, доказывал свою пригодность, хотел приобщиться к «новым веяниям», не отстать, идти в ногу со временем. И то, что это вроде выходило, его окрыляло. Сохранялась причастность. Только к чему?

Вероятно, та же радость возвращенной причастности окрыляла и Эйхе, когда его на короткое время перед арестом сделали наркомом сельского хозяйства. Как известно, и для Миронова, и для Эйхе их возвышения оказались только отсрочкой гибели. Впрочем, Миронов возвращался в Москву как бы на коне, с чувством исполненной миссии. То, что он узнал о происходящем, никуда не ушло — ни стоны истязаемых, ни инструкции Сталина на этот счет, ни его требование фальсифицировать дела, но у него лично, казалось, было все в порядке, и Сталин опять был прав.

Надо сказать, что его двоюродный брат, Михаил Давидович Король, который, после того как Миронов был расстрелян, а жена Михаила Давидовича умерла, стал третьим мужем Агнессы, воспринимал все это иначе. Да, он тоже верил в коммунизм и в советскую власть. Но они были связаны для него с высоким идеалом. Поэтому он остро переживал все прелести сталинщины. Переживал как свою духовную драму, даже когда его «не трогали»: это ставило под сомнение правильность всего, на чем он построил жизнь. И потому он и задал вопрос Миронову в один из домонгольских приездов того в Москву: «Что вы делаете?». И посоветовал ему поскорей сойти с этого корабля. Но тот ответил: «Я сталинский пес». В этом ответе, конечно, была и горечь, и безвыходность, но и гордость тоже. Тогда ведь все «сталинское» многими воспринима-

лось как абсолютная ценность. Апофеоз верности и преданности, но опять-таки неизвестно чему. Когда-то купился он не на кормушку, а на размах деятельности, но так по-настоящему и не задумывался о том, что совместимо с ее объявленной целью, а что нет. Да и побаивался он уже тогда — знал, что ему каждый день грозит отлучением уже не только от этого размаха, а от жизни вообще. Так он и жил: в минуту опасности падал духом, а как только тревога оказывалась ложной, духом возносился. И хотя ему не нравились ни пытки, ни ложные обвинения (по-видимому, только «своих»; «классово-чуждые» «контрреволюционеры», «Ка-эРы» — так обращались к ним в двадцатые годы — ведь и политическими-то не считались), но псовая преданность всегда брала верх и воскресала в нем всегда с новой силой, как только проходило ощущение опасности.

После Монголии оно совсем прошло. Ведь он вернулся в ореоле, с победой. И поскольку теперь уже был «дипломатом», то и работать направили в наркомат иностранных дел (НКВД) — заведующим отделом стран Дальнего Востока (Японии, Монголии и Китая). И квартиру ему предоставили соответствующую, престижную, в правительственном «Доме на набережной».

Он был креатурой Фриновского, заместителя Ежова, и пока Фриновский был на месте, он мог чувствовать себя в полной безопасности. Но Ежова потихоньку стал сменять назначенный его заместителем Берия, и скоро они оба полетели — и Ежов, и Фриновский. И теперь стали сменять (то есть сажать) «ежовцев», как раньше «ягодинцев». Тогда Миронов боялся оказаться «ягодинцем», теперь он вполне мог оказаться «ежовцем».

Он опять перестал спать по ночам, опять стало страшно. Но постепенно вроде все утихло. Опять пронесло. Спасало его то, что он теперь работал в другом наркомате. А уж после того, как его с женой пригласили в Кремль на встречу Нового года, он совсем успокоился. И кто его знает, может быть, он так бы и прожил годов до сорок восьмого — сорок девятого, когда таких деятелей из

таких мест увольняли за еврейское происхождение, но именно этот прием его, по мнению Агнессы Ивановны, и погубил его. Ибо на этом приеме Мироновы лицом к лицу столкнулись с Берией. И Берия, который вообще недолюбливал служивших с ним на Кавказе (знали о нем больше, чем он хотел), узнал в них друзей убитого им Абуляна. И через неделю Миронова в неурочный час вызвали в НКВД, где и «взяли».

Конечно, это могло произойти и не из-за этой встречи. Просто кто-то мог заметить, что еще один «ягодинец-ежовец» пока гуляет на свободе и, поскольку такая инициатива ценилась, обратить внимание начальства на этот беспорядок. Но на инициативу Берии это больше похоже, если принять во внимание близость дат (31 декабря — 6 января). Этот человек обладал государственным умом и натурой уголовника. Решать все свои вопросы, даже сексуальные, при помощи аппарата было для него вполне естественно. А уж так разрешать свои антипатии — тем более.

Таких людей привели к власти своим честолюбием, тщеславием и другой корыстью Миронов, Эйхе, Киров, Рудзутак и другие, от этого погибшие.

Когда-то, услышав рассказ Агнессы о том, как ум и мужество ее первого мужа Зарницкого одолели клеветнический процесс против него, Миронов самолюбиво сказал: — И я мог бы так!

Так вот — не мог бы! Он не был от природы ни бездарью, ни подлецом, ни трусом, но соблазнился и постепенно превратился в сталинского пса. А псы так не могут. Думаю, что смерть его была страшна. Ничем, кроме как тотальным страхом, несмотря на «грудь в крестах», он встретить ее не мог. Все остальное позволил из себя вынуть и растоптать.

А если бы не было Великого Октября, его честолюбие нашло бы (и уже находило) лучшее применение. Жаль, что так не случилось. Но это уже не только в связи с ним.

Цивилизация: не плуй в колодец...

Интервью отца Михаила Ардова, данное им Юлии Рывчиной (НГ, 25 октября 2001 г.) меня удивило и огорчило. Я разделяю его мысли об империи (о том, что она — препятствует кровавым междоусобицам) и его естественное для верующего отрицание философии гуманизма (не путать с гуманностью!). Не вызывает у меня возражений и его напоминание о том, о чем первыми (в 1911 году) заговорили авторы сборника «Вехи» — о грехах российской интеллигенции. Но все остальное меня, мягко говоря, не устраивает. Я не очень верю, что сближение Зарубежной Церкви с Московской Патриархией объясняется операцией ФСБ, совсем не верю, что это несчастье и падение. Уверен, что о Церкви нельзя говорить как об идеологической партии — идеологию такой партии непотребства ее руководителей компрометируют, а религию скомпрометировать нельзя. Безусловно, нравственный уровень и поведение иерархов очень важны, и горе тем, через кого приходит соблазн, но в конце концов, человек приходит в Церковь молиться Богу, а не иерархам. И беда выступления отца Михаила, на мой взгляд, как раз в том, что оно пронизано логикой партийности. Я православный христианин, но никакой не богослов, плохо разбираюсь в церковных взаимоотношениях, но что такое логика партийности, знаю хорошо и узнаю ее сразу. Впрочем, я не стал

бы об этом писать, если бы партийная страсть не заставила отца Михаила походя задеть проблему, в отношении к которой он вполне стыкуется со многими своими оппонентами и даже противниками. Эта тема — отношение к несчастью, постигшему Америку 11 сентября 2001 года. («Только Америку», — как некоторым приятно думать). Как ни странно, особого сочувствия к ней по этому поводу он не проявляет (не тем занят), но все же, слава Богу, остерегается быть спутанным с теми, кто по этому поводу назидательно злорадствует или говорит, что она свою участь заслужила. Но поскольку он по общему своему отношению к ней здесь смыкается с теми, кто к этому склонен, я, говоря об Америке, буду отвечать и им.

Я отнюдь не думаю, что Америка и ее политика идеальны. Я всегда осуждал советологическую графоманию которая стала ее политикой по отношению к России после перестройки. Например, пресловутое «продвижение НАТО на Восток». Я осуждал и осуждаю всю ее политику на Балканах и венец этой графомании — бомбардировки Югославии, то есть отталкивание потенциальных союзников и поддержка потенциальных врагов. Правда должен напомнить, что инициатором всех балканских действий НАТО всегда бывали не американцы, а европейцы, а Америку только в последний момент выталкивали вперед: «Вы лидер свободного мира, вот и действуйте!». И те покупались. И потом на них все шишки валились. Американская дипломатия — слишком молода.

Тем не менее, ставить на одну доску бомбежку Югославии и Ирака — для интеллигентного человека, каким является отец Михаил, непростительно. Безусловно, Милошевич стремился подавить в Югославии всякое инакомыслие, но все-таки там и при нем существовала и, несмотря ни на что, иногда громко заявляла о себе оппозиция, о чем в Ираке и помыслить было невозможно. И напали на Югославию не за нарушение Милошевичем демократии, а за то, что он воспротивился доходящим до издевательств притеснениям сербов албанцами в «автономном»

Косове. Только из-за этого он отменил автономию, за что, плохо понимая, что они делают, так жестоко и бессмысленно наказали Югославию и весь сербский народ западные демократии. И если в чем-то виновата западная, в том числе, и американская политика, так в потворстве воинственному исламизму, в отступлении и угодничестве перед ним. По тем же причинам, по которым часто отступали перед советским нахрапом, — не от слабости, а расстраиваться не хочется.

Конечно, и «хитромудрость» (способность видеть проблемы не так как они стоят, а «научно» и «компетентно»), усвоенная дипломатами на кафедрах политических наук престижных университетов, срабатывала. Только благодаря этой «хитромудрости» операция «Буря в пустыне» кончилась ничем. Саддама из «хитромудрых» соображений решили не добивать, а это дало ему повод объявить себя победителем Америки. Все требования выполнять условия перемирия — например, беспрепятственно допускать инспекции — при этом можно объявлять агрессией. Глупо, но на своих действует.

А отчасти и на российскую дипломатию, которая делает вид, что искренне верит, что после восстановления экономических потенций Ирака получит с Саддама старый долг. Но эти деньги, как и все средства, истраченные Политбюро на борьбу с империализмом, разумнее списать и забыть, чтобы впредь не расстраиваться — все равно никто их не вернет. Не думаю, что кто-либо в МИДе в этом сомневался. Просто старая любовь не ржавеет. Все-таки союзник — правда, по разрушению цивилизации, но все же. Конечно, есть и другие симпатизирующие Ираку — те, чьи чувства выражает выпущенный кем-то в Питере после окончания операции «Буря в Пустыне» плакат: «Спасибо Саддаму Хусейну за то, что он бомбил Израиль!», но ведь не они пока определяют политику России. Да и речь у нас не о политиках. В конце концов, за их высказываниями могут стоять соображения, мне неизвестные или непонятные.

Но почему и отец Михаил, в своем счете Америке, поставил на одну доску Югославию и Ирак, мне не понять. Конечно, есть и общее — и там, и там бомбили. И субъект почти тот же самый — в основном, Соединенные Штаты. Но объекты все же очень разные. Ирак совершил агрессию и поставил под угрозу интересы многих стран, в том числе, Соединенных Штатов, а Югославия ничего подобного не делала. Ирак вел себя разнузданно. Согласно тому же плакату, он бомбил Израиль — государство, не участвовавшее в военных действиях. А Югославия? И насчет диктатуры, как я уже сказал, в Югославии все же существовала и заявляла о себе оппозиция. А в Ираке и помыслить об этом невозможно. Не говоря уже о том, что если так захотелось вступаться за права человека, то лучше бы это было сделать в Судане, где был проведен настоящий геноцид христианского населения страны — христиан попросту распинали на крестах, — буквально, как в древности. Именно поэтому я поддерживаю действия Америки в Ираке и не поддерживаю в Югославии. Неужто сам отец Михаил не чувствует этого различия? Или партийность в пылу полемики совсем ему глаза застилает. *Кстати, и на Америку он набрел случайно и тоже в пылу полемики.*

Зато как набрел — можно даже, выражаясь по современному, сказать: наехал! «Америка — не христианская цивилизация», — сказано просто, но весомо. И в ответ на что ударила такая молния? На слова интервьюера: «Но сейчас, когда так много говорят об опасности исламского фундаментализма, не кажется ли Вам, что нет ничего плохого в объединении христианских церквей? Вот Великобритания вместе с США сейчас собираются грудью встать на защиту христианской цивилизации. О новом крестовом походе говорят...». Отсюда и молния. Ведь эти слова противоречат, так сказать, «линии партии» на недопущение объединения двух русских православных церквей в очень тяжелый для всего христианства момент. Он, собственно, не отрицает, что момент тяжелый, говорит даже, что исламисты (не путать с просто верующими

мусульманами) потому только пока еще не захватили весь мир, что и среди них нет единства (настолько мы непоправимо слабы), но не это его беспокоит. У него, по-видимому, есть неизмеримо более важные ценности. К тому же все всё равно погрязли в грехе: среди христиан почти нет христиан, и можно только удивляться, что «Господь нас еще терпит».

Насчет Господа это верно — терпит. Правда, в этом нет ничего нового — терпит Он нас уже давно, еще со времен первородного греха. Ибо с тех пор мы, люди, никогда особенно хорошо в Его глазах выглядеть не могли. А вот отцу Михаилу терпеть трудно — целую страну Америку (основанную, кстати говоря, христианскими диссидентами) в сердцах единым махом из христианской цивилизации исключил. А за что, собственно?

Факт, которым отец Михаил подтверждает свое суждение, вроде бы действительно имеет место. В Америке и впрямь запрещено устанавливать религиозные символы на городской земле. Так под давлением либеральных активистов Верховный суд истолковал тот факт, что религия в Америке отделена от государства. Я был этим возмущен. Но это объяснялось не «политкорректностью» верующих (каковых, в большинстве христиан, здесь 80 процентов), а нахрапом подсуетившихся атеистов. Но на право верующих писать на стенах или дверях своего храма «Христос воскрес» не покушались даже атеисты. И если на щите у какого-то храма вместо этого выставлено изображение бабочки с надписью «Он воскрес», о чем вспоминает о. Михаил, то, вероятно потому, что настоятелю этого храма это показалось остроумным — Пасха ведь вообще праздник веселый. Тут можно (хотя, по-моему, не стоит) начать спор о вкусе, а не о наличии веры. То же относится и к шуточным праздничным открыткам, на которых «кролик сообщает цыпленку, что Христос воскрес». И не такое бывает. Мне пришлось побывать на пасхальном богослужении в главном католическом соборе в Санто-Доминго (Доминиканская республика) — там «Хрис-

тос воскресе» возглашают под плясовые мелодии. Было несколько странно. Тем не менее, ликование молящихся по этому поводу было искренним и вполне религиозным. В разных культурах — разные обычаи. Никаким отпадением от христианства тут и не пахнет. Ничего этого при всех бабочках, кроликах и цыплятах нет и в Америке.

Это наивность. Но разве она хуже наивности тех сотрудниц моей приятельницы по какому-то ведомственному московскому издательству, которые раньше возмущались тем, что она не вступает в КПСС, а теперь тем, что она не ходит в церковь (она ходит, но им не говорит. В обоих случаях тот же возглас: «Как можно!».). Но я бы и этих не отлучал от христианства — после всего, нами пережитого — пусть лучше ходят в церковь, чем на партсобрания. Что-нибудь да перепадет их душам.

Разумеется, духовно-культурный кризис, свойственный нашей современности (о котором надо говорить особо и не здесь) коснулся и Америки, но никак не больше, чем других. Во всяком случае, двадцать семь лет назад, когда я впервые ступил на американскую землю, она произвела впечатление прямо противоположное тому, что говорит отец Михаил. Вот что я тогда же написал Ирине Алексеевне Иловайской, будущему редактору «Русской мысли» (ныне, к сожалению, уже покойной): «Америка — страна прикладного христианства. Напоминает рай до грехопадения. Но яблоко висит». Конечно, это первое, по неволе поверхностное восприятие. В дальнейшем оно усложнялось, перестало быть столь радужным, но в целом оно верно. Да и отец Михаил своим утверждением (тоже более чем поверхностным), что американцы — нация двенадцатилетних подростков, как бы подтверждает это мое первоначальное впечатление — отнюдь не полное и отнюдь не мудрое. Что-то есть в них, что позволяет нам, многоопытным, поначалу так их воспринимать. Но как обобщение это чушь.

Не говоря уже о том, что в Америке живут и действуют, проявляются люди высочайшего интеллекта, образо-

ванности и культуры — так называемые «консервативные интеллектуалы». Беды современного мира — прежде всего, духовные и культурные — все они понимают никак не меньше, чем я многогрешный, отец Михаил и любой из наших общих и не общих знакомых. Говорить о об этих людях подробно здесь нет возможности, а ограничиваться простым перечислением имен несправедливо и непродуктивно. Однако они есть, и их немало. Наивных, конечно, больше, и их наивность временами опасна. Но эта наивность не имеет ничего общего с отпадением от христианства. Разве может у нации, отпавшей от Христа, быть национальным вопросом: *Can I help you?* (Могу ли я Вам помочь?), — когда видят или им кажется, что вы испытываете затруднение? И вопрос этот не риторический — занятые люди тратят иногда на помощь такому человеку довольно много времени. Или обстоятельство более значительное. Вдруг увидели американцы на своих телеэкранах, что где-то, в какой-то Армении, о которой средний американец и слыхом не слыхал и не знает, где она находится (живущие рядом армяне с ней не ассоциируются), произошло страшное землетрясение, и много людей осталось без крова и пищи. Или узнали, что у русских, которые только что освободились от тоталитаризма, начались продовольственные трудности. И тут же, спонтанно, начинается сбор средств и вещей в пользу пострадавших или страдающих. Можно, конечно, острить насчет «ножеч Буша», но это полноценная пища, эти «ножки» входят в ежедневный рацион самого американца. И не его вина, если у нас, как и в Армении, эту помощь разворовывали. А ведь не только России и Армении помогала в трудный момент Америка. Американцы при этом, повторяю, часто действуют наивно и неумело, но об отпадении от христианства это никак не свидетельствует. И по всему этому был нанесен сокрушительный удар.

Есть в интервью о. Михаила и такое сногшибательное — особенно после 11 сентября 2001 года — разоблачение: «Под видом христианства они (американцы — *Н.К.*)

свою удобную цивилизацию защищают». Возникают два вопроса. Почему для цивилизации стыд или грех быть удобной и почему люди не должны защищать созданное ими, их трудом? Я уже не говорю об единомышленниках иерусалимского муфтия, призывающего правоверных убивать всех евреев, а также американцев, похожих на евреев, везде, где правоверные их встретят — ибо все евреи происходят от свиньи и собаки (перл как научного, так и религиозного озарения). Это про евреев. Но насильно исламизировать Америку, Англию и весь мир (то есть подчинить их своему продемонстрированному выше уровню духовности) он тоже призывает. Такая же участь, но гораздо раньше, чем Америке, обещана такими как он и России — совершенно открыто, и даже в передаче московского ТВ из Лондона*.

Так есть ли эта цивилизация, которая при всем своем несовершенстве (бабочки, кролики и прочее) этому противостоит? И не на нее ли совершено нападение 11 сентября 2001 года? И надо ли ее защищать, заниматься теми, кто хочет пустить эту несовершенную грешную цивилизацию под откос? Или важнее, исходя из того, что христианская цивилизация, к сожалению, так и не стала цивилизацией христианских святых, не отвлекаться на такие мелочи от главного партийного дела и, несмотря ни на что, продолжать предавать друг друга анафеме?

2001

*Об этом бы следовало задуматься бывшему борцу во стане воинов-интернационалистов а ныне суперпатриоту А. Проханову, прежде чем испытывать троглодитскую радость по поводу трагедии 11 сентября и сразу после нее помешать в своей газете «Завтра» карикатуру, в которой над поверженным Белым домом маячат мечети.

Кого первым съест «товарищ Волк»

Уроки «11 сентября»

Начинаю не с сущности событий, а с их восприятия. Кажется естественным, что евреев положение Израиля волнует больше, чем других людей, а арабский или исламский терроризм должен беспокоить Израиль больше, чем другие государства. Во всяком случае, так казалось до страшного вторника 11 сентября 2001 года. После этой даты многое в этом отношении должно было измениться. *И изменилось.* Но далеко не все. Например, в озабоченной удержанием ускользящего величия Франции. Грустно. Ибо ее величие, значение ее истории и вклада в культуру действительно неоспоримо и неотъемлемо. Но если судить по действиям и словам ее политических представителей, начиная с де Голля, она с инфантильной ревностью занята удержанием другого, чисто внешнего величия и согласна платить за такое величие реальным достоинством. Парадокс состоит в том, что заложил под страну эту мину замедленного действия именно де Голль, человек трижды спасавший Францию: в 1940-м, после поражения, потом после алжирской войны и в 1968-м, подавив идиотские, но опасные студенческие волнения. Но он же проявил чудеса фанфаронства — вышел из военной организации НАТО, игнорируя нависавшую советскую угрозу*, ис-

*СССР имел громадное превосходство в танках, а от передового советского танка было намного ближе до Парижа, чем до Москвы.

ключительно «назло англосаксам», а потом назло им же, особенно Америке, в острый момент и без какого-либо подобия морального обоснования изменил свою ориентацию с произраильской на антиизраильскую. С тех пор Франция стала совершать всякого рода непотребства, а в ответ на удивленные вопросы ее представители отвечали: «Что вы от нас хотите? У нас теперь такая политическая ориентация». Слово «ориентация» все исчерпывающе объясняет и оправдывает, а не само нуждается в объяснении и оправдании. Впрочем, может быть, по-французски (я питаю слабость к этому так и не давшемуся мне обаятельному языку) и это звучит красиво. Может быть, по-французски выглядела элегантно и мысль, высказанная недавно, уже после 11 сентября, президентом Франции Шираком, когда его спросили об арабском терроризме: «Да, то, что произошло в Нью-Йорке — это ужасно, это терроризм, и он должен быть наказан. Но палестинцы ведут национально-освободительную борьбу, которую нельзя смешивать с терроризмом, и относиться к ним надо иначе» (это не цитата, а пересказ мысли). Странное это все-таки *величие!* Прежде всего, если посмотреть на это высказывание с юридической стороны, выходит, что стремление уничтожить государство, члена ООН, с которым Франция поддерживает нормальные дипломатические отношения, не только естественно, но и похвально. Такое поведение «гяуров» не вызовет уважения даже у тех, кому оно выгодно, — только желание «жать» дальше. По-видимому, с величием можно прожить не только без достоинства, но и без мирового правопорядка. Так, значит, теперь выглядит знаменитое французское *esprit* (острота, точность и яркость ума), а также *honneur* (честь) и другие хорошие и звучные французские слова и понятия, вошедшие в духовный обиход всей культурной Европы, всего культурного человечества. Полагаю, что такое *esprit* — гораздо большая потеря для этой великой страны, чем потеря былого веса во внешней политике. Возможно, на французском языке эта тупая и

лживая брежневская формула звучит более элегантно, чем по-русски, но вряд ли более морально. Но у Брежнева это было наглым прикрытием бессмысленной агрессивности, за которую Россия расплачивается до сих пор, и боюсь, еще долго будет расплачиваться, а у французских политиков это только низкий (и наивный — свинство тоже бывает наивным) политический расчет. Надеются что-то за это получить — то ли величие, то ли просто деньги. Зря надеются. Впрочем, Франция проявляет такой «здравый смысл» только наиболее красочно. Срабатывает он везде, даже в Америке. В попустительстве.

Почти все представители арабской общины, выступая на американских телеканалах, горячо присоединяются к общему возмущению чудовищным преступлением 11 сентября. Но при этом разъясняют, что это проявление злобного фанатизма* вызвано обидной для арабов американской поддержкой Израиля (к тому, что «обида» может проявляться таким образом, они в большинстве склонны относиться «с пониманием»). И неизменно добавляют, что если такая поддержка прекратится, то прекратится и терроризм. Предполагается, что если бы требования террористов (а они неоднократно выставлялись и раньше) были бы удовлетворены, то террора бы не было, а если не выполнить их сейчас, то такие случаи не исключены и в дальнейшем. Я не думаю, что это так, что исламский терроризм объясняется только желанием уничтожить Израиль, но эти высказывания интересны не этим. Обращает на себя внимание то, что практически все эти ораторы (все, кто так говорил, а не все выступавшие арабы) — понимали они это или нет — не только извиняли и оправдывали это преступление, но и присоединялись к некоему ультиматуму, предъявляемому теми, кто его совершил. Дескать, ведите себя как мы считаем правильным, а не то обида останется,

* Фанатизм вообще есть примитивная форма самоутверждения. Любой пиетет по отношению к нему нелеп. В любой религии он свидетельствует о недостатке веры, а не об ее силе.

и не то еще будет. К сожалению, руководители умеренных арабских стран, «друзей Америки», выражали свое «возмущение» террористами в такой же форме. То есть, обращались с остальным человечеством, как в советских тюрьмах урки с фраерами: «Развязывай “сидор”, мужик, и побыстрей, а то я нервный!». Кстати, ведь это еще и почти открытая (у зарубежных лидеров вполне открытая) антисемитская пропаганда — внушение идеи, что если бы не «еврейское влияние», все было бы в порядке, и башни бы стояли на месте. А так — не то еще произойдет. Пропаганда эта пока не действенна, но ведь война эта — надолго. И тогда для такой многонациональной страны, как Америка, она может стать разрушительной. Но ни один интервьюер не обратил на это внимания, не сказал даже, что так выражать свою обиду пока не разрешается, и что тех, кто так ее выражает или хочет выражать, надо изолировать и лечить, а не слушать. И тем более не аргументировать этой обидой подобные преступления и не советовать выполнить требования таких «обиженных». И, наконец, что эти их заявления — прямое соучастие в преступлении, сознательное или неосознанное.

Должен оговориться, дабы избежать возможных кривотолков. Я действительно по происхождению еврей и действительно сочувствую Израилю. Точнее, не сочувствую тем, кто хочет его уничтожить. Убежден даже, что это не в интересах самих палестинских арабов, если считать этими интересами их благосостояние. Но я здесь не покушаюсь на право тех, против кого выступаю, выражать точку зрения, противоположную моей. Дело здесь не в точке зрения, а в предпринимаемой попытке убедить американцев принять невысказанный ультиматум террористов и изменить ближневосточную политику приютившей их страны — на это права не имеет никто. И то, что им никто, кроме Билла О'Райли на канале «Фокс-ньюс», не возразил — безобразие. «Политкорректность» в стране, которой необходимо мобилизоваться для отражения агрессии — непозволительная роскошь. Давней привычке цивилизо-

ванных политиков терять достоинство, когда речь заходит об арабо-израильских отношениях, привычке пасовать перед агрессивной логикой, точнее, наглым алогизмом арабской (а по генезису советской) пропаганды, должен быть положен конец — тем более что аппетит приходит во время еды. Уже давно эта пропаганда-политика обращена отнюдь не только против Израиля.

Употребление здесь термина «советский» не должно никого удивлять. СССР обучал арабов не только терроризму, как полагают многие, а и методам своей политической пропаганды. Впрочем, один бывший гэбист, выступая 21 сентября 2001 года в телевизионной программе «Совершенно секретно», утверждал, что он готовил только боевиков, а не террористов, и учил не терроризму, а только методам партизанской борьбы. Не каждый боевик — террорист, поучал он своих слушателей. Вряд ли он смог бы объяснить, зачем России нужны были боевики, и как называть воспитанного такими, как он, или их учениками Хаттаба — боевиком или террористом. Можно назвать много стран, включая его родную, которым воспитательная работа этого специалиста по подрыву принесла вред, но ни одной, которой она принесла бы пользу. Но воспитатель не унывает и, вероятно, даже испытывает ностальгию по тем счастливым для него временам.

Меня здесь интересует не он сам (в конце концов, и он был человеком подневольным — делал, что велели), а его «совковая» беззастенчивость, тот оторванный от смысла (но не от умысла) язык, который стал языком арабской политики и пропаганды. Кстати, тупую наглость языка советских газет представители СССР принесли с собой в дипломатию, на заседания ООН, например. И поскольку свободный мир это терпел, выигрывали; общая культура дипломатии понижалась до удобного им уровня (имеется в виду не образовательный или профессиональный уровень советских дипломатов, а моральный уровень ставившихся перед ними задач). Создавалась атмосфера, в которой все теряло смысл и очертания, но они чувство-

вали себя, как рыба в воде. Доходило до того, что кто-то из американских президентов однажды стал руками и ногами отбиваться от обвинения в антикоммунизме (хотя быть антикоммунистом его обязывает своей системой ценностей американская конституция).

Тем легче было советской номенклатуре возводить хулу на Израиль. Способствовало этому и то, что СССР в глазах многих левых, даже если они в нем разочаровались, все равно оставался экспертом по тому, кто прогрессивен, а кто «агент империализма» и «поджигатель войны». Естественно, Израиль был тут же определен как последний. И с тех пор любое его самозащитное действие объявлялось агрессией. СССР при всех своих Будапештах, Прагах, Афганистанах и Анголах оставался по совместительству и главным «борцом за мир». И содействовал он стремлению уничтожить Израиль тоже исключительно в интересах мира. И вообще он не хотел уничтожать Израиль, только требовал от него «справедливых» уступок — таких, после которых гибель Израиля была бы предрешена как бы без участия СССР. И все это исключительно в интересах мира и чуть ли не самого Израиля. Мимоходом делались угрожающие разъяснения, что американская поддержка Израиля ставит мир и стабильность под сомнение, и при этом намекалось, что за всей этой опасной для всех политикой стоят евреи — разыгрывалась, хоть и не очень успешно, дорогая сердцу кое-кого из вождей антисемитская карта. Кстати, полюбившаяся Шираку фраза: «Не надо путать терроризм с национально-освободительной борьбой» — была придумана в Москве именно тогда. Приемы, несмотря на примитивность, работали.

Но ставший при Рейгане госсекретарем Александр Хейг эту методику разгадал. И когда советские дипломаты попытались испробовать ее на нем, он их достаточно резко отбрил. И они увидели, что номер больше не проходит. И перестали его применять.

Арабские деятели этим приемам были обучены только через несколько недель после Шестидневной вой-

ны. До этого они простодушно «резали правду-матку», публично объявляли, что их цель — уничтожение Израиля, ибо само существование Израиля — агрессия. Заявления не слишком обаятельные, но логичные. Но советский союзник быстро обучил их уничтожать Израиль в формах «борьбы за мир» и по любому поводу обвинять его в агрессивности. Непонятно какой, ибо Израиль не претендовал на арабские территории. Но работал сам термин. Никто не хотел связываться с СССР — боялись мировой войны. Действовал и нефтяной фактор. Арабским руководителям сходило с рук многое, что иначе не сошло бы. Из-за чего некоторым из них пришлось в голову объяснять это тем, что им помогает непосредственно Аллах. Некоторые и сами верили — выглядело это правдоподобно. То, что этого «аллаха» (точнее, шайтана, а еще точнее, слугу шайтана) звали Леонид Ильич Брежнев, было гораздо труднее для понимания и усвоения.

Сегодня задача цивилизованных обществ — наглядно показать уверовавшим в это, что этот «аллах» им больше не помогает. Не знаю, способны ли на это цивилизованные общества. Возможно, начавшиеся 7 октября прицельные бомбежки талибов в Афганистане помогут развеять это заблуждение.

Но многое зависит и от состояния самих цивилизованных обществ, от их способности освободиться от пут политкорректностей. Например, перестанут ли они бояться обвинения, что они противостоят Исламу вообще. Нас намеренно запутывают. Против самого Ислама как религии не возражаю и я. Я даже не собираюсь упирать на место из Корана, призывающее убивать неверных. Я дружил со многими людьми мусульманского происхождения в Казахстане и на Кавказе, и воспоминания об этом у меня самые теплые и благодарные. Я вообще не судья религиям. Но факт остается фактом — борьба против нас ведется под исламистскими лозунгами, во имя торжества Ислама. Именно так провозглашает ее нечестивый с точки зрения любой религии иерусалимский муфтий, требу-

ющий сокрушить не только евреев (это само собой), но и Америку, Англию и все прочее, мешающее торжеству Ислама. Если Ислам — религия любви (а я в это верю — других религий не бывает), то и он сам, и все, кто его не осудил, не слишком верят в Бога. Это не исламская религия, а так называемое «исламское возрождение», возрождение не веры, которая никогда не угасала, а политических амбиций, страсти к реваншу.

Для того, чтобы победить, надо точно назвать врага. Война идет не с последователями Ислама вообще, а с *политическим исламизмом*. Борьба эта требует бдительности.

Разумеется, любой вид огульной ненависти постыден. И, уж конечно я не призываю к травле американцев-мусульман, а тем более их детей. Это недопустимо и несовместимо с самоуважением. Но допуск к секретам и к объектам повышенной опасности для людей этой категории должен быть ограничен. В этом нет ничего оскорбительного. Мы были эмиграцией антисоветской, никак не поддерживали враждебное Америке советское правительство. Но нас к секретам не допускали. Объяснялось это не недоверием к нам, а тем, что мы легко могли стать объектом шантажа со стороны КГБ. Мы отнеслись к этому с пониманием — не обижались. Не должны обижаться и они. Это не дискриминация — это меры предосторожности во время войны.

Враг гораздо слабее, чем мы. Единственное его преимущество — наши слабости. Сила должна быть задействована — только тогда она сила. Если закрывать глаза на то, с кем именно воюешь, все равно проиграешь. Мыши могут съесть слона, потому что он их не давит. И не надо вести себя, как персонаж советского анекдота, так урезонивавший своих товарищей по несчастью: «Товарищ Волк лучше знает, кого первым скушать». «Товарищ Волк» съест всех, кого успеет и кто дастся, пока и если не получит по зубам.

К сожалению, мир гораздо менее безоблачен, чем тот, к которому готовят американских школьников. Если

мы хотим жить, надо многое изменить в этой подготовке. После победы во франко-прусской войне в Пруссии отмечали: «Эту войну выиграл прусский гимназический учитель». Нельзя допустить, чтобы потом говорили, что эту войну за свою жизнь, честь и свободу Америка проиграла из-за своих учителей. 11 сентября не должно пройти для нас бесследно.

2001

Содержание

I. Литература и искусство

- 7 Вкус — это чувство соответствия. *З. Ерошок*
9 В защиту банальных истин
39 Опыт внутренней биографии
102 «Добро не может быть старо»
117 Гармония и утопия
145 Александр Куприн и антисемитизм
163 Сквозь соблазны безвременья
197 Анна Ахматова и «серебряный век»
252 Игра с дьяволом
282 Генезис «стиля опережающей гениальности»
или миф о великом Бродском

II. Психология общества

- 343 «Пока была любовь...»
367 Психология современного энтузиазма
432 Судьба Ярослава Смелякова

-
- 478 На путях к элитности
495 Над страницами жизни Петра Григоренко
533 За чей счет?
563 Возвращение к нравственности
586 О государстве
593 Будни «тридцать седьмого года»
621 А был ли Сталин-то?
672 Ловушка
682 Дети идеократии – при идее и после
713 Бомонд над клоакой
773 Цивилизация: не плюй в колодец...
781 Кого первым съест «товарищ Волк»

Наум Коржавин
В ЗАЩИТУ БАНАЛЬНЫХ ИСТИН

Серия «Культура политика философия»

Художественное оформление серии *Ф. Домогацкого*

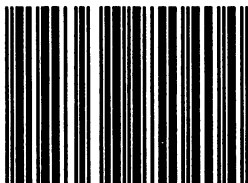
Ответственный за выпуск *О. Карпова*
Компьютерная верстка *Г. Панюшкиной*

ЛР № 00972 от 14.02.2000 г.
Подписано в печать 14.03.2003 г. Формат 84x108/32.
Бумага офсетная. Гарнитура Petersburg. Печать офсетная.
Печ. л. 24,75. Тираж 1 500 экз. Заказ № 581.

Московская школа политических исследований.
121854, ГСП-2, Большая Никитская ул., 44-2, комн. 22.
e-mail: mmps@co.ru
<http://www.mmps.ru>

Отпечатано с готовых диапозитивов
в ФГУП «Московская типография № 6» МТРК РФ
115088, Москва, Южнопортовая ул., 24

ISBN 5-93895-040-6



9 795938 950404

